This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Pokrovskiĭ, V. I.

Василій Андреевичъ

ЖУКОВСКІЙ.

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

Сборникъ историко-литературныхъ статей.

СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.

Изданіе второе, дополненное.

МОСКВА.
Складъ въ книжномъ магазинѣ В. СПИРИДОНОВА и А. МИХАЙЛОВА.
Тверская, Столешниковъ пер., д. Ліанозова.
Телефонъ 120—95.
1908.

PG3447
I5Z85

Типографія Г. Лисснера и Д. Совко.
[illegible]

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Во второмъ изданіи помѣщены слѣдующія новыя статьи: Жуковскій въ университетскомъ благородномъ пансіонѣ, *Рѣзанова.* — Вліяніе окружающей среды на творчество Жуковскаго, *его же.* — Литературныя направленія университетскаго благороднаго пансіона, *его же.* — А. А. Прокоповичъ-Антонскій и «Дружеское ученое общество», *его же.* — Литературные кружки конца XVIII и начала XIX вв., *его же.* — Дружеское литературное общество, его направленіе и характеръ, *его же.* — Романтическій идеализмъ въ русской литературѣ 20—30-хъ годовъ. Воззрѣнія романтиковъ на искусство и религію, на идеалъ счастья личнаго и общественнаго, *Замотина.*

В. Покровскій.

СОДЕРЖАНІЕ.

Стран.

Родина Жуковскаго, *Зейдлица* 1
Домашнее воспитаніе Жуковскаго, *Архангельскаго* 2
Ѳ. Г. Покровскій — первый наставникъ Жуковскаго, *Тихонравова* 4
Жуковскій въ университетскомъ благородномъ пансіонѣ, *Рѣзанова* 8
Вліяніе окружающей среды на творчество Жуковскаго, *его же* 9
Московскій благородный пансіонъ и его вліяніе на поэтическую дѣятельность Жуковскаго, *Архангельскаго* 10
Литературное направленіе университетскаго благороднаго пансіона, *Рѣзанова* . . 15
А. А. Прокоповичъ-Антонскій и „Дружеское ученое общество", *его же* 28
Кружокъ, подъ вліяніемъ котораго совершалось литературное воспитаніе Жуковскаго, *Тихонравова* 32
Литературные кружки конца XVIII и начала XIX вв., *Рѣзанова* 35
Дружеское литературное общество, его направленіе и характеръ, *его же* 37
Литературныя вліянія, окружавшія Жуковскаго, *Архангельскаго* 39
Романтизмъ и муза Жуковскаго, *Булича* 43
Отношеніе Жуковскаго къ романтическому движенію, *Архангельскаго* 49
Отношеніе Жуковскаго къ философско-психологическому направленію эстетики XVIII—XIX вв., *Сакулина* 51
Поэзія Жуковскаго, *Майкова* 60
Идеалы Жуковскаго, *Веселовскаго* 73
Мотивы поэзіи Жуковскаго, *Бѣлинскаго* 79
Сельское кладбище (Элегія Грея), *Стоюнина* 102
Людмила и ея первоисточникъ, *Созоновича* 104
Ивиковы журавли, *Дм. Цвѣтаева* 110
Теонъ и Эсхинъ, *Стоюнина* 121
Торжество побѣдителей, *Бѣлинскаго* 123
Жуковскій, какъ переводчикъ Шиллера. Особенности перевода баллады „Торжество побѣдителей", *Чешихина* 126
Жалоба Цереры, *Водовозова* 131
„Жалоба Цереры" въ переводѣ Жуковскаго, *Чешихина* 133
Элевзинскій праздникъ, *Стоюнина* 135
Кубокъ, *Дм. Цвѣтаева* 137
Перчатка, *его же* 149
„Кубокъ" и „Перчатка" въ переводѣ Жуковскаго, *Чешихина* 153
Поликратовъ перстень, *Дмитрія Цвѣтаева* 156
„Поликратовъ перстень" въ переводѣ Жуковскаго, *Чешихина* 168
Патріотическія стихотворенія Жуковскаго, *Шевырева, Никитенко* 172
Жуковскій, какъ наставникъ Александра II, *О. Миллера* 177
Родственныя черты музы Жуковскаго и Пушкина, *Владимирова* 191
Многолѣтняя и глубокая дружба Жуковскаго и Пушкина, *Сумцова* 197

Стран.

Духовная организація Жуковскаго и Гоголя и ихъ взаимное литературное вліяніе, *Пѣтухова* 205
Неразрывныя узы дружбы, связывавшія Жуковскаго и Гоголя, *Сумцова*. 211
Жуковскій и Державинъ, *Бѣлинскаго*. 224
Доброжелательныя отношенія Жуковскаго къ писателямъ, *Маркевича* 225
Жизнь и поэзія по воззрѣнію Жуковскаго, *Шевырева*. 238
Историческое значеніе поэзіи Жуковскаго, *Бѣлинскаго* 245
Воспитательное значеніе поэзіи Жуковскаго, *Кирпичникова*. 247
Значеніе Жуковскаго въ исторіи развитія литературнаго языка, *Никитенко*. . . 251
Особенности таланта и поэтическаго творчества Жуковскаго, *его же*. 256
Жуковскій, какъ писатель и человѣкъ, *Плетнева*. 263
Эпоха чувствительности, *Веселовскаго* 266
Поэтика романтиковъ и поэтика Жуковскаго, *его же* 277
Романтическій идеализмъ въ русской литературѣ 20—30-хъ годовъ. Воззрѣнія романтиковъ на искусство и религію, на идеалъ счастья личнаго и общественнаго, *Замотина*. 291

Родина Жуковскаго.

Село Мишенское, одно изъ многихъ помѣстій, принадлежавшихъ Аѳанасію Ивановичу Бунину, находится въ Тульской губерніи, въ 3-хъ верстахъ отъ уѣзднаго города Бѣлева. Благодаря живописнымъ окрестностямъ этого имѣнія и близости его къ городу, владѣлецъ избралъ его постояннымъ мѣстопребываніемъ для своего семейства и, по тогдашнимъ обычаямъ, обстроилъ и украсилъ его роскошно. Огромный домъ съ флигелями, оранжереями, теплицами, прудами, садками, паркомъ и садомъ, придавалъ особенную прелесть этой усадьбѣ; а обстановка — дубовая роща, ручеекъ въ долинѣ, виды на отдаленные пышные луга и нивы, на близкое село съ церковью, настраивали чувства обывателей къ мирному наслажденію красотой природы. Растительность въ этой сторонѣ отличается чѣмъ-то могучимъ, сочнымъ свѣжимъ, чего недостаетъ южнымъ черноземнымъ полосамъ Россіи. Весна, разрѣшающая природу отъ суровой зимы, оживляетъ ее скоро и радуетъ сердце человѣка. Даже самая осень своими богатыми урожаями хлѣбовъ и плодовъ приноситъ такія удовольствія, которыя не могутъ быть испытываемы въ болѣе сѣверномъ, холодномъ климатѣ. Если же мы къ тому припомнимъ старинныя, до нѣкоторой степени патріархальныя, отношенія помѣщиковъ между собою и съ крестьянами, то понятно, что люди, проведшіе вмѣстѣ юность въ селѣ Мишенскомъ, могли еще въ глубокой старости восхищаться воспоминаніями о минувшемъ житьѣ-бытьѣ.

„Здѣсь все напоминаетъ Жуковскаго“, — писала Анна Петровна Зонтагъ (внучка Аѳан. Иванов. Бунина) къ князю Вяземскому, — „церковь, гдѣ мы вмѣстѣ молились, рощи и садъ, гдѣ мы гуляли вмѣстѣ, любимый его ключъ *Гремучій* и, наконецъ, холмъ, на которомъ было переведено первое его стихотвореніе: „Сельское кладбище“ вышедшее въ свѣтъ“. Этотъ холмъ сохранилъ названіе: *Греева Элегія*.

Поля, холмы родные,
Родного неба милый свѣтъ,
Знакомые потоки,
Златыя игры первыхъ лѣтъ
И первыхъ лѣтъ уроки, —
Что вашу прелесть замѣнитъ?

Сколько пѣсенъ Жуковскаго обязаны своимъ существованіемъ воспоминанію объ этомъ мѣстѣ въ пору молодости!

„Все, что на милой родинѣ, здравствуй!“ — пишетъ онъ изъ Дерпта къ Авдотьѣ Петровнѣ Елагиной: „я — было началъ стихи къ родинѣ; въ нихъ „ты“ есть, такъ сказать, Дуняша, и вотъ что ей говорится:

Тамъ небеса и воды ясны!
Тамъ пѣсни птичекъ сладкогласны!
О, родина, всѣ дни твои прекрасны!
Гдѣ бъ ни былъ я, но все съ тобой
Душой.
Ты помнишь ли, какъ подъ горою,
Осеребряемой росою,
Свѣтился лучъ вечернею порою,
И тишина слетала въ лѣсъ
Съ небесъ?
Ты помнишь ли нашъ прудъ спокойный,
И тѣнь отъ ивъ въ часъ полдня знойный,
И надъ водой отъ стада гулъ нестройный,
И въ лонѣ водъ, какъ сквозь стекло,
Село?
Тамъ на зарѣ пичужка пѣла,
Даль озарялась и свѣтлѣла,
Туда, туда душа моя летѣла:
Казалось сердцу и очамъ
Все тамъ“.

Поэтъ, даже не родной Бунинымъ, князь И. М. Долгорукій, воспѣлъ Мишенскую долину въ своей одѣ, которую посвятилъ Аннѣ Петровнѣ Зонтагъ. Обращаясь къ этой долинѣ, Долгорукій оканчиваетъ восклицаніемъ:

Дай, сердце, имя ей: — блаженная долина!

Позже, конечно, Мишенское представляло другое зрѣлище. Эта деревня, послѣ раздѣла между наслѣдниками А. И. Бунина, ничтожнымъ своимъ доходомъ не только не могла поддерживать всѣхъ строеній, оранжерей и прудовъ, но даже не могла прокормить огромной дворни, при ней находившейся. Строеніе сгнило и развалилось; Анна Петровна жила совершенно одна, подъ скромною соломенною кровлей. Пруды, сорвавъ плотины, утекли, садки поросли камышомъ, ручеекъ наполнился тростникомъ, а въ паркѣ дорожекъ уже нѣтъ. Лишь источникъ, чьи кристально-прозрачныя струи пятнадцатилѣтній Жуковскій сравнивалъ съ безгрѣшнымъ рожденіемъ человѣка, журчитъ попрежнему.

Зейдлицъ.

Домашнее воспитаніе Жуковскаго.

Воспитаніе Жуковскаго гораздо плодотворнѣе пошло, когда маленькій Жуковскій окончательно поселился въ семействѣ своей крестной матери Варвары Аѳанасьевны Юшковой, которая въ 1785 г.

вышла замужъ за Юшкова и поселилась въ Тулѣ, гдѣ служилъ ея мужъ. Послѣ неудачныхъ попытокъ въ пансіонѣ и въ училищѣ Варвара Аѳанасьевна окончательно взяла крестника къ себѣ и рѣшилась дать ему воспитаніе домашнее, въ кругу своихъ дочерей — сверстницъ Жуковскаго. Общество маленькаго поэта теперь состояло исключительно изъ дѣвочекъ — ихъ было много, около 12 человѣкъ, и всѣ онѣ, большею частью, были его сверстницами. Это обстоятельство, замѣтимъ, не могло не имѣть вліянія на развитіе природной мягкости, идеалистичности характера поэта. Среди этого общества закончилось его первое домашнее воспитаніе. Ученье и здѣсь, разумѣется, не могло быть слишкомъ серіознымъ, хотя въ домѣ Варвары Аѳанасьевны было много разныхъ учителей и гувернантокъ; впрочемъ, 12-лѣтній поэтъ не хотѣлъ отставать отъ дѣвочекъ и училъ съ ними одни и тѣ же уроки.

Но если систематическое ученье шло незавидно, то въ домѣ Юшковыхъ были такіе образовательные элементы, которые могли будущему поэту замѣнить многое. Домъ Юшковыхъ былъ центромъ всей провинціальной тульской умственной жизни. Здѣсь собирались всѣ лучшія силы, — литературныя и музыкальныя, — какія только находились въ городѣ. Вокругъ образованной и любезной хозяйки образовался цѣлый литературно-музыкальный кружокъ, преданный вполнѣ литературнымъ и музыкальнымъ интересамъ. Всѣ, кто интересовался современной литературой — русской и иностранной, кто любилъ музыку — всѣ собирались въ домѣ Варвары Аѳанасьевны. Она была душою всего общества. „Варвара Аѳанасьевна, — говоритъ современникъ, — устроила у себя литературные вечера, гдѣ новѣйшія произведенія школы Карамзина и Дмитріева, тотчасъ же послѣ появленія своего въ свѣтъ, дѣлались предметомъ чтеній и сужденій. Романами русская словесность не могла въ то время похвалиться; потребность въ произведеніяхъ этого рода удовлетворялась лишь сочиненіями французскими. Романсы Нелединскаго повторялись съ восторгомъ. Музыкальные вечера у Юшковыхъ скоро превратились въ концерты. Варвара Аѳанасьевна занималась даже управленіемъ тульскаго театра. Тутъ собственно, — прибавляетъ онъ, — литературное настроеніе привилось къ Жуковскому“. Литературно-поэтическимъ вкусамъ будущаго поэта, дѣйствительно, было гдѣ развиться. Насколько сильно были привиты къ семейству Юшковыхъ умственные интересы, — отчасти можно видѣть и на собственныхъ дочеряхъ Варвары Аѳанасьевны: изъ нихъ одна (въ замужествѣ Зонтагъ) извѣстна многими прекрасными книгами для дѣтскаго чтенія, особенно прекраснымъ изложеніемъ для нихъ священной исторіи; другая (въ замужествѣ сначала за Кирѣевскимъ, потомъ за Елагинымъ) напечатала нѣсколько переводныхъ статей въ журналахъ. Дѣти послѣдней отъ перваго брака, братья Кирѣевскіе, также слишкомъ извѣстны въ нашей литературѣ.

При такомъ преобладаніи въ семьѣ литературныхъ и эстетическихъ вкусовъ, неудивительно, что маленькій поэтъ очень скоро на-

чалъ и самъ пробовать въ этой сферѣ свои силы. „Василій Андреевичъ, — разсказываетъ д-ръ Зейдлицъ, — уже на 12-мъ году отъ рожденія отважился на составленіе и постановку какой-то трагедіи. Поводомъ къ этому было обѣщаніе Марьи Григорьевны (мать Варвары Аѳанасьевны) пріѣхать на зиму (1795 г.) въ Тулу погостить у своей дочери. Жуковскій къ этому пріѣзду готовилъ большой праздникъ. Онъ написалъ трагедію: „Камиллъ, или освобожденіе Рима". Избралъ для себя роль героя пьесы, нарядилъ всѣхъ учениць домашняго пансіона, отъ 17-ти до 3-лѣтняго возраста, въ одежды римскихъ консуловъ и сенаторовъ и, разумѣется, какъ авторъ и актеръ, увѣнчался полнымъ успѣхомъ. Общій восторгъ такъ польстилъ Жуковскому, что онъ немедленно принялся опять за новую пьесу: „Павелъ и Виргинія". Но ожидавшееся трогательное впечатлѣніе на зрителей не сбылось, — артисты не поняли своихъ ролей, — и вторая трагедія молодого сочинителя потерпѣла fiasco".

Въ такой обстановкѣ будущій поэтъ провелъ самые первые годы своей жизни. Наступила пора болѣе серіознаго образованія. Въ январѣ 1797 г. 14-лѣтняго Жуковскаго отвезли въ Москву и включили въ Московскій благородный университетскій пансіонъ.

Для поэта начался новый періодъ жизни (1797—1801). Общество дѣвочекъ замѣнилось кругомъ товарищей. Въ нихъ особенно посчастливилось Жуковскому. Его товарищами по пансіону были: братья Тургеневы, Александръ и Андрей, Блудовъ, Дашковъ, кн. Вяземскій, Уваровъ и др.

Архангельскій.

Ѳ. Г. Покровскій — первый наставникъ Жуковскаго.

Покровскій родился въ 1763 г., съ 1776 г. учился въ Сѣвской семинаріи, а съ 1783 г. въ Петербургской учительской гимназіи. 22 сентября 1786 г. онъ былъ опредѣленъ учителемъ въ Тульское главное народное училище и, вскорѣ послѣ учрежденія гимназіи, переименованъ въ старшіе учителя Тульской гимназіи (7 августа 1804 г.). Онъ не былъ спеціалистомъ по одной какой-нибудь наукѣ. Въ ноябрѣ 1800 г. Покровскій „по ордеру, данному по Высочайшему повелѣнію отъ тульскаго гражданскаго губернатора Томилова, употребленъ былъ для отысканія торфа". Въ слѣдующемъ году отъ преемника его, генералъ-маіора Иванова, вторично предписано Покровскому отыскивать торфъ въ Тульской губерніи. Вслѣдствіе этого Покровскій обозрѣлъ всю Тульскую губернію и нашелъ во многихъ мѣстахъ торфъ и въ нѣкоторыхъ земляной уголь, о чемъ и донесъ упомянутымъ губернаторамъ. При преобразованіи Тульскаго главнаго народнаго училища въ гимназію Покровскій по предписанію тогдашняго попечителя Московскаго учебнаго округа, Михаила Никитича Муравьева, кромѣ своей должности, отправлялъ должность учителя *политической экономіи и россійской словесности* (съ 1804 по 1808 г.). Въ 1812 г., во время вторженія непріятеля въ Москву,

отправленъ былъ съ казеннымъ имуществомъ гимназіи въ городъ Данковъ, Рязанской губерніи, и черезъ три мѣсяца благополучно назадъ возвратился. Херасковъ хвалилъ „мысли и чувства Покровскаго". Лучшею для себя похвалою Покровскій считалъ наименованіе филантропа. Онъ восторгался „человѣколюбивымъ и нѣжнымъ" выраженіемъ *Наказа* Екатерины II: „лучше простить десять виновныхъ нежели наказать одного неповиннаго". Въ прозаической статьѣ оплакалъ Покровскій смерть этой „человѣколюбивой и милостивой государыни". Корень всѣхъ человѣческихъ преступленій, — по словамъ Покровскаго,—есть „невѣжество со всѣми наперсниками своими". Но одно просвѣщеніе разума (продолжаетъ философъ) не достаточно: „и могутъ ли люди назваться прямо просвѣщенными, ежели не добродѣтельны? Просвѣщенный разумъ, но развращенное пороками сердце пагубнѣе самаго невѣжества... Просвѣщеніе и добродѣтель! — вотъ важнѣйшіе предметы и цѣль истиннаго воспитанія, воспитанія, толико уважаемаго просвѣщенными народами, колико пренебрегаемаго невѣждами!— цѣль истиннаго благополучія человѣка и всего человѣчества". Улучшеніе правосудія въ Россіи было любимою мечтою филантропа. Провожая въ могилу Екатерину II, Покровскій говорилъ: „Законы всегда составляютъ первое основаніе благополучія народовъ; и они-то суть главнѣйшія черты, открывающія свойства владыкъ сего міра". Въ царствованіи императора Павла I Покровскій опять возвращается къ законамъ, къ правосудію: „Благословенны тѣ нѣжныя и чувствительныя души, тѣ благодѣтельные друзья человѣчества, которые, держа въ рукахъ вѣсы правосудія, не наклоняютъ ихъ по пристрастіямъ, которые всѣмъ сердцемъ защищаютъ невинность, которые стараются не отяготить, но облегчить участь слабаго человѣчества... О исполнители правосудія! что если святая вѣра не напечатлѣваетъ въ вашемъ сердцѣ, душѣ и духѣ сего правосудія; если вы не внемлете божественному гласу законовъ, устами мудрыхъ законодателей къ вамъ вопіющему: горе, горе вамъ! — вы рождены съ слабостьми, общими всѣмъ человѣкамъ, а вы хладнокровно бросаете на нихъ камень, какъ будто сами праведные". Вступленіе на престолъ императора Александра I, Покровскій привѣтствуетъ такимъ предсказаніемъ: „Онъ побѣдитъ ихъ (свои народы) любовію, кротостію, милосердіемъ. Вѣсы правосудія не будутъ наклоняться по пристрастіямъ. Онъ окончитъ то огромное зданіе законовъ, которому Екатерина сдѣлала чертежъ въ безсмертномъ своемъ проектѣ новаго Уложенія. Она въ немъ оставила неразрѣшимый гордіевъ узелъ потомству, который намъ премудрый Александръ не разсѣчетъ по примѣру Македонскаго Александра, но развяжетъ со всѣмъ искусствомъ безсмертнаго законодателя и тѣмъ пресѣчетъ грубые корни злобы и коварства, препятствующіе распространяться благовоннымъ злакамъ правоты и невинности". Въ рядѣ небольшихъ статей подъ заглавіемъ *Созерцаніе природы со стороны ея экономіи относительно къ человѣку* Покровскій, на основаніи сочиненія „одного новѣйшаго философа", разсма-

триваетъ „ту часть экономіи природы, которая относится собственно къ человѣку, а *особливо къ его участи послѣ сей жизни*“. Свое *извлеченіе* изъ „новѣйшаго философа“ Покровскій заключаетъ слѣдующими словами: „О вы, которые проливаете слезы въ молчаніи; которыхъ въ смутные часы тревожитъ меланхолія со всѣми слѣдствіями страшныхъ сомнѣній! Я бы желалъ хотя нѣсколько спомоществовать вашему успокоенію. Ежели вы теперь несете обременительную тяжесть, тѣмъ радостнѣе для насъ будетъ, когда ее снимутъ. Но всегдашній отвѣтъ несчастныхъ людей есть: мы бы охотно желали сносить наше страданіе, но уже недостаетъ силъ къ терпѣнію. Хорошо! но... въ то мгновеніе, когда уже нѣтъ больше возможности сносить оную—и кончатся наши страданія. О если бъ я могъ отвлечь хотя единый радостный взглядъ къ будущей жизни отъ вашихъ глазъ, отягченныхъ прискорбіями, и унять ваши слезы, хотя черезъ одну улыбку!... Религія есть превосходнѣйшая утѣшительница; она говоритъ о будущей жизни въ величественныхъ картинахъ. Изслѣдывающій духъ хочетъ также узнать физическую возможность дѣла. Къ сему я столько способствовалъ, сколько могъ“. Но этотъ тульскій педагогъ прошлаго вѣка, геологъ и политико-экономъ, — Покровскій всецѣло принадлежитъ тому направленію литературы, которое охватило Жуковскаго въ классахъ университетскаго благороднаго пансіона. Онъ преданъ прелестямъ сельской жизни. Въ „сельской неприхотливой кущѣ“ своего друга—въ П—щевѣ—онъ наслаждается закатомъ солнца, въ пріятныя минуты деревенской жизни — минуты, въ которыя онъ слагаетъ съ себя все бремя бездѣйственной суетности, — *онъ чувствуетъ бытіе свое*... „Только въ пріятномъ уединеніи селъ несокрушены еще жертвенники невинности и счастія“. Большіе города представляются ему „великолѣпными темницами“. Мечтанія въ лунную ночь возбуждаютъ въ Покровскомъ „чувство человѣколюбія“ къ преступнымъ узникамъ тюрьмы, а вечерняя прогулка весною по темному лѣсу заставляетъ его чувствовать бѣдствія человѣческія и призывать благотворителей для ихъ исцѣленія. Въ этомъ темномъ лѣсу мечтатель встрѣчаетъ нищаго крестьянина, который „жилъ спокойно въ нѣдрѣ своего семейства до тѣхъ поръ, пока плачевный слухъ, ужаснѣйшій громоваго удара, поразилъ всѣхъ крестьянъ той деревни. Всѣ говорили съ неизъяснимымъ сокрушеніемъ (продолжаетъ разсказывать нищій), что ихъ продали на вывозъ, — ихъ поведутъ на поселенье въ дикія, пустыя степи—въ мѣста, ихъ прадѣдами неслыханныя, куда хищный вранъ утлыхъ костей человѣческихъ никогда не занашивалъ. Ахъ! можно ли изобразить тогдашнее смятеніе ихъ деревни! Когда уже время приближалось почти къ глубокой осени—когда по опредѣленію злобнаго рока должно было оставить свое жилище, тогда всѣ съ неописаннымъ воплемъ, съ уныніемъ, удручающимъ душу и сердце, всѣ, какъ будто преступники, осужденные къ смертной казни, отправились въ путь“. Тронутый разсказомъ крестьянина, потерявшаго на войнѣ руку и обѣ ноги, мечтатель восклицаетъ: „Человѣки! существа

благотворительныя! Съ какимъ чувствованіемъ вы взираете на слезы, вздохи, мученія подобнаго вамъ существа, возсылающаго съ ними свою жалобу Вездѣсущему и Всевѣдущему?... Загляните внутрь сердца вашего: съ какимъ тайнымъ удовольствіемъ оно возбуждаетъ васъ къ священнѣйшей должности — любить. Разсматривайте натуру, сію милостивую мать вашу, и учитесь у нея благотворить. Сія ночь, сіи ароматы, сія роса, сей сонъ (ахъ! можно ли все исчислить!) суть очевидные знаки ея милосердія, которыми она васъ благословляетъ" Такія картины проходили передъ нашимъ мечтателемъ въ сельскомъ уединеніи: „философъ горы Алаунской" не былъ сентиментальнымъ идилликомъ; трезвое чувство дѣйствительности не позволяло ему предаваться безпредметнымъ мечтаніямъ романтиковъ и самодовольно растравлять въ себѣ „священную меланхолію". Пріятель извѣстнаго впослѣдствіи князя П. Шаликова, Покровскій философствовалъ съ нимъ порою надъ могилами сельскаго кладбища, при „томномъ меланхолическомъ свѣтѣ луны", но „чувствительность его благороднаго сердца" не имѣла ничего похожаго на болѣзненную слезливость его собесѣдника. „Мысли и чувства" Покровскаго одобрялись не однимъ Херасковымъ. Въ 1813 г., по предложенію министра народнаго просвѣщенія, сочиненіе Покровскаго подъ названіемъ *„Философъ горы Алаунской"* напечатано „на казенный коштъ и за вычетомъ издержекъ отдано въ его пользу". Въ концѣ прошлаго вѣка Покровскій былъ извѣстнѣйшимъ изъ тульскихъ литераторовъ. Онъ, несомнѣнно, являлся на литературные вечера Юшковой въ Тулѣ. Припомнимъ, что въ университетскомъ пансіонѣ сочиненія Покровскаго входили въ кругъ *обязательнаго* внѣкласснаго чтенія воспитанниковъ. Мы сочли необходимымъ возстановить истинныя черты этого филантропа и педагога-писателя, исключившаго Жуковскаго изъ высшаго народнаго училища,—черты, нерѣдко затемняемыя въ біографіяхъ Жуковскаго. Одинъ изъ друзей поэта, П. А. Плетневъ, говоритъ о школьныхъ занятіяхъ его въ Тулѣ: „Первые опыты собственно называемаго ученія не принесли большой пользы Жуковскому, потому что наставники не угадали его призванія. Изъ него хотѣли сдѣлать математика, а онъ все оставлялъ для поэзіи. Страсть къ сочиненіямъ театральнымъ обыкновенно прежде всего раскрывается въ дѣтяхъ съ живымъ воображеніемъ. Она овладѣла и Жуковскимъ, лишь только помѣстили его въ Тульское народное училище. Ревностный къ должности своей учитель, Ѳ. Г. Покровскій, выведенъ былъ изъ терпѣнія *невнимательнымъ* ученикомъ, рѣшился, въ назиданіе товарищамъ Жуковскаго, исключить его изъ училища". Справедливѣе было бы сказать, что въ Тулѣ, избалованный прелестями дѣтскихъ забавъ дѣвическаго круга, Жуковскій *не внималъ* серіозному ученію общественной школы. Нужно было оторвать его отъ этого очарованія, чтобы заставить его учиться. И въ началѣ 1797 г. Жуковскій дѣйствительно оторванъ былъ отъ любимицъ дѣтства, онъ былъ отвезенъ въ Москву и помѣщенъ въ Университетскій благородный пансіонъ: на новой почвѣ на-

чалась пора серіознаго ученія, которому отдался Жуковскій со всѣмъ жаромъ юношескаго одушевленія. Новыми симпатіями, новыми сердечными связями согрѣта была эта пора его московской школьной жизни: простое, нѣжное сердце провинціала широко открылось вліянію слова и нравственному обаянію новыхъ друзей и наставниковъ, не дававшихъ классныхъ уроковъ... *Тихонравовъ.*

Жуковскій въ университетскомъ благородномъ пансіонѣ.

Въ началѣ 1797 г. Жуковскій поступилъ въ Московскій университетскій благородный пансіонъ. Потому ли, что перенесенный въ иную атмосферу онъ иначе, серіознѣе, нежели въ Тульскомъ училищѣ, сталъ относиться къ своимъ ученическимъ обязанностямъ, — или потому, что при многопредметности и разнообразіи учебнаго плана пансіона [1]) постановка учебнаго дѣла въ немъ позволила Жуковскому ограничиться занятіями по тѣмъ предметамъ, къ которымъ онъ былъ склоненъ и способенъ, — только въ слѣдующемъ 1798 г. нашъ поэтъ былъ признанъ и товарищами и начальствомъ, вмѣстѣ съ другимъ ученикомъ, Костомаровымъ, лучшимъ „въ ученіи и поведеніи", первымъ „въ благонравіи и прилежаніи", — и на торжественномъ актѣ пансіона 14-го ноября 1798 г. Жуковскому было поручено читать „сочиненную имъ рѣчь (о добродѣтели), приличную сему случаю" [2]). Успѣхи Жуковскаго въ русской словесности, въ стихотворствѣ, повидимому, при издавна господствовавшемъ въ пансіонѣ литературномъ направленіи, наиболѣе выдвигали его среди товарищей. Уже въ самый годъ поступленія его въ пансіонъ въ журналѣ „Пріятное и полезное препровожденіе времени" (часть XVI) печатается прозаическая статья его „Мысли при гробницѣ" и стихотвореніе „Майское утро"; въ этомъ же 1797 г. на публичномъ актѣ 19-го декабря Жуковскій читаетъ свою оду „Благоденствіе Россіи, устрояемое великимъ ея самодержцемъ Павломъ Первымъ"; на актѣ слѣдующаго года (22-го декабря 1798 г.) онъ читаетъ свое стихотвореніе „Добродѣтель" („Отъ свѣта свѣтовъ лучъ излился") и помѣщаетъ въ „Пр. и пол. препровожденіи вр." (чч. XVII, XX) другое стихотвореніе „Добродѣтель" („Подъ звѣзднымъ кровомъ тихой ночи") и прозаическія статьи: „Миръ и война", „Жизнь и источникъ". Къ 1799—1800 гг. относятся стихотворенія Жуковскаго: „М. М. Хераскову", „Могущество, слава и благоденствіе Россіи", „Стихи на новый 1800 годъ", „Къ Тибуллу", „Миръ", „Платону", „Герой" [3]), и прозаическія статьи: „Къ надеждѣ", „Мысли на кладбищѣ", „Истинный герой".

---

[1]) Тихонравовъ, соч. III, ч. 1, стран. 410.

[2]) Актъ, бывшій въ универс. благородномъ пансіонѣ 14 ноября 1798 г., „Москвитянинъ", 1847 г., ч. III, стр. 54 и сл.

[3]). Впервые извлеч. изъ рукописей въ изданіи Маркса подъ ред. проф. Архангельскаго, т. I, стр. 10—22.

Всѣ эти сочиненія носятъ на себѣ признаки талантливой, но еще ученической пробы пера для выраженія мыслей и настроеній, возникшихъ подъ вліяніемъ условій, среди которыхъ жилъ теперь Жуковскій.

Рѣзановъ.

Вліяніе окружающей среды на творчество Жуковскаго.

„Время ученія Жуковскаго въ университетскомъ благородномъ пансіонѣ составляетъ безспорно важнѣйшую эпоху въ его жизни, до сихъ поръ недостаточно оцѣненную",—сказалъ покойный Н. С. Тихонравовъ [1]), и самъ онъ много сдѣлалъ для выясненія и оцѣнки этого періода жизни и литературной дѣятельности поэта. Захвативъ и періодъ предшествовавшій, а затѣмъ идя по дорогѣ, указанной Тихонравовымъ, я ставилъ задачей своихъ разысканій о сочиненіяхъ пансіонскаго періода жизни Жуковскаго разрѣшеніе вопроса о томъ, какъ и подъ какими вліяніями окружающей среды начала развиваться писательская дѣятельность нашего поэта, въ какихъ отношеніяхъ стоялъ онъ къ источникамъ этихъ вліяній и къ нашей тогдашней литературѣ вообще.

Изслѣдованіе приводитъ къ выводу, что Жуковскій, вырастая въ семьѣ, интересовавшейся литературой, театромъ, съ дѣтства обнаруживаетъ сильную склонность къ литературному творчеству; попавъ въ учебное заведеніе съ укоренившимся и преобладавшимъ литературнымъ направленіемъ, выразившимся въ изданіи такихъ сборниковъ, какъ „Распускающійся Цвѣтокъ", „Полезное Упражненіе Юношества", — Жуковскій встрѣтилъ здѣсь всякое поощреніе въ занятіяхъ писательствомъ; и на выборъ темъ, и на обработку, и освѣщеніе, тенденцію сочиненій оказали сильнѣйшее вліяніе взгляды и міросозерцаніе людей, въ средѣ которыхъ вращался будущій писатель. Молодого Жуковскаго охватила идеалистическая атмосфера семьи Тургеневыхъ, И. В. Лопухина и другихъ членовъ бывшаго новиковскаго „Дружескаго Ученаго Общества" и „Компаніи Типографической". Пансіонское начальство съ Прокоповичемъ-Антонскимъ во главѣ установило кругъ обязательнаго поучительнаго чтенія пансіонеровъ, устраивало ученическіе спектакли, ставя на сцену поучительныя пьесы, побуждало своихъ питомцевъ къ литературной дѣятельности; порою прямо ученикамъ задавалось приготовить стихи, рѣчь; организованы были литературныя собранія, сталъ выходить спеціальный органъ — „Утренняя Заря".

Писательство Жуковскаго въ пансіонѣ зависѣло отъ внушавшихся ему школьныхъ правилъ, теоріи, отъ вліянія преподавателей, руководившихъ и направлявшихъ опыты своихъ питомцевъ. Школьникъ Жуковскій долженъ былъ отдать обильную дань корифеямъ предшествовавшей литературы—Ломоносову, Державину, сочиненія которыхъ

---

[1]) Соч. *Тихонр.* III, ч. 1, стран. 396.

продолжали считаться тогда высочайшими образцами, недосягаемымъ идеаломъ поэтическаго творчества; Жуковскій и его товарищи заимствовали у нихъ образы, выраженія, порою цѣлыя мѣста, стремились усвоить ихъ „монументальный“ стиль.

Начавъ, однако, свое поэтическое поприще въ то время, когда очень моднымъ костюмомъ была „флеровая мантія меланхоліи“, которою такъ любили драпироваться тогдашніе сентименталисты, проливавшіе слезы подъ Симоновымъ монастыремъ у Лизина пруда,—Жуковскій рѣшительно сталъ въ ряды литературнаго теченія, представленнаго тогда въ Москвѣ такими журналами, какъ „Пріятное и полезное препровожденіе времени“ и „Иппокрена“, съ Подшиваловымъ и Сохацкимъ во главѣ; Жуковскаго увлекъ потокъ этого теченія, онъ подчинился признаваемымъ здѣсь литературнымъ авторитетамъ, русскимъ и иноземнымъ (Юнгъ, Макферсонъ и проч.), усвоилъ и твердилъ уроки этой своей литературной школы; онъ набрасывалъ идиллическія сцены крестьянъ и деревни, рисовалъ меланхолическія картины, копируя страницы названныхъ журналовъ; восхвалялъ, вслѣдъ за своими авторитетами, смерть, представляя ее благомъ, и, гуляя мыслью по кладбищамъ,

Пѣлъ поблекшій жизни цвѣтъ
Безъ малаго въ восьмнадцать лѣтъ.

Онъ опередилъ, однако, другихъ представителей той же школы въ области версификаціи, сообщивъ своему стиху мягкость и благозвучіе, которыя приводили въ восхищеніе современниковъ.

Рѣзановъ.

Московскій благородный пансіонъ и его вліяніе на поэтическую дѣятельность Жуковскаго.

Московскій благородный пансіонъ, возникшій въ 1779 г. при Московскомъ университетѣ, представлялъ очень хорошее подготовительное заведеніе къ университету. Впрочемъ, онъ былъ совершенно самостоятельнымъ средне учебнымъ заведеніемъ, и многіе ограничивались только имъ. Съ образовательнымъ характеромъ и цѣлями этого заведенія насъ нѣсколько знакомитъ *объявленіе, напечатанное отъ пансіона въ 1783 г.*, передъ пріемомъ воспитанниковъ. „При семъ университетскомъ, преимущественно для благородныхъ учрежденномъ, вольномъ пансіонѣ, — читаемъ въ объявленіи, — за главную цѣль взяты три предмета: 1) научить дѣтей, просвѣтить ихъ разумъ полезными знаніями, 2) вкоренить въ сердца ихъ благонравіе и 3) сохранить ихъ здравіе...“ Относительно самаго преподаванія, „Импер. Московскій университетъ, — читаемъ далѣе въ объявленіи, — въ пансіонѣ своемъ преемлетъ на себя обучать питомцевъ, во-первыхъ, основательному познанію христіанскаго закона, потомъ самонужнѣйшимъ свѣтскимъ наукамъ, какъ-то: всей чистой математикѣ,

т.-е. ариѳметикѣ, геометріи, тригонометріи и алгебрѣ, нѣкоторымъ частямъ смѣшанной математики и въ особенности артиллеріи и фортификаціи; тако жъ философіи, особливо нравственной (моральной), исторіи и географіи, и россійскому стилю, присовокупя къ тому искусство рисовать карандашомъ, тушью и сухими красками, танцовать, фехтовать и музыкѣ; а наконецъ и разнымъ языкамъ, яко нужнымъ орудіемъ учености, какъ то: россійскому, нѣмецкому, французскому, англійскому и италіанскому, а кому угодно будетъ — тако жъ латинскому и греческому". Преподаваніе наукъ въ пансіонѣ было вручено нѣкоторымъ профессорамъ университета и особымъ учителямъ. Въ пансіонѣ вполнѣ окрѣпли и развились литературные вкусы нашего поэта, возникшіе при такой благопріятной семейной обстановкѣ. Большихъ серіозныхъ познаній въ пансіонѣ воспитанники, конечно, получить не могли; но обстановка пансіона какъ нельзя лучше способствовала общему развитію умственныхъ способностей воспитанниковъ. Въ словесномъ отдѣленіи, куда поступилъ Жуковскій (пансіонъ состоялъ изъ нѣсколькихъ отдѣленій, хотя и не офиціальныхъ, но существовавшихъ фактически) занятія литературой были сильно развиты среди учениковъ. Сочиненія и переводы съ новыхъ иностранныхъ языковъ были любимымъ ихъ занятіемъ. Подъ руководствомъ преподавателей ученики нерѣдко собирались читать свои оригинальные и переводные опыты, подвергая ихъ здѣсь же товарищеской, безпристрастной критикѣ. Лучшіе изъ такихъ опытовъ потомъ печатались въ современныхъ періодическихъ изданіяхъ. Ученикамъ старшихъ классовъ дозволялось посѣщать университетскія лекціи, — это еще болѣе поддерживало и развивало умственные вкусы воспитанниковъ. На второмъ году пребыванія Жуковскаго въ пансіонѣ, въ 1798 г., здѣсь даже возникло среди воспитанниковъ особое литературное общество — „Собраніе"; первымъ предсѣдателемъ его избранъ былъ Жуковскій. Сохранившійся уставъ общества весьма любопытенъ. Первый параграфъ устава говоритъ: „Цѣль собранія — исправленіе сердца, очищеніе ума и вообще обрабатываніе вкуса". Въ параграфѣ пятомъ о занятіяхъ общества говорится, что въ каждомъ засѣданіи члены будутъ читать, по очереди, рѣчи о разныхъ, большею частью, нравственныхъ (моральныхъ) предметахъ, на русскомъ языкѣ; будутъ разбирать критически собственныя свои сочиненія и переводы; будутъ судить о примѣчательнѣйшихъ произведеніяхъ историческихъ, а иногда будутъ читать, также по очереди, образцовыя отечественныя сочиненія въ стихахъ и прозѣ, съ выраженіемъ чувствъ и мыслей авторскихъ и съ критическимъ показаніемъ красотъ ихъ и недостатковъ. Къ такому чтенію и разбору чередной долженъ предварительно приготовиться". Члены общества должны были имѣть и практическую дѣятельность: „они непремѣннымъ и святымъ долгомъ своимъ поставятъ, — читаемъ въ четырнадцатомъ параграфѣ устава, — непрестанно возбуждать всѣхъ вообще товарищей своихъ, какъ примѣрами, такъ и дружескими совѣтами, къ надлежащему выполненію ихъ обязанностей, т.-е. чтобы

они сохранили, какъ драгоцѣнное сокровище, чистоту нравовъ; чтобы всѣ они были прилежны, кротки, учтивы не только къ высшимъ себѣ, но къ равнымъ и низшимъ; словомъ, чтобы благородные воспитанники были прямо благородны и сердцемъ и умомъ".

Умственная обстановка пансіона весьма много способствовала поэтическому развитію Жуковскаго. Съ перваго же года поступленія его въ пансіонъ, въ печати появляются его первые литературные опыты. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ его отъѣзда умерла, въ томъ же 1777 г., его крестная мать и воспитательница Варвара Аѳанасьевна Юшкова; подъ вліяніемъ этого горя, Жуковскій написалъ свой первый печатный опытъ: *Мысли при гробницѣ*, которыя и были напечатаны въ томъ же году, въ одномъ журналѣ, съ обстоятельнымъ указаніемъ, что ихъ „сочинилъ благороднаго университетскаго пансіона воспитанникъ Василій Жуковскій". Уже въ этомъ первомъ опытѣ мы встрѣчаемъ первый зародышъ будущаго направленія его поэзіи. „Живо почувствовалъ я, — говоритъ здѣсь 14-лѣтній писатель,—ничтожность всего подлуннаго; вселенная представилась мнѣ гробомъ... Смерть! лютая смерть! — взываетъ онъ: — когда утомится рука твоя, когда притупится лезвее страшной косы твоей, и когда, когда перестанешь ты посѣкать все живущее, какъ злаки дубравные?... Ты неумолима... Все гибнетъ подъ сокрушительными ударами косы твоей..." Впрочемъ, юноша-писатель находитъ себѣ утѣшеніе: „Но почто смущаться сею мыслью—продолжаетъ онъ,—развѣ нѣтъ оплотовъ противъ ужасовъ смерти? Взгляни на сей лазоревый сводъ: тамъ обитель мира, тамъ царство истины, тамъ Отецъ любви... Кто не угнеталъ слабыхъ, кто не притѣснялъ невинныхъ и на кого горькая слеза сироты не вопіяла на небо, кто всѣхъ любилъ, какъ братій своихъ, всѣмъ по возможности старался дѣлать добро, — тому нечего бояться. Смерть для него будетъ торжествомъ..."

За первымъ опытомъ непосредственно послѣдовали другіе. Съ 1797 года по 1801 годъ, въ продолженіе пятилѣтней пансіонской жизни, Жуковскимъ были написаны и тогда же напечатаны: *Майское утро* (1797), *Добродѣтель* (1798), *Миръ* (1800), *Къ Тибуллу* (1800), *Къ человѣку* (1801) и др. Эти первые литературные опыты весьма интересны для изученія только что начинавшагося слагаться міросозерцанія юноши-поэта. Молодую головку начинаютъ все чаще и чаще посѣщать невеселыя мысли.

14-лѣтняго мальчика поражаетъ быстротечность жизни, непрочность всего земного. Въ этомъ, можетъ-быть, отчасти сказалась и неожиданная, какъ громомъ поразившая поэта, смерть его крестной матери, которую онъ такъ любилъ. Вся наша жизнь, — говоритъ онъ въ посланіи *Къ Тибуллу*, — лишь только мигъ:

Какъ молнья, время скоротечно!
На быстрыхъ крыліяхъ своихъ
Оно летитъ, и все съ нимъ гибнетъ!
Едва на дневный свѣтъ мы взглянемъ,

Едва себя мы ощутимъ
И жизнью радоваться станемъ, —
Уже въ сырой землѣ лежимъ,
Ужъ мы добыча разрушенья!

Жизнь кажется ему бездной слезъ и страданій.

Счастливъ стократъ —

говоритъ онъ въ *Майскомъ утрѣ* —

Тотъ, кто, достигнувъ
Мирнаго брега,
Вѣчнымъ спитъ сномъ.

Но меланхолическая печаль поэта о скоротечности жизни, о ея горестяхъ не переходитъ въ пессимизмъ; въ томъ же посланіи *Къ Тибуллу* поэтъ продолжаетъ:

Тибуллъ, нельзя, чтобы природа
Лишь для червей насъ создала;
Чтобъ мы, проживши два, три года,
Прошедъ сквозь мрачны дебри зла, —
Съ лица земли, какъ тѣни скрылись!
Но что винить боговъ напрасно?
Себя мы можемъ пережить;
Любя добро и мудрость страстно,
Стремясь друзьями міру быть,
Мы живы въ самомъ гробѣ будемъ!

Въ стихотвореніи „Добродѣтель", указывая на всесильное могущество времени, уничтожающаго все живое, на тлѣнность и разрушаемость самыхъ памятниковъ, воздвигаемыхъ героямъ, поэтъ спрашиваетъ:

Что жъ покажетъ, что мы жили,
Когда все время рушитъ такъ?

и отвѣчаетъ, что не камень и не обелиски прославятъ насъ —

...останутся нетлѣнны
Одни лишь добрыя дѣла.
Ничто не можетъ ихъ разрушить,
Ничто не можетъ ихъ затмить!

Стихотвореніе *Къ человѣку* (1801) хорошо рисуетъ общее міровоззрѣніе 17-лѣтняго поэта:

Ничтожный человѣкъ! Что жизнь твоя? Мгновенье!
Взглянулъ на дневный лучъ — и нѣтъ тебя — пропалъ!
Изъ тьмы небытія злой рокъ тебя призвалъ
На то лишь, чтобъ предать въ добычу разрушенью;
Какъ быстра тѣнь, мелькаешь ты!
Игралище судьбы, волнуемый страстями...
Что твой парящій умъ? Что замыслы твои?
Дыханье вѣтерка — и гдѣ ты, прахъ надменный,
Гдѣ жизни твоея слѣды?
Чего жъ искать тебѣ въ сей пропасти мученій?
Скорѣй, скорѣй въ ничто!...
Твое убѣжище лишь смерть!..."
Такъ въ гордости своей —

продолжаетъ поэтъ —

безумецъ возстаетъ на небо...

Поэтъ не соглашается съ такимъ пессимистическимъ взглядомъ на судьбу человѣка: при всей скоротечности человѣческой жизни, для человѣка есть высокая цѣль:

Творецъ твой не тиранъ, —

возражаетъ поэтъ пессимисту, —

ты страждешь отъ себя!
Онъ благъ, для счастія онъ въ жизнь призвалъ тебя, —
Изъ чаши радостей ты горесть испиваешь:
Ужели рокъ виновенъ въ томъ?
Безумецъ, пробудись! воззри на міръ пространный:
Все дышитъ счастіемъ, все славитъ жребій свой...
Ужели ты одинъ, природы царь избранный,
Краса всего, судьбой забвенъ?
Познай себя, познай? Коль въ дерзкомъ ослѣпленьи
Захочешь ты себя за край міровъ вознесть,
Сравниться со Творцомъ, — ты — непримѣтна персть!
Но ты великъ собой, сей міръ твое владѣнье,
Ты духомъ тварей властелинъ!...
Великимъ, мудрымъ быть — твое опредѣленье!...
Мужайся!...
Твой рай и адъ — въ тебѣ! Брань, брань твоимъ страстямъ!
Передъ тобой безсмертья вѣчный храмъ,
Ты смерти сломишь серпъ могучею рукою:
Могила — къ вѣчной жизни путь!...

Эти мысли пансіонскихъ стихотвореній уже намѣчали философское міровоззрѣніе будущей поэзіи только что начинавшаго сознавать себя молодого поэта.

Не безынтересной также чертой въ характеристикѣ 17-лѣтняго поэта можетъ служить его отвращеніе къ военной славѣ, къ войнѣ и всякимъ воинственнымъ подвигамъ; мирное, спокойное процвѣтаніе государства для него дороже всего. Еще въ 1798 г., 15 лѣтъ, въ небольшой статейкѣ *Миръ и война* Жуковскій проводитъ параллель между благополучіемъ, счастіемъ перваго и тѣми ужасами и бѣдствіями, которыя влекутся второю. Ту же мысль онъ развиваетъ и въ своемъ пансіонскомъ стихотвореніи *Миръ* (1800).

Тотъ сердца не имѣлъ, — говоритъ онъ здѣсь, — отъ камня тотъ родился,
Кто первый съ бѣшенствомъ на брата устремился.

Военную славу, добытую убійствами, поэтъ презираетъ: лишь злодѣй отыскиваетъ ее на поляхъ брани, —

Лишь онъ въ стенаніяхъ побѣдны гимны слышитъ,
Въ кровавыхъ грудахъ тѣлъ — трофеи чести зритъ;
Потомство извергу проклятіе гласитъ,
И лавръ его побѣдный тлѣетъ.

Обращаясь къ Россіи и къ россу и холодно вспоминая о побѣдахъ предшествовавшаго царствованія, поэтъ радуется, что теперь наступаетъ новый вѣкъ, который россу —

Миртъ, не лавръ приноситъ...
Возьми сей миртъ и снова будь героемъ,
Героемъ въ тишинѣ, — не въ кроволитномъ боѣ.
Будь міра гражданинъ...
Брось палицу свою,
Преобрази во плугъ свой мечъ...
Пусть роетъ онъ поля отчизны твоея;
Прямая слава въ ней, лишь въ ней ищи ея,
Лишь въ ней ея обрѣсть ты можешь.

Таковы основные мотивы пансіонскихъ стихотвореній Жуковскаго. Повторяемъ, уже въ нихъ, въ этихъ юношескихъ, почти дѣтскихъ произведеніяхъ поэта — намѣчается направленіе его будущей поэзіи. Нравственное міросозерцаніе поэта начало уже обрисовываться.

Ко времени пребыванія Жуковскаго въ пансіонѣ относится и начало его переводческой дѣятельности. Жуковскій рано научился иностраннымъ языкамъ, и переводы были для него дѣломъ не труднымъ. Первымъ переводомъ Жуковскаго былъ переводъ романа Коцебу, самаго моднаго тогдашнаго писателя: „Die jungsten Kinder meiner Laune“, названный Жуковскимъ въ переводѣ *Мальчикъ у ручья* (4 ч. М. 1801 г.). За свои переводы Жуковскій, кромѣ денегъ, сталъ получать отъ книгопродавцевъ и книги, изъ которыхъ къ концу пансіонской жизни, у него составилась цѣлая библіотека.

Осенью 1801 г., съ золотою медалью, окончилъ курсъ въ пансіонѣ 18-лѣтній Жуковскій. Пансіону онъ былъ обязанъ очень многимъ. Мы видѣли, уже въ пансіонскихъ опытахъ находились зародыши его будущей поэзіи. Правда, пансіонъ не обогатилъ поэта большими, серіозными знаніями, — но пансіонъ способствовалъ общему развитію его поэтическихъ дарованій; пансіонъ пріохотилъ поэта къ труду, къ занятіямъ, къ чтенію. Кромѣ того, пансіонъ далъ поэту общество молодыхъ даровитыхъ товарищей; со многими изъ нихъ Жуковскій и впослѣдствіи былъ связанъ самыми тѣсными нравственными связями.

Архангельскій.

Литературное направленіе университетскаго благороднаго пансіона.

Литературное направленіе склада учебной жизни въ благородномъ пансіонѣ составляло видную черту этого учебнаго заведенія. Уже на школьной скамьѣ воспитанники отдавали свои досуги литературнымъ трудамъ и печатали эти свои опыты.

Явленіе это не было, однако, чѣмъ-либо исключительнымъ. Учащаяся молодежь въ XVIII в. не разъ выступала въ качествѣ литературныхъ дѣятелей: студенты университета при Академіи Наукъ въ ка-

чествѣ обязательныхъ сотрудниковъ принимали участіе въ первомъ русскомъ популярномъ журналѣ, возникшемъ по приказанію гр. Разумовскаго, президента Академіи Наукъ, подъ редакціей историка Миллера и называвшемся „Ежемѣсячныя сочиненія къ пользѣ и увеселенію служащія“ (1755—1764); группа воспитанниковъ знаменитаго въ исторіи русскаго театра шляхетскаго кадетскаго корпуса (Сумароковъ, Елагинъ, Нартовъ, Херасковъ, Порошинъ) завела свой еженедѣльный журналъ — „Праздное время, въ пользу употребленное“ (1759—60); одинъ изъ членовъ этого кружка, Херасковъ, переселившись въ Москву, навербовалъ среди воспитанниковъ только что открытаго тогда Московскаго университета сотрудниковъ и при ихъ дѣятельномъ участіи издавалъ одинъ за другимъ два журнала: „Полезное увеселеніе“ (1760—1762) и „Свободные часы“ (1763) [1].

Воспитанники благороднаго пансіона въ 1787 г. выпустили сборникъ подъ названіемъ *Распускающійся Цвѣтокъ, или собраніе разныхъ сочиненій и переводовъ, издаваемыхъ питомцами учрежденнаго при Императорскомъ Московскомъ университетѣ Вольнаго Благороднаго Пансіона Москва. Въ университетской типографіи у Н. Новикова 1787.* Составлялся этотъ сборникъ подъ наблюденіемъ одного изъ замѣчательныхъ даровитыхъ предшественниковъ карамзинскаго періода В. С. Подшивалова и товарища его по университету М. Снѣгирева [2]) и имѣетъ тотъ же характеръ, что и выше названныя изданія.

Образцомъ и въ значительной степени источникомъ первыхъ русскихъ журналовъ была журналистика европейская съ ея прототипомъ — англійскими журналами Адиссона и Стиля („the Tatler“, „the Spectator“, „the Guardian“) во главѣ. По примѣру европейскихъ редакторовъ, и русскіе сочинители стремились служить то „пользѣ“, то „увеселенію“ своихъ читателей, и одни изъ этихъ ученическихъ (въ полномъ смыслѣ этого слова) подражаній, переводовъ и заимствованій проникала всегда нравоучительная тенденція, мораль, другія — отличались характеромъ болѣе легкимъ, сатирическимъ, любовнымъ. Такой типъ періодическихъ изданій упрочился на русской почвѣ; въ 1788—89 г. въ Петербургѣ издавались, напримѣръ, журналы: „Утренніе Часы“ (части I—IV), гдѣ, между прочимъ, сотрудничалъ тотъ же Подшиваловъ [3]), „Бесѣдующій Гражданинъ“ чч. I—III. С.-Пб. 1789 [4]), и др. „Утренніе Часы“ задавались цѣлью издавать „разныя статьи въ стихахъ и прозѣ, заключающія въ себѣ 1) побужденія къ добродѣтели, 2) нравоученія, 3) пріятные и забавные анекдоты, 4) острыя и замысловатыя шутки, 5) справедливыя, невредныя, и ни до кого лично не касающіяся критики, 6) черты великодушія и добродѣтельныхъ поступковъ, 7) любопытныя происшествія, изображающія торжество добродѣтели и гнусность пороковъ, — однимъ словомъ, все

---

[1]) *Милюковъ*, Очерки по исторіи русск. культуры, ч. III; вып. 2, стран. 238.
[2]) *Неустроевъ*, Ист. разыск. о русск. повремен. изд. С.-Пб. 1874, стран. 556.
[3]) Объ этомъ изданіи см. *Неустроевъ*, назв. соч., стр. 521 и слѣд.
[4]) Тамъ же, стран. 534 и слѣд.

то, что можетъ служить къ поощренію великодушныхъ и человѣколюбивыхъ дѣяній"... На страницахъ этого изданія и появились такія статьи, какъ *О благодѣяніи* (ч. I, стран. 23), *Правосудіе* (стран. 27), *Жизнь и смерть человѣческая* (стран. 29), *О пользѣ и необходимости нравственной науки* (стран. 33), *Торжественная пѣснь Екатеринѣ II* (стран. 101), *О величествѣ Божіемъ, о ничтожествѣ земныхъ вещей и о человѣкѣ* (ч. II, стран. 3), басни, сонетъ: *Любите истину* (стран. 192) и т. п.

„Бесѣдующій Гражданинъ" предлагалъ своимъ читателямъ „анекдоты, повѣствующіе приключенія съ людьми, оды, воспѣвающія дѣла или качества похвальныя или поносныя, изображенія добродѣтели или порока, дифирамбы, сонеты, мадригалы, идилліи, еклоги, елегіи, сатиры" и т. п.: *Размышленія человѣка при восхожденіи солнца* (ч. I, стран. 95), *Пѣснь Богу* (стран. 98), *Ода иройству* (стран. 71), *Разсужденіе о воспитаніи вообще* (стран. 101), *Елегія на сельское кладбище* Грея (ч. III, стран. 138), и т. п.

Въ этомъ же родѣ и составъ „Распускающагося Цвѣтка".

Сборникъ начинается стихотвореніемъ *Утреннее размышленіе, перевед. съ нѣмец. изъ соч. Галлера*, въ которомъ воспѣваются чудеса мірозданія — „творенья щедрыя десницы" Божьей; заключительная строфа:

Непостижимый Богъ, мой слабый умъ темнѣетъ,
Прости, что я Тебя стремиться пѣть дерзалъ;
Тотъ, Коимъ дышетъ все, и Кѣмъ все жизнь имѣетъ,
Отъ малаго червя не требуетъ похвалъ (стран. 3).

Далѣе слѣдуетъ прозаическая статья: *Средства къ пріобрѣтенію мира и спокойствія душевнаго* (переводъ съ французскаго); первыя же слова характеризуютъ тонъ и направленіе статьи:

„Смертный! вручи себя и все, что до тебя касается, во власть Господа Бога твоего. Въ какомъ бы ты состояніи ни находился: во мракѣ или свѣтѣ, въ гоненіи или благополучіи, въ тоскѣ или удовольствіи душевномъ, изобиленъ ли ты въ утѣшеніи, богатъ или бѣденъ Его благостями и дарами; но благодари безпрестанно за Его благость. Сноси терпѣливо, съ кротостію и даже съ веселіемъ всякіе труды и несчастія, и будь совершенно увѣренъ, что Онъ любитъ насъ, яко чадъ своихъ, и устроилъ все предвѣчно къ нашему благу" (стран. 4).

Затѣмъ идетъ рѣчь „о христіанской любви и терпѣніи" („Не одного токмо Бога должно любить, но и ближняго" — стран. 16); рисуются примѣры благотворительности (*Жалующійся Тимонъ*, стран. 48—53), правосудія (*Примѣръ правосудія Айдеръ-Али-Хана*, стран. 86—90); сыновней любви (*Ацестъ въ тюрьмѣ*, стран. 110—112); примѣры опасныхъ увлеченій: любовью (*Салли*, которую любовь и ревность довела до самоубійства, стран. 54—61), карточной игрой (*Печальныя слѣдствія игры*, стран. 91—113) и т. п.

Но рядомъ съ статьями нравоучительнаго характера нашла себѣ мѣсто и *Ода на выздоровленіе Велифиры* (стран. 146—152), и любов

ная Эклога *Сильвія* (стран. 153—161), изображающая любовную тоску пастуха и пастушки и, наконецъ, ихъ соединеніе:

Тутъ кончилась ихъ грусть, забавы начались,
Подъ липою ихъ всѣ желанія сбылись (стран. 161).

Тутъ же сатирическое стихотвореніе *Влюбленный піитъ* (стран. 162—164), котораго отвергаютъ всѣ красотки, такъ что онъ наконецъ

Намѣренье весьма предпринялъ чудно:
Понеже безъ любви быть стихотворцемъ трудно,
А чтобы не носить оковъ,
Престать піитомъ быть и не писать стиховъ (стран. 164).

Тутъ и пѣсенка *Прелесть*, и проникнутыя любовной страстью и тоскою идилліи *Четыре времени года*, *переводъ изъ Попія* (страницы 166—189) и, наконецъ, пересказъ извѣстной греческой любовной поэмы Мусея *Геро и Леандръ* (стран. 190—214). Есть въ сборникѣ и басни, и эпиграммы, и анекдоты, и восточная повѣсть *Пингренонъ* и проч.

Вслѣдъ за „Распускающимся Цвѣткомъ" явилось *Полезное упражненіе юношества, состоящее въ разныхъ сочиненіяхъ и переводахъ, изданныхъ питомцами Вольнаго Благороднаго Пансіона, учрежденнаго при Императорскомъ Московскомъ университетѣ*. Москва. 1789.

Изданіе было посвящено П. И. Фонвизину, директору Московскаго университета. Въ посвященіи издатели говорили:

„Юные умы и сердца наши, подъ покровительствомъ Вашего Превосходительства образующіеся, давно уже восхищались желаніемъ хотя частію исполнить долгъ обязанности за бдительное попеченіе о нашемъ воспитаніи. Предубѣжденные сею мыслію осмѣливаемся посвятить Вашему Превосходительству сіи опыты посильныхъ своихъ успѣховъ, какъ вѣрный знакъ нашей признательности".

Сборникъ открывается нравоучительнымъ стихотвореніемъ: *Златыя изреченія Пиѳагоровы, съ нѣмецкаго перевода г. Глейма на россійскій языкъ преложенныя* (стран. 1—7). Здѣсь читатель встрѣчаетъ наставленія: Почитай боговъ; чти героевъ духа и мысли; люби всѣхъ людей, будь другомъ добродѣтельныхъ, разорви союзъ съ недостойнымъ другомъ; борись съ своими страстями, преодолѣвай ихъ; цѣни свое достоинство; будь правдивъ; уясняй для себя понятіе объ истинѣ и о лжи;

Соблазну къ злымъ дѣламъ путь въ сердцѣ заграждай!
И дѣлъ и словъ твоихъ цѣль въ пользѣ полагай!

Учись у мудраго; будь умѣренъ въ наслажденіи, въ забавахъ; избѣгай зависти; не будь мотомъ, но не будь и скрягой; подчиняйся всегда разсудку;

Лишь тотъ ревнительный, кто бодрый юный шагъ
Добромъ знаменовалъ, возчувствуетъ въ годахъ
Божественну въ себѣ и сладку добродѣтель!
Къ подвигу высокому стремись,
И чистъ и живъ въ твоихъ желаніяхъ явись,
Да обнаружится природа освященна,
Непроницаема для взора ослѣпленна!

Какъ смотрѣли въ то время на значеніе подобнаго рода сборниковъ моральныхъ наставленій, видно изъ одного разсказа въ „Полезномъ упражненіи“, озаглавленнаго *Хорошій подарокъ* (стран. 243—245): Нѣкій графъ Кларинвиль выдалъ замужъ дочь; но „она поступала во многихъ случаяхъ совсѣмъ противно данному ей отъ него воспитанію и совѣтамъ“; тогда онъ подарилъ ей „записную книжку, въ которую положилъ маленькое собраніе нравоученій касательно женщинъ“; нравоученія эти исправили и графиню и ея пріятельницу.

Такимъ, повидимому, взглядомъ руководились и редакторы того времени, дававшіе своимъ читателямъ изданія, проникнутыя нравоучительными тенденціями.

Въ „Полезномъ упражненіи юношества“ вслѣдъ за *Златыми изреченіями* идетъ построенное по школьной схемѣ (введеніе — предложеніе — заключеніе) *Разсужденіе о безсмертіи души* (стран. 8—20) и стихи (стран. 20—21) на ту же тему, приводящіе къ выводу:

Мужайся, бодрствуй, человѣкъ!
И въ правотѣ веди свой вѣкъ!
Се способъ въ прахъ не превратиться!
Пари, душа моя, дерзай,
Къ отверстой вѣчности ступай —
Ты можешь тамо водвориться!

Далѣе встрѣчаемъ статьи: *Гордость* (стран. 48—49), гдѣ проводится взглядъ, что „нѣтъ ничего столь чистаго, чего бы гордость не осквернила“, *Стансы добродѣтели* (стран. 265—267):

Превратно счастіе и тлѣнно,
Богатство тѣнь и суета,
Достоинство честей премѣнно,
А слава громкая мечта.
Едина только добродѣтель,
Едина въ мірѣ семъ не прахъ,
Едина счастія содѣтель...

Старикъ (стран. 268—269), передъ смертію дающій наставленіе сыну и его женѣ:

Живите,
Какъ жилъ отецъ вашъ завсегда,
И правды по стопамъ ходите,
Не знавъ порока никогда.
Любите Бога, ближнихъ, бѣдныхъ...

Еще болѣе, чѣмъ подобныхъ прямыхъ наставленій, встрѣчается въ „Полезномъ упражненіи“ тенденціозныхъ нравоучительныхъ разсказовъ, небольшихъ повѣстей; таковы, напримѣръ:

Гахо, король лапландской (стран. 91—94): Гахо былъ добродѣтеленъ, воздерженъ, силенъ, отваженъ; но потомъ пристрастился къ меду, впервые отвѣдавъ его на охотѣ, найдя дерево съ пчелинымъ ульемъ, потомъ — къ пиву, роскоши, и „геройскій его духъ въ немъ уснулъ“;

онъ былъ побѣжденъ норвежскимъ королемъ, и передъ смертью изрекъ мудрое нравоученіе: „Вы, порочнѣйшіе изъ лапландцевъ, припишите всѣ развращенныя дѣла ваши первому шагу къ пороку! Какъ достойно низвергаюсь я рукою врага моего, жертва праздности и роскоши, на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ впервые коснулся симъ злѣйшимъ порокамъ, которые отвлекли меня отъ воздержности и невинности! Медъ, который я, нашедши въ этомъ деревѣ, отвѣдалъ, полюбилъ и всегда ѣлъ, сей медъ, а не король норвежской меня побѣждаетъ“.

Мазардъ или Ліонель, перев. Н. Хлюстинъ (стран. 235—241): Мазардъ былъ простой булочникъ, отличавшійся благотворительностью; онъ раздавалъ безденежно хлѣбъ бѣднымъ работникамъ и безсильнымъ старикамъ... „Итакъ лице сего честнаго человѣка не бывало никогда покрыто туманомъ печали. Онъ поетъ съ утра до вечера, будучи почитаемъ дѣтьми своими, коимъ онъ старается внушить правила благотворительности“... Нѣкто укралъ у него два хлѣба; онъ побѣжалъ за воромъ въ его домъ и увидѣлъ, что украдены хлѣбы для голодныхъ дѣтей; булочникъ отдалъ несчастной семьѣ свой кошелекъ, сталъ доставлять имъ хлѣбы ежедневно... „Честные одолженники, въ знакъ незабвенной памяти сообща своимъ дѣтямъ булочниково благотвореніе, положили за непремѣняемый законъ, чтобъ потомки сихъ потомкамъ, при всякомъ способномъ случаѣ, старались вспомоществовать, есть ли нужда сего отъ нихъ потребуетъ“...

Добродѣтель сама себѣ есть награда, перев. съ франц. И. Капорскій (стран. 255—259): Александръ Великій велѣлъ своему любимцу Еѳистіону выбрать царя для покоренныхъ сидонцевъ; Еѳистіонъ предлагалъ двумъ знатнѣйшимъ молодымъ людямъ, братьямъ, корону, но они отказались, такъ какъ не были царскаго происхожденія, и указали на одного царскаго родственника, обѣднѣвшаго и занимавшагося земледѣліемъ, но человѣка добродѣтельнаго. Онъ и былъ сдѣланъ царемъ. „О изящная добродѣтель! ты единая и при всѣхъ гоненіяхъ торжествуешь, утѣшаешь, наставляешь и увѣнчеваешь кроткихъ почитателей своихъ“.

Награда доброму сердцу, Ивана Инзова (стран. 314—315): Юноша помогъ измученному старцу вырыть колодезь; онъ открылъ при этомъ кладъ, который и послужилъ ему наградой.

Добросердечіе, перев. Семенъ Озеровъ (стран. 317—318): Герцогъ Орлеанскій хотѣлъ угостить Людовика XV; рота солдатъ разграбила мясо, назначенное для обѣда; тогда распорядитель обѣда сказалъ: „Я пошлю имъ довольно хлѣба и вина, чтобы они могли лучше съѣсть тѣ мяса“; заключеніе: „добросердечіе есть источникъ добродѣтелей, а добродѣтель первое услажденіе въ жизни“.

Рядъ статей назначенъ служить для расширенія познаній читателей, напр.:

Физическія изчисленія (стран. 94—96) — статья, сообщающая бѣглыя свѣдѣнія о быстротѣ вѣтра, звука, скорости свѣта, о величинѣ поверхности частей свѣта и т. п.

Краткое разсужденіе о знатнѣйшихъ и древнѣйшихъ народахъ и владѣніяхъ въ Азіи, Африкѣ и Америкѣ (стран. 97—102) — статья историко-географическаго характера.

О обычаяхъ германскихъ, перев. съ французскаго Алексѣй Кикинъ (стран. 102—114) — этнографическій очеркъ съ ссылками на Тацита.

Предлагается и матеріалъ вообще для болѣе или менѣе занимательнаго чтенія — стихи и проза:

Норстонъ и Сусанна, или коловратность рока, перев. Осипъ Чарнышъ (стран. 114—159): Чувствительная повѣсть о томъ, какъ Норстонъ, сынъ богатаго, но затѣмъ разорившагося купца, переѣхалъ въ Нью-Іоркъ, женился тамъ по любви на добродѣтельной Сусаннѣ, имѣлъ троихъ дѣтей; бѣдственное положеніе ихъ усилилось тѣмъ, что Норстонъ поручился за друга, который обманулъ его, бѣжалъ, и Норстону грозила тюрьма. Офицеръ Іонафанъ предлагаетъ Сусаннѣ 200 гиней цѣной ея чести; добродѣтельная, любящая, вѣрная жена отвергаетъ гнуснаго обольстителя; и мужу и женѣ грозитъ тюрьма, дѣтямъ — голодная смерть. Сусанна идетъ просить о помощи, встрѣчается съ Іонафаномъ, падаетъ въ обморокъ, которымъ тотъ и пользуется, и оставляетъ затѣмъ около нея 200 гиней; въ отчаяніи она уплачиваетъ ими долгъ, но и мужа и жену заковываютъ въ кандалы, бросаютъ въ тюрьму, такъ какъ 200 гиней оказались фальшивыми. Отъ потрясенія Сусанна умираетъ, объявивъ судьямъ, откуда у нея эти деньги; Норстонъ отравился; Іонафанъ — фальшивый монетчикъ — схваченъ и казненъ, хотя чувствовалъ угрызенія совѣсти и раскаивался. Повѣсть начинается такимъ вступленіемъ: „Весьма потребно показать человѣку, до какой степени онъ можетъ унизиться, когда не внимаетъ гласу совѣсти и разуму; попираетъ ногами естественный порядокъ любви, разрываетъ обузданіе нравовъ и предается неистовству страстей: тогда-то онъ покрывается незагладимымъ стыдомъ, дѣлается звѣрообразнымъ, дикимъ и страшнымъ чудовищемъ. Съ другой стороны, сколько ужасно несчастіе, показывающееся во всей своей чрезвычайности! Оно лишаетъ и самую добродѣтель прямого достоинства и величія, заставляетъ ее въ угодность себѣ облещись срамнымъ одѣяніемъ порока. Всѣ вспомоществованія человѣческой мудрости слабы съ противоборствованіемъ отразить таковыя нападенія; подъ тяжкимъ оныхъ бременемъ ослабѣваетъ крѣпость тѣлесныхъ силъ, приходитъ духъ нашъ въ уныніе, и не находитъ никакихъ почти знаковъ къ облегченію своей мучительной участи. Единая только надежда, что всемогущій Богъ, какъ правосудный Судія, въ будущіе вѣки наградитъ за невинное понесеніе тягостнаго ига, удерживаетъ насъ отъ безумнаго отчаянія“...

Братская любовь, перев. съ франц. А. Данилевскій (страницы 190 — 203): Два брата-англичанина такъ любили другъ друга, что одинъ, встрѣтивъ во время странствій другого въ оковахъ, невольникомъ въ Алжирѣ, рѣшается, чтобы освободить брата, помѣняться съ нимъ участью, становится невольникомъ, а того отсылаетъ въ Англію. По-

слѣдній достаетъ въ Англіи денегъ и выкупаетъ брата изъ Алжирской неволи.

Благодѣяніе, восточная повѣсть, перев. И. Выродовъ (страницы 252 — 255); Разсказчикъ, „углубенъ будучи мыслію о ничтожествѣ человѣка", сидѣлъ утомленный подъ кедромъ. Солнце зашло. Вдали показался какой-то свѣтъ. Онъ пошелъ на него и попалъ къ почтенному старцу, жившему въ пещерѣ, который сообщилъ ему, что онъ „предопредѣленъ великимъ Магометомъ къ дѣламъ, превышающимъ и самое естество". Старецъ на другой день далъ ему броню и мечъ и послалъ сражаться съ великаномъ, терзавшимъ какого-то молодого человѣка. Разсказчикъ побѣдилъ великана, убилъ его, и тѣмъ спасъ молодого человѣка, который оказался его братомъ. Послѣ этого они всѣ трое вели въ пещерѣ жизнь „подъ осѣненіемъ ненарушимой радости".

Турецкая повѣсть, пер. И. Сипягинъ (стран. 356 — 363): Европеецъ попалъ въ невольники къ турецкому визирю; онъ полюбилъ дочь визиря; она отвѣтила взаимностью. Визирь, опасаясь враговъ, рѣшается бѣжать къ христіанамъ съ дочерью и невольникомъ и поженить ихъ впослѣдствіи. Все было готово къ бѣгству, но враги предупредили визиря, и бѣгство не состоялось.

Любовь, соч. Д. Баранова (стран. 271):

Что нѣжитъ слухъ мой и живитъ?
Чѣмъ въ жилахъ кровь моя пылаетъ?
Любовь сіе во мнѣ творитъ,
Мое любовью сердце таетъ...
Въ любви одной считаю я
Веселье, радость и утѣхи и пр.

Разговоръ объ истинномъ благополучіи, пер. съ франц. М. Трохимовскій (стран. 212—227), *Чувствованія при воззрѣніи на восходящее солнце* (стран. 227—229), *Поединокъ или сраженіе собаки съ придворнымъ короля Карла I, о чемъ повѣствуетъ ле Сажъ*, пер. съ франц. П. Чарнышъ (стран. 319—325), и т. под., а также басни, эпиграммы, идилліи и т. д. [1]).

Въ теченіе 90-хъ годовъ XVIII в. отдѣльныхъ сборниковъ литературныхъ опытовъ пансіонеровъ не появлялось; юные авторы печатали свои произведенія въ общихъ тогдашнихъ журналахъ, какъ „Пріятное и полезное препровожденіе времени". На страницахъ этого изданія появились и первыя печатныя пьесы Жуковскаго.

Но Прокоповичъ-Антонскій рѣшился дать литературной дѣятельности своихъ питомцевъ опредѣленное направленіе, которое бы согласовалось съ педагогическими принципами, руководившими Антонскимъ, какъ начальникомъ благороднаго пансіона. И вотъ, по примѣру „Общества университетскихъ питомцевъ", гдѣ Антонскій самъ предсѣдательствовалъ въ бытность свою студентомъ Московскаго университета,

---

[1]) Полный перечень статей, вошедшихъ въ сборникъ „Полез. упражненіе юнош." см. у *Неустроева*, Историч. разыск., стран. 557—558.

при благородномъ пансіонѣ возникаетъ также литературное общество, получившее названіе „Собранія воспитанниковъ университетскаго благороднаго пансіона". Общество это и сдѣлалось разсадникомъ того литературнаго образованія, которое было отличительной чертой пансіонскаго ученія. Антонскій, хотя и выдвигавшій впередъ теоретически (см. рѣчь „О воспитаніи") значеніе исторіи, физики и математики въ кругу учебныхъ предметовъ, тѣмъ не менѣе, отнюдь не противодѣйствовалъ — напротивъ, помогалъ — развитію этого литературнаго направленія занятій своихъ пансіонеровъ, такъ какъ оно вполнѣ согласовалось съ его педагогическимъ идеаломъ.

Цѣль „Собранія", какъ сказано въ уставѣ его[1]), было „исправленіе сердца, очищеніе ума и вообще образованіе вкуса (§ 1); занятія пансіонеровъ — членовъ „Собранія" должны были состоять въ томъ, что они „будутъ читать по очереди рѣчи о разныхъ, большею частію, нравственныхъ предметахъ, будутъ разбирать критически собственныя свои сочиненія и переводы, будутъ судить о примѣчательнѣйшихъ происшествіяхъ историческихъ, а иногда будутъ читать, также по очереди, образцовыя отечественныя сочиненія въ стихахъ и прозѣ, съ выраженіемъ чувствъ и мыслей авторскихъ и съ критическимъ показаніемъ красотъ ихъ и недостатковъ" (§ 5). „Собраніе" имѣло свою библіотеку, составленную подъ наблюденіемъ самого Антонскаго. Вліянію этого общества на питомцевъ Антонскій придавалъ очень большое значеніе, почему посѣщеніе засѣданій его было обязательно (§ 13).

Жуковскій былъ въ числѣ первыхъ членовъ „Собранія", и конечно сдѣлался однимъ изъ усерднѣйшихъ работниковъ. Сохранился одинъ изъ протоколовъ засѣданія общества — отъ 18 мая 1799 г., № 11: предсѣдателемъ здѣсь названъ Жуковскій; онъ произносилъ рѣчь „О началѣ обществъ, распространеніи просвѣщенія и объ обязанностяхъ каждаго человѣка относительно къ обществу"[2]). Изъ этого протокола видно, между прочимъ, что Прокоповичъ-Антонскій былъ „членомъ споспѣшествующимъ Собранію", на обязанности котораго было „споспѣшествовать похвальнымъ упражненіямъ", и къ которому членамъ „при встрѣчающихся по дѣламъ Собранія нуждахъ можно было относиться" (§ 19 устава). М. Н. Баккаревичъ былъ другимъ такимъ „почетнымъ споспѣшествующимъ членомъ".

М. А. Дмитріевъ въ своихъ воспоминаніяхъ разсказываетъ: Въ университетскомъ благородномъ пансіонѣ „цѣли соединенія литературнаго образованія съ чистою нравственностью служило, между прочимъ, пансіонское общество словесности, составленное изъ лучшихъ и образованнѣйшихъ воспитанниковъ... Это общество собиралось одинъ разъ въ недѣлю, по середамъ. Тамъ читались сочиненія и переводы юношей

---

[1]) *Сушковъ*, Моск. унив. благ. пансіонъ, прил. стран. 37—52. Отъ общества, руководившагося этимъ уставомъ, нужно отличать „Дружеское литературное общество", уставъ котораго („законы") подписанъ учредителями его 12 января 1801 г. (изданъ Тихонравовымъ въ „Сборникѣ Общ. Люб. Росс. Слов. на 1891 г." М. 1891. стран. 1—14; здѣсь указана и литература предмета).

[2]) Соч. Жуковскаго подъ ред. Ефремова, изд. 8, т. V, стр. 524—525.

и разбирались критически, со всею строгостью и вѣжливостію. Тамъ очередной ораторъ читалъ рѣчь, по большей части, о предметахъ нравственности. Тамъ въ каждомъ засѣданіи одинъ изъ членовъ предлагалъ на разрѣшеніе другихъ вопросъ изъ нравственной философіи или изъ литературы, который обсуживался членами въ скромныхъ, по иногда жаркихъ преніяхъ. Тамъ читали вслухъ произведенія извѣстныхъ уже русскихъ поэтовъ и разбирали ихъ по правиламъ здравой критики: это предоставлено было уже не членамъ, а сотрудникамъ, отчасти какъ испытаніе ихъ взгляда на литературу"... [1])

Прочитанныя въ „Собраніи" и исправленныя сочиненія предназначались для напечатанія (уставъ, § 9). Съ этою цѣлью возникло особое изданіе: „Утренняя Заря". „Труды воспитанниковъ Университетскаго Благороднаго Пансіона". Первая книжка вышла въ 1800 г.; она имѣетъ слѣдующее предисловіе, помѣченное 31 августа 1800 г.:

„Нѣсколько молодыхъ благородныхъ людей, воспитываемыхъ подъ надежнымъ руководствомъ благонамѣренныхъ попечителей, для успѣшнѣйшаго образованія своего вкуса и для большаго усовершенствованія себя въ отечественномъ языкѣ, собираются однажды въ недѣлю читать свои сочиненія и переводы, сообщаютъ другъ другу свои о томъ мысли и замѣчанія, и общими взаимными усиліями исправляютъ свои упражненія.

„Число сихъ упражненій теперь довольно велико, и лучшія изъ нихъ рѣшились трудившіеся издать въ свѣтъ подъ именемъ „Утренней Зари", и пр.

Эта первая книжка „Утренней Зари" заключаетъ въ себѣ 35 статей, которыя и характеризуютъ направленіе дѣятельности „Собранія воспитанниковъ У. Бл. Пансіона" за первые годы его существованія.

Книжка открывается одою Жуковскаго „Могущество, слава и благоденствіе Россіи".

За этою одой слѣдуетъ въ сдѣланномъ Ал. Тургеневымъ прозаическомъ переводѣ „Пѣснь на случай открытія синагоги, сочиненная В. Бинкомъ, семнадцатилѣтнемъ евреемъ" (стран. 10—15). „Пѣснь" проникнута набожнымъ чувствомъ всемогущества и премудрости Божіей и по содержанію однородна со статьею С. Родзянки „Нощное размышленіе о Богѣ" и „Величество Божіе". Въ концѣ „Пѣсни" высказываются тѣ же мысли, что и въ концѣ оды Жуковскаго: „Боже страшный и праведный!... Ты всегда милуешь насъ, ибо позволяешь намъ жить подъ законами лучшаго изъ царей. Ты удѣлилъ монарху нашему лучъ верховнаго Твоего могущества. Ты вооружилъ руку его перуномъ, а въ сердце положилъ сѣмя всѣхъ добродѣтелей. Мы видѣли ее — сію побѣдоносную руку, возстановляющую миръ объ онъ полъ морей, сокрушающую иго рабства чуждаго народа въ странѣ чуждой и возвращающую ему свободу (срв. у Жуковскаго: И царства падшія подъемлетъ). Щедроты сего великаго монарха ліются и на насъ. Подъ кроткою сѣнію порфиры его мы наслаждаемся тишиною"...

---

[1]) *М. А. Дмитріевъ.* Мелочи изъ запаса моей памяти, М. 1869, стран. 180.

Далѣе слѣдуетъ стих. Жуковскаго *Къ Тибуллу, на прошедшій вѣкъ.* (Стран. 16—17.) На стихотвореніи сказалось сильное вліяніе оды Державина „На смерть князя Мещерскаго“:

Давно ли сей любимецъ славы
Народовъ жребіемъ игралъ?...
Дохнула смерть — что онъ? — Горсть пыли...
Едва на дневный свѣтъ мы взглянемъ —
Уже въ сырой землѣ лежимъ...

Срв. у Державина:

Едва увидѣлъ я сей свѣтъ,
Уже зубами смерть скрежещетъ,
И дни мои какъ злакъ сѣчетъ...
Сегодня богъ, а завтра прахъ... и др.
(Соч. Держ. I, 89, 93.)

Но основная мысль стихотворенія Жуковскаго — добродѣтель и мудрость даруютъ человѣку безсмертіе — совпадаетъ съ тѣми идеями, въ какихъ Антонскій стремился воспитывать своихъ пансіонеровъ. Жуковскій говоритъ:

Тибуллъ! все подъ луною тлѣнно!...

Но —

Любя добро и мудрость страстно,
Стремясь друзьями міру быть —
Мы живы въ самомъ гробѣ будемъ!

Четвертая статья — *Къ надеждѣ,* Жуковскаго (стран. 18—21). Это — стихотвореніе въ прозѣ, выражающее мысль, что надежда всѣхъ утѣшаетъ и поддерживаетъ.

На пятомъ мѣстѣ — переводная работа Семена Родзянки *Бесѣда Марка Аврелія съ самимъ собою*[1]) (стран. 22—53). Статья представляетъ размышленія объ обязанностяхъ человѣка, гражданина и государя: человѣкъ долженъ быть добродѣтеленъ, мужественъ и терпѣливъ въ бѣдствіяхъ, долженъ свои дѣйствія направлять ко благу и пользѣ человѣчества; государь долженъ заботиться о благѣ, о счастіи подданныхъ, защищать слабыхъ, усмирять буйныхъ, непрестанно трудиться, имѣть твердую волю, чтобы не подчиниться вліянію приближенныхъ, всегда стремиться къ самосовершенствованію, быть добродѣтельнымъ, чуждымъ предразсудковъ и страстей, имѣть свободную душу, презирать смерть, потому что „смерть есть не иное что, какъ дѣйствіе жизни, и можетъ быть самое легчайшее; смерть есть конецъ бореній; она есть минута, въ которую ты можешь сказать: *наконецъ добродѣтель моя неотъемлема отъ меня!* она освободитъ тебя отъ величайшей

---

[1]) Entretien de Marc-Aurèle avec lui-même отрывокъ изъ Eloge de Marc-Aurèle *Томаса,* члена Французской академіи (Oeuvres complètes Thomas, t. II, Paris 1825, p.p. 241 ss.). Въ цѣломъ видѣ Eloge перевелъ Д. И. Фонвизинъ: *Слово похвальное императору Марку Аврелію, соч. Г. Томаса.* С.-Пб. 1777. См. Сопиковъ № 10827; соч., письма и избр. переводы Д. И. Фонвизина, ред. П А. Ефремова. С.-Пб. 1866, стран. 619 и слѣд.; Бесѣда Марка Аврелія съ самимъ собою на стран. 624 — 633. С. Родзянка переводилъ независимо отъ Фонвизина.

опасности — отъ опасности сдѣлаться злодѣемъ" („Утр. Заря", стран. 47).

Далѣе слѣдуетъ *Надгробная Г. С.*, С. Родзянки, обѣщающая безсмертье тому, „дѣлами кто себя великими прославилъ" (стран. 54).

Седьмое мѣсто занимаетъ переведенное съ нѣмецкаго (ближайшій источникъ не указанъ) Михаиломъ Костогоровымъ стихотвореніе въ прозѣ *Дубъ* (стран. 55—58). Воспѣвается красота величественнаго гигантскаго дуба, вершину котораго фантазія поэта возноситъ за облака: „Когда густой туманъ одѣваетъ влажнымъ сумракомъ своимъ вершины прочихъ деревъ, твоя касающаяся небесъ глава позлащается солнечнымъ сіяніемъ. Простершись на мягкомъ мхѣ у подножія твоего, смѣюсь я произвольнымъ безпокойствамъ глупца. Здѣсь свободный духъ мой воспаряетъ превыше міра и времени, и забываетъ скорбь свою". Псевдоклассическія прикрасы: Наяды, Нимфы, Фавны, Дріады, Борей, Флора, Юпитеръ.

№ VIII: Басня двѣнадцатилѣтняго Ивана Петина *Оселъ и Левъ на звѣриной ловлѣ:* довольно нескладный образъ, для подтвержденія мысли, что глупо гордиться тѣми качествами, какихъ не имѣешь.

№ IX: Переведенный Сергѣемъ Фонвизинымъ изъ Esprit d'Anacharsis отрывокъ *Весна;* воспѣвается пришествіе весны, когда „каждая минута прилагаетъ новую черту къ красотамъ натуры и приближаетъ къ совершенію важное дѣйствіе: раскрытіе и оживленіе существъ". Псевдоклассическіе орнаменты: хороводы Нимфъ, Амуры.

№ X: *Катоновъ монологъ изъ Аддисоновой трагедіи „Катонъ"*, переводъ С. Родзянки. Основная мысль: „Жизнь наша — сонъ! мечта! — а пробужденіе — смерть" (стран. 65—67).

№ XI: Статья Жуковскаго *Мысли на кладбищѣ* (стран. 68—70). Картина кладбища въ лунную ночь; мысли поэта: „Спите сыны тлѣнія! еще не время — наступитъ утро безсмертія; жизненный лучъ его проникнетъ въ сердце міра — и вы возстанете отъ сна своего".

№ XII: Изъ Ж. Б. Руссо *Пѣснь въ честь зимы*, кн. Григорія Гагарина: прославленіе зимы, какъ времени забавъ и наслажденія; стиль — обычный псевдоклассическій. Точный переводъ большей части (безъ трехъ послѣднихъ строфъ) кантаты Ж. Б. Руссо „Pour l'hiver".

№ XIII: *Письмо де ла Гарпа къ Лакомбу о Ломоносовѣ*, переводъ съ франц. Степана Порошина (стран. 73—81). Краткія свѣдѣнія о Ломоносовѣ; буквальный переводъ на французскій языкъ оды его „Утреннее размышленіе о Божьемъ величествѣ" и переложеніе этой оды во французскіе стихи, сдѣланное Г. Мьеромъ; цѣль указать оригиналъ французскаго стихотворенія, чтобы доказать мысль, что „литература наша издавна извѣстна въ чужихъ краяхъ": дань памяти высокопочитаемаго русскаго писателя.

№ XIV: Переводъ изъ Мейснера *Опрокинутой дубъ*, Ал. Тургенева (стран. 82). Басня. Мысль: „И Баконы и Ломоносовы умираютъ! — По крайней мѣрѣ творенія и слава ихъ весьма отличны отъ произведеній и славы какого-нибудь мелочнаго писателя".

№ XV: Басня изъ Мейснера въ переводѣ П—ра Л—ва *Рафаэлева кисть:* и кисть Рафаэля и кисть его ученика — равны, но не равны руки, владѣющія ими.

№ XVI: Басня И. Петина *Волкъ и журавль:* свободная обработка извѣстной басни Лафонтена.

№ XVII: *Утро,* переводъ съ французскаго С. Порошина: описаніе красокъ природы лѣтнимъ утромъ.

№ XVIII: Изъ Мейснера, переводъ Ал. Тургенева, *Мальчикъ, луна и солнце;* мысль: не должно „никогда вдругъ презирать человѣка, который, будучи помраченъ сильнѣйшимъ, нѣсколько времени не обращаетъ на себя вниманія; когда придетъ его время, то онъ часто появляется съ большимъ сіяніемъ, и дѣлается свѣтильникомъ своего отечества". Кромѣ того: „Не подвергайся пороку нѣкоторыхъ людей, кои не могутъ похвалить одного, не осуждая другого" (стран. 88—90).

№ XIX: Басня И. Петина *Солнечные часы;* мысль: „счастливцы міра", подобно солнечнымъ часамъ, привлекаютъ къ себѣ вниманіе, пока освѣщены солнцемъ (стран. 91).

№ XX: Драматическія сцены изъ Мейснера, переводъ М. Костогорова, *Сцилла и Миносъ* (стран. 92—140): наказаніе за нарушеніе долга любви къ отцу, къ отечеству, ради любви къ врагу.

№ XXI: Стихотвореніе С. Родзянки *Страшный судъ:* картина свѣтопреставленія; второе пришествіе; „врата Едемскія для *добрыхъ* отворились" (стран. 141—144).

№ XXII: В. Плква *Заходящее солнце:* красота природы на закатѣ солнца; пастухъ и пастушка, стада. Мысль о Богѣ. „Ты погасаешь, прекрасная заря! тихо, кротко. Подобно тебѣ скончавается христіанинъ, коего жизнь была примѣромъ мудрости и благочестія; его послѣдній вздохъ — есть вздохъ добродѣтели. Свѣтъ лишится благотворнаго генія своего; но дѣла праведнаго пребудутъ незабвенны — въ сердцахъ" (стран. 148). Къ такого рода благочестиво-набожнымъ размышленіямъ вело изображеніе красотъ природы (вліяніе Штурма?).

№ XXIII: *Ода на кончину М****, изъ сочиненій Геллерта, перевелъ Л—а Д—въ: неизвѣстность, быстрота и неожиданность смерти; „блаженъ тотъ... кто всегда единое око устремляетъ ко гробу, а другое къ добродѣтели!" (стран. 150).

№ XXIV: *Подобіе жизни человѣческой, отрывокъ изъ одного англійскаго сочиненія,* М. Кайсарова (стран. 153—159): Жизнь человѣческая, самая должайшая — мигъ, точка въ вѣчности (стран. 159).

№ XXV: *Жуковскій, Истинный герой* (стран. 160—162); „Другъ человѣчества — вотъ истинный герой, котораго дѣла въ сердцахъ, а слава въ вѣчности" (стран. 162).

№ XXVI: С. Родзянка, *Слава* (стран. 163—166).

Ученья чистыми струями
Умъ юный, жаждущій питайте,
Добро питайте Вы въ сердцахъ:
Вамъ слава путь въ свой храмъ укажетъ, —

обращается поэтъ къ товарищамъ-пансіонерамъ.

№ XXVII: Изъ Esprit d'Anacharsis *О воображеніи*, С. Родзянки (стран. 167—170).

№ XXVIII: Оттуда же *Объ Астрономіи*, С. Родзянки: безпредѣльность и величіе міра; человѣкъ, созерцая безпредѣльность, участвуетъ въ величіи (стран. 171—173).

№ XXIX: *Экспромптъ И. П. Тургеневу:*

Тургеневъ! Добрыя дѣла не умираютъ:
Ихъ Богъ и Государь достойно награждаютъ. (Стран. 176.)

№ XXX: Рѣчь Помпея къ войску передъ Фарсальскимъ сраженіемъ, изъ Мармонтеля, перев. кн. Гр. Гагарина (стран. 175—178).

№ XXXI: С. Родзянка, *Къ портретамъ кураторовъ университета* (стран. 179—181).

№ XXXII: С. Родзянка, *Разговоръ между философомъ и натурою*, изъ Questions sur l'Encyclopédie (стран. 182—188): стройность и величіе природы, премудрость Творца; цѣли бытія — вопросъ, разрѣшимый только Творцомъ.

№ XXXIII: *Надгробная П. А. С.* (стран. 189).

№ XXXIV: Басня *Кузнечикъ и Муравей*: нѣсколько распространенный переводъ извѣстной басни Лафонтена (стран. 190—192).

№ XXXV: Рѣчь на актѣ 21 декабря 1799 г. *О любви къ отечеству* (стран. 193—211): „Любовь къ отечеству есть любовь къ порядку, къ устройству, къ законамъ, къ добродѣтели, къ общему и собственному благу“ (стран. 197). Объ отношеніи ея къ одѣ Жуковскаго „Могущество, слава и благоденствіе Россіи“ я говорилъ выше.

За первою книжкой „Утренней Зари“ послѣдовало еще пять. Вторая книжка вышла въ 1803 г.; здѣсь помѣщены, между прочимъ, произведенія Жуковскаго: *Человѣкъ*, *Миръ*, *Сельское кладбище*, *Стихи сочиненные въ день моего рожденія: къ моей лирѣ и къ друзьямъ моимъ.* Третья книжка „Утренней Зари“ явилась въ 1805 г., четвертая — въ 1806 г., пятая — въ 1807 г. и, наконецъ, шестая — въ 1808 г. Литературные труды воспитанниковъ благороднаго пансіона составили также сборники, изданные подъ названіями: „И отдыхъ на пользу, или собраніе сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозѣ“, М. 1804 г., и „Въ удовольствіе и пользу“, М. 1810 г. Книжка I.

Такъ ярко выразившееся литературное направленіе университетскаго благороднаго пансіона было весьма благопріятной атмосферой для развитія литературныхъ талантовъ воспитанниковъ. Жуковскій испыталъ это въ полной мѣрѣ. *Рѣзановъ.*

А. А. Прокоповичъ-Антонскій и „Дружеское ученое общество“.

Главою университетскаго благороднаго пансіона былъ въ это время *Антонъ Антоновичъ Прокоповичъ-Антонскій.* Питомецъ Кіевской духовной академіи съ 1773 г., онъ въ 1782 г. перешелъ изъ ака-

деміи въ Московскій университетъ, гдѣ и обучался „на иждивеніи Дружескаго ученаго общества“ [1]), основаннаго Новиковымъ и Шварцемъ.

Преслѣдуя свою идею о распространеніи истиннаго просвѣщенія, Шварцъ, получивъ профессуру въ Московскомъ университетѣ, задумалъ „учредить обширный разсадникъ воспитателей юношества, и съ тѣмъ вмѣстѣ переводчиковъ-писателей, которые бы принесли пользу русской словесности“ [2]). 13 ноября 1779 г. трудами Шварца была открыта „педагогическая семинарія“; Шварцъ былъ назначенъ ея инспекторомъ; онъ „повторялъ съ семинаристами публичныя лекціи и показывалъ методы учить и учиться“ [3]). Въ концѣ 1779 г. Новиковъ и друзья его, будущіе члены „Дружескаго ученаго общества“, вошли въ надеждѣ на будущее, въ сношенія съ начальствомъ духовныхъ семинарій и академій, предлагая присылать въ Москву своихъ питомцевъ для продолженія ими образованія въ университетѣ на счетъ предполагавшагося общества [4]). Въ іюнѣ 1782 г. было опубликовано [5]) объ открытіи при Московскомъ университетѣ филологической „переводческой“ семинаріи „для преложенія лучшихъ авторовъ и нравоучительныхъ сочиненій на россійскій языкъ“; эта филологическая семинарія должна была „такожъ находящимся уже при семъ же университетѣ семинаристамъ (педагогической семинаріи) способствовать въ ученыхъ ихъ упражненіяхъ всевозможнымъ образомъ“; Дружеское ученое общество давало средства для содержанія при переводческой семинаріи 16 студентовъ университета. Въ объявленіи прибавлено, что объ этомъ „отъ Дружескаго того общества представлено письменно, куда надлежало, съ объясненіемъ, что оно, желая быть полезнымъ и духовнымъ училищамъ, шесть студентовъ намѣрено принять изъ учрежденныхъ въ различныхъ епархіяхъ семинарій“ [6]).

Къ этой группѣ питомцевъ Московскаго университета и Дружескаго ученаго общества принадлежалъ и А. А. Прок.-Антонскій, который, по словамъ Сушкова [7]), „въ 1784 г. былъ баккалавромъ учительскаго при университетѣ института“, т.-е. педагогической семинаріи.

---

[1]) *Шевыревъ*, Ист. Моск. универс., стран. 233: „Въ печатныхъ спискахъ студентовъ 1782 г. мы встрѣчаемъ 20 человѣкъ, обучающихся на иждивеніи „Дружескаго ученаго общества“ и въ числѣ ихъ имена двухъ братьевъ Антонскихъ, Михаила и Антона“... Срв. Біогр. и слов., и профес., и преп. Моск. унив., М 1855 г., I, стран. 12 и сл. *Сушковъ*, Московскій университетскій благород. пансіонъ. М. 1858, стран. 54—65.

[2]) Исторія Москов унив., стран. 220.

[3]) Біогр. слов. проф. Моск. университ., т. II, стран. 584 (статья *Н. С. Тихонравова)*.

[4]) Первымъ стипендіатомъ былъ М. И. Невзоровъ, тогда же присланный изъ Рязанской семинаріи и прошедшій юридическій и медицинскій факультеты. (*Безсоновъ*, М. И. Невзоровъ, Русск. Бес. 1856 г., кн. III, Жизнеописанія, стран. 88).

[5]) „Московскія Вѣдомости“ 1782 г., № 48, стран. 383, № 52, стран. 415—416.

[6]) Біографич. словарь Моск. унив., II, 587—588. Срав. *Милюковъ*, Очерки по ист. русской культ., ч. III, вып. 2-й, стран. 355—356. Во время пожара, истребившаго, въ началѣ XIX в. (въ 1811 г.), большую часть библіотеки и архива Кіевской дух. академіи, погибли связки дѣлъ, въ которыхъ должны были храниться офиціальныя бумаги о вывозѣ питомцевъ академіи въ Московскій университетъ и о перемѣщеніи сюда Пр.-Антонскаго. Навести эти справки мнѣ оказалъ любезное содѣйствіе библіотекарь Кіевской дух. академіи, А. С. Крыловскій, которому долгомъ считаю выразить здѣсь благодарность.

[7]) Москов. унив. благор. пансіонъ, стран. 55; срав. Біогр. словарь Москов. унив., I, стран. 13; „Въ 1784 г. произведенъ (Антонскій) баккалавромъ учительскаго института“.

Въ эти годы своей спеціальной подготовки къ педагогическому поприщу Антонскій находился подъ сильнымъ вліяніемъ проф. Шварца. Для семинаристовъ онъ читалъ у себя на дому приватныя лекціи философской исторія, разбирая Гельвеція, Руссо, Спинозу, Ла-Метри и проч., и впослѣдствіи слушатели съ благодарностью вспоминали объ этихъ лекціяхъ[1]). Направляя воспитаніе молодыхъ людей въ духѣ „Дружескаго ученаго общества", Шварцъ не ограничивался чтеніемъ лекцій, а вступалъ съ студентами въ личныя сношенія, бесѣдовалъ съ ними, давалъ имъ книги и умѣлъ вносить жизнь и симпатію въ сухія отношенія, существующія между слушателями и обыкновенными преподавателями[2]).

Стремясь развить въ слушателяхъ нравственную и умственную самодѣятельность, Шварцъ въ 1781 г. организовалъ въ средѣ студентовъ литературный кружокъ, получившій названіе „Собранія университетскихъ питомцевъ". Члены кружка собирались для чтенія и обсужденія своихъ молодыхъ литературныхъ опытовъ. Цѣль „Собранія" такъ опредѣлилъ одинъ изъ членовъ его: Шварцъ вперилъ все свое вниманіе на доставленіе въ университетѣ обучающемуся юношеству такихъ средствъ, по которымъ бы оно не только могло успѣвать въ наукахъ, но и жить по правиламъ благонравія. Почему привязавъ къ себѣ оное своею любовью и безпримѣрнымъ снисхожденіемъ, завелъ и сіе нынѣ цвѣтущее и никогда неувядаемое общество, предписавъ ему два главнѣйшіе закона и двѣ спасительнѣйшія цѣли: первую, до просвѣщенія разума относящуюся, чтобы упражняться въ сочиненіяхъ разнаго рода и переводахъ наилучшихъ мѣстъ изъ древнихъ и новѣйшихъ писателей, и издавать въ свѣтъ годичный журналъ въ пользу бѣдныхъ; а вторую, непосредственно исправляющую наши испорченныя склонности, чтобы при начатіи каждаго собранія по очереди говорить членамъ *о какой-либо нравственности рѣчь;* и тѣмъ бы самымъ соединяясь между собою тѣснѣйшимъ узломъ любви и желанія къ достиженію столь величественной для юношества цѣли, могли бы сдѣлаться со временемъ какъ для себя самихъ, такъ и для цѣлаго нашего любезнѣйшаго отечества полезными"[3]).

Какъ велико было вліяніе Шварца на „университетскихъ питомцевъ", видно изъ того, что долго послѣ смерти учителя среди нихъ сохранился настоящій культъ его памяти[4]).

А. А. Прокоповичъ-Антонскій черезъ два года послѣ своего поступленія въ университетъ, въ 1784 г. былъ уже предсѣдателемъ

У Сушкова въ рукахъ находился подлинный послужной списокъ Антонскаго (Моск. унив. бл. ванс., Предисловіе стран. IX). Статья въ Біогр. Словарѣ Москов. унив., повидимому, судя по стилю даннаго мѣста, восходитъ къ тому же офиціальному источнику.

[1]) Біогр. Слов. Москов. унив., II, 591, 592.

[2]) *Лонгиновъ*, Новиковъ и Москов. мартинисты, стран. 128.

[3]) Біограф. Словарь Москов. унив., II, стран. 588—589, съ ссылкой на неизданныя рѣчи и стихотворенія на смерть Шварца.

[4]) *Лонгиновъ*, Новиковъ и Московскіе мартинисты, стран. 211; *Милюковъ*, Очерки по ист. русской культ., ч. III, вып. 2-й, стран. 356.

въ „Собранія университетскихъ питомцевъ“[1]). Изъ трудовъ этихъ „питомцевъ“ составлялись, большею частью, издававшіеся Н. И. Новиковымъ журналы: „Московское Ежемѣсячное Изданіе“ (1781 г.), „Вечерняя Заря“ (1782 г.), „Покоящійся Трудолюбецъ“ (1784 г.). „Всѣ они тѣсно связаны между собою и составляютъ одну библіотеку нравоучительныхъ статей, — замѣчаетъ Н. С. Тихонравовъ. Глубоко-религіозный характеръ господствуетъ въ этихъ изданіяхъ, — несомнѣнный слѣдъ вліянія Шварца: прежніе журналы Новикова отличались сатирическимъ направленіемъ“[2]). Шварцъ самъ былъ преданъ ученію Бёма; по этой же дорогѣ увлекалъ онъ и лицъ, попавшихъ въ сферу его вліянія. „Вселяя въ своихъ слушателей сочувствіе къ переводамъ, онъ доставлялъ Новикову усердныхъ сотрудниковъ, въ то же время вполнѣ проникнутыхъ его ученіемъ“[3]). Имя А. А. Антонскаго стоитъ въ числѣ сотрудниковъ „Покоящагося Трудолюбца“, студентовъ Московскаго университета, „пріявшихъ толь благородные труды“, рядомъ съ именами М. А. Антонскаго (братъ Антона), В. С. Подшивалова, П. А. Сохацкаго и др.[4]). По кончинѣ проф. Шварца (17 февраля 1784 г.), на устроенномъ въ память его (26 марта 1784 г.) торжественномъ засѣданіи „Собранія унив. питомцевъ“ Антонскій былъ въ числѣ учениковъ Шварца, читавшихъ въ честь его свои стихи и рѣчи[5]).

Энергичными усиліями проф. Шварца создался цѣлый кружокъ „молодыхъ интеллигентовъ, педагоговъ и переводчиковъ“, дѣятельность которыхъ оставила очень замѣтный слѣдъ какъ въ исторіи русской школы, такъ и въ русской печати конца XVIII в. Идеи, въ какихъ воспитались эти питомцы новиковскаго кружка, и какія они и проводили въ „Вечерней Зарѣ“ и „Покоящемся Трудолюбцѣ“, были идеями нравственнаго самосовершенствованія, самопознанія, истиннаго просвѣщенія, дѣятельной филантропіи, идеями тогдашней нѣмецкой популярной философіи[6]). А. А. Антонскій былъ изъ числа лицъ, принадлежавшихъ къ этому кружку. Пройдя курсъ университета по медицинскому и философскому факультету, Антонскій занялъ въ 1788 г. въ Московскомъ университетѣ каѳедру энциклопедіи и натуральной исторіи, впослѣдствіи былъ членомъ многихъ ученыхъ и литературныхъ обществъ. Съ 1791 г. онъ сдѣлался инспекторомъ, а затѣмъ директоромъ унив. благороднаго пансіона, — это было главное поприще его дѣятельности. Пансіонъ былъ дѣтищемъ Антонскаго: получивъ его въ свое завѣдываніе, онъ начерталъ „новое постановленіе“,

---

[1]) Біогр. словарь Моск. унив., I, стран. 18.
[2]) Тамъ же, II, 589.
[3]) Тамъ же, II, стран. 588.
[4]) „Покоящ. Трудолюбецъ“, ч. I. М. 1784, „отъ издателей Вечернія Зари“.
[5]) *Лонгиновъ*, Новиковъ и Моск. март., стран. 211, съ ссылкой на имѣвшую ся у автора рукопись, „въ которой заключается 5 статей въ прозѣ и 5 стихотвореній“.
[6]) Срав. *Милюковъ*, Очерки по ист. русской культ., ч. III, вып. 2, стран 356—364. Срв. *Лонгиновъ*, op. cit.; стран. 178.

выработалъ своеобразный учебный планъ, заботился объ изданіи спеціально для пансіона учебныхъ книгъ[1]).

Педагогическимъ, по преимуществу, характеромъ отличалась и литературная дѣятельность Прокоповича-Антонскаго.

Рѣзановъ.

Кружокъ, подъ вліяніемъ котораго совершалось литературное воспитаніе Жуковскаго.

Судьба, „лучшій нашъ наставникъ", берегла Жуковскаго: она окружила его юность людьми, въ которыхъ воплотилось все, что оставалось чистаго и праведнаго отъ екатерининскаго вѣка. Черты нравственной физіономіи Жуковскаго слагались подъ вліяніемъ тѣхъ же людей, которыми образованъ былъ Карамзинъ, и подъ вліяніемъ самого Карамзина. Самое сильное вліяніе на Жуковскаго-пансіонера имѣлъ, несомнѣнно, кружокъ, или, вѣрнѣе, семья И. П. Тургенева. Никогда не могъ забыть Жуковскій этого дорогого для него кружка, столь могущественно повліявшаго на него среди поверхностнаго ученія благороднаго пансіона. Почти черезъ полвѣка по выходѣ изъ этой школы (въ 1844 г.) Жуковскій пишетъ Александру Ивановичу Тургеневу: „Въ твоемъ письмѣ много для меня трогательнаго. Мнѣ, *старику,* удалось въ своей семьѣ тебя *на старости* полелѣять, и въ поздніе наши годы кажется мнѣ, что жива еще наша молодость: *было теперь что-то, напомнившее тѣ горницы Московскаго университета, гдѣ мы собирались около брата Андрея, который мнѣ живо памятенъ*". Кружокъ Андрея Тургенева *лелѣялъ* молодость Жуковскаго, направляемый дружескою рукою старика Ивана Петровича Тургенева. Въ то время, какъ Жуковскій сидѣлъ еще на школьной скамьѣ вмѣстѣ съ Александромъ Тургеневымъ, братъ послѣдняго Андрей не былъ уже пансіонеромъ: въ 1799 г. онъ былъ уже *студентомъ университета* и могъ называться *старшимъ* товарищемъ Жуковскаго. Къ старику-отцу И. П. Тургеневу „юноши привязаны были, по словамъ Жуковскаго, свободною довѣренностію, *сходствомъ мыслей и чувствъ* и самою нѣжною благодарностію". Жуковскій не могъ вспомнить объ этомъ старцѣ безъ „сладкаго чувства": онъ *друзей не рознилъ съ сыновьями.* Жуковскій вошелъ въ эту благородную семью какъ другъ, какъ братъ и обрѣлъ у старика Тургенева ласки, въ которыхъ отказало ему рожденіе.

Неси жъ туда, гдѣ *нашъ отецъ и братъ*
Спокойнымъ сномъ въ пріютѣ гроба спятъ,
Вѣнки изъ розъ, вино и ароматы...

---

[1]) *Шевыревъ,* Исторія Москов. университета, стран. 215—216; *Тихонравовъ,* соч. III, ч. I, стран. 399.

Надгробіе Ивану Петровичу и Андрею Ивановичу Тургеневымъ начинается такъ:

Судьба на мѣстѣ семъ разрознила нашъ кругъ:
Здѣсь милый нашъ отецъ, здѣсь нашъ любимый другъ.

Почитая масонство „очень хорошимъ дѣломъ", старикъ Тургеневъ открыто признавался, что онъ не имѣлъ способностей пройти всѣхъ градусовъ масонства, ибо вѣрилъ, что великое таинство можетъ получить только тотъ масонъ, который „удостоился черезъ *исправленіе нравственнаго характера сдѣлаться столько совершеннымъ, сколько человѣку возможно быть*". Но не надъ однимъ исправленіемъ нравственнаго характера своего работалъ этотъ человѣкъ въ послѣдніе годы XVIII в. „Добрый и самый благонамѣренный пѣстунъ Московскаго университета", И. П. Тургеневъ былъ это время центромъ, около котораго группировались тогдашнія литературныя знаменитости, во главѣ со „старостою россійской литературы" Херасковымъ, къ которому стремились молодые литературные таланты. Литературѣ и искусствамъ старикъ Тургеневъ преданъ былъ такъ же горячо, какъ и прежде, когда былъ дѣятельнымъ членомъ „Компаніи Типографической". Онъ умѣлъ замѣтить литературный талантъ и привлечь дарованіе къ дѣлу литературы и просвѣщенія. Жуковскій не одною нитью привязанъ былъ къ семьѣ Тургеневыхъ въ годы своего ученія. „Юшковы и Бунины были дружны съ семействомъ И. П. Тургенева", вниманіе котораго обратилъ на себя Жуковскій прилежаніемъ и даровитостью,— свидѣтельствуетъ Зейдлицъ. Къ старымъ связямъ семейства Буниныхъ съ Иваномъ Петровичемъ присоединилась новая связь: Жуковскій былъ товарищемъ сыновей его, а старикъ жилъ сыновьями. Мало того: въ пансіонномъ другѣ дѣтей своихъ Иванъ Петровичъ уже замѣтилъ и любовь къ литературѣ и дарованія писателя... Нравственное самосовершенствованіе оставалось идеаломъ старика. Одинъ изъ друзей Ивана Петровича отмѣтилъ черты, которыя издавна отличали этого человѣка, — онъ былъ истинно-свободнымъ и истинно-счастливымъ человѣкомъ:

..... счастливъ тотъ и тотъ одинъ свободенъ,
Кто счастья въ крайностяхъ всегда съ собою сходенъ,
Въ сіяніи не гордъ, въ упадкѣ не унылъ,
Въ себѣ самомъ свое достоинство сокрылъ:
Владыка чувствъ своихъ, ихъ бури усмиряетъ,
И скуку житія ученьемъ украшаетъ.

Въ лицѣ И. П. Тургенева предсталъ Жуковскому „истинно-добрый и счастливый" человѣкъ. Не изъ этой ли семьи идеалистовъ, лелѣявшей юность поэта, вынесенъ имъ идеалъ семейнаго счастія? Изъ посланія М. Н. Муравьева къ И. П. Тургеневу можно дополнить характеристику свободнаго человѣка:

Онъ свято чтитъ родства священные союзы
И, чтобъ свободнымъ быть, пріемлетъ легки узы;
Внимательный супругъ и любящій отецъ,

Онъ властью облеченъ по выбору сердецъ.
Счастливъ, что можетъ быть семейства благодѣтель:
Что нужды, домъ тому иль цѣлый міръ свидѣтель?

На младшихъ братьевъ и на Жуковскаго особенно вліялъ Андрей Тургеневъ, входившій въ ихъ кругъ „съ отцомъ рука съ рукой". Чему училъ ихъ этотъ юноша, „въ быстромъ взорѣ котораго пылалъ высокій духъ"? Александръ Тургеневъ сохранилъ намъ нѣсколько наставленій, принятыхъ имъ отъ брата Андрея: „И въ самыхъ горестяхъ насъ можетъ утѣшать воспоминаніе минувшихъ дней блаженныхъ".

Зри духомъ въ вѣчность. Что̀ твой взоръ встрѣчаетъ?
Тамъ лучшій міръ, тамъ Богъ!—страдалецъ! улыбнись.

„Это сказалъ братъ нашъ Андрей для насъ съ тобой" (обращается Александръ Тургеневъ къ Николаю). Въ минуты душевной невзгоды вспоминались эти наставленія и Жуковскому. Разставаясь съ лучшею надеждой жизни, онъ обращается мыслію къ тому обѣтованному краю, „гдѣ (по выраженію Андрея Тургенева) вѣра не нужна, гдѣ мѣста нѣтъ надеждѣ, гдѣ царство вѣчное одной любви святой". Лирическое вступленіе къ повѣсти *Вадимъ Новгородскій*, въ которомъ Жуковскій даетъ понять, чѣмъ былъ для него Андрей Тургеневъ: „Тѣнь *веселая* и *мирная!* мы *твои*, *твои* несомнѣнно. Тѣнь твоя надо мною; она собесѣдница безмолвныхъ часовъ моихъ, *незримый хранитель моего сердца*. Такъ въ ея священномъ присутствіи ...*клянусь быть другомъ добродѣтели*". Нельзя не замѣтить, что, для начертанія исторіи внутренней жизни поэта, письма Жуковскаго къ роднымъ, друзьямъ и знакомымъ составляютъ важнѣйшій источникъ. Такъ въ письмѣ отъ 21 октября 1816 г. Жуковскій напоминаетъ Александру Тургеневу: „Что ты сдѣлалъ для Ковалькова, того молодого человѣка, о которомъ писалъ Иванъ Владиміровичъ (Лопухинъ) къ князю? И сдѣлалъ ли что-нибудь? Братъ! *Это — завѣщаніе нашего добраго благодѣтеля;* надо исполнить во всей силѣ его!" Не ради фразы называетъ Жуковскій знаменитаго масона „своимъ благодѣтелемъ". Въ самую тяжелую, рѣшительную пору своей жизни, когда разбита была лучшая изъ его надеждъ, Жуковскій, *со страхомъ замѣчая въ себѣ какое-то отдаленіе отъ религіи*, обращается за рѣшеніемъ обуревавшихъ его сомнѣній къ Лопухину (старика Тургенева тогда не было въ живыхъ): ему прежде другихъ открываетъ Жуковскій повѣсть своей любви, исповѣдуетъ свои сомнѣнія... И этотъ „истинный христіанинъ" возвращаетъ его на путь вѣры и надежды. Въ концѣ прошлаго вѣка Лопухинъ жилъ въ Москвѣ или подъ Москвою. Въ литературномъ и семейномъ кружкѣ Ивана Петровича Лопухинъ стоялъ рядомъ съ своимъ старымъ товарищемъ по „Типографической Компаніи". Авторъ книги „О внутренней церкви" встрѣчаетъ пансіонера Жуковскаго въ семьѣ старика Тургенева, для дѣтей котораго онъ былъ такимъ же *добрымъ благодѣтелемъ*, какимъ и для Жуковскаго, направляя ихъ къ созиданію своего внутренняго храма... Очень рано

стали Жуковскій и Александръ Воейковъ посѣщать Лопухина въ его подмосковной—Савинскомъ. Здѣсь вся обстановка говорила о литературныхъ вкусахъ хозяина. „Я видѣлъ (разсказываетъ Жуковскій) въ саду И. В. (Лопухина), находящемся верстахъ въ 30 отъ Москвы, въ подмосковномъ его селѣ *Савинскомъ*, скромную урну, посвященную памяти Фенелона. На ровномъ мѣстѣ, гдѣ было топкое болото, явились тѣнистыя рощи, пересѣкаемыя прекрасными дорожками и орошенныя чистою, прозрачною, какъ кристаллъ, водою. Расположеніе сада прекрасно: лучшее въ немъ мѣсто есть *Юнговъ островъ*. Вы видите большое пространство воды. Берегъ осѣненъ рощею, въ которой мелькаетъ *Русская хижина!* На самой серединѣ озера *Юнговъ островъ* съ пустынническою хижиной и нѣсколькими памятниками, между которыми замѣтите мраморную урну, посвященную Фенелону. На одной сторонѣ урны изображена госпожа *Гюйонъ*, другъ Фенелона, а на другой Ж.-Ж. Руссо, стоящій въ размышленіи передъ бюстомъ камбрейскаго архіепископа... Островъ осѣненъ разными деревьями: елями, осинами, березами и другими; его положеніе чрезвычайно живописно; всего пріятнѣе быть на немъ во время *ночи*, когда сіяетъ полная *луна*, воды спокойны, и рощи, окружающія берегъ, отражаются въ нихъ, какъ въ чистомъ зеркалѣ! Это мѣсто невольно склоняетъ васъ къ какому-то *унылому*, пріятному размышленію“. Ясно, къ какимъ предметамъ направлялись унылыя размышленія Жуковскаго. Этотъ кружокъ Тургенева работалъ прежде всего надъ созиданіемъ человѣка, а не поэта: подъ вліяніемъ этого кружка залегли въ глубину души Жуковскаго тѣ нравственныя начала, тѣ живыя дѣятельныя религіозныя вѣрованія, которыя такъ осязательно выражаются въ первомъ періодѣ поэтической дѣятельности Жуковскаго и вырываются съ новою силой, въ послѣдніе годы его жизни, въ мелкихъ статьяхъ теологическаго характера.

Быть въ кружкѣ Тургенева—значило знать Карамзина, а Дмитріевъ былъ „второю ипостасью“ Карамзина. Такъ, поэтическая дѣятельность Жуковскаго, при самомъ началѣ, подъ кровлею директора Московскаго университета, скрѣпилась тѣсными узами съ карамзинскимъ періодомъ литературы. Вотъ кругъ, въ которомъ совершилось литературное воспитаніе Жуковскаго. *Тихонравовъ.*

Литературные кружки конца XVIII и начала XIX вв.

М. А. Дмитріевъ въ своихъ воспоминаніяхъ разсказываетъ: „До 1812 г. и лѣтъ десять послѣ средоточіемъ русской литературы была Москва. И тѣ писатели, которые не жили въ ней постоянно, напримѣръ, Батюшковъ, Воейковъ, Давыдовъ, примыкали къ ней и печатали свои произведенія больше въ московскихъ изданіяхъ: въ „Аонидахъ“ Карамзина, въ „Вѣстникѣ Европы“, потомъ въ „Амфіонѣ“, въ „Россійскомъ Музеумѣ“ и проч. Петербургъ имѣлъ тогда своихъ поэтовъ и пис

телей, не безъ таланта, но далеко не равнявшихся съ тѣми, которые принадлежали къ школѣ Карамзина и Дмитріева, ни живостію поэтическаго чувства ни красивостію языка[1]).

Стремленіе къ литературнымъ занятіямъ, какъ единственному, можетъ быть, живому труду, въ которомъ могла проявиться самодѣятельность, было развито въ то время въ учебныхъ заведеніяхъ. Стремленіе это сильно поддерживалось возникавшими литературными кружками, обществами, въ родѣ „Собранія университетскихъ питомцевъ при Московскомъ университетѣ[2]), „Собранія воспитанниковъ университетскаго благороднаго пансіона и т. п.; и многіе изъ нашихъ видныхъ впослѣдствіи даровитыхъ общественныхъ дѣятелей на разныхъ поприщахъ государственной службы въ молодости увлекались мечтами о славѣ литературной, выступали съ произведеніями въ томъ или другомъ журналѣ[3]). Отрицательная сторона этого явленія заключалась въ томъ, что порою и молодые люди, совершенно чуждые какого-либо поэтическаго таланта, не желая отстать отъ болѣе даровитыхъ, вымучивали изъ себя риѳмы, втискивали свою совершенно прозаическую рѣчь въ прокрустово ложе хореевъ и ямбовъ — и наводняли печатныя изданія стихами, которые, конечно, не могли содѣйствовать поступательному движенію нашей литературы. Но для литературныхъ талантовъ это была весьма благопріятная атмосфера для развитія.

А. Ѳ. Мерзляковъ, основываясь на личныхъ наблюденіяхъ и воспоминаніяхъ, даетъ такую характеристику литературныхъ кружковъ начала XIX в.: „Съ восшествіемъ на престолъ любознательнаго, мудраго Государя Императора, науки обогащающаго, ученыхъ отличающаго (Александра I),... всѣ устремились съ невѣроятнымъ рвеніемъ къ обработанію Россійскаго слова... Молодые дворяне составили изъ трудовъ словесности свои любезнѣйшія занятія; и всякое состояніе вообще обратило на нее взоръ свой... Въ сіе время блистательно обнаружилась охота и склонность къ словесности во всякомъ званіи... Сей духъ быстрый и благотворительный произвелъ весьма многія частныя ученыя собранія литературныя, въ которыхъ молодые люди, знакомствомъ или дружествомъ соединенные, сочиняли, переводили, разбирали свои переводы и сочиненія, и, такимъ образомъ, совершенствовали себя на трудномъ пути словесности и вкуса. Въ Петербургѣ и Москвѣ существовали таковыя общества, не думающія ни объ извѣстности своей ни о выгодахъ, но живущія единственно удовольствіями, внутри самихъ себя заключенными, однимъ словомъ, наслажденіями ученія; говорю о собраніяхъ дружескихъ потому особенно, что я самъ во многихъ

---

[1]) „Мелочи изъ запаса моей памяти, М. 1869, стран. 222.

[2]) О немъ см., напримѣръ, Лонгиновъ: Новиковъ и московскіе мартинисты, стран. 136.

[3]) Явленіе это не представляло чего-либо оригинальнаго, исключительнаго: конецъ XVIII и начало XIX в. были эпохой, „où la poésie n'était pas le culte solitaire de quelques rêveurs perdus parmi les indifferents, mais un plaisir d'habitude, familier à un grand nombre d'intelligences, ou, si l'on veut, une distraction élégante, presque aussi répandue que l'est aujourd'hui la pratique du piano". *Gustave Merlet*, Tableau de la littérature française 1800—1815. Paris, 1883, I—III. 1-re partie, p. 151.

изъ нихъ участвовалъ, и сіе время жизни моей почитаю и всегда почитать буду самымъ счастливѣйшимъ, золотымъ, невозвратимымъ временемъ моей жизни... Пламенная любовь къ литературѣ, простыя искреннія расположенія другъ къ другу, свобода, сладостная безпечность, любезная мечтательность, стремительность къ добру, невинная, охотная, безкорыстная, даже изступленная: вотъ что было жизнію нашихъ собраній, нашихъ разговоровъ, нашихъ дѣйствій!... Мы строго критиковали другъ друга письменно и словесно, разбирали знаменитѣйшихъ писателей, которыхъ почитали образцами своими, разсуждали почти о всѣхъ важнѣйшихъ для человѣка предметахъ, спорили много и шумно за столомъ ученымъ, и расходились добрыми друзьями по домамъ"[1]).

Въ средѣ одного изъ подобныхъ литературныхъ кружковъ совершалось литературное развитіе молодого Жуковскаго; изученію дѣятельности членовъ этого кружка я и посвящаю послѣдующія страницы.

Рѣзановъ.

Дружеское литературное общество, его направленіе и характеръ.

Александръ Ивановичъ Тургеневъ, вспоминая время своей юности, разсказываетъ: „Нѣсколько молодыхъ людей, большею частью университетскихъ воспитанниковъ, получали почти все, что въ изящной словесности выходило въ Германіи, переводили повѣсти и драматическія сочиненія Коцебу, пересаживали, какъ умѣли, на русскую почву цвѣты поэзіи Виланда, Шиллера, Гёте, и почти весь тогдашній новѣйшій нѣмецкій театръ былъ переведенъ ими; многое принято было на театрѣ московскомъ. Корифеями сего общества были Мерзляковъ и А. Т. (Андрей Тургеневъ)[2]).

Это было „Дружеское литературное общество", уставъ котораго, подъ названіемъ „Законы дружескаго литературнаго общества", былъ подписанъ 12 января 1801 г. образовавшими его членами: М. Кайсаровымъ, В. Жуковскимъ, Андреемъ Тургеневымъ, Александромъ Тургеневымъ, Семеномъ Родзянкой, А. Мерзляковымъ, А. Кайсаровымъ, А. Офросимовымъ.

„Законы дружескаго литературнаго общества" напечатаны Н. С. Тихонравовымъ[3]). Началомъ, соединявшимъ членовъ общества, былъ

---

[1]) *Мерзляковъ,* Воспоминаніе о Ѳ. Ѳ. Ивановѣ. Труды Общества Любит. Росс. Слов. при Моск. унив., М. 1817, часть VII, стран. 101—104.

[2]) „Отрывокъ изъ записной книжки путешественника". — „Современникъ" 1837 г., т. V, стран. 304—305.

[3]) Сборникъ Общества Любит. Росс. Словесности на 1891 г. М. 1891, стран. 1—14. „Общество, уставъ котораго появляется теперь въ печати, основано было В. А. Жуковскимъ", сказано здѣсь въ подстрочномъ примѣчаніи, и сдѣлана ссылка между прочимъ на *М. Дмитріева,* „Мелочи изъ запаса моей памяти", стран. 180; но у Дмитріева идетъ рѣчь не о „Дружескомъ литературномъ Обществѣ", а о ранѣе возникшемъ „Собраніи воспитанниковъ университетскаго благороднаго пансіона".

„духъ благій дружества, сердечная привязанность къ своему брату, взаимное довѣріе, любовь къ человѣчеству, ко всему изящному, нѣжное доброжелательство къ пользамъ другого“ [1]). Цѣлью своею члены ставили — „при взаимныхъ пособіяхъ“, служа „Добродѣтели и Истинѣ“, найти и образовать въ себѣ „лестный талантъ трогать и убѣждать другихъ словесностію“; для достиженія этой цѣли члены общества должны были „особенно заняться теоріею изящныхъ наукъ“, „трудиться надъ собственными своими произведеніями, обрабатывая ихъ со всевозможнымъ раченіемъ“, подвергать разбору и критикѣ сочиненія и переводы на русскій языкъ; „критика касается до плана піэсы, до словъ, выраженій, оборотовъ, въ прозѣ до гладкости, ясности и пріятности стиля, въ стихахъ до мѣры стиховъ, риѳмъ, гармоніи; опроверженіе же касается до мыслей автора“. Засѣданія общества предполагалось устраивать одинъ разъ въ недѣлю. „Всякой разъ долженъ чередной ораторъ читать рѣчь“; „выборъ матерій“ предоставлено было „дѣлать всякому члену для себя“. Кромѣ рѣчей „чередного“ оратора предметомъ занятій общества были: „философическія и политическія сочиненія“, „философическіе и политическіе переводы“, „беллетрическія сочиненія“, „беллетрическіе переводы“, „критика и опроверженіе философическихъ піэсъ“, „критика и опроверженіе беллетрическихъ піэсъ“, наконецъ „чтеніе лучшихъ иностранныхъ и національныхъ авторовъ“ [2]).

Общество имѣло серіозное вліяніе на членовъ, какъ въ высшей степени благопріятная атмосфера для развитія природныхъ литературныхъ вкусовъ и наклонностей тѣхъ изъ нихъ, кто ими обладалъ. Такъ дѣйствовало это общество на одного изъ „корифеевъ“ его, по приведенному выше выраженію А. И. Тургенева, именно, на Мерзлякова. Много лѣтъ спустя, въ 1815 г., въ критической статьѣ своей о Россіадѣ Хераскова, онъ ссылается на „правила, которыя пріобрѣлъ въ незабвенномъ любознательномъ обществѣ словесности“, вспоминаетъ о тогдашнихъ „безцѣнныхъ бесѣдахъ“, и намѣревается „изобразить тогдашнія наши размышленія о Россіадѣ“, о которой и говоритъ какъ о „первомъ и важнѣйшемъ предметѣ во множествѣ хорошихъ сочиненій стихотворныхъ“. Въ засѣданіяхъ общества, вспоминаетъ Мерзляковъ, „мы, по истинѣ управляемые благороднѣйшею цѣлью, всѣ въ цвѣтѣ юности, въ жару пылкихъ лѣтъ, одушевленные единымъ благодатнымъ чувствомъ дружества, не отравленнымъ частными выгодами самолюбія, учили и судили другъ друга въ первыхъ нашихъ занятіяхъ, и жертвуя, повидимому, своимъ удовольствіямъ, между тѣмъ нечувствительно и скромно, исполненные патріотизма и любви къ изящному, приготовляли себя на будущее наше служеніе“ [3]).

Рѣзановъ.

---

[1]) Сборникъ Общ. Люб. Росс. Слов. на 1891 г., стран. 13.
[2]) Ibid., стран. 1—4.
[3]) „Амфіонъ“, М. 1815, книга I, стран. 59—62.

Литературныя вліянія, окружавшія Жуковскаго.

Съ половины и особенно съ конца XVIII ст. во всѣхъ литературахъ западной Европы начинается чрезвычайно сложное, богатое самыми разнообразными элементами, движеніе.

Исходнымъ пунктомъ этого движенія была борьба противъ устарѣлыхъ ложно-классическихъ формъ, все еще господствовавшихъ въ литературѣ. Борьба эта рѣзче и сильнѣе всего выразилась въ Германіи, въ дѣятельности *Лессинга* (1729—1781). Главнѣйшею задачей его поэтической и критической дѣятельности была борьба съ безусловнымъ господствомъ французской литературы, стремленіе пріобрѣсти самостоятельную почву для самобытно-нѣмецкой поэзіи. Лессингъ преимущественно былъ критикомъ: его поэтическія произведенія были лишь иллюстраціями къ его критическимъ статьямъ и изслѣдованіямъ. Указывая, какъ на образецъ, на болѣе близкую къ реальной жизни мѣщанскую поэзію англичанъ, на ихъ Шекспира, на творенія самихъ древнихъ классическихъ поэтовъ, наконецъ, на самую природу, — Лессингъ объявилъ безпощадную войну бездарному кропанію многочисленныхъ тогдашнихъ нѣмецкихъ піитовъ, реторически-напыщенному, условному содержанію ихъ ложно-классическихъ произведеній, равно и всей нѣмецкой критикѣ, слишкомъ робкой и безпринципной, — и тѣмъ самымъ положилъ прочныя теоретическія основы и для новой нѣмецкой поэзіи и для новой критики. Его *Лаокоонъ* (1766) и *Гамбургская Драматургія* (1765—1768) во всей полнотѣ развернули глубокое пониманіе авторомъ задачъ и цѣлей поэтическаго творчества, придали пониманію послѣдняго небывалую дотолѣ широту, и черезъ это окончательно свели счеты съ ложно-классической французской драмой и мертвыми, формальными правилами французской піитики. Разомъ и навсегда своей геніальной критикой Лессингъ „вспугнулъ французскій классицизмъ изъ его спокойствія и его обезпеченнаго господства".

Одновременно съ критикою Лессинга, въ нѣмецкой литературѣ возникаютъ первые опыты истинной поэзіи. Съ появленіемъ *Клопштока* (1724—1809), „стало для всѣхъ ясно, что поэзія прежде всего требуетъ геніальнаго дарованія и что ей нельзя научиться съ помощью теоріи". Это былъ первый истинный поэтъ въ нѣмецкой литературѣ. Его *Мессіада* (1748—1773) и нѣкоторыя изъ его одъ совершили въ ней рѣшительную реформу въ смыслѣ искренности и силы поэтическаго творчества. Его „небесная" муза, „серафимскій" тонъ его поэзіи позже вызвали утрировку; но въ его собственныхъ рукахъ они были для современниковъ откровеніемъ и встрѣтили общій восторгъ... Что сдѣлалъ Клопштокъ для одной области поэзіи, то сдѣлалъ одновременно *Виландъ* (1733—1813) для другой. Онъ былъ сначала въ числѣ многочисленныхъ подражателей Клопштока, но скоро перешелъ на самостоятельную дорогу и открылъ совершенно новую сферу поэтическому творчеству. Вмѣсто неба онъ сталъ воспѣвать землю

Переведя Шекспира (въ 1762—1766 гг.), онъ сталъ развивать въ многочисленныхъ своихъ романахъ, всякаго рода стихотвореніяхъ и передѣлкахъ — свѣтлый, реальный взглядъ на жизнь. Тонъ его поэзіи часто дѣлается фривольнымъ, иногда даже скабрезнымъ; но вообще здоровая веселость его поэзіи, реальность его картинъ были большой новостью для тогдашней нѣмецкой литературы. Художественное направленіе Клопштока и Виланда поддержано было самимъ Лессингомъ, — предтечею *Гете* и *Шиллера*... Почти одновременно въ англійской литературѣ раздаются пѣсни *В. Купера* (1731—1809), *Роберта Бернса* (1759—1796), во Франціи *Э. Парни* (1753—1814) *П. Беранже* (1780—1859).

Если Германія, въ лицѣ Лессинга, больше всего способствовала выясненію теоретическихъ представленій объ искусствѣ и въ частности о поэтическомъ творчествѣ, о задачахъ и цѣляхъ литературы, то Англія раньше всѣхъ другихъ націй въ Европѣ выступила съ практическимъ осуществленіемъ всего этого. Въ своей критикѣ Лессингъ часто указывалъ, какъ на образецъ, на англійскую мѣщанскую драму и англійскій семейный романъ. Дѣйствительно, въ англійской литературѣ раньше всѣхъ другихъ европейскихъ литературъ пробудилось стремленіе къ большей жизненной правдѣ, къ большей реальности въ литературныхъ произведеніяхъ.

Искусственность свѣтской жизни, въ томъ видѣ, въ какомъ Людовикъ XIV ввелъ ее въ моду, начинала уже сильно надоѣдать европейскому обществу. Сухость и безсодержательность ея сдѣлались для каждаго очевидны. Общество чувствовало усталость отъ необходимости быть всегда на вытяжкѣ, заботиться о представительности, подчиняться этикету. Люди начали догадываться, что любезность не есть еще любовь, что мадригалъ не исчерпываетъ всей поэзіи, а развлеченіе не составляетъ счастья, стали понимать, что человѣкъ — не элегантная муха, а свѣтскій петиметръ — не совершенство природы, и что есть свѣтъ внѣ салоннаго міра. И вотъ, является новый типъ, кумиръ и образецъ своей эпохи — *чувствительный человѣкъ*, по серіозности своего характера и любви къ природѣ рѣзкая противоположность *придворнаго человѣка*... Онъ изысканъ и приторенъ, готовъ расчувствоваться при видѣ ягнятъ, пощипывающихъ молодую травку, благословлять птичекъ, празднующихъ свое счастье щебетливымъ пѣніемъ. Онъ напыщенъ и фразеръ, сочиняетъ длинныя тирады о чувствахъ, возстаетъ противъ испорченности вѣка, взываетъ къ „добродѣтели“, „добру“, „истинѣ“... По поводу малѣйшаго облачка, онъ начинаетъ мечтать о жизни человѣческой, и говоритъ фразы... Исходя изъ Англіи, по всѣмъ литературамъ Европы быстро разливается широкій потокъ *сентиментализма*. Возникшее направленіе находитъ для себя выраженіе въ періодическихъ изданіяхъ Аддиссона (1672—1719); въ знаменитомъ *Робинзонѣ* Дефо (1663—1731), въ романахъ Ричардсона (1689—1761), — *Памелѣ* (1740), *Клариссѣ* (1748), *Грандиссонѣ* (1753), — появляющихся какъ разъ въ срединѣ столѣтія, —

въ *Сентиментальномъ путешествіи* Стерна (1713—1768), давшемъ собою названіе всему направленію, наконецъ, и даже, пожалуй, главнымъ образомъ — въ неудержимомъ потокѣ чувствительной лирики. Во главѣ этой послѣдней стоятъ такіе поэты, какъ *Дж. Томсонъ* (1700—1748), *Томасъ Грей* (1716—1771), *Эд. Юнгъ* (1681—1765)... Новыя произведенія англійской литературы быстро облетаютъ всѣ страны Европы и всюду вызываютъ подражанія. Нужно имѣть въ виду характеръ и содержаніе европейской беллетристики до этого времени, чтобы вполнѣ понять тотъ всеобщій восторгъ, съ которымъ встрѣчено было въ Европѣ новое литературное направленіе. Европейское читающее общество слишкомъ ужъ утомлено было безконечными, однообразными исторіями о разныхъ приключеніяхъ и похожденіяхъ принцевъ и принцессъ, странствованіяхъ и подвигахъ многочисленныхъ рыцарей и другихъ подобныхъ великихъ героевъ, которымъ посвящались прежнія беллетристическія произведенія, безконечное число разъ варьировавшіяся и составлявшія чуть не все содержаніе тогдашней европейской поэзіи. Отъ слишкомъ частаго повторенія однихъ и тѣхъ же мотивовъ, поэзія, беллетристика пріобрѣли какой то шаблонный характеръ, — помимо того, что все это чаще всего писалось необыкновенно вычурнымъ, напыщеннымъ языкомъ. Это была какая то ходульная литература, безъ малѣйшихъ признаковъ жизни и естественности. Читатель не видѣлъ передъ собой живыхъ чувствъ, живыхъ людей: передъ нимъ двигались маски... Журналы Аддиссона, романы Ричардсона, путешествіе Стерна, меланхолически-мечтательная, всегда грустная и задумчивая лирика Томсона, Грея ввели европейскаго читателя въ совершенно особый, невѣдомый ему дотолѣ, по книгѣ, міръ. Новыя произведенія англійской литературы открывали передъ читателями новую невѣдомую страну — внутренній міръ души, міръ сердечныхъ ощущеній и чувствъ. Въ этомъ отношеніи они впервые ставили читателей на почву дѣйствительности. Міръ чуждыхъ рыцарей и принцессъ впервые замѣнялся близкой читателю, тихой семейной обстановкой средняго класса общества, читатель и за книгой оставался въ знакомой его средѣ: и здѣсь его окружили дяди, тетки, братья, кузины, дѣды съ отцовской стороны, дѣды съ матерней стороны, разные пріятели и пріятельницы, — словомъ, вся та родня, весь тотъ міръ повседневной, будничной жизни, которымъ онъ жилъ и въ дѣйствительности. Читателя поражала эта необычная близость книги къ жизни, — и онъ не могъ оторваться отъ ея чтенія. Онъ не замѣчалъ, что въ новыхъ произведеніяхъ ужъ слишкомъ много мѣста отводится чувству, лиризму, слишкомъ много нравоученія и чувствительности: въ сравненіи съ предшествовавшей вычурностью, все это казалось естественнымъ, живымъ... Мимоходомъ замѣтимъ: стремленіе литературы къ бо́льшей жизненной правдѣ, переселеніе ея изъ міра героевъ-принцевъ въ среду средняго сословія едва ли не было въ извѣстной степени и результатомъ возникновенія около этого времени въ европейскомъ обществѣ буржуазіи, средняго сословія, роста и усиленія его въ обще-

ственной жизни. Съ конца XVII и нач. XVIII в. среднее сословіе вездѣ начинаетъ чувствовать могущество своего богатства, своего образованія, сознавать свое государственное, общественное и экономическое значеніе, свою болѣе чистую нравственность, — и все громче начинаетъ требовать себѣ правъ на существованіе. Выросшая буржуазія создаетъ и буржуазную литературу...

Двумя, тремя десятками лѣтъ позже точно такое же, аналогичное явленіе совершилось и въ нашей литературѣ. У насъ, правда, мало было романовъ о рыцаряхъ и принцессахъ, — хотя подобныя произведенія, съ конца XVI в., начинали уже и къ намъ проникать; но зато болѣе чѣмъ съ избыткомъ было всякаго рода торжественныхъ одъ. Эти оды, особенно подъ конецъ, своею крайнею неестественностью, своимъ убійственнымъ языкомъ — производили на русскихъ читателей точно такое же впечатлѣніе, какое испытывали западно-европейскіе отъ своихъ рыцарскихъ романовъ и повѣстей XVI—XVII в. И тамъ и здѣсь въ литературныхъ произведеніяхъ не было жизни: были только — „слова, слова и слова...“ Оды Ломоносова и Державина исчерпали всю область торжественной лирики; ихъ подражатели начинали уже утомлять. Безчисленный же рой бездарныхъ кропателей-стихоплетовъ, явившихся затѣмъ въ нашей литературѣ, окончательно уничтожили въ ней всякое содержаніе. Поэтическое творчество было низведено на степень ремесла. Литература всецѣло перешла въ вѣдѣніе авторовъ-піитовъ, высшія, конечныя стремленія которыхъ были —

Награда перстенькомъ,
Нерѣдко — сто рублей, иль дружество съ князькомъ...
Иль — похвала своихъ пріятелей...

Литература сдѣлалась какой-то мертвой, деревянной... Таковъ былъ характеръ нашей литературы, когда въ ней явилась *Бѣдная Лиза* (1792) Карамзина. Небольшая повѣсть разомъ создаетъ цѣлую литературную эпоху, — предшествовавшее направленіе исчезаетъ навсегда... Въ литературѣ быстро возникаетъ и развивается новое теченіе...

Для характеристики этихъ, быстро усиливающихся у насъ къ концу столѣтія литературныхъ вкусовъ, чрезвычайно типичнымъ является направленіе нашей тогдашней только что возникавшей журналистики. Для насъ въ настоящемъ случаѣ особенно важны тѣ періодическіе сборники, которые издаются около этого времени при московскомъ благородномъ пансіонѣ. Журналы эти начальствомъ пансіона рекомендуются для чтенія воспитанникамъ, и ихъ чтеніе, конечно, не могло не имѣть весьма значительнаго вліянія на развитіе вкусовъ и талантовъ питомцевъ. Эта журналистика была здѣсь проводникомъ того новаго могучаго литературнаго потока, который съ такою силою разливается теперь въ нашей литературѣ... Въ этихъ, издаваемыхъ пансіономъ, журналахъ, да и вообще въ лучшихъ изданіяхъ тогдашней періодической печати отмѣтимъ журналы: „Пріятное и полезное препровожденіе времени“ 1791—1797; „Ипокрена“ 1798—1801; „Утренняя Заря“ 1801—1808; „И отдыхъ въ пользу“ 1804 и т. д. Въ нихъ

господствуетъ всецѣло карамзинская сентиментальность. Карамзинъ называется здѣсь „чувствительнымъ, нѣжнымъ, любезнымъ и привлекательнымъ нашимъ Стерномъ“ и т. п. Сотрудниками „Пріятнаго и полезнаго препровожденія времени“ и „Ипокрены“ являются сотрудники *Аонидъ* Карамзина... Въ статьѣ журнала „Пріятное и полезное препровожд. времени“, озаглавленной *Къ сердцу*, авторъ, напр., восклицаетъ: „Виновникъ дѣлъ великихъ, дѣлъ благородныхъ, сердце! Для чего ученые, ищущіе просвѣщенія, съ ущербомъ правъ твоихъ обогащаютъ разумъ! Для чего образуютъ, воспитываютъ болѣе сей послѣдній, нежели тебя?...“ Въ другой, обращенной къ „чувству“, читаемъ: „Какого ангела, какого Бога дѣлаешь ты изъ человѣка, когда онъ въ уединенные часы свои, въ тихомъ кабинетѣ, въ объятіяхъ сельской натуры почерпаетъ божественныя твои вдохновенія въ тайныхъ изгибахъ своего сердца, изливаетъ ихъ на бумагу или читаетъ Гесснера, Руссо, Стерна, Петрарку...“ „Уединеніе“ называется „отрадою чистѣйшихъ душъ“, „природа“ — „другомъ, матерью, вождемъ“. Съ идиллическими мечтаніями обращаются сотрудники журнала къ пастушескому вѣку, — передъ нами фигурируютъ имена пастушковъ Аркаса, Дафниса, Палемона и т. д. Рядомъ съ идиллическими картинами сентиментализма, здѣсь же нерѣдко является и кладбище: оно служитъ любимымъ мѣстомъ меланхолическихъ мечтаній.

Чрезвычайно характернымъ является въ нашихъ тогдашнихъ журналахъ выборъ переводовъ. Выборъ этотъ является краснорѣчивымъ показателемъ народившихся въ обществѣ новыхъ вкусовъ. Эти переводы отчасти продолжаютъ Карамзина, отчасти предупреждаютъ Жуковскаго... Переводы берутся изъ всѣхъ литературъ Европы, — но на первомъ мѣстѣ стоятъ литература нѣмецкая и англійская.

Тогдашніе журналы наши вообще хорошо знакомятъ своихъ читателей съ лучшими явленіями современныхъ западныхъ литературъ, и въ этомъ отношеніи являются какъ бы ближайшими предвѣстниками дѣятельности Жуковскаго...

Таковы были собственно литературныя вліянія, окружавшія начинавшаго писателя. *Архангельскій.*

Романтизмъ и муза Жуковскаго.

Нѣмецкая литература, по преимуществу, носитъ характеръ космополитизма. Особенными свойствами ея могутъ назваться человѣчность содержанія и примиреніе разнородныхъ началъ. Германія, поставленная природою и исторіею между разнообразными и часто враждебными несродными началами, представляетъ цѣлый міръ идей, которому доступно умственное достояніе всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ. Всеобъемлющая поэзія Гёте, этого прототипа германскаго духа, отозвалась, кажется, на все, что только доступно человѣку и въ природѣ и въ об-

ласти творчества человѣческаго. Въ концѣ XVIII и началѣ XIX в. въ Германіи началось такое умственное движеніе, какого не представляетъ ни одна европейская литература. Философія и поэзія шли рядомъ другъ съ другомъ, восполняя другъ друга, и имена Лессинга, впервые освободившаго нѣмецкую литературу отъ французскаго вліянія и давшаго ей самостоятельную національную жизнь, Гердера, Шиллера и Гёте, какъ и имена творцовъ философскихъ системъ, стройно развивающихся одна изъ другой — Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, сдѣлались именами общеевропейскими. Политическій переворотъ во Франціи въ концѣ XVIII в., быстрыя завоеванія французовъ и, наконецъ, войны Наполеона дали огромный толчокъ развитію народнаго духа въ Германіи, сознанію самостоятельности и должны были отразиться и въ умственной сферѣ. Здѣсь-то въ первый разъ, въ эту пору появляется названіе *романтизма* и *романтической школы*. Романтизмъ, какъ современная идея въ литературѣ, долженъ былъ возникнуть совершенно необходимымъ и естественнымъ образомъ. Это была реакція противъ классическаго развитія, начатаго въ вѣкъ возрожденія и реформаціи, въ условіяхъ котораго жила до тѣхъ поръ Германія; это было признаніе правъ національности, народныхъ началъ, отодвинутыхъ въ глубь вѣковъ исторіею. Романтизмъ въ Германіи, какъ и всякое противоисторическое движеніе, имѣлъ только эфемерное существованіе, и возвышенный усиліями Новалиса, братьевъ Шлегелей и другихъ, онъ образовалъ было цѣлую школу искусства, которой заплатили дань даже великіе таланты Шиллера и Гёте, особенно перваго. Эта школа не имѣетъ теперь почти представителей въ Германіи, и здравая нѣмецкая критика ожесточенно преслѣдуетъ романтическія теоріи искусства. Но въ ту пору, какъ реакція противъ классицизма, надоѣвшаго всѣмъ, какъ признаніе народныхъ началъ, романтизмъ заслуживалъ полнаго уваженія, особенно по тому вліянію, какое онъ имѣлъ на возрожденіе народныхъ литературъ у сосѣдственныхъ народовъ. Онъ открылъ цѣлый міръ искусства, незнаемый или забытый до того времени. Онъ расширилъ предѣлы искусства. Какъ вся литература Германіи, такъ и романтизмъ ея отличался космополитическимъ характеромъ. Романтическіе писатели Германіи познакомили ее съ произведеніями литературъ англійской, итальянской, испанской, португальской, даже сѣверныя литературы не были забыты ими, даже въ глубину индійской мудрости проникли пытливыя изслѣдованія Шлегеля. Въ этомъ заключается самая существенная заслуга романтизма. Но преимущественною страною, куда направлены были всѣ задушевныя стремленія романтиковъ, былъ міръ среднихъ вѣковъ, закрытый до сихъ поръ классическимъ воспитаніемъ и реформаціоннымъ движеніемъ, враждебнымъ средне-вѣковому романтизму, на почвѣ котораго выросъ католицизмъ. Вотъ почему, увлекаясь средними вѣками, Шлегель и Штольбергъ совершенно послѣдовательно обратились въ католицизмъ. Признаніе историческихъ правъ за средними вѣками совершенно справедливо, но возрожденіе началъ минувшей жизни, даже въ мірѣ искусства,

ложно до крайности. Трудно мужу, искусившемуся жизнію, начать снова мечтательную жизнь юноши, увлекаться вновь давно разлетѣвшимися идеалами, плакать попрежнему горячими слезами молодости. Его положеніе будетъ и ложно и смѣшно. Какъ человѣкъ не возвращается на обратный путь жизни, такъ и народъ не въ состояніи воротить своего минувшаго, отжившихъ и вымершихъ началъ. Средніе вѣка были юношескою порой европейскаго человѣчества; они необходимы были для его воспитанія. Здѣсь, какъ въ юности человѣка, все было нестройно, все было неопредѣленно. Благородный порывъ рыцарскаго уваженія къ женщинѣ, забытой и презрѣнной древнимъ міромъ, смѣнялся грубыми увлеченіями феодальной силы; поэзія трубадуровъ и миннезингеровъ, вся проникнутая стремленіями сердца, раздавалась въ замкахъ бароновъ, передъ которыми дрожали толпы жалкихъ вассаловъ. Самое чувство въ среднихъ вѣкахъ не имѣло опредѣленныхъ и точныхъ границъ; оно было порываніемъ къ чему-то незнаемому и неясно сознанному. Личности человѣка открывался широкій произволъ, и вотъ почему почва среднихъ вѣковъ была такъ плодотворна для поэзіи. Средніе вѣка имѣли свою собственную могучую поэзію въ гигантской эпопеѣ Данта, которая можетъ быть названа апоѳеозою среднихъ вѣковъ. Суровый флорентинецъ заключилъ въ широкихъ рамахъ своей поэмы все, что составляло сущность этой исторической эпохи. Въ ней и борьба свѣтской и духовной власти, составлявшая, большею частію, всю исторію среднихъ вѣковъ; въ ней и энергическія личности гвельфовъ и гибеллиновъ, уносившихъ даже въ могилу свои земныя страсти и политическія убѣжденія; въ ней и нѣжная, мечтательная, безъ всякаго вожделѣнія и раздѣла, любовь къ Беатриче; въ ней и наука среднихъ вѣковъ, въ которой ясныя и опредѣленныя категоріи аристотелевой логики встрѣчаются съ туманнымъ мистицизмомъ схоластиковъ. Цѣлый міръ среднихъ вѣковъ, несмотря на дѣйствительную нестройность и безурядицу свою, возникаетъ волшебнымъ образомъ передъ читателемъ въ звучныхъ и гармоническихъ терцинахъ Данта. Поэзія же новой романтической школы взяла изъ жизни среднихъ вѣковъ только то, что доступно нашему времени, — взяла идеальную сторону жизни, отбросивъ историческую основу. Больше всего она разработала чувство, неопредѣленное и неясное, лишенное всякой реальности, но прекрасное, какъ юношескій порывъ, какъ легкій куполъ готическаго собора, стрѣлою или молитвою улетающій въ небо. Поэтамъ-романтикамъ не было дѣла до того, что чувство, застывшее въ формѣ порыва, не есть человѣческое чувство, что въ немъ нѣтъ дѣйствительности. Но о дѣйствительности и реальности имъ некогда было думать. Земля уходитъ изъ-подъ ногъ: открываются безпредѣльныя, безграничныя пространства. Передъ нами развертываются фантастическія равнины, освѣщенныя блѣдными лучами луны. Едва виднѣются на нихъ башни рыцарскихъ замковъ, безъ рѣзкихъ очертаній, чуть прорѣзываясь въ туманномъ воздухѣ и отражаясь въ волнахъ соннаго озера. Вдали — полуразрушенная готическая колокольня, подъ сѣнію

ивъ, на которыхъ качаются свѣтлые бѣлокурые эльфы, съ простодушной улыбкой смотрящіе на каменные кресты кладбища. По кладбищу бродитъ мечтательная *дѣва*, тонкая и стройная, какъ лилія, блѣдная, какъ лучъ луны. Она поетъ пѣсню, грустную и однообразную, какъ звуки эоловой арфы, какъ звонъ по покойникѣ. Она ждетъ возлюбленнаго, который бьется далеко, далеко, подъ стѣнами святого города, во славу красоты ея, въ честь ея голубыхъ глубокихъ очей. И вотъ передъ нею, на лазурномъ небѣ, подымается знакомая, милая сердцу — тѣнь. *Онъ* — въ бѣлой мантіи, съ краснымъ крестомъ на груди и черною раной подъ крестомъ. Его руки опущены, уста недвижно скованы смертію, и только во взорѣ блеститъ нѣжный пламень любви, мечтательно пережившій земныя страданія. Тоскующая красавица рвется за возлюбленною тѣнью, въ ту незнакомую, но милую сторону, гдѣ нѣтъ разлуки и страданія. Она такъ воздушна, что, кажется, улетитъ сейчасъ и безъ крыльевъ, но земля удерживаетъ ее, и она падаетъ полумертвая у ногъ милаго ей видѣнія. Это на землѣ, а подъ землею какая фантастическая жизнь! Царь гномовъ, въ блестящей коронѣ изъ алмазовъ и изумрудовъ, сидитъ на престолѣ; передъ нимъ вьются маленькіе гномы, владѣтели сокровищъ, зарытыхъ въ нѣдрахъ земли. Въ волнахъ моря плаваютъ нѣжныя, тоскующія по душѣ ундины и со струнами эоловой арфы въ воздухѣ играютъ шаловливые сильфы. Таковъ міръ романтической поэзіи.

Въ этотъ фантастическій, волшебный міръ романтической поэзіи, исполненный грезъ и очарованія, перенесъ нашу поэзію Жуковскій. Его душа какъ будто настроена была къ воспріятію этого міра и къ усвоенію его себѣ. Рано постигнувшій прелесть звуковъ германской поэзіи, Жуковскій посредствомъ ихъ познакомилъ насъ съ поэзіею отдаленныхъ вѣковъ и народовъ. Его муза облетѣла цѣлый міръ, собирая вездѣ, какъ пчела, медъ съ разнообразныхъ цвѣтовъ поэзіи и передавая намъ звуки, родственные душѣ его. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ воспріимчивыхъ талантовъ, которые не творятъ новыхъ путей въ искусствѣ, но принимаютъ въ себя все то, что находитъ созвучіе въ ихъ сердцѣ. Такіе таланты не блестятъ нововведеніями, но чрезвычайно полезны. Вслѣдствіе условій натуры своей, они бываютъ постоянно настроены на одинъ ладъ и передаютъ своими звуками только то, что гармонируетъ съ этимъ ладомъ. Поэтому Жуковскій оставался всегда вѣренъ себѣ, въ какую бы отдаленную и противоположную другой сторону ни увлекъ его геній поэзіи. Передаютъ ли звуки его, полные суровой поэзіи феодальнаго быта, романсы о Сидѣ, или воспѣваютъ мистически страстную, таинственную, какъ природа Индіи, любовь Наля и Дамаянти, или пересказываютъ простую и ясную сказку древняго Гомера, изображающую свѣтлую младенческую пору человѣчества, — они звучатъ какъ-то однообразно, какъ тоны эоловой арфы. На все онъ смотритъ подъ однимъ угломъ зрѣнія. Вся поэзія его была безпрерывнымъ, неумолкаемымъ порывомъ отъ земли къ небу, унылою тоской души по миломъ невозвратномъ быломъ, грустію по далекому,

незнаемому небу. Рано полюбилъ Жуковскій романтическихъ поэтовъ Германіи и перенесъ въ русскую поэзію въ гармоническихъ, увлекательныхъ звукахъ всю таинственную прелесть міра, созданнаго ими, этотъ полумракъ, полусвѣтъ, гдѣ все неясно и неопредѣленно, но гдѣ все говоритъ сердцу, эти видѣнія, эти звуки, невѣдомо откуда несущіеся и манящіе въ туманную даль, эту любовь робкую и несчастную, съ мечтою о соединеніи — *тамъ*. Земныя радости и земныя страданія не могли вдохновить Жуковскаго. Его счастіе было не на землѣ, и онъ самъ въ стихотвореніи своемъ „Къ Филарету" разсказываетъ неудавшуюся повѣсть своей юности и заставляетъ вѣрить, что эта неудача навсегда отозвалась тоскующими звуками его поэзіи:

Къ младенчеству ль душа прискорбная летитъ,
Считаю ль радости минувшаго — какъ мало!
Нѣтъ! счастье къ бытію меня не пріучало;
Мой юношескій цвѣтъ безъ запаха отцвѣлъ.
Едва въ душѣ своей для дружбы я созрѣлъ —
И что же!... предо мной увядшаго могила;
Душа, не воспылавъ, свой пламень угасила.
Любовь... но я любви нашелъ одну мечту,
Безумца тяжкій сонъ, тоску безъ раздѣленья,
И невозвратное надеждъ уничтоженье.

Эта постоянная скорбь о минувшихъ радостяхъ, которая такъ часто встрѣчается въ поэзіи Жуковскаго есть

Обѣтъ неизмѣнной надежды:
Что гдѣ-то въ знакомой, но тайной странѣ,
Погибшее намъ возвратится.

Оттого счастье, говоря словами Жуковскаго, „видится въ отдаленьи". Это невѣдомое, *магическое тамъ* есть та *страна очарованья*, по которой тоскуетъ поэтъ. Его блаженство

. . . . . тамъ
За синевой небесной,
Въ туманной сей дали, —
Тамъ все, что на земли
И мило и священно,
Вся жизнь, весь жребій твой,
Какъ призракъ оживленный,
Мелькаетъ предъ тобой.

Тамъ вознаградятся и забудутся всѣ земныя страданія человѣка. Туда душа перенесетъ — любовь и образъ милой. Тамъ, въ этой мечтательной загробной странѣ, унылый пѣвецъ Минваны, безотвѣтно и робко любившій прекрасную дочь морвенскаго владыки, вѣритъ своему соединенію съ возлюбленною. Онъ говорилъ ей:

Что, жизнь переживши,
Любовь лишь одна не разсталась съ душой;
Что робко любившій
Безъ радости любитъ и болѣе твой.

Этотъ таинственный, загробный міръ связанъ, однакожъ, съ міромъ дѣйствительнымъ. Часто доносится на землю, страну скорби и изгнанія, голосъ съ того свѣта, зовущій къ себѣ покинутаго друга; часто милый призракъ слетаетъ къ нему съ неба или подаетъ ему вѣсть о себѣ запахомъ цвѣтовъ, выросшихъ на могилѣ, или унылыми звуками, какъ въ „Эоловой арфѣ". Нигдѣ съ такою прелестью не выражена идея романтической любви у Жуковскаго, какъ въ этомъ стихотвореніи, гдѣ обаяніе звуковъ соединяется съ обаяніемъ чувства, понятнымъ только благородному и чистому сердцу юноши, любящему тоскливо и робко, безъ мысли объ обладаніи, о раздѣлѣ. Любовь говоритъ здѣсь не голосомъ земной страсти, жадной и бунтующей, съ пыломъ въ крови и туманомъ въ глазахъ. Нѣтъ, въ этомъ мірѣ все свѣтло и спокойно, все чуждо земли. Но этотъ *край желаннаго*, куда стремится душа поэта, сокрытъ отъ очей его. Поэтъ съ тоскою спрашиваетъ:

Кто жъ къ невѣдомымъ брегамъ
Путь невѣдомый укажетъ?
Ахъ! найдется ль, кто мнѣ скажетъ
Очарованное „*тамъ*".

Поэзія является посредницею между небомъ и землею, между этою невѣдомою, но желанною страной и печальнымъ міромъ, окружающимъ насъ. Источникъ этой поэзіи не земля, а небо; ее посылаетъ человѣку „геній чистой красоты".

Онъ лишь въ чистыя мгновенья
Бытія слетаетъ къ намъ
И приноситъ откровенья,
Благотворныя сердцамъ;
Чтобъ о небѣ сердце знало
Въ темной области земной,
Намъ туда сквозь покрывало
Онъ даетъ взглянуть порой.

На томъ же основаніи муза Жуковскаго такъ любила и такъ умѣла передавать легенды среднихъ вѣковъ и таинственные разсказы, въ которыхъ народная фантазія выразила понятіе свое о загробной жизни и вѣрованія въ духовъ и мертвецовъ, приносящихъ вѣсти съ того свѣта. Любимою формою поэтическою для Жуковскаго была баллада, вся проникнутая его любимымъ содержаніемъ и, по большей части, передающая намъ повѣсть о сношеніяхъ съ другимъ міромъ. Дѣйствительности и опредѣленности было мало въ поэзіи Жуковскаго. Вся она расплывалась въ неопредѣленные, неясные образы. Очень понятно, что такое содержаніе его поэзіи не могло достигнуть полнаго художественнаго выраженія, доступнаго только той поэзіи, которая знаетъ, чего она хочетъ и о чемъ поетъ. Несмотря на „плѣнительную сладость", стиховъ Жуковскаго, его поэзіи не доступны были тѣ художественные, законченные и совершенные образы, творцомъ которыхъ является Пушкинъ. Но въ исторіи русской литературы имя Жуковскаго занимаетъ одно изъ почетнѣйшихъ мѣстъ. Идя вслѣдъ за

Карамзинымъ, онъ довершилъ дѣло, начатое имъ, и освободилъ нашу литературу отъ французскаго вліянія, внося въ нее новый, животворный источникъ, познакомя ее съ цѣлымъ кругомъ дотолѣ неизвѣстныхъ ей идей и, наконецъ, усвоивъ ей многія великія созданія чужой поэзіи. Познакомивъ насъ съ поэзіею юности европейскаго человѣчества, онъ какъ бы заставилъ пережить нашу литературу, а вмѣстѣ съ нею и общество, этотъ мечтательный возрастъ, и тѣмъ воспиталъ насъ къ воспріятію другихъ полныхъ, зрѣлыхъ и мужественныхъ образовъ. Всякому человѣку дается пережить жизнію эту пору мечтательныхъ порывовъ и стремленій, пожить жизнію сердца, испытать ту робкую, застѣнчивую любовь, имѣющую такъ много невозвратимой, цѣломудренной прелести. Благо ему, если онъ развивался органически, если онъ не перескочилъ положенныхъ жизнію границъ, былъ съ молоду молодъ и не имѣлъ въ юности той сморщенной преждевременной старостью физіономіи, которая такъ отталкиваетъ отъ себя. Только въ этой школѣ благородныхъ порывовъ и увлеченій, еще съ неясно сознанною цѣлью, зрѣетъ душа для дѣйствительной жизни и опредѣленныхъ стремленій, только благородному, увлекающемуся юношѣ предоставлена жизнь практической дѣятельности, сѣющая кругомъ сѣмена добра, пользы и правды. *Буличъ.*

Отношеніе Жуковскаго къ романтическому движенію.

Дальнѣйшимъ развитіемъ сентиментальнаго направленія европейскихъ литературъ было романтическое движеніе, обнаружившееся въ нихъ въ концѣ прошлаго — началѣ нынѣшняго столѣтія. Движеніе это было явленіемъ чрезвычайно нужнымъ. Исходная точка движенія коренилась въ томъ общеевропейскомъ возбужденіи умовъ, которое наполняло собою вторую половину XVIII в. Возбужденіе XVIII в. охватило всю умственную жизнь европейскаго человѣка, — во всѣхъ ея сферахъ: политической, естественно-научной, нравственной, религіозной. При своей всеобщности и всеобъемлимости, движеніе заключало въ себѣ различные, самые противорѣчивые элементы: вся умственная жизнь превратилась въ какой-то хаосъ переходной жизни. Мы видимъ какое-то общее недовольство старымъ порядкомъ вещей, старыми вѣрованіями, убѣжденіями, понятіями и неясное исканіе чего-то новаго, — исканіе, выражавшееся самыми разнообразными стремленіями.

Рядомъ съ Вольтеромъ и энциклопедистами является Руссо; скептицизмъ и самыя грубыя матеріалистическія теоріи высказываются рядомъ съ требованіями идеалистическаго чувства... Происходило общее броженіе идей и понятій, въ которомъ заключались и элементы будущаго французскаго переворота и элементы будущей реакціи.

Таково было то умственное возбужденіе XVIII в., результатомъ котораго, въ связи съ современными политическими событіями, явилось новое романтическое направленіе европейской мысли. Какъ и ся

мая эпоха, изъ которой онъ вышелъ,—романтизмъ заключалъ въ себѣ массу противорѣчій.

Приближеніе романтическаго направленія выразилось, прежде всего, въ сферѣ литературныхъ идей. Сентиментально-меланхолическое настроеніе европейскихъ литературъ средины прошлаго вѣка было провозвѣстникомъ быстро приближающихся новыхъ литературныхъ идей — и скоро всецѣло слилось съ ними. Наступившее романтическое движеніе выразилось, главнымъ образомъ, въ двухъ формахъ,—въ стремленіяхъ къ новымъ свободнымъ идеямъ и понятіямъ, къ свободной философіи, къ свободной поэзіи, выработавшимися французскимъ просвѣщеніемъ XVIII в., и, какъ это на первый взглядъ ни показалось страннымъ,—въ еще болѣе сильномъ стремленіи къ старинѣ, въ стремленіи въ давно прошедшую даль среднихъ вѣковъ, въ давно исчезнувшій міръ средневѣковыхъ сказаній и преданій; а затѣмъ далѣе, въ связи съ этимъ,—въ стремленіи къ своей родной старинѣ, въ стремленіи къ своимъ національнымъ преданіямъ минувшаго прошлаго. Въ одно и то же время романтическое движеніе заключало въ себѣ и мотивы новаго, приближеніе котораго инстинктивно чувствовалось, и симпатіи къ старому, которое навсегда уже исчезало. Европейская мысль, въ одно и то же время, разомъ представляла двѣ противоположныхъ струи, два противоположныхъ теченія. Свободныя идеи XVIII в. пошли рядомъ съ возродившимися представленіями среднихъ вѣковъ. Рядомъ съ поклоненіемъ новымъ идеямъ,—передъ нами воскрешается въ поэзіи весь міръ средневѣковыхъ преданій. Поэзія какъ бы переселяется въ средніе вѣка, въ далекую родную даль, хочетъ жить прежнею, уже умершею жизнію. Возникло два направленія, взаимно уничтожающихъ одно другое... Иного результата и не могло получиться. Противорѣчіе романтизма было неизбѣжнымъ слѣдствіемъ переходности эпохи. Идеи XVIII в., въ своей непосредственной глубинѣ, во всей цѣлости, слишкомъ крайни, и по тому самому не могли сдѣлаться достояніемъ массы; онѣ могли принадлежать только небольшому кругу смѣлыхъ умовъ, далеко ушедшихъ впередъ. Но, не дѣлаясь убѣжденіями большинства,—новыя идеи не могли не колебать старыхъ вѣрованій этого большинства; очень нерѣдко прежнія понятія падали, не замѣняясь новыми. Не теряя старыя убѣжденія и не пріобрѣтя новыхъ, средній человѣкъ, человѣкъ массы, терялъ подъ собою всякую почву, всякую нравственную опору. Такой результатъ пугалъ его. Невольно хотѣлось насильно удержать исчезавшій старый міръ,—искусственно предохранить себя отъ всемогущаго вліянія новыхъ идей. Человѣкъ съ любовію и грустію обращается назадъ и опять къ родной старинѣ, къ прежнимъ вѣрованіямъ; сердце его невольно стремится туда: возвращеніемъ ихъ онъ хочетъ вернуть свой прежній — теперь утраченный — нравственный покой. Новыя идеи своею крайностію вызываютъ сожалѣніе о старинѣ. Человѣкъ хочетъ опять жить своимъ прежнимъ нравственнымъ міромъ. Онъ отворачивается отъ неизбѣжныхъ результатовъ французской философіи,—онъ хочетъ опять

быть религіознымъ, вѣрующимъ... Таковъ былъ источникъ романтическаго обращенія къ идеализированной старинѣ, къ міру поэзіи среднихъ вѣковъ, которые были наиболѣе сильнымъ выраженіемъ исчезавшаго теперь прошлаго. Таковы были причины двухъ противоположныхъ теченій въ европейскомъ романтизмѣ. Въ этомъ движеніи мы видимъ крайне возбужденную, энергически работающую, смѣлую и гордую мысль, которая, въ то же время, пугается своей смѣлости и своихъ порывовъ, смѣющуюся надъ своимъ прежнимъ безмятежнымъ младенчествомъ и вмѣстѣ плачущую о немъ, какъ объ утраченномъ раѣ, гордящуюся своими успѣхами и въ то же время смотрящую на нихъ, какъ на источникъ своей нравственной погибели. Въ „Фаустѣ" Гёте и „Манфредѣ" Байрона лучше всего выразился характеръ этого направленія.

Таковы были существенныя черты того направленія европейской мысли, вліянію котораго подпала наша литература съ появленіемъ „Людмилы" Жуковскаго и въ его дальнѣйшей поэтической дѣятельности... Но поэтическая дѣятельность нашего поэта была выраженіемъ только одной стороны романтизма, — стороны обратной, такъ сказать, средневѣковой. Европейскій романтизмъ имѣлъ, какъ мы сейчасъ видѣли, и другую сторону, кромѣ стремленій въ средніе вѣка, въ средневѣковую легенду, — имѣлъ струю новыхъ, свѣжихъ, свободныхъ стремленій. Съ этой стороной романтическаго движенія познакомилъ другой нашъ поэтъ, хотя — очень кратковременною дѣятельностію.

Архангельскій.

Отношеніе Жуковскаго къ философско-психологическому направленію эстетики XVIII — XIX вв.

Рядомъ съ исторической критикой, во главѣ которой стояли Лессингъ и Гердеръ, въ Германіи конца XVIII в. и первой половины XIX получаетъ сильное развитіе философско-психологическое направленіе эстетики разныхъ оттѣнковъ; систему философовъ Вольфа, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля популяризируютъ составители многочисленныхъ руководствъ, въ томъ числѣ — Зульцеръ, Эшенбургъ, Энгель, Бутервекъ, поэты Гёте, Шиллеръ и писатели романтической школы.

Непосредственно изъ этого нѣмецкаго источника обильно черпалъ и нашъ Жуковскій.

Зульцеръ, Эшенбургъ и Энгель принадлежатъ, въ сущности, къ одной школѣ, ведущей свое начало отъ Баумгартена (1714—1762), которому эстетика обязана и самымъ своимъ именемъ, и опирающейся на ученіе Вольфа и англійскихъ психологовъ-эстетиковъ. Предметомъ искусства, учили они, является красота, какъ соединеніе прекраснаго съ благимъ и истиннымъ. Высшая цѣль искусства — нравственное исправленіе человѣка (die moralische Besserung des Menschen), пробужденіе въ немъ живого чувства правды и добра (die Erweckung

eines lebhaften Gefühls des Wahren und des Guten). Великій поэтъ, говоритъ Зульцеръ, стремится къ тому, чтобы „кротко направлять людей къ добродѣтели, дѣлать для нихъ пріятнымъ всякій долгъ, показывать имъ ихъ истинный интересъ, облегчать неизбѣжные удары судьбы, услаждать горечь печали, укрощать страсти, воспламенять желаніе истинной славы“. Религія и здравая политика опредѣляютъ направленіе поэзіи. Дѣло критиковъ — почаще напоминать поэтамъ объ ихъ нравственномъ долгѣ, а не разбирать только форму произведеній.

Итакъ, поэзія не только должна доставлять наслажденіе, но и быть полезной, поучительной. Эту мысль Эшенбурга Мерзляковъ формулировалъ въ такихъ выраженіяхъ: „поэтъ тѣмъ удобнѣе поучаетъ, тѣмъ болѣе полезенъ, чѣмъ болѣе умѣетъ онъ нравиться; съ другой стороны, чѣмъ нравственнѣе и поучительнѣе его сочиненіе, тѣмъ оно становится занимательнѣе и пріятнѣе“. Уже въ этихъ словахъ заключается попытка примирить требованіе нравственной пользы съ „теоріей стихотворства“, или, иначе, разрѣшить очень старую и всегда новую дилемму: искусство для жизни и искусство для искусства?

Дилемма эта составляетъ предметъ особой статьи *Энгеля* „Von dem moralischen Nutzen der Dichtkunst“, переведенной Жуковскимъ въ „Вѣстникѣ Европы“ за 1809 г. (№ 3) подъ заглавіемъ: „О нравственной пользѣ поэзіи. Письмо къ Филарету“. „Правило, — читаемъ здѣсь, — что стихотворецъ долженъ имѣть единственною цѣлію своею усовершенствованіе или образованіе добродѣтелей моральныхъ, не можетъ принадлежать къ теоріи стихотворнаго искусства“. Стихи, „противные и непротивные морали“, сочиняются по одинаковымъ правиламъ. Всякій критикъ скажетъ, что „Орлеанская дѣва“ Вольтера, какъ произведеніе искусства, выше „Религіи“, поэмы „Расинова сына“, и это потому, что искусство имѣетъ свои законы, безъ соблюденія которыхъ оно перестаетъ быть искусствомъ. Энгель настолько дорожитъ самостоятельностью поэзіи, какъ искусства, что онъ легко прощаетъ стихотворцамъ погрѣшности „противу здравой логики“: вѣдь они хотятъ только „веселить наше воображеніе пріятными мечтами, насъ забавлять, привлекать и трогать“. Что нужды поэту „до противорѣчій логическихъ, если они не ощутительны для чувства, если не иначе могутъ быть замѣчены, какъ съ сильнымъ и долговременнымъ напряженіемъ мыслящей силы?... Какая нужда стихотворцамъ до истины!“ Ни холодный разсудокъ или мораль не въ правѣ нарушать законовъ искусства, посягать на свободу творчества. Но это нисколько не исключаетъ возможности примѣнять къ произведеніямъ искусства этическую мѣрку. „То, что не входитъ въ теорію военнаго искусства, — говоритъ Энгель, — можетъ быть еще правиломъ для воина; непринадлежащее къ теоріи стихотворства можетъ быть, несмотря на то, закономъ для самого стихотворца“. Вѣдь поэтъ не перестаетъ быть „человѣкомъ, почитателемъ Бога, членомъ общества, сыномъ отечества“, и всякій читатель, „будучи критикомъ стихотворца, есть въ то же время и

судія человѣка". „Горе поэту, если одобреніе судіи не будетъ для него столь же важно, какъ и одобреніе критика".

Энгель, какъ видимъ, довольно удачно вышелъ изъ затрудненія, и его рѣшеніе какъ нельзя болѣе могло удовлетворить Жуковскаго.

Строго говоря, ученіе Энгеля, Эшенбурга и Зульцера не представляло для Жуковскаго какой-либо новости, а только укрѣпляло и теоретически обосновывало его прежнія воззрѣнія на задачи поэта. Зато эстетика *Бутервека*, несомнѣнно, раскрывала передъ нимъ новые горизонты и подготовляла къ выработкѣ новаго, романтическаго идеала поэзіи. Жуковскій познакомился съ ней не позже 1807 г. Уже въ февралѣ этого года онъ писалъ Ал. Ив. Тургеневу: „Бутервекова эстетика у меня есть; ты можешь свой экземпляръ у себя оставить".

Бутервекъ былъ эклектикомъ, но ближе всего стоялъ къ Канту и романтикамъ. Его взгляды могутъ быть сведены къ слѣдующимъ положеніямъ.

Красота, служащая предметомъ искусства, состоитъ въ гармоніи частей и эстетическомъ характерѣ содержанія. Поэтическимъ можетъ быть только то, что эстетично. Если въ стихотвореніи научный, моральный или религіозный интересы перевѣшиваютъ собственно эстетическій, то поэзія исчезаетъ, и мы перестаемъ испытывать художественное наслажденіе. Произведенія поэзіи, которыя всего болѣе расчитаны на поученіе, какъ разъ всего менѣе способны научить. Поэту не слѣдуетъ ограничиваться изображеніемъ внѣшняго міра: онъ долженъ помнить, что родина поэзіи — глубокіе тайники человѣческаго сердца, и никто не въ состояніи съ такой силой освѣтить сокровенный міръ человѣческихъ стремленій, чувствъ и ощущеній, какъ именно поэтъ. Мало того, поэзія, подобно философіи, способна уловить таинственный смыслъ жизни, охватить міровую жизнь, какъ цѣлое, постичь идею міровой гармоніи, идею безконечнаго. Никакую красоту нельзя признать совершенной, если ей чужда эстетическая черта безконечнаго („wenn ihr der ästhetische Charakter des Unendlichen fehlt"), да и человѣкъ не заслуживалъ бы своего имени, если бы гармонія прекраснаго въ природѣ или искусствѣ не напоминала ему, хотя бы смутно, о болѣе высокой гармоніи, которая составляетъ высшій законъ вселенной. Идеально прекрасное обладаетъ какой-то магической силой: оно переселяетъ насъ въ иной міръ, въ который мы беремъ съ собой изъ міра дѣйствительнаго ровно столько, сколько нужно, чтобы воспринимать по человѣчески (um menschlich zu empfinden).

Бутервекъ, такимъ образомъ, высшее значеніе и обаяніе поэзіи видитъ въ способности увлекать людей въ сферу возвышеннаго идеализма и философскаго созерцанія. Это эстетическое ученіе отрывало мысль поэта отъ временнаго и земного, заставляло его выйти на просторъ Божьяго міра и устремить вдохновенный взоръ къ небесамъ.

Вліяніе Бутервека на Жуковскаго могло быть тѣмъ значительнѣе, что оно удачно встрѣтилось со вліяніемъ Шиллера и романтиковъ.

Послѣдователь Канта, *Шиллеръ*, положилъ много труда на уясненіе проблемъ эстетики, и поэтъ представлялся ему мощнымъ чародѣемъ, жрецомъ святого искусства, глубокомысленнымъ созерцателемъ.

Волшебной силой вдохновенья,
Какъ жезлъ посланника боговъ,
Пѣвецъ низводитъ въ царство тлѣнья,
Уноситъ выше облаковъ
И убаюкиваетъ чувства
Святыми звуками искусства.

Художники—величайшіе мыслители; по глубинѣ непосредственной интуиціи они выше ученыхъ, и Шиллеръ обращается къ художникамъ съ слѣдующими крайне лестными словами:

Что въ мірѣ знанія открылъ мыслитель смѣлый,
То завоевано, открыто лишь чрезъ васъ,
Всѣ тѣ сокровища, что собралъ умъ прозрѣвшій,
Изъ вашихъ только рукъ пойметъ мыслитель самъ...
. . . . . .
Ведите же его таинственной стезей,
Чрезъ формы чистыя, чрезъ звуковъ міръ чистѣйшій,
Все къ высшимъ высотамъ, все къ красотѣ полнѣйшей
По чудной лѣстницѣ поэзіи святой,
Чтобъ на концѣ временъ еще порывъ живой,
Еще одно святое вдохновенье—
И человѣкъ повергся въ упоеньѣ
Въ объятья истины самой.

Восторженныя идеи Шиллера объ искусствѣ горячимъ отзвукомъ отдавались въ сердцѣ Жуковскаго, и онъ переводитъ его стихотвореніе „Die Theilung der Erde“ („Раздѣлъ земли“), незамѣтно вставляя его въ свое обширное посланіе къ Батюшкову 1812 г.

Называя поэтовъ счастливѣйшими людьми, Жуковскій, вслѣдъ за Шиллеромъ, припоминаетъ сказаніе о томъ, какъ „преемникъ древній Крона“ дѣлитъ землю. Въ этотъ важный моментъ поэтъ, какъ всегда, пребывалъ „въ странѣ воображенія (in Land der Träume) и, конечно, оказался обдѣленнымъ. Но, по милости бога, оплошность поэта послужила къ его же выгодѣ: онъ получилъ въ удѣлъ небеса, свободный доступъ въ страну духовъ, куда нѣтъ дороги непосвященной толпѣ.

Блаженствуя съ богами,
Ты презришь міръ земной,—

добавилъ отъ себя Жуковскій устами Зевса.

Нашъ поэтъ искренно сожалѣетъ, что великодушное обѣщаніе Зевса не можетъ получить реальнаго осуществленія:

Почто мы не съ крылами,
И вольны лишь мечтами,
А наяву въ цѣпяхъ?
Почто сей тяжкій прахъ
Съ себя не можемъ сринуть,
И міръ совсѣмъ покинуть,
И намъ дороги нѣтъ
Изъ мрачнаго изгнанья
Въ страну очарованья?

Жуковскій, такимъ образомъ, набросилъ на идеи Шиллера легкій флеръ меланхолической мечтательности: ему хотѣлось бы „міръ совсѣмъ покинуть“ и жить мечтами воображенія. Это сказано, несомнѣнно, искренно, отъ сердца, но тотчасъ же ограничивается, въ угоду усвоеннымъ ранѣе понятіямъ о литературныхъ правилахъ и вкусѣ. Природа позволяетъ своей дочери, фантазіи-богинѣ, безпечно играть собою, но тѣмъ не менѣе

Велитъ ее хранить
Тремъ чадамъ первороднымъ,
Чтобъ прихотямъ свободнымъ
Ее не заманить
Въ туманы заблужденій:
То — съ пламенникомъ геній,
Наука съ свиткомъ музъ,
И съ легкою уздою
Очами зоркій вкусъ.

Несмотря на это противорѣчіе, видно, что Жуковскій всего болѣе дорожилъ именно свободой творчества, возможностью отдаться возвышеннымъ мечтамъ въ царствѣ небожителей. Въ 1818 г. онъ съ любовью переводитъ тѣ строфы баллады Шиллера „Графъ Габсбургскій“, въ которыхъ императоръ Рудольфъ торжественно преклоняется предъ свободнымъ вдохновеніемъ пѣвца, поющаго „о любви благодатной, о всемъ, что святого есть въ мірѣ, что душу волнуетъ, что сердце манитъ“.

Основное представленіе Жуковскаго объ актѣ поэтическаго творчества, видимо, эволюціонируетъ: сентиментально-идиллическія черты начинаютъ уступать мѣсто романтическимъ.

Еще шагъ — и метаморфоза закончена.

Шагъ этотъ былъ сдѣланъ при содѣйствіи *нѣмецкихъ романтиковъ*.

Отношеніе Жуковскаго къ нѣмецкой романтической школѣ, къ сожалѣнію, до сихъ поръ остается не вполнѣ выясненнымъ.

Хотя еще въ 1806 г. въ письмѣ къ Ал. Ив. Тургеневу Жуковскій сообщалъ, что онъ начинаетъ больше уважать нѣмецкую философію, которая „возвышаетъ душу, дѣлая ее дѣятельнѣе, больше возбуждаетъ энтузіазмъ“, но подъ старость, въ письмѣ къ А. С. Стурдзѣ отъ 1850 г., онъ откровенно признается: „Я совершенный невѣжда въ философіи; нѣмецкая философія была мнѣ доселѣ и неизвѣстна и недоступна; на старости лѣтъ нельзя пускаться въ этотъ лабиринтъ; меня бы въ немъ цѣликомъ проглотилъ минотавръ нѣмецкой метафизики, сборное дитя Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и пр. и пр.“. Въ 1821 г. Жуковскій пробовалъ было читать сочиненіе Фихте „Die Bestimmung des Menschen“ („Назначеніе человѣка“), но довольно безуспѣшно, если судить по „Дневнымъ замѣткамъ въ Берлинѣ“. 4-го (16) апрѣля онъ долженъ былъ оторваться отъ чтенія, чтобы итти къ великой княгинѣ и вмѣстѣ съ ней присутствовать за заутреней, часами и обѣдней. „Возвратясь, я принялся было читать Fichte „Die Bestimmung des Menschen“, но вздумалъ, что терять времени не для чего, и отправился въ Санъ-Суси смотрѣть галлерею“. Черезъ недѣлю, опять вернувшись съ прогулки, онъ еще разъ берется за Фихте:

„началъ читать и заснулъ надъ книгою, но не отъ скуки". Такъ и осталось неизвѣстнымъ, дочиталъ ли когда-нибудь нашъ романтикъ сочиненіе Фихте; но, во всякомъ случаѣ, Жуковскій все-таки обнаружилъ къ нему нѣкоторый интересъ. Къ Шеллингу же онъ отнесся уже совершенно неблагосклонно. 6 марта (н. ст.) 1844 г. онъ писалъ изъ Дюссельдорфа Ал. Ив. Тургеневу: „Ты же продолжай читать Библію, а Шеллинга брось: не думаю, чтобъ изъ его философіи откровенія что-нибудь могло выйти".

Очевидно, что философская сторона нѣмецкаго романтизма осталась чужда Жуковскому, какъ и нѣкоторые тезисы литературной теоріи романтиковъ. Извѣстно, напр., что въ 1821 г. онъ вступилъ въ споръ съ Людвигомъ Тикомъ относительно значенія Шекспира. „Я признался ему, — пишетъ Жуковскій, — въ грѣхѣ своемъ, сказалъ что chef-d'œuvre Шекспира, „Гамлетъ", кажется мнѣ чудовищемъ, и что я не понимаю его смысла. На это сказалъ онъ мнѣ много прекраснаго, но, признаться, не убѣдилъ меня".

То же письмо, однако, свидѣтельствуетъ, что былъ одинъ пунктъ въ ученіи романтиковъ, который казался Жуковскому непреложно справедливымъ: это — мысль о томъ, что истинный геній обладаетъ особымъ даромъ интуиціи, способностью „вдругъ доходить до того, что другіе открываютъ глубокимъ размышленіемъ".

Къ 1817 г. Жуковскій уже достаточно зналъ произведенія нѣмецкихъ романтиковъ: какъ видно изъ письма къ Дм. Вас. Дашкову, онъ намѣревался помѣстить въ задуманномъ имъ альманахѣ рядъ произведеній Тика, Лам. Фуке, Жанъ-Поля, Шлегеля, Новалиса и др., при чемъ въ разсказахъ Фуке онъ находилъ „многое множество прекраснаго", а, упомянувъ о сочиненіи Новалиса „Der Poet Erzählung", не удержался, чтобы не сдѣлать въ скобкахъ помѣтки: „прекрасно".

Намъ вообще думается, что изъ всѣхъ нѣмецкихъ романтиковъ, какъ по духу творчества, такъ и по воззрѣніямъ на жизнь и даже по настроенію, особенно близко стоялъ къ нашему Жуковскому именно *Новалисъ:* въ немъ прежде всего онъ могъ открыть „родственную душу". Нѣжный до женственности, мечтательный и религіозный, Новалисъ, подобно Жуковскому не имѣлъ удачи въ любви: онъ потерялъ невѣсту, опоэтизированную имъ до ангельскаго совершенства, и съ этого момента, по выраженію Гайма, въ немъ начали „развиваться тѣ зародыши благочестія, изъ которыхъ быстро расцвѣтаетъ задушевная благочестивая поэзія". „До сихъ поръ, — говорилъ самъ Новалисъ, потрясенный своимъ горемъ, — я жилъ настоящимъ и надеждой на земное счастье, а впредь я буду жить только будущимъ, вѣрой въ Бога и въ безсмертіе души". Онъ такъ далеко уходитъ отъ дѣйствительной жизни, что готовъ принять ее за какой-то призракъ. „Наша жизнь — не греза, однако она должна превратиться въ нее и, можетъ-быть, превратится", читаемъ въ его фрагментахъ. „Вѣчность съ ея мірами, прошедшее и будущее — въ насъ или нигдѣ. Внѣшній міръ — міръ

тѣней (die Schattenwelt), онъ бросаетъ свою тѣнь въ царство свѣта (sie wirft ihren Schatten in das Lichtreich)... Жизнь есть начало смерти. Жизнь существуетъ ради смерти". Несчастій въ сущности не бываетъ въ мірѣ: они — только временныя остановки потока жизни, который, преодолѣвъ ихъ, стремится далѣе. Душа человѣка инстинктивно порывается въ высшій, невидимый міръ: только недостатки нашего физическаго организма виною того, что мы не видимъ себя въ мірѣ фей. „Всѣ сказки суть не что иное, какъ мечты о томъ родномъ мірѣ (Träume von jener heimatlichen Welt), который всюду и нигдѣ". Сказка и есть идеальный видъ поэзіи. Но эта „сказочная" поэзія должна быть полна глубокой философіи. Настоящій поэтъ всезнающъ; поэзія тѣсно связана съ философіей; между философами и поэтомъ не должно быть розни.

Уже сказаннаго вполнѣ достаточно, чтобы видѣть, что Жуковскій и Новалисъ — люди одного психологическаго типа. Развѣ нельзя почти буквально примѣнить къ нашему поэту слѣдующую характеристику Новалиса, данную Карлейлемъ: „Поэзія, добродѣтель и религія, которыя для другихъ людей существуютъ, такъ сказать, лишь по преданію и въ воображеніи, для него — вѣчное основаніе вселенной, а всѣ земныя пріобрѣтенія, все, изъ-за чего честолюбіе, надежда, страхъ побуждаютъ насъ къ труду и грѣху, на самомъ дѣлѣ лишь игра фантазіи, нѣкоторое тѣневое отраженіе на зеркалѣ безконечности, но въ сущности — воздухъ, ничто. Итакъ, жить въ этомъ свѣтѣ разума, имѣть свое жилище въ этомъ вѣчномъ городѣ, въ то время какъ насъ окружаютъ призраки существующаго, — вотъ высокая и единственная обязанность человѣка. Все это Новалисъ рисуетъ себѣ въ разныхъ образахъ".

Указывая на это духовное родство Новалиса и Жуковскаго, что заслуживало бы спеціальнаго изученія, мы не слишкомъ поражаемся тѣмъ обстоятельствомъ, что у нашего поэта совсѣмъ нѣтъ переводовъ изъ Новалиса: нѣмецкій романтикъ своей мистической глубиной или темнотой (какъ хотите), несомнѣнно, долженъ былъ затруднять даже такого переводчика, какъ Жуковскій, а съ другой стороны, мы должны припомнить приведенный выше фактъ, что у Жуковскаго все-таки было намѣреніе перевести изъ Новалиса для своего альманаха. Мало того, мы можемъ указать одинъ драгоцѣнный для насъ слѣдъ вліянія Новалиса на Жуковскаго, какъ разъ относящійся къ области разсматриваемаго нами вопроса.

Въ посланіи къ кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину 1814 г. Жуковскій употребляетъ красивое и оригинальное сравненіе поэта въ Мемнономъ.

Одинъ среди песковъ Мемнонъ,
Сидя съ возвышенной главою,
Молчитъ — лишь гордою стопою
Касается ко праху онъ;

Но лишь денницы появленье
Вдали востокъ воспламенитъ, —
Въ восторгѣ мраморъ пѣснь гласитъ.
Таковъ поэтъ, друзья!

Трудно сомнѣваться въ томъ, что это сравненіе было позаимствовано изъ фрагментовъ Новалиса, гдѣ читаемъ: „Духъ поэзіи есть

утренній свѣтъ, заставляющій статую Мемнона издавать звуки". Развивая идею, заложенную въ этомъ изреченіи, Жуковскій рѣзкими чертами, совершенно въ духѣ романтиковъ, противопоставляетъ *поэта толпѣ*.

Другъ Пушкинъ! счастливъ, кто поэтъ;
Его блаженство прямо съ неба;
Онъ имъ не дѣлится съ толпой:
Его судьи лишь чада Феба!
Ему ли съ пламенной душой
Плоды святого вдохновенья
Къ ногамъ холоднымъ поверкать,
И на колѣнахъ ожидать
Отъ недостойныхъ одобренья?
. . . . . .
Презрѣнье
Въ пыли таящимся душамъ!
Оставимъ ихъ попрать стопамъ,
А взоры устремимъ къ востоку.

Оберегая свою независимость, поэтъ „въ тиши уютнаго уединенья" поетъ „для музъ, для наслажденья, для сердца вѣрнаго друзей". Онъ не станетъ прельщаться славой: она — „обвитый розами скелетъ"; будетъ находить наслажденіе въ самомъ трудѣ, ожидая нелицепріятныхъ похвалъ потомства.

О благотворный трудъ,
Души печальныя цѣлитель
И счастія животворитель!
Что передъ тобой ничтожный судъ
Толпы, въ рѣшеніяхъ пристрастной,
И вѣтреной и разногласной!
. . . . . .
Собою счастливый поэтъ,
Твори, будь твердъ, ихъ зданья ломки,
А за тебя дадутъ отвѣтъ
Необольстимые потомки.

Хотя и прежде у Жуковскаго можно было встрѣтить мысль, что онъ предпочитаетъ пѣть „для нѣкоторыхъ", для избраннаго круга друзей, что его не плѣняютъ похвалы толпы, что онъ мечтаетъ о славѣ въ потомствѣ, но все это было скорѣе проявленіемъ идиллической замкнутости и — главное — никогда еще не отливалось въ форму такого рѣшительнаго пренебреженія къ толпѣ, къ „черни непосвященной", какъ въ этомъ посланіи. По страстности тона и по основной идеѣ оно поразительно напоминаетъ извѣстныя стихотворенія А. С. Пушкина о поэтѣ и поэзіи.

Очевидно, въ сознаніи Жуковскаго все болѣе и болѣе складывается новое представленіе о поэтѣ въ духѣ романтизма, и, изучая его произведенія послѣдующихъ годовъ, мы замѣчаемъ, что ему мучительно хочется *воплотить* въ какой-нибудь осязательный образъ свои *идеи о поэзіи*, чтобы тѣмъ самымъ лучше уяснить себѣ ея сущность.

Въ 1821 г. по случайнымъ обстоятельствамъ нашъ поэтъ былъ плѣненъ очаровательнымъ образомъ восточной красавицы, *Лалла Рукъ*, героини въ поэмѣ Томаса Мура. Въ ней онъ увидѣлъ „генія чистой красоты", который въ „чистыя мгновенья бытія" приноситъ намъ съ неба „благотворныя откровенья"; въ видѣ Лалла Рукъ явилась ему и поэзія:

Сама гармонія святая
Ея, намъ мнилось, бытіе,
И мнилось, душу разрѣшая,
Манила въ рай она ее.

Образъ „генія чистой красоты" навелъ Жуковскаго на общія *разсужденія о прекрасномъ*. Исходя изъ изреченія Руссо: „il n'y a de

beau que ce qui n'est pas", онъ толкуетъ его въ томъ смыслѣ, что „прекрасное существуетъ, но его нѣтъ", т.-е. что мы ощущаемъ его присутствіе въ лучшія минуты нашей жизни (при созерцаніи величественныхъ картинъ природы или величія души человѣческой, при наслажденіи поэзіей, въ моменты сильнаго счастія, а еще болѣе несчастія), но „его не удержать, ни разглядѣть, ни постигнуть мы не можемъ". Это — какой-то „таинственный посѣтитель" съ небесъ; это—нѣчто „невыразимое", „недоступное" языку земному. Постигая лишь чувствомъ таинственную сущность прекраснаго, „стремишься не къ тому, чѣмъ чувство произведено и что передъ тобою, но къ чему-то лучшему, тайному, далекому, что съ нимъ соединяется и чего съ нимъ нѣтъ, и что для тебя гдѣ-то существуетъ. И это стремленіе есть одно изъ невыразимыхъ доказательствъ безсмертія". Въ подобныя мгновенія человѣкъ испытываетъ какую-то животворную, сладкую грусть, „восхитительную тоску по отчизнѣ".

Въ письмѣ къ Гоголю 1848 г., подъ заглавіемъ: „Слова поэта — дѣла поэта", Жуковскій, буквально повторивъ только что приведенныя мысли, дѣлаетъ и дальнѣйшіе выводы собственно по отношенію къ творчеству. „Это прекрасное, котораго нѣтъ въ окружающемъ насъ вещественномъ мірѣ, но которое въ немъ находитъ душа наша, пробуждаетъ ея творческую силу", и тогда „всѣ мелкія, разрозненныя части видимаго міра сливаются въ одно гармоническое цѣлое, въ одинъ, самъ по себѣ несущественный, но ясно душою нашею видимый образъ. Этотъ образъ есть красота, т.-е. „ощущеніе и слышаніе душою Бога въ созданіи". Художникъ творитъ „по образу и подобію Творца своего", но творитъ „заимствованными изъ созданія средствами", стремясь къ „осуществленію того прекраснаго, котораго тайну душа открываетъ въ твореніи Бога". Истинное творчество — свободное, вдохновенное, ни съ какимъ постороннимъ видомъ не соединенное". Искусство имѣетъ свои градаціи: „самое высшее изъ произведеній художества есть то, когда художникъ выражаетъ не только собственную идею, но въ своей идеѣ и самого верховнаго творца; самое низшее то, когда онъ съ рабскою точностью повторяетъ видимое твореніе; между сими двумя крайностями оттѣнки безчисленны, начиная отъ сходнаго во всѣхъ подробностяхъ изображенія насѣкомаго до вдохновеннаго изображенія Троицы".

Въ цитированномъ нами письмѣ Жуковскаго къ Гоголю содержится уже цѣлая эстетическая теорія, выработавшаяся подъ вліяніемъ Бутервека, Шиллера и романтиковъ. Сходство мыслей Жуковскаго съ ихъ ученіемъ очевидно, но нашъ писатель, всегда державшійся того мнѣнія, что „все прекрасное — родня" и „сливается въ одно: Богъ", внесъ, какъ видимъ, въ свои разсужденія конкретную идею Бога. Подъ старость, когда, по его собственному выраженію, „мы болѣе обращаемся вовнутрь себя и смотримъ за границу жизни", религіозное чувство всецѣло овладѣваетъ его внутреннимъ міромъ, и поэзію онъ мыслитъ уже не иначе, какъ въ тѣсномъ союзѣ съ вѣрой.

Истинная, высшая поэзія (какъ вообще высшее искусство) есть „откровеніе въ тѣснѣйшемъ смыслѣ“, „земная, блестящая риза правды, любви безмятежной, а ея имя — Богъ-Спаситель“. Поэтъ — посланникъ Бога; онъ „ищетъ, находитъ и открываетъ другимъ повсемѣстное присутствіе духа Божія“. Дѣйствіе поэзіи совершенно особенное: оно „не есть ни умственное, ни нравственное“, оно не даетъ душѣ ничего опредѣленнаго: ни „новой, логически обработанной идеи“, ни положительнаго нравственнаго правила; нѣтъ, — „это есть тайное, всеобъемлющее, глубокое дѣйствіе откровенной красоты, которая всю душу обхватываетъ и въ ней оставляетъ слѣды неизгладимые“. Все изложенное до сихъ поръ достаточно убѣждаетъ насъ въ томъ, что Жуковскій вполнѣ усвоилъ себѣ *романтическое пониманіе* процесса поэтическаго творчества; волны романтизма окончательно смыли его идиллическую хижину, и онъ нашелъ себѣ спасеніе въ ковчегѣ вѣры, на высотахъ вдохновенной поэзіи. *Сакулинъ.*

Поэзія Жуковскаго.

Значеніе Жуковскаго въ развитіи русской литературы очень важно: младшій современникъ Карамзина и старшій — Пушкина, дѣйствовавшій рядомъ съ тѣмъ и другимъ, онъ занялъ однако въ литературѣ самостоятельное мѣсто и оказалъ на нее свое особое вліяніе. Принято говорить, что Жуковскій былъ проводникомъ въ нашу словесность романтизма. Конечно, это справедливо: но должно разумѣть это не въ томъ смыслѣ, что Жуковскій былъ прекраснымъ переводчикомъ Шиллера, Бюргера, Грея, Соути и другихъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ конца прошлаго вѣка и начала нынѣшняго, а въ томъ, что онъ сообщилъ русской литературѣ новое настроеніе силой собственнаго дарованія. Въ особенности въ раннюю пору своей поэтической дѣятельности онъ далеко не ограничивался переводами и подражаніями, да и изъ переводовъ выбиралъ только такія стихотворенія иностранныхъ поэтовъ, которыя гармонировали съ его собственнымъ поэтическимъ настроеніемъ.

Въ чемъ же заключается особенность поэтическаго настроенія Жуковскаго, которая такъ нравилась его современникамъ и, подъ названіемъ романтизма, создала его славу?

Жуковскій — по преимуществу лирикъ, и лирика его чисто задушевная. Внутренній міръ души поэта составляетъ исключительное содержаніе его поэзіи, и даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ заимствуетъ образы не изъ своей личной жизни и обстановки, когда онъ переносится въ чуждую среду или въ иное отдаленное время, онъ вполнѣ подчиняетъ свои созданія своимъ личнымъ впечатлѣніямъ и чувствованіямъ. Естественно, что при такихъ условіяхъ объясненіе поэтическому настроенію Жуковскаго нужно искать не столько въ литературномъ

вліяніи иностранныхъ поэтовъ извѣстной школы, сколько въ обстоятельствахъ его собственной жизни и развитія.

Извѣстно, что онъ былъ сынъ бѣлевскаго помѣщика Аѳанасія Ивановича Бунина и плѣнной турчанки, что отца своего онъ лишился въ дѣтствѣ и воспитанъ былъ въ семействѣ Бунина, гдѣ послѣ смерти Аѳанасія Ивановича осталась главой его вдова, а мать Жуковскаго жила въ ключницахъ. Въ той исключительно женской семьѣ — впрочемъ, хорошо образованной по тому времени — всѣ ласкали безроднаго юношу; изъ этой обстановки онъ вынесъ мягкость и нѣжную впечатлительность своего характера; но, несмотря на ласковый уходъ, онъ все-таки не могъ не чувствовать себя одинокимъ. „Семейнаго счастія для меня не было, — говорилъ онъ объ этомъ времени впослѣдствіи: — всякое чувство надобно было стѣснять въ глубинѣ души; несмотря на нѣкоторые признаки дружбы, я сомнѣвался часто, существуетъ ли дружба, и всегда оставался въ нерѣшимости чрезмѣрно тягостной — сказать себѣ: дружбы нѣтъ. На что̀ было рѣшиться? Скрывать все въ самомъ себѣ и терпѣть, и даже показывать видъ, что всѣмъ доволенъ: принужденіе слишкомъ тяжелое, при откровенности моего характера, который, однако, отъ навыка сдѣлался и скрытнымъ“.

Послѣ окончанія образованія въ благородномъ пансіонѣ Московскаго университета, гдѣ Жуковскій впервые вкусилъ прелесть авторства и увлекался моднымъ тогда сентиментализмомъ, и послѣ недолгой службы въ Москвѣ, молодой человѣкъ возвратился на родину, и въ томъ же домашнемъ кругу, гдѣ онъ воспитался, онъ встрѣтилъ прекрасную молодую дѣвушку, которую полюбилъ всею душой, и которая платила ему полною взаимностью; то была внучка Бунина, дочь Екатерины Аѳанасьевны Протасовой. Марья Андреевна Протасова, равно какъ и сестра ея Александра Андреевна выросли на глазахъ Жуковскаго, и онъ же былъ главнымъ руководителемъ ихъ образованія; единство развитія сблизило молодыхъ людей. Но когда Жуковскій вздумалъ просить руки Марьи Андреевны, ея мать рѣшительно воспротивилась такому браку: опираясь на уставы Церкви, она не соглашалась завѣдомо ихъ нарушить. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ Жуковскій возобновлялъ свои попытки, но, несмотря на содѣйствіе нѣкоторыхъ близкихъ людей, всегда встрѣчалъ упорное сопротивленіе со стороны Екатерины Аѳанасьевны. Тяжело ему было переносить эти отказы, но итти наперекоръ имъ, жениться на Марьѣ Андреевнѣ противъ воли ея матери онъ никогда бы и не подумалъ: онъ зналъ, что такое насиліе внесетъ раздоръ въ дорогую ему семью.

Утративъ надежду на брачный союзъ съ племянницей, Жуковскій хотѣлъ, по крайней мѣрѣ, сохранить права ея дяди, быть прямымъ братомъ ея матери, покровителемъ ея семьи. Онъ рѣшился объясниться о томъ съ Екатериной Аѳанасьевной. На первый взглядъ въ такомъ оборотѣ его намѣреній можно предположить долю сердечной софистики; быть можетъ, такъ объясняла себѣ намѣреніе Жуковскаго и сама

Е. А. Протасова. Но на самомъ дѣлѣ было иначе: идеалистъ-поэтъ дѣйствительно рѣшился пожертвовать всѣмъ, что̀ въ его чувствѣ было эгоистическаго. Вотъ въ какихъ выраженіяхъ — въ высшей степени характерныхъ для его личности — объяснялъ онъ свой поступокъ самой Марьѣ Андреевнѣ: „Чего я желалъ? Быть счастливымъ съ тобою. Изъ этого теперь должно выбросить только одно слово, чтобы все замѣнить. Пусть буду счастливъ тобою! Моя привязанность къ тебѣ теперь точно безъ примѣси собственнаго, и отъ этого она живѣе и лучше. Если же на минуту и завернется старая мысль, то всегда съ своимъ дурнымъ старымъ товарищемъ — грустью: сто̀итъ уйти къ себѣ, чтобы опять себя отыскать такимъ, какимъ надобно... Маша моя (теперь моя болѣе, нежели когда-нибудь), поняла ли ты то, что̀ заставило меня рѣшительно отъ тебя отказаться? Ангелъ мой, совсѣмъ не мысль, что я желаю беззаконнаго. Нѣтъ! я никогда не перемѣню на этотъ счетъ своего мнѣнія, и вѣрю, что я былъ бы счастливъ, и что Богъ благословилъ бы нашу жизнь. Совсѣмъ другое и гораздо лучшее побужденіе произвело во мнѣ эту перемѣну: твое собственное счастіе и спокойствіе! Рѣшившись на эту жертву, я входилъ во всѣ права твоего отца. Другая, новѣйшая связь! Право, эти минуты были для меня божественныя; и если можно слышать на землѣ голосъ Божій, то, конечно, въ ту минуту онъ мнѣ послышался! Съ этимъ чувствомъ все для меня перемѣнилось, всѣ отношенія къ тебѣ сдѣлались другія: я почувствовалъ въ душѣ необыкновенную ясность; то, чего я никогда не имѣлъ въ жизни, вдругъ сдѣлалось моимъ; я видѣлъ подлѣ себя сестру и сдѣлался другомъ, покровителемъ, товарищемъ ея дѣтей; я готовъ былъ глядѣть на маменьку[1]) другими глазами и, право, восхищался тѣмъ чувствомъ, съ какимъ бы назвалъ ее сестрой. Ничего еще подобнаго не бывало у меня въ жизни! Имя сестры въ первый разъ въ жизни меня тронуло до глубины сердца! Я готовъ былъ ее обожать; ни въ комъ не имѣла бы она такого неизмѣннаго друга, какъ во мнѣ. До сихъ поръ имя сестра только меня пугало; оно казалось мнѣ разрушителемъ моего счастія; послѣ совершеннаго пожертвованія себя, оно показалось мнѣ самымъ лучшимъ утѣшеніемъ, совершенною всему замѣной. Боже мой, какая прекрасная жизнь мнѣ представилась! Самое дѣятельное, самое ясное усовершенствованіе себя всѣмъ добрымъ. Можно ли, милый другъ, измѣнить великому чувству, которое насъ вознесло выше самихъ себя? Жизнь, освѣщенная этимъ великимъ чувствомъ, казалось мнѣ прелестною! Быть вашимъ отцомъ (братъ вашей матери имѣетъ на это имя право), назвать васъ своими и заботиться о вашемъ счастіи — чѣмъ для этого не пожертвуешь? Стоило ей только вообразить, что братъ ея всталъ изъ гроба и просится опять въ ея домъ, или лучше — вообразить, что живъ вашъ отецъ, и что онъ съ полною къ вамъ любовью хочетъ съ вами быть опять на свѣтѣ. Осмотрѣвшись въ Дерптѣ,

---

[1]) То-есть, на мать Марьи Андреевны, Екатерину Аѳанасьевну Протасову.

я увѣренъ, что здѣсь работалъ бы я такъ, какъ нигдѣ нельзя работать: никакого разсѣянія, тьма пособій и ни малѣйшей заботы о томъ, чтобы прожить день, и при всемъ этомъ первое и единственное мое счастье — семья. Съ такимъ чувствомъ пошелъ я къ ней, къ моей сестрѣ. Что же въ отвѣтъ? „Разстаться!“ Она увѣряетъ меня, что не отъ недовѣрчивости, а для сохраненія твоей и ея репутаціи. Нѣтъ, эта причина несправедливая! Но все равно, я не раскаиваюсь въ своемъ пожертвованіи!...“

Исполняя желаніе своей сводной сестры, Жуковскій удалился изъ Дерпта, гдѣ она жила съ Марьей Андреевной при своей младшей замужней дочери, и на прощанье просилъ Марью Андреевну только объ одномъ: „Не позволяй тобою жертвовать, а заботься о своемъ счастіи“. Переѣхавъ въ Петербургъ, Жуковскій все еще не покидалъ вполнѣ мысли о возможности столь желаннаго брака, какъ вдругъ получилъ изъ Дерпта вѣсть, что Марья Андреевна рѣшилась успокоить мать, выйдя замужъ за другого человѣка. Тяжелъ былъ новый ударъ, нанесенный чувству поэта. Не допуская перемѣны въ привязанности молодой дѣвушки, онъ, однако, поспѣшилъ въ Дерптъ и убѣдился, что Марья Андреевна приняла свое рѣшеніе не по принужденію, а просто по соображеніямъ благоразумія. Тогда Жуковскій вполнѣ присоединился къ этому рѣшенію; мало того: неизмѣнный въ чувствахъ благородства и чести, онъ принялъ самое живое участіе въ томъ, чтобы лучше устроить судьбу той, которую любилъ и которую не могъ назвать своею женою. „Я хочу добра, — писалъ онъ около этого времени (еще до свадьбы Марьи Андреевны) близкимъ ему людямъ, и не только хочу, теперь могу его сдѣлать. Руки развязаны. И какое же добро?... *Устроить* счастіе Маши: я теперь знаю, что она не можетъ и не должна оставаться въ томъ положеніи, въ какомъ она теперь. Что за жизнь, которую она ведетъ? Нѣтъ свободы ни чувствовать, ни мыслить, ни дѣйствовать! Даже нѣтъ своего угла! Во всемъ тяжелая, убійственная неволя. Какъ не пожелать для нея такого состоянія, въ которомъ она будетъ имѣть все нужное для сердца!“ Затѣмъ, обращаясь къ своему личному внутреннему міру, Жуковскій говорилъ: „Что же касается меня самого, то нельзя же вдругъ всего передѣлать. Но вы за меня не бойтесь. Я вообще счастливъ... Тяжелыя минуты были и будутъ; но славное чувство пропасть не можетъ. А въ этомъ *все!* Вотъ что я за собою замѣтилъ: всякій разъ, когда я бывалъ съ Мойеромъ[1]) одинъ, мнѣ было грустно, но не о себѣ, а о Машѣ. Все приходила въ голову мысль, что съ нимъ она не будетъ имѣть всего и можетъ жалѣть о прошедшемъ. И все, что меня убѣждало въ противномъ, меня радовало. Теперь я увѣренъ и болѣе на этотъ счетъ спокоенъ; а время все сдѣлаетъ, и мы поможемъ времени. Кажись бы—хорошо, анъ нѣтъ? Во мнѣ есть другой человѣкъ, которому бываетъ больно, когда онъ замѣтитъ привязанность Маши къ Мойеру.

---

[1]) Женихъ Марьи Андреевны.

Этотъ „человѣкъ“ (сколько я замѣтилъ) бурлитъ болѣе къ вечеру, и думаю, что онъ живетъ въ желудкѣ! Но онъ связанъ крѣпкими кандалами и осужденъ умереть съ голоду, и онъ умретъ непремѣнно; и если живъ еще, то оттого, что онъ слишкомъ крѣпкаго сложенія. И знаете ли, что̀ будетъ его убійцею? Что-то воздушное, безтѣлесное, живущее въ нижеслѣдующихъ каракуляхъ:

Все въ жизни къ прекрасному средство!
И горесть, и радость — все къ цѣли одной!
Хвала жизнедавцу Зевесу!

„Можно ли измѣнить прекрасной цѣли? Можно ли не остаться вѣрнымъ доброму, высокому чувству? Прекрасное можно назвать жизнію, которая все *жизнь*, несмотря на болѣзни, которыя нарушаютъ ея порядокъ“.

Строки эти доказываютъ, что въ самый трагическій моментъ своей жизни Жуковскій нимало не поколебался въ своемъ идеалѣ и, напротивъ, находилъ въ немъ утѣшеніе и успокоеніе.

Замужество Маріи Андреевны было непродолжительно. Жуковскій не разъ навѣщалъ ее въ Дерптѣ, и въ послѣдній — за десять дней до ея кончины (19 марта 1823 г.). Не разъ потомъ пріѣзжалъ онъ туда, чтобы поклониться ея могилѣ, и хотѣлъ быть похороненъ на одномъ съ нею кладбищѣ. Вскорѣ послѣ смерти ея онъ писалъ: „Все высокое сдѣлается для меня теперь *вѣрою;* все стало понятнѣе, но это высокое надобно пріобрѣсти, — иначе Маша навсегда потеряна. Жизнь точно святыня. Маша сама меня въ этомъ увѣрила“. — „Я остановился на могилѣ Маши, — писалъ онъ нѣсколько позже: — чувство, съ какимъ я взглянулъ на ея тихій, цвѣтущій гробъ, тогда было утѣшительнымъ, усмиряющимъ чувствомъ. Надъ ея могилою небесная тишина. Мы провели вмѣстѣ съ Мойеромъ усладительный часъ на этомъ райскомъ мѣстѣ“.

„Романъ моей жизни конченъ“, говорилъ Жуковскій послѣ брака Маріи Андреевны съ докторомъ Мойеромъ. Мы видѣли, что романъ этотъ продолжался еще нѣкоторое время: совсѣмъ онъ кончился только послѣ смерти какъ Марьи Андреевны, такъ и ея сестры; съ ними Жуковскій похоронилъ самыя дорогія чувства своей молодости. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что этотъ сердечный романъ съ своимъ естественнымъ прологомъ — сиротствомъ Жуковскаго въ домашнемъ кругу — наполняетъ всю первую половину его жизни и составляетъ, главнымъ образомъ, ту основу, на которой развилась его лирика.

Жуковскій любилъ называть первымъ своимъ стихотвореніемъ извѣстную элегію „Сельское кладбище“, прекрасно переведенную имъ изъ Грея въ 1802 г. На самомъ дѣлѣ онъ началъ писать и даже печатать ранѣе, еще съ 1797 г.; но дѣйствительно „Сельское кладбище“ было первымъ стихотвореніемъ, доставившимъ Жуковскому почетную извѣстность въ литературѣ. Уже въ этой пьесѣ замѣтно то грустное настроеніе, которое владѣло душой поэта съ юности,

и въ переводѣ 1802 г. оно было слышнѣе, чѣмъ въ позднѣйшемъ его же переводѣ 1839 г. За „Сельскимъ кладбищемъ“ послѣдовалъ длинный рядъ стихотвореній, содержаніе которыхъ составляетъ, главнымъ образомъ, любовь... „Ахъ, братъ и другъ, сколько погибло времени! писалъ Жуковскій Александру Ивановичу Тургеневу въ 1810 г. по поводу своей литературной дѣятельности. Вся моя прошедшая жизнь покрыта какимъ-то туманомъ *недѣятельности душевной*, который ничего не даетъ мнѣ различить въ ней. Причина этой недѣятельности извѣстна... Если романическая любовь можетъ спасать душу отъ порчи, за то она уничтожаетъ въ ней и дѣятельность, привлекая ее къ одному предмету, который удаляетъ ее отъ всѣхъ другихъ. Этотъ одинъ убійственный предметъ, какъ царь, сидѣлъ въ душѣ моей по сіе время“. Такъ говорилъ Жуковскій, собираясь расширить свое образованіе чтеніемъ и этимъ способомъ приготовиться къ большимъ литературнымъ трудамъ. Но любовь, „этотъ убійственный предметъ“, противъ котораго онъ хотѣлъ бороться въ 1810 г., напротивъ того, все сильнѣе расцвѣтала въ сердцѣ поэта, и этому обстоятельству мы обязаны тѣми стихотвореніями, въ которыхъ лучше всего выразилось, въ первую половину его жизни, направленіе его поэзіи.

Жуковскій понималъ любовь въ самомъ возвышенномъ смыслѣ. Вотъ какъ изображалъ онъ свой идеалъ любви въ посланіи къ одному изъ своихъ друзей, К. Н. Батюшкову:

Любовь — святой хранитель
Иль грозный истребитель
Душевной чистоты;
Отвергни сладострастья
Погибельны мечты,
И не восторговъ — счастья
Въ прямой ищи любви;
Восторговъ изступленье —
Минутное забвенье;
Отринь ихъ, разорви
Лаисъ коварныхъ узы;
Друзья стыдливыхъ — музы;
Во храмъ священный ихъ,
Прелестницъ записныхъ,
Толпа войти страшится...
И что, мой другъ, сравнится
Съ невинною красой?
При ней цвѣтемъ душой!
Она, какъ ангелъ милый,
Одной явленья силой,
Могущая собой,
Вливаетъ въ сердце радость.
О, скромныхъ взоровъ сладость,
Движеній тишина,
Стыдливое молчанье,
Гдѣ вся душа слышна;
Рѣчей очарованье,
Безпечность простоты,

И прелесть безъ искусства,
Которая для чувства
Прекраснѣй красоты!
Ихъ несказанной властью
Блаженнѣйшею страстью
Душа растворена,
Вкушаетъ сладость рая,
Земное отвергая,
Небеснаго полна.

Это стихотвореніе, еще исполненное свѣтлою надеждой, написано въ 1812 г., въ то время, когда любовныя мечты поэта еще не были ничѣмъ смущены. Но скоро, какъ мы знаемъ, къ любви его примѣшались горькія чувства, и съ тѣхъ поръ всѣ любовныя стихотворенія Жуковскаго принимаютъ оттѣнокъ меланхоліи; годъ спустя послѣ того, какъ были написаны приведенные стихи, разлука внушаетъ ему уже слѣдующія грустныя строки:

О, милый другъ, намъ рокъ велѣлъ разлуку:
Дни, мѣсяцы и годы пролетятъ,
Вотще къ тебѣ простру отъ сердца руку —
Ни голосъ твой ни взоръ меня не усладятъ.
Но и вдали моя душа съ твоей согласна;
Любовь ни времени ни мѣсту не подвластна;
Всегда, вездѣ ты мой хранитель-ангелъ будь;
Меня, мой другъ, не позабудь.

Отнынѣ стремленіе къ любви, мечты о ней и грусть по несбывшимся надеждамъ, словомъ — любовь неудовлетворенная, становятся обычною темой поэзіи Жуковскаго. По вѣрному замѣчанію его почтеннаго біографа К. К. Зейдлица, въ балладѣ „Эльвина и Эдвинъ“ (1814 г.), читаешь какъ будто содержаніе разговоровъ Жуковскаго съ матерью любимой дѣвушки, — только мать замѣнена отцомъ:

Съ холодностью смотрѣлъ старикъ суровый
На ихъ любовь, на счастье двухъ сердецъ.
„Разстаньтесь!“ роковое слово
Сказалъ онъ наконецъ.
Увы, Эдвинъ! Въ какой борьбѣ въ немъ страсти!
И ни одной нѣтъ силы побѣдить...
Какъ ни признать отцовской власти?
Но какъ же не любить?

То же же содержаніе и въ балладѣ „Алина и Альсимъ“ (того же года):

Зачѣмъ, зачѣмъ вы разорвали
Союзъ сердецъ?
Вамъ розно быть! вы имъ сказали —
Всему конецъ!
Что пользы въ платье золотое
Себя рядить?
Богатство на землѣ прямое
Одно: любить.

Содержаніе баллады „Эолова арфа“ (того же года) — любовь, несчастная по неравенству состояній: здѣсь мысль поэта о вѣчномъ значеніи любви высказывается еще полнѣе и опредѣленнѣе. Онъ —

Пѣвецъ сладкогласный,
Но родомъ не знатный, не княжескій сынъ...

Она — царская дочь. Въ тиши ночи, при свѣтѣ луны, подъ дубомъ вѣтвистымъ происходитъ ихъ свиданіе въ предчувствіи скорой разлуки, конечно — невольной. Пѣвецъ привязываетъ свою арфу подъ наклономъ вѣтвей, чтобъ она была

...для милой
Залогомъ прекраснымъ минувшаго дней.

Пѣвецъ сосланъ въ изгнанье, но его возлюбленная приходитъ на мѣсто ихъ встрѣчи —

И вдругъ... изъ молчанья
Поднялся протяжно задумчивый звонъ,
И тише дыханья
Играющей въ листьяхъ прохлады былъ онъ.
Въ ней сердце смутилось:
То друга привѣтъ!
Свершилось, свершилось!
Земля опустѣла, и милаго нѣтъ.

Съ тѣхъ поръ Минвана часто ходила подъ завѣтный дубъ мечтать

О миломъ, о свѣтѣ другомъ,
Гдѣ жизнь безъ разлуки,
Гдѣ все не на часъ —
И мнились ей звуки,
Какъ будто летящій отъ родины гласъ.

Глубокою задушевностью и мечтательностью исполнены послѣднія строки баллады:

И нѣтъ ужъ Минваны...
Когда отъ потоковъ, холмовъ и полей,
Восходятъ туманы,
И свѣтитъ, какъ въ дымѣ, луна безъ лучей,
Двѣ видятся тѣни:
Сліявшись летятъ
Къ знакомой имъ сѣни,
И дубъ шевелится, и струны звучатъ.

Баллада эта — одно изъ самыхъ характерныхъ произведеній Жуковскаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, одно изъ лучшихъ его поэтическихъ созданій. Стихъ въ ней музыкаленъ и красивъ, образы живописны; настроеніе поэта выражается въ ней чрезвычайно полно. Содержаніе баллады опять — союзъ сердецъ, разорванный людьми. Но любовь, не нашедшая себѣ удовлетворенія въ условіяхъ времени и мѣста, не пробуждаетъ жесткаго чувства въ сердцѣ поэта; противодѣйствіе судьбы не представляется ему препятствіемъ для душевнаго счастія,

или, лучше сказать, онъ находитъ счастіе въ самомъ несчастіи; воображеніе его переступаетъ за предѣлы земной жизни, въ иной, лучшій міръ, гдѣ возстановляется нарушенное на землѣ блаженство любви. Такое представленіе чувства вѣчнаго, неизмѣннаго и составляетъ сущность романтическаго направленія, которое Жуковскій внесъ въ нашу словесность. Для читателей это было цѣлымъ откровеніемъ: была найдена прямая связь между жизнью и поэзіей; поэтому-то вліяніе Жуковскаго было чрезвычайно сильно, и даже самыя романтическія его произведенія — какъ вѣрно указалъ Бѣлинскій — „были важны для воспитанія въ обществѣ человѣческихъ чувствъ и не могли не дѣйствовать на нравственное развитіе новыхъ поколѣній“.

Есть у Жуковскаго еще одно стихотвореніе, въ которомъ очень ярко выразилось его міросозерцаніе. Это — баллада „Теонъ и Эсхинъ“. Эсхинъ долго бродилъ по свѣту за счастіемъ; но оно убѣгало его. И вотъ онъ возратился на родину къ своему другу Теону. Кругомъ природа все та же, —

Но гдѣ жъ озарявшая ихъ
Волшебнымъ сіяньемъ надежда?

Разочарованный жизнью Эсхинъ находитъ Теона со взоромъ грустнымъ, но яснымъ. Эсхинъ говоритъ другу, что надежда обманула его: онъ презираетъ жизнь. Теонъ указываетъ на гробъ, близъ котораго нашелъ его Эсхинъ, и говоритъ, что онъ не ропщетъ на законъ боговъ:

„Я видѣлъ земное блаженство.
„Что можетъ разрушить въ минуту судьба,
„Эсхинъ, то на свѣтѣ не наше;
„Но сердца нетлѣнныя блага: любовь
„И сладость возвышенныхъ мыслей —
„Вотъ счастье...“

Теонъ зналъ эту любовь; та, которую онъ любилъ, теперь въ могилѣ, но онъ счастливъ прошедшимъ, онъ живетъ воспоминаніемъ, и потому онъ примирился съ жизнью и спокойно смотритъ въ даль иного бытія:

„Съ сладкой надеждой я выше судьбы,
„И жизнь мнѣ земная священна;
„При мысли великой, что я — *человѣкъ*,
„Всегда возвышаюсь душою...
„Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ,
„Все въ жизни къ великому средство,
„И горесть, и радость — все къ цѣли одной;
„Хвала жизнедавцу Зевесу!“

Всѣ эти стихотворенія написаны задолго до конца сердечнаго романа Жуковскаго; но, очевидно, въ немъ рано сложилось то воззрѣніе, которое подымало его духъ надъ случайнымъ оборотомъ жизни. Тѣ самыя слова, которыми Теонъ возражаетъ противъ ропота Эсхина, служили самому поэту путеводною истиной, когда надъ нимъ разра-

зился тяжелый ударъ судьбы, и только свято храня это убѣжденіе, нашелъ онъ въ себѣ силы перенести его. До какой степени тѣсно было связано его поэтическое настроеніе съ его жизнью, всего лучше доказываетъ одно небольшое стихотвореніе, написанное имъ уже послѣ кончины Марьи Андреевны. Въ немъ Жуковскій уже отъ своего лица высказываетъ то самое примиреніе съ горестями жизни во имя безконечнаго блаженства, о которомъ въ балладѣ говоритъ Теонъ. Вотъ эти глубоко прочувствованныя строки:

9 марта 1823.

Ты предо мною
Стояла тихо,
Твой взоръ унылый
Былъ полонъ чувствъ;
Онъ мнѣ напомнилъ
О миломъ прошломъ;
Онъ былъ послѣдній
На здѣшнемъ свѣтѣ.
Ты удалилась,
Какъ тихій ангелъ;
Твоя могила,
Какъ рай, спокойна.
Тамъ всѣ земныя
Воспоминанья,
Тамъ всѣ святыя
О небѣ мысли.
Звѣзды небесъ!
Тихая ночь!

Романтическое направленіе упрекали въ неопредѣленности чувства, въ ублаженіи себя возвышенными мечтами, въ равнодушіи къ дѣйствительнымъ интересамъ жизни. Это справедливо въ отношеніи къ людямъ, для которыхъ романтизмъ былъ настроеніемъ только навѣяннымъ, вычитаннымъ изъ книгъ. Но это нисколько не можетъ относиться къ Жуковскому. Меланхолія его поэзіи прямо вытекла изъ обстоятельствъ въ его жизни, изъ исторіи его сердца, въ которомъ любовь замерла въ формѣ неудовлетвореннаго стремленія, восполненнаго надеждой вѣчнаго загробнаго союза. Что же касается отзывчивости его къ дѣйствительнымъ интересамъ жизни, то біографія его доказываетъ, какъ высоко-благородна была его личность, какъ онъ чутокъ былъ ко всякому чужому горю и какъ всегда готовъ былъ помочь всякому несчастному: мало найдется людей, которые такъ умѣли воплотить въ жизни свой идеалъ.

Нѣсколько патріотическихъ стихотвореній, написанныхъ Жуковскимъ по случаю событій Отечественной войны и слѣдующихъ годовъ, въ томъ числѣ знаменитый „Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ“, этотъ первый русскій опытъ романтической варіаціи на патріотическую тему, — обратили на поэта вниманіе двора еще въ то время, когда сердечный романъ Жуковскаго былъ въ полномъ разгарѣ. Его другъ Ал. Ив. Тургеневъ, близко знавшій обстоятельства его жизни, едва ли не болѣе всѣхъ хлопоталъ о томъ, чтобъ отвлечь Жуковскаго отъ поглощавшей его сердечной тоски. Это не легко было сдѣлать по самому характеру Жуковскаго: онъ чувствовалъ всегда слишкомъ искренно и глубоко. Но, дѣйствительно, уступая убѣжденіямъ друзей, поэтъ рѣшился позаботиться объ улучшеніи своего общественнаго положенія или, лучше сказать, согласился предоставить друзьямъ заботы о томъ.

Въ маѣ 1815 г. онъ былъ представленъ императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ и вскорѣ назначенъ при ней чтецомъ. Приглашенный вслѣдъ за тѣмъ преподавать русскій языкъ великимъ княгинямъ Александрѣ Ѳеодоровнѣ и Еленѣ Павловнѣ, онъ, по восшествіи императора Николая на престолъ, былъ избранъ въ наставники къ великому князю наслѣднику. Нужно ли говорить о томъ, съ какимъ пламеннымъ усердіемъ взялся онъ за это великое дѣло! Романтикъ въ любви, онъ проявилъ себя возвышеннымъ романтикомъ и на поприщѣ воспитателя. Его преданность обязанностямъ наставника не знала предѣловъ, онъ исполнялъ свой долгъ какъ бы по предопредѣленію. „Работы у меня много, — писалъ онъ въ началѣ 1828 г. изъ-за границы, куда онъ уѣхалъ, чтобы укрѣпиться здоровьемъ и въ то же время приготовиться къ новымъ своимъ обязанностямъ; — на рукахъ моихъ важное дѣло! Мнѣ не только надобно учить, но и самому учиться, такъ что не имѣю права и возможности употреблять ни минуты на что-нибудь другое... По плану ученія великаго князя, мною сдѣланному, все главное лежитъ на мнѣ. Всѣ его лекціи должны сходиться въ моей, которая есть для всѣхъ пунктъ соединенія; другіе учителя должны быть только дополнителями и репетиторами... У меня въ душѣ одна мысль, все остальное — только въ отношеніи къ этой царствующей. Могу сказать, что настоящая, положительная моя дѣятельность считается только съ той минуты, въ которую я вошелъ въ тотъ кругъ, въ которомъ теперь заключенъ. Прежде моя жизнь была dans le vague. Теперь я знаю, къ чему ведетъ она. Поэзія мною не покинута, хотя я и пересталъ писать стихи, хотя мои занятія и могутъ со стороны показаться механическими. Есть въ душѣ какая-то полнота, которая животворитъ ее. Я могъ бы назвать себя счастливымъ (ибо никакого положенія въ свѣтѣ не предпочту моему теперешнему и нахожу его достойнымъ меня). Но для счастія нужно не одно свое; но и счастію я давно далъ другое имя. Я называю его — *должность*. Подъ этимъ именемъ она всегда сильна противъ судьбы“.

Изъ этихъ строкъ видно, впрочемъ, что новыя обязанности, возложенныя на Жуковскаго, были ему дороги не только сами по себѣ, но и потому еще, что исполненіе ихъ облегчало исцѣленіе его наболѣвшаго сердца. Исцѣленіе это шло медленно, и въ теченіе всего времени, проведеннаго Жуковскимъ въ званіи наставника великаго князя, онъ нерѣдко возвращался къ грустному настроенію и горестнымъ воспоминаніямъ своей молодости. Въ особенности видно это въ нѣкоторыхъ, написанныхъ имъ въ это время, произведеніяхъ — въ прекрасной поэмѣ „Ундина“ и въ драмѣ „Камоэнсъ“. По обыкновенію, то были не переводы, а передѣлки съ иностранныхъ подлинниковъ, и въ такихъ переработкахъ мы нерѣдко встрѣчаемъ оригинальныя вставки, въ которыхъ, какъ вѣрно замѣтилъ Зейдлицъ, выражается личное душевное настроеніе нашего поэта. Такъ, въ написанной въ 1839 г. драмѣ „Камоэнсъ“ (подражаніе Фридриху Гальму), вмѣсто словъ героя, описывающаго счастіе первой любви къ знатной особѣ

при португальскомъ дворѣ, Жуковскій заставляетъ Камоэнса говорить такъ:

О, святая
Пора любви! Твое воспоминанье
И здѣсь, въ моей темницѣ, на краю
Могилы, какъ дыханіе весны,
Мнѣ освѣжило душу! Какъ тогда,
Все было въ мірѣ отголоскомъ звучнымъ
Моей любви! Какимъ сіяньемъ райскимъ
Блистала предо мной вся жизнь съ своимъ
Страданіемъ, блаженствомъ, съ настоящимъ,
Прошедшимъ, будущимъ!... О, Боже, Боже!...

Гальмовъ Камоэнсъ, котораго разлучили съ его возлюбленною, удаленною въ монастырь, грустно говоритъ: „Екатерина скончалась, и мой Гассанъ погибъ!“ А Камоэнсъ Жуковскаго горько жалуется:

Всѣхъ я схоронилъ;
Все, что любилъ я, что меня любило,
Давно во гробѣ... Я стою одинъ
Передъ своею могилою, одинъ!...
И не протянетъ мнѣ никто руки
Чтобы помочь въ нее сойти; свалюся
Туда, какъ чумный трупъ, рукой наемной
Толкнутый въ общій гробъ...

Затаивая въ глубинѣ души эти вѣчные стоны своего сердца, Жуковскій между тѣмъ достойно совершалъ свой великій воспитательный подвигъ. Въ 1818 г. онъ привѣтствовалъ явленіе милаго пришельца въ Божій свѣтъ слѣдующими стихами, обращенными къ его царственной матери:

Прекрасное Россія упованье
Тебѣ въ твоемъ младенцѣ отдаетъ.
Тебѣ его младенческія лѣта!
Отъ ихъ пеленъ ко входу бури свѣта
Пускай тебѣ вослѣдъ онъ перейдетъ
Съ душой, на все прекрасное готовой,
Наставленный: достойнымъ счастья быть,
Великое съ величіемъ сносить,
Не трепетать, встрѣчая рокъ суровый,
И быть въ дѣлахъ временъ своихъ красой.
Лѣта пройдутъ; подвижникъ молодой,
Откинувши младенчества забавы,
Онъ полетитъ въ путь опыта и славы...
Да встрѣтитъ онъ обильный чести вѣкъ!
Да славнаго участникъ славный будетъ!
Да на чредѣ высокой не забудетъ
Святѣйшаго изъ званій: *человѣкъ!*
Жить для вѣковъ въ величіи народномъ,
Для блага *всѣхъ — свое* позабывать,
Лишь въ голосѣ отечества свободномъ
Съ смиреніемъ дѣла свои читать:
Вотъ правила царей великихъ внуку.

Въ 1839 г., когда дѣло воспитанія наслѣдника было окончено, Жуковскій могъ, съ сознаніемъ свято исполненнаго долга, привести эти самые стихи въ своемъ описаніи празднованія Бородинской годовщины. „Мнѣ, однако, уже на видать совершенія всѣхъ надеждъ, стихами моими изображенныхъ“, говорилъ онъ тогда. Но Россія знаетъ, что слова Жуковскаго были поистинѣ высокимъ пророчествомъ, и не можетъ она забыть того, кто вложилъ столько *человѣчности* въ воспріимчивую душу своего питомца, увѣнчаннаго именемъ Царя-Освободителя.

Окончивъ свое служеніе при наслѣдникѣ престола, Жуковскій мечталъ провести свои послѣдніе годы на родинѣ, въ столь любимомъ имъ сельскомъ уединеніи. Но судьба рѣшила иначе. Въ его жизни совершилось событіе — не только неожиданное для его друзей, но не совсѣмъ понятное и съ психологической точки зрѣнія: Жуковскій сталъ семейнымъ человѣкомъ, вступилъ въ бракъ съ дѣвицей Е. А. Рейтернъ и — остался за границей, куда уѣхалъ было ненадолго.

Было ли то измѣной прежнему романтическому идеалу поэта, поколебался ли Теонъ въ своей вѣрѣ, что одна мечта, одно воспоминаніе о счастіи быломъ можетъ удовлетворить человѣка, и не погнался ли онъ, подобно Эсхину, за наслажденіемъ настоящей минуты — мы не знаемъ. Но вѣрно то, что потребность мирнаго успокоенія на лонѣ семейной жизни никогда не покидала души поэта, и съ годами его вѣчное одиночество все сильнѣе угнетало его: вспомнимъ страхъ Камоэнса, что никто не протянетъ ему руки даже для того, чтобы помочь сойти въ могилу, — и мы поймемъ, почему поэтъ, уже старикомъ, такъ радостно встрѣтилъ любящее молодое существо, готовое сдѣлаться спутницей послѣднихъ лѣтъ его жизни. Онъ увѣрялъ себя и другихъ, что нашелъ, наконецъ, то, чего жаждалъ такъ долго. „За четверть часа до рѣшенія судьбы моей, — писалъ тогда Жуковскій, — у меня и въ умѣ не было почитать возможнымъ, а потому и желать того, что теперь составляетъ мое истинное счастіе. Оно подошло ко мнѣ безъ моего знанія, послано свыше, и я съ полною вѣрою, безъ всякаго колебанія, подалъ ему руку“. Жуковскій всегда былъ глубоко религіознымъ человѣкомъ; поэтому во внезапномъ оборотѣ своей жизни онъ не могъ не видѣть прямого вмѣшательства высшихъ силъ: въ этомъ нашелъ онъ успокоеніе и примиреніе своего настоящаго съ прошлымъ.

Однако семейная жизнь поэта на склонѣ его дней дала ему не однѣ радости. Супруга его часто хворала, и ея болѣзнь препятствовала возвращенію Жуковскаго въ Россію, къ прежнимъ близкимъ ему людямъ. Среда, въ которой жили Жуковскіе за границей, была проникнута піэтизмомъ; это направленіе нѣкоторое время увлекало и супругу Василія Андреевича, и самъ поэтъ не остался чуждъ его вліянію и заплатилъ ему дань нѣсколькими стихотворными повѣстями, написанными въ то время. Но къ счастію, послѣ нѣкоторой борьбы съ проявленіями религіозной нетерпимости, онъ имѣлъ радость услышать отъ своей супруги-лютеранки, что она готова принять право-

славіе. Среди этихъ, послѣднихъ уже, душевныхъ бурь Жуковскій находилъ отдыхъ въ переводѣ Гомера; онъ подарилъ русской литературѣ „Одиссею“ и приготовилъ изданіе своихъ сочиненій. Религіозная поэма „Странствующій жидъ“ была послѣднимъ его произведеніемъ и осталась неконченною.

Послѣдніе годы своей жизни, уже немощный и лишенный зрѣнія, но спокойный духомъ и твердо переносившій свои тѣлесные недуги, Жуковскій провелъ въ Баденъ-Баденѣ и здѣсь же скончался 24 апрѣля 1852 г. Тѣло покойнаго было перевезено въ Петербургъ и покоится въ Александро-Невской лаврѣ.

Съ Жуковскимъ сошелъ въ могилу отецъ русскаго романтизма и въ то же время, можно сказать, послѣдній крупный представитель его: поэтъ пережилъ почти всѣхъ своихъ сверстниковъ. Съ тѣхъ поръ литература наша еще дальше отошла отъ романтическаго направленія; забыты и самыя нападки, которымъ подвергался романтизмъ отъ критики сороковыхъ годовъ. Но зато теперь ярче представляется намъ его историческое значеніе. Явившись на смѣну псевдоклассическому направленію и тѣсно связанному съ нимъ вольтеріанству, романтизмъ открылъ русскимъ читателямъ цѣлый міръ новыхъ образовъ, оживилъ чувство простыхъ красотъ природы, возстановилъ связь между стремленіями высшей культуры и наивными вѣрованіями и преданіями старины и вообще освѣжилъ русскую поэзію живымъ и чистымъ чувствомъ. Задушевность и человѣчность романтической поэзіи имѣли огромное воспитательное вліяніе на наше общество. Въ этомъ заключается высокая художественная и нравственная заслуга Жуковскаго въ развитіи русскаго сознанія. *Майковъ.*

Идеалы Жуковскаго.

Въ исторіи человѣческаго сознанія есть эпохи, когда, при упадкѣ общественности, личная жизнь получаетъ особую цѣнность и требованія разсудка уступаютъ вожделѣніямъ сердца. Сентиментальныя эпохи — эпохи общественнаго затишья, ожиданія или реакціи; широкія цѣли дѣятельности заказаны или еще не раскрылись, прогрессъ ограниченъ предѣлами личности. Идеаломъ каждаго становится развитіе въ себѣ „человѣка“, присущихъ ему нравственныхъ началъ; для этого не надо общества: подальше отъ людей — въ себя, изъ городовъ въ деревню, гдѣ царитъ мирный трудъ, въ природу. Вмѣсто общества — семья, построенная на чистой привязанности, на культѣ чувства, которое питаетъ религію; то и другое настраиваетъ и поэзію; рядомъ съ семьей — тѣсный кружокъ друзей, совопросниковъ въ дѣлѣ самоусовершенствованія человѣчности, взаимно связанныхъ одной задачей, поддерживающихъ другъ друга въ стремленіи къ общей цѣли. Чувство, любовь, дружба, вѣра, поэзія — вотъ что воспитываетъ семьянина; семья готовитъ и „публичнаго человѣка“, дѣятеля, но эта дѣя-

тельность не такъ существенна. Внѣшній міръ мѣряется спросами внутренняго, пейзажъ привлекаетъ не столько самъ по себѣ, сколько по размышленіямъ о Божіемъ величіи, о тлѣнности жизни, которыя онъ вызываетъ; реальныя черты народности, народной особи расплываются въ отвлеченіяхъ гуманизма. Интересуетъ вопросъ: что такое добродѣтельный человѣкъ? Настроеніе сентименталиста піэтистическое.

Такова программа „чувствительности", — программа Карамзина. Жуковскій вырабатываетъ ее серіозно: его юношескій дневникъ полонъ наблюденій надъ самимъ собою, надъ слабостями, которыя слѣдуетъ устранить либо направить къ лучшему, обративъ, напримѣръ, чувство зависти въ соревнованіе. Распорядокъ его дня примѣненъ къ цѣлямъ самовоспитанія, даже поэзіи отведены особые часы.

Эта черта за нимъ осталась. Какъ систематически онъ себя изучалъ, такъ совѣтовалъ дѣлать и другимъ, ему близкимъ и милымъ: даритъ графинѣ Самойловой „бѣлую книгу", въ которой набросалъ нѣсколько назидательныхъ мыслей, съ тѣмъ, чтобы она наполнила ее своими собственными, о себѣ и для себя; подноситъ цесаревичу альбомъ подаренный ему наслѣдникомъ прусскаго престола, и проситъ: заносите въ него „мысли, кои могутъ быть вамъ полезны и изъ коихъ можете со временемъ составить себѣ коренныя, но необходимыя правила поступковъ, какъ нравственныхъ, такъ и государственныхъ". У него ранняя любовь къ „таблицамъ", что̀ пригодилось ему, какъ воспитателю, но знаменательно и для поэта: у него есть порядокъ и въ фантазіи. Романтики любили безпорядокъ.

Съ этой мечтательной и вмѣстѣ педантичной программой онъ вступилъ въ жизнь, съ рѣшимостью заработать себѣ скромное счастье, съ требованіями возвышающей любви и той особой дружбы, чуткой, женственно отдающейся и взыскательной, которая колеблется на порогѣ любви и пріязни. Такое чувство связало молодого поэта еще на школьной скамьѣ съ Андреемъ Тургеневымъ, но онъ скончался юношей, и Жуковскій чувствуетъ себя одинокимъ, тревожно оглядывается въ кружкѣ товарищей, ищетъ въ нихъ опоры чувству, воспитываетъ ихъ въ идеальной дружбѣ, какъ воспитываетъ въ себѣ вѣру, сознаваясь, что для той и другой онъ и самъ еще не созрѣлъ. А тамъ на смѣну дружбѣ явилась привязанность къ дѣвочкѣ, племянницѣ по отцу, М. А. Протасовой, которой онъ давалъ уроки; къ этому зародившемуся чувству онъ относился цѣломудренно-пугливо, а оно росло съ годами, становилось взаимнымъ, и онъ бережетъ его, чистое и не страстное, сдержанно млѣя. Ему уже мерещится, что призракъ любви въ семьѣ станетъ былью, но мать Протасовой отказала въ рукѣ дочери подъ предлогомъ близкаго родства, и въ теченіе семи лѣтъ Жуковскій борется съ препятствіями, которыя стали ему поперекъ на пути къ счастью. Онъ такъ полонъ сознаніемъ правъ своего сердца, что заражаетъ этой увѣренностью и другихъ, заинтересовалъ своей любовью друзей и всѣхъ, кто входилъ въ кругъ его отношеній и

могъ повліять въ его пользу. Порой онъ хватается за несбыточную надежду и дѣтски гонится за ней, чаще опускаетъ руки, утѣшаясь воспоминаніемъ о всемъ прекрасномъ, что̀ пережито чувствомъ. Воспоминаніе и чаяніе — вотъ что становится его девизомъ, основными мотивами его поэтики; они подсказаны жизнью; воспоминанія онъ любитъ называть „фонарями", освѣщающими для него ночную дорогу жизни; чаянія распространялись на мечтательную даль, гдѣ для человѣка добродѣтельнаго сбудется неудавшееся на землѣ: соединеніе съ друзьями, свиданіе съ милыми сердцу. Такъ выступало на смѣну настоящаго, гдѣ царитъ меланхолія и душа зрѣетъ страданіемъ, таинственное „тамъ", населенное милыми тѣнями прошлаго. „И много милыхъ тѣней возстаетъ", повторяетъ Жуковскій за Гёте; онѣ-то спускаются къ намъ, напоминая о себѣ звуками „Эоловой арфы", но изъ той же безвѣстной дали являются порой и грозные, пугающіе призраки. Это настроеніе и вызывало балладные мотивы, видѣнія кладбища при невѣрномъ свѣтѣ луны, тѣхъ чертей и вѣдьмъ, нѣмецкихъ и англійскихъ, которыхъ у насъ, вмѣстѣ съ мечтательностью и меланхоліей, считали признакомъ романтизма; считалъ и Жуковскій. Но это не романтизмъ, а автобіографическія признанія сердца, шедшаго навстрѣчу сентиментальнымъ теченіямъ литературы и созвучнаго оссіановскаго настроенія.

Въ этой-то атмосферѣ сложились любимые образы, общія мѣста, эпитеты — все, что̀ дѣлаетъ лирику Жуковскаго своеобразной; сложился его стиль. Онъ надолго связалъ его. Случалось ли ему забыть пережитое, забыться въ минутномъ увлеченіи чувства, или, скорѣе, „сердечнаго воображенія", онъ настраивался на старое, говорилъ о воспоминаніяхъ и чаяніяхъ, мечталъ и улеталъ — туда. Въ такой лирикѣ нѣтъ жизнерадостнаго подъема, надъ нею лишь „рѣзвая *задумается* радость". У Жуковскаго какъ-то разъ сорвалось признаніе: настоящей молодости я не зналъ, „свободной, живой, окруженной прекрасными для меня, новыми впечатлѣніями"; не зналъ и страсти, а лишь страдательную, неосуществленную любовь, позже — любовь, какъ пристань къ небу. „Желать чего-нибудь страстно — значитъ мѣшаться въ дѣло Провидѣнія, рваться за будущимъ вслѣдъ за надеждою и забывать настоящее", вписалъ онъ въ 1815 г. въ альбомъ А. А. Воейковой. А между тѣмъ, по природѣ, онъ былъ человѣкъ веселый, охочъ на шутки и проказы; такимъ знали его друзья: вспышки темперамента, подавленнаго недочетами сердца и манерой сентиментализма; противорѣчія сливались въ вѣрѣ, не въ юморѣ. C'est le poète de la passion, сказалъ о немъ въ 1819 г. кн. Вяземскій; „сохрани Богъ ему быть счастливымъ: съ счастіемъ лопнетъ прекраснѣйшая струна его лиры". Съ начала 20-хъ годовъ Пушкинъ замѣчаетъ, что слогъ Жуковскаго сильно возмужалъ, но утратилъ первоначальную прелесть: „ужъ онъ не напишетъ ни Свѣтланы, ни Людмилы, ни прелестныхъ элегій первой части Спящихъ Дѣвъ". „Поэзія, идущая рядомъ съ жизнью — товарищъ несравненный", говоритъ Жуков-

скій въ 1816 г.; въ 1822 она уже „перестала быть отголоскомъ сердца“:

Бывалыхъ нѣтъ въ душѣ видѣній!
И голосъ арфы замолчалъ;
Его желаннаго возврата
Дождаться ль мнѣ когда опять,
Или на вѣкъ его утрата
И вѣчно арфѣ не звучать?

Но онъ надѣялся, что очарованье не умерло, что „былое сбудется опять“; надѣялся и Пушкинъ, но вышло иное: изъ „мечтательнаго романтика“, какъ самъ онъ себя называлъ, Жуковскій становится эпикомъ, „болтливымъ сказочникомъ“, перестаетъ служить риѳмѣ, увлеченъ „Одиссеей“, переводъ которой онъ считалъ лучшей изъ своихъ „поэтическихъ дочекъ“. Для послѣднихъ его лѣтъ это такой же автобіографическій фактъ, какъ его лирика для молодой поры. Онъ успокоился въ „своей“ семьѣ, которой такъ долго искалъ; не было молодости, зато есть идиллическая старость, окруженная любовью, и ему теперь по сердцу и античная простота гомеровскаго быта, отданная настоящему, и протяжно звучащій стихъ „Одиссеи“. Таинственное „тамъ“ уступило мѣсто очарованному „здѣсь“, за „живой заборъ“ семьи „не залетаетъ воспоминаніе о прошедшемъ“, въ крайнемъ случаѣ „милое минувшее дружится съ настоящимъ“. Онъ счастливъ, но въ письмахъ звучитъ новая нота страданія: не по томъ, что̀ не сбылось, а по томъ, что̀ привязало его къ настоящему и можетъ быть отнято. Въ такія минуты онъ снова обращался вѣрой къ грядущему: онъ ждетъ покорно, готовится, но не приготовленъ. „Земная жизнь— страданія питомецъ“, писалъ онъ „На кончину е. в. королевы Виртембергской“ (1819); тридцать лѣтъ спустя онъ повторилъ за Гольмомъ: „страданіемъ душа поэта зрѣетъ“.

Передъ нами весь кругозоръ интимной лирики Жуковскаго, онъ ограниченъ личной жизнью, и въ ней уголкомъ чувства: тихо волнующагося, призывнаго, грѣющаго, томящагося по чемъ то реальномъ или не здѣшнемъ. Нѣтъ отзвуковъ волненій жизни, патріотическіе мотивы „Пѣвца“ и посланія къ „Императору Александру“ стоятъ особо; гражданскія темы, къ которымъ призывалъ его кн. Вяземскій, отсутствуютъ, поэтъ не отзывался на нихъ. На все кругомъ себя онъ смотрѣлъ сквозь „сонъ поэтическій“, все идеализовалъ, и друзья боялись рокового дара Мидаса, — обращать въ золото все, до чего бы онъ ни дотронулся. У Жуковскаго „все поэзія — царскія двери, дьячки, понамари“, трунилъ въ 1819 г. кн. Вяземскій; „все для души“, повторялъ поэтъ за Карамзинымъ и самъ всюду искалъ и находилъ „душу“. „На землѣ все для души, — писалъ онъ въ 1843 г. государынѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, — царства и родъ человѣческій суть только явленія, существуетъ одна душа, и каждая отдѣльная душа на своемъ мѣстѣ значитъ болѣе, чѣмъ всѣ царства земныя, взятыя вмѣстѣ“. Такой взглядъ застилъ пониманіе реальности, и когда судьба привела Жуковскаго быть наставникомъ наслѣдника престола, ему пришлось пожалѣть, что практика общественной жизни ему почти не знакома. „Общее дѣло никогда мнѣ не было чуждо, — писалъ онъ въ 1827 г.

Ал. Ив. Тургеневу, — я не занимался современнымъ, какъ бы было должно, это правда, и теперь вижу, что мнѣ многаго недостаетъ въ моемъ теперешнемъ званіи... На внѣшнее могу только заглядывать изрѣдка урывками. А знакомство съ нимъ необходимо для вѣрности, солидности и теплоты идей". Въ этой „теплотѣ идей" — весь Жуковскій. Его гуманизмъ былъ гуманизмъ жалости и благотворенія; носитель добра и помощи всюду, гдѣ въ нихъ сказывалась нужда, онъ не рѣшался теоретически распространить то и другое на болѣе широкіе горизонты. Культъ воспоминанія связывалъ его личное чувство, какъ культъ преданія его оцѣнку историческихъ явленій. Но онъ умѣлъ любить и дружить; онъ дѣятельно искалъ дружбы, „чистая душа" какъ звалъ его въ письмахъ къ нему Александръ Михайловичъ Тургеневъ; „единственный изъ насъ, который умѣетъ любить", выразился о немъ Пушкинъ въ салонѣ Смирновой.

И въ этомъ бѣдномъ по содержанію районѣ онъ совершилъ чудеса: въ немъ онъ полный хозяинъ, знаетъ въ немъ всякій закоулокъ, неуловимыя движенія чувства, неслышныя колебанія настроенія. Все это для него дорого, и онъ хочетъ схватить это невѣдомое, бѣгущее, ускользающее отъ глаза и слуха; хочетъ выразить „невыразимое", и въ извѣстной мѣрѣ это ему удается. Въ этомъ очарованіе его стиха. Какъ онъ достигъ его, — въ эту тайну мы можемъ заглянуть лишь стороною. Говорятъ, онъ обогатилъ нашу лирику новыми метрическими формами, это справедливо, но починъ въ этомъ смыслѣ принадлежитъ Карамзину. Дѣло и не въ изобразительности, не въ вѣрности пейзажа, хотя Жуковскій рисовальщикъ и природа для него уже не только объектъ для размышленія, какъ для сентименталиста; онъ любитъ зачеркивать виды, горы, кресты надъ могилами, рѣже людскія фигуры. Въ его поэзіи есть нѣчто другое, что поддавалось карандашу; въ этомъ отношеніи интересенъ подчасъ контрастъ его рисунковъ съ тѣми отдѣлами его дневника, которые можно назвать походными этюдами художника; тамъ ничего не говорящій силуэтъ Монблана, здѣсь образы гигантскихъ головъ съ развѣвающимися на шлемахъ шишаками, облака-привидѣнія, цвѣтъ воды и неба во всѣхъ его переливахъ, полутонахъ. Не разъ говорится, что все дѣло въ освѣщеніи; „die Aussendinge sind die Farbe des Geistes" (внѣшній міръ лишь окраска духовнаго), писалъ Жуковскому въ 1803 г. его пріятель Андрей Тургеневъ, приводя слова Шиллера; Жуковскій доскажетъ остальное, толкуя въ письмѣ къ Рейтерну слова Boileau (Rien n'est beau que le vrai): природу не слѣдуетъ украшать, но всякій художникъ понимаетъ ее по-своему, отражая въ ней свою душу, — душу вообще въ душѣ природы; что насъ привлекаетъ къ природѣ — это слѣды человѣческой души.

Что въ живописи освѣщеніе, то въ поэзіи настроеніе, Stimmung, слѣдъ души; въ поэзіи Жуковскаго настроеніе цвѣтовое, и, вмѣстѣ, мелодическое: особая прелесть стиха, подборъ поэтическаго языка, въ которомъ словарь чувствительности сосѣдитъ съ элементами цер-

ковно-славянскими и народными, мѣрное теченіе рѣчи обрывается порой лирическимъ вопросомъ, плодятся анаколюты и встрѣчаются сочетанія, выходившія изъ нормъ господствовавшей тогда литературной рѣчи. Кто не ощущалъ внутренней поэзіи стиля, тотъ упрекалъ Жуковскаго въ неправильностяхъ языка, въ германизмахъ. На нихъ онъ учился, не предвзято, теоретически, а ощупью, ища выраженій для своего „невыразимаго". Особенно въ началѣ онъ не боится нерусской конструкціи, въ родѣ „шатра кругомъ", вмѣсто „кругомъ шатра"; въ „Вадимѣ" герой готовъ забыться съ красавицей княжной, но раздался призывный звонокъ, чудилось, кто-то летѣлъ, незримый, но извѣстный,

И взоръ, наполненный тоской,
Мелькалъ сквозь покрывало,
И подъ воздушной пеленой
Печальное вздыхало.

„Печальное" не понять, не припомнивъ нѣмецкое das Schöne, das Ewigweibliche и т. п.

Не безъ борьбы дался Жуковскому его стиль; его школа — переводы. Они составили ему репутацію; „въ бореніи съ трудностью силачъ необычайный", сказалъ о немъ Пушкинъ, сѣтуя, что переводческая дѣятельность отвлекла его отъ творчества. Но его переводы были тѣмъ же творчествомъ, и мы не ошибемся, сказавъ, что въ томъ отдѣлѣ его поэзіи, починъ котораго принадлежитъ ему, пересказъ, подражаніе и усвоеніе играли видную роль. Начать съ переводовъ: онъ не столько переводилъ, сколько воспроизводилъ, спускаясь къ оригиналу, чаще поднимая его до своего пониманія. Его понятіе о любви было нѣсколько отвлеченное, я сказалъ бы безплотное, безъ налета даже той chastete lascive, которая встрѣчается у сентименталистовъ и у Шатобріана, — и онъ удаляетъ изъ „Орлеанской дѣвы" то, что ему кажется слишкомъ откровеннымъ, земнымъ; не даромъ кн. Вяземскій боялся, что, переводя Байрона, Жуковскій будетъ „дѣвствовать"; наоборотъ, кое-гдѣ, какъ, напр., въ переводѣ Гольмовой драмы, онъ усиливаетъ краски, иное развиваетъ, чтобы оттѣнить элементъ автобіографическаго сочувствія. Въ переводѣ Шиллеровской „An Minna" онъ опускаетъ строфы, конецъ стихотворенія принадлежитъ ему, онъ его передѣлалъ подъ стать своему настроенію: въ ту пору онъ самъ былъ влюбленъ безъ надежды. Отъ безнадежной любви его тянетъ въ деревню, онъ дышитъ воздухомъ родныхъ полей, передъ вами русскій пейзажъ, — но поэтъ вдохновился пьесой Шатобріана въ „Le dernier Abencerrage" и ея лирической формой. Въ альбомъ графинѣ Самойловой за которой ухаживалъ онъ и его другъ Перовскій, онъ вписываетъ въ 1819 г. гётевское стихотвореніе „An Lottchen", къ Шарлоттѣ Буффъ, невѣстѣ Кестнера, по которой вздыхалъ и его другъ Гете — и Жуковскій откровенно опускаетъ стихи, гдѣ говорилось о двухъ влюбленныхъ; онъ желалъ бы быть одинъ. Это — наивный приступъ къ передѣлкѣ на свой ладъ.

Все это крайне характерно для Жуковскаго-поэта; у него чисто женская воспріимчивость, способность возгорѣться у всякаго огня, усваивать и развивать родственныя теченія, образы; онъ самъ знаетъ себѣ цѣну. Въ 1809 г. (ему было 26 лѣтъ) онъ говорилъ о задачахъ переводчика, отличая поэта, самостоятельнаго творца, отъ поэта другого рода, живущаго поэтическимъ зараженіемъ, способнаго подражать готовому цѣлому, творца лишь въ подробностяхъ, деталяхъ. Онъ опредѣлилъ себя самъ. Много лѣтъ спустя онъ указалъ этому второстепенному творчеству цѣли, и мы дорожимъ этимъ признаніемъ, оно даетъ намъ мѣру поэта и его значенія въ развитіи нашей лирики. „У меня почти все *чужое*, — писалъ онъ о себѣ, — и все однакожъ *мое*“; въ этомъ смыслѣ, на склонѣ дней, онъ просилъ у Гоголя палестинскихъ впечатлѣній, чтобы они зажгли въ немъ искру творчества. Но онъ давалъ не только *свое*, но и самого *себя*, потому что процессы его чувства были для него дѣломъ важнымъ, ложились въ основу его міросозерцанія, которымъ онъ дорожилъ. Стремленіе схватить ихъ невыразимость было поэтическимъ актомъ той же искренности; таково впечатлѣніе стиля Жуковскаго тамъ, гдѣ онъ не шалилъ стихомъ, а былъ поэтомъ.

Какъ-то разъ, защищая его отъ критиковъ, кн. Вяземскій выразился, что стихъ его можетъ устарѣть, останется — поэзія; я прибавилъ бы: устарѣетъ ея содержаніе, въ болѣе широкихъ перспективахъ потонетъ его крохотный личный кругозоръ, останется правдивость настроенія и прелесть овладѣвшаго имъ стиха. Можетъ-быть, его поэзія и не переживетъ завистливую даль вѣковъ, но въ перебоѣ поколѣній и вкусовъ къ ней будутъ возвращаться, когда жизнь мечты и довлѣющаго самому себѣ чувства будетъ брать перевѣсъ надъ массовыми тревогами дня и спросами, поглощающими вопросъ о личномъ счастьѣ. „Когда-то вся природа была мнѣ пѣсней, моя душа поэзіей цвѣла“ — говорилъ онъ въ посвященіи „Ундины“:

Оно прошло, то время золотое,
Съ природы снятъ магическій вѣнецъ;
Свѣтъ узнанный свое лицо земное
Разоблачилъ, и призракамъ конецъ.

Но магическій вѣнецъ не будетъ снятъ съ природы, свѣтъ не узнанъ, и нѣтъ конца мечтамъ-призракамъ и днямъ „восторженныхъ видѣній“ — поэзіи.

Веселовскій.

Мотивы поэзіи Жуковскаго.

Нашу литературу вообще нельзя обвинить въ стоячести и коснѣлости. Въ ней всегда было движеніе впередъ, даже въ ломоносовскій періодъ. Если Херасковъ и Петровъ не только не подвинулись передъ Ломоносовымъ, но еще и отстали отъ него, хотя явились и послѣ, зато какая же чудовищная разница между Ломоносовымъ и Державинымъ, между притчами Сумарокова и баснями Хемницера, между ко-

медіями Сумарокова и комедіями Фонвизина, между прозой не только Сумарокова, но и самого Ломоносова, даже какая значительная разница между драматургомъ Сумароковымъ и драматургомъ Княжнинымъ! Карамзинскій періодъ ознаменовался несравненно сильнѣйшимъ движеніемъ впередъ. Мы уже знаемъ о Крыловѣ, какъ о поэтѣ карамзинской эпохи, внесшемъ въ русскую поэзію совершенно новый для нея элементъ — *народность*, которая только проблескивала и промелькивала временами въ сочиненіяхъ Державина, но въ поэзіи Крылова явилась главнымъ и преобладающимъ элементомъ. Такого великаго и самобытнаго таланта, каковъ талантъ Крылова, было бы достаточно для того, чтобъ ему самому быть главой и представителемъ цѣлаго періода литературы; но ограниченность рода поэзіи, избраннаго Крыловымъ, не могла допустить его до подобной роли. Басни Крылова давно уже пережили творенія Карамзина; онѣ будутъ читаться до тѣхъ поръ, пока русское слово не перестанетъ быть живой рѣчью живого народа; но, несмотря на то, въ исторіи русской литературы Крыловъ всегда будетъ занимать свое мѣсто между замѣчательнѣйшими дѣятелями того періода русской литературы, главой и представителемъ котораго былъ Карамзинъ. Въ нѣкоторомъ отношеніи такова же была въ исторіи русской литературы и роль Жуковскаго. Таланта Жуковскаго также стало бы, чтобъ явиться главой и представителемъ цѣлаго періода молодой, рождающейся литературы. Жуковскій внесъ новый, живой, можетъ-быть, еще болѣе важный элементъ въ русскую поэзію, чѣмъ элементъ, внесенный Крыловымъ: Жуковскій проложилъ себѣ собственный путь, въ которомъ не было ему предшественниковъ; муза Жуковскаго возросла, воспиталась на почвѣ, въ то время никому изъ русскихъ невѣдомой и недоступной, — и, несмотря на то, было бы дѣломъ чистаго произвола отмѣтить именемъ Жуковскаго какой-нибудь изъ періодовъ русской литературы, и не видѣть въ немъ опять-таки одного изъ знаменитѣйшихъ или даже и самаго знаменитѣйшаго дѣятеля въ томъ періодѣ русской литературы, главой и представителемъ котораго былъ Карамзинъ. Вѣнецъ поэзіи Жуковскаго составляютъ его переводы и заимствованія изъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ: въ этомъ онъ самобытенъ, какъ единственный глава и представитель своей собственной школы; въ этомъ выразился моментъ самаго сильнаго и плодовитаго движенія впередъ русской литературы карамзинскаго періода. Но у Жуковскаго есть и оригинальныя произведенія, особенно патріотическія пьесы и посланія; сверхъ того, онъ былъ знаменитъ еще какъ отличный писатель и переводчикъ въ прозѣ. И вотъ съ этой-то стороны онъ является писателемъ, совершенно подчиненнымъ вліянію Карамзина, во многихъ отношеніяхъ даже ученикомъ его. Конечно, по языку, оригинальныя стихотворенія Жуковскаго (въ особенности, патріотическія пьесы и посланія) гораздо выше стихотвореній Карамзина и Дмитріева; но ихъ духъ, направленіе, характеръ, содержаніе — все это нисколько не отступаетъ отъ идеала поэзіи XVIII в., — идеала поэзіи, который такъ присущъ и родственъ

былъ карамзинскому взгляду на поэзію вообще. Что же касается до Жуковскаго, онъ является въ ней совершенно ученикомъ Карамзина, и если въ отношеніи къ стилистикѣ ученикъ подвинулся дальше учителя, то взглядъ на предметы, складъ ума, характеръ слога и языка — все это чисто карамзинское. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только прочесть критическіе разборы Жуковскаго сатиръ Кантемира и басенъ Крылова, статьи его: „Марьина роща", „Три сестры", „Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ", „Писатель въ обществѣ" и проч. Выборъ переводныхъ статей въ прозѣ у Жуковскаго тоже отличается совершенно карамзинскимъ духомъ, несмотря на то, что многія статьи переведены съ нѣмецкаго. Намъ, можетъ-быть, возразятъ, что „Рафаэлева Мадонна" есть тоже оригинальная статья въ прозѣ Жуковскаго, но что въ ней уже нѣтъ ничего Карамзинскаго. Правда, но просимъ не забывать, что эта статья написана Жуковскимъ въ 1820 г.,— въ то время, когда вліяніе Карамзина на русскую литературу уже ослабѣло съ одной стороны, усилившись съ другой: тогда Карамзинъ былъ уже историкомъ Россіи, а собственно литературныя его произведенія уже забывались. Вообще, въ это время Жуковскій сталъ дѣйствовать какъ-то самостоятельнѣе, освободившись отъ вліянія Карамзина. Надобно еще замѣтить, что въ это время вліяніе на литературу и слава Жуковскаго достигли своего высшаго развитія, тогда какъ до этого времени Жуковскій былъ какъ-будто въ тѣни. Ему удивлялись, его хвалили; но онъ все-таки писалъ для „немногихъ". И какъ тогда понимали его! Его называли „балладистомъ", въ немъ видѣли пѣвца могилъ и привидѣній... Ему подражали, но въ чемъ? — въ формѣ, а не въ духѣ, — и рядъ безсмысленныхъ и нелѣпыхъ балладъ былъ плодомъ этого подражанія. Ему удивлялись, какъ русскому Тиртею, какъ пѣвцу народной славы, — и „Пѣвцы во станѣ" и „Въ Кремлѣ" доказали, какъ не мудрено подражать подобной народности... Но передъ двадцатыми годами и въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія Жуковскій получилъ именно то значеніе, какое онъ всегда имѣлъ. Тогдашняя молодежь, развившаяся подъ вліяніемъ великихъ событій 1814 г., съ жадностью бросились на нѣмецкую литературу, съ которой Жуковскій давно уже породнилъ русскій умъ и русскую музу. Всѣ заговорили о *романтизмѣ*, о новой теоріи поэзіи; всѣ возстали противъ владычества псевдо-классической французской поэзіи. Въ поэзіи русской явились луна и туманы, уныніе и грусть, смерть и гробъ. Но въ это время уже кончился карамзинскій періодъ русской литературы. Лучезарная звѣзда поэтической славы Жуковскаго вспыхнула и загорѣлась ярко уже въ новомъ періодѣ русской литературы: тогда уже явился Пушкинъ, и для Жуковскаго, еще во всей порѣ его дѣятельности, уже наставало потомство... Періода, означеннаго именемъ Жуковскаго, не было въ русской литературѣ... И, однакожъ, необъятно велико значеніе этого поэта для русской поэзіи и литературы! Имя его давно славно и почтенно; похвалы ему никогда не умолкали. Заслуга Жуковскаго состоитъ въ томъ, что онъ ввелъ въ русскую поэзію роман-

тизмъ. Что же такое романтизмъ вообще и романтизмъ Жуковскаго въ особенности? Вотъ вопросъ, отъ рѣшенія котораго зависитъ опредѣленіе значенія, какое имѣетъ Жуковскій въ русской литературѣ... У насъ много говорили, толковали и спорили о романтизмѣ. Но отъ всего этого вопросъ не уяснился, и романтизмъ попрежнему остался таинственнымъ и загадочнымъ предметомъ. Его поняли, какъ противоположность французскому псевдо-классицизму. Отсюда естественно вышла ошибка: какъ подъ классицизмомъ разумѣли извѣстную условную форму искусства, такъ подъ романтизмомъ стали разумѣть нарушеніе правилъ этой условной формы. И потому, кто соблюдалъ въ трагедіи знаменитыя три единства, героями ея дѣлалъ только царей и ихъ наперсниковъ, заставляя ихъ говорить напыщенно и важно, — тотъ считался классикомъ; кто же въ своей драмѣ переносилъ дѣйствіе изъ одного мѣста въ другое, на нѣсколькихъ страницахъ сосредоточивалъ событіе, совершившееся въ промежуткѣ не одного десятка лѣтъ, число актовъ своей драмы не хотѣлъ ограничивать завѣтной суммой пяти, а дѣйствующими лицами въ ней позволялъ быть людямъ всякаго званія, — тотъ считался ультра-романтикомъ.

Дѣйствительно, у романтической поэзіи необходимо должна быть своя форма, не похожая на форму классической, но это потому, что всякая оригинальная идея имѣетъ свою, ей присущую, оригинальную форму, всякій самобытный духъ является въ свойственной ему самобытной личности. Однакожъ, какъ форма есть твореніе явившагося въ ней духа, то, отправляясь отъ формы, никогда нельзя постичь заключеннаго въ ней духа; наоборотъ, только отправляясь отъ духа, можно постичь и самый духъ, и выразившую его форму. Поэтому сущность романтизма заключается въ его идеѣ, а не въ произвольныхъ случайностяхъ внѣшней формы.

Романтизмъ — принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзіи: его источникъ въ томъ, въ чемъ источникъ и искусства, и поэзіи — въ жизни. Жизнь тамъ, гдѣ человѣкъ, — а гдѣ человѣкъ, тамъ и романтизмъ. Въ тѣснѣйшемъ и существеннѣйшемъ своемъ значеніи романтизмъ есть не что иное, какъ внутренній міръ души человѣка, сокровенная жизнь его сердца. Въ груди и сердцѣ человѣка заключается таинственный источникъ романтизма: чувство, любовь есть проявленіе или дѣйствіе романтизма, и потому почти всякій человѣкъ — романтикъ. Исключеніе остается только или за эгоистами, которые кромѣ себя никого любить не могутъ, или за людьми, въ которыхъ священное зерно симпатіи и антипатіи задавлено и заглушено или нравственной неразвитостью, или матеріальными нуждами бѣдной и грубой жизни. Вотъ самое первое, естественное понятіе о романтизмѣ.

Хотя романтизмъ есть общее духу человѣческому явленіе, во всѣ времена и для всѣхъ народовъ присущее, но онъ считается исключительной принадлежностью среднихъ вѣковъ и даже носитъ на себѣ имя народовъ романскаго происхожденія, игравшихъ главную роль

въ эту великую и мрачную эпоху человѣчества. Въ Жуковскомъ русская литература нашла своего посвятителя въ таинства романтизма среднихъ вѣковъ. Назначеніе сентиментальности, введенной Карамзинымъ въ русскую литературу, было — расшевелить общество и приготовить его къ жизни сердца и чувства. Поэтому явленіе Жуковскаго вскорѣ послѣ Карамзина очень понятно и вполнѣ согласно съ законами постепеннаго развитія литературы, а черезъ нее — общества. Равнымъ образомъ понятенъ путь, которымъ Жуковскій привелъ къ намъ романтизмъ. Это былъ путь подражанія и заимствованія — единственный возможный путь для литературы, не имѣвшей и не могшей имѣть корня въ общественной почвѣ и исторіи своей страны. Надобно было случиться такъ, чтобъ поэтическая натура Жуковскаго носила въ себѣ сильную родственную симпатію къ музѣ Шиллера и въ особенности къ ея романтической сторонѣ. Жуковскій познакомился со своимъ любимымъ поэтомъ при его жизни, когда слава его была на своей высшей точкѣ, — и вышелъ на поприще русской литературы почти непосредственно за смертью Шиллера. Хотя Жуковскій всегда дѣйствовалъ какъ необыкновенно даровитый переводчикъ, но на него не должно смотрѣть только какъ на превосходнаго переводчика. Онъ переводилъ особенно хорошо то, что гармонировало съ внутренней настроенностью его духа, и въ этомъ отношеніи бралъ свое вездѣ, гдѣ только находилъ его — у Шиллера, по преимуществу, но вмѣстѣ съ тѣмъ и у Гёте, у Матиссона, Уланда, Гебеля, Вальтеръ-Скотта, Томаса Мура, Грея и другихъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ. Многое онъ даже не столько переводилъ, сколько передѣлывалъ; иное заимствовалъ мѣстами и вставлялъ въ свои оригинальныя пьесы. Однимъ словомъ, Жуковскій былъ переводчикомъ на русскій языкъ не Шиллера или другихъ какихъ-нибудь поэтовъ Германіи и Англіи: нѣтъ, Жуковскій былъ переводчикомъ на русскій языкъ романтизма среднихъ вѣковъ, воскрешеннаго въ началѣ XIX в. нѣмецкими и англійскими поэтами, преимущественно же Шиллеромъ. Вотъ значеніе Жуковскаго и его заслуга въ русской литературѣ.

Жуковскій началъ свое поэтическое поприще балладами. Этотъ родъ поэзіи имъ начатъ, созданъ и утвержденъ на Руси: современники юности Жуковскаго смотрѣли на него преимущественно какъ на автора балладъ, и въ одномъ своемъ посланіи Батюшковъ назвалъ его „балладникомъ“. Подъ балладой тогда разумѣли краткій разсказъ о любви, большей частью, несчастной; могилу, крестъ, привидѣніе, ночь, луну, а иногда домовыхъ и вѣдьмъ считали принадлежностью этого рода поэзіи, — больше же ничего не подозрѣвали. Но въ балладѣ Жуковскаго заключался болѣе глубокій смыслъ, нежели могли тогда думать. Баллада и романсъ — народная пѣсня среднихъ вѣковъ, прямое и наивное выраженіе романтизма феодальныхъ временъ, произведенія по-преимуществу романтическія. Первой балладой, обратившей на Жуковскаго общее вниманіе, была „Людмила“, передѣланая имъ изъ Бюргеровой „Леноры“, которую онъ впослѣдствіи перевелъ. „Ленора“ доставил-

въ Германіи громкое имя своему творцу. Золотое то время, когда подобными вещами можно снискивать себѣ славу! Такое время миновалось даже для Россіи. Но „Людмила“ Жуковскаго явилась кстати: она имѣла успѣхъ въ родѣ того, какимъ пользовались „Душенька“ Богдановича и „Бѣдная Лиза“ Карамзина. Для русской публики все было ново въ этой балладѣ. Стихи, которыми она писана, для нашего времени уже не кажутся особенно поэтическими; въ ней даже есть просто плохіе стихи, какихъ рѣшительно нѣтъ въ другихъ балладахъ Жуковскаго; но и „Людмила“ въ то время могла быть написана только Жуковскимъ, — и стихи этой баллады не могли не удивить всѣхъ своей легкостью, звучностью, а главное — своимъ складомъ, совершенно небывалымъ, новымъ и оригинальнымъ. Содержаніе баллады — самое романтическое, во вкусѣ среднихъ вѣковъ: дѣвушка, узнавъ, что милый ея палъ на полѣ битвы, ропщетъ на судьбу, и за то ее постигаетъ страшное наказаніе: милый пріѣзжаетъ за нею на конѣ и увозитъ ее — въ могилу. Сверхъ того романтизмъ этой баллады состоитъ не въ одномъ нелѣпомъ содержаніи ея, на изобрѣтеніе котораго стало бы самаго дюжиннаго таланта, но въ фантастическомъ колоритѣ красокъ, которыми оживлена мѣстами эта дѣтски-простодушная легенда и которыя свидѣтельствуютъ о талантѣ автора. Такіе стихи, какъ, напримѣръ, слѣдующіе, были для своего времени откровеніемъ тайны романтизма:

Слышу шорохъ тихихъ тѣней:
Въ часъ полуночныхъ видѣній,
Въ дымѣ облака, толпой,
Прахъ оставя гробовой
Съ позднимъ мѣсяца восходомъ,
Легкимъ, свѣтлымъ хороводомъ,
Въ цѣпь воздушную свились —
Вотъ за ними понеслись;
Вотъ поютъ воздушны лики:
Будто въ листьяхъ повилики
Вьется легкій вѣтерокъ,
Будто плещетъ ручеекъ.

Или вотъ эта фантастическая картина ночной природы:

Вотъ и мѣсяцъ величавый
Всталъ надъ тихою дубравой:
То изъ облака блеснетъ,
То за облако зайдетъ;
Съ горъ простерты длинны тѣни;
И лѣсовъ дремучихъ сѣни,
И зерцало зыбкихъ водъ,
И небесъ далекій сводъ
Въ *свѣтлый сумракъ* облечены...
Спятъ пригорки отдалены,
Боръ заснулъ, долина спитъ...
Чу!... полночный часъ звучитъ.
Потряслись дубовъ вершины;
Вотъ повѣялъ отъ долины
Перелетный вѣтерокъ...
Скачетъ по полю ѣздокъ...

Такіе стихи вполнѣ оправдываютъ восторгъ и удивленіе, которыми была нѣкогда встрѣчена „Людмила“ Жуковскаго: тогдашнее общество безсознательно почувствовало въ этой балладѣ новый духъ творчества, новый міръ поэзіи — и общество не ошиблось.

„Свѣтлана“, оригинальная баллада Жуковскаго, была признана за его chef-d'œuvre, такъ что критики и словесники того времени (она была напечатана въ 1813 г.) титуловали Жуковскаго „пѣвцомъ Свѣтланы“. Въ этой балладѣ Жуковскій хотѣлъ быть народнымъ; но о его притязаніяхъ на народность мы скажемъ послѣ. Содержаніе

„Свѣтланы“ извѣстно всѣмъ и каждому: оно самое романтическое, и вообще лучшая критика, какая когда-либо написана была о „Свѣтланѣ“, заключается въ посвятительномъ куплетѣ баллады:

Въ ней большія чудеса,
Очень мало складу.

Въ собственно лирическихъ произведеніяхъ, переведенныхъ и передѣланныхъ Жуковскимъ съ нѣмецкаго языка, открывается еще болѣе, чѣмъ въ балладахъ, сущность и характеръ его романтизма. Что̀ такое этотъ романтизмъ? Это — желаніе, стремленіе, порывъ, чувство, вздохъ, стонъ; жалоба на несвершенныя надежды, которымъ не было имени, грусть по утраченномъ счастьи, которое, Богъ знаетъ, въ чемъ состояло; это — міръ, чуждый всякой дѣйствительности, населенный тѣнями и призраками, конечно, очаровательными и милыми, но тѣмъ не менѣе неуловимыми; это — уныло, медленно текущее, никогда не оканчивающееся настоящее, которое оплакиваетъ прошедшее и не видитъ передъ собой будущаго; наконецъ, это — любовь, которая питается грустью и которая безъ грусти не имѣла бы, чѣмъ поддержать свое существованіе. Поищемъ въ стихахъ Жуковскаго оправданія нашего *неопредѣленнаго и туманнаго* опредѣленія его поэзіи. Подробный разборъ каждаго стихотворенія далеко бы завлекъ насъ, и потому мы выберемъ одно изъ самыхъ характеристическихъ, а потомъ, въ параллель ему, сдѣлаемъ указанія на основную мысль другихъ, болѣе или менѣе замѣчательныхъ его стихотвореній: черезъ это мы укажемъ на основной мотивъ всѣхъ мелодій его поэзіи, ибо всѣ стихотворенія Жуковскаго не что̀ иное, какъ разныя варіаціи на одинъ и тотъ же мотивъ. Ко всѣмъ имъ идутъ какъ эпиграфъ два послѣдніе стиха, которыми оканчивается пьеса „Тоска по миломъ“:

Любовь, ты погибла; ты, радость, умчалась;
Одна о минувшемъ тоска мнѣ осталась.

„Таинственный посѣтитель“ одно изъ самыхъ характеристическихъ стихотвореній Жуковскаго. Прочтемъ его:

Кто ты, призракъ, гость прекрасный?
Къ намъ откуда прилеталъ?
Безотвѣтно и безгласно
Для чего отъ насъ пропалъ?
Гдѣ ты? Гдѣ твое селенье?
Что̀ съ тобой? Куда исчезъ?
И зачѣмъ твое явленье
Въ поднебесную съ небесъ?
Не *Надежда ль* ты младая,
Приходящая порой
Изъ невѣдомаго края
Подъ волшебной пеленой?
Какъ она, неумолимо
Радость милую на часъ
Показалъ ты, съ нею мимо
Пролетѣлъ и бросилъ насъ.

Не *Любовь* ли намъ собою
Тайно ты изобразилъ?
Дни любви, когда одною
Міръ одной прекрасенъ былъ?
Ахъ! тогда сквозь покрывало
Неземнымъ казался онъ...
Снятъ покровъ; любви не стало;
Жизнь пуста, и счастье — сонъ.
Не волшебница ли *Дума*
Здѣсь въ тебѣ явилась намъ?
Удаленная отъ шума,
И мечтательно къ устамъ
Приложивши перстъ, приходитъ
Къ намъ, какъ ты, она порой,
И въ минувшее уводитъ
Насъ безмолвно за собой.

Иль въ тебѣ сама святая
Здѣсь *Поэзія* была?...
Къ намъ, какъ ты, она изъ рая
Два покрова принесла:
Для небесъ — лазурно ясный,
Чистый, бѣлый — для земли;
Съ ней все близкое прекрасно,
Все знакомо, что вдали.

Иль *Предчувствіе* сходило
Къ намъ во образѣ твоемъ
И понятно говорило
О небесномъ, о святомъ?
Часто въ жизни то бывало:
Кто-то свѣтлый подлетитъ
И подыметъ покрывало
И въ далекое манитъ.

Поняли ль вы, кто такой этотъ „таинственный посѣтитель"? Самъ поэтъ не знаетъ, кто онъ, и думаетъ видѣть въ немъ то надежду, то любовь, то думу, то поэзію, то предчувствіе... Но эта-то неопредѣленность, эта-то туманность и составляетъ главную прелесть, равно какъ и главный недостатокъ поэзіи Жуковскаго. Попытаемся объяснить ее.

Есть въ человѣкѣ чувство безконечнаго; оно составляетъ основу его духа, и стремленіе къ нему есть пружина всякой духовной дѣятельности. Безъ стремленія къ безконечному нѣтъ жизни, нѣтъ развитія, нѣтъ прогресса. Сущность развитія состоитъ въ *стремленіи и достиженіи*. Но когда человѣкъ чего-нибудь достигаетъ, онъ не останавливается на этомъ, не удовлетворяется этимъ вполнѣ; напротивъ, торжество достиженія бываетъ въ его душѣ непродолжительно и скоро побѣждается новымъ стремленіемъ. Отсюда чувство внутренняго недовольства, неудовлетворенія ничѣмъ въ жизни; отсюда тайная тоска. Можно сказать, что человѣкъ бываетъ счастливѣе, пока онъ борется съ препятствіями къ достиженію, нежели когда онъ наслаждается побѣдой борьбы, праздникомъ достиженія. Иначе и быть не можетъ. Чѣмъ глубже натура человѣка, тѣмъ сильнѣе въ немъ стремленіе, и тѣмъ менѣе способенъ онъ къ удовлетворенію.

И неестественнымъ стремленьемъ
Весь міръ въ мою тѣснился грудь;
Картиной, звукомъ, выраженьемъ —
Во все я жизнь хотѣлъ вдохнуть.

И въ нѣжномъ сѣмени сокрытый,
Сколь пышнымъ мнѣ казался свѣтъ...
Но, ахъ, сколь мало въ немъ развито!
И малое — сколь бѣдный цвѣтъ!

говоритъ Шиллеръ. Таково свойство безконечнаго: духъ человѣка въ состояніи охватить его только въ моментальномъ, конечномъ его проявленіи, въ условіяхъ временной послѣдовательности, и потому, достигая *чего-нибудь*, онъ тотчасъ же видитъ, что не достигнулъ *всего*. Тогда онъ отрицаетъ достигнутое имъ *нѣчто*, какъ не выражающее безконечнаго, и думаетъ достигнуть его въ другомъ. Въ этомъ состоитъ сущность жизни, какъ безпрерывнаго развитія, безпрерывнаго движенія впередъ. И когда *это стремленіе* осуществляется въ сферѣ практическаго міра, когда оно есть вѣчное *дѣланіе*, безпрерывное творчество, тогда стремленіе это есть дѣйствительная сила человѣка, тогда для него есть цѣль, и если достиженіе не удовлетворяетъ такого человѣка, тѣмъ не менѣе оно для него — прогрессъ, и новое стремленіе его выше предшествовавшаго, новая цѣль выше достигнутой. Но есть натуры аскетическія, чуждыя историческаго смысла дѣйствительности, чуждыя практическаго міра дѣятельности, живущія въ отвлеченной идеѣ: такія

натуры стремленіе къ безконечному принимаютъ за одно съ безконечнымъ и хотятъ во что̀ бы то ни стало найти свое удовлетвореніе въ одномъ стремленіи. Въ этомъ есть своя сторона истины, и такіе люди, конечно, несравненно выше людей самыхъ практическихъ и дѣятельныхъ, незнакомыхъ съ стремленіемъ, а удовлетворяющихся самыми простыми и положительными цѣлями житейскими. Но тѣмъ не менѣе они—люди односторонніе, ибо пружину дѣйствія принимаютъ за само дѣйствіе и за цѣль дѣйствія: это такая же ошибка, какъ если бъ кто, желая узнать, который часъ, вмѣсто того, чтобъ посмотрѣть на циферблатъ, открылъ внутренность часовъ и началъ смотрѣть на спиральную пружинку.

Итакъ, содержаніе поэзіи Жуковскаго, ея паѳосъ составляетъ стремленіе къ безконечному, принимаемое за само безконечное, движущую силу—за цѣль движенія. Совершенно чуждая исторической почвы, лишенная всякаго практическаго элемента, эта поэзія вѣчно стремится, никогда не достигая, вѣчно спрашиваетъ самое себя, никогда не давая отвѣта:

Иль опять отъ вышины
Вѣсть знакомая несется?
Или снова раздается
Милый голосъ старины?
Или тамъ, куда летитъ
Птичка, странникъ поднебесный,
Все еще сей неизвѣстный
Край *желаннаго* сокрытъ?...
Кто жъ къ невѣдомымъ брегамъ
Путь невѣдомый укажетъ?
Ахъ! найдется, кто мнѣ скажетъ
Очарованное *тамъ?*

Озарися, долъ туманный;
Разступися, мракъ густой;
Гдѣ найду исходъ желанный?
Гдѣ воскресну я душой?
Испещренные цвѣтами,
Красны холмы вижу тамъ...
Ахъ, зачѣмъ я не съ крылами!
Полетѣлъ бы я къ холмамъ.

Вотъ два отрывка изъ двухъ разныхъ стихотвореній: не варіаціи ли это на мотивъ „Таинственнаго посѣтителя“?...

Есть въ жизни человѣка время, когда онъ бываетъ полонъ безотчетнаго стремленія, безотчетной тревоги. И если такой человѣкъ можетъ потомъ сдѣлаться способнымъ къ стремленію дѣйствительному, имѣющему цѣль и результатъ, онъ этимъ будетъ обязанъ тому, что у него было время безотчетнаго стремленія. Такая пора безотчетнаго стремленія и безсознательныхъ порывовъ была у человѣчества: въ этомъ-то и состоитъ сущность романтизма среднихъ вѣковъ. Если въ романтизмѣ современной Европы нѣтъ мрака и много свѣта, такъ это потому, что Европа пережила романтизмъ среднихъ вѣковъ. И если мы въ поэзіи Пушкина найдемъ больше глубокаго, разумнаго и опредѣленнаго содержанія, больше зрѣлости и мужественности мысли, чѣмъ въ поэзіи Жуковскаго,—это потому, что Пушкинъ имѣлъ своимъ предшественникомъ Жуковскаго. Жуковскій своей поэзіей пополнилъ въ русской жизни недостатокъ историческихъ среднихъ вѣковъ, и, благодаря ему, для русскаго общества стала не только доступна, но и родственна и романтическая поэзія среднихъ

вѣковъ и романтическая поэзія начала XIX в. А это съ его стороны великій подвигъ, которому награда — не простое упоминовеніе въ исторіи отечественной литературы, но вѣчное и славное имя изъ рода въ родъ...

Всякій предметъ имѣетъ двѣ стороны, и находить въ немъ не одно хорошее — совсѣмъ не значитъ осуждать его. Романтизмъ среднихъ вѣковъ, разумѣется, не годится для нашего времени: теперь онъ не истина, а ложь; но въ свое время онъ былъ истиной. Былъ и въ исторіи русской литературы и русскаго общества моментъ, когда для нихъ романтизмъ среднихъ вѣковъ былъ необходимымъ элементомъ жизни, живымъ сѣменемъ, которымъ должна была оплодотвориться почва русской поэзіи. Великъ подвигъ того, кто удовлетворилъ этой потребности; но тѣмъ не менѣе мы не должны оставаться при одномъ безотчетномъ удивленіи къ этому подвигу, — должны сознать его въ настоящемъ его значеніи, увидѣть всѣ его стороны. Мало того, чтобъ сказать, что Жуковскій ввелъ романтизмъ въ рускую поэзію, надо показать этотъ романтизмъ въ его настоящемъ видѣ.

Любовь играетъ главную роль въ поэзіи Жуковскаго. Какой же характеръ этой любви? въ чемъ ея сущность? — Сколько мы понимаемъ, это не любовь, а скорѣе потребность, жажда любви, стремленіе къ любви, и потому любовь въ поэзіи Жуковскаго — какое-то неопредѣленное чувство. Это —

Унынія прелесть, волненье надежды,
И радость и трепетъ при встрѣчѣ очей,
Ласкающій голосъ — души восхищенье,
Могущество тихихъ, таинственныхъ словъ,
Присутствія радость, томленье разлуки.

Мы слышимъ въ поэзіи Жуковскаго стоны растерзаннаго сердца, видимъ слезы по несбывшимся сладостнымъ надеждамъ, — и сочувствуемъ этому горю безъ утѣшенія, этой скорби безъ выхода, этому страданію безъ исцѣленія; но не видимъ живого голоса, столь дорогому сердцу поэта: для насъ, это — видѣніе, призракъ...

Мы сдѣлали бы большой недосмотръ, если бъ, говоря о поэзіи Жуковскаго, не обратили вниманія на скорбь и страданіе, какъ на одинъ изъ главнѣйшихъ элементовъ всякой романтической поэзіи, и поэзіи Жуковскаго въ особенности. Посмотрите, какія мечты и образы вѣчно занимаютъ ее! Тамъ „дѣва въ черной власяницѣ“ молится на кладбищѣ передъ образомъ Богоматери и непремѣнно отходитъ въ другой міръ; тутъ... но мы лучше выпишемъ вполнѣ одну изъ самыхъ характеристическихъ пьесъ въ этомъ родѣ:

Дорогой шла дѣвица;
Съ ней другъ ея младой:
Болѣзненны ихъ лица,
Наполненъ взоръ тоской.
Другъ друга лобызаютъ
И въ очи и въ уста —
И снова расцвѣтаютъ
Въ нихъ жизнь и красота.
Минутное веселье!
Двухъ колоколовъ звонъ:
Она проснулась въ *кельѣ;*
Въ *тюрьмѣ* проснулся онъ.

Такое направленіе поэзіи Жуковскаго очень естественно и понятно: такъ какъ она чужда всякаго историческаго созерцанія, всякаго чувства прогресса, всякаго идеала высокой будущности человѣчества, — то міръ подлунный для нея есть міръ скорбей безъ исцѣленія, борьбы безъ надежды и страданія безъ выхода. Поэтому въ поэзіи Жуковскаго вопли сердечныхъ мукъ являются не раздирающими душу диссонансами, но тихой сердечной музыкой, и его поэзія любитъ и голубитъ свое страданіе, какъ свою жизнь и свое вдохновеніе. Жуковскаго можно назвать пѣвцомъ сердечныхъ утратъ, — и кто не знаетъ его превосходной элегіи на „Кончину королевы Вюртембергской" — этого высокаго католическаго реквіема, этого скорбнаго гимна житейскаго страданія и таинства утратъ?... Это въ высшей степени романтическое произведеніе въ духѣ среднихъ вѣковъ. Оно всегда прекрасно; но если вы хотите насладиться имъ вполнѣ и глубоко — прочтите его, когда сердце ваше постигнетъ скорбная утрата... О, тогда въ Жуковскомъ найдете вы себѣ друга, который раздѣлитъ съ вами ваше страданіе и дастъ ему языкъ и слово...

Всѣ сочиненія Жуковскаго можно раздѣлить на три разряда: къ первому относятся мелкія романтическія пьесы и оригинальныя, которыхъ не много, и не столько переведенныя, сколько усвоенныя его музой; потомъ собственно переводы и, наконецъ, оригинальныя произведенія, которыя не могутъ быть названы романтическими.

Къ послѣднимъ принадлежатъ посланія и разныя патріотическія пьесы, писанныя на извѣстные случаи. Это самая слабая сторона поэзіи Жуковскаго; въ ней онъ не вѣренъ своему призванію, и потому холоденъ и исполненъ реторики. Прочтите его „Пѣснь барда надъ гробомъ славянъ-побѣдителей", „На смерть графа Каменскаго", „Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ", „Пѣвца въ Кремлѣ" и проч. — и вы не узнаете Жуковскаго. Несмотря на звучный и крѣпкій стихъ, вы почувствуете себя утомленными и скучающими, читая эти пьесы; вы удивитесь, какъ мало въ нихъ жизни, чувства, движенія, свободы. Жуковскій по натурѣ своей—романтикъ, и ничто такъ не внѣ его таланта и призванія, какъ стихотворенія общественныя, на исторической почвѣ основанныя. „Пѣвцу во станѣ русскихъ воиновъ" Жуковскій обязанъ своей славой: только черезъ эту пьесу узнала вся Россія своего великаго поэта; и это произведеніе было весьма полезно въ свое время. Но что же доказываетъ это? — только, что тогда понимали поэзію иначе, нежели какъ понимаютъ ее теперь (а понимали ее тогда, какъ реторику въ стихахъ). Въ „Пѣвцѣ во станѣ русскихъ воиновъ" нѣтъ даже чувства современной дѣйствительности: въ этой пьесѣ вы не услышите ни одного выстрѣла изъ пушки или изъ ружья, въ ней нѣтъ и признаковъ порохового дыма, — въ ней летаютъ и свистятъ не пули, а стрѣлы, генералы являются воинами не въ киверахъ или въ фуражкахъ, а въ шлемахъ, не въ мундирахъ и шинеляхъ, а въ броняхъ, не со шпагами въ рукахъ, а съ мечами и копьями; къ довершенію этой пародіи на древность, всѣ они —

съ щитами... Все это признакъ реторики, ибо поэзія проста: она не чуждается обыкновенныхъ предметовъ дѣйствительности, не боится сдѣлаться отъ нихъ прозой, но поэтизируетъ самыя прозаическія вещи. И неужели жерла пушекъ, изрыгающія огонь и смерть тысячамъ; неужели дула ружей, посылающія издалека вѣрную смерть; неужели трехгранный штыкъ, стальной стѣной низлагающій сомкнутые ряды, — неужели все это имѣетъ въ себѣ менѣе поэзіи, чѣмъ кольчуги, щиты, стрѣлы и копья древности?.. Напротивъ, послѣдніе — дѣтскія игрушки въ сравненіи съ первыми, блѣдная проза въ сравненіи съ страшной и грандіозной поэзіей. И потомъ, къ чему эти славяне и эти барды славянскіе? Съ Наполеономъ дрались совсѣмъ не славяне, а русскіе! Скажутъ: но развѣ русскіе не славянскаго племени народъ? — Положимъ, что и такъ; но развѣ всѣ народы Западной Европы не тевтонскаго племени: а кто скажетъ, что русскіе дрались подъ Бородинымъ съ тевтонами, на томъ основаніи, что Галлія нѣкогда была завоевана франками, а франки были народъ тевтонскаго племени? И потомъ, какіе барды были у славянъ? Да сверхъ того бардъ Жуковскаго очень похожъ на скандинавскаго скальда. Вообще ничего не чужда до такой степени поэзія Жуковскаго, какъ русскихъ національныхъ элементовъ. Можетъ-быть, это недостатокъ, но въ то же время и достоинство: если бъ національность составляла основную стихію поэзіи Жуковскаго, — онъ не могъ бы быть романтикомъ, и русская поэзія не была бы оплодотворена романтическими элементами. Поэтому всѣ усилія Жуковскаго быть народнымъ поэтомъ возбуждаютъ грустное чувство, какъ зрѣлище великаго таланта, который, вопреки своему призванію, стремится итти по чуждому ему пути.

Лучшія мѣста въ нѣкоторыхъ патріотическихъ пьесахъ Жуковскаго — тѣ, въ которыхъ онъ является вѣрнымъ своему романтическому элементу. Таково, напримѣръ, въ „Пѣвцѣ во станѣ русскихъ воиновъ“:

Любви сей полный кубокъ въ даръ.
  Среди борьбы кровавой,
Друзья, святой питайте жаръ:
  Любовь одно со славой.
Кому здѣсь жребій удѣленъ
  Знать тайну страсти милой,
Кто сердцу сердцемъ обреченъ,
  Тотъ смѣло, съ бодрой силой
На все великое летитъ;
  Нѣтъ страха, нѣтъ преграды;
Чего, чего не совершитъ
  Для сладостной награды?
Ахъ, мысль о той, кто все для насъ,
  Намъ спутникъ неизмѣнный:
Вездѣ знакомый слышимъ гласъ,
  Зримъ образъ незабвенный;
Она на бранныхъ знаменахъ,
  Она въ пылу сраженья;
  въ шумѣ стана и въ мечтахъ
  Веселыхъ сновидѣнья.
Отвѣдай врагъ исторгнуть щитъ,
  Рукою данный милой;
Святой обѣтъ на немъ горитъ:
  Твоя и за могилой!
О, сладость тайныя мечты!
  Тамъ, тамъ за синей далью,
Твой ангелъ, дѣва красоты,
  Одна съ своей печалью
Груститъ, о другѣ слезы льетъ;
  Душа ея въ молитвѣ,
Боится вѣсти, вѣсти ждетъ:
  „Увы! не палъ ли въ битвѣ?“
И мыслитъ: „Скороль ль, дружній *гласъ*,
  Твои мнѣ слушать звуки?
Лети, лети свиданья часъ,
  Смѣнить тоску разлуки“.
Друзья! блаженнѣйшая часть
  Любезнымъ быть спасеньемъ,

Когда жъ предѣлъ нашъ въ битвѣ пасть —
Погибнемъ съ наслажденьемъ;
Святое имя призовемъ
Въ минуту смертной муки;
Кѣмъ мы дышали въ мірѣ семъ,
Съ тей нѣтъ и тамъ разлуки;
Туда душа перенесетъ
Любовь и образъ милой...
О, други, смерть не все возьметъ;
Есть жизнь и за могилой.

Слѣдующее мѣсто есть не что̀ иное, какъ profession de foi рыцарства среднихъ вѣковъ, какъ будто выраженное огненнымъ словомъ Шиллера:

А мы?... Довѣренность Творцу!
Что бъ ни было, незримый
Ведетъ насъ къ лучшему концу
Стезей непостижимой.
Ему, друзья, отважно въ слѣдъ!
Прочь низкое! прочь злоба!
Духъ бодрый на дорогѣ бѣдъ,
До самой двери гроба;
Въ высокой долѣ — простота,
Нежадность въ наслажденьи,
Въ союзѣ съ равнымъ — правота,
Въ могуществѣ смиренье;
Обѣтамъ — вѣрность; чести — честь;
Покорность — правой власти;
Для дружбы все, что въ мірѣ есть;
Любви — весь пламень страсти;
Утѣха — скорби; просьбѣ — дань;
Погибели — спасенье;
Могущему пороку — брань,
Безсильному — презрѣнье;
Неправдѣ — грозный правды гласъ;
Заслугѣ — воздаянье;
Спокойствіе — въ послѣдній часъ;
При гробѣ — упованье.

Посланія — странный родъ, бывшій въ большомъ употребленіи въ русской поэзіи до Пушкина. Они всегда были длинны и скучны, и почти всегда писались шестистопными ямбами: вотъ главная характеристическая черта ихъ. Посланія Жуковскаго отличаются отъ другихъ хорошими стихами и не чужды прекрасныхъ мѣстъ въ романтическомъ духѣ. Таковы, напримѣръ, слѣдующіе стихи изъ посланія къ Филалету:

Скажу ль? мнѣ ужасовъ могила не являетъ;
И сердце съ горестнымъ желаньемъ ожидаетъ,
Чтобъ Промысла рука обратно то взяла,
Чѣмъ я безрадостно въ семъ мірѣ бременился,
Ту жизнь, въ которой я столь мало насладился,
Которую давно надежда не златитъ.
Къ младенчеству ль душа прискорбная летитъ,
Считаю ль радости минувшаго — какъ мало!
Нѣтъ, счастье къ бытію меня не пріучало;
Мой юношескій цвѣтъ безъ запаха отцвѣлъ.
Едва въ душѣ моей для дружбы я созрѣлъ —
И что же! предо мной увядшаго могила;
Душа, не воспылавъ, свой пламень угасила,
Любовь... но я въ любви нашелъ одну мечту,
Безумца тяжкій сонъ, тоску безъ раздѣленья
И невозвратное надеждъ уничтоженье.

Эти прекрасные стихи вдвойнѣ замѣчательны: они исполнены глубокаго чувства; въ нихъ слышится вопль души, — и они доказываютъ фактически, что не Пушкинъ, а Жуковскій первый на Руси выговорилъ элегическимъ языкомъ жалобы человѣка на жизнь. Иначе и быть не могло. Жуковскій былъ первымъ поэтомъ на Руси, котораго поэзія вышла изъ жизни. До Жуковскаго на Руси никто и не подозрѣвалъ, чтобъ жизнь человѣка могла быть въ тѣсной

связи съ его поэзіей, и чтобъ произведенія поэта могли быть вмѣстѣ и лучшей его біографіей. Тогда люди жили весело, потому что жили внѣшней жизнью и въ себя не заглядывали глубоко.

Пой, пляши, кружись, Параша!
Руки въ боки подпирай!

восклицалъ Державинъ.

Прочь отъ насъ Катонъ, Сенека,
Прочь, угрюмый Эпиктетъ!
Безъ утѣхъ для человѣка
Пусть, несносенъ былъ бы свѣтъ!

восклицалъ Дмитріевъ. Эти пѣвцы и тогда умѣли плакать, но не умѣли скорбѣть. Жуковскій, какъ поэтъ, по преимуществу, романтическій, былъ на Руси первымъ пѣвцомъ скорби. Его поэзія была куплена имъ цѣной тяжкихъ утратъ и горькихъ страданій; онъ нашелъ ее не въ иллюминаціяхъ, не въ газетныхъ реляціяхъ, а на днѣ своего растерзаннаго сердца, въ глубинѣ своей груди, истомленной тайными муками...

Въ посланіи къ Тургеневу мы встрѣчаемъ столь же поразительное мѣсто, какъ и то, которое сейчасъ выписали изъ посланія къ Филалету:

. . . И мы въ сей край незримый
Летимъ душой за милыми во слѣдъ;
Но къ намъ отъ нихъ желанной вѣсти нѣтъ;
Лишь тайное живетъ въ насъ ожиданье...
Когда жъ, когда?.. Другъ милый, упованье!
Гробами ихъ рубежъ означенъ тотъ,
На коемъ насъ свободы геній ждетъ
Съ спокойствіемъ, безчувствіемъ, забвеньемъ.
Пришедъ туда, о другъ, съ какимъ презрѣньемъ
Мы бросимъ взоръ на жизнь, на гнусный свѣтъ,
Гдѣ милому одинъ минувшій цвѣтъ,
Гдѣ доброму слѣдовъ ко счастью нѣтъ,
Гдѣ мнѣніе надъ совѣстью властитель,
Гдѣ все, мой другъ, иль жертва, иль губитель!...
Дай руку, братъ! какъ знать, куда нашъ путь
Насъ приведетъ и скоро ль онъ свершится,
И что еще во мглѣ судьбы таится.—
Но дружба намъ звѣздой отрады будь;
О прочемъ здѣсь останемся безпечны;
Намъ счастья нѣтъ: зато и мы не вѣчны.

Въ посланіяхъ Жуковскаго, вообще длинныхъ и прозаическихъ, встрѣчаются, кромѣ прекрасныхъ романтическихъ мѣстъ, и высокія мысли безъ всякаго отношенія къ романтизму. Такъ, напр., въ посланіи 121-мъ встрѣчаемъ слѣдующіе стихи:

Такъ! и на бѣдствія земныя положилъ
Онъ свѣтлозарную печать благотворенья!
Ниспосылаемый имъ ангелъ разрушенья
Взрываетъ, какъ бразды, земныя племена,

Въ нихъ жизни свѣжія бросаетъ сѣмена,
И, обновленныя, пышнѣе расцвѣтаютъ!
Какъ бури въ зной поля, бѣды ихъ возрождаютъ!

Въ слѣдующемъ за тѣмъ посланіи встрѣчаемъ эти высокіе пророческіе стихи, въ которыхъ слышится голосъ умиленной Россіи:

Тебѣ его младенческія лѣта.
Отъ ихъ пеленъ ко входу съ бури свѣта
Пускай тебѣ во слѣдъ онъ перейдетъ
Съ душой, на все прекрасное готовой;
Наставленный: достойнымъ счастья быть,
Великое съ величіемъ сносить,
Не трепетать, встрѣчая рокъ суровый,
И быть въ дѣлахъ временъ своихъ красой.
Лѣта пройдутъ, подвижникъ молодой,
Откинувши младенчества забавы,
Онъ полетитъ въ путь опыта и славы...
Да встрѣтитъ онъ обильный честью вѣкъ!
Да славнаго участникъ славный будетъ!
Да на чредѣ высокой не забудетъ
Святѣйшаго изъ званій: *человѣкъ!*
Жить для вѣковъ въ величіи народномъ,
Для блага *всѣхъ — свое* позабывать,
Лишь въ голосѣ отечества свободномъ
Съ смиреніемъ дѣла свои читать:
Вотъ правила царей великихъ внуку.
Съ тобой ему начать сію науку.

Изъ оригинальныхъ стихотвореній Жуковскаго особенно замѣчательны „Теонъ и Эсхинъ“ и баллада „Узникъ“, если только они — его оригинальныя стихотворенія (въ Смирдинскомъ изданіи „Сочиненій Жуковскаго“ только при немногихъ переводныхъ пьесахъ означены имена авторовъ). Это самыя романтическія произведенія, какія только выходили изъ-подъ пера Жуковскаго. Эсхинъ долго бродилъ по свѣту за счастьемъ — оно убѣгало его.

И роскошь, и слава, и Вакхъ, и Эротъ —
Лишь сердце они изнурили;
Цвѣтъ жизни былъ сорванъ; увяла душа:
Въ ней скука смѣнила надежду.

Возвращаясь на родину, Эсхинъ видитъ —

Все тѣ жъ берега, и поля, и холмы,
И то же прекрасное небо;
Но гдѣ жъ озарившая нѣкогда ихъ
Волшебнымъ сіяньемъ Надежда?

И приходитъ онъ къ другу своему, Теону: тотъ сидѣлъ въ раздумьѣ на порогѣ своей хижины, въ виду гроба изъ бѣлаго мрамора; друзья обнялись; лицо Эсхина скорбно и мрачно, взоръ Теона скорбенъ, но ясенъ. Эсхинъ говоритъ объ обманывающей сердце мечтѣ, о счастьи, и спрашиваетъ друга — не та же ли участь постигла и его?

Теонъ указалъ, воздыхая, на гробъ...
„Эсхинъ, вотъ безмолвный свидѣтель,

Что боги для счастья послали намъ жизнь, —
  Но съ нею печаль неразлучна.
О, нѣтъ, не ропщу на Зевесовъ законъ;
  И жизнь, и вселенна прекрасны,
Не въ радостяхъ быстрыхъ, не въ сложныхъ мечтахъ
  Я видѣлъ земное блаженство.
Что̀ можетъ разрушить въ минуту судьба;
  Эсхинъ, то на свѣтѣ не наше;
Но сердца нетлѣнныя блага: любовь
  И сладость возвышенныхъ мыслей —
Вотъ счастье; о, другъ мой, оно не мечта.
  Эсхинъ, я любилъ и былъ счастливъ;
Любовью моя освѣтилась душа,
  И жизнь въ красотѣ мнѣ предстала.
При блескѣ возвышенныхъ мыслей я зрѣлъ
  Яснѣе великость творенья:
Я вѣрилъ, что путь мой лежитъ по землѣ
  Къ прекрасной возвышенной цѣли.
Увы! я любилъ... и ея уже нѣтъ!
  Но счастье, вдвоемъ столь живое,
Навѣки ль исчезло? И прежніе дни
  Вотще ли столь были прелестны?
О, нѣтъ: никогда не погибнетъ ихъ слѣдъ;
  Для сердца прошедшее вѣчно;
Страданье въ разлукѣ есть та же любовь;
  Надъ сердцемъ утрата безсильна.
И скорбь о прошедшемъ не есть ли, Эсхинъ,
  Обѣтъ неизмѣнной надежды:
Что гдѣ-то, въ знакомой, но тайной странѣ,
  Погибшее намъ возвратится;
Кто разъ полюбилъ, тотъ на свѣтѣ, мой другъ,
  Уже одинокимъ не будетъ...
Ахъ, свѣтъ, гдѣ она предо мною цвѣла —
  Онъ тотъ же: все *ею* онъ полонъ.
По той же дорогѣ стремлюся одинъ,
  И къ той же возвышенной цѣли,
Къ которой такъ бодро стремился вдвоемъ, —
  Сихъ узъ не разрушитъ могила.
Сей мыслью высокой украшена жизнь;
  Я взоромъ смотрю благодарнымъ
На землю, гдѣ столько разсыпано благъ,
  На полное славы творенье.
Спокойно смотрю я съ земли рубежа
  На стороны лучшія жизни;
Сей сладкой надеждою міръ озаренъ,
  Какъ небо сіяньемъ авроры.
Съ сей сладкой надеждой я выше судьбы,
  И жизнь мнѣ земная священна;
При мысли великой, что *я человѣкъ*,
  Всегда возвышаюсь душою.
А этотъ безмолвный, таинственный гробъ...
  О, другъ мой, онъ вѣрный свидѣтель,
Что лучшее въ жизни еще впереди,
  Что *вѣрно* желанное будетъ;
Сей гробъ — затворенная къ счастію дверь

Отворится... жду и надѣюсь!
За нимъ ожидаетъ сопутникъ меня,
На мигъ мнѣ явившійся въ жизни.
О, другъ мой, искавъ измѣняющихъ благъ,
Искавъ наслажденій минутныхъ,
Ты вѣрныя блага утратилъ свои —
Ты жизнь презирать научился.
Съ симъ гибельнымъ чувствомъ ужасенъ и свѣтъ;
Дай руку: близъ вѣрнаго друга,
Съ природой и жизнью опять примирись;
О, вѣрь мнѣ, прекрасна вселенна!
Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ,
Все въ жизни — къ великому средство:
И горесть, и радость — все къ цѣли одной:
Хвала Жизнедавцу-Зевесу.

На это стихотвореніе можно смотрѣть, какъ на программу всей поэзіи Жуковскаго, какъ на положеніе основныхъ принциповъ ея содержанія. Всѣ блага жизни невѣрны: стало-быть, благо внутри насъ; здѣсь все проходитъ и измѣняетъ намъ: стало-быть, неизмѣнное впереди насъ. Прекрасно! Но неужели же изъ этого слѣдуетъ, чтобъ мы *здѣсь* сидѣли сложа руки, ничего не дѣлая, питаясь высокими мыслями и благородными чувствованіями?... Это односторонность, нравственный аскетизмъ, крайность и заблужденіе ультра-романтизма... Какимъ образомъ человѣкъ можетъ итти „къ прекрасной, возвышенной цѣли“, стоя на одномъ мѣстѣ и бесѣдуя съ самимъ собой о лучшей жизни на порогѣ своей хижины, въ виду мраморнаго гроба?... И неужели эта „прекрасная, возвышенная цѣль“ есть только лучшее счастье человѣка, а личное счастье человѣка только въ любви къ женщинѣ?... О, если такъ, то, по закону совпаденія крайностей, эта любовь есть величайшій эгоизмъ!... Смерть — дѣло слѣпого случая — похитила у насъ ту, которой обязаны были мы нашимъ земнымъ счастьемъ: не будемъ приходить въ отчаяніе — да и для чего? Вѣдь это только временная разлука, вѣдь скоро мы опять женимся на ней — *тамъ;* сядемъ же на порогѣ нашей хижины, сложимъ руки и, не сводя глазъ съ ея гроба, будемъ восхищаться „полнымъ славы твореніемъ, красотой вселенной и будемъ утѣшать себя мыслію, что все дано намъ небомъ съ бытіемъ, и все въ жизни — средство къ великому, и что горе и радость — все къ одной цѣли!“ Нѣтъ, и еще разъ — нѣтъ! Только въ половину истинна такая аскетическая философія! Законно и правильно требованіе человѣка на личное счастье; разумно и естественно его стремленіе къ личному счастью; но въ одномъ ли сердцѣ долженъ заключаться весь міръ его счастья? Вотъ вопросъ, на который не даетъ намъ рѣшенія поэзія Жуковскаго. Если бъ вся цѣль нашей жизни состояла только въ нашемъ личномъ счастіи, а наше личное счастье заключалось бы только въ одной любви: тогда жизнь была бы дѣйствительно мрачной пустыней, заваленной гробами и разбитыми сердцами, была бы адомъ, передъ страшной существенностью котораго поблѣднѣли бы поэтическіе образы земного ада, начертанные

геніемъ суроваго Данте... Но — хвала Вѣчному Разуму, хвала попечительному Промыслу! есть для человѣка и еще великій міръ жизни, кромѣ внутренняго міра сердца, — міръ историческаго созерцанія и общественной дѣятельности, — тотъ великій міръ, гдѣ мысль становится дѣломъ, а высокое чувствованіе — подвигомъ, и гдѣ два противоположные берега жизни — *здѣсь* и *тамъ* — сливаются въ одно реальное небо историческаго прогресса, историческаго безсмертія... Это міръ непрерывной работы, нескончаемаго дѣланія и становленія, міръ вѣчной борьбы будущаго съ прошедшимъ, — и надъ этимъ міромъ носится Духъ Божій, оглашающій хаосъ и мракъ своимъ творческимъ и мощнымъ глаголомъ: — „да будетъ!“ и вызывающій имъ свѣтлое торжество настоящаго — радостные дни новаго тысячелѣтняго царства Божія на землѣ... И благо тому, кто не празднымъ зрителемъ смотрѣлъ на этотъ океанъ шумно несущейся жизни, кто видѣлъ въ немъ не одни обломки кораблей, яростно вздымающіяся волны да мрачную, лишь молніями освѣщенную ночь, кто слышалъ въ немъ не одни вопли отчаянія и крики гибели, но кто не терялъ при этомъ изъ вида и путеводной звѣзды, указывающей на цѣль борьбы и стремленія, кто не былъ глухъ къ голосу свыше: „борись и погибай, если надо: блаженство впереди тебя, и если не ты—братья твои насладятся имъ и восхвалятъ вѣчнаго Бога силъ и правды!“. Благо тому, кто, не довольствуясь настоящей дѣйствительностью, носилъ въ душѣ своей идеалъ лучшаго существованія, жилъ и дышалъ одной мыслью — споспѣшествовать, по мѣрѣ данныхъ ему природой средствъ, осуществленію на землѣ идеала, — рано поутру выходилъ на общую работу и съ мечомъ, и съ словомъ, и съ заступомъ, и съ метлой, смотря по тому, что̀ было ему по силамъ, и кто являлся къ своимъ братіямъ не на одни пиры веселія, но и на плачъ и сѣтованія... Благо тому, кто, падая въ борьбѣ за свѣтлое дѣло совершенствованія, съ упованіемъ страстнаго блаженства погружался въ успокоительное лоно силы, вызывавшей его на дѣло жизни, и восклицалъ въ священномъ восторгѣ: „все Тебѣ и для Тебя, а моя высшая награда — да святится имя Твое и да пріидетъ царствіе Твое!...“

Обаятельна жизнь сердца; но безъ практической дѣятельности, источникъ которой заключался бы въ паѳосѣ къ идеѣ, самый богато надѣленный дарами природы человѣкъ рискуетъ скоро изжить всю жизнь и остаться при одной пустотѣ мечтательныхъ ожиданій и дѣйствительнаго отвращенія къ чувству бытія. Романтизмъ, безъ живой связи и отношенія къ другимъ сторонамъ жизни, есть величайшая односторонность!

„Сказка о царѣ Берендеѣ, о сынѣ его Иванѣ-царевичѣ, о хитростяхъ Кощея-безсмертнаго и о премудростяхъ Марьи-царевны, кощеевой дочери“ и „Сказка о спящей царевнѣ“ были весьма неудачными попытками Жуковскаго на русскую народность. О нихъ никакимъ образомъ нельзя сказать:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ.

Вообще быть народнымъ — значило бы для Жуковскаго отказаться отъ романтизма,—а это для него было бы все равно, что отказаться отъ своей натуры, отъ своего духа, словомъ — отъ самого себя. Въ „Громобоѣ“ Жуковскій тоже хотѣлъ быть народнымъ, но, наперекоръ его волѣ, эта русская сказка у него обратилась какъ-то въ нѣмецкую — что̀-то въ родѣ католической легенды среднихъ вѣковъ. Лучшія мѣста въ ней — романтическія.

Содержаніе „Ундины“ взято Жуковскимъ изъ сказки Ламота Фукэ; но въ стихахъ Жуковскаго обыкновенная сказка явилась прекраснымъ поэтическомъ созданіемъ. „Ундина“ — одно изъ самыхъ романтическихъ его произведеній. Основная мысль ея — олицетвореніе стихійной силы природы. Ундина — дочь воды, внучка стараго Потока. Нельзя довольно надивиться, какъ искусно нашъ поэтъ умѣлъ слить фантастическій міръ съ дѣйствительнымъ міромъ, и сколько заповѣдныхъ тайнъ сердца умѣлъ онъ разоблачить и высказать въ такомъ сказочномъ произведеніи. Въ особенную заслугу Жуковскому здравый эстетическій вкусъ долженъ поставить переводъ балладъ Шиллера: „Рыцарь Тогенбургъ“, „Ивиковы журавли“, „Кассандра“, „Графъ Габсбургскій“, „Поликратовъ перстень“, „Кубокъ“, и пьесы Шиллера же — „Горная дорога“; все это переведено превосходно. Но если что̀ составляетъ истинный ореолъ Жуковскаго, какъ переводчика, это — его переводъ слѣдующихъ трехъ пьесъ Шиллера: „Торжество побѣдителей“, „Жалоба Цереры“ и „Элевзинскій праздникъ“. Если бъ, кромѣ этихъ пьесъ, Жуковскій ничего не перевелъ, ничего не написалъ, — и тогда имя его не было бы забыто въ исторіи русской литературы.

„Торжество побѣдителей“ есть одно изъ величайшихъ и благороднѣйшихъ созданій Шиллера. Въ немъ геній этого поэта является съ лучшей своей стороны. Великая душа Шиллера горячо сочувствовала всему великому и возвышенному, и это сочувствіе ея было воспитано и развито на исторической почвѣ. Глубоко проникъ этотъ великій духъ въ тайну жизни древней Эллады, и много высокихъ вдохновеній пробудила въ немъ эта дивная страна. Онъ такъ краснорѣчиво оплакалъ паденіе ея боговъ, онъ съ такой страстью говорилъ объ ея искусствѣ, ея гражданской доблести, ея мудрости.

„Жалоба Цереры“ — тоже одно изъ величайшихъ созданій Шиллера — передана по-русски Жуковскимъ съ такимъ же изумительнымъ совершенствомъ, какъ и „Торжество побѣдителей“. Въ этой пьесѣ Шиллеръ воспроизвелъ романтическій образъ элевзинской Цереры — нѣжной и скорбящей матери, оплакивающей утрату дочери своей, Прозерпины, похищенной мрачнымъ владыкой подземнаго царства суровымъ Аидомъ:

Сколь завидна мнѣ, печальной,
Участь смертныхъ матерей!
Легкій пламень погребальный
Возвращаетъ имъ дѣтей;
А для насъ, боговъ нетлѣнныхъ,
Что̀ усладою утратъ?
Насъ, безрадостно блаженныхъ,
Парки строгія щадятъ...
Парки, парки, поспѣшите
Съ неба въ адъ меня послать;
Правъ богини не щадите:
Вы обрадуете мать.

Въ поэтическомъ образѣ брошеннаго въ землю зерна, котораго корень ищетъ ночной тьмы и питается стиксовой струей, а листъ выходитъ въ область неба и живетъ лучами Аполлона — въ этомъ дивно поэтическомъ образѣ Шиллеръ выразилъ глубокую идею связи романтическаго міра сердца и чувства съ міромъ сознанія и разума, и сдѣлалъ самый поэтическій намекъ на скорбь и утѣшеніе божественной матери: этотъ корень, ищущій ночной тьмы и питающійся стиксовой водой, и этотъ листъ, радостно рвущійся на свѣтъ и подымающійся къ небу, —

Ими таинственно слита
Область тьмы съ страною дня,
И приходятъ отъ Коцита
Милой вѣстью для меня;
И ко мнѣ въ живомъ дыханьѣ
Молодыхъ цвѣтовъ весны
Подымается признанье,
Гласъ родной изъ глубины;
Онъ разлуку услаждаетъ,
Онъ душѣ моей твердитъ,
Что любовь не умираетъ
И въ отшедшихъ за Коцитъ.

Сколько скорбной и умилительной любви въ этомъ обращеніи романтической богини къ любимымъ чадамъ ея материнскаго сердца — къ цвѣтамъ:

О, привѣтствую васъ, чада
Расцвѣтающихъ полей!
Вы тоски моей услада,
Образъ дочери моей!
Васъ налью благоуханьемъ,
Напою живой росой
И съ авроринымъ сіяньемъ
Поравняю красотой;
Пусть весной природы младость,
Пусть осенній мракъ полей
И мою вѣщаетъ радость
И печаль души моей!

Въ „Элевзинскомъ праздникѣ“ Шиллера есть опять поэтическая апоѳеоза Цереры; но здѣсь эта богиня представлена уже съ другой ея стороны. Въ „Жалобѣ Цереры“ эта богиня является представительницей греческаго романтизма; въ „Элевзинскомъ праздникѣ“ она является божествомъ благотворно дѣятельнымъ — очеловѣчиваетъ и одухотворяетъ подобныхъ троглодитамъ людей, научая ихъ земледѣлію, соединяетъ ихъ въ общества, даетъ имъ боговъ и храмы, низводитъ къ нимъ ремесла и искусства и посѣваетъ между ними сѣмена гражданственности. Эта превосходная поэма Шиллера превосходно переведена Жуковскимъ.

Мы бы опустили одну изъ самыхъ характеристическихъ чертъ поэзіи Жуковскаго, если бъ не помянули о дивномъ искусствѣ этого поэта живописать картины природы и влагать въ нихъ романтическую жизнь. Утро ли, полдень ли, вечеръ ли, ночь ли, вёдро ли, буря ли, или пейзажъ, — все это дышитъ въ яркихъ картинахъ Жуковскаго какой-то таинственной, исполненной чудныхъ силъ жизнью... Примѣры лучше всего объяснятъ нашу мысль касательно этого предмета:

Стоялъ среди цвѣтущія равнины
Старинный Ирлингфоръ,
И пышныя съ высотъ его картины
Повсюду видѣлъ взоръ.
Авонъ, шумя подъ древними стѣнами,
Ихъ пѣной орошалъ,
И низкій брегъ съ лѣсистыми холмами
Въ струяхъ его дрожалъ.
Тамъ пламенѣлъ бреговъ на тихомъ склонѣ

Закатъ сквозь рѣдкій лѣсъ;
И трепеталъ во дремлющемъ Авонѣ
Съ звѣздами сводъ небесъ.
Вдали, вблизи разсыпанныя села
Дымились по утрамъ,
Отъ рѣзвыхъ стадъ долина вся шумѣла,
И вторилъ лѣсъ рогамъ.
Спѣшилъ съ пути прохожій совратяся
На Ирлингфоръ взглянуть,
И, красотой его плѣняся,
Онъ забывалъ свой путь.

(„Варвикъ".)

Владыка Морвены,
Жилъ въ дѣдовскомъ замкѣ могучій Ордалъ.
Надъ озеромъ стѣны
Зубчатыя замокъ съ холма возвышалъ.
Прибрежны дубравы
Склонились къ водамъ,
И стлался кудрявый
Кустарникъ по злачнымъ окрестнымъ холмамъ.
Спокойствіе сѣней
Дубравныхъ тамъ часто лай псовъ нарушалъ;
Рогатыхъ оленей
И вепрей и ланей могучій Ордалъ
Съ отважными псами
Гонялъ по холмамъ;
И долы съ холмами,
Шумя, отвѣчали зовущимъ рогамъ.
. . . . . .
На темные своды
Багрянымъ щитомъ покатилась луна,
И озера воды
Струистымъ сіяньемъ покрыла она;
Отъ замка, отъ сѣней
Дубравъ по брегамъ
Огромные тѣней
Легли великаны по гладкимъ водамъ.
. . . . . .
Прохладно дышитъ
Тамъ вѣтеръ вечерній и въ листьяхъ шумитъ,
И вѣтки колышетъ,
И арфу лобзаетъ... но арфа молчитъ.
Творенія радость,
Настала весна —
И въ свѣжую младость,
Красу и веселье земля убрана.
И яркимъ сіяньемъ
Холмы осыпалъ вечерѣющій день;
На землю съ молчаньемъ
Сходила ночная росистая тѣнь;
Ужъ синіе своды
Блистали въ звѣздахъ;
Сравнялися воды,
И вѣтеръ улегся на спящихъ листахъ.

(„Эолова Арфа".)

И вотъ... насталъ послѣдній день;
Ужъ солнце за горою;
И стелется вечерня тѣнь
Прозрачной пеленою;
Ужъ сумракъ... смерклось... вотъ луна
Блеснула изъ-за тучи;
Легла на горы тишина,
Утихъ и лѣсъ дремучій;
Рѣка сравнялась въ берегахъ,
Зажглись свѣтила ночи;
И сонъ глубокій на поляхъ;
И близокъ часъ полночи...
. . . . . .
И все въ ужасной тишинѣ;
Окрестность, какъ могила;
Вотъ... каркнулъ воронъ на стѣнѣ;
Вотъ... стая псовъ завыла;
И вдругъ... протяжно полночь бьетъ:
Нашли на небо тучи;
Рѣка надулась; боръ реветъ,
И мчится прахъ летучій...
Напрасно вѣетъ вѣтерокъ
Съ душистыя долины;
И свѣтъ луны сребритъ потокъ
Сквозь темны липъ вершины;
И ласточка зари восходъ
Встрѣчаетъ щебетаньемъ;
И роща въ тѣнь свою зоветъ
Листочковъ трепетаньемъ;
И шумъ бѣгущихъ съ поля стадъ
Съ пастушьими рогами
Вечерній мракъ животворятъ,
Теряясь за холмами...

Увы! ужъ и послѣдній день
Край неба озлащаетъ;
Сквозь темную дубравы сѣнь
Блистанье проникаетъ;
Все тихо, весело, свѣтло;
Все нѣгой сладкой дышитъ;
Рѣка прозрачна, какъ стекло;
Едва, едва колышетъ
Листами легкій вѣтерокъ;
Въ поляхъ благоуханье;
Къ цвѣтку прилипнулъ мотылекъ
И пьетъ его дыханье...
(„Громобой".)

И воцарилась всюду тишина;
Все спитъ... лишь изрѣдка въ далекой мглѣ промчится
Невнятный гласъ... или колыхнется волна...
Иль сонный листъ зашевелится.
Я на брегу одинъ... окрестность вся молчитъ...
Какъ привидѣніе, въ туманѣ предо мною
Семья младыхъ березъ недвижимо стоитъ
Надъ усыпленною водою.
Вхожу съ волненіемъ подъ ихъ священный кровъ;
Мой слухъ въ сей тишинѣ привѣтный голосъ слышитъ:
Какъ бы эѳирное тамъ вѣетъ межъ листовъ,
Какъ бы невидимое дышитъ;
Какъ бы сокрытая подъ юныхъ древъ корой,
Съ сей очарованной мѣшаясь тишиною,
Душа незримая подъемлетъ голосъ свой
Съ моей бесѣдовать душою.
И нѣкто урнѣ сей безмолвный присѣдитъ:
И, мнится, на меня вперилъ онъ томны очи;
Безъ образа лицо, и зракъ туманный слитъ
Съ туманнымъ мракомъ полуночи.
Смотрю... и, мнится, все, что̀ было жертвой лѣтъ,
Опять въ видѣніи прекрасномъ воскресаетъ;
И все, что̀ жизнь сулитъ, и все, чего въ ней нѣтъ,
Съ надеждой къ сердцу прилетаетъ...
(„Славянка".)

Этихъ примѣровъ слишкомъ достаточно, чтобъ показать, что изображаемая Жуковскимъ природа — романтическая природа, дышащая таинственной жизнью души и сердца, исполненная высшаго смысла и значенія.

Стихъ Жуковскаго неизмѣримо выше стиха всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ: онъ исполненъ мелодіи и вмѣстѣ съ тѣмъ какой-то сжатой крѣпости и энергіи. Такого стиха требовали содержаніе и духъ поэзіи Жуковскаго. И, несмотря на то, еще многаго недоставало этому стиху: онъ еще далеко не совсѣмъ свободенъ, не совсѣмъ глубокъ. Содержаніе поэзіи Жуковскаго было такъ односторонне, что стихъ его не могъ отразить въ себѣ всѣ свойства и все богатство русскаго языка.

Кромѣ односторонности содержанія поэзіи Жуковскаго, не должно еще забывать, что поэтическая дѣятельность его двойственна: въ одной онъ является, какъ романтикъ, самобытенъ и оригиналенъ; въ другой — подъ вліяніемъ предшествовавшихъ ему поэтовъ и особенно подъ вліяніемъ идей Карамзина. Правда, онъ и въ патріотическія стихотворенія

и въ посланія внесъ что-то свое, ему собственно, какъ романтику, принадлежащее; но стихъ въ этихъ пьесахъ все-таки отзывается болѣе или менѣе фактурой старыхъ мастеровъ нашей поэзіи. Къ общимъ недостаткамъ поэзіи Жуковскаго принадлежитъ часто невыдержанность въ цѣломъ: рѣдкая пьеса его не теряетъ многаго изъ своего достоинства отсутствіемъ сжатости и всего лишняго. Превосходная элегія „На смерть королевы Вюртембергской“ можетъ служить образцомъ этого недостатка: въ ней есть лишніе куплеты, замедляющіе безъ нужды развитіе главной мысли и своей растянутой прозаичностью ослабляющіе впечатлѣніе цѣлаго.

Неизмѣримъ подвигъ Жуковскаго и велико значеніе его въ русской литературѣ! Его романтическая муза была для дикой степи русской поэзіи элевзинской богиней Церерой: она дала русской поэзіи душу и сердце, познакомивъ ее съ таинствомъ страданія, утратъ, мистическихъ откровеній и полнаго тревоги стремленія „въ оный таинственный свѣтъ“, которому нѣтъ имени, нѣтъ мѣста, но въ которомъ юная душа чувствуетъ свою родную, завѣтную сторону. Есть пора въ жизни человѣка, когда грудь его полна тревоги и волнуется тоскливымъ порываніемъ безъ цѣли, когда горячія желанія съ быстротой смѣняютъ одно другое, и сердце, желая многаго, не хочетъ ничего; когда опредѣленность убиваетъ мечту, удовлетвореніе подсѣкаетъ крылья желанію, когда человѣкъ любитъ весь міръ, стремится ко всему и не въ состояніи остановиться ни на чемъ; когда сердце человѣка порывисто бьется любовью къ идеалу и гордымъ презрѣніемъ къ дѣйствительности, и юная душа, расправляя мощныя крылья, радостно взвивается къ свѣтлому небу, желая забыть о существованіи земного праха. Правда, въ этой порѣ много односторонности, много ложнаго, больше фантазіи, чѣмъ сердца, и за ней непремѣнно должна слѣдовать пора горячаго и тяжелаго разочарованія, но для того, чтобъ человѣкъ пришелъ въ состояніе понять истину, какъ она есть, простую и прекрасную собственной красотой, а не радужнымъ нарядомъ фантазіи; чтобъ онъ могъ понять, что вѣчное и безконечное является въ преходящемъ и конечномъ, что идея въ фактахъ, душа — въ тѣлѣ... Но эта пора юношескаго энтузіазма есть необходимый моментъ въ нравственномъ развитіи человѣка, — и кто не мечталъ, не порывался въ юности къ неопредѣленному идеалу фантастическаго совершенства, истины, блага и красоты, тотъ никогда не будетъ въ состояніи понимать поэзію — не одну только создаваемую поэтами поэзію, но и поэзію жизни; вѣчно будетъ онъ влачиться низкою душой по грязи грубыхъ потребностей тѣла и сухого, холоднаго эгоизма. Пора безотчетнаго романтизма въ духѣ среднихъ вѣковъ есть необходимый моментъ не только въ развитіи человѣка, но и въ развитіи каждаго народа и цѣлаго человѣчества. Средніе вѣка были этимъ великимъ моментомъ развитія народовъ Западной Европы, а слѣдовательно — всего человѣчества, и этотъ моментъ всемірно-историческаго развитія выразился въ искусствѣ среднихъ вѣковъ. Мы, русскіе, позже другихъ вышедшіе на по

прище нравственно-духовнаго развитія, не имѣли своихъ среднихъ вѣковъ: Жуковскій далъ намъ ихъ въ своей поэзіи, которая воспитала столько поколѣній и всегда будетъ такъ краснорѣчиво говорить душѣ и сердцу человѣка въ извѣстную эпоху его жизни. Жуковскій — это поэтъ стремленія, душевнаго порыва къ неопредѣленному идеалу. Произведенія Жуковскаго не могутъ восхищать всѣхъ и каждаго во всякій возрастъ: они внятно говорятъ душѣ и сердцу въ извѣстный возрастъ жизни или въ извѣстномъ расположеніи духа: вотъ настоящее значеніе поэзіи Жуковскаго, которое она всегда будетъ имѣть. Но Жуковскій, кромѣ того, имѣетъ великое историческое значеніе для русской поэзіи вообще: одухотворивъ русскую поэзію романтическими элементами, онъ сдѣлалъ ее доступной для общества, далъ ей возможность развитія, и безъ Жуковскаго мы не имѣли бы Пушкина. Сверхъ того есть еще другая великая заслуга русскому обществу со стороны Жуковскаго: благодаря ему, нѣмецкая поэзія — намъ родная, и мы умѣемъ понимать ее безъ того усилія, которое условливается чуждой національностью. Еще въ дѣтствѣ мы черезъ Жуковскаго пріучаемся понимать и любить Шиллера, какъ бы своего національнаго поэта, говорящаго намъ русскими звуками, русской рѣчью.

Бѣлинскій.

Сельское кладбище. (Элегія Грея.)

Описаніе сельскаго вечера. Поэтъ въ особенности старается выставить одну сторону его — общую тишину, изрѣдка по мѣстамъ прерываемую то жужжаньемъ жука, то звукомъ рога, то крикомъ совы. Эта тишина, располагая къ мечтанію, въ то же время гармонируетъ съ тѣмъ вѣчнымъ покоемъ кладбища, гдѣ спятъ непробуднымъ сномъ праотцы села. Они-то теперь и занимаютъ воображеніе поэта. Онъ *отрицательно* описываетъ прошлую ихъ жизнь, т.-е. показываетъ, что̀ прежде пробуждало ихъ отъ сна и что̀ теперь не можетъ пробудить, что̀ прежде привлекало ихъ къ дому и что̀ теперь не можетъ привлекать. Въ этомъ отрицательномъ описаніи поэтъ изображаетъ противоположность между міромъ живыхъ и міромъ мертвыхъ. Далѣе показывается значеніе скромной жизни поселянина: вся она заключается въ непрерывномъ трудѣ и въ борьбѣ съ природою. Труды эти полезны всѣмъ, а между тѣмъ иные смотрятъ на нихъ высокомѣрно и съ холоднымъ презрѣніемъ, и такіе люди, которые сами *рабы суетъ*, т.-е. своею жизнію далеко не приносятъ той пользы, какую приноситъ убогій своими дѣлами, таящимися во тьмѣ. Пускай они, говоритъ поэтъ, унижаютъ жребій поселянина, но это нисколько не измѣнитъ дѣйствія смерти: она сравниваетъ всѣхъ; законы природы для всѣхъ одни и тѣ же; путь величія ведетъ къ тому же гробу, къ которому пришли и эти убогіе праотцы села. Правда, гробы ихъ не пышны и забвенны, на могилахъ ихъ не воздвигнуты алтари, какіе воздвигаются на могилахъ ослѣпленныхъ наперсниковъ фортуны"; но напрасно спѣшить пре-

зирать спящихъ на этомъ скромномъ кладбищѣ: смерть не возвращаетъ своей добычи, съ какими бы почестями ни погребли умершаго; подъ мраморной доской сонъ его не будетъ слаще, а богатый и тяжелый памятникъ, свидѣтельствующій только о людской надменности, лишь больше будетъ придавливать ихъ персть. Показавъ общее равенство передъ смертію, поэтъ далѣе показываетъ что точно такъ же и природа сравниваетъ всѣхъ. Для этого онъ перебираетъ отдѣльныя могилы и предполагаетъ, кто въ каждой могъ быть погребенъ: въ одной человѣкъ съ нѣжнымъ чувствительнымъ сердцемъ, въ другой — съ способностями править народомъ, въ третьей — съ умомъ, который могъ бы доставить славу великаго ученаго. Природа одинаково даетъ свои дары всѣмъ, не разбирая мѣста рожденія. Но если въ жизни они не могли выказать этихъ даровъ, то виновата не она, виноваты обстоятельства жизни и жалкая обстановка, среди которой имъ приходилось вырастать и развиваться. Угрюмая судьба не отворила имъ храма просвѣщенья; цѣпи убожества обременили ихъ, строгая нужда умертвила въ нихъ геній. Поэтъ сравниваетъ такой непроявившійся геній съ рѣдкимъ перломъ, скрытымъ въ волнахъ моря, но и тамъ онъ остается все же перломъ; или съ полевой лиліей, запахомъ которой никто не наслаждается. Такимъ образомъ и изъ этихъ безвѣстныхъ людей при другихъ обстоятельствахъ могъ явиться второй Гампденъ, или второй Кромвель, или Мильтонъ. Но если они не могли отличиться тѣми доблестями, которыми отличаются люди съ высшими интересами жизни; то не могли прославиться и тѣми злодѣйствами, жестокостями, безсовѣстностью и низостью, какими прославлялись люди въ другихъ, высшихъ сферахъ. Вотъ выгода тѣхъ, которые безвѣстно идутъ своей тропинкою: въ долинѣ этой жизни у нихъ нѣтъ блистательныхъ надеждъ, зато нѣтъ и страха, нѣтъ сильныхъ наслажденій, нѣтъ и сильныхъ горестей. Эти-то люди и спятъ здѣсь подъ гробовою сѣнью, они-то и привлекаютъ вниманіе поэта. Ихъ скромные памятники говорятъ совсѣмъ не то, что пышные мавзолеи. Они свидѣтельствуютъ о той любви, какую покойники оставили послѣ себя въ сердцахъ близкихъ; безъ нея никто бы не подумалъ позаботиться начертить на надгробномъ камнѣ ихъ лѣта и имена, никто бы не сталъ придумывать библейскую мораль, „по коей мы должны учиться умирать“.

Далѣе поэтъ представляетъ значеніе любви для умирающаго. Человѣку трудно разставаться съ жизнію, тяжело думать что онъ скоро обратится въ ничто, какъ будто бы никогда не существовалъ, быстро забытый всѣми. Но душа нѣжная, умѣвшая любить, слѣдственно вызывать и въ другихъ любовь къ себѣ, покидая жизнь, утѣшается тѣмъ, что не совсѣмъ умретъ, что останется еще жить въ памяти друзей, на которыхъ и останавливается послѣдній тусклый взоръ умирающаго. Легче ему умирать съ думою, что его сердце будетъ слышать и въ могилѣ милый ихъ голосъ, что нашъ гробовой камень будетъ имъ казаться одушевленнымъ, что нашъ мертвый прахъ для нихъ будетъ дышать, воспламененный огнемъ любви.

Изъ всего этого вытекаетъ, что истинное значеніе жизни человѣка должно заключаться въ развитіи любви его къ другому, что только одна она и облегчаетъ горькія минуты кончины, слѣдовательно о ней и слѣдуетъ прежде всего заботиться человѣку. Поэтъ называетъ себя другомъ почившихъ, потому что они оставили послѣ себя любовь, которая и поставила на ихъ могилахъ скромные памятники. Онъ представляетъ тотъ часъ, когда и его будутъ погребать здѣсь, и когда селянинъ съ почтенной сѣдиною, быть можетъ, будетъ разсказывать о немъ чувствительному пришельцу. И, пользуясь этимъ разсказомъ, поэтъ рисуетъ идеалъ поэта: онъ любитъ природу и среди ея уединенія любитъ грустить, предаваться своимъ чувствамъ, смотритъ уныло на жизнь, кротокъ сердцемъ, чувствителенъ, сострадателенъ къ несчастью другихъ, печать меланхоліи отличаетъ его отъ прочихъ. Всѣ эти черты, дѣйствительно, можно видѣть въ тогдашней романтической поэзіи; онѣ не чужды и самому Жуковскому, который такъ любилъ это стихотвореніе, находя въ немъ, конечно, много родственнаго съ своей душою.

Все произведеніе можно раздѣлить на слѣдующія части: 1) описаніе вечера, 2) изображеніе скромной и трудовой сельской жизни и отношеніе къ ней рабовъ суетъ, 3) общее равенство передъ смертію, 4) равенство всѣхъ предъ природою, 5) различіе людей по обстоятельствамъ и обстановкѣ жизни, 6) дурная и хорошая сторона убогаго состоянія, 7) значеніе любви для умирающаго, 8) мысль поэта о собственной смерти и изображеніе идеала поэта.

Изъ всего этого видно, что цѣль поэта представить человѣческую сторону жизни независимо отъ всякихъ случайностей, въ какомъ бы состояніи ни находился человѣкъ. Случайности иногда возносятъ одного человѣка надъ другими; но ему нѣтъ причины тщеславиться этимъ, потому что природа и смерть ко всѣмъ относятся одинаково, уравнивая всѣхъ. Только одна любовь къ людямъ нравственно возвышаетъ человѣка и облегчаетъ переходъ его въ загробный міръ; только одна нѣжная душа, умѣвшая сострадать несчастнымъ, оставитъ по себѣ добрую память и будетъ привлекать къ своей могилѣ каждаго чувствительнаго человѣка, хотя бы эта могила была самая бѣдная: память добраго благословляется слезою, а быть чувствительнымъ, добрымъ не могутъ помѣшать никакія обстоятельства. Такимъ образомъ весь интересъ жизни полагается въ чувствѣ; изъ него и развивается самый идеалъ человѣка и поэта. Все это изображается въ связи съ идеей о смерти, и потому стихотвореніе проникнуто грустью.

Стоюнинъ.

Людмила и ея первоисточникъ.

Поэтическій сюжетъ извѣстенъ въ нашей литературѣ уже давно. Въ первый разъ въ художественной обработкѣ онъ появился на стра- „Вѣстника Европы“ за 1808 г.; журналъ, основанный Ка-

рамзинымъ, издавался тогда В. А. Жуковскимъ, и въ немъ самъ издатель помѣстилъ одну изъ интереснѣйшихъ своихъ балладъ: „Людмилу". Необыкновенной прелестью стиха и новизною своего романтическаго содержанія, якобы почерпнутаго изъ исторіи славянства, баллада эта произвела сильное впечатлѣніе на читающую публику, впечатлѣніе, какое произвелъ Карамзинъ своей „Бѣдной Лизой". Людмила, говоритъ поэтъ, поджидая возвращенія своего возлюбленнаго изъ далекой стороны,

На распутіи вздыхала.
„Возвратится ль онъ, — мечтала, —
Изъ далекихъ чуждыхъ странъ
Съ грозной ратію славянъ?"...

Съ полнымъ правомъ поэта авторъ „Людмилы" могъ отправить героя баллады на войну со „славянской ратію", не нарушая этимъ поэтической правды, такъ какъ разсказъ развиваетъ содержаніе общечеловѣческой жизни, захватываетъ отношенія повсюду одинаковыя, присущія всему человѣчеству, а не одной какой-либо народности. Между тѣмъ „Людмила" оказывается не инымъ чѣмъ, какъ передѣлкой нѣмецкой баллады, именно той, которую нѣсколько позже, въ 1829 г., Жуковскій перевелъ съ большимъ искусствомъ, и притомъ близко къ подлиннику, и издалъ подъ ея настоящимъ именемъ: „Ленора". Подлинникомъ для Жуковскаго послужила превосходная нѣмецкая баллада „Lenore". Авторомъ этой знаменитой баллады былъ Готфридъ Августъ Бюргеръ, одинъ изъ первыхъ нѣмецкихъ писателей, взявшихся за обработку балладъ и романсовъ. Родился онъ въ горахъ Гарца, въ семьѣ деревенскаго пастора, росъ въ близкомъ соприкосновеніи съ природой и народной средой, чѣмъ отчасти и объясняется его раннее влеченіе къ сюжетамъ безыскусственной поэзіи.

Живое воображеніе мальчика съ ранняго періода находило богатую пищу въ мѣстныхъ романтическихъ сказаніяхъ о рыцарскихъ замкахъ и чудныхъ преданіяхъ о горныхъ духахъ; на родинѣ онъ познакомился также съ живой народной пѣснью, которая на ряду съ Библіей и старыми церковными гимнами уже рано подѣйствовала возбуждающимъ образомъ на воспріимчивую душу ребенка. Другимъ болѣе важнымъ условіемъ, давшимъ направленіе таланту Бюргера, было то обстоятельство, что поэтическое развитіе его совершалось въ то знаменательное время нѣмецкой жизни, которое обыкновенно называется „геніальнымъ" періодомъ, или „періодомъ бурныхъ стремленій" („Kraftgenialische" или „Sturm und Drang-Periode").

Послѣ продолжительной и упорной работы многихъ тружениковъ, — работы, направленной къ пробужденію самостоятельности и правдивости въ литературѣ, послѣ блестящей и въ высокой степени плодотворной дѣятельности такихъ корифеевъ, какъ Клопштокъ, Лессингъ и Виландъ, — на литературное поприще выступаетъ цѣлый рядъ многочисленныхъ, хотя и мало извѣстныхъ писателей, подготовившихъ собою настоящую умственную революцію, охватившую нѣмецкое обще-

ство въ концѣ 60-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Подъ вліяніемъ популярныхъ тогда въ Германіи идей Руссо, провозглашавшихъ свободу личности, поклоненіе природѣ и непосредственность чувства, не стѣсняемаго никакими формальностями и условностью, среди молодежи всѣхъ классовъ общества пробудилась страстная потребность въ сильныхъ ощущеніяхъ и въ болѣе глубокомъ пониманіи жизни. Литература призвана была давать удовлетвореніе новымъ запросамъ жизни, разрушать старые предразсудки, бороться за свободу личнаго права, за широко понимаемое просвѣщеніе. Мало-по-малу новые идеалы вытѣсняютъ старые, просвѣщеніе широкой волной разливается по Германіи, въ литературѣ пріобрѣтаетъ полное гражданство свобода творчества и смѣлый полетъ воображенія, остающіеся съ тѣхъ поръ руководящими принципами для дальнѣйшаго развитія поэзіи.

Въ этомъ періодѣ, продолжавшемся не болѣе четверти столѣтія, слѣдуетъ искать зародыши будущихъ литературныхъ и общественныхъ направленій въ Германіи; подъ его вліяніемъ возникъ цѣлый рядъ великихъ произведеній и выработались такіе писатели, какъ Гердеръ и Фоссъ, Гёте и Шиллеръ, Шлегель и Бюргеръ, и цѣлая плеяда второстепенныхъ литераторовъ, поэтовъ, критиковъ и мыслителей.

Самымъ законченнымъ и многостороннимъ выразителемъ этой знаменитой эпохи по своему универсальному уму, громаднымъ познаніямъ и по рѣдкой душевной отзывчивости былъ Гердеръ. Геніальный мыслитель и вдохновенный провозвѣстникъ идеаловъ будущаго, онъ близко подходилъ къ Руссо, но охватывалъ болѣе широкій кругъ интересовъ. Онъ искалъ и любилъ прекрасное во всѣхъ формахъ и видахъ проявленія жизни, у всѣхъ народовъ, во всѣхъ религіяхъ, во всѣхъ искусствахъ и наукахъ; вся его жизнь была проникнута идеаломъ и знаніемъ.

При такомъ возвышенномъ взглядѣ на жизнь и при такомъ широкомъ умственномъ кругозорѣ, произведенія его отличались отрывочностью и неполнотою, но вліяніе ихъ было полное и безусловное, особенно въ первый періодъ его дѣятельности.

Молодежь чутко прислушивалась къ новому ученію Гердера о народности и поэзіи; среди отзывчивыхъ на это ученіе молодыхъ людей былъ и Бюргеръ, уже съ дѣтства обнаруживавшій рѣдкій поэтическій талантъ.

Юношей, проходя университетскій курсъ въ Галле, а затѣмъ въ Гёттингенѣ, онъ увлекается тогдашней нѣмецкой лирикой въ духѣ Глейша и Гаггедорна, преклоняется предъ Клопштокомъ и съ увлеченіемъ изучаетъ Оссіана и Шекспира, которыми бредила вся тогдашняя бурная молодежь. Въ кругу своихъ молодыхъ друзей, составлявшихъ союзъ такъ называемыхъ „бардовъ“ — Göttinger Hainbund — онъ является соучастникомъ всѣхъ ихъ страстныхъ порывовъ и крайнихъ увлеченій, но все еще не успѣваетъ попасть на настоящій путь своего призванія.

Зачитываясь Шекспиромъ и Оссіаномъ, геніальнымъ истолкователемъ которыхъ былъ въ то время Гердеръ, Бюргеръ ищетъ сюже-

товъ для себя въ безыскусственной поэзіи и попадаетъ на сборникъ англійскихъ балладъ Percy: „Relidues of Ancient englisch Poetry“ (1723). Сборникъ этотъ дѣлается для него настольною книгой, онъ тщательно изучаетъ его въ теченіе довольно продолжительнаго времени и подъ воздѣйствіемъ его переживаетъ третій важный моментъ въ развитіи своего поэтическаго таланта.

Впослѣдствіи ему дѣлается извѣстнымъ и второй сборникъ англійскихъ балладъ — „Old ballads, Evans edition“ (1777); изъ нихъ онъ почерпаетъ сюжеты для лучшихъ своихъ переводныхъ произведеній и на нихъ же воспитываетъ свой литературный вкусъ, съ такимъ изяществомъ отразившійся затѣмъ на его самостоятельныхъ балладахъ. Итакъ, усвоивъ уже съ дѣтства любовь къ народной поэзіи и воспитавъ затѣмъ свое предрасположеніе къ такого рода произведеніямъ чтеніемъ восторженныхъ статей Гердера о безыскусственномъ творчествѣ, Бюргеръ подъ вліяніемъ англійскихъ балладъ съ большимъ успѣхомъ и самъ начинаетъ обрабатывать народные сюжеты и почти одновременно выпускаетъ въ свѣтъ двѣ баллады: „Der Raubgraf“ и „Lenore“.

Послѣдняя баллада появилась въ томъ же году, когда Гёте напечаталъ свою драму: „Götz von Berlichingen“, бывшую знаменіемъ времени, а Гердеръ — свое изслѣдованіе: „Über Ossian und die Lieder alter Völker“, явившееся страстнымъ, воодушевленнымъ диѳирамбомъ безыскусственному творчеству.

Такимъ образомъ, теоретическія требованія Гердера встрѣтились съ двумя замѣчательными произведеніями, одновременно отвѣтившими на новыя вѣянія, чувствовавшіяся въ литературѣ и поэзіи.

Прочитавъ статью Гердера, Бюргеръ пишетъ къ своему другу Бойе отъ 18 іюня 1773 г.: „О, какое счастіе! такой человѣкъ, какъ Гердеръ, учитъ о народной лирикѣ точно такъ же, какъ я давно уже въ глубинѣ души своей думалъ и чувствовалъ. Я думаю, что „Ленора“ въ нѣкоторомъ отношеніи должна соотвѣтствовать ученію Гердера.

И дѣйствительно, эта баллада на ряду съ появившейся въ 1775 г. „Der Wilde Jäger“ служитъ высшимъ проявленіемъ таланта Бюргера; ни раньше ни позже онъ не могъ уже достигнуть того совершенства формы, реальности картинъ и силы выраженія, какія удалось ему представить въ названныхъ балладахъ. Обѣ баллады написаны въ духѣ народной поэзіи, и особенно послѣдняя доставила автору широкую европейскую популярность.

Свою „Ленору“ написалъ Бюргеръ въ 1773 г. Появленіе ея было настолько новымъ и неожиданнымъ событіемъ въ нѣмецкой поэзіи, что она тотчасъ же привлекла къ себѣ всеобщее вниманіе. Но не всѣ были ею довольны.

Представители ложно-классическаго направленія въ литературѣ, какъ Клопштокъ, порицали ее за новизну формы и содержанія;

консерваторы были ею недовольны съ религіозной точки зрѣнія, усматривая въ ней легкомысленное отношеніе къ вопросамъ вѣры. Такъ профессоръ Рейнгардтъ заявлялъ: „Не то удивительно, что находятся люди, способные писать такія вещи, а другіе восторгаться ими, не то, что цензура пропускаетъ такія скандальныя пѣсни“.

Однако, эти отдѣльные неодобрительные отзывы были заглушены всеобщимъ восторгомъ: балладу читали во всей Германіи, самъ Гёте любилъ декламировать ее, композиторы перекладывали ее на музыку, живописцы иллюстрировали ее, а два французскихъ художника выбрали моменты изъ „Леноры“ для своихъ картинъ.

Въ теченіе короткаго времени Ленора дѣлается извѣстной во всей Европѣ: ее переводятъ, передѣлываютъ и подражаютъ ей.

Вскорѣ послѣ своего выхода она появилась въ переводѣ на датскій, шведскій и голландскій языки. Въ теченіе немногихъ лѣтъ вышло семь англійскихъ переводовъ; одинъ изъ нихъ былъ сдѣланъ Вальтеръ-Скоттомъ, который познакомилъ англичанъ также въ своемъ переводѣ и съ драмой Гёте: „Götz von Berlichingen“. Англійскіе переводчики поступали съ подлинной „Ленорой“ весьма свободно и придавали разсказу мѣстный, національный характеръ.

Были также переводы „Леноры“ на португальскій, фламандскій, латинскій и французскій языки. M-me de Staël помѣстила въ своей книгѣ „De l'Allemagne“ изложеніе баллады и эстетическій разборъ ея, исполненный лестныхъ отзывовъ о произведеніи Бюргера.

На русскомъ языкѣ она появилась, какъ указано выше, сперва въ высоко художественной передѣлкѣ Жуковскаго подъ именемъ Людмилы, а позже въ его же точномъ переводѣ подъ своимъ заглавіемъ — „Ленора“. На польскомъ языкѣ въ подражаніе „Ленорѣ“ Бюргера Ляхъ-Ширма пишетъ свою обширную балладу „Kamilla i Leon“, позже Мицкевичъ, зная балладу Бюргера, избираетъ сюжетъ изъ польской народной поэзіи для своей баллады „Ucieczka“, а затѣмъ Одынецъ даетъ близкій переводъ ея.

Остается указать еще на переводъ малорусскій, чтобы имѣть точно представленіе о широкой извѣстности „Леноры“, пріобрѣтенной ею въ короткое время послѣ своего появленія въ печати за предѣлами Германіи.

Но этимъ еще не исчерпывается литературное значеніе „Леноры“. Въ Англіи она вызвала не только цѣлый рядъ переводовъ, но во весь періодъ увлеченія романтикой оказывала живое воздѣйствіе на художественное творчество: она послужила тамъ сюжетомъ для новыхъ балладъ, фабула ея клалась въ основу романовъ и поэмъ, пластичность формъ и живость картинъ дѣйствовала на воображеніе такихъ поэтовъ, какъ Кольриджъ, Вордсвортъ, Шелли и другіе. Біографъ Шелли говоритъ, будто бы „Ленора“ Бюргера впервые пробудила поэтическую силу этого поэта.

Такая популярность „Леноры“ въ Англіи была подготовлена тамъ, съ одной стороны, Оссіановской поэзіей, а съ другой — старыми бал-

ладами на тему о привидѣніяхъ и мертвецахъ; Бюргеръ явился въ данномъ случаѣ только сильнымъ художникомъ формы, и эта сила привлекла къ нему всеобщее вниманіе.

По собственнымъ словамъ своимъ Бюргеръ получилъ первоначальную идею для своей баллады отъ народной сказки, случайно слышанной: въ сказкѣ этой его особенно поразили стихи:

„Der Mond der scheint so helle,
Die Todten reiten schnelle",

и потомъ слова разговора: „Graut liebchen auch vor toten? Wie solte mir grauen? Jch bin ja bei dir". Этого было достаточно, чтобы дать тему для поэта; остальное онъ создалъ самъ, удерживая, однако, ходъ дѣйствія народнаго разсказа, и притомъ такъ мастерски, что А. В. Шлегель нашелъ возможнымъ сказать: „если бъ Бюргеръ ничего больше не написалъ, то и это обезпечило бы для него безсмертіе". Поэтому неудивительно, что „Ленора" въ скоромъ времени послѣ своего появленія въ печати пріобрѣла, какъ мы видѣли, широкую популярность, и сюжетъ, ею развиваемый, сдѣлался предметомъ научныхъ изысканій.

„Ленора" обратила на себя всеобщее вниманіе не только благодаря новизнѣ и оригинальности своего сюжета и высокаго поэтическаго совершенства, достигнутаго Бюргеромъ въ ея обработкѣ, но также и тому обстоятельству, что содержаніемъ своимъ она входитъ въ кругъ сказаній, распространенныхъ въ огромномъ количествѣ среди всѣхъ европейскихъ народовъ.

Содержаніе баллады настолько общеизвѣстно, что приводить его здѣсь не представляется никакой надобности, и я ограничусь указаніемъ лишь важнѣйшихъ моментовъ разсказа.

Возлюбленный „Леноры" ушелъ на войну, о немъ нѣтъ никакихъ свѣдѣній, „а самъ онъ къ ней не пишетъ". Насталъ миръ, войска возвращаются назадъ, „всѣмъ радость, а Ленорѣ отчаянное горе": нѣтъ ея возлюбленнаго, и ничего никто о немъ не знаетъ. Ленора тоскуетъ и плачетъ, и ропщетъ на Бога, не слушая увѣщаній матери. И вотъ разъ ночью, когда она терзалась, рвала волосы, раздался конскій топотъ: подъѣхалъ къ крыльцу всадникъ и постучалъ въ дверь. „Ждешь ли ты меня, или уже забыла?" спрашиваетъ гость; но медлить некогда: „путь нашъ дологъ, мало срока, сто миль намъ до ночлега, собирайся поскорѣе". „А гдѣ жъ твой домъ?" говоритъ дѣвушка. „Онъ далеко... пять, шесть досокъ... прохладный, тихій, темный", отвѣчаетъ гость. Ленора вышла; вскочила на коня, прижалась къ своему возлюбленному, и они помчались. „Не страшно ль тебѣ? — спрашиваетъ онъ свою спутницу и продолжаетъ: — „мѣсяцъ свѣтитъ намъ! Гладка дорога мертвецамъ", а мимо нихъ мелькали окрестныя поля, холмы, ряды кустовъ. „Мой конь, несись быстрѣй, пѣтухъ кричитъ", говоритъ мертвецъ, и вотъ они примчались къ воротамъ кладбища. Кругомъ однѣ могилы, конь тряхнулъ и исчезъ, а Ленора очутилась въ рукахъ скелета и полумертвая упала на землю.

Таково содержаніе баллады въ главныхъ чертахъ. По сравненію съ другими, чисто народными варіантами того же сюжета здѣсь окажется недостаточно ясно очерченной причина, заставившая мертвеца встать изъ гроба и явиться за своей возлюбленной. Очевидно, слезы Леноры принудили его покинуть могилу, хотя конецъ баллады даетъ возможность видѣть въ этомъ, какъ бы кару Бога за ропотъ Леноры на Провидѣніе; но эта черта принесена сюда поэтомъ и для сюжета она оказывается не важной, не существенной. Напротивъ того, если разложить самый разсказъ на составляющіе его основные мотивы, то таковыми окажутся, во-первыхъ, вѣра въ возможность возвращенія мертвыхъ на землю въ прежнемъ своемъ видѣ, во-вторыхъ, убѣжденіе, что къ этому побуждаетъ мертвыхъ неутѣшная скорбь ихъ близкихъ. Вотъ эти общія идеи и обусловили возникновеніе самаго сюжета „Леноры“.

Созоновичъ.

Ивиковы журавли.

Даже въ далеко отступившемъ отъ подлинника переводѣ Жуковскаго такъ и вѣетъ поэтической стихіей греческой жизни; оригиналъ же еще крѣпче и выдержаннѣе: художественность и историческія достоинства его стоятъ внѣ всякихъ пререканій.

I. Кратко и превосходно введеніе въ дѣйствіе. Въ простомъ и спокойномъ разсказѣ, которымъ начинается баллада, мы быстро знакомимся съ временемъ и личностью, около которыхъ все совершается: мы застаемъ пѣвца на пути къ великому національному празднику наипоэтическаго народа земли. И хотя названіе игръ пока прямо не означено, но описательная форма произведенія не оставляетъ въ насъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что цѣлію стремленій Ивика были соединявшія грековъ веселыя истмійскія игры. Внѣшній видъ пѣвца — скромный, и это, повидимому, только для того, чтобы ярче свѣтились его высокія свойства души. Странникъ — поэтъ, въ своеобразномъ греческомъ смыслѣ. Въ отличіе отъ обыкновенныхъ смертныхъ онъ очень близокъ къ богамъ, ихъ другъ и посланникъ его воодушевляющаго бога; свой даръ онъ получилъ отъ Аполлона, который щедро наградилъ его поэтическимъ дарованіемъ и способностью выражать свой внутренній міръ въ пріятныхъ слушателямъ пѣсняхъ: источникъ его пѣсенъ, такимъ образомъ, — даръ божественнаго происхожденія. Полный высшаго вдохновенія, Ивикъ стремился, чтобы излить его, принявъ участіе въ предстоящихъ въ Истмѣ состязаніяхъ, конечно, не безъ надежды выйти побѣдителемъ и тѣмъ прославить себя и другихъ. А между тѣмъ этотъ необыкновенный человѣкъ, державшій путь отъ Регіума, по Истмійскому перешейку, шелъ пѣшкомъ, безъ имущества, съ однимъ посохомъ въ рукѣ — какъ бы въ знакъ, что люди, богатые духомъ, рѣдко бываютъ богаты имуществомъ. Поэтъ не изобразилъ дальнѣйшихъ внѣшнихъ чертъ Ивика. На этотъ разъ онъ

близокъ былъ ко взгляду Лессинга, по которому рисовать предметы— дѣло живописи, область же поэзіи — явленія, событія; и предметовъ необходимо касаться настолько, насколько они обнаруживаютъ себя въ дѣйствіи; потому онъ, давши нѣсколько штриховъ, тотчасъ же, не останавливаясь, и продолжаетъ свою повѣсть.

II. Путешествіе близится къ концу. Вонъ уже виднѣются Коринѳскія высоты, до цѣли остается пройти только Посейдонову сосновую рощу. Отъ представленія святости мѣста, съ благоговѣніемъ и почтительнымъ страхомъ, вступаетъ въ него Ивикъ. Никто не нарушаетъ царствующей кругомъ тишины; его сопровождаютъ однѣ стаи журавлей, которыя неслись на теплый югъ. Этотъ переходъ отъ изображенія одиночества и ничѣмъ не нарушаемой тишины къ описанію единственно живого существа журавлей, здѣсь кстати и естественъ. Журавли сравниваются съ частью коннаго войска, пепельно-сѣрымъ эскадрономъ, — по сходству формы полета стаи въ видѣ впереди сходящихся линій. Ихъ видъ до того привлекаетъ наше вниманіе, что насъ ни мало не смущаетъ допущенное авторомъ совмѣщеніе никогда въ дѣйствительности не совпадавшихъ явленій: игры совершались то лѣтомъ, то весной, а полетъ журавлей чрезъ Грецію бываетъ позже, въ глубокую осень. Но если для насъ появленіе журавлей составляетъ предметъ простого эстетическаго удовольствія, то для Ивика оно имѣло особенное значеніе. Въ глазахъ дѣтски-наивнаго грека птицы, особенно большія, были вѣстниками Зевса, и ихъ внезапное появленіе всегда считалось знакомъ чего-то необычнаго, по ихъ полету гадали о судьбѣ. Такъ и Ивикъ. Признавъ въ неожиданно появившихся журавляхъ часть тѣхъ станицъ, которыя сопровождали его во время морского пути отъ Нижней Италіи до Коринѳской земли, онъ видитъ въ нихъ доброе для себя предзнаменованіе: какъ счастливо было морское плаваніе, таково же, повидимому, мелькаетъ у него въ головѣ, будетъ и его прибытіе; свой жребій онъ находилъ сходнымъ съ ихъ долей: одинаково они стремятся издалека и ищутъ безопаснаго крова, и высказываетъ желаніе, чтобы покровитель каждаго чужестранца, высшій гостепріимецъ — Зевсъ, отвратилъ отъ нихъ всякое несчастіе и одинаково пребылъ къ нимъ благосклоненъ.

До сихъ поръ все шло спокойно; тонъ свѣтлый и радужный. Признаки нѣкотораго колебанія можно подмѣтить развѣ въ обращеніи Ивика къ Зевсу. Обращеніе звучитъ нѣсколько пророчески и какъ бы даетъ поводъ предчувствовать опасность, которая тотчасъ и возникаетъ, и притомъ въ самомъ, повидимому, свободномъ отъ нея мѣстѣ.

IV—V. Ободренный предзнаменованіемъ, Ивикъ ускоряетъ шаги и скоро достигаетъ средины лѣса. Тутъ внезапно двое убійцъ преграждаютъ ему путь. Уклониться отъ нихъ некуда: путь узокъ и стѣсненъ. Завязывается борьба; но не Ивику одолѣть двоихъ. Поэтъ — не воинъ. Его рука, привычная къ лирѣ, а не къ оружію, въ изнеможеніи скоро опускается. Не надѣясь на себя, онъ думаетъ найти помощь въ другихъ. Взываетъ къ людямъ и богамъ — напрасно! его

мольбы никто не слышитъ; какъ ни возвышаетъ онъ свой голосъ, вокругъ не видно ничего живого. Въ сознаніи, что спасенья нѣтъ, Ивикъ горько жалуется на свою печальную участь. Въ его жалобѣ слышится, что̀ увеличиваетъ горечь его смерти. Онъ долженъ помереть здѣсь, въ священной рощѣ, гдѣ всего менѣе можно было ожидать убійства на чужбинѣ, безъ послѣдней чести, не оплаканный и безъ погребенія, погибнуть отъ руки злодѣевъ, и притомъ безъ надежды, что злодѣйство будетъ открыто и что кто-нибудь — правительство ли, родные или почитатели — отомстятъ за него. Едва ли кому хотѣлось бы лишиться жизни при подобныхъ обстоятельствахъ: людямъ вообще свойственно желаніе мирно почивать въ своей землѣ; Ивику же, какъ греку, такая смерть была тяжела до крайности. По тогдашнимъ понятіямъ, души, тѣла которыхъ не погребены, не могутъ войти въ адъ и обречены на вѣчное скитаніе, и грекъ готовъ былъ на все, чтобы только предотвратить подобный позоръ. Тяжелый ударъ, межъ тѣмъ, кладетъ Ивика на землю. Вверху шумитъ полетъ журавлей — конечно, не тѣхъ, которыхъ видѣлъ Ивикъ прежде, — это было другое отдѣленіе несущейся къ югу большой стаи; надъ сосновой рощей они пролетали случайно. Ивикъ слышитъ — видѣть онъ уже не можетъ — слышитъ, страшно кричатъ близкіе голоса. Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Своимъ крикомъ журавли направляютъ свой полетъ, и во время полета они кричатъ постоянно: ихъ крикъ громкій, подобно трубѣ, вблизи страшнѣе. Но почему онъ кажется страшнымъ пѣвцу, который видѣлъ въ нихъ дружественныхъ себѣ сопутниковъ, а не убійцамъ, для которыхъ опасенъ каждый свидѣтель? Разгадка въ томъ, что Ивикъ былъ болѣе чутокъ къ явленіямъ природы. Для поэта полетъ и крикъ — не случайность, напротивъ, ему сдается, что журавли какъ бы чувствуютъ всю святотатственность преступленія, что они возмущены безславнымъ дѣломъ, ихъ пронзительные голоса кажутся ему воплемъ, жалобой, предвозвѣщающей месть и угрожающей убійцамъ. И въ полной увѣренности призываетъ ихъ поднять за него свой голосъ.

Вы, журавли подъ небесами,
Я васъ въ свидѣтели зову;
Да грянетъ, привлеченный вами,
Зевесовъ громъ на ихъ главу!

сказалъ онъ — и это было послѣдней волей умирающаго: въ глазахъ его помрачилось, и онъ скончался. Безъ сомнѣнія, убійцы слышали его послѣднія слова.

VII—XXIII. Пѣвецъ убитъ, — убитъ коварно, въ священномъ мѣстѣ, среди его свѣтлыхъ надеждъ, — убитъ безоружный, потому что не имѣлъ никакого другого оружія, кромѣ своихъ сладкихъ пѣсенъ; но это оружіе, безсильное для физической борьбы, сильно въ борьбѣ духовной — и оно-то служитъ причиной мести за своего владѣтеля. Ивикъ палъ физически — съ тѣмъ, чтобы тотчасъ же встать духовно въ памяти своего народа; палъ обнаженный, обезображенный ранами — всталъ въ полномъ сіяніи своей прекрасной духовно-поэтической на-

Сила его духа тѣмъ ярче отразилась надъ его обезображен-

нымъ тѣломъ. За него воспрянулъ весь народъ, показавъ примѣръ, какъ онъ цѣнитъ и умѣетъ защищать своихъ поэтовъ.

VII—X. Слѣдуетъ вторая часть произведенія. Въ первой мы узнали объ личности поэта и его печальной судьбѣ; здѣсь слышимъ объ открытіи убійства — пока безъ открытія убійцъ, и о поражающемъ впечатлѣніи, которое производитъ на собравшійся народъ извѣстіе о смерти всѣми любимаго поэта. Переходъ отъ одной части къ другой сдѣланъ поэтомъ почти не замѣтно. Дѣйствіе передвигается къ мѣсту игръ. Объ этомъ поэтъ не говоритъ; характеръ событій, однако, не оставляетъ въ томъ ни малѣйшаго сомнѣнія; вмѣсто молчаливой рощи мы видимъ шумный народъ.

VII. Трупъ найденъ, и въ самомъ позорномъ видѣ. Онъ обнаженъ — снято все, даже платье; искаженъ ранами — слѣдъ борьбы и желанія убійцъ лучше скрыть свое преступленіе. Что̀ могло теперь изобличить ихъ? И все же коринѳскій другъ Ивика скоро узнаетъ дорогія ему черты лица. Пораженный, онъ громко высказываетъ свое горе. Печаль его коренится не въ однихъ общихъ мотивахъ. Гостепріимство составляло религіозно-общественную обязанность грековъ, и не одно то смущало друга, что онъ лишенъ теперь возможности выполнить этотъ долгъ; нѣтъ, его горе ближе. Онъ надѣялся видѣть Ивика и принять его въ другомъ видѣ, цѣлымъ, невредимымъ, прославленнымъ, вмѣстѣ съ другими обвить его голову побѣднымъ сосновымъ вѣнкомъ и самому погрѣться въ лучахъ его славы. Если слава побѣдителя распространялась у Грековъ на цѣлый народъ и на весь отечественный городъ, то отблескъ ея еще ярче падалъ на близкихъ къ нему лицъ и на того, въ чьемъ домѣ гостилъ онъ.

VIII. Плачъ друга находитъ полный откликъ. Пѣсни Ивика, оказывается, были извѣстны и любимы въ цѣлой греческой землѣ, и всякій могъ надѣяться видѣть его побѣдителемъ. Погибъ поэтъ, поэтъ любимый, и возможный побѣдитель на играхъ — горе двойное, всеобщее. И сердце всѣхъ, кто только ни присутствовалъ на играхъ, чувствуетъ глубокую потерю. Не медля ни минуты, народъ приступаетъ къ мѣстному верховному властителю — притану и яростно требуетъ отъ него примирить оскорбленный духъ самымъ сильнымъ средствомъ — кровію убійцы.

IX—X. Но какъ было это сдѣлать? Требовать легче, чѣмъ исполнить. Недоставало признаковъ, по которымъ можно было бы въ народной массѣ отличить чернаго злодѣя. Загадоченъ даже поводъ къ убійству: истинную причину знаетъ одинъ всепроникающій богъ — Геліосъ; людямъ же не извѣстно — былъ ли то грабежъ разбойниковъ, или месть дѣйствовавшаго по зависти тайнаго врага. Вообще скупой на мотивировку поступковъ дѣйствующихъ лицъ, Шиллеръ, по нашему мнѣнію, допустилъ здѣсь излишекъ. Прежде было сказано, что трупъ найденъ обнаженнымъ — можно догадываться, что онъ былъ ограбленъ, и, слѣдовательно, убійство совершено изъ-за грабежа разбойниками. Впрочемъ, отъ того не легче судьямъ. Имъ не извѣстн

гдѣ искать убійцу. Быть можетъ, въ то время, какъ его разыскиваетъ месть, онъ, пользуясь плодами своего здодѣйства, спокойно ходитъ среди собравшихся грековъ, или, не боясь ни бога ни людей, находится на порогѣ храма или же, вмѣстѣ съ толпой, дерзко тѣснится къ самому театру.

Десятая строфа вводитъ насъ въ греческій театръ и самымъ непринужденнымъ образомъ связываетъ послѣдующую часть произведенія съ предыдущимъ разсказомъ.

XI—XXIII. Начинается третья часть. Она представляетъ открытіе и наказаніе убійцъ, катастрофу, и есть главная, эффектная. Повѣствованіе обращается въ драму. Языкъ мгновенно становится возвышеннѣе, звучитъ торжественно, праздничнѣе. Поэтъ обнаруживаетъ все свое могущество. Блестящее изображеніе греческаго театра съ его глубокимъ религіозно-національнымъ значеніемъ, какое онъ имѣлъ въ греческой жизни, затѣмъ образцовое изображеніе греческаго хора, по живописности, изящности и силѣ, это — лучшіе перлы не только въ этой балладѣ, но и вообще во всей нѣмецкой поэзіи; изъ извѣстныхъ уже намъ мѣстъ съ ними можетъ быть сопоставлено только изображеніе Харибды въ „Кубкѣ“.

XI—XII. Вся сцена совершается въ театрѣ. Зданіе до того громадно, что верхнія его сидѣнья какъ бы теряются въ синевѣ небесъ. Садясь на скамьѣ за скамьей, зрители жмутся другъ къ другу и, въ ожиданіи представленія, глухо шумятъ, точно волны великаго моря. И откуда ихъ нѣтъ! Они сошлись и изъ Аѳинъ, Беотіи, Фокиды, Спарты, и изъ малоазійскихъ прибрежныхъ колоній, и изъ всѣхъ многочисленныхъ острововъ. Поэтъ не перечисляетъ всѣхъ земель. Дѣло поэта всегда указать главное, выдающееся, чтобы по указанному составить представленіе и о всемъ остальномъ. Онъ такъ и поступилъ. Видно, что здѣсь были представители самыхъ различныхъ греческихъ мѣстъ и племенъ, и въ распорядкѣ ихъ можно видѣть преднамѣренность. Между ними первое мѣсто отведено аѳинянамъ: устроитель ихъ города, Тезей, установилъ въ честь Посейдона и истмійскія игры; затѣмъ, по нисходящей степени въ ихъ значеніи, указаны жители другихъ центральныхъ мѣстностей, потомъ посѣтители съ малоазійскихъ колоній и, наконецъ, населеніе острововъ. Но выступаетъ ожидаемый хоръ, и смолкнувъ, всѣ прислушиваются къ его страшной мелодіи.

XIII—XIV. Хоръ идетъ по древнему обычаю — строго и важно, медленнымъ и мѣрнымъ шагомъ выступаетъ онъ изъ-за „сцены“ и по оркестру обходитъ вкругъ „театра“. На видъ это что-то особенное, не изъ рода обыкновенныхъ смертныхъ. Походка ихъ не простая — такъ не могутъ ходить земныя женщины; ростъ ихъ — гигантскій, несравненно выше человѣческаго; одежда — черная мантилья, она бьется о бедра; руки — сухія, тощія, махаютъ факелами съ темнокраснымъ свѣтомъ, въ щекахъ ни кровинки, и гдѣ обыкновенно пріятно для глазъ развѣваются волосы, тамъ, на головѣ, змѣи и эхидны раздуваютъ свои пучащіяся отъ яда чрева.

„Во всѣхъ греческихъ сагахъ, — говоритъ Шиллеръ, — нѣтъ болѣе страшнаго и вмѣстѣ безобразнаго образа, какъ эти фуріи, когда онѣ выходятъ изъ подземнаго царства, чтобы преслѣдовать преступника. Отвратительно искаженное лицо, худощавая фигура, голова, вмѣсто волосъ, покрытая змѣями, и т. д.“ И свое представленіе о внѣшнемъ видѣ Эринній Шиллеръ всецѣло воплотилъ въ данномъ мѣстѣ баллады, употребивъ самыя яркія краски. При высокомъ ростѣ худощавость, при черной мантильи свѣтъ факеловъ, тощія руки, блѣдныя щеки, и въ заключеніе прямое противоположеніе вьющимся прекраснымъ волосамъ ядовитыхъ змѣй — это такія черты, которыя какъ нельзя болѣе рѣзко обрисовываютъ этихъ страшныхъ богинь мщенія, и однако какъ ни ужасенъ выходитъ образъ, онъ доставляетъ удовольствіе самому развитому эстетическому чувству. Почему такъ? Потому, что, при яркости и обиліи красокъ, соблюдена поэтомъ должная мѣра, нѣтъ ни излишества ни напыщенности. Онъ самъ утверждалъ: „Напыщенное смѣшеніе красокъ привлекаетъ и ослѣпляетъ въ особенности читателей, понимающихъ только чувственное и, подобно дѣтямъ, восхищающихся пестротой. Но какъ мало говорятъ образы подобнаго рода тонкому чувству изящнаго, которое удовлетворяетъ не богатство, а благоразумная бережливость, не матерія, а красота формъ, не смѣсь, а тонкое разнообразіе!“ „Истинно прекрасное основывается на строжайшей опредѣленности, на полнѣйшемъ отвлеченіи, на совершеннѣйшей внутренней необходимости“.

XV—XVII. Если страшенъ внѣшній видъ исчадій, то еще ужаснѣе ихъ внутренній обликъ. Вотъ онѣ, вертясь вокругъ, начинаютъ свою торжественную пѣснь. Ихъ пѣніе насквозь пронизываетъ сердце, раздирая его; помрачаетъ умъ, проникаетъ до мозга костей, злодѣя опутываетъ крѣпкими узами, смущаетъ его. Пѣснь такъ громка, нечеловѣчна, страшна, что, противъ обычая, не сопровождается игрой лиры — пріятные звуки послѣдней не согласовались бы съ этимъ, возбуждающимъ ужасъ, пѣніемъ Эринній. Онѣ поютъ:

Блаженъ, кто незнакомъ съ виною,
Кто чистъ младенчески душою!
Мы не дерзнемъ ему во слѣдъ:
Ему чужда дорога бѣдъ...
Но вамъ, убійцы, горе, горе!
Какъ тѣнь, за вами всюду мы,
Съ грозою мщенія во взорѣ,
Ужасныя созданья тьмы.
Не мните скрыться — мы съ крылами;
Вы въ лѣсъ, вы въ бездну — мы за вами,
И, спутавъ васъ въ своихъ сѣтяхъ,
Растерзанныхъ бросаемъ въ прахъ,
Вамъ покаянье — не защита;
Вашъ стонъ, вашъ плачъ — веселье намъ;
Терзать васъ будемъ до Коцита,
Но не покинемъ васъ и тамъ.

должно было произвести сильное впечатлѣніе не только на убійцъ, но и на остальныхъ зрителей.

XXI—XXII. Моментъ для произнесенія имени Ивика выбранъ поэтомъ необыкновенно удачно. Въ другое время народъ могъ бы не разслышать или пропустить мимо ушей, но теперь, когда онъ находился подъ вліяніемъ пѣнія и загадочно-неожиданнаго полета журавлей, когда его молчаніе было похоже на затишье передъ бурей, въ это время онъ жадно схватываетъ случайное слово. Дорогое имя снова болѣзненно тронуло каждое сердце; и, какъ въ морѣ волна за волной, бѣжитъ изъ устъ въ уста вопросъ о томъ, что̀ значитъ это восклицаніе? Вопросъ произносится все громче, и у всѣхъ, точно подъ наитіемъ свыше, въ предчувствіи чего-то страшнаго, необыкновеннаго, съ быстротою молніи мелькаетъ грандіозная мысль: догадываются, что здѣсь проявленіе божественнаго возмездія, и требуютъ схватить подозрѣваемыхъ.

Убійца тутъ!
То Эвменидъ ужасныхъ судъ!
Отмщенье за пѣвца готово:
Себѣ преступникъ измѣнилъ...
Къ суду и тотъ, кто молвилъ слово,
И тотъ, кѣмъ онъ внимаемъ былъ!

громко произносятъ всѣ присутствующіе.

Шиллеръ съ тактомъ не воспользовался здѣсь совѣтомъ Гёте относительно изображенія того способа, какъ народъ обращаетъ вниманіе на убійцъ и нападаетъ на слѣдъ преступленія. „Если я, — отвѣчалъ онъ Гёте, — восклицаніе убійцы заставлю услышать только ближайшихъ зрителей и между ними дамъ возникнуть движенію, которое, какъ поводъ, сообщается и всему цѣлому, то отягощу себя деталью, которая, при такомъ напряженномъ ожиданіи, слишкомъ затруднитъ меня, ослабитъ цѣлое и раздвоитъ вниманіе“. Нѣсколько позже онъ прибавилъ: „Впечатлѣнію, произведенному восклицаніемъ, я посвятилъ еще одну (теперь 22-ю) строфу; но дѣйствительное открытіе преступленія, какъ слѣдствіе крика, изобразить пространнѣе я не пожелалъ“. Такимъ образомъ, вопреки настояніямъ Гёте, отъ гнетущей тишины къ всеобщему волненію, Шиллеръ употребилъ быстрый переходъ, и изображеніе дѣйствія, какое произведено восклицаніемъ, кажется теперь гораздо эффектнѣе.

XXIII. Едва сорвалось съ языка слово, убійца, подмѣтивъ результатъ, сильно желалъ бы, чтобы оно не вылетало, мысль хранилась бы въ груди — но уже поздно! Поблѣднѣвшее отъ ужаса лицо выдаетъ виновныхъ; ихъ схватываютъ, влекутъ, представляютъ къ судьѣ, — и театръ превращается въ судъ; и сознаются виновные, застигнутые лучомъ мести.

На этомъ сравненіи, взятомъ отъ молніи, и обрывается разсказъ — кратко и сильно. На обвиненіе Гёте, что заключеніе употреблено „совсѣмъ поспѣшное“, Шиллеръ возразилъ: „какъ скоро путь къ открытію убійцъ найденъ — баллада оканчивается, другого болѣе нѣтъ ничего для поэта“. Послѣ блестяще выполненной катастрофы всякое медленіе было бы излишне: оно ослабило бы только интересъ.

И безъ того ясно, что поэтическое представленіе кары Эвменидъ становится дѣйствительностію, что судъ постигаетъ убійцъ тутъ же, въ театрѣ; гдѣ чистая душа находитъ высшее наслажденіе, тамъ преступнику угрожаетъ опасность.

Отсюда понятна идея, какую хотѣлъ выразить Шиллеръ. Для грековъ, въ глазахъ которыхъ поэтъ былъ лицомъ священнымъ, и театръ имѣлъ религіозное значеніе, главной рѣшающей силой въ событіи могла показаться карающая Немезида, произносящая свой приговоръ при помощи поэзіи и устами суда.

Внемлите,
То сила Эвменидъ!

восклицаютъ они, угадавъ убійцу.

Напрасно было бы въ современной намъ жизни искать чего-нибудь тождественнаго съ общественными играми, сопровождавшими религіозныя празднества грековъ. Возникши изъ мѣстныхъ, нѣкоторыя изъ нихъ — олимпійскія, истмійскія, пиѳійскія и немейскія — возвысились до торжествъ общенаціональныхъ. На нихъ собирались греки отовсюду — изъ метрополій и колоній, со всѣхъ береговъ и многочисленнѣйшихъ острововъ Средиземнаго моря, изъ Европы, Азіи и Африки. Разъединенные громаднымъ пространствомъ, мѣстными и племенными особенностями, соперничествомъ, иногда открытой войной, они сознавали себя здѣсь однимъ народомъ; привлеченные желаніемъ участвовать въ общемъ жертвоприношеніи, жаждой зрѣлищъ и удовольствій, явившись по побужденіямъ торговымъ, научнымъ, художественнымъ и политическимъ, всѣ присутствующіе жили интересами общими, высшими, и вкупѣ представляли изъ себя прекрасную картину, кромѣ религіозно-національнаго, питавшую и эстетическое чувство грековъ. „Кто, — пѣлъ о нихъ хіосскій поэтъ, — кто увидитъ ихъ собравшимися на такой праздникъ, тотъ сочтетъ ихъ, пожалуй, свободными отъ старости и смерти, и радостно встрепенется его сердце при видѣ этого сонма мужчинъ и прекрасно опоясанныхъ женщинъ, при видѣ ихъ богатствъ и кораблей“.

Состязаніе на играхъ производилось въ спорѣ за первенство въ томъ, что̀ для грека было всего дороже: въ силѣ, ловкости, красѣ. Продолжительный и быстрый бѣгъ, со щитомъ и безъ щита, борьба, прыганье, метаніе диска или копья, скачка верхомъ или на колесницахъ, на нѣкоторыхъ играхъ, выполненіе музыкальныхъ пьесъ, пѣніе, декламація, составленіе поэтическихъ и историческихъ произведеній — все находило свое мѣсто, чередовалось и могло доставить побѣдителю почетный призъ: лавровый, масличный или сосновый вѣнокъ. Насколько ничтожна награда, настолько велика была почесть. Земляки побѣдителя, осчастливленные его побѣдой, вели его къ алтарю. Здѣсь въ присутствіи и при радостныхъ крикахъ всего собравшагося народа, налагался на него вѣнокъ, затѣмъ въ честь его давались пиры, составлялись гимны. Вся Греція славила его имя. При возвра

щеніи въ родной городъ жители встрѣчали его со всевозможнымъ тріумфомъ, жизнь его окружалась всеобщимъ почетомъ, приравнивалась къ божественной, самъ Платонъ видѣлъ въ ней образецъ земного благополучія. Хотя эти почести относились, главнымъ образомъ, къ побѣдителямъ въ Олимпіи, все же не мала была слава и остальныхъ. Не даромъ каждый грекъ, даже знатнѣйшій по рожденію или личнымъ заслугамъ, горѣлъ самымъ пламеннымъ желаніемъ участвовать въ играхъ и считалъ величайшимъ для себя счастіемъ получить на нихъ побѣдный вѣнокъ.

Понятны теперь чувства, съ какими шли сюда греки, и то состояніе, въ какомъ стремился въ Истму Ивикъ! Тѣмъ трепетнѣе было состояніе Ивика, что онъ, по Шиллеру, имѣлъ въ виду не просто только лично присутствовать на играхъ, но и вступить въ состязаніе о первенствѣ въ сложеніи пѣсенъ.

Истмійскія игры, куда стремился онъ, занимали первое мѣсто послѣ олимпійскихъ и отличались отъ нихъ тѣмъ, что, кромѣ тѣлесныхъ, на нихъ допускались и поэтическія состязанія. Учрежденіе ихъ теряется въ глубокой древности, приписывается основателю Коринѳа Сизиѳу, возобновленіе — аѳинскому герою Тезею; ко времени Ивика достигли высшей славы. Онѣ праздновались въ честь морского бога Посейдона, въ живописной мѣстности, на Истмійскомъ, лежавшемъ между двумя морями и соединившемъ Пелопонесъ и Элладу, перешейкѣ, у сосновой, посвященной Посейдону, рощи, близъ богатаго Коринѳа. Побѣдителю давался вѣнокъ изъ сельдерея (растеніе), въ римскія времена — изъ сосновыхъ вѣтвей.

Самъ Ивикъ — лицо историческое. Это былъ странствующій лирическій поэтъ, родомъ изъ Регіума, города Великой Греціи (нынѣ южная Италія); онъ много путешествовалъ, долго жилъ при дворѣ Поликрата, считался изобрѣтателемъ самбука, древней цитры, въ формѣ треугольника, но главную славу составляли его жгучія эротическія пѣсни, гдѣ, сообразно необычайному уваженію грековъ въ красотѣ, онъ прославлялъ красивыхъ мальчиковъ и юношей. Въ одной изъ такихъ, дошедшихъ до насъ, пѣсенъ, онъ, рисуя образъ молодого человѣка, въ увлеченіи его красотой называетъ его сыномъ нѣжныхъ грацій, вскормленныхъ Кипридой среди розъ. Эти волненія любви и обращеніе къ древнимъ миѳамъ — постоянныя свойства его поэзіи. Современники имѣли отъ него семь книгъ, но намъ остались отъ его произведеній одни небольшіе отрывки. Смерть его украшена различными преданіями. Ихъ, съ значительными дополненіями и измѣненіями, превосходно и воспроизвелъ Шиллеръ въ своей, подлежащей нашему разбору, балладѣ.

Дм. Цвѣтаевъ.

Теонъ и Эсхинъ.

Первая часть стихотворенія изображаетъ возвращеніе Эсхина на родные берега Алфея. Долго бродя по свѣту, онъ искалъ счастія, но не нашелъ его. Роскошь, слава, всѣ чувственныя удовольствія, которымъ онъ предавался, думая, что въ нихъ-то и заключается счастіе жизни, только изнурили его сердце. Онѣ пресытили его, но не удовлетворили; въ душѣ, наконецъ, явилась пустота, а съ нею и скука; надежда найти счастье погасла. Съ такой безнадежностью возвращается онъ на родину; знакомыя мѣста напоминаютъ ему молодые и лучшіе дни; здѣсь все оставалось попрежнему; только онъ является не тотъ, что былъ прежде. Во второй части изображается встрѣча двухъ друзей. Въ то время, какъ Эсхинъ странствовалъ по свѣту, Теонъ оставался на родинѣ, скромный въ желаніяхъ, не обольщаемый пышными надеждами. На берегу рѣки, въ виду моря, среди роскошной природы, была смиренная хижина Теона. Освѣщенная розовымъ блескомъ заходящаго солнца, она представилась взорамъ Эсхина, а близъ нея среди миртъ бѣломраморный гробъ, надъ которымъ сплетались вѣтви душистыхъ розъ и гибкаго ясмина. На порогѣ хижины сидѣлъ Теонъ въ размышленіи, смотря на багрянное море. Вдругъ онъ видитъ передъ собою Эсхина, съ радостью обнимаетъ его и привѣтствуетъ именемъ Зевеса мирное его возвращеніе. Оба смотрятъ другъ на друга: у одного лицо скорбно и мрачно, у другого взоръ прискорбный, но ясный.

Въ третьей части — бесѣда друзей. Эсхинъ винитъ надежду на счастье, которая была причиной ихъ разлуки; теперь опытъ убѣдилъ его, что надежда лукавый предатель. Судя по задумчивому взгляду Теона, онъ думаетъ, что и другъ его дошелъ до того же убѣжденія, оставаясь на родныхъ берегахъ, что мирная домашняя жизнь принесла ему такую же печаль. Теонъ со вздохомъ указалъ ему на гробъ, но не для того, чтобы подтвердить догадку друга. Изъ жизни онъ вынесъ совсѣмъ другое убѣжденіе: гробъ только безмолвный свидѣтель, что и боги посылаютъ намъ жизнь для счастья; но съ нею все же неразлучна и печаль. Это законъ жизни, но онъ не долженъ мѣшать сознанію, что и жизнь и вселенная прекрасны. Теонъ видѣлъ земное блаженство, только нашелъ его не тамъ, гдѣ искалъ Эсхинъ — не въ быстрыхъ радостяхъ, не въ ложныхъ мечтахъ. Онъ понялъ, что то на свѣтѣ не наше, что можетъ въ минуту разрушить посторонняя сила, слѣдственно, тамъ нечего и искать счастья. Нетлѣнныя блага только въ сердцѣ — любовь и сладость возвышенныхъ мыслей; ихъ не въ состояніи разрушить никакая сила; онѣ и должны составить источникъ счастія. Что этотъ выводъ не мечта, Теонъ представляетъ въ примѣръ себя: онъ любилъ и былъ счастливъ. Онъ испыталъ нравственную силу любви: лишь только ею освятилась его душа, какъ жизнь предстала ему въ красотѣ. Онъ испыталъ и силу возвышен-

ныхъ мыслей: при ихъ блескѣ онъ яснѣе видѣлъ великость творенья. Изъ всего этого явилась вѣра, что земной путь его ведетъ къ прекрасной возвышенной цѣли. Но испыталъ онъ, что съ земнымъ счастьемъ неразлучна и печаль: кого любилъ онъ, того теперь уже нѣтъ. При этомъ слѣдуетъ вопросъ: совершенно ли уничтожается счастье этой печалью, и остаются ли безслѣдными прежніе счастливые дни? Теонъ отвѣчаетъ отрицательно и опредѣляетъ значеніе прошедшаго, настоящаго и будущаго: для сердца прошедшее вѣчно; въ немъ остается любовь и послѣ утраты любимаго существа; она переходитъ въ настоящемъ въ страданье, въ скорбь; но и самая скорбь есть не что иное, какъ голосъ неизмѣнной надежды, что въ будущемъ погибшее намъ возвратится гдѣ-то въ знакомой, но тайной странѣ. Любовь навсегда уничтожаетъ чувство одиночества: за утратою милаго существа воспоминаніе переноситъ прошедшее въ настоящее: свѣтъ остается все такимъ же, полный *ею*, хотя *ее* уже и нѣтъ тамъ; та возвышенная цѣль жизни, къ которой бодро стремились вдвоемъ, остается и для одного; дорога къ ней не измѣняется. Все это такія узы, которыхъ не разрушитъ могила. Для жизни остается еще украшеніе высокой мысли: на землѣ представляется много разсыпанныхъ благъ, творенье является полнымъ славы, — все это привлекаетъ къ себѣ благодарный взоръ. Міръ озаряется сладкою надеждою на лучшую жизнь, гдѣ произойдетъ соединеніе съ утраченнымъ милымъ существомъ; а эта надежда ставитъ выше судьбы, и земная жизнь дѣлается священна. Здѣсь жизнь сердца соединяется съ жизнію ума — съ сознаніемъ своей *человѣчности*, что и возвышаетъ душу. Безмолвный же таинственный гробъ только болѣе убѣждаетъ, что лучшее въ жизни еще впереди, что ожидаемое будетъ навѣрно; тамъ ждетъ сопутникъ, на мигъ явившійся въ жизни.

Передавъ Эсхину свои убѣжденія, Теонъ указываетъ, въ чемъ ошибся другъ его: онъ искалъ благъ внѣ себя, а не въ самомъ себѣ, и утратилъ эти послѣднія, которыя только и могутъ назваться вѣрными. Вмѣсто нихъ развилось въ немъ только одно чувство — презрѣніе къ жизни; но съ этимъ гибельнымъ чувствомъ ужасенъ и самый свѣтъ. Противъ него Теонъ предлагаетъ Эсхину свою дружбу, примиреніе съ природой и жизнью и вѣру въ красоту вселенной. Небо вмѣстѣ съ жизнію дало намъ *все*, какъ средство къ великому:

И горе и радость — все къ цѣли одной:
Хвала жизнедавцу — Зевесу.

Въ этомъ стихотвореніи излагаются тѣ идеи, которыя обыкновенно развивались романтическими поэтами и которыя повторяются у Жуковскаго во многихъ его произведеніяхъ. Здѣсь всѣ онѣ сгруппированы вмѣстѣ: изображеніе духовной стороны жизни человѣка, независимо отъ времени и мѣста его существованія, исканіе идеала въ самомъ себѣ, а не во внѣшнемъ мірѣ, что, между прочимъ, представлялъ и Шиллеръ, вѣчность чувства любви, въ чемъ и должно

искать счастія; для сердца прошедшее вѣчно, страданье въ разлукѣ есть та же любовь, надъ сердцемъ утрата безсильна; отсюда сладость воспоминанія, прелесть грусти въ настоящемъ, надежда на загробное соединеніе съ своимъ идеаломъ въ будущемъ, безпрестанные порывы души къ небу, увѣренность, что земной путь лежитъ къ прекрасной возвышенной цѣли; сознавшему эту цѣль вселенная кажется прекрасною, жизнь священною. Все это составляло темы романтическихъ поэтовъ, и хотя иногда они представляли лица изъ міра древне-классическаго, но съ нимъ очень мало вяжутся всѣ эти идеи. Такъ и въ этомъ стихотвореніи Жуковскаго мы слышимъ имена: Зевеса, Вакха, Эрота, Авроры, пенатовъ; но напрасно будемъ искать дѣйствительно классическаго міра; здѣсь мы видимъ міръ, которому невозможно подыскать національное названіе; здѣсь *человѣкъ*, а не житель извѣстной земли и извѣстнаго времени; отсюда и нѣкоторая отвлеченность въ самыхъ образахъ, даже въ описаніи природы и очень часто преобладаніе идеи надъ формою. Смѣшеніе міровъ римскаго и греческаго, особенно въ миѳологіи, также очень обыкновенно у романтическихъ поэтовъ; а это показываетъ, что ни тотъ ни другой міръ не представляется имъ въ ясныхъ и живыхъ образахъ. Такъ, у Жуковскаго съ греческими Зевесомъ, Вакхомъ, Эротомъ соединяются римскіе пенаты, Аврора. У такихъ поэтовъ идея важнѣе всего; она по своей общности требовала и соотвѣтственныхъ образовъ, т.-е. изображенныхъ только въ общихъ чертахъ, а не въ подробностяхъ при исторической обстановкѣ. *Стоюнинъ.*

Торжество побѣдителей.

Нигдѣ съ такою полнотою и такою силою не выразилъ Шиллеръ, не воспроизвелъ поэтическаго образа Эллады, какъ въ „Торжествѣ побѣдителей“. Эта пьеса есть апоѳеоза всей жизни, всего духа Греціи: эта пьеса — вмѣстѣ и поэтическая тризна и побѣдная пѣснь въ честь отечества, боговъ и героевъ. Она написана въ греческомъ духѣ, облита свѣтомъ мірообъемлющаго созерцанія греческаго. Шиллеръ говоритъ не отъ себя: онъ воскресилъ Элладу и заставилъ ее говорить отъ самой себя и за самое себя. Величіе и важность греческой трагедіи слиты въ этой пьесѣ Шиллера съ возвышенною и кроткою скорбью греческой элегіи. Въ ней видится и свѣтлый Олимпъ съ его блаженными обитателями, и подземное царство Аида, и земля, съ ея добромъ и зломъ, съ ея величіемъ и ничтожностію, — и царящая надъ всѣми ими мрачная Судьба, верховная владычица боговъ и смертныхъ... Нельзя шире и вѣрнѣе воспроизвести нравственной физіономіи народа, уже не существующаго столько тысячелѣтій!

Побѣдоносные греки готовятся отплыть отъ враждебныхъ береговъ Трои въ свое отечество и собрались къ острогрудымъ кораблямъ

праздновать тризну въ честь минувшаго. Калхасъ приноситъ жертву богамъ.

Судъ оконченъ; споръ рѣшился;
Прекратилася борьба;
Все исполнила судьба:
Градъ великій сокрушился.

Каждый изъ героевъ, участвовавшихъ въ великомъ событіи паденія „священнаго Пріамова града", высказывается какимъ-нибудь сужденіемъ, примѣненнымъ къ обстоятельству. Хитроумный Одиссей замѣчаетъ, что не всякій насладится миромъ, возвратившись въ свой домъ, и, пощаженный богомъ войны, часто падаетъ жертвою вѣроломства жены. Менелай говоритъ о неизбѣжномъ судѣ всевидящаго Кронида, карающаго преступленія. Особенно замѣчательны слова Аякса Олеида:

Пусть веселый взоръ счастливыхъ
(Оилеевъ сынъ сказалъ)
Зритъ въ богахъ боговъ правдивыхъ;
Судъ ихъ часто слѣпъ бывалъ:
Сколькихъ бодрыхъ жизнь поблекла!
Сколькихъ низкихъ рокъ щадитъ!...
Нѣтъ великаго Патрокла;
Живъ презрительный Терситъ.

Но эта горестная и мрачная мысль сейчасъ же, по свойству всеобщаго и многосторонняго духа греческаго, разрѣшается въ веселое и свѣтлое созерцаніе:

Смертный! царь Зевесъ Фортунѣ
Своенравной предалъ насъ:
Уловляй же быстрый часъ,
Не тревожа сердца втуне.

Вообще, эти четверостишія, слѣдующія за каждымъ куплетомъ, напоминаютъ собою хоръ изъ греческой трагедіи. Олеидъ продолжаетъ:

Лучшихъ бой похитилъ ярый!
Вѣчно памятенъ намъ будь,
Ты, мой братъ, ты, подъ удары
Подставлявшій твердо грудь,
Ты, который насъ, пожаромъ
Осажденныхъ, защитилъ...
Но коварнѣйшему даромъ
Щитъ и мечъ Ахилловъ былъ.

Миръ тебѣ во тьмѣ Эрева,
Жизнь твою не врагъ отнялъ:
Ты своею силой палъ,
Жертва гибельнаго гнѣва.

Воспоминаніе объ Ахиллѣ дышитъ всею полнотою греческаго созерцанія героизма:

О, Ахиллъ! о, мой родитель!
(Возгласилъ Неоптолемъ)
Быстрый міра посѣтитель,
Жребій лучшій взялъ ты въ немъ.

Жить въ любви племенъ дѣлами—
Благо первое земли;
Будемъ вѣчны именами
И сокрытые въ пыли!

Слава дней твоихъ нетлѣнна;
Въ пѣсняхъ будетъ цвѣсть она:
Жизнь живущихъ невѣрна,
Жизнь отжившихъ неизмѣнна!

Великодушная похвала Гектору, вложенная Шиллеромъ въ уста Діомеда, есть истинный образецъ высокаго въ чувствованіи и выраженіи:

Смерть велитъ умолкнуть злобѣ:
(Діомедъ провозгласилъ)
Слава Гектору во гробѣ!
Онъ краса Пергама былъ;
Онъ за край, гдѣ жили дѣды,
Великодушно пролилъ кровь;
Побѣдившимъ — честь побѣды!
Охранявшему — любовь!

Кто, на судъ явясь кровавый,
Славно палъ за отчій домъ:
Тотъ, почтенный и врагомъ,
Будетъ жить въ преданьяхъ славы.

Но что̀ можетъ сравниться съ этою трогательною, этою умиляющею душу картиною „убѣленнаго жизнію“ Нестора, съ словами кроткаго утѣшенія подающаго кубокъ страждущей Гекубѣ! Здѣсь въ рѣзкой характеристической чертѣ схвачена вся гуманность греческаго народа:

Несторъ, жизнью убѣленный,
Нацѣдилъ вина фіалъ
И Гекубѣ сокрушенной
Дружелюбно выпить далъ.
Пей страданій утоленье,
Добрый Вакховъ даръ вино:
И веселость и забвенье
Проливаетъ въ насъ оно.

Пей, страдалица! печали
Услаждаются виномъ:
Боги жалостные въ немъ
Подкрѣпленье сердцу дали.

Вспомни матерь Ніобею:
Что извѣдала она!
Сколь ужасная надъ нею
Казнь была совершена!
Но и съ нею, безотрадной,
Добрый Вакхъ не даромъ былъ:
Онъ струею виноградной
Въ мигъ тоску въ ней усыпилъ.

Если грудь виномъ согрѣта,
И въ устахъ вино кипитъ:
Скорби наши быстро мчитъ
Ихъ смывающая Лета!

Эта высокая ораторія заключается мрачнымъ финаломъ: пророчество Кассандры намекаетъ на перемѣнчивость участи всего подлуннаго и на горе, ожидающее самихъ побѣдителей Трои:

И вперила взоръ Кассандра,
Внявъ шепнувшимъ ей богамъ,
На пустынный брегъ Скамандра,
На дымящійся Пергамъ.

Все великое земное
Разлетается, какъ дымъ:
Нынѣ жребій выпалъ Трои,
Завтра выпадетъ другимъ...

Но съ греческимъ міросозерцаніемъ несообразно оканчивать высокую пѣснь раздирающимъ душу диссонансомъ: богатая и полная жизнь сыновъ Эллады въ самой себѣ, даже въ собственныхъ диссонансахъ, находила выходъ въ гармонію и примиреніе съ жизнью, — и потому пьеса Шиллера достойно заключается утѣшительнымъ обращеніемъ отъ смерти къ жизни, словно музыкальнымъ аккордомъ:

Смертный, силѣ, насъ гнетущей,
Покоряйся и терпи:
Спящій въ гробѣ, мирно спи;
Жизнью пользуйся, живущій.

Такой былъ греческій романтизмъ: на гробахъ и могилахъ загоралась для него вѣчная заря жизни; несчастія и гибель индивидуальнаго не скрывали отъ его глубокаго и широкаго взгляда торжественнаго хода и блаженствующей полноты общаго; на веселыхъ пиршествахъ ставилъ онъ урны съ пепломъ почившихъ, статуи смерти, и, глядя на нихъ, воскликнулъ:

Спящій въ гробѣ, мирно спи;
Жизнью пользуйся, живущій.

Смерть для грека являлась не мрачнымъ, отвратительнымъ остовомъ, но прекраснымъ, тихимъ, успокоительнымъ геніемъ сна, кротко и любовно смежавшимъ навѣки утомленныя страданіемъ и блаженствомъ жизни очи...

Переводъ Жуковскаго „Торжества побѣдителей“ есть образецъ превосходныхъ переводовъ, — такъ что если, при тщательномъ сравненіи, иныя мѣста окажутся не вполнѣ вѣрно, или не вполнѣ сильно переданными, — зато еще болѣе найдется мѣстъ, которыя въ переводѣ сильнѣе и лучше выражены. Такъ, напримѣръ, у Шиллера сказано просто: „И въ дикое празднество радующихся примѣшивали онѣ (плѣнныя жены и дѣвы троянскія) плачевное пѣніе, оплакивая собственныя страданія и паденіе царства“. У Жуковскаго это выражено такъ:

И съ побѣдной пѣснью дикой
Ихъ сливался тихій стонъ
По тебѣ, святой, великой,
Невозвратный Иліонъ.

Бѣлинскій.

Жуковскій, какъ переводчикъ Шиллера. Особенности перевода баллады „Торжество побѣдителей“.

За Жуковскимъ прочно установилась слава лучшаго русскаго поэта-переводчика, но до послѣдняго времени русская литературная критика не указывала: какими именно качествами переводовъ Жуковскаго обусловливается эта слава? Детальное сравненіе этихъ переводовъ съ подлинниками представляетъ не одинъ научно-литературный интересъ: уклоненіе переводчика въ ту или другую сторону отъ подлинника можетъ служить масштабомъ для опредѣленія поэтической

индивидуальности Жуковскаго. Въ виду психологическихъ основъ современной эстетики, сравненіе переводовъ Жуковскаго съ подлинниками представляетъ интенсивно-живой, современный интересъ. Такой сравнительно-психологическій методъ представляетъ удобства и чисто-литературнаго свойства: выдѣляя на первый планъ идейное *содержаніе* изучаемаго произведенія, онъ облегчаетъ пониманіе и оцѣнку *формы*, въ которую облеклось это содержаніе. Вотъ почему именно этотъ методъ мы примѣнили къ разсмотрѣнію поэтической дѣятельности Жуковскаго, какъ переводчика Шиллера.

Эту дѣятельность можно раздѣлить на три періода: первый включаетъ переводы Жуковскаго, начиная отъ перваго подражанія въ 1805 г., до 1821 г.; центральнымъ моментомъ второго періода является 1821 г., когда былъ оконченъ капитальнѣйшій переводъ изъ Шиллера — „Орлеанская дѣва“; третій періодъ продолжается отъ 1821 г. до 1833 г., когда былъ сдѣланъ послѣдній поэтическій переводъ изъ Шиллера — баллады „Элевзинскій праздникъ“. Такого рода дѣленіе имѣетъ за собою не одни основанія удобства: каждому изъ нихъ присуще развитіе особыхъ литературныхъ и вообще художественныхъ качествъ переводчика.

Въ 1828 г. Жуковскій перевелъ балладу „Торжество побѣдителей“ (Das Siegesfest) точнымъ размѣромъ и съ сохраненіемъ числа стиховъ подлинника.

Переводъ отличается обычными достоинствами и недостатками Жуковскаго. Прежде всего замѣтно свойственное переводчику уклоненіе отъ всѣхъ простѣйшихъ жизненныхъ явленій и ощущеній. Четвертый стихъ первой строфы у Шиллера гласитъ:

Reich beladen mit Raub —

то-есть:

(Побѣдители), обремененные богатымъ грабежомъ.

Стихъ этотъ въ переводѣ пропущенъ. Зато въ той же строфѣ прекрасно передано выраженіе „auf den hohen Schiffen“ — „*острогрудые* корабли“; этотъ эпитетъ, принадлежащій всецѣло Жуковскому, въ особенности умѣстенъ по отношенію къ военнымъ кораблямъ, которые какъ бы готовы врѣзаться въ бортъ вражескаго судна. Во второй строфѣ ослаблено описаніе несчастныхъ троянокъ. У Шиллера:

Und in langen Reihen, klagend,
Sass der Trojerinnen Schaar,
Schmerzvoll an die Brüste schlagend,
Bleich, mit aufgelöstem Haar.

То-есть:

И длинными рядами, плача,
сидѣла толпа троянокъ;
онѣ били себя въ грудь, въ печали,
блѣдныя, съ распущенными волосами.

У Жуковскаго:

Брегомъ шла толпа густая
Иліонскихъ дѣвъ и женъ:
Изъ отеческаго края
Ихъ вели въ далекій плѣнъ.

Сравнительно съ подлинникомъ, ослабленъ и конецъ четвертой строфы. У Шиллера:

Drum erhebe frohe Lieder,
Wer die Heimat wieder sieht,
Wem noch frisch das Leben blüht!
Denn nicht Alle kehren wieder!

То-есть:

Итакъ, пусть затянетъ веселую пѣсню,
кто снова увидитъ отчизну,
кому еще цвѣтетъ свѣжая жизнь!
Ибо не всѣ вернутся домой!

У Жуковскаго выраженное въ переводѣ чувство болѣе отвлеченно и вычурно:

Счастливъ тотъ, кому сіянье
Бытія сохранено —
Тотъ, кому вкусить дано
Съ милой родиной свиданье!

Красивъ и близокъ переводъ пятой строфы. У Шиллера:

Alle nicht, die wieder kehren,
Mögen sich des Heimzugs freun,
An den häuslichen Altären
Kann der Mord bereitet sein.
Mancher fiel durch Freundestücke,
Den die blut'ge Schlacht verfehlt!
Sprach's Ulyss mit Warnungsblicke,
Von Athenens Geist beseelt.
Glücklich, wem der Gattin Treue
Rein und keusch das Haus bewahrt!
Denn das Weib ist falscher Art,
Und die Arge liebt das Neue.

У Жуковскаго:

И не всякій насладится
Миромъ, въ свой пришедши домъ:
Часто злобный ковъ таится
За домашнимъ алтаремъ;
Часто Марсомъ пощаженный
Погибаетъ отъ друзей!
(Рекъ, Палладой вдохновенный,
Хитроумный Одиссей).
Счастливъ тотъ, чей домъ украшенъ.
Скромной вѣрностью жены!
Жены алчутъ новизны,
Постоянный миръ имъ страшенъ.

Въ слѣдующей затѣмъ (шестой) строфѣ смягчены краски поэтическаго образа. У Шиллера·

Und des frisch erkämpften Weibes
Freut sich der Atrid, und strickt
Um den Reiz des schönen Leibes
Seine Arme hochbeglückt.

То-есть:

И Атридъ (т.-е. Менелай) радуется
вновь завоеванной женѣ (Еленѣ) и обвиваетъ
прелесть прекраснаго тѣла
своею рукою, въ высшемъ блаженствѣ.

Жуковскій, опасаясь фривольности, перевелъ это мѣсто двумя строками:

И стоящій близъ Елены
Менелай тогда сказалъ.

Въ седьмой строфѣ сохранена афористическая манера стиха — пріемъ, рѣдко удававшійся переводчику: У Шиллера:

Ohne Wahl vertheilt die Gaben,
Ohne-Billigkeit das Glück;
Denn Patroklus liegt begraben,
Und Thersites kommt zurück!

Жуковскій:

Сколько бодрыхъ жизнь поблекла!
Сколькихъ низкихъ рокъ щадитъ!...
Нѣтъ великаго Патрокла,
Живъ презрительный Терситъ!

Конецъ той же строфы, близкій къ подлиннику, замѣчателенъ рѣдкой рифмой и бойкостью стиха:

Смертный! Царь Зевесъ *фортунѣ*
Своенравной предалъ насъ:
Уловляй же быстрый часъ,
Не тревожа сердца *втунѣ*.

Въ восьмой строфѣ опущена красивая деталь. Шиллеръ говоритъ про Аякса:

Der ein Thurm war in der Schlacht, —

то-есть:

Онъ былъ башнею въ бою.

Жуковскій переводитъ проще и слабѣе:

...подъ удары
Подставлявшій твердо грудь.

Девятая строфа замѣчательна слѣдующимъ отступленіемъ отъ подлинника. Неоптолемъ Шиллера, вспоминая своего отца, убитаго безвременно Ахилла, утѣшается на мысли:

Von des Leben Gütern allen
Ist der Ruhm das höchste doch.

То-есть:

Изъ всѣхъ жизненныхъ благъ
высшее — все-таки *слава*.

Жуковскій, очевидно, съ этимъ несогласенъ, потому что переводитъ:

Жить въ *любви племенъ* дѣлами —
Благо первое земли.

Вмѣсто славы, такимъ образомъ, появляется народная любовь — гуманный сентиментализмъ, характерный для славянина Жуковскаго, но не для эллина-Неоптолема и даже не для нѣмца-Шиллера.

Удалось Жуковскому очень трудное для перевода послѣднее четверостишіе той же строфы. Шиллеръ:

Tapfrer, deines Ruhmes Schimmer
Wird unsterblich sein im Lied;
Denn das ird'sche Leben flieht,
Und die Todten dauern immer.

Буквально:

Храбрецъ! Сіянье твоей славы
будетъ безсмертно черезъ пѣсню;
ибо земная жизнь убѣгаетъ,
мертвые же не имѣютъ конца.

Жуковскій:

Слава дней твоихъ нетлѣнна,
Въ пѣсняхъ будетъ цвѣсть она:
Жизнь живущихъ невѣрна,
Жизнь отжившихъ неизмѣнна.

Послѣдніе два стиха удивительно красивы по изяществу антитезы. Превосходно переведенъ тостъ Діомеда за Гектора (въ десятой строфѣ). Шиллеръ:

Der für seine Hausaltäre
Kämpfend ein Beschirmer fiel —
Krönt den Sieger grössre Ehre,
Ehret ihn das schönre Ziel.

Буквально:

За домашніе алтари
боролся онъ, ихъ защитникъ,
если побѣдителя вѣнчаетъ бо́льшая честь,
то ему дѣлаетъ честь лучшее намѣреніе.

Простота, съ которой Жуковскій перевелъ это отвлеченное разсужденіе на языкъ чувствъ, всѣмъ сразу понятный, по истинѣ геніальна. Въ его переводѣ эта строфа читается:

Онъ за край, гдѣ жили дѣды,
Веледушно пролилъ кровь.
Побѣдившимъ — честь побѣды!
Охранявшему — любовь!

Слѣдующія двѣ строфы (одиннадцатая и двѣнадцатая) не передаютъ одного, очень оригинальнаго и реалистическаго, Шиллеровскаго пріема. Несторъ, какъ старикъ патріархъ, не выходящій изъ тона поученія, любитъ повторяться. Протягивая бокалъ Гекубѣ, этотъ „старый кутила“ (der alte Zecher“ — эпитетъ, пропущенный переводчикомъ) повторяетъ ей дважды одно и то же:

Trink ihn aus, den Trank der Labe,
Und vergiss den grossen Schmerz!
Wundervoll ist Bacchus Gabe,
Balsam für's zerrissne Herz.
Trink ihn aus, den Trank der Labe,
Und vergiss den grossen Schmerz!
Balsam für's zerrissne Herz,
Wundervoll ist Bacchus Gabe.

У Жуковскаго этого повторенія нѣтъ; онъ переводитъ:

Пей страданій утоленье,
Добрый Вакховъ даръ — вино:
И веселость и забвенье
Проливаетъ въ насъ оно.
Пей, страдалица! печали
Услаждаются виномъ:
Боги жалостные въ немъ
Подкрѣпленье сердцу дали.

Тотъ же пріемъ, намѣренно незамѣченный Жуковскимъ, употребленъ Шиллеромъ и въ двѣнадцатой строфѣ. Можетъ-быть, Жуковскій хотѣлъ идеализировать мудраго Нестора и немного скрасить его болтливость. Послѣдняя строфа, въ первой ея половинѣ, передана не особенно удачно для Жуковскаго. У Шиллера:

Rauch ist alles ird'sche Wesen;
Wie des Dampfes Saüle weht,
Schwinden alle Erdengrössen,
Nur die Götter bleiben stät.

То-есть:

Дымъ — все земное бытіе;
такъ, какъ дымный столбъ,
таетъ и исчезаетъ все земное величіе;
только боги остаются вѣчно.

Послѣдней, оптимистической мысли Жуковскій не замѣчаетъ и переводитъ пессимистически:

Все великое, земное
Разлетается, какъ дымъ:
Нынѣ жребій выпалъ Троѣ,
Завтра выпадетъ другимъ.

Такой же, черезчуръ ноющей, нотой отзывается переводъ и начала заключительнаго четверостишія. У Шиллера:

Um das Ross des Reiters schweben,
Um das Schiff die Sorgen her.

То-есть:

Надъ конемъ всадника
и надъ кораблемъ (морехода) витаютъ заботы.

Жуковскій:

Смертный, силѣ, насъ гнетущей,
Покоряйся и терпи!

Но съ неожиданною силой весь талантъ Жуковскаго проявляется въ переводѣ послѣднихъ двухъ, и самыхъ важныхъ, стиховъ всей баллады. Шиллеръ:

Morgen können wir's nicht mehr,
Darum lasst uns heute leben!

То-есть:

Завтрашняго дня мы вовсе не знаемъ —
будемъ же жить сегодня!

У Жуковскаго несравненно глубже, поэтичнѣе и сильнѣе:

Спящій въ гробѣ, мирно спи;
Жизнью пользуйся, живущій.

Этимъ послѣднимъ двустишіемъ переводчикъ превосходно передалъ идею автора — изобразить примирительное настроеніе побѣдителя (вообще, всякаго человѣка, достигшаго цѣли и потому склоннаго къ гордости), при мысли о тщетѣ земныхъ успѣховъ. Въ эти два стиха свободно улеглась вся эллинская житейская философія, гармонически-уравновѣшенная, просвѣщенная и культурная. Мысль переводчика оказалась гораздо глубже мысли автора, эпикуреизмъ котораго, высказанный въ двухъ послѣднихъ стихахъ подлинника, кажется, въ сравненіи съ философіей перевода болѣе поверхностнымъ.

Въ общемъ баллада „Торжество побѣдителей", благодаря отдѣльнымъ геніальнымъ штрихамъ, можетъ вполнѣ замѣнить подлинникъ, благодаря тому, что въ третьемъ періодѣ (1821—1833 гг.) переводческой дѣятельности Жуковскаго замѣчается развитіе новаго качества — проникновенія въ самую глубь авторской идеи. *Чешихинъ.*

Жалоба Цереры.

Древніе греки представляли творческую силу природы въ видѣ богини земныхъ плодовъ, Цереры. Вмѣстѣ съ Зевсомъ, богомъ неба, Аполлономъ, означавшимъ солнце, и другими олимпійскими богами,

она обитала въ свѣтломъ эѳирѣ и изображала собою творческое начало жизни. Въ противоположность этимъ богамъ, Плутонъ, богъ тьмы, или Эреба, властвовалъ въ подземномъ царствѣ, Аидѣ, куда челнъ Харона перевозилъ души умершихъ черезъ рѣку Стиксъ и озеро Ахеронъ. По рѣшенію парокъ, богинь судьбы, туда отправлялись послѣ опредѣленнаго срока только смертные: богамъ же свѣтлаго Олимпа были недоступны берега подземныхъ водъ. Греческое преданіе сообщаетъ, что подземный богъ Плутонъ похитилъ дочь Цереры, Прозерпину, и она стала царицею Аида, — олицетвореніе того, что всѣ растенія увядаютъ, тлѣютъ, мѣшаются съ землею; но Церера нашла средство сообщаться съ дочерью, бросивъ въ землю зерно: изъ тлѣнія, подъ грѣющими лучами солнца, возникла новая жизнь, изъ подземнаго мрака пришелъ на свѣтъ въ новыхъ, весеннихъ цвѣтахъ отвѣтъ Прозерпины на любящее слово матери. Такъ, по подобію возрожденія природы весною, составилось у грековъ понятіе о жизни души послѣ смерти. На все это въ греческихъ преданіяхъ мы находимъ только намеки; съ полною же ясностью изложена идея, скрытая въ поклоненіи Церерѣ нѣмецкимъ поэтомъ Шиллеромъ въ его балладѣ: „Жалоба Цереры“, переведенной на русскій языкъ Жуковскимъ. Въ стихотвореніи „Жалоба Цереры“ выведена сама богиня, тоскующая о дочери. Порядокъ мыслей слѣдующій. „Вновь повѣялъ геній жизни, безоблачный Зевесъ (небо) глядится въ зеркальныя воды, все расцвѣло, радуется — лишь со мною нѣтъ моей Прозерпины. Вездѣ я ее искала, гдѣ только свѣтятъ лучи Аполлона (солнца); всевидящее солнце не нашло ее подъ небомъ; она тамъ, въ Аидѣ, который недоступенъ олимпійскимъ богамъ. Живому не проникнуть въ подземный мракъ, а умершій не возвратится на свѣтъ, — и некому принести мнѣ вѣсть отъ дочери. Смертныя матери счастливѣе меня, безсмертной богини; на погребальномъ кострѣ сгоритъ ихъ тѣло, а душа полетитъ на свиданіе съ дѣтьми... Парки! дайте мнѣ умереть. Легкой тѣнью сошла бы я въ Аидъ, гдѣ подлѣ своего супруга Плутона сидитъ на престолѣ моя грустная дочь: она меня узнала бы, самъ богъ смерти былъ бы тронутъ нашимъ свиданьемъ. Напрасная мечта! Геліосъ (солнце) ходитъ все тѣмъ же путемъ; Зевесъ все также безвластенъ надъ тѣнями умершихъ. Неужели же нѣтъ для насъ никакой связи, нѣтъ никакого сближенія между мертвыми и живыми? Да, я найду средство повести бесѣду съ дочерью. Когда Борей (сѣверный вѣтеръ) сгубитъ всѣ растенія, я сберу ихъ сѣмена, данныя Вертумномъ (осенью), и брошу ихъ въ землю, на жертву водамъ Стикса, на попеченіе дочери. Съ весною заиграетъ жизнь во всемъ, что умерло; солнце согрѣетъ сѣмена, и они вырвутся на свѣтъ изъ подземнаго затвора: они дадутъ корень, который будетъ питаться подземной влагой, и стебель, живущій лучами Феба (солнца). Такъ соединится умершее съ живымъ, придутъ ко мнѣ вѣсти изъ-за Коцита, подземной рѣки; дочь въ весеннихъ цвѣтахъ скажется матери. О цвѣты! въ васъ я вижу образъ дочери и сравняю васъ красотою съ Авророй (богинею зари).

Здѣсь выраженіе чувства, лиризмъ, выходитъ изъ самаго положенія Цереры, какъ матери. Конечно, въ томъ, что Шиллеръ далъ чувству Цереры тотъ, а не другой оттѣнокъ, мы видимъ отчасти личный взглядъ поэта. Шиллеръ проникнутъ болѣе возвышеннымъ, идеальнымъ настроеніемъ, какого не имѣли греки. Это выражается въ утонченныхъ описаніяхъ природы, въ исключительномъ анализѣ чувства и особенно въ изображеніи нѣжныхъ, идеальныхъ стремленій сердца. Таковы, напримѣръ, слова Цереры:

Нѣтъ ли жъ мнѣ чего отъ милой,
Въ *сладкопамятный завѣтъ:*
Что осталось все, какъ было,
Что для насъ разлуки нѣтъ?

Нѣтъ ли *тайныхъ узъ,* чтобъ ими
Снова сблизить мать и дочь,
Мертвыхъ съ милыми живыми,
Съ свѣтлымъ днемъ подземну ночь?...

Церера въ живомъ дыханіи весеннихъ цвѣтовъ слышитъ голосъ дочери:

Онъ разлуку услаждаетъ,
Онъ душѣ моей твердитъ,

Что *любовь не умираетъ*
И въ отшедшихъ за Коцитъ.

Однако, эта идея о творческой силѣ природы уже заключается въ греческомъ преданіи: Шиллеръ только обратилъ болѣе вниманія на связанную съ нею идею любви, которая естественно возникаетъ въ сердцѣ человѣка при взглядѣ на красоту творенія. И та и другая идея представлены пластично въ живомъ вымыслѣ, который совершенно переноситъ насъ въ кругъ греческихъ вѣрованій; оттого встрѣчается столько греческихъ названій: Зевесъ, Аидъ, Плутонъ, Харонъ, Аполлонъ, Фебъ, парки и проч. Тутъ выступаетъ передъ нами греческая жизнь, греческія понятія. Кромѣ того, какъ мы уже замѣтили, общечеловѣческое чувство матери представлено въ цѣломъ образѣ и сообразно съ тѣмъ, какъ это чувство могло выразиться въ олимпійской богинѣ. Все это даетъ намъ поводъ сказать, что въ произведеніи Шиллера много объективнаго, эпическаго характера.

Водовозовъ.

„Жалоба Цереры“ въ переводѣ Жуковскаго.

Къ 1829 г. относится переводъ Шиллеровой баллады „Жалоба Цереры“ (Klage der Ceres) — чисто-лирическая вещь, вполнѣ удавшаяся Жуковскому.

Даже въ этой балладѣ замѣтна разница между Шиллеромъ, идеалистомъ-классикомъ, и Жуковскимъ, идеалистомъ-романтикомъ: любви къ внѣшнему міру, къ непосредственнымъ, реальнымъ впечатлѣніямъ и къ жизненнымъ, яркимъ краскамъ у Шиллера несравненно болѣе, чѣмъ у Жуковскаго. Поэтому переводчикъ всегда находитъ у автора рѣзкости, нуждающіяся, по его мнѣнію, въ смягченіи. Это замѣтно даже въ переводѣ „Жалобы Цереры“.

Въ первой строфѣ, при всей неопредѣленности Шиллеровскаго пейзажа, мы все таки найдемъ болѣе реалистическихъ красокъ, чѣмъ въ переводѣ. У Шиллера:

Ist der holde Lenz erschienen?
Hat die Erde sich verjüngt?
Die besonnten Hügel grünen,
Und des Eises Rinde springt.
Aus der Ströme blauem Spiegel
Lacht der unbewolkte Zeus,
Milder wehen Zephyrs Flügel,
Augen treibt das junge Reis.
In dem Hain erwachen Lieder,
Und die Oreade spricht:
Deine Blumen kehren wieder,
Deine Tochter kehret nicht.

То-есть:

Возвратилась ли милая весна?
помолодѣла ли земля?
зеленѣютъ облитые солнцемъ холмы,
и лопается ледяная кора.
Изъ голубого зеркала потоковъ
смѣется безоблачный Зевесъ,
мягче вѣютъ крылья Зефира,
юная лоза пустила почки.
Въ рощѣ звучатъ пѣсни,
и Ореада говоритъ (мнѣ):
твои цвѣты вернутся,
но дочь твоя не вернется.

Въ переводѣ нѣтъ ни „лопающагося льда“, ни „почекъ лозняка“, ни „пѣсенъ въ рощахъ“, а вмѣсто наивно-вопросительныхъ начальныхъ строкъ появляется отвлеченный философскій терминъ: „геній жизни“. Жуковскій переводитъ:

Снова геній жизни вѣетъ;
Возвратилася весна;
Холмъ на солнцѣ зеленѣетъ;
Ледъ разрушила волна;
Распустившійся дымится
Благовоніями лѣсъ,
И безоблаченъ глядится
Въ воды зеркальны Зевесъ;
Все цвѣтетъ — лишь мой единый
Не взойдетъ прекрасный цвѣтъ:
Прозерпины, Прозерпины
На землѣ моей ужъ нѣтъ.

Такимъ образомъ, Жуковскій, ослабляя краски (какъ романтиченъ этотъ дымящійся „благовоніями“ лѣсъ!), соблюдаетъ лишь настроеніе подлинника, которое (повтореніемъ возгласа „Прозерпины“) къ концу строфы даже усиливаетъ.

Переводъ очень близокъ къ подлиннику. Жуковскій съ особеннымъ стараніемъ передаетъ строфу, изображающую стремленіе къ страданію, особенно таинственное со стороны безсмертной и блаженной богини: на подобныя ощущенія онъ отзывается всею своею душою романтика по призванью, по рожденью. У Шиллера (четвертая строфа):

Mütter, die aus Pyrrha's Stamme
Sterbliche geboren sind,
Dürfen durch des Grabes Flamme
Folgen dem geliebten Kind;
Nur was Jovis Haus bewohnet,
Nahet nicht dem dunkeln Strand,
Nur die Seligen vorschonet,
Parcen, eure strenge Hand.
Stürzt mich in die Nacht der Nächte
Aus des Himmels goldnem Saal!
Ehret nicht der Göttin Rechte;
Ach, sie sind der Mutter Qual.

У Жуковскаго:

Сколь завидна мнѣ, печальной,
Участь смертныхъ матерей!
Легкій пламень погребальный
Возвращаетъ имъ дѣтей;
А для насъ, боговъ нетлѣнныхъ,
Что усладою утратъ?
Насъ, безрадостно-блаженныхъ,
Парки строгія щадятъ...
Парки, парки, поспѣшите
Съ неба въ адъ меня послать;
Правъ богини не щадите:
Вы обрадуете мать!

Призывъ къ паркамъ, т.-е. къ страданію, въ переводѣ сильнѣе, чѣмъ въ подлинникѣ.

Жуковскому на этотъ разъ вполнѣ удается и афористическая манера Шиллера. Церера, въ похвалу цвѣтка, какъ посредника между небомъ и землею, говоритъ у Шиллера:

Wenn der Stamm zum Himmel eilet, Gleich in ihre Pflege theilet
Sucht die Wurzel scheu die Nacht; Sich des Styx, des Aethers Macht.

У Жуковскаго:

Листъ выходитъ въ область неба, Листъ живетъ лучами Феба,
Корень ищетъ тьмы ночной; Корень — Стиксовой струей.

Изъ передачи этихъ, и тому подобныхъ, мѣстъ подлинника видно, что Жуковскій вполнѣ усвоилъ настроеніе баллады (мистическое предчувствіе связи между жизнью земною и загробною).

Чешихинъ.

Элевзинскій праздникъ.

Призывъ на праздникъ богини земледѣлія, Цереры, и значеніе его, какъ воспоминаніе тѣхъ благъ, которыми богиня осчастливила человѣка: „Церера сдружила враждебныхъ людей, жестокіе нравы смягчила и въ домъ постоянный межъ нивъ и полей шатеръ подвижной обратила“. Здѣсь представляется, что первое основаніе цивилизаціи было земледѣліе: она начинается съ той минуты, какъ человѣкъ перешелъ отъ бродячей жизни къ осѣдлой, связалъ свой трудъ съ землею и составилъ общество. Чтобы вполнѣ оцѣнить благодѣяніе Цереры, поэтъ изображаетъ то дикое состояніе, въ какомъ человѣкъ находился вначалѣ, ведя кочевую жизнь; въ пещерахъ скалъ скрывался троглодитъ, по полямъ скитался номадъ, по лѣсамъ бѣгалъ звѣроловъ. Они-то своею дикостью и кровожадностью и поразили мать Цереру, когда она впервые сошла съ Олимпа на землю, отыскивая свою похищенную дочь Прозерпину. Нигдѣ богиня не находитъ себѣ пріюта, нигдѣ не видитъ храма, по которому бы можно было заключить, что люди знаютъ и почитаютъ боговъ: человѣкъ повсюду представляется ей въ *глубокомъ униженіи*, а между тѣмъ онъ сотворенъ Зевесовой рукою, онъ облеченъ въ олимпійскую красоту, онъ владѣлецъ всего земного міра, и для чего же? Для того, чтобы въ этомъ мірѣ онъ страдалъ, какъ узникъ, брошенный въ заточенье. Богиня сожалѣетъ, что къ богамъ еще не дошла земная скорбь, что никто изъ нихъ до сихъ поръ не сжалился надъ людьми и не вырвалъ ихъ изъ бездны бѣдъ. Но чтобы понимать горе другого, нужно самому чувствовать его въ собственномъ сердцѣ. Изъ боговъ только она одна узнала горе, потерявъ дочь; одна она и поняла его огорченнымъ сердцемъ. Она-то и задумала возвысить человѣка *душою* изъ такой низости. Для этого ему должно было вступить въ *вѣчный* союзъ съ древней матерью —

землею, узнать законы времени, познакомиться съ природою. Съ такими намѣреніями богиня является передъ дикарями въ своей небесной красотѣ:

Кончивъ бой, они, какъ тигры,
Изъ черепьевъ вражьихъ пьютъ,
И ее на звѣрски игры
И на страшный пиръ зовутъ.

При этомъ приглашеніи Церера содрогается, объявляя, что богамъ кровь противна, что въ такомъ состояніи люди не выше звѣрей, которые чужды богамъ; *чистымъ угодно только чистое:*

Даръ достойнѣйшій небесъ:
Нивы колосъ первородный,
Сокъ оливы, плодъ древесъ,

слѣдовательно, то, что земля можетъ давать человѣку отъ его трудовъ. Тутъ богиня научаетъ человѣка земледѣлію и первый снопъ приноситъ въ жертву Зевесу съ молитвою просвѣтить незнающихъ его. Вѣчный богъ не отринулъ жертвы и своимъ громомъ зажегъ снопъ въ знакъ того, что жертва ему угодна. Это чудо проникло въ сердца дикарей, смягчило ихъ, и съ той минуты начинается ихъ нравственное возвышеніе: является вѣра, богопочтеніе, покорность передъ божествомъ. Съ этимъ вмѣстѣ всѣ божества сходятъ съ Олимпа на землю къ человѣку и для его возвышенія передаютъ ему разныя познанія: въ борьбѣ Ѳемиды является между людьми сознаніе правды и права собственности, какъ первое основаніе общества; являются ремесла, строятся города для безопаснаго пріюта, плотины въ защиту отъ морскихъ приливовъ, развивается кораблестроеніе, разныя искусства, созидаются храмы, утверждается бракъ, какъ союзъ священный и прочное основаніе семейной жизни. Изъ всего этого создается *гражданство.* Теперь богиня Церера обращается уже не къ дикарямъ, а къ гражданамъ, съ цѣлью опредѣлить имъ свободу, какъ нравственное основаніе жизни:

Въ лѣсѣ ищетъ *звѣрь* свободы,
Правитъ всѣмъ свободно *богъ,*
Ихъ законъ — законъ природы.

Человѣку не можетъ принадлежать ни дикая свобода звѣря, безсознательно живущаго по закону своей природы, ни творческая свобода божества, высказывающагося также въ законахъ природы. Онъ своимъ зоркимъ умомъ, составляя звено между обѣими крайностями свободы, созданъ для гражданства, для жизни въ обществѣ себѣ подобныхъ.

Здѣсь лишь нравами одними
Можетъ быть свободенъ онъ.

Эта нравственная свобода составляетъ благородство жизни, оно могло развиться только въ союзѣ человѣка съ человѣкомъ, въ союзѣ, который могъ совершиться посредствомъ связи человѣка съ землею.

Этою мыслію и оканчивается стихотвореніе. Главныя его части: 1) дикое состояніе человѣка до земледѣлія; 2) явленіе земледѣлія; 3) развитіе цивилизаціи, какъ его слѣдствія; 4) нравственное благородство человѣка. Несмотря на то, что поэтъ развиваетъ здѣсь миѳъ изъ классической древности, самыя идеи, выраженныя въ немъ, не могли принадлежать той древности, которая признавала рабство, какъ явленіе законное. Здѣсь имѣется въ виду возвысить человѣка, какъ существо нравственно свободное, которое дошло до сознанія своей свободы черезъ цивилизацію, развившуюся изъ связи человѣка съ землею. Это одна изъ прекрасныхъ идей, развиваемыхъ романтизмомъ, который стремился разъяснить нравственныя достоинства человѣка и ими возвысить его природу, что можно встрѣтить особенно у Шиллера и что Пушкинъ, говоря о Ленскомъ, назвалъ *вольнолюбивыми мечтами*.

Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ идей и развилась большая часть нашихъ писателей, начавшихъ настоящій періодъ русской литературы, который обыкновенно называютъ народнымъ. *Стоюнинъ.*

Кубокъ.

I—III. Начало баллады построено драматически, безъ эпическихъ подготовленій. Вопросомъ короля: „кто, рыцарь ли знатный, иль латникъ простой въ ту бездну прыгнетъ съ высоты?“ — предъ читателемъ сразу эффектно открывается дѣйствіе въ его сценически-исторической обстановкѣ. Вверху, на живописномъ обрывѣ высокой и дикой скалы, круто спустившейся въ море, стоитъ король, въ правой рукѣ его — золотой кубокъ, за нимъ — блестящая свита изъ рыцарей, оруженосцевъ и дамъ; внизу, въ чудный контрастъ этой безмолвно-чинной средневѣковой аристократической группѣ, оглушительно дико грохочетъ съ древности извѣстная Харибда, вѣчно-бѣснующая, неспокойная пучина Средиземнаго моря. Всѣ смотрятъ на пучину, любуются ею. У короля рождается желаніе испробовать мужество его окружающихъ; быть можетъ, въ немъ заговорило и любопытство узнать, что̀ кроется въ безднѣ. Желаніе до того живо, что король немедля выражаетъ его въ формѣ вопроса къ рыцарямъ и ихъ оруженосцамъ, и тотчасъ же бросаетъ въ море свой драгоцѣнный кубокъ, съ обѣщаніемъ подарить его въ качествѣ побѣднаго трофея тому, кто бы изъ нихъ ни досталъ его.

Обратиться къ тѣмъ и другимъ безъ различія для него было совершенно естественно. Въ средніе вѣка оруженосцы набирались изъ дѣтей благородныхъ дворянъ; семи лѣтъ, а иногда и ранѣе, поступая въ чужіе знатные дома, въ прислуживаніи старымъ рыцарямъ и дамамъ учились они всѣмъ рыцарскимъ обязанностямъ, пока, съ ихъ возрастомъ и успѣхами, руководитель не удостоивалъ ихъ рыцарскаго посвященія (la réception d'un chevalier, Ritterschlag). И рыцари не обижались за подобное приравниваніе; напротивъ, это равенство, от-

крывая доступъ всѣмъ — старымъ и молодымъ, заслуженнымъ и выслуживающимся, сильнѣе побуждало каждаго изъ нихъ ко взаимному соревнованію. Съ другой стороны — заманчива и награда. Не то, конечно, особенно важно, что кубокъ — золотой, драгоцѣнный, а то, что онъ подарокъ изъ собственныхъ рукъ короля, что онъ пріятный памятникъ совершоннаго предъ всѣми подвига, краснорѣчивый свидѣтель полученной чести. И, однакожъ, въ отвѣтъ на королевскій вызовъ рыцари и оруженосцы молча лишь смотрятъ внизъ за брошенной чашей; никто изъ нихъ не трогается съ мѣста, чтобы пріобрѣсть ее, а съ ней громкую славу и честь: такъ, значитъ, трудно было дѣло, на которое призывалъ король.

Иначе смотрѣлъ на это послѣдній. Ему казалось, что своимъ вызовомъ на борьбу съ грозною стихіей онъ не требовалъ никакого подвига и ничего болѣе не затѣвалъ, кромѣ какъ будто своеобразной гимнастической забавы, гдѣ могъ отмѣтить самаго отважнаго изъ свиты. Сопротивленіе возбуждаетъ въ немъ настойчивость, и онъ нервно повторяетъ свой вызовъ, выражая надежду, что кто-нибудь изъ нихъ да откликнется же. И опять напрасно: снова пауза, снова выжидательное молчаніе. Возможность удачи была слишкомъ ничтожна въ сравненіи съ необходимой отвагой, и потому, какъ ни затрогивалось честолюбіе свиты, взглядъ на волнующееся море парализуетъ въ ней всякую рѣшимость. Задѣтый ли за живое, или, быть можетъ, въ силу стариннаго обычая, король вызываетъ въ третій разъ, вопросъ уже ставитъ въ упоръ, прямо подвергаетъ сомнѣнію рыцарскій гоноръ. „Такъ неужели среди васъ нѣтъ никого, кто бы отважился броситься внизъ?“ съ укоромъ и ироніей произноситъ властитель. Тяжесть томительнаго положенія короля и его свиты, усиливающаяся съ каждымъ новымъ повтореніемъ вопроса, теперь становится невыносимой: еще мгновеніе, и королю съ горечью придется отказаться отъ своего требованія, остаться безъ удовлетворенія желанію — тогда ужъ лучше бы и не начинать дѣла, рыцарямъ же, людямъ славы и тщеславья, торжественно приходилось обнаружить свое малодушіе, не знать, куда отъ стыда дѣть свои глаза; самое же дѣло, по опасности его выполненія, невольно возвышается до подвига, и сильнѣе заинтриговывается наше вниманіе, ожиданіе, какъ разразится наэлектризованная атмосфера — вотъ смыслъ, почему здѣсь употребленъ троекратный вызовъ, который, какъ всякая вообще тавтологія, казалось бы, долженъ принести одно утомленіе и безъ нужды замедлить разсказъ. Неоспоримо, авторъ поступилъ здѣсь мастерски.

IV—V. Все разрѣшаетъ одинъ юноша. Въ критическую минуту, когда стало ясно, что никто не рѣшается откликнуться на призывъ короля, вдругъ изъ среды пристыженной и какъ бы окаменѣвшей отъ смущенія свиты, чтобы выручить ее, выступаетъ молодой оруженосецъ. Дѣйствительно, только юношеская натура, еще неохлажденная расчетливымъ разсудкомъ и поддерживаемая надеждой удачи, можетъ отважиться на выполненіе такого опаснаго дѣла, отъ чего боязливо

удержался каждый пожилой человѣкъ. Юность — періодъ жизни, по-преимуществу, богатый избыткомъ силъ, нерѣдко бьющихъ черезъ край идеалами, мечтами, дорогими заблужденіями, готовностью пролить избытокъ своей крови за идею всеобщую, міровую, богатый порывами, самопожертвованіемъ — иногда безъ подозрѣній, что эта жертва можетъ оказаться напрасной: природа и обстоятельства еще не вывели юношу изъ туманнаго царства всеобщности въ ясно очерченный и опредѣленный кругъ, какъ то обыкновенно бываетъ въ зрѣломъ возрастѣ. Оруженосецъ выходитъ скромно и смѣло, молча приготовляется къ прыжку: снимаетъ мѣшающія ему части платья: поясъ и епанчу, — его красивая наружность поражаетъ зрителей, дививших его красотѣ и рѣшимости; но онъ, какъ бы ничего не замѣчая, безъ всякой эффектаціи подступаетъ къ краю обрыва и бросаетъ свой взглядъ на пучину. Эти подробности въ описаніи появленія юноши привнесены далеко не безъ цѣли: выходъ изъ толпы на свободное мѣсто, раздѣваніе, впечатлѣніе зрителей, всходъ на обрывъ, гдѣ фигура пажа, такъ возвышаясь предъ всѣми другими, ставится какъ бы на пьедесталѣ, — все яснѣе и яснѣе обрисовываютъ прекрасно сложившійся станъ, его внѣшнюю фигуру; спокойствіе же, рѣшительность и скромность въ движеніяхъ бросаютъ нѣкоторый свѣтъ и на его симпатичныя душевныя свойства. Въ его движеніяхъ нѣтъ ни бѣшенной не знающей удержу отваги и ни тѣни робости: ни одной чертой не давалъ повода къ предположенію, чтобы онъ могъ воротиться назадъ. И если онъ замедлилъ выходомъ, то развѣ потому, что не желалъ задѣвать чье-нибудь самолюбіе — предвосхищать честь подвига, очевидно, совсѣмъ не было въ его расчетахъ. Онъ дѣйствуетъ больше въ интересахъ другихъ, чѣмъ невольно подкупаетъ доброе участіе къ нему. Конечно, тутъ еще нѣтъ полнаго образа: онъ обрисуется лишь впослѣдствіи; но вѣдь въ истинно-поэтическихъ произведеніяхъ каждое новое лицо никогда не выводится вдругъ со всѣми существенными чертами, а освѣщается постепенно, по мѣрѣ вновь создающихся внѣшнихъ положеній, среди которыхъ оно должно дѣйствовать, по мѣрѣ его дѣятельности, — что̀ искусно поддерживаетъ и усиливаетъ непрерывный интересъ къ произведенію и личности. Юноша еще только приступаетъ къ дѣйствію, и пока видны его первыя черты.

V—VII. Предъ глазами пажа открылись страшные ужасы клокочущей бездны. Харибда, точно какое живое чудовище, бурно изрыгала изъ своей глубины мощныя воды свои.

Изъ чрева пучины бѣжали валы,
Шумя и гремя въ вышину;
А волны спирались, и пѣна кипѣла:
Какъ будто гроза, наступая, ревѣла.

И воетъ, и свищетъ, и бьетъ, и шипитъ,
Какъ влага, мѣшаясь съ огнемъ,
Волна за волною; и къ небу летитъ
Дымящимся пѣна столбомъ;

Пучина бунтуетъ, пучина клокочетъ...
Не море ль изъ моря извергнуться хочетъ?
И вдругъ, успокоясь, волненье легло;

И грозно изъ пѣны сѣдой
Разинулось черною щелью жерло;
И воды обратно толпой
Помчались во глубь истощеннаго чрева
И глубь застонала отъ грома и рева.

Воды отхлынули назадъ, въ открывшуюся бездонную пасть, сильно забились о встрѣчавшіяся на пути скалы, производя подземные, чисто громовые раскаты: пасть опять поглощала свои воды. Картина грандіозная, потрясающая! Какое требовалось мужество, чтобы не устрашиться ея, и зато какъ же возвышала она подобный подвигъ! Человѣческій духъ, съ его нетеряющимся сознаніемъ, волей и дѣятельностью, съ его готовностью къ рѣшительной борьбѣ, поднимается теперь на идеальную высоту прямо, и притомъ по мѣрѣ своей стойкости и превосходства предъ ужасной въ своемъ величіи природѣ, предъ которой вполнѣ ничтожна тѣлесная сила человѣка. Величіе и слава побѣды всегда обезусловлены могуществомъ противника. „Чѣмъ страшнѣе противникъ, тѣмъ славнѣе побѣда: только сопротивленіе дѣлаетъ силу наглядной“. Но это пространное описаніе внѣшняго вида прилива и отлива Харибды, какъ ни важно въ интересахъ правильной оцѣнки подвига юноши, все же наполовину не произвело бы подобнаго дѣйствія, если бы оно помѣщено было прежде. Явленіе природы, интересное само по себѣ, становится еще внушительнѣе, что оно не замкнуто въ самомъ себѣ, но представлено въ самомъ тѣсномъ отношеніи къ оруженосцу, къ его рѣшенію. Мы смотримъ на явленіе глазами очевидца, ощущенія послѣдняго передаются и намъ. Совсѣмъ иныя, болѣе тревожныя чувства постигаютъ читателя, когда онъ знаетъ, что съ этими губительными силами природы должно вступить въ борьбу извѣстное ему, дорогое для него существо.

VIII. Не замедлила и самая борьба. Препятствіямъ не парализировать рѣшимости пажа. Его отношеніе къ нимъ лишь яснѣе освѣщаетъ его внутренній обликъ. Неустрашимо смотритъ онъ всѣмъ опасностямъ въ лицо, искусно, съ полнымъ сознаніемъ, пользуется благопріятными обстоятельствами, временемъ отлива, и въ тихой молитвѣ поручаетъ себя, и однако не фатально, покровительству всесильнаго Бога: въ груди его бьется вѣрующее сердце; при беззавѣтной храбрости и находчивости ему свойственны христіанское сознаніе недостаточности своихъ собственныхъ силъ и вѣра въ высшую помощь. Поэтъ умалчиваетъ о томъ, что̀ сдѣлалъ потомъ юноша; но невольный крикъ испуганной толпы, о которомъ упоминаетъ онъ, — свидѣтель, что уже „бездна надъ отрокомъ челюсть свела, его болѣе не видно“.

IX — XI. Дѣйствіе кончилось, занавѣсъ упалъ, скрывъ отъ насъ главнаго героя, и напередъ трудно угадать, пришелъ ли конецъ, или

наступила только томительная пауза послѣ перваго акта смѣло задуманной драмы: потому что можно ли сказать навѣрное, что отважный герой опять явится на сцену? Готцингеръ (Deutche Dichter. Leipz. 1870. I, 277) думаетъ, что здѣсь удобны три пути для исхода: или прямо продолжать: „и воетъ, и свищетъ, и бьетъ, и кипитъ“, или же, по обычаю поэтовъ, создать изъ матеріала двѣ или три баллады, или же, наконецъ, ходъ исторіи пріостановить, а стихотвореніе продолжать. Поэтъ выбралъ послѣдній путь, художественно воспользовавшись ролью хора древнихъ трагедій, гдѣ хоръ имѣлъ значеніе совсѣмъ не то, какое имѣетъ замѣнившій его въ нашихъ драматическихъ театрахъ оркестръ, которымъ обыкновенно играются мотивы безъ всякаго отношенія къ представляемой пьесѣ, лишь бы занять чѣмъ-нибудь публику во время антракта. Подобно тому, какъ въ трагедіяхъ Эсхилла и Софокла, послѣ каждаго акта выступалъ на театральные подмостки находившійся въ „оркестрѣ“ хоръ и, въ качествѣ близкихъ герою современниковъ, въ своихъ пѣсняхъ произносилъ свое сужденіе о случившемся, и тѣмъ приготовлялъ зрителей къ послѣдующему акту: такъ и здѣсь, совершенно въ духѣ этого хора, оставшіеся на скалѣ зрители, которые до сихъ поръ были нѣмыми свидѣтелями, теперь, когда послѣ первой паники, едва открылась возможность словами выразить имъ свои мысли и чувства, высказываютъ то, что ихъ волновало въ данное время, чѣмъ вполнѣ кстати занимается явившаяся вмѣсто эпилога пауза. Рѣшившись на подвигъ, юноша заслужилъ симпатіи всѣхъ присутствующихъ, и первое слово зрителей естественно было слово горькаго прощанія и неподдѣльнаго благожеланія: „юноша высокоблагородной души, будь благополученъ!“ восклицаютъ они. Блестящая свита въ лицѣ одного изъ своихъ членовъ сознавалась, что никто изъ нея не отважился бы на подобное дѣло ни за какія блага міра, даже за корону: о скрытомъ въ глубинѣ не въ состояніи разсказать ни одна живая душа. Ужъ если морскіе корабли, сколько ихъ ни попадало въ пучину, вылетали разбитыми вдребезги, то выйти ли оттуда живымъ человѣку?

Признаніе очевидцевъ, если съ одной стороны, бросаетъ тѣнь на короля за его безчеловѣчное требованіе и возвышаетъ геройство юноши, то, съ другой, обыкновенно усиливаетъ опасеніе за судьбу послѣдняго. Умолчи о немъ поэтъ, и отъ разсказа о прыжкѣ юноши въ пучину перейди прямо къ описанію возвращенія прилива, опасеніе было бы несравненно слабѣе. Въ признаніи слышится какъ бы пророческій голосъ о неизбѣжности гибели пажа, потому ожиданіе становится все мучительнѣе, а надежды невѣроятнѣе. Томительность поддерживаютъ дѣйствія пучины. На поверхности воды — тишина, лишь изъ глубины слышенъ глухой шумъ: воды еще несутся внизъ; но и вой слышится все глуше и глуше, и какъ бы совсѣмъ замираетъ: вмѣстѣ съ нимъ почти исчезаетъ и всякая надежда увидѣть героя... по крайней мѣрѣ, живого, развѣ трупъ или, подобно обломкамъ кораблей, его жалкіе остатки.

XI — XII, XIII — XIV. Въ это самое время вдругъ снова ясно послышался многозначительный шумъ въ глубинѣ: то знакъ возвращающагося прилива, и голосъ толпы смолкъ: нѣтъ мѣста словамъ, когда наступаетъ самое дѣйствіе. Явленіе природы удивительнымъ образомъ переплетается вообще здѣсь съ ходомъ исторіи, и, нѣтъ сомнѣнія, значительная доля очаровательности стихотворенія основывается на счастливомъ сплетеніи явленія съ фабулой произведенія. Приливъ выступаетъ во всемъ своемъ грандіозномъ величіи: безчисленныя волны бьютъ одна за другой, идутъ безперечь, безъ перерыва, шумятъ, брызжутъ, шипятъ, точно смѣшавшаяся съ огнемъ влага летитъ къ небу обильная пѣна, за ней изъ зѣва бездны хлынулъ неистощимый потокъ съ оглушительнымъ, приводящимъ въ ужасъ ревомъ... Глаза всѣхъ приковываются къ водовороту, вниманіе напрягается, лихорадочная нетерпѣливость возрастаетъ до невѣроятныхъ предѣловъ... И вотъ — какой моментъ! — что̀-то поразительно бѣлое промелькнуло въ черномъ лонѣ: ясно, что воды идутъ не однѣ — но не обманъ ли это не въ мѣру напряженныхъ чувствъ? — нѣтъ! вотъ показалась рука, блеститъ плечо — но это, быть можетъ, только печальные остатки разбитаго трупа? — нѣтъ! онъ уже изъ всей силы правитъ волной, машетъ чашей съ радостнымъ за жизнь и побѣду привѣтомъ, онъ дышитъ — о радость! — онъ живъ! И томительный страхъ зрителей быстро смѣняется невыразимымъ восторгомъ. Каждый изъ присутствующихъ въ неподдѣльномъ весельи —

„Онъ живъ! — повторялъ: —
Чудеснѣе подвига нѣтъ!
Изъ темнаго гроба, изъ пропасти влажной
Спасъ душу живую красавецъ отважный!“

Велико искусство поэта. Усиливъ предъ тѣмъ напряженіе ожиданія фигуры, онъ вдругъ, въ моментъ ея проявленія, употребляетъ контрастъ, и контрастъ самый яркій: темному лону противополагается что̀-то бѣлизны лебединой; въ появленіи — постепенность: сначала показываются части тѣла, потомъ уже вся фигура, живая, дѣйствующая, торжествующая — въ иномъ видѣ, неподвижная, она была бы выставлена менѣе ясно; въ избыткѣ отъ наплыва радостныхъ чувствъ всѣ зрители громко привѣтствуютъ красавца, — и мы какъ будто видимъ все это своими глазами и, сами того не замѣчая принимаемъ участіе и въ трепетномъ ожиданіи и въ неподдѣльной радости всѣхъ присутствующихъ.

XV. Подобное счастье хоть кому вскружило бы голову. Между тѣмъ, въ то время, какъ всѣ встрѣчаютъ пажа съ полнымъ тріумфомъ, онъ скромно подходитъ къ королю, почтительно, но безъ униженія, по долгу подданнаго, склоняется предъ нимъ на колѣни и съ достоинствомъ героя кладетъ къ его ногамъ добытый кубокъ, чтобы изъ рукъ своего господина получить его обратно, какъ побѣдный трофей, и разсказать ему о страшныхъ ужасахъ подземелья. Тутъ неожиданно происходитъ небольшая, успокаивающая душу,

пріятная сцена, которая, на нѣкоторое время отстраняя мрачную повѣсть, вмѣстѣ съ предыдущей встрѣчей отнимаетъ у произведенія однообразно-тяжелый тонъ. Король даетъ знакъ своей дочери: она наливаетъ кубокъ искрившимся виноградным виномъ и подаетъ его юношѣ, чтобы тотъ подкрѣпилъ свои упавшія силы. Разумѣется, дороже вина была почесть, что такъ и такая рука возвращаетъ кубокъ. Такимъ образомъ, здѣсь совершенно кстати и вполнѣ въ духѣ рыцарства вводится въ дѣйствіе новое лицо, которое будетъ имѣть важное значеніе для дальнѣйшаго развитія событія. То же, откуда взялось вино, поэта не затрудняетъ. Само собою возникаетъ предположеніе, что по морскому берегу была устроена веселая прогулка, гдѣ, на эффектныхъ берегахъ Харибды, подъ веселую минуту и разыгралось все событіе.

XV—XXII. Въ разсказѣ сообщаются болѣе цѣльныя свѣдѣнія о пучинѣ: отважность подвига увеличивается почти до невѣроятныхъ предѣловъ. До сихъ поръ читатель былъ знакомъ съ однимъ внѣшнимъ видомъ Харибды, теперь живописно рисуется передъ нимъ ея внутренность.

XVI. Впрочемъ, свѣдѣнія объ ужасахъ Харибды начинаются не тотчасъ. Какъ чудомъ спасеннаго, видитъ себя пажъ на Божьемъ свѣтѣ, и онъ прежде всего всецѣло отдается своему радостному чувству, что такъ счастливо избѣжалъ опасности: королю желаетъ долгой жизни, веселья — всѣмъ живущимъ на землѣ, такъ какъ, по его сознанію, счастье возможно только здѣсь, въ дневномъ свѣтѣ, тамъ же, въ темной глубинѣ, скрыты одни ужасы; его прежняя отвага ему кажется уже дерзкимъ искушеніемъ божественныхъ силъ, и онъ въ порывѣ лиризма, какъ бы по вдохновенію, трагически произноситъ глубокія по смыслу слова:

Смертный, предъ Богомъ смирись,
И мыслью своей не желай дерзновенно
Знать тайны, Имъ мудро отъ насъ сокровенной.

Это — не взятый напрокатъ афоризмъ, не правило житейской мудрости, а высокая нравственная идея, къ которой пришелъ герой, испытавъ всѣ ужасы бездны, идея, которая говоритъ за свѣтлый кругозоръ юноши, за его образованный умъ, если онъ такъ выражается объ ужасахъ бездны.

XVII—XXII. И были же основанія притти къ ней! Чего-чего не видалъ и не испыталъ въ безднѣ разсказчикъ! Чуть не съ быстротою молніи рвануло его внизъ, когда онъ бросился съ крутизны. Тамъ попалъ въ необычный потокъ: вода шла въ глубину и сбоку, изъ скалы, и сверху. Противостоять было нельзя. Въ вихрѣ водоворота повлекло юношу въ пропасть, гдѣ его кружило и било, точно кубарь. Въ неминуемой опасности онъ, какъ и прежде, обратился къ помощи Божіей, и, когда ему грозило уже самое худшее, спасеніе явилось: онъ былъ занесенъ на выдающійся изъ бездны высокій утесъ, за который и ухватился; тутъ же, на остроконечномъ кораллѣ, нашелся и кубокъ

Мѣсто, куда поэтъ помѣстилъ водолаза, выбрано очень удачно. На срединѣ пропасти самая удобная и безопасная точка для наблюденія; рельефнѣе обнаруживается безпомощное одиночество пажа; въ виду же того, что осмотрѣть всего, не побывавъ на днѣ, невозможно, давался поводъ къ новому вызову на подвигъ.

Юноша увидѣлъ, что ниже, въ мрачно-пурпуровомъ сумракѣ, зіяла бездонная, чисто-адская пропасть. Двигалась, и все двигалось въ ней отъ страшныхъ чудищъ изъ чудищъ, извѣстныхъ по однимъ сагамъ: отъ ядовитыхъ саламандръ, пятнистыхъ черныхъ великановъ— ящерицъ, губительныхъ драконовъ; все мѣшалось — вилось въ громадную, безобразную глыбу: и неповоротливое чудовище-скатъ, точно громадныя, набитыя гвоздями, ворота, и свирѣпая молотъ-рыба, и хищный щетинозубъ; ненасытная акула-людоѣдъ, замѣтивъ пришельца, разинула пасть и уже начала яростно грозить ему своими острыми зубами. Жизнь на волоскѣ. Гибель близка, почти неминуема, а помощи нѣтъ и не видно. Люди, съ ихъ рѣчью, полной участья, далеко, вверху: протянуть руки они не въ силахъ. Вмѣсто добраго человѣческаго лица, глаза водолаза видятъ одни безчувственныя маски ужасныхъ чудовищъ; ухо, привыкшее къ благодѣтельной рѣчи, ничего не слышитъ, кругомъ его тѣснящая душу тишина: морскія чудовища не имѣютъ голоса. Онъ здѣсь одинъ, вдали отъ всякаго участія, безпомощный, безоружный; въ немъ одномъ бьется сердце посреди безчувственныхъ массъ—и страшно ему, мучительно страшно сознавать опасность, безпомощность и одиночество въ этой нѣмой, точно мертвой пустынѣ. Но вотъ изъ темноты движется что-то ужъ совсѣмъ необычайное, громадное, стоногое... вѣроятно, полипъ, руки котораго, по разсказамъ, достигаютъ до 30 футовъ длины... Оно готово уже схватить, совлечь его: прикрывавшія коралловыя вѣтви не могутъ долго служить препятствіемъ. Всѣ чувства героя потрясъ смертельный ужасъ... Тогда инстинктивно, не понимая зачѣмъ, пажъ выпустилъ изъ рукъ коралловую вѣтвь, и это было ему спасеніемъ: начавшійся приливъ быстро подхватилъ и съ шумомъ вынесъ его на поверхность.

Припомнимъ впечатлѣніе, какое прежде произвели слова короля на веселыхъ дотолѣ зрителей. Кругомъ безысходное молчаніе; на лицахъ каждаго изъ присутствующихъ выражалось тяжелое чувство: стыдъ и боязнь; каждый желалъ, чтобы лучше совсѣмъ не было подобныхъ словъ. Не то теперь, послѣ рѣчи пажа. Съ какимъ напряженіемъ должно было слушаться его живое, превосходное изображеніе внутренностей бездны и его ужаснаго положенья! Совсѣмъ противоположной королю обрисовывается и личность разсказчика. Въ своей повѣсти онъ далекъ отъ тщеславныхъ похвалъ и прикрасъ: представляетъ дѣло такъ, какъ было, все приписываетъ обстоятельствамъ и помощи Божіей. Это именно — hochherzig, личность чистая, свѣтлая, идеальная, сила не столько физическая, сколько нравственно-религіозная; его мужество коренится въ высшихъ побужденіяхъ.

Что возбуждало наше участіе, прекратилось. Кубокъ добыть, свѣдѣнія о сокровенныхъ тайнахъ пропасти слышали отъ очевидца, самъ разсказчикъ возвратился цѣлъ и невредимъ; нашъ интересъ удовлетворенъ, далѣе... чего же еще ожидать болѣе?!... Но тогда какой смыслъ этого поэтическаго созданія?... Шиллеръ же всегда чрезвычайно дорожилъ идеей. Живописныя картины, величественные образы, создаваемые имъ, онъ цѣнилъ, какъ прекрасное тѣло для живущей въ нихъ вѣчно бодрствующей, вѣчно трепетной души. Едва ли въ комъ полнота образующаго поэтическаго творчества такъ тѣсно соединялась съ глубиной выработаннаго философскаго созерцанія. Фантазія, все соединяющая, пылкая, почти неудержимая, въ пору полнаго развитія поэта, всегда шла рука объ руку съ все раздѣляющимъ и умѣряющимъ разсудкомъ. Натура субъективная, созерцательная, онъ былъ художникъ-философъ, по-преимуществу; поэтическія изображенія всегда проникались добытымъ въ упорныхъ философскихъ разысканіяхъ, всегда составляли съ нимъ одно изящное цѣлое, эстетически-прекрасное. „Сила воображенія,—утверждалъ онъ,—сообразно ея природѣ, безпрерывно занята тѣмъ, чтобы представлять общее въ частномъ случаѣ, ограничить его въ пространствѣ и времени, индивидуализировать понятія, дать тѣло отвлеченному“. Естественно, что и на этотъ разъ поэтъ не останавливается на полупути, снова, непосредственно послѣ разсказа, какъ бы не желая дать отдыха, тревожитъ наше любопытство, поднимаетъ его, и притомъ на такую высоту, на какой оно еще не было до сихъ поръ, и тамъ, на этой высотѣ, такъ и оставляетъ насъ, давая чувствовать все неотразимое могущество глубокой идеи, лежащей въ основѣ его даннаго творенія.

XXIII. Причина въ томъ, что интересный разсказъ далъ королю больше, чѣмъ онъ, очевидно, могъ ожидать и, подстрекнувъ въ немъ любопытство, довелъ его до страстнаго влеченія. Заинтересованный, король хочетъ знать уже всѣ мелочи Харибды, до самаго дна. И хотя онъ только что слышалъ о препятствіяхъ и возможныхъ несчастіяхъ, онъ глухъ къ нимъ вполнѣ. Не надѣясь на рыцарей и не теряя времени, онъ прямо обращается къ пажу: вмѣстѣ съ кубкомъ обѣщаетъ ему драгоцѣнный перстень, если онъ снова бросится въ глубину и принесетъ ему извѣстіе о томъ, что увидитъ на днѣ.

Напрасная надежда! Отъ его предложенія легко можно было отказаться. Мѣряя, такъ сказать, нъ свой аршинъ, повелитель чрезвычайно плохо понималъ высокую душу героя. Не корыстолюбіе руководило имъ прежде, а побужденія идеальныя: затронутая рыцарская честь. На золотой кубокъ онъ смотрѣлъ, какъ на символъ. Честь другихъ онъ спасъ. Собственное его мужество также не нуждалось ни въ какихъ новыхъ доказательствахъ: онъ сдѣлалъ то, на что не рѣшался ни одинъ рыцарь. Чтобы побудить на повтореніе подвига, требовался другой мотивъ, болѣе сильный, который бы превосходилъ всѣ матеріальныя сокровища короля, и, по своей идеальности и близости къ пажу, заставилъ его забыть всѣ опасности и высказанное

имъ предостереженіе, чтобы человѣкъ не искушалъ высшія силы, слѣдовательно, побѣдилъ въ немъ даже религіозное чувство. На бѣду, такой мотивъ нашелся: обстоятельства подставили его.

XXIV. За пажа вступается, пока дѣло не приняло несчастнаго исхода, свидѣтельница сцены, дочь короля. Смѣлое дѣло и нѣжный взглядъ юнаго героя, видно, воспламенили ея доброе, чистое сердце. Въ ея сознаніи онъ становится выше всѣхъ, видѣнныхъ ею, мужчинъ: естественно желаніе спасти его отъ неминуемой гибели. Она обращается къ отцу съ ласкающейся улыбкой и настойчиво. Его желаніе называетъ прямо жестокой игрой: возвышая подвигъ пажа, тонко, какъ бы мимоходомъ, затрогиваетъ честолюбіе рыцарей: никто-де еще не совершилъ подобнаго дѣла, и пусть рыцари пристыдятъ оруженосца. Смыслъ просьбы ясенъ: отецъ, во всякомъ случаѣ, долженъ оставить пажа въ покоѣ.

XXV. Но такой способъ ходатайства царевны, помимо и противъ ея воли, приблизилъ роковую развязку: онъ выдалъ ея тайну—вспыхнувшую въ ней любовь къ пажу. Король, едва догадался, пользуется этимъ средствомъ. Обѣщаетъ пажу, буде онъ повторитъ подвигъ, нынѣ же поставить его первымъ изъ рыцарей и отдать ему руку своей дочери.

И будешь здѣсь рыцарь любимѣйшій мой...
И дочь моя, нынѣ твоя предо мною
Заступница, будетъ твоею женою,

говоритъ онъ ему.

Предложеніе неожиданное и, какъ, повидимому, ни странно, совершенно въ духѣ рыцарства, и вполнѣ гармонируетъ съ страстнымъ характеромъ короля, возбужденное любопытство котораго едва ли и можно выразить яснѣе. Тѣмъ не менѣе отъ большинства нѣмецкихъ комментаторовъ за это предложеніе достаются королю самыя рѣзкія порицанія: укоряютъ его въ грубости, суровости, даже жестокости. Ихъ мнѣніе должно принять съ большими ограниченіями. Король, по замыслу поэта, безспорно, противоположенъ пажу, все же не до той крайней степени, до какой довели критики. Ихъ король — чистая фурія, личность неестественная, дѣланная, фиктивная. Противополагать воплощенное зло воплощенному добру было въ обычаѣ однихъ ложноклассиковъ. Шиллеръ же держался иного мнѣнія. „Если я,—говорилъ онъ еще въ предисловіи къ „Разбойникамъ“,—задался мыслію представить человѣка во всей его полнотѣ, то долженъ указывать и на хорошія его стороны, которыхъ не лишенъ и самый отъявленный злодѣй... Не можетъ быть предметомъ искусства человѣкъ, который есть одно зло: онъ не привлечетъ къ себѣ вниманіе читателя, въ немъ будетъ только сила отталкивающая; непрочтенными останутся его рѣчи“. Поэтому, при всей любви Шиллера къ контрастамъ, его лица, несмотря на ихъ идеализированность, всегда похожи на дѣйствительныхъ, возможны. Ближе къ правдѣ сравнить короля съ шекспировскимъ Лиромъ. Подобно ему, впечатлительный, живой, причудливый,

избалованный низкопоклонствомъ „боязливой“ толпы, неразборчивый въ средствахъ, безъ строгаго контроля надъ своими дѣйствіями, онъ привыкъ безотчетно исполнять всѣ свои капризы, доставлять минутныя щекотанія своему эгоизму, слушаться только голоса своихъ прихотей, едва ли подчасъ хорошо сознавая, какъ жестоко его требованіе, его необдуманность, страстность, любовь къ торжественности и эффектамъ. Ниоткуда не видно, что онъ желалъ разрушить счастье дочери; или, не одобряя ея выборъ, сознательно хотѣлъ погубить ея пажа. Его предложеніе скорѣе вытекало изъ желанія, чтобы пажъ предъ всѣми придворными показалъ себя, дѣйствительно ли стоитъ онъ руки королевской дочери. Первая удача казалась случайной. Что не увлекло его въ бездну, или не разбило о скалы, что онъ очутился на утесѣ и нашелъ тамъ кубокъ, что не схватило его какое-нибудь чудовище, и потокъ вынесъ его, едва живого отъ страха, на поверхность пучины вмѣстѣ съ кубкомъ,—это не было его личной заслугой: ему помогала какая-то посторонняя сила. Второй подвигъ долженъ подтвердить первый, показать, что пажъ можетъ сдѣлать это и не по милости благопріятствующей судьбы, показать себя дѣйствительно храбрѣйшимъ, словомъ—такимъ, который въ состояніи взять руку царевны въ бою, послѣ побѣды въ жаркомъ сраженьи.

XXVI. Что же юноша? Онъ слышитъ и видитъ, о чемъ прежде не смѣлъ и мечтать. Слышитъ предложеніе короля, смотритъ на царевну, которая предъ тѣмъ, въ удивленіи къ его подвигу, съ такимъ чувствомъ просила за него своего отца, а теперь назначена призомъ... То дѣвственно-счастливымъ румянцемъ зардѣется она—въ радостномъ трепетѣ отъ выполненія таившагося въ сердцѣ чистаго желанья, то моментально смертельная блѣдность покроетъ ея щеки — при ужасной мысли о почти неизбѣжной гибели ею любимаго существа. Она потупила взоръ... Ясно, ея сердце бьется въ любви къ нему; въ ея любви онъ увѣренъ: и ему ли, мощному юношѣ, беззавѣтному герою, рыцарю въ душѣ, малодушно устоять теперь, показать, что онъ — не достоинъ ея? Ему ли помнить о прежнихъ, испытанныхъ имъ, страхахъ и о своихъ предостереженіяхъ. И неужели, отказавшись, отравить всю свою жизнь и жизнь любимаго существа?! Нѣтъ, если ужъ онъ ставилъ жизнь на карту ради чести, то какъ удержаться ему, когда къ чести присоединилась еще любовь, — любовь самая пылкая, возвышенная!...

„Любовь,—по выраженію Шиллера,—не въ состояніи ни совѣтовать человѣку, ни сражаться вмѣстѣ съ нимъ, ни исполнять за него какую бы то ни было другую работу; но она можетъ воспитать въ немъ героя, возбуждать его на подвиги, надѣлить его силою и энергіею для всего, чѣмъ онъ долженъ быть“. Она — сила влекущая, обаятельная. Подъ ея вліяніемъ для любимаго существа человѣкъ готовъ отважиться на все, итти на перекоръ естественнымъ инстинктамъ, даже голосу совѣсти, рѣшиться на гигантское самопожертвованіе, которое въ холодную пору счелъ бы безуміемъ. Во времена же ры-

царства любовь къ женщинѣ служила однимъ изъ принциповъ жизни. Рыцарскіе романы и кодексы прямо утверждали: „въ женщинѣ все благо и счастье міра“; „кто хочетъ жить достойно, долженъ отдать себя женщинѣ“. Съ ранняго дѣтства внушалось рыцарю, что „онъ долженъ выбрать себѣ благородную госпожу, которая могла бы руководить его своими совѣтами и помогать ему, а онъ обязанъ вѣрно служить ей и непремѣнно любить ее“. „Еще мальчикомъ слышалъ я, — говоритъ о себѣ одинъ изъ штирійскихъ рыцарей, — какъ безпрестанно вокругъ меня говорили о женщинахъ и расточали имъ похвалы, и тогда же рѣшился я служить имъ, такъ какъ только ихъ вниманіе можетъ дать человѣку достоинство, отраду, счастіе“. И эти слова не были фразой. „Герои среднихъ вѣковъ, — характеризуетъ ихъ Шиллеръ, — жертвовали ради мечты (которую принимали за мудрость и которая, дѣйствительно, была для нихъ мудростью) своею кровію, жизнію и имуществомъ“. Во имя любви они обязательно совершали всевозможные подвиги и похожденія.

Нашъ пажъ — ихъ яркій представитель. Естественно, лишь убѣдился онъ въ любви къ нему царевны, какъ „въ немъ жизнью небесной душа зажжена“: внушенія разсудка оказались безсильны, забыта опасность, ужасы, предостереженія; въ глазахъ — смѣлость; нѣтъ охоты къ дальнѣйшимъ отлагательствамъ — до того ли ему теперь! Онъ ничего не видитъ, кромѣ обожаемаго существа, и, охваченный одной мыслію, однимъ чувствомъ, въ порывѣ аффекта, не дождавшись благопріятнаго момента отлива,

На жизнь и погибель онъ бросился въ волны...

XXVII. Исходъ ясенъ, хоть и не говори о немъ поэтъ. Побѣдить ли тому, кто предпочитаетъ земное небесному, сознательно и безъ предосторожностей вступаетъ въ борьбу съ высшей силой? Было бы совершенно невѣроятно возвращеніе его по пути, какой предъ тѣмъ имъ самимъ признанъ непреодолимымъ и какъ бы преступнымъ. И вотъ, слышится приливъ и отливъ, а юноши не видно... Поэтъ на этомъ и останавливается. Давая понять всю необходимость погибели героя, онъ ни однимъ словомъ не промолвился о ней прямо, не рисуетъ этого несчастія, потому что, по его мнѣнію, патетично и достойно художественнаго изображенія „исключительно сопротивленіе страданію...; само же страданіе никогда не составляетъ конечной цѣли изображенія и никогда не можетъ быть непосредственнымъ источникомъ удовольствія, доставляемаго намъ трагическими предметами“. Тѣмъ не менѣе мысль о погибели, хотя прямо и не означенной, дѣйствуетъ на читателя болѣзненно. Шиллеръ безподобно смягчаетъ это грустное впечатлѣніе приложеніемъ своей теоріи о патетичности сопротивленія страданію. Онъ упоминаетъ о любящемъ нѣжномъ взглядѣ сверху — чьемъ? очевидно, царевны. Она одна, полная участія и горя, какъ Текла въ „Валленштейнѣ“ или Навзикая въ „Одиссеѣ“, могла послать герою въ качествѣ какъ бы награды подобный нѣжный

взглядъ, который, при всемъ безсиліи извлечь оттуда водолаза, былъ свѣтлымъ лучомъ среди мрака, такъ сказать, пріятнымъ звукомъ среди ужаснаго рева пучины. Благодаря ему, стихотвореніе уничтожаетъ въ нашемъ сердцѣ всякій диссонансъ: несмотря на то, что страстное увлеченіе, приведшее героя къ гибели, бросаетъ нѣкоторую тѣнь на самую его личность: всемогущество борющейся любви теперь примиряетъ насъ съ отчаяннымъ рискомъ юноши и приближаетъ обоихъ — и пажа и царевну — къ нашему сердцу. Можно считать юношу счастливымъ, что онъ, въ цвѣтѣ силъ и чувствъ, пожертвовалъ жизнію за такое существо: разъединенные, душой они соединены навсегда. Пусть внизу морскія волны держатъ въ себѣ пажа и, какъ греческій хоръ, бурно ропщутъ на заблужденіе юноши и короля: вверху, на скалѣ, точно божественный ликъ ангела, неподвижно стоитъ чистый образъ царевны, и своимъ опущеннымъ книзу мягкимъ взглядомъ связываетъ міръ нижній и верхній, подземный и надземный...

Прекраснѣе, даже величественнѣе едва ли и возможно окончить эту повѣсть: въ заключеніи, въ противоположность разладу нравственныхъ принциповъ, такъ много эстетическаго. Нравственная оцѣнка, давая душевному состоянію иное, иногда обратное направленіе, не всегда идетъ рука объ руку съ эстетической: а „потому если при оцѣнкѣ нравственной чувствуемъ себя сдерживаемыми и стѣсненными, то при оцѣнкѣ эстетической мы ощущаемъ внутренній просторъ, подъемъ свободы человѣческаго духа“ (Шиллеръ, II, 675).

Дм. Цвѣтаевъ.

Перчатка.

I. Въ первой строфѣ, составляющей какъ бы вступленіе къ послѣдующему, авторъ ведетъ читателя на мѣсто дѣйствія, во Францію, ко двору Франциска I (1515—1547). Король сидѣлъ предъ своимъ звѣринцемъ, около него высшіе государственные сановники — герцоги, графы, рыцари, за нимъ, на высокомъ балконѣ, точно вѣнецъ, прекрасный кругъ придворныхъ дамъ. Ожидали боя королевскихъ звѣрей.

II—IV. Ознакомивъ съ мѣстомъ, временемъ и зрителями происшествія, поэтъ изображаетъ появленіе боевыхъ звѣрей, при чемъ надѣляетъ ихъ такими характеристическими, соотвѣтствующими дѣйствительнымъ, чертами, что каждый изъ выступающихъ словно живой вырастаетъ передъ нами.

II. Выпущенный на арену, по данному Францискомъ знаку, громадный левъ, какъ и слѣдуетъ царю звѣрей, является съ внушительнымъ, поистинѣ царскимъ видомъ и достоинствомъ. Выходитъ молча, спокойно, не торопясь и увѣренно, точно сознавалъ свои могучія силы; съ протяжнымъ густымъ воемъ оглядывается кругомъ и, не видя ни одного животнаго, невозмутимо-спокойно ложится. Весь его видъ, весь его образъ дѣйствій такъ и выдаетъ въ немъ дѣйствительнаго

царя мрачныхъ лѣсовъ, повелителя, который не знаетъ страха, не знаетъ, что̀ значитъ отступать, поступаться, молить. „Этимъ медленнымъ выступаніемъ, этимъ спокойнымъ и нѣмымъ озираніемъ и тѣмъ, какъ онъ величественно ложится, превосходно обрисованъ свободный отъ заботъ, невозмутимый нравъ, которымъ левъ отличается отъ природы остальныхъ животныхъ семейства кошекъ, живо представлена его необычайная неустрашимость, не свойственная ни одному изъ другихъ звѣрей въ такой высокой степени, что̀, вмѣстѣ съ формой изложенія, сообщаетъ картинѣ поразительную наглядность“.

III. Повторяется знакъ короля, и выпущенъ тигръ, звѣрь иного разряда. Въ противоположность мощно-спокойному, флегматичному льву тигръ сразу же обнаруживаетъ свою необычайную дикость, свой холерическій, неуживчивый, но и доступный страху нравъ. Быстро, легкимъ и гибкимъ прыжкомъ выскакиваетъ онъ на открытую арену и, усмотрѣвъ льва, громко заревѣлъ. Привыкнувъ во всемъ видѣть себѣ жертву, кровожадный тиранъ по природѣ, которому однако свойственна ярость, а не смѣлое, безбоязненное мужество, въ лютой дикости выкручиваетъ кругъ, бьетъ себя своимъ грознымъ хвостомъ, вытягиваетъ свой алчный до крови языкъ, точно хочетъ вступить съ нимъ въ бой. Невозмутимое спокойствіе льва тѣмъ не менѣе сдерживаетъ кровожадность тигра въ границахъ, и онъ, какъ бы какая большая кошка, крадется, боязливо и коварно, съ яростнымъ рычаніемъ обходитъ льва и, чувствуя недостатокъ силъ, но и не желая уронить своего достоинства, ворча ложится съ нимъ рядомъ.

IV. Король даетъ знакъ въ третій разъ — и очутились на сценѣ два леопарда. Уже по ихъ, какъ стрѣла, быстрому скачку можно видѣть рѣзко выдѣляющее ихъ изъ породы кошекъ проворство, подвижность корпуса, ловкость, любовь къ свободѣ, ихъ злобу и неудовольствіе. Тотчасъ смѣло и жадно нападаютъ они на тигра; но этотъ хватаетъ ихъ яростными лапами, и едва было завязалась борьба, поднимается съ грознымъ рычаніемъ левъ, и бой прервался. Когда мощный царь мрачныхъ лѣсовъ, заговорилъ, когда раздался „голосъ пустынь и лѣсовъ“, въ паническомъ страхѣ молчатъ всѣ другія существа. Невольно они пятятся назадъ, становятся въ кружевеньку и ложатся, очевидно, крайне недовольныя помѣхой. Это — не миръ, а перемиріе. Хотя и стоитъ левъ, будто въ ожиданіи наказать нарушителя, тигръ и леопарды съ нетерпѣніемъ ждутъ перваго удобнаго мгновенія, чтобы броситься въ общую, роковую свалку, представился бы только поводъ.

V—VI. Вдругъ, совершенно неожиданно и какъ бы случайно, прямо между свирѣпымъ тигромъ и грознымъ львомъ, съ балкона, гдѣ сидѣли зрители, къ общему недоумѣнію падаетъ женская перчатка. Тотчасъ же оказывается, что это и не пустая случайность, а сдѣлано съ ехиднымъ намѣреніемъ. Одна изъ дамъ, Кунигунда, насмѣшливо предлагаетъ своему рыцарю де-Лоржу достать ей ея перчатку и тѣмъ на самомъ дѣлѣ представить несомнѣнное доказательство своихъ, часто повторяемыхъ имъ, увѣреній въ любви къ ней.

Требованіе — прекрасное, почти безумное. „Для Кунигунды бой звѣрей еще не достаточно страшенъ. Въ ея требованіи проскальзываетъ не столько желаніе получить неопровержимое доказательство въ любви къ ней своего рыцаря, сколько стремленіе блеснуть предъ собраніемъ своей надъ нимъ властью и усилить ужасъ устроеннаго королемъ представленія. Чтобы достигнуть своей цѣли, она не дорожитъ даже своимъ возлюбленнымъ, который, конечно, всего менѣе можетъ отказать ея просьбѣ, а это говоритъ за нравственную дикость и испорченность ея сердца, очень недалекую отъ жестокости дикихъ звѣрей и достойную должной кары. Конечно, въ тѣ времена любовныя ухаживанія и испытанія въ любви мало походили на наши. Тогда, когда физической силѣ придавали больше значенія, чѣмъ теперь, благосклонность женщинъ пріобрѣталась и удерживалась выдающейся мощью и неустрашимостью (доказательство тому — сватовство Зигфрида и Гунтера, Геттеля и Гервига, Гамурета и Перцеваля). Турниры въ средніе вѣка были, по преимуществу, мѣстомъ, гдѣ рыцарь пріобрѣталъ сердце дамы... Но Кунигунда безчеловѣчно посылаетъ своего рыцаря не на сраженіе съ людьми, но на неравный бой съ дикими звѣрями". Подобное порученіе могла дать одна воплощенная кокетка — существо, способное даже высокое чувство любви обратить въ предметъ забавы и искреннею преданностью питать свое мелкое тщеславіе.

Всю ничтожность мотивовъ, всю опасность и унизительность борьбы ясно понялъ и де-Лоржъ, и все же не счелъ возможнымъ отказаться: предложеніемъ подвергнуто сомнѣнію его мужество, затронута рыцарская честь. Чтобы спасти ее отъ оскорбительныхъ подозрѣній, немедля встаетъ онъ съ своего мѣста, молча — теперь не до словъ—безъ признаковъ смущенія, твердо сходитъ къ разъяреннымъ и готовымъ къ бою страшнымъ животнымъ, изъ которыхъ каждый могъ растерзать его; смѣло поднимаетъ перчатку, ни однимъ движеніемъ не обнаруживаетъ радости о счастливомъ исходѣ предпріятія и съ прежнимъ невозмутимо-величавымъ спокойствіемъ возвращается назадъ.

Его безусловное мужество и непоколебимая честность ясны, какъ день. Онъ — мужъ, передъ нравственной мощью котораго стушевались даже сами дикіе звѣри: застигнутые врасплохъ, они не нашлись, какъ имъ поступить, и оставили его въ покоѣ. Свидѣтели подвига, рыцари и дамы, опомнившись отъ страха, всѣ въ удивленіи наперерывъ громко привѣтствуютъ его. Сама Кунигунда, тщеславіе которой было удовлетворено, и ей не оставалось ни малѣйшей возможности сомнѣнію послѣ такъ блестяще доказанной преданности, — сама она, дама сердца, въ награду даритъ его нѣжно-любящимъ и еще болѣе обѣщающимъ взглядомъ. Таково на всѣхъ впечатлѣніе отъ его отважнаго поступка! Герой на верху славы, и полное счастіе отъ него уже близко.

А онъ? Въ благородномъ гнѣвѣ за попранное въ немъ рыцарское достоинство, де-Лоржъ, не обращая вниманія на любезные и

многозначительные взгляды красавицы, холодно смотритъ на нее, презрительно бросаетъ ей въ лицо перчатку и съ словами: „въ благодарности я не нуждаюсь!“ отходитъ отъ нея, какъ предъ тѣмъ отошелъ отъ звѣрей, оставивъ ее съ ея перчаткой. Въ сознаніи своихъ собственныхъ силъ онъ довольствуется одной моральной побѣдой — тѣмъ, что „ему раздалась хвала изъ каждыхъ устъ“, и лицемѣрную любовь предаетъ публичному позору. Этимъ онъ отомстилъ за свое униженіе.

Какъ въ „Кубкѣ“ мы не поняли бы всѣхъ свойствъ подвига юноши, если бы поэтъ не примѣнилъ своего взгляда на зависимость великаго дѣла отъ трудностей его выполненія и не сообщилъ намъ о всѣхъ ужасахъ Харибды: такъ точно и здѣсь потому только и открывается намъ возможность оцѣнить поступокъ де-Лоржа, что, благодаря предшествовавшему изображенію выхода животныхъ, знаемъ, какой опасности подвергала дама своего рыцаря. Каждая черта изображенныхъ животныхъ образовъ непремѣнно возвышаетъ какую-нибудь черту нравственнаго облика рыцарской неустрашимости и самопожертвованія: его расправа съ Кунигундой, которая безъ того могла бы показаться грубою и несправедливою, теперь является совершенно заслуженной. Все произведеніе построено такъ, что первая половина состоитъ какъ бы изъ трехъ актовъ небольшой звѣриной драмы: a) выхода льва, b) выхода тигра и c) выхода леопардовъ, а вторая изъ трехъ актовъ уже человѣческой драмы: a) насмѣшливаго обращенія Кунигунды, б) выполненія де-Лоржемъ порученія и c) расправы рыцаря съ дамой, при чемъ бросаніе перчатки составляетъ между ними какъ бы непосредствующее звено, но при этомъ каждый изъ предшествующихъ актовъ способствуетъ къ должному пониманію послѣдующихъ. Такимъ образомъ, роль первой половины чисто служебная. То же обстоятельство, что вторая часть начата, когда не кончена первая драма, насъ нимало не смущаетъ; напротивъ, намъ несравненно пріятнѣе и интереснѣе видѣть, что борьба изъ сферы животныхъ переходитъ въ сферу человѣческую, съ почвы матеріальной — на почву чисто нравственную. Чего стоитъ одно то, что̀ происходитъ въ душѣ героя Мы опасаемся за его судьбу, и, однако, наша боязнь должна уступить удивленію его мужественной рѣшимости, съ которой онъ совершаетъ дѣло. И затѣмъ, когда мы настроены на веселый ладъ при видѣ удачи предпріятія, при видѣ похвалъ, какія раздаются герою со всѣхъ сторонъ, когда сама Кунигунда даритъ его самымъ нѣжнымъ взглядомъ: храбрый рыцарь совершаетъ еще болѣе внушительное дѣло — отвергаетъ любовный взглядъ да съ корнемъ вырываетъ и самую любовь. Въ моментъ предъявленія Кунигундой своего требованія, у него, конечно, не было сознательнаго желанія такъ наказать ее за ея безсердечность: тогда въ немъ должно было говорить чувство оскорбленнаго достоинства, желаніе на дѣлѣ доказать все ничтожество сомнѣній въ его мужествѣ и четности. Справедливый гнѣвъ не могъ быть силенъ и когда де-Лоржъ смотрѣлъ въ лицо смерти. Но теперь, едва побѣждена опасность, не-

годованіе выступаетъ во всемъ напряженіи — и въ этомъ чувствѣ онъ бросаетъ ей въ лицо перчатку.

Неожиданность развязки — полная. Трагическое внезапно разбилось о комическое: потому что смѣлое дѣло героя превратилось въ совершенно противоположное той цѣли, для которой, повидимому, оно предпринималось. Тѣмъ не менѣе этотъ переходъ и исходъ находимъ вполнѣ естественнымъ: зазнавшееся лицо требовало должнаго наказанія. Въ свою очередь и пріятное чувство, испытываемое при видѣ удовлетворенія, остается недолго, отступаетъ предъ другимъ, болѣе здоровымъ. Въ той же мѣрѣ, въ какой поэтъ возстановилъ насъ противъ Кунигунды, онъ привлекъ всѣ наши симпатіи на сторону де-Лоржа. Мы чувствуемъ высокое уваженіе къ нравственной силѣ героя, съ которою онъ, отказываясь отъ мишурнаго, временнаго и условнаго, входитъ въ святилище нравственнаго благородства, какъ бы въ область неизмѣннаго, абсолютнаго. Не тотъ еще высокъ, кто при опасности не чувствуетъ страха — его мужество можетъ напоминать безумную смѣлость или излишнюю увѣренность въ избыткѣ силъ; не продолжительно реноме и того, кто свои подвиги приноситъ на службу наслажденіямъ, или не сумѣетъ выйти изъ заколдованнаго круга обычаевъ среды — будутъ поняты его мотивы, минуютъ обычаи, минуетъ и слава: но постоянно симпатиченъ тотъ, того образъ стоитъ, какъ скала, кто всѣмъ жертвуетъ неизмѣнному, всегда уважаемому! И де-Лоржу, несмотря на доказанное мужество, многаго бы недоставало, если бы онъ не сбросилъ съ себя прежнихъ оковъ. Своимъ же разрывомъ де-Лоржъ доказалъ, что онъ натура мощная, готовая, чтобы отстоять свое нравственное достоинство, жертвовать, когда то нужно, своею жизнію, ея благами и обычаями — чувства и поступки людей малодушныхъ и узкихъ совершенно иные. Въ его лицѣ виденъ не столько рыцарь, сколько уже мужчина, человѣкъ, — въ немъ рыцарство возвышается до человѣчности. Съ отрицательнымъ результатомъ въ концѣ концовъ соединяется, такимъ образомъ, и положительный.

Дм. Цвѣтаевъ.

„Кубокъ“ и „Перчатка“ въ переводѣ Жуковскаго.

Въ 1829 же г. Жуковскій перевелъ балладу Шиллера „Кубокъ“ (собственно: „Водолазъ“ — Der Taucher). Размѣръ соблюденъ точно. Впрочемъ, у Шиллера второй стихъ каждой строфы — 3-стопный и четвертый — 4-стопный; у Жуковскаго и второй и четвертый стихъ — 3-стопные. Шиллеръ стремился къ разнообразію ритма; Жуковскій — къ тягучей плавности стиха; даже въ этой мелочи сказывается различіе индивидуальности автора и переводчика: ритмъ — мужественнъ, мелодія—женственна.

Переводъ баллады — верхъ совершенства по силѣ и точности выраженія. Описаніе водоворота, самое сильное по картинности мѣсто баллады, нисколько не потеряло въ переводѣ. У Шилдера:

Und wie tritt an des Felsen Hang
Und blickt in den Schlund hinab,
Die Wasser, die sie hinunter schlang,
Die Charybde jetzt brüllend wiedergab,
Und wie mit des fernen Donners Getose
Entstürzen sie schäumend dem finstern Schoosse.

Und es wallet und siedet und brauset und zischt,
Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt,
Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt,
Und Flut auf Flut sich ohn' Ende drängt,
Und will sich nimmer erschöpfen und leeren,
Als wollte das Meer noch ein Meer gebären.

Doch endlich, da legt sich die wilde Gewalt,
Und schwarz aus dem weissen Schaum
Krafft hinunter ein gähnender Spalt,
Grundlos, als ging's in den Höllenraum,
Und reissend sieht man die brandenden Wogen
Hinab in den strudelnden Trichter gezogen.

Жуковскій:

И онъ подступаетъ къ наклону скалы
И взоръ устремилъ въ глубину...
Изъ чрева пучины бѣжали валы,
Шумя и гремя, въ вышину;
И волны спирались, и пѣна кипѣла:
Какъ будто гроза, наступая, ревѣла.

И воетъ, и свищетъ, и бьетъ, и шипитъ,
Какъ влага, мѣшаясь съ огнемъ,
Волна за волною; и къ небу летитъ
Дымящимся пѣна столбомъ;
Пучина бунтуетъ, пучина клокочетъ...
Не море ль изъ моря извергнуться хочетъ?

И вдругъ, успокоясь, волненье легло;
И грозно изъ пѣны сѣдой
Разинулось черною щелью жерло;
И воды обратной толпой
Помчались во глубь истощеннаго чрева;
И глубь застонала отъ грома и рева.

Красиво переданъ въ подлинникѣ трепетъ ожиданія толпы, глядящей вослѣдъ водолазу. Шиллеръ:

Und hohler und hohler hört man's heulen,
Und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem
Weilen.

Жуковскій:

Все тише и тише на днѣ ея (пучины) воетъ...
И сердце у всѣхъ ожиданіемъ ноетъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ переводъ сильнѣе подлинника. Такъ гибель судовъ въ водоворотѣ у Жуковскаго картиннѣе, чѣмъ у Шиллера. У Шиллера (одиннадцатая строфа):

Wohl manches Fahrzeug, vom Strudel gefasst
Schoss gäh in die Tiefe hinab;
Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast
Hervor aus dem Alles verschlingenden Grab.

То-есть:

Уже не одно судно, подхваченное водоворотомъ,
летѣло стремглавъ въ глубину;
раздробленные киль и мачта только и спасались
изъ всепоглощающей могилы.

Жуковскій:

Не мало судовъ, *закруженныхъ* волной,
Глотала ея глубина:
Всѣ *мелкой* назадъ вылетали *щепой*
Съ ея неприступнаго дна.

Не передана сентенція, ставшая поговоркой. У Шиллера:

Und der Mensch versuche die Götter nicht.
Und begehre nimmer und nimmer zu schauen,
Was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen.

То-есть:

Человѣкъ не долженъ искушать боговъ
и никогда, никогда да не глядитъ на то,
что они милостиво покрыли мракомъ и ужасомъ.

По мысли автора, милосердные боги скрываютъ отъ человѣка *только* тѣ тайны, познаніе которыхъ наполнило бы ихъ сердце ужасомъ (такова мысль и другой баллады Шиллера: „Завѣщанная статуя въ Саисѣ“). По переводу же Жуковскаго выходитъ, что боги окружили человѣка тайнами, которыя всѣ неразрѣшимы, что боги требуютъ смиренія (о которомъ — ни слова у Шиллера). Жуковскій перевелъ вышеприведенную сентенцію такъ:

И смертный предъ Богомъ *смирись*:
И мыслью своей не желай дерзновенно
Знать тайны, Имъ мудро отъ насъ сокровенной.

Неточная передача шиллеровскихъ стиховъ тѣмъ болѣе досадна, что въ нихъ заключена вся идея пьесы, отнюдь не піэтистическая, какъ выходитъ по Жуковскому: не во имя страха должны люди избѣгать нѣкоторыхъ тайниковъ жизни, а во имя собственнаго своего блага; этого оттѣнка переводчикъ въ настроеніи баллады не подмѣтилъ. Зато ни одна изъ балладъ Жуковскаго не отличается такой силой красокъ, какъ „Кубокъ“. Кромѣ приведеннаго описанія водоворота, укажемъ на описаніе чудовищъ морской пучины (отъ строфы девятнадцатой по двадцать вторую). Переводъ подобныхъ мѣстъ такъ безукоризненъ, что „Кубокъ“ можетъ считаться лучшимъ переводомъ

Жуковскаго, среди всѣхъ остальныхъ, и шиллеровскихъ и иныхъ балладъ.

Къ 1829 г. относится переводъ другой баллады Шиллера — „Перчатка“ (Der Handschuh), написанная въ подлинникѣ свободнымъ, неравностопнымъ амфибрахіемъ вперемежку съ ямбами. Жуковскій перевелъ ее свободнымъ ямбомъ.

Въ этой балладѣ Жуковскій позволяетъ себѣ отступленія въ числѣ стиховъ, и потому лаконизмъ подлинника остается невоспроизведеннымъ въ переводѣ. Начало, напримѣръ, у Шиллера кратко и сильно:

Vor seinem Löwengarten,
Das Kampfspiel zu erwarten,
Sass König Franz.
Und um ihn die grossen der Krone,
Und rings auf hohem Balcone
Die Damen in schönem Kranz.

У Жуковскаго близко къ подлиннику, но растянуто и почти водянисто:

Передъ своимъ звѣринцемъ,
Съ баронами, съ наслѣднымъ принцемъ,
Король Францискъ сидѣлъ;
Съ высокаго балкона онъ глядѣлъ
На поприще, сраженья ожидая;
За королемъ, обворожая
Цвѣтущей прелестію взглядъ,
Придворныхъ дамъ являлся пышный рядъ.

Съ такимъ же многословіемъ, хотя точно, передано изображеніе звѣринаго боя, изложенное у Шиллера краткимъ и сильнымъ стихомъ. Слабо переданъ конецъ баллады (благодаря некстати сдѣланному enjambement). Шиллеръ:

Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht:
„Den Dank, Dame, begehr' ich nicht“,
Und verlässt sie zur selben Stunde.

То-есть:

И онъ бросаетъ ей перчатку въ лицо:
„Вашей благодарности, дама, мнѣ не надо!“
И тотчасъ же отходитъ отъ нея.

Жуковскій:

. . . . Въ лицо перчатку ей
Онъ бросилъ и сказалъ: „не требую награды!“

Этотъ заключительный, длинный шестистопный ямбъ совсѣмъ не у мѣста: у Шиллера стихъ энергичный и короткій. *Чешихинъ.*

Поликратовъ перстень.

Стихотвореніе состоитъ изъ 2 сценъ: одна изъ 13 строфъ, другая изъ остальныхъ 3.

I. Поэтъ прежде всего знакомитъ насъ съ мѣстомъ, гдѣ происходитъ большая часть событія, и дѣйствующими лицами. На дворцовой

кровлѣ, самомъ удобномъ пунктѣ для осмотра окрестностей, откуда виденъ Самосъ, пристань и облегающее море, стояли два друга — Поликратъ, единодержавный повелитель Самоса, и пріѣхавшій къ нему въ гости Амазисъ, царь Египта. При взглядѣ на подчиненный и роскошно расцвѣтающій Самосъ, Поликратъ, вышедшій изъ низшихъ слоевъ общества, невольно испытываетъ сладкое чувство власти, и, не зная большаго счастія, какъ быть и сознавать себя повелителемъ, не безъ тщеславія указываетъ гостю на свои владѣнія и вынуждаетъ его, чтобы онъ призналъ его счастливымъ. Очень можетъ статься, что они оба только что разсуждали объ этомъ вопросѣ и теперь Поликратъ лишь пользуется удобнымъ случаемъ, чтобы при видѣ владѣній, какъ фактическаго подтвержденія его словъ, лучше заставить своего упорствующаго собесѣдника согласиться съ нимъ.

II—X. Амазисъ, между тѣмъ, не соглашается, держится противоположнаго взгляда. Не отрицая того, что Поликратъ испыталъ благоволеніе боговъ, что въ жизни ему были однѣ удачи, онъ, однако, не находитъ возможнымъ признать такое счастіе совершеннымъ, постояннымъ, полнымъ, и, въ подтвержденіе своего мнѣнія, приводитъ, одно за другимъ, цѣлый *рядъ* различныхъ *доказательствъ*.

II. Пусть самосцы, прежде равные Поликрату, въ настоящее время подчинены его скипетру: но вѣдь это домашнее торжество еще сомнительное: одинъ изъ соперниковъ не умеръ — и въ немъ врагъ счастія и возможный мститель за себя и покоренныхъ. Таковъ первый, приведенный Амазисомъ, доводъ.

III. Въ это время, прежде чѣмъ успѣлъ Амазисъ перейти къ другимъ своимъ доказательствамъ, представляется посланный изъ Милета подководцемъ Полидоромъ гонецъ, съ радостнымъ извѣстіемъ о погибели соперника; гонецъ, къ ужасу обоихъ властителей, изъ черной чаши вынимаетъ еще кровавую, хорошо имъ знакомую голову, очевидно, только что предъ тѣмъ убитаго врага.

Не вѣрить вѣстнику нѣтъ основаній. Поликратъ можетъ считать себя свободнымъ отъ всякихъ соперниковъ; его господство внутри владѣній обезпечено. Что же скажетъ Амазисъ, когда такъ быстро и наглядно опровергнутъ первый его доводъ? Не оставитъ ли въ сторонѣ свои сомнѣнія и не поспѣшитъ ли согласиться съ Поликратомъ?

V. Нѣтъ, въ страхѣ отступаетъ онъ назадъ, въ страхѣ не только физическомъ, при видѣ внезапно открытой знакомой головы, но и религіозномъ, какъ предъ знакомъ необыкновеннаго счастія, и затѣмъ, поспѣшно, немедля ни минуты, высказываетъ другое доказательство: указываетъ Поликрату на опасности его торговому флоту. Съ причудливаго моря флотъ еще не воротился, онъ можетъ погибнуть отъ волнъ, скалъ, бурь, и счастіе нарушится, довѣряться ему пока нельзя.

VI. И опять напрасны старанія Амазиса. Фактъ еще съ большею скоростію опровергаетъ его. Въ разговорѣ съ вѣстникомъ друзья, стоя въ противоположную сторону отъ моря, и не замѣтили, какъ влетѣлъ въ пристань, легкій на поминѣ, торговый самосскій флотъ; онъ былъ

полонъ чужеземными сокровищами. Самосцы радостно привѣтствуютъ его благополучное возвращеніе, и эти крики торговаго народа долетаютъ до собесѣдниковъ еще раньше, чѣмъ Амазисъ вполнѣ высказалъ свое предположеніе, а Поликратъ понялъ, что говоритъ ему другъ.

Возможность опасности удалена. Владѣніямъ Поликрата ничто не мѣшаетъ процвѣтать чрезъ широкую внѣшнюю торговлю.

VII. Сильнѣе прежняго смущенный Амазисъ еще настойчивѣе убѣждаетъ Поликрата бояться непостоянства счастія и указываетъ ему на новую опасность — отъ воинственныхъ критянъ, которые — это было извѣстно въ Самосѣ — снарядили большую экспедицію противъ Поликрата, ихъ военный флотъ на пути, уже близокъ къ самосскимъ берегамъ...

VIII. Слово не успѣло сорваться, какъ уже готова его опровергающая вѣсть. Все пришло въ движеніе, точно волны, несется къ дворцу отъ кораблей... какихъ? въ интересахъ краткости, не упомянуто, но, очевидно, военныхъ, своихъ, которые прибыли вмѣсто ожидаемыхъ критскихъ. Тысячи голосовъ съ радостью кричатъ о новой побѣдѣ. Внѣшній врагъ разбитъ — и кѣмъ? — не полководцами Поликрата, а морскою бурей, погубившею непріятельскій флотъ. За властителя стоитъ сама природа.

Самосъ безопасенъ, никто не грозитъ ему со-внѣ. Боги покровительствуютъ Поликрату даже безъ всякихъ стараній и заслугъ съ его стороны.

IX—XII. Какія доказательства ни были взяты изъ жизни Поликрата и его отношеній къ окружающему, разбиты. Амазисъ побѣжденъ. Онъ больше не противорѣчитъ Поликрату, торжественно называетъ его счастливымъ; но тутъ же, въ своемъ религіозномъ ужасѣ, объясняетъ всю ненормальность подобнаго явленія. Египтянинъ по рожденію, но эллинъ по образованію, основаніе находитъ онъ въ греческихъ вѣрованіяхъ, точнѣе — во всеобщемъ опытѣ, облеченномъ греками въ религіозную форму:

Ты счастливъ; но судьбины (боговъ) лестью —
Такое счастье мнится мнѣ.
Здѣсь вѣчны блага не бывали,
И никогда намъ безъ печали
Не доставалися онѣ.

Какъ на препятствіе совершенному благополучію, онъ прямо указываетъ на зависть боговъ, которые смотрятъ на него, какъ на преступленіе противъ ихъ величія, и никогда не допустятъ его; поэтому никто изъ людей вполнѣ и не пользовался имъ въ своей жизни, да, конечно, и не будетъ. Невозможность безграничнаго счастія Амазисъ обосновываетъ и ссылкой на свой собственный опытъ. Въ своей судьбѣ онъ находитъ много сходнаго съ судьбой Поликрата. И ему, какъ правителю, все удавалось; но боги покарали его въ семейной жизни: отняли у него дорогого наслѣдника — и съ тѣхъ поръ онъ не безпокоится за свое непрерывно продолжающееся счастіе: тяжелой потерей

сына высшимъ силамъ долгъ (Schuld) уплаченъ. Отсюда онъ приходитъ къ такому заключенію: Поликратъ долженъ позаботиться, чтобы умилостивить боговъ. Онъ совѣтуетъ ему обратиться къ нимъ съ усердной молитвой объ уменьшеніи ему благополучія какимъ-нибудь несчастнымъ случаемъ и тѣмъ предотвратить печальный конецъ, который обыкновенно бываетъ съ тѣми, кому все удается въ жизни. Если же боги услышатъ его, пусть онъ самъ добровольно станетъ виновникомъ несчастія: изъ всѣхъ своихъ сокровищъ выберетъ самое драгоцѣнное и бросить его въ море.

XIII. Замѣчательно, что теперь, когда узнана причина тревогъ Амазиса, своимъ непрерывнымъ счастіемъ поражается и самъ Поликратъ и спѣшитъ избавиться отъ него. Привыкшій къ рѣшительности и собственной иниціативѣ въ своихъ дѣйствіяхъ, онъ пользуется второй половиной совѣта: въ расчетѣ, что боги простятъ ему его счастіе, съ сожалѣніемъ, но добровольно бросаетъ въ море свой шлифованный алмазный перстень, какъ лучшую для него, знатока искусствъ, драгоцѣнность.

XIV—XVI. Удовлетвореніе дано. За будущее, казалось, бояться нечего, и въ пріятной на него надеждѣ друзья сошли съ дворцовой кровли во внутренніе покои. Напрасно! Съ перемѣной мѣста не измѣнился ходъ событій. Противъ воли счастье не покидало Поликрата.

XIV. На слѣдующее утро, едва лишь „лучъ денницы озолотилъ верхи столицы“, самосскій рыбакъ приноситъ Поликрату въ даръ только-что пойманную имъ въ морѣ чудную рыбу, какой еще никому не приходилось изловить. Добровольная почесть пріятна Поликрату, и, однако, вскорѣ оказывается, какъ много далъ бы онъ, если бы не было ея!

XV. Поваръ, которому отдана была рыба, когда сталъ разрѣзать ее, замѣтилъ въ ней наканунѣ брошенный перстень и, пораженный неожиданностью, спѣшитъ возвратить его своему господину. „Перстень, который ты носилъ, я нашелъ въ этой рыбѣ: о, безъ границъ твое счастье!“ — восклицаетъ слуга. Ничего не подозрѣвая о цѣли потери, онъ и не чувствовалъ, какое, на взглядъ царственныхъ собесѣдниковъ, глубокое несчастіе кроется въ этомъ счастіи.

XVI. Въ возвращеніи перстня египетскій гость усматриваетъ несомнѣнный признакъ, что боги не удовлетворяются добровольною жертвой его друга и хотятъ его гибели. Онъ уже какъ бы предчувствуетъ приближеніе ничѣмъ неотвратимой высшей кары, и, чтобы не быть ею застигнутымъ и не погибнуть вмѣстѣ съ Поликратомъ, въ трепетѣ тотчасъ отказывается отъ дружбы и немедленно отплываетъ на готовыхъ къ тому корабляхъ, очевидно, съ намѣреніемъ, никогда больше не быть на Самосѣ.

Логическій строй стихотворенія теперь ясенъ.

I. *Первая сцена: на кровлѣ* (I—XIII):

1. Мнѣніе Поликрата о совершенствѣ своего счастія (строфы I—XIII).
2. Сомнѣніе въ томъ Амазиса и опроверженіе его самимъ счастіемъ (II—XIII).

А. а. *Утвержденіе:* напоминаніе о соперникѣ (II).
б. *Опроверженіе:* извѣстіе о смерти врага (III—IV).
Б. а. *Утвержденіе:* указаніе на опасности торговому флоту (V).
б. *Опроверженіе:* извѣстіе о благополучномъ возвращеніи флота (VI).
В. а. *Утвержденіе:* обращеніе вниманія на возможныя военныя невзгоды отъ приближающихся Критянъ (VII).
б. *Опроверженіе:* извѣстіе о побѣдѣ надъ Критянами (VIII).
3. Признаніе Амазисомъ Поликрата счастливымъ и стараніе избавить его отъ счастія (IX—XII):
А. а. Доказательство невозможности полнаго счастія, почерпнутое изъ всеобщей исторіи (IX).
б. Доказательство изъ собственной жизни (X).
Б. Выводъ: двоякій совѣтъ, какъ привлечь несчастіе (XI—XII) —
а. или молитвой къ богамъ (XI),
б. или добровольнымъ выборомъ (XII).
4. Выполненіе Поликратомъ второй половины совѣта (XIII).

II. *Вторая сцена: во дворцѣ* (XIV—XVI):

1. Подарокъ Поликрату (XIV).
2. Возвращеніе перстня (XV).
3. Разрывъ дружбы и отъѣздъ Амазиса (XVI).

При созданіи этого произведенія Шиллеръ воспользовался Геродотомъ; хотя его знанія древнихъ языковъ не шли далѣе обыкновенныхъ, но стараніемъ и геніальною прозорливостью художника былъ вполнѣ вознагражденъ этотъ недостатокъ. Частію въ подлинникахъ, частію въ переводахъ Шиллеръ чрезвычайно внимательно изучалъ произведенія греко-римскихъ поэтовъ и историковъ, стараясь проникнуться ихъ духомъ, усвоить ихъ изящество, соразмѣрность, величіе и простоту. Геродотъ стоялъ у него рядомъ съ Гомеромъ (Hirzl, Über Schillers Beziehung zum Alterthume, Aarau, 1872).

Въ „Исторіи“ Геродота, кн. III, гл. 39—43, передается:

„Когда Камбизъ отправился въ походъ на Египетъ, въ это время лакедемоняне воевали съ Самосомъ и Поликратомъ, сыномъ Эака, который овладѣлъ Самосомъ чрезъ возмущеніе. Сначала онъ раздѣлилъ государство на три части и подѣлилъ съ своими братьями, Пантагнотомъ и Силозономъ; но потомъ, убивъ одного изъ нихъ и выгнавъ младшаго, Силозона, онъ овладѣлъ всѣмъ Самосомъ. Какъ его владѣтель, онъ заключилъ дружественный союзъ съ Амазисомъ, царемъ египетскимъ, обмѣнявшись съ нимъ подарками. Въ короткое время могущество Поликрата быстро возросло, и слава о немъ распространилась по Іоніи и остальной Элладѣ; ибо куда бы онъ ни обращалъ свое оружіе, все выходило по его желанію. У него было 100 пятидесятивесельныхъ кораблей и 1000 стрѣлковъ, онъ грабилъ и обиралъ всѣхъ безъ различія: потому что, говорилъ онъ, больше сдѣлаетъ удовольствія другу, если возвратитъ, что взялъ, чѣмъ если не возьметъ сначала. Онъ захватилъ много острововъ и много городовъ на материкѣ. Между прочимъ, онъ побѣдилъ въ морской битвѣ и взялъ въ плѣнъ лесбосцевъ, которые помогали милезійцамъ; они то во время своего плѣна выкопали весь ровъ вокругъ самосской городской стѣны.

„Амазисъ зналъ о необыкновенномъ счастіи Поликрата и былъ озабоченъ этимъ; и какъ его счастіе возрастало все больше и больше, Амазисъ написалъ слѣдующее письмо и прислалъ къ нему въ Самосъ:

„Амазисъ такъ говоритъ Поликрату: пріятно узнать, что другъ и союзникъ имѣетъ успѣхъ въ своихъ дѣлахъ; но мнѣ это необыкновенное счастіе не нравится, ибо я знаю, какъ завистливы боги. Я лучше желаю и для себя и для тѣхъ, о комъ забочусь, чтобы одни дѣла имѣли успѣхъ, другія — неудачу, и чтобы, такимъ образомъ, въ продолженіе всей жизни встрѣчать попеременно то одно, то другое, чѣмъ быть счастливымъ во всемъ. Я не слыхалъ ни о комъ, кто, имѣя во всемъ успѣхъ, не потерпѣлъ бы подъ конецъ полнаго несчастія. Поэтому послушайся меня и сдѣлай противъ своего великаго счастія: подумай, что ты считаешь самымъ дорогимъ для себя, и потеря чего наиболѣе огорчитъ тебя, забрось это туда, чтобы оно никогда не попадало къ людямъ. Если съ этихъ поръ къ твоему счастію не будутъ примѣшиваться неудачи, то помогай себѣ предлагаемымъ мною способомъ“.

„Прочитавъ это, Поликратъ понялъ, что Амазисъ даетъ ему хорошій совѣтъ, и сталъ обдумывать, какая изъ его драгоцѣнностей наиболѣе огорчитъ его своей потерей. Онъ пришелъ къ такому рѣшенію. Былъ у него перстень, который онъ носилъ, изъ смарагда, обдѣланный въ золото, работы самосца Ѳеодора, сына Телекла. Итакъ, онъ рѣшилъ бросить этотъ перстень и сдѣлалъ слѣдующее: велѣлъ снарядить пятидесятивесельный корабль, взошелъ въ него самъ и приказалъ выплыть въ открытое море. Отдалившись отъ острова, онъ снялъ съ пальца перстень и на глазахъ своихъ спутниковъ бросилъ его въ море.

„На пятый или шестой день послѣ того случилось съ нимъ слѣдующее: одинъ рыбакъ поймалъ прекрасную большую рыбу и счелъ достойнымъ подарить ее Поликрату. Съ нею онъ отправился къ дверямъ дворца и сказалъ, что желаетъ быть допущеннымъ къ Поликрату. Получивъ позволеніе, онъ поднесъ Поликрату рыбу и сказалъ: „государь, поймавъ эту рыбу, я не разсудилъ нести ее на рынокъ, хотя живу своими трудами, но счелъ ее достойнымъ тебя и твоей власти; итакъ, приношу ее тебѣ въ подарокъ“. На это Поликратъ, очень довольный, отвѣчалъ: „ты прекрасно сдѣлалъ, и вотъ тебѣ двойная благодарность за твои слова и за твой подарокъ: мы приглашаемъ тебя на пиръ“. Обрадованный рыбакъ пошелъ домой. Слуги разрѣзали рыбу и нашли въ ея кишкахъ перстень Поликрата; увидавъ его, они тотчасъ же взяли и съ большой радостью принесли къ Поликрату; отдавая ему перстень, они разсказали, какъ онъ нашелся. Поликратъ подумалъ, что это дѣло божеское; написалъ въ письмѣ обо всемъ, что дѣлалъ и что изъ этого вышло, и это письмо отослалъ въ Египетъ.

„Прочтя письмо Поликрата, Амазисъ понялъ, что человѣкъ не можетъ избавить другого человѣка отъ грозящаго ему несчастія и что не кончитъ добромъ Поликрату, ибо онъ успѣваетъ во всемъ и даже находитъ то, что̀ бросилъ. Поэтому Амазисъ прислалъ въ Самосъ вѣстника съ объявленіемъ, что уничтожаетъ союзъ; онъ сдѣлалъ это ради того, чтобы не огорчиться за своего друга, когда на Поликрата обрушится великое и ужасное несчастье“.

Далѣе съ 44-й по 66-ю гл. Геродотъ ведетъ рѣчь объ удачной осадѣ Самоса лакедемонянами и выгнанными Поликратомъ самосцами, съ 67-й по 116-ю гл. — о персахъ, а въ 117 — 120 главахъ снова возвращается къ Поликрату и передаетъ объ его несчастной смерти. Его погубилъ Оритъ, персидскій правитель въ малоазіатскомъ городѣ Сардахъ. Подъ мнимымъ предлогомъ, что будто бы, вслѣдствіе замысловъ на него Камбиза, онъ проситъ Поликрата взять его къ себѣ вмѣстѣ съ своими громадными сокровищами, Оритъ заманилъ его въ Сарды и, измучивъ, позорно распялъ его на крестѣ. До этого довело Поликрата его необыкновенное счастіе, какъ предсказывалъ ему египетскій царь Амазисъ, такъ заключаетъ свою повѣсть о немъ Геродотъ.

Геродотъ передаетъ, такимъ образомъ, вообще о насильственномъ захватѣ Поликратомъ единодержавной власти въ Самосѣ, массы острововъ и приморскихъ городовъ, о его дружескихъ сношеніяхъ съ Амазисомъ, о судьбѣ перстня, отказѣ Амазиса отъ союза, удачныхъ войнахъ и позорномъ концѣ.

Общность содержанія поэтическаго созданія Шиллера съ этимъ разсказомъ, кромѣ различныхъ частностей, прежде всего проглядываетъ въ одной и той же основной идеѣ. Поэтъ воплотилъ, найденное имъ у Геродота, своеобразное воззрѣніе грековъ на общую всѣмъ временамъ мысль о непостоянствѣ земного счастія.

Всегда сознавали или, по крайней мѣрѣ, чувствовали, что счастіе, какъ и все земное, имѣетъ свои предѣлы, и что поэтому ни одному человѣку не свойственно полное благополучіе. Въ жизни человѣка радость мѣняется горемъ и уравновѣшивается имъ. Даже въ наши дни мы часто замѣчаемъ, какъ тревожатся за того, кто быстро идетъ въ гору. Но теперь понимаютъ дѣйствительную причину опасеній. Въ счастіи человѣкъ легко способенъ забываться и не думать о зависимости; самомнѣніе, тщеславіе и гордость ослѣпляютъ его. Подобно Поликрату онъ начинаетъ считать себя какимъ-то избранникомъ; становится глухъ къ совѣтамъ близкихъ, начинаетъ смотрѣть на окружающее презрительно, надменно; не хочетъ знать ни дѣйствительности, ни возможныхъ опасностей, въ своей жизни мечтаетъ руководствоваться одной своей силой и волей, и при такомъ ослѣпленіи, естественно, не можетъ удержаться на прежней высотѣ. Несчастіе является необходимой и полезной школой для облагороженія сердца человѣка, отрезвленія его взгляда. Человѣкъ самъ въ себѣ носитъ небо и адъ, и своимъ несчастіемъ бываетъ обязанъ чаще всего самому себѣ. Если же посылается оно свыше, то или въ наказаніе за преступленія, или для прощенія, или же, если не за вину, то для того, чтобы путемъ страданія довести человѣка до еще большаго нравственнаго совершенства и духовнаго просвѣтленія. По современному воззрѣнію, Божество — существо совершеннѣйшее, которому въ отношеніяхъ къ людямъ свойственна одна благость, благоволеніе; страданія же посылаетъ въ случаяхъ, когда они лучше, нежели само счастіе, могутъ служить средствомъ для блага людей.

Греки поняли дѣло по-своему. Не умѣя объяснить изъ психологическихъ основаній или общественныхъ отношеній и приписывая богамъ всѣ хорошія и дурныя свойства людей, они, сообразно своему наивному характеру, всю вину свалили на боговъ. Боги, по ихъ вѣрованію, не всесильны, не законодатели, но ограничены высшей Судьбой и во многомъ зависятъ отъ нея; они не избавлены отъ страстей и даже отъ страданій; полное блаженство имъ не принадлежитъ. Они или сами другъ другу наносятъ оскорбленіе, или же огорчаютъ ихъ люди. Особенно непріятно имъ, когда видятъ постоянно возвышающееся счастіе какого-нибудь человѣка. Они опасаются за униженіе своего достоинства, за то, чтобы смертный не сравнялся съ ними или даже не превзошелъ ихъ, чтобы онъ не достигъ такого совершеннаго благополучія, какого лишены они въ своей божественной жизни. Такой счастливецъ возбуждаетъ въ нихъ непримиримую зависть. Поэтому, едва замѣчаютъ они его, тотчасъ стараются мѣшать ему, и чѣмъ выше взобрался было онъ, тѣмъ ниже опускаютъ они его, тѣмъ ужаснѣе бываетъ наказаніе: большое счастіе считали они преступленіемъ, достойнымъ наказанія. Возраженіе, что боги вѣдь, однако, сами посылали то счастіе, которое потомъ возбуждало ихъ зависть, не безпокоило грековъ: положеніе, что безпрерывно возрастающаго счастія не существуетъ, что громадное счастіе разбивается о равносильную бѣду, и разбивается именно вслѣдствіе зависти боговъ, держалось у нихъ крѣпко. И Геродотъ, историкъ національный, высказывая подобныя мысли, вполнѣ удовлетворялъ своей средѣ и эпохѣ, когда греки, подобно ему, еще были проникнуты неподдѣльною вѣрой въ реальность миѳической древности, когда вѣра еще была неразрывна съ патріотизмомъ и всею публичною жизнію эллинскаго міра. Ту же идею о непостоянствѣ счастія выражаетъ здѣсь и Шиллеръ, какъ онъ высказывалъ ее и въ другихъ произведеніяхъ („Колоколъ", „Смерть Валленштейна"), такъ какъ это древнегреческое воззрѣніе вплоть до зависти боговъ, по замѣчанію Гофмейстера, было его собственнымъ чувствомъ и ученіемъ. „Глубокое, постоянное сознаніе зависимости отъ высочайшей силы, въ которой мы тогда бываемъ всего менѣе увѣрены, когда находимся на верху могущества, — вотъ тотъ религіозный духъ, который вѣетъ въ нравственно-поэтическомъ мірѣ Шиллера".

Идея — общее; отъ нея, точно отъ стебля, тянутся, выросшія по различнымъ направленіямъ, двѣ вѣтви, изъ которыхъ одна росла сама собою, почти подъ однимъ вліяніемъ природы, а другая — подъ зоркимъ уходомъ искуснаго садовника. Всегда и во всемъ объективный и спокойный, Геродотъ передавалъ событіе, какъ оно было, или по крайней мѣрѣ, какъ ему было извѣстно. Его прямая задача — дѣйствительность, фактъ, передѣлывать который, ради идеи, ему не представлялось надобности. Идею онъ нашелъ въ самомъ фактѣ, отъ котораго она не отдѣлялась, и записалъ, какъ подходящее народное объясненіе событія. Иныя требованія долженъ былъ выполнить Шил-

леръ. Онъ — не бытописатель, а поэтъ; его дѣло не въ томъ, чтобы разсказывать событіе по порядку, а въ томъ, чтобы художественно олицетворить идею въ формѣ греческаго міровоззрѣнія. И сообразно съ этимъ, то же самое повѣствованіе Геродота, само по себѣ цѣльное и изящное, является для него уже сырымъ, подлежащимъ серіозной обработкѣ, матеріаломъ.

Съ истиннымъ пониманіемъ интересовъ поэзіи Шиллеръ, прежде всего, отсѣкъ изъ разсказа, что̀ не подходило къ идеѣ. Онъ опустилъ все его начало — извѣстіе о насильственныхъ и преступныхъ средствахъ, употребленныхъ Поликратомъ для своего возвышенія: убійствѣ одного брата, изгнаніи другого и т. д. Сохраненіе этихъ подробностей оставило бы идею недоказанной. Если бы хотя одинъ темный фактъ былъ сообщенъ читателю, то гибель Поликрата ему могла бы показаться не слѣдствіемъ зависти боговъ, а заслуженной божественною карой за преступленіе или справедливой местью со стороны оскорбленныхъ. Обрывая стихотвореніе на возвращеніи перстня и отъѣздѣ Амазиса, Шиллеръ не воспроизводитъ и конца разсказа — извѣстія о печальной смерти Поликрата. Нѣкоторые изъ критиковъ (Gotzinger I, 316, и др.) сочли это недостаткомъ въ произведеніи. Напрасно. Картина бѣдствій въ значительной степени заслонила бы идею. Читатель былъ бы пораженъ фактомъ, но затѣмъ могъ бы и остановиться, нейти далѣе. Теперь же, и безъ картины бѣдствій, въ немъ не остается ни малѣйшаго сомнѣнія въ ихъ необходимости, и возбужденное его воображеніе рисуетъ ему всевозможныя бѣды, имѣвшія постигнуть Поликрата, заставляетъ его предчувствовать ихъ и серіознѣе вдуматься въ роковую силу основной мысли. Таинственныя ожиданія всегда гнетутъ сильно и продолжительно; поневолѣ задумаешься о причинѣ бѣдъ. Вниманіе погружено теперь въ сферу идеи. Но не нанесено ли тѣмъ ущерба факту, образу? Нимало. „Тайна художника — посредствомъ воображенія возжечь воображеніе“, сказалъ Гумбольдтъ. И мы видѣли, какой широкій просторъ отведенъ воображенію читателя въ рисованіи бѣдствій; картина опредѣленнаго несчастія много стѣснила бы его дѣятельность. Важно также и то, что авторъ имѣлъ своей задачей представить идею о непостоянствѣ счастія не въ фактахъ, а въ томъ *чувствѣ* ужаса, которое охватываетъ человѣка при видѣ возрастающаго благополучія своего ближняго. Какой бы смыслъ изображать теперь бѣдствія? Не нарушилась ли бы тѣмъ цѣльность образа? Соотвѣтствовалъ ли бы онъ своей идеѣ? Нѣтъ, требовать отъ Шиллера, чтобы онъ сохранилъ вѣсть о несчастной смерти, значитъ — не понять поэта и его произведенія.

Уже второе измѣненіе разсказа въ значительной степени относится къ индивидуальнымъ особенностямъ Шиллера: изображеніе страданія онъ и самъ не считалъ конечной цѣлью искусства; все же это болѣе отрицательныя свойства: тотъ и другой пропускъ могъ учинить каждый истинный поэтъ. Не то приходится сказать о прямой обработкѣ взятаго имъ матеріала: это — исключительно продуктъ его своеобразнаго поэтическаго дара.

Поэтъ-философъ, онъ самъ называлъ исторію магазиномъ для своей фантазіи, говоря, что предметы должны довольствоваться у него той обдѣлкой, какую онъ вздумаетъ имъ дать. Сообразно съ этимъ онъ слишкомъ мало позаботился здѣсь объ историческихъ деталяхъ и внѣшней обстановкѣ. Свое поклоненіе идеѣ простеръ для того, что, при изображеніи дѣйствующихъ лицъ онъ ограничился однимъ ихъ нарицательнымъ именемъ: тиранъ самосскій, властитель, царь Египта, или просто мѣстоименіемъ: онъ, этотъ и т. п. Для него безразлично, какъ бы ни назывались они. Они важны для него не сами по себѣ, а какъ подходящія орудія для выраженія взятой имъ идеи. Еще оригинальнѣе онъ обошелся съ другими особенностями разсказа. У Геродота всѣ сношенія между Поликратомъ и Амазисомъ ведутся письменно и чрезъ вѣстниковъ, на дальніе переходы тратится много времени; счастливыя обстоятельства жизни Поликрата раздѣлены другъ отъ друга цѣлыми годами. Не такъ поступилъ Шиллеръ. Натура стремительная, поэтъ-драматургъ, онъ всѣ разъединенныя между собой обстоятельства чисто-сценически соединилъ на небольшомъ мѣстѣ и времени. Художественный пріемъ его замѣчательно простъ. Поэтъ пожелалъ иллюстрировать идею на невольномъ чувствѣ ужаса при видѣ возвышающагося счастія и сообразно съ этимъ онъ сводитъ друзей въ одно мѣсто, при чемъ Амазиса переноситъ на Самосъ, гдѣ онъ становится очевидцемъ быстро возрастающаго могущества и удивительнаго счастія своего друга; замедляющую ходъ событія переписку замѣняетъ непосредственной личной бесѣдой. Отсюда произошло то, что все у него пріобрѣтаетъ сконцентрированность, подвижность, скорость и наглядность; время ограничивается двумя днями, вѣрнѣе, вечеромъ перваго и раннимъ утромъ второго; дѣйствіе, соотвѣтственно времени, совмѣщается лишь въ двухъ небольшихъ сценахъ.

Первая сцена — на кровлѣ королевской палаты (I—XIII). Отсюда оба владѣтеля, а вмѣстѣ съ ними какъ бы и читатели, осматриваютъ живописный Самосъ, богатую пристань и необъятное море; сюда приноситъ вѣстникъ голову убитаго врага; отсюда виденъ прибывшій въ пристань флотъ — торговый, вслѣдъ за нимъ и военный; отсюда Поликратъ бросаетъ свой перстень. Рядъ счастливыхъ случаевъ (III—VIII) какъ бы мелькаетъ предъ нашими глазами. Счастіе Поликрата представляется не готовымъ уже и окончившимся, какъ у Геродота, но, какъ въ драмѣ, совершающимся и оканчивающимся, не прошедшимъ, но настоящимъ. Еще живъ соперникъ, не приплылъ еще торговый флотъ, еще грозятъ войною критяне — сколько возможныхъ опасностей! — но все одно за другимъ быстро превращается въ счастіе, благословеніе и побѣду. Нѣтъ больше соперника Поликрату; его владѣнія процвѣтаютъ внутри, безопасны со-внѣ. Чего же болѣе? И вдругъ къ этой прелестной, полной движенія, поэтической картинѣ, какъ разъ въ срединѣ стихотворенія (VIII—XIII), вставляется рѣзкая, но и подготовленная, противоположность — выраженіе Амазисомъ основной идеи и дѣйствіе ея на Поликрата. Оказывается, насколько выше поднималось счастіе Поли-

крата, настолько сильнѣе тревожился его другъ, настолько мрачнѣе становился его внутренній міръ, — Амазиса постигаетъ удивленіе, страхъ, затѣмъ ужасъ, и когда онъ высказываетъ причину тревогъ, пораженъ своимъ счастіемъ и самъ Поликратъ. Съ возвышеніемъ внѣшняго благополучія въ одинаковой степени понижалось внутреннее, чѣмъ выше счастіе, тѣмъ ниже человѣкъ падаетъ духомъ — контрастъ неожиданный, поразительный, полный. И только теперь, узнавъ въ чемъ дѣло, поймешь всю естественность опасеній Амазиса, всю подготовленность этой части стихотворенія, ея связь съ предыдущимъ; а ниже, при развязкѣ, открывается ея внутреннее значеніе и для послѣдующаго.

Во второй сценѣ — во внутреннихъ покояхъ дворца — дѣйствіе идетъ къ своему концу еще быстрѣе, чѣмъ въ предыдущей: подарокъ рыбы, возвращеніе перстня и разрывъ дружбы обнимаютъ всего три строфы (XIV—XVI). Дружба — великое дѣло; основанная всегда на общности стремленій, пониманія, продолжительномъ обмѣнѣ мыслей и чувствъ, она, по преимуществу, предъ другими чувствами отличается твердостію и продолжительностью, разорвать ее нелегко, иногда тяжелѣе, чѣмъ раздѣлить съ другомъ прилучившіяся ему бѣды. И, однако, когда предчувствіе приближающейся грозной божественной силы получаетъ явное доказательство, когда, съ возвращеніемъ перстня, зависть боговъ несомнѣнна, — чувство страха въ Амазисѣ доходитъ до зенита — и дружба съ человѣкомъ, не только несчастнымъ, но и противнымъ богамъ, невозможна. Разорвать ее — полное основаніе, прямая необходимость. И Амазисъ поспѣшно удаляется, и вмѣстѣ съ тѣмъ оканчивается и самое произведеніе.

Амазисъ — главное лицо въ стихотвореніи. Онъ наиболѣе полный носитель идеи; на немъ, на его чувствѣ, главнымъ образомъ, Шиллеръ олицетворилъ ее. Поликратъ же — герой пассивный. Онъ, только что съ необыкновеннымъ удовольствіемъ хвалившійся предъ другомъ своимъ счастіемъ въ Самосѣ, теперь, послѣ бесѣды съ нимъ, самъ испуганъ своимъ благополучіемъ и боязливо смотритъ въ свое будущее.

Конецъ, такимъ образомъ, полонъ печали и неожиданно представляетъ рѣзкій контрастъ отрадному началу.

При этомъ насъ не смущаетъ то, что поэтъ чрезвычайно много отступилъ отъ исторіи, представилъ событіе въ иной формѣ. По Геродоту, Амазисъ никогда не бывалъ на Самосѣ, а здѣсь, между тѣмъ, друзья ведутъ личную бесѣду, выдуманъ полководецъ Полидоръ, Милетъ изъ враждебнаго сталъ союзнымъ, вмѣсто спартанцевъ являются критяне, Амазисъ упоминаетъ о мнимой смерти сына, перстень брошенъ не съ корабля, а съ кровли, Амазисъ отъѣзжаетъ отъ Поликрата, а не просто только отказывается отъ союза съ нимъ, и т. д. и т. д., — все это мы видимъ и, вмѣстѣ съ Амазисомъ, дивимся необыкновенному счастію Поликрата, въ быстромъ слѣдованіи счастливыхъ случаевъ готовы подозрѣвать что-то таинственное... Стихотвореніе оставляетъ сильное впечатлѣніе; раздумья о неправдоподобіи или абстрактности почти нѣтъ и слѣда. Въ противоположность спокойному разсказу Геро-

дота мы видимъ живую драму; вмѣсто повѣсти о тянувшихся цѣлые годы событіяхъ — волшебную, быстро промелькнувшую и исчезнувшую картину...

И именно — волшебную. Чтобы показаться вполнѣ реальной, она требуетъ отъ читателя многихъ дополненій изъ его собственнаго запаса историко-географическихъ знаній. Она едва ли бы не выиграла, если бы Шиллеръ ближе держался къ мѣстной почвѣ, внесъ въ стихотвореніе нѣсколько лишнихъ чертъ и не допустилъ нѣкоторыхъ, вызывающихъ недоразумѣніе, выраженій. Мѣсто дѣйствія указано слишкомъ обще — Самосъ, кровля и т. п.; безъ знанія о мѣстности изъ другихъ источниковъ не легко составить себѣ цѣльное и близкое къ дѣйствительности представленіе. Дѣйствующія лица здѣсь не названы — не всякій можетъ догадаться, о комъ идетъ рѣчь. Индивидуальныя особенности характеровъ почти не обрисованы. Единственно, что рельефнѣе выступаетъ у Амазиса, это — возрастающее опасеніе близкой перемѣны, у Поликрата — сначала гордое самомнѣніе, потомъ, подъ вліяніемъ словъ друга, опасеніе и желаніе избѣгнуть бѣдствія посредствомъ добровольной жертвы. Не всякому также покажется правдоподобнымъ, чтобы Поликратъ до такой степени забылся и чтобы Амазисъ пріѣхалъ на Самосъ, когда такъ много грозило опасностей. Особенно ставятъ въ затрудненіе нѣкоторыя своеобразныя выраженія. 1. „Живетъ одинъ“ (Einer lebt, 11, 4) — какой врагъ: внутренній или внѣшній, братъ Поликрата или чужой ему? 2. „Твой флотъ“ (deiner Flotte, V, 6) — торговый или военный? 3. Es wallen (IX, 2) — люди или побѣдные флаги? Даже спеціалисты отвѣтили совершенно различно. Глаголъ „возразилъ“ (versetzt, V, 4) указываетъ, что рѣчь Амазиса какъ будто относилась къ вѣстнику, между тѣмъ она, очевидно, направлялась къ Поликрату. Выраженіе: „богатый мачтами лѣсъ кораблей“ (Der Schiffe mastenreicher Wald, VI, 6) — ясно только благодаря указанію на мачты. Сказуемое: „сорвалось“ (entfallen, VIII, 1) — можетъ быть отнесено лишь къ необдуманной рѣчи, къ словамъ Амазиса приложить его трудно. Эпитеты къ повару: „смущенный“ (bestürzt, XV, 2) и къ его взгляду: „удивленный“ (mit hocherstauntem Blick) — неправдоподобны: „въ первомъ случаѣ было бы умѣстнѣе вмѣсто смущенія — *удивленіе*, во второмъ вмѣсто удивленія — *радость*, такъ какъ поваръ ничего не зналъ о потери дорогого перстня“ (Düntzer, VI—VII, 168).

Таковы положительныя и отрицательныя стороны произведенія. Какое же вообще мнѣніе произнести теперь о немъ?

Общая точка зрѣнія всегда обусловливалась тѣмъ, какой кто держался теоріи баллады и поэзіи. Другъ, совѣтникъ и постоянный критикъ Шиллера, Кернеръ, прочитавъ „Перстень Поликрата“, отвѣтилъ, что въ немъ хороши одни стихи, но въ цѣломъ произведеніе сухо и не соотвѣтствуетъ задачѣ баллады. Единство здѣсь лежитъ въ абстрактной идеѣ, но въ балладѣ, какъ произведеніи повѣствовательномъ, господство сверхчувственнаго не должно быть допущено. Настоящая задача этого вида поэзіи — представленіе въ дѣйствіи высшей

человѣческой натуры, которая должна или побѣдить послѣ труднаго сраженія, или пасть въ неравной борьбѣ съ превышающей ее внѣшнею силой. „Судьба никогда не можетъ стать героемъ стихотворенія, но только человѣкъ, который борется съ судьбой, какъ, напр., Прометей". Совершенно противоположный взглядъ высказалъ Гёте: онъ остался вполнѣ доволенъ произведеніемъ, особенно концомъ его; нашелъ, что оно много выигрываетъ при перечитываніи и что его нельзя, подобно Кернеру, смѣшивать съ тѣми, которыя только символизируютъ абстрактную идею. Поэтъ нимало не нарушилъ правъ поэзіи, не перешелъ ея границъ; напротивъ, съ даннымъ произведеніемъ получается новый, расширяющій права поэзіи, способъ выраженія идеи. Самъ Шиллеръ нашелъ мнѣніе Кернера „не безосновательнымъ", но больше склонился къ сужденію Гёте. Послѣднее мнѣніе восторжествовало. Отдать ему преимущество, дѣйствительно, слѣдуетъ, но нельзя не принять въ расчетъ и положеній Кернера. Если было бы большой ошибкой назвать это произведеніе сухимъ и абстрактнымъ, символомъ или аллегоріей, то все же то, чѣмъ подкупаетъ оно, — не пластика, не рельефность образа — твердыхъ очертаній и достаточной ясности красокъ глазъ не находитъ: произведеніе поражаетъ широтой своей идеи, фантастичностью картины, цѣльностью образа, подвижностью и необычайно логически-стройной композиціей. Это не просто поэтическое произведеніе, но поэтически-философское. Его могъ создать только одинъ Шиллеръ.

Дмитрій Цвѣтаевъ.

„Поликратовъ перстень" въ переводѣ Жуковскаго.

Не во всѣхъ произведеніяхъ послѣдняго періода сказывается въ одинаковой мѣрѣ проникновеніе въ глубь авторской идеи; въ нѣкоторыхъ переводахъ авторская идея передается далеко не со всѣми частностями и оттѣнками. Примѣромъ въ этомъ отношеніи можетъ служить переводъ баллады Шиллера „Поликратовъ перстень" („Der Ring des Polykrates"), 1832 г.

Переводъ, съ внѣшней стороны (размѣра), сдѣланъ тщательно, точно и умѣло. Но уже изъ перевода первыхъ строфъ видно, что Жуковскій обратилъ мало вниманія на часто встрѣчающіяся слова „счастье", „счастливый", тѣсно связанныя съ идеей произведенія. Первая строфа баллады кончается обращеніемъ Поликрата къ Амазису:

Gestehe, dass ich glücklich bin,

то-есть:

Сознайся, что я счастливъ.

Въ этихъ словахъ какъ бы заключенъ планъ всей дальнѣйшей баллады, въ которой трактуется вопросъ о счастіи *человѣка* вообще.

Понятно по этому, какъ неточно выразился Жуковскій, переведя упомянутый стихъ:

Сколь счастливъ я между *царями*.

Во второй строфѣ Амазисъ отвѣчаетъ на похвальбу Поликрата:

Dich kann mein Mund nicht glücklich sprechen,
So lang' des Feindes Auge wacht.

То-есть:

Языкъ мой не повернется назвать тебя *счастливымъ*,
пока бодрствуетъ око врага.

Жуковскій пропускаетъ слово „счастіе“ и вводитъ слово „судьба“:

Пока онъ (врагъ) дышитъ... побѣдитель,
Не довѣряй своей судьбѣ.

Въ четвертой строфѣ ослаблены краски картины, показавшейся Жуковскому слишкомъ грубою. Гонецъ приноситъ Поликрату вѣсть о побѣдѣ надъ врагомъ:

Und nimmt aus einem *schwarzen Becken*,
Noch blutig, zu der Beiden Schrecken,
Ein wohlbekanntes Haupt hervor.

То-есть:

И вынимаетъ изъ *чернаго таза*,
къ ужасу обоихъ, еще *капающую кровью*,
хорошо знакомую голову (врага).

Жуковскій:

Рука гонца сосудъ держала:
Въ сосудѣ голова лежала;
Врага узналъ въ ней царскій взоръ.

Въ пятой строфѣ баллады Амазисъ опять упоминаетъ о счастьѣ:

Doch warn' ich dich, dem Glück zu trauen,

то-есть:

Все же я остерегаю тебя — не довѣрять счастію.

Жуковскій, съ самаго начала баллады сдѣлавшій ошибку, принужденъ нести всѣ ея послѣдствія, и снова переводитъ вмѣсто „счастья“ — „судьба“:

Страшись! Судьба очарованьемъ
Тебя къ погибели влечетъ!

Зато великолѣпно, лучше чѣмъ въ подлинникѣ, въ шестой строфѣ изображена картина побѣдоноснаго флота. Шиллеръ:

Und eh' er noch das Wort gesprochen,
Hat ihn der Jubel unterbrochen,
Der von der Rhede jauchzend schallt.
Mit fremden Schätzen reich beladen,
Kehrt zu den heimischen Gestaden
Der Schiffe mastenreicher Wald.

Жуковскій:

Еще слова его звучали...
А клики брегъ ужъ оглашали,
Народъ на пристани *кипѣлъ*;
И въ пристань, *царь морей крылатый*,
Дарами дальнихъ странъ богатый,
Флотъ *торжествующій влетѣлъ*.

„Моря царь крылатый“, „торжествующій“, „влетѣлъ“ — всѣхъ этихъ эпитетовъ нѣтъ въ подлинникѣ, а они-то и придаютъ жизнь всей картинѣ; шиллеровское сравненіе: „густой мачтовый лѣсъ судовъ“ (der Schiffe mastenreicher Wald) слишкомъ мало говоритъ воображенію.

Въ седьмой строфѣ Амазисъ опять заговариваетъ о счастіи, и опять въ переводѣ неточность. У Шиллера:

Dein Glück ist heute gut gelaunet,

то-есть:

Счастье сегодня къ тебѣ благосклонно.

Жуковскій перевелъ:

Тебѣ Фортуна благодѣетъ.

Переводъ девятой строфы указываетъ на источникъ главнѣйшей ошибки Жуковскаго. Въ этой строфѣ впервые дѣлается намекъ на „зависть боговъ“ — вѣрованіе, смущавшее древняго эллина; по представленію этого эллина, чрезмѣрное счастье человѣка возбуждало зависть въ богахъ, мстившихъ за избытокъ блаженства. Именно этотъ намекъ, несмотря на его важность, Жуковскій оставилъ безъ вниманія. Амазисъ у Шиллера говоритъ Поликрату:

Mir grauet vor der Götter Neide;
Des Lebens ungemischte Freude
Ward keinem Irdischen zu Teil.

То-есть:

Страшусь я зависти боговъ;
неподмѣшанная радость жизни
не была удѣломъ ни одного смертнаго.

Вмѣсто этого, чисто-античнаго воззрѣнія, въ переводѣ Жуковскаго — общее мѣсто:

Здѣсь вѣчны блага не бывали
И никогда намъ безъ печали
Не доставалися онѣ (они).

Отсюда ясно, какъ проигрываетъ въ настроеніи баллада, если ея закулисными героями являются не боги, представляющіе подобіе человѣческихъ силъ и стремленій, а бездушная, безформенная судьба. Въ десятой строфѣ опять пропущено слово „счастье“, находящееся въ подлинникѣ. Амазисъ жалуется на зависть боговъ:

Dem Glück bezahlt' ich meine Schuld.

То-есть:

Я заплатилъ свой долгъ счастью (кончиною сына).

У Жуковскаго:

Я долгъ мой сыномъ заплатилъ,

и по связи съ предыдущимъ видно, что долгъ „судьбинѣ". Въ одиннадцатой строфѣ — та же ошибка. Амазисъ опять твердитъ о завистливыхъ богахъ:

So flehe zu den Unsichtbaren,
Dass sie zum Glück den Schmerz verleihn.

То-есть:

Моли незримыхъ,
чтобы они къ счастью придали горя.

Жуковскій опять упоминаетъ о судьбѣ:

Моли невидимыя власти
Подлить печали въ твой фіалъ.
Судьба и въ милостяхъ — мздоимецъ.

Въ тринадцатой строфѣ Поликратъ говоритъ про свой перстень:

Ihn will ich den Erinnen weihen,
Ob sie mein Glück mir dann verzeihen.

То-есть:

Я посвящу его Эринніямъ (богинямъ возмездія):
быть можетъ, *онъ простятъ мнѣ мое счастье.*

У Жуковскаго — опять общее мѣсто:

Но я готовъ властямъ незримымъ
Добромъ пожертвовать любимымъ.

Въ предпослѣдней строфѣ поваръ, нашедшій перстень въ рыбѣ, восклицаетъ:

O, ohne Grenzen ist dein Glück!

То-есть:

О, счастіе твое безмѣрно!

Въ переводѣ Жуковскаго этотъ стихъ пропущенъ. Въ послѣдней строфѣ Амазисъ, ужасаясь постоянству Поликратова счастья, восклицаетъ:

Die Götter wollen dein Verderben!

То-есть:

Боги желаютъ твоей гибели!

У Жуковскаго онъ восклицаетъ:

На смерть ты обреченъ *судьбою!*

Въ идеѣ о „зависти боговъ" — такой страстный и убѣжденный пессимизмъ, какого нѣтъ въ мысли о безличной судьбѣ. Очевидно, неудачною замѣной словъ „счастья" и „боги" — „судьбою", Жуков-

скій обезличилъ все стихотвореніе. Вотъ, почему, не взирая на многія интересныя части перевода, мы причисляемъ балладу „Поликратовъ перстень“ къ числу слабыхъ произведеній Жуковскаго.

Чешихинъ.

Патріотическія стихотворенія Жуковскаго.

Отечественный періодъ поэзіи Жуковскаго, совпадая съ славнѣйшими годами русской жизни нашего столѣтія, является съ перваго взгляда чѣмъ-то случайнымъ въ ряду его произведеній; но, вникнувъ глубже, мы увидимъ, что онъ также связанъ съ внутреннимъ существомъ его искусства. До Жуковскаго, русская поэзія носила всего болѣе современный характеръ и откликалась на громкія событія государства. Міръ души, открытый Жуковскимъ для поэзіи, разрушилъ эту связь ея съ случайными отношеніями времени: не можетъ быть годовъ и чиселъ на тѣхъ пѣсняхъ, которыя „зарождаетъ глубина души“. Но событія 12-го года потрясли всѣ чувства въ душѣ русской и взворошили со дна ея все, что хранилось въ ней отъ самыхъ дальнихъ вѣковъ завѣтнаго и священнаго. Церковь, царь, народъ, воинство слились въ одну душу; вся Россія, поднявшаяся, какъ одинъ человѣкъ, съ глаголомъ Божіимъ въ устахъ, съ мечомъ правды и свободы въ рукѣ, лицомъ къ лицу предстала поэту, — и сама жизнь явилась ему въ то время, какъ высокая поэзія. Тогда ударила не случайная, но вѣчная минута въ жизни народа русскаго — и ей откликнулась чистая душа пѣвца — и чудо! въ мягкихъ и нѣжныхъ звукахъ его лиры сказалась сила, до той поры не бывалая.

Поразительны эти событія, которыми западъ вызывалъ насъ къ сознанію внутреннихъ основъ нашей жизни. Мы, новобранцы въ дѣлѣ его наукъ и искусствъ, простирали къ нему, во имя просвѣщенія, самыя полныя и искреннія объятія. Все поколѣніе двѣнадцатаго года предшествовавшими царствованіями воспитано было въ духѣ свободнаго общенія съ нимъ, — и вотъ этому самому поколѣнію суждено встрѣтить грудью *ополченіе двадцати* просвѣщенныхъ *державъ*, съ геніемъ Европы во главѣ ихъ, несущихъ мечъ и огонь въ наши предѣлы на мѣсто добра и мысли, которыхъ мы отъ нихъ ждали. „Пожаръ Москвы былъ заревомъ свободы всѣхъ царствъ земныхъ“; въ немъ же засіяла заря и нашего народнаго самопознанія.

Пѣвецъ въ станѣ, *Пѣвецъ въ Кремлѣ* и *Посланіе къ Императору Александру* — памятники слова этого незабвеннаго времени, дѣла поэта-воина, съ честью сражавшагося подъ Бородинымъ и подъ Краснымъ. *Пѣвецъ въ станѣ* есть пѣснь не одной строгой любви къ отечеству, какова была римская: здѣсь затронуты всѣ живѣйшія струны души человѣческой; здѣсь, вмѣстѣ съ отечествомъ, царемъ, предками, вождями, подняты кубки въ честь любви, дружбы и поэзіи! Но надъ всѣми чувствами сіяетъ вѣра. Изъ вождей рати спасенія, воспѣтыхъ

пѣвцомъ, немногіе озаряютъ насъ еще дивной памятью 12-го года и его пламенной пѣсни. Въ ней пѣлъ онъ славную рану Воронцова, теперь смирителя Кавказа, тогда встрѣтившаго весь первый натискъ непріятеля на полѣ Бородинскомъ, ту рану, которая изъ вождей на первомъ на немъ, засіяла передъ воинами и зажгла въ нихъ сильнѣе духъ мщенія и мужества. Онъ пѣлъ и Чернышева, однимъ взглядомъ бросавшаго дружину на мечъ и громъ. Онъ пѣлъ и маститаго исполина, вблизи насъ говорящаго намъ живой памятью исполинской брани 12-го года. Къ нему, послѣ „вождя вождей, героя подъ сѣдинами", неслись первые звуки славнаго ихъ величанья на кровавомъ пирѣ.

Хвала сподвижникамъ-вождямъ!
Ермоловъ, витязь юный,
Ты ратнымъ братъ, ты жизнь полкамъ,
И страхъ твои перуны.

Въ этихъ достопамятныхъ герояхъ и во всемъ молодомъ поколѣніи ихъ сподвижниковъ олицетворялись не однѣ богатырскія силы нашего народа, но и всѣ нравственныя основы души, всѣ священныя убѣжденія ума и сердца, воспитанныя нашею доброю жизнію и такъ прекрасно выраженныя пѣвцомъ героическаго поколѣнія:

Въ высокой долѣ — простота;
Надежность — въ наслажденьи;
Въ союзѣ съ равнымъ — правота;
Въ могуществѣ — смиренье.
Обѣтамъ — вѣчность; чести — честь;
Покорность — правой власти;
Для дружбы — все, что въ мірѣ есть;
Любви — весь пламень страсти;
Утѣха — скорби; просьбѣ — дань;
Погибели — спасенье;
Могущему пороку — брань;
Безсильному — презрѣнье;
Неправдѣ — грозный правды гласъ;
Заслугѣ — воздаянье;
Спокойствіе — въ послѣдній часъ;
При гробѣ — упованье.

Пѣснь въ станѣ возмущается иногда неизбѣжными чувствами войны и поднимаетъ еще кубокъ мщенію. Но пѣснь въ Кремлѣ, въ обновленномъ нашемъ Сіонѣ, прекрасно восполняя предыдущую, дышитъ однимъ примиреніемъ и любовью. Она — отголосокъ на тѣ священныя слова, которыми благословенный побѣдитель призывалъ народъ свой и воинство къ христіанскому подвигу: „При толь бѣдственномъ состояніи всего рода человѣческаго не прославится ли тотъ народъ, который, перенеся всѣ неизбѣжныя съ войною разоренія, наконецъ, терпѣливостію и мужествомъ своимъ достигнетъ до того, что не токмо пріобрѣтаетъ самъ себѣ прочное и ненарушимое спокойствіе, но и другимъ державамъ доставитъ оное, и даже тѣмъ самымъ, которыя противъ воли своей съ нимъ воюютъ? Пріятно и свойственно доброму народу за зло воздавать добромъ" — „Гнѣвъ Божій поразилъ ихъ. Не уподобимся имъ; человѣколюбивому Богу не можетъ быть угодно безчеловѣчіе и звѣрство. Забудемъ дѣла ихъ; понесемъ къ нимъ не месть и злобу, но дружелюбіе и простертую для примиренія руку. Слава россіянина низвергать ополченнаго врага и, по исторженіи изъ рукъ его оружія, благодѣтельствовать ему и мирнымъ его собратіямъ". Но силу на такой подвигъ внушила намъ, какъ сказалъ самъ же царь, къ нему призывавшій: „свято почитаемая въ душахъ нашихъ

православная вѣра", которая говоритъ: „любите враги ваша, и ненавидящимъ васъ творите добро". Ею одушевленный, могъ пѣвецъ на развалинахъ Кремля воскликнуть:

И за развалины Кремля
Парижу мзда: спасенье.

Подъ ея святымъ внушеніемъ, онъ покрывалъ такими словами любви и мира всѣ крики и вопли неистовой брани.

О, совершись, святой завѣтъ!
Въ одну семью, народы!
Цари, въ одинъ отцовъ совѣтъ.
Будь, сила, щитъ свободы!
Духъ благодати, пронесись
Надъ мирною вселенной,
И вся земля совокупись
Въ единый градъ нетлѣнный!
Въ совѣтъ къ царямъ, небесный Царь!
Символъ имъ: Провидѣнье!
Тронъ власти, обратись въ алтарь!
Въ любовь — повиновенье!

* * *

Утихни, ярый духъ войны;
Не жизни истребитель,
Будь жизни благъ и тишины
И вѣчныхъ правъ хранитель.
Ты, мудрость смертныхъ, усмирись
Предъ мудростію Бога,
И въ мракѣ жизни озарись,
Къ небесному дорога.
Будь, вѣра, твердый якорь намъ
Средь волнъ безвѣстныхъ рока,
И ты, въ нерукотворный храмъ
Свѣти, звѣзда востока!

Но для совершенія этого подвига, неслыханнаго въ исторіи, для того, чтобы русскій могъ пропѣть на площади Парижа святую пѣснь воскресную и предложить братскій поцѣлуй врагу своему, необходимо было, чтобы весь народъ единодушно предалъ волю, мысль, силы, имущества единому, и чтобы этотъ единый, заключивъ въ себѣ народъ и вложивъ его въ руку Божію, вынесъ изъ основъ его жизни любовь и смиреніе, которыми посрамилъ побѣжденную имъ злобу и гордость. Величайшая минута въ жизни императора Александра проистекла изъ взаимной вѣры царя и народа другъ къ другу и вѣры обоихъ въ Бога. Посланіе Жуковскаго къ императору Александру начинается робкимъ голосомъ пѣвца и оканчивается общимъ голосомъ всего народа: „все въ жертву за царя!" Это — зеркало прекрасной души царской и, возчувствованный живѣе, въ минуту славы и счастія, всегдашній обѣтъ царю отъ народа, поднесенный ему свободнымъ голосомъ поэта —

За вѣру въ страшный часъ къ народу своему!

Весело было русскому пѣвцу, искреннимъ голосомъ чистой души своей, славить царя и благодарить Бога

За царственную высоту
Его души благія,
За чистой славы красоту,
Въ какой имъ днесь Россія,

когда чуждые пѣвцы гордаго Альбіона гремѣли ему хвалою, когда Соути въ извѣстной одѣ императору Александру такъ говорилъ Россіи: „Воздвигай, Россія, изъ добычъ твоихъ, изъ орудій смерти, покинутыхъ бѣглецомъ-тираномъ, монументъ, котораго благороднѣе и Римъ

не воздвигалъ на всей высотѣ своей гордости и могущества. Но Александръ, на берегахъ Сены, уже поставилъ для всѣхъ вѣковъ твой благороднѣйшій монументъ — *Парижъ взятый и пощаженный*". Другой поэтъ, Вальтеръ Скоттъ, въ 1816 г., привѣтствуя на пиру отъ имени Эдинбурга царственнаго гостя, послѣ императора Россіи, призывалъ благословеніе Божіе на наше отечество, на брата его, умѣвшаго какъ побѣждать, такъ и прощать враговъ своихъ, и приглашалъ оба великіе народа къ рукопожатію во время мира, къ товариществу на полѣ брани.

Шевыревъ.

Два произведенія Жуковскаго заслуживаютъ, по нашему мнѣнію, особеннаго изученія, произведенія, которыя не забудутъ наша литература и потомство. Это „Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ" и „Пѣвецъ на Кремлѣ". Міръ колебался въ самыхъ основаніяхъ своихъ; едва утихнулъ страшный волканъ внутреннихъ потрясеній, какъ надъ Европою простерлась гроза, готовая измѣнить древній союзъ народовъ, низложить династіи царей и монархіи съ ихъ самобытностью и славою. Казалось, настало роковое, послѣднее мгновеніе, когда рука Провидѣнія поставила Россію лицомъ къ лицу съ этимъ неожиданно взросшимъ разрушительнымъ могуществомъ; великая драма должна была разыграться катастрофой — быть или не быть не для ней одной, но для всѣхъ обществъ первенствующей, образованнѣйшей части міра. И Россія за себя и за нихъ приняла на себя страшную отвѣтственность этого великаго мгновенія. Благочестивая, единодушная, преданная Благословенному вождю своей судьбы, съ оружіемъ въ рукахъ и оружіемъ нравственной силы въ сердцѣ, она стала мужественно на встрѣчѣ своего жребія, облеченнаго зловѣщею таинственностью и ужасомъ для всѣхъ, кромѣ ея вѣры. Уже драгоцѣнныя жертвы были принесены — опустошенныя родныя поля были смочены нашею кровью; день Бородина сіялъ безсмертіемъ на страницахъ нашей исторіи, но Москва дымилась въ развалинахъ. Все возвѣщало благость минуты рѣшительной и важной для всего человѣчества. Ее-то избралъ поэтъ для своего величественнаго народнаго гимна и воспользовался своимъ предметомъ не только какъ гражданинъ, полный глубокаго сочувствія къ судьбѣ отечества, но и какъ геніальный художникъ. Какая дивная поэзія въ самомъ положеніи вещей! Жуковскій обнялъ ее со свойственной ему высоты воззрѣнія: „когда рокъ беретъ ужъ жребій изъ таинственной урны", онъ становится въ кругу воиновъ истолкователемъ задачи, переданной судьбою на рѣшеніе ихъ доблести; отъ лица ихъ онъ произноситъ священные обѣты, обращается ко всѣмъ вѣрованіямъ и побужденіямъ, которыя даютъ предстоящей борьбѣ глубокое нравственно-національное значеніе. Основная идея раскрывается во всемъ богатствѣ сокрытыхъ въ ней животрепещущихъ моментовъ и явленій. Но величіе идеи и самое обиліе содержанія не составляютъ еще всего поэтическаго достоинства „пѣвца русскихъ воиновъ"; та-

лантъ автора выказывается съ самой блестящей стороны въ томъ драматическомъ движеніи, какое умѣлъ онъ сообщить своему творенію отъ начала до конца. Этотъ полетъ духа почти видимый и слышимый — до такой степени онъ полонъ жизни, силы и дѣйствія. Стремителенъ, важенъ, нѣженъ и мужественъ, гибокъ и быстръ, погружаясь въ глубину своей идеи, или паря надъ вещами и лицами, онъ свободно, безъ малѣйшихъ усилій, вскрываетъ предъ вами великолѣпную трагическую драму внутреннихъ состояній, предшествующую и служащую основаніемъ драмѣ дѣлъ. Здѣсь не забыто ни одно благородное побужденіе, ни одна дѣйствующая пружина, ни одна личность изъ тѣхъ, которымъ суждено участвовать въ грядущемъ днѣ; каждой изъ этихъ силъ дано приличное, естественное положеніе, каждая оттѣнена свойственными ей красками, все стремится къ возбужденію одного общаго впечатлѣнія. Съ трепетомъ въ сердцѣ вы проходите по всѣмъ направленіямъ великой дѣйствующей здѣсь мысли; одно глубокое ощущеніе смѣняется другимъ, и сумма всѣхъ ихъ

Сразить иль пасть — нашъ роковой
Обѣтъ предъ Богомъ брани!

Нѣкоторые находили, что лица, выведенныя авторомъ, очерчены единообразно и краски ихъ блѣдны. Можетъ-быть, это справедливо въ отношеніи къ лицамъ второстепеннымъ; но портреты главныхъ дѣятелей войны 12-го года начертаны кистью вѣрною и мастерскою. Кому неизвѣстна, напримѣръ, слѣдующая характеристика Кутузова:

Хвала тебѣ, нашъ бодрый вождь,
Герой подъ сѣдинами!
Какъ юный ратникъ, вихрь и дождь
И трудъ онъ дѣлитъ съ нами.
О, сколь съ израненнымъ челомъ
Предъ строемъ онъ прекрасенъ!
И сколь онъ хладенъ предъ врагомъ,
И сколь врагу ужасенъ!
О, диво! се орелъ пронзилъ
Надъ нимъ небесъ равнины...
Могучій вождь главу склонилъ;
Ура! кричатъ дружины.

Лети ко прадѣдамъ, орелъ,
Пророкомъ славной мести!
Мы тверды: вождь нашъ перешелъ
Путь гибели и чести!
Съ нимъ опытъ, сынъ труда и лѣтъ;
Онъ бодръ и съ сѣдиною;
Ему знакомъ побѣды слѣдъ...
Довѣренность къ герою!
Нѣтъ, други, нѣтъ! не предана
Москва на расхищенье!
Тамъ стѣны... въ россахъ вся она;
Мы здѣсь — и Богъ намъ мщенье.

Или кто въ слѣдующемъ изображеніи не признаетъ главныхъ отличительныхъ свойствъ нашего достославнаго войска донского:

Хвала нашъ вихорь-атаманъ!
Вождь невредимыхъ, Платовъ!
Твой очарованный арканъ
Гроза для супостатовъ,
Летаешь страхомъ въ тылъ врагамъ,
Бѣдой имъ въ уши свищешь.
Они лишь къ лѣсу — ожилъ лѣсъ,
Деревья сыплютъ стрѣлы;
Они лишь къ мосту — мостъ исчезъ;
Лишь къ селамъ — пышутъ селы.

„Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ“ изображаетъ напряженіе и сосредоточеніе народныхъ силъ, предшествовавшія великому роковому событію; „Пѣвецъ на Кремлѣ“ есть разрѣшеніе, исполненіе того трепетнаго ожиданія, какимъ проникнуто было сердце великаго народа

въ рѣшительную, достопамятнѣйшую минуту его жизни. Это звучный голосъ спасенія, это произнесеніе перваго за событіемъ слова: *свершилось*, предъ лицомъ міра и потомства, произнесеніе, полное ликованія, восторга и славы. Здѣсь авторъ съ такимъ же искусствомъ воспользовался всѣми поэтическими внушеніями своей идеи, какъ въ первой пьесѣ. Изобрѣтеніе его свободно и стройно; предметы и понятія, введенныя имъ въ содержаніе, не придуманы; они естественно, сами собою вытекаютъ изъ основной мысли, которая вся, такъ сказать, трепещетъ отъ полноты радостнаго, удовлетворительнаго патріотическаго чувства. Общій тонъ пьесы обозначается особенностью самаго момента: въ ней господствуетъ какое-то тихое, величавое успокоеніе — плодъ исполнившихся обѣтовъ и надеждъ. Тутъ нѣтъ той энергіи, тѣхъ быстрыхъ переливовъ чувства, какъ въ „Пѣвцѣ во станѣ русскихъ воиновъ"; это понятно. Въ одномъ произведеніи представляются силы въ движеніи, готовыя устремиться на открытое передъ ними кровавое поприще; здѣсь все какъ-будто стремится изъ своихъ убѣжищъ, чтобъ стать передъ судьбою лицомъ къ лицу. Въ „Пѣвцѣ на Кремлѣ" буря сокрушительныхъ движеній утихла; встревоженный океанъ, такъ сказать, вступилъ въ свои предѣлы — на немъ воцарилась та торжественная тишина, которая позволяетъ взору спокойно устремиться въ даль безконечнаго. Грудь воздымается еще скорбью при воспоминаніи жертвъ, какихъ стоилъ намъ этотъ прекрасный день славы, который никогда не будетъ знать заката. Но слѣды опустошенія изгладятся скоро, Москва встанетъ изъ своихъ развалинъ. Исторія наша не разъ ужъ была тому свидѣтелемъ; павшіе въ битвахъ умерли лучшею смертью, какую немногія битвы даютъ. Между тѣмъ принесенныя нами жертвы даровали намъ одно изъ драгоцѣннѣйшихъ благъ, предоставленныхъ испытанной заслугѣ и чести — право уважать самихъ себя. Поэтому „Пѣвецъ на Кремлѣ" останется навсегда у насъ лучшею пѣснью радости; произведеніе это вмѣстѣ съ „Пѣвцомъ во станѣ русскихъ воиновъ", составляетъ яркую неизгладимую отмѣту 12-го года. Когда, облеченный въ историческую славу, онъ предстанетъ предъ позднимъ потомствомъ въ своемъ колоссальномъ величіи, оно выслушаетъ съ умиленіемъ гимны поэта, какъ достойное дополненіе исторіи: одна разскажетъ ему великія дѣла, другіе передадутъ ему великія чувствованія, производящія ихъ. Такъ искусство не даетъ умирать ничему, что составляетъ честь и достоинство человѣческаго сердца.

Никитенко.

Жуковскій, какъ наставникъ Александра II.

Съ 1815 г. начинаются близкія отношенія Жуковскаго къ царской семьѣ: онъ былъ назначенъ сначала чтецомъ при императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, а затѣмъ преподавателемъ русскаго языка великой княгинѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ (1817 г.). „Романъ моей жизни

оконченъ, — писалъ онъ по этому случаю Тургеневу, — теперь начинается исторія"... Жуковскій, однакоже, не сразу рѣшился занять предложенное ему мѣсто при дворѣ: онъ медлилъ и колебался, опасаясь потерять независимость положенія, безъ которой онъ считалъ невозможнымъ оставаться писателемъ, и только совѣты друзей (гр. Уварова, Тургенева и др.) склонили его сдѣлать рѣшительный шагъ, а познакомившись съ условіями его служебныхъ отношеній и придворной среды, нашелъ, что онъ можетъ оставаться тѣмъ же, чѣмъ былъ и къ чему стремился въ продолженіе всей его предшествующей дѣятельности. „Должность, мнѣ порученная, есть счастливая должность, — писалъ онъ, — счастливая не по тѣмъ выгодамъ, которыя могутъ быть соединены съ нею, но по той дѣятельности, которой она меня подчиняетъ. Для поэта это — главное". Его царственная ученица, будущая мать Царя-Освободителя, была талантливая, образованная, одаренная богатымъ художественнымъ вкусомъ женщина и, конечно, могла оказать лишь самое благородное вліяніе на его поэтическую дѣятельность. „Знакомство в. к. Александры Ѳеодоровны съ нѣмецкою литературой, — по словамъ покойнаго Грота, — ея любовь къ поэзіи, ея тонкій вкусъ, ея рѣдкая любознательность и сочувствіе ко всему прекрасному послужили для счастливаго наставника ея сильнымъ побужденіемъ къ продолженію его поэтической дѣятельности по тому же пути, на которомъ онъ давно стоялъ. Можно даже сказать, что обученіе сдѣлалось взаимнымъ: безъ просвѣщенныхъ указаній и внушеній своей высокой ученицы Жуковскій не перевелъ бы многаго, что составило лучшіе цвѣтки въ вѣнкѣ его славы"... Такимъ образомъ, никакого перерыва въ художественно-поэтической дѣятельности Жуковскаго, при его новомъ и высокомъ служебномъ положеніи, не было и не могло быть. Главнѣйшей задачей его въ занятіяхъ съ августѣйшей ученицей-нѣмкой было познакомить ее съ красотою, богатствомъ и разнообразіемъ русскаго языка, который долженъ былъ сдѣлаться для нея роднымъ, открыть для нея въ языкѣ и литературѣ такія же сокровища и красоты, какія она находила въ своемъ родномъ. И онъ, какъ никто другой тогда въ Россіи, дѣйствительно, могъ взять на себя и съ полнымъ успѣхомъ выполнить такое важное и трудное дѣло, и выполнилъ его съ полной любовію и увлеченіемъ, какъ поэтъ и какъ сердечнѣйшій человѣкъ, который вскорѣ сдѣлался въ полномъ смыслѣ „своимъ" и въ царской семьѣ. Занятія его носили характеръ живыхъ, полныхъ интереса бесѣдъ, а не школьныхъ уроковъ, хотя имъ и была составлена для уроковъ русская грамматика (на франц. яз.: „Esquisse de grammaire russe. S.-Peters. 1818"). По желанію своей ученицы, Жуковскій переводилъ на русскій многія стихотворенія Шиллера, Гёте, Уланда, Гебеля, которыя сперва были напечатаны маленькими тетрадями на двухъ языкахъ, съ надписью на оберткѣ: „Für Wenige — Для немногихъ". Онъ былъ просто „очарованъ" своей воспитанницей, какъ писалъ Карамзину (въ мартѣ 1818 г.), найдя ей родственную ему романтическую душу. Подъ впечатлѣніемъ ея

душевной красоты и сердечнаго пріема, котораго онъ былъ удостоенъ при дворѣ, даже и сердечное горе поэта, которое онъ переживалъ въ то время, повидимому, начинало умолкать. Онъ такъ описываетъ свою ученицу и ея отношенія къ нему въ одномъ изъ стихотвореній, относящихся къ тому времени:

Смотритъ... ангелóмъ прекраснымъ
Кто-то свѣтлый прилетѣлъ,
Улыбнулся, взоромъ яснымъ
Подарилъ и въ лодку сѣлъ:
И запѣлъ онъ пѣснь надежды...
... проникла радость,
Прежней вѣры тишина,
И какъ будто снова младость
Съ упованьемъ отдана. (Стих. „Жизнь".)

Вступленіе въ придворныя сферы и высокое положеніе, занятое Жуковскимъ, нисколько не измѣнили его прежнихъ постоянно любовныхъ, высоко-благородныхъ и гуманныхъ отношеній къ людямъ, къ ближнимъ и дальнимъ, ко всѣмъ, кто имѣлъ случай или надобность обращаться къ нему, и напрасно его друзья выражали опасеніе, что онъ „превратился въ придворнаго". „Жуковскій не сдѣлался придворнымъ въ дурномъ смыслѣ этого слова, — пишетъ его біографъ и другъ Зейдлицъ, — но сохранилъ свою высокую нравственность, свое прямодушіе и благородство. Онъ остался вѣрнымъ другомъ для старыхъ и новыхъ друзей; вліяніями новыхъ знакомствъ пользовался онъ не для своихъ выгодъ, но чтобы помочь бѣднымъ, дать дорогу молодымъ талантамъ, распространить вкусъ къ изящному и къ наукамъ. Можно составить не малый списокъ лицъ, которымъ онъ оказывалъ важныя услуги словомъ и дѣломъ". А по воспоминаніямъ Смирновой, въ „Запискахъ" которой Жуковскому отведено самое видное мѣсто, на ряду съ Пушкинымъ, — на лѣстницѣ, ведущей къ его квартирѣ, ежедневно толпилась масса просителей, и онъ не отказывалъ ни одному; достаточно сказать, что въ одинъ годъ онъ роздалъ бѣднымъ 18.000 руб. ассигнаціями. Словомъ, Жуковскій и во дворцѣ всегда оставался такимъ же прекраснѣйшимъ и добрымъ человѣкомъ, какимъ былъ на родинѣ, въ Бѣлевѣ, когда отдалъ въ приданое своей племянницѣ А. А. Протасовой, выходившей замужъ за Воейкова, всѣ имѣвшіяся у него деньги, и потому князь Вяземскій совершенно справедливо писалъ объ немъ въ своихъ стихахъ, что онъ —

Во дворѣ былъ отрокомъ Бѣлева,
Онъ вѣру и мечты и кротость сохранилъ,
И дѣвственной души онъ ни лукавствомъ слова
Ни тѣнью трусости, дитя, не пристыдилъ...

Такимъ былъ поэтъ Жуковскій, когда 17 апрѣля 1818 г. кремлевскія пушки извѣстили жителей первопрестольной столицы о рожденіи первенца у великаго князя Николая Павловича — о рожденіи Царя-Освободителя, и когда тотъ же Жуковскій, преподававшій русскій языкъ его матери и при посредствѣ русскаго слова вводившій ее въ русскую жизнь и въ міръ русской души, привѣтствовалъ его появленіе на свѣтъ извѣстными стихами, пророчески возвѣстившими о его высокомъ и славномъ призваніи, въ подготовленіи къ кото-

рому самому поэту пришлось принять ближайшее, непосредственное и благотворное участіе, — тогда уже, въ этихъ привѣтственныхъ стихахъ, онъ напутствовалъ его появленіе въ свѣтъ въ Москвѣ — сердцѣ Россіи — такими „поучительными“ стихами:

Пускай тебѣ (матери высоконоворожденнаго) во слѣдъ
онъ перейдетъ
Съ душой на все прекрасное готовой;
Наставленный: достойнымъ счастья быть,
Великое съ величіемъ сносить,
Не трепетать, встрѣчая рокъ суровый,
И быть въ дѣлахъ временъ своихъ красой.
Лѣта пройдутъ; подвижникъ молодой,
Откинувши младенчества забавы,
Онъ полетитъ въ путь опыта и славы...
Да встрѣтитъ онъ обильный честью вѣкъ!
Да славнаго участникъ славный будетъ!
Да на чредѣ высокой не забудетъ
Святѣйшаго изъ званій: человѣкъ.
Жить для вѣковъ въ величіи народномъ,
Для блага всѣхъ — свое позабывать,
Лишь въ голосѣ отечества свободномъ
Смиреніемъ дѣла свои читать...

Черезъ семь лѣтъ послѣ этого, при вступленіи на престолъ императора Николая Павловича, Жуковскій былъ избранъ и назначенъ наставникомъ этого царственнаго младенца, котораго при рожденіи встрѣтилъ такимъ привѣтствіемъ, и потому, можно сказать, что съ первыхъ же минутъ жизни Царя-Освободителя и во всѣ годы его ученія и обученія Жуковскій находился при немъ, былъ съ нимъ или вблизи него всей душою.

Н. М. Карамзинъ въ запискѣ, поданной Императору Александру I, выразилъ горячее желаніе русскихъ людей того времени: „О, дай Богъ, чтобы когда-нибудь русскіе воспитывали великихъ князей нашихъ! Желаю сего счастья милому Александру Николаевичу!“ И это желаніе исполнилось, когда Жуковскій, а съ нимъ Арсеньевъ и нѣкоторые другіе изъ русскихъ были назначены (въ 1825 г.) наставниками наслѣдника престола, будущаго царя Александра II. Жуковскій, независимо отъ того положенія, какое занималъ при государынѣ, былъ уже до нѣкоторой степени прямо подготовленъ къ принятію предложеннаго ему новаго высокаго назначенія. Въ письмѣ къ императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ изъ Дрездена, отъ 2 окт. 1827 г., онъ писалъ: „Вамъ извѣстно, Государыня, что я никогда не думалъ искать того мѣста, которое я занимаю нынѣ при великомъ князѣ. Вашему Величеству угодно было сперва возложить на меня обязанность передать нѣкоторыя первоначальныя познанія Вашему сыну, во время Вашего послѣдняго отсутствія изъ Россіи. Я слѣдовалъ извѣстной опредѣленной системѣ, которую съ тѣхъ поръ усовершенствовалъ; мои старанія увѣнчались успѣхомъ, и я убѣдился, что обладаю нѣкоторой способностью преподавать такимъ образомъ, чтобы

привязывать воспитанника къ труду, развивать его умъ и внушать ему охоту къ занятіямъ". Тѣмъ не менѣе, съ трепетомъ и съ глубокой обдуманностію рѣшилъ онъ принять сдѣланное ему предложеніе, сознавая со всею ясностію и отчетливостію великую отвѣтственность, какая этимъ возлагалась на него. „Помолитесь за меня, — писалъ онъ А. П. Елагиной: — на рукахъ моихъ теперь важное и трудное дѣло и ему одному посвящены всѣ минуты и мысли. Стиховъ писать некогда"... „Въ головѣ одна мысль, въ душѣ одно желаніе: не думавши, не гадавши, я сдѣлался наставникомъ Наслѣдника престола. Какая забота и отвѣтственность (не ошибайтесь: *наставникомъ*, а не воспитателемъ — за послѣднее я никогда бы не позволилъ себѣ взяться)!... Цѣль для цѣлой остальной жизни. Чувствую ея важность и всѣми мыслями стремлюсь къ ней. До сихъ поръ я доволенъ успѣхомъ, но кругъ дѣйствій постоянно будетъ расширяться. Занятій — множество. Надобно учить и учиться, и время захвачено. Прощай навсегда поэзія съ риѳмами. Поэзія другого рода со мною, мнѣ одному знакомая, понятная для одного меня, но для свѣта безмолвная. Ей должна быть посвящена вся остальная жизнь"... „Работы у меня много, — писалъ онъ изъ-за границы въ 1827 г., куда ѣздилъ лѣчиться, — на рукахъ моихъ важное дѣло. Мнѣ не только надобно учить, но и самому учиться, такъ что не имѣю права и возможности употреблять ни минуты на что-нибудь другое... По плану ученія великаго князя, *мною сдѣланному*, все лежитъ на мнѣ. *Всѣ его лекціи должны сходиться въ моей*, которая есть пунктъ соединенія; другіе учителя должны быть только дополнителями и репетиторами. Можете изъ этого заключить, сколько мнѣ нужно приготовиться, чтобы лекціи могли итти безъ всякой остановки. Съ этой стороны болѣзнь моя (для излѣченія отъ которой онъ и ѣздилъ за границу) есть для меня благодѣяніе: она дала мнѣ цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ свободныхъ, и я провелъ ихъ... посвятивъ свои мысли одной главной, около которой вся моя дѣятельность вертѣлась. И теперь — это рѣшено на весь остатокъ жизни. У меня въ душѣ одна мысль, все остальное къ этой царствующей. Могу сказать, что настоящая положительная моя дѣятельность считается только съ той минуты, въ которую я вошелъ въ тотъ кругъ, въ который теперь заключенъ. Прежде моя жизнь была dans la vague; теперь я знаю, къ чему ведетъ она. Поэзія мною не покинута, хотя я пересталъ писать, хотя мои занятія и могутъ со стороны показаться механическими"... Воспитателемъ цесаревича Жуковскій предлагалъ назначить гр. Каподистріо, между прочимъ, и потому что „онъ нашего вѣроисповѣданія, а это предметъ весьма существенный"; но Николай Павловичъ предпочелъ ему Мердера, и Жуковскій писалъ государынѣ-матери (1 іюля 1827 г.): „Вашъ сынъ, Государыня, переданъ нынѣ на попеченіе двухъ лицъ, изъ которыхъ каждому предназначена особенная обязанность. На Мердера возложено нравственное воспитаніе; мнѣ поручено наблюденіе за учебною частью... Мердеру хорошо знакомъ дѣтскій міръ; онъ самъ отецъ, онъ имѣлъ уже надзоръ

за чужими дѣтьми; у него характеръ твердый и, что весьма важно, чрезвычайно ровный, такъ что онъ въ состояніи выполнять свой долгъ съ постоянствомъ и выполнять его такъ, чтобы онъ не былъ ни тягостенъ для него ни обременителенъ для его воспитанника. Такой человѣкъ драгоцѣненъ, и мы весьма счастливы, что имѣемъ его"...

Жуковскій дѣлалъ и сдѣлалъ, кажется, рѣшительно все, что возможно было при тогдашнихъ условіяхъ и въ его положеніи... Имъ былъ составленъ „Планъ обученія", въ первыхъ же пунктахъ котораго онъ указываетъ, въ какомъ духѣ и направленіи онъ ставилъ его. „Цѣль *воспитанія* вообще, — читаемъ здѣсь, — и *ученія*, въ особенности, есть *образованіе для добродѣтели*. *Воспитаніе* образуетъ для добродѣтели: 1) пробужденіемъ, развитіемъ и сбереженіемъ *добрыхъ* качествъ, данныхъ природою, дѣйствуя на умъ и сердце и заставляя ихъ дѣйствовать; 2) образованіемъ изъ сихъ качествъ *характера нравственнаго*, обращая добро въ привычку и прикрѣпляя привычку правилами разума, воспламененіемъ сердца и силою религіи; 3) *предохраніемъ зла*, устраняя все вредное, могущее ослабить естественную склонность къ добру, и содержа душу, сколько возможно, въ спасительной неприкосновенности ко злу; 4) искорененіемъ злыхъ побужденій и наклонностей, препятствуя имъ обратиться въ привычку и побѣждая вредныя привычки добрыми. *Ученіе образуетъ для добродѣтели*, знакомя питомца: 1) съ тѣмъ, что окружаетъ его; 2) съ тѣмъ, что онъ есть; 3) съ тѣмъ, что онъ быть долженъ, какъ существо нравственное; 4) съ тѣмъ, для чего онъ предназначенъ, какъ существо безсмертное. Въ постепенномъ расширеніи сихъ четырехъ вопросовъ заключается весь планъ ученія"... Представляя свой „Планъ" на Высочайшее разсмотрѣніе, Жуковскій открыто и прямо просилъ только одного — „право и полную свободу дѣйствовать", заявляя, что — „не отвѣчая за свои способности, отвѣчаетъ за любовь къ дѣлу" и что задача его скромная — „дѣйствовать на нравственность великаго князя однимъ только образованіемъ его мыслей"...

Въ высокой степени интересны и важны мысли и взгляды Жуковскаго, выраженные имъ въ дополненіе и въ поясненіе его „Плана". Это въ нашей литературѣ прямо „перлы", драгоцѣнности и золотыя слова, — слова мысли, чувства, желаній и... идеаловъ русской народной души. Послушайте...

„Его Высочеству нужно быть не ученымъ, а просвѣщеннымъ. Просвѣщеніе должно познакомить его со всѣмъ тѣмъ, что въ его время необходимо для общаго блага и, въ благѣ общемъ, для его собственнаго. Просвѣщеніе въ истинномъ смыслѣ есть многообъемлющее знаніе, соединенное съ нравственностію. Человѣкъ знающій, но не нравственный — будетъ вредить, ибо худо употребитъ извѣстные ему способы дѣйствія. Человѣкъ нравственный, но невѣжда — будетъ вредить, ибо и съ добрыми намѣреніями не будетъ знать способовъ дѣйствія. Просвѣщеніе соединитъ знанія съ правилами. Оно необходимо для частнаго человѣка, ибо каждый на своемъ мѣстѣ дол-

женъ знать, что дѣлать и какъ поступать. Оно необходимо для народа, ибо народъ просвѣщенный болѣе привязанъ къ закону, въ которомъ заключается его нравственность, и къ порядку, въ которомъ заключается его благоденствіе и безопасность. Оно необходимо для народоправителя, ибо одно оно даетъ способы властвовать благотворно... Сокровищница просвѣщенія царскаго есть исторія, наставляющая опытами прошедшаго и предсказывающая будущее. Она знакомитъ Государя съ нуждами его страны и его вѣка. Она должна быть главною наукою Наслѣдника Престола. Исторія, освѣщенная религіей, воспламенитъ въ немъ любовь къ великому, стремленіе къ благотворной славѣ, уваженіе къ человѣчеству, и дастъ ему высокое понятіе о его санѣ... Уважай законъ и научи уважать его своимъ примѣромъ: законъ, пренебрегаемый Царемъ, не будетъ хранимъ и народомъ. Люби и распространяй просвѣщеніе: оно — сильнѣйшая подпора благонамѣренной власти; народъ безъ просвѣщенія есть народъ безъ достоинства; имъ кажется легко управлять только тому, кто хочетъ властвовать для одной власти, — но изъ слѣпыхъ рабовъ легче сдѣлать свирѣпыхъ мятежниковъ, нежели изъ подданныхъ просвѣщенныхъ, умѣющихъ цѣнить благо порядка и законовъ. Уважай общее мнѣніе: оно часто бываетъ просвѣтителемъ монарха; оно вѣрнѣйшій помощникъ его, ибо строжайшій и безпристрастный судія исполнителей его воли; мысли могутъ быть мятежны, когда правительство притѣснительно или безпечно; общее мнѣніе всегда на сторонѣ правосуднаго государя. Люби свободу, то-есть правосудіе, ибо въ немъ и милосердіе царей и свобода народовъ; свобода и порядокъ — одно и то же; любовь Царя къ свободѣ утверждаетъ любовь къ повиновенію въ подданныхъ. Владычествуй не силою, а порядкомъ: истинное могущество Государя не въ числѣ его воиновъ, а въ благоденствіи народа. Будь вѣренъ слову: безъ довѣренности нѣтъ уваженія, неуважаемый — безсиленъ. Окружай себя достойными помощниками: слѣпое самолюбіе Царя, удаляющее отъ него людей превосходныхъ, передаетъ его на жертву корыстолюбивымъ рабамъ, губителямъ его чести и народнаго блага. Уважай народъ свой: безъ любви Царя къ народу нѣтъ любви народа къ Царю. Не обманывайся насчетъ людей и всего земного, но имѣй въ душѣ идеалъ прекраснаго—вѣрь добродѣтели! Сія вѣра есть вѣра въ Бога"...

Жуковскій весь въ этихъ словахъ — и какъ поэтъ, и какъ человѣкъ, и какъ наставникъ будущаго великаго царя, русскаго царя...

Изложить начало, введеніе и общій ходъ всего педагогическаго дѣла, въ которомъ выступалъ и выступилъ Жуковскій при воспитаніи и обученіи наслѣдника престола, будущаго государя Александра II, — дѣло исторіи, для которой еще, можетъ-быть, не наступило время. Но одинъ эпизодъ изъ этой исторіи, хотя также ожидающій большихъ разъясненій, считаемъ возможнымъ указать: это — отношеніе къ Г. П. Павскому, законоучителю, профессору нашей академіи, замѣненному потомъ Бажановымъ. Выборъ преподавателей и всѣ отношенія къ дѣлу ученія и обученія находились въ зависимости отъ Жуковскаго, и онъ всей

душой былъ радъ, когда въ лицѣ Павскаго усмотрѣлъ онъ человѣка, въ которомъ думалъ найти и *сердце*... и все святое для предназначавшагося ему великаго дѣла. Въ 1827 г. Павскій представилъ свой планъ „Обученія Закону Божію", и Жуковскій писалъ по этому случаю: „Сердце мое сильно билось при чтеніи его сочиненія, изложеннаго съ ясностію, простотою и послѣдовательностію. Въ немъ сіяетъ свѣтъ прекрасной души. Мы можемъ поздравить себя съ сдѣланнымъ выборомъ (писано къ Государынѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ). Павскій кажется мнѣ человѣкомъ способнымъ имѣть прекрасное вліяніе на нашего дорогого отрока. Если искать только ученаго богослова, учителя въ наукѣ, мы ничего въ немъ не найдемъ. Для вѣроученія, для нашего отрока, для будущаго его жребія, нужна сердечная вѣра, нужна высокая идея о Промыслѣ, управляющемъ его жизнію, просвѣщенная вѣра и терпимость, сохраняющая уваженіе къ человѣчеству... Павскій кажется мнѣ обладающимъ всѣмъ, что нужно для внушенія подобной идеи нашему дорогому ученику. Чтеніе записки исполнило меня почтеніемъ къ нему, завоевало у меня ему дружбу. Его знанія кажутся мнѣ чрезвычайно выгодными самому мнѣ". Свой личный взглядъ по вопросу о „законоучительствѣ" онъ тогда же прямо и опредѣленно высказывалъ, какъ человѣкъ глубоко вѣрующій и убѣжденный... „Для его будущей судьбы (судьбы Государя) требуется религія сердца. Ему необходимо имѣть высокое понятіе о Промыслѣ, чтобы оно могло руководить всею его жизнію; религію просвященную, благодушную, проникнутую уваженіемъ къ человѣчеству... Понятіе о верховномъ судилищѣ, объ отвѣтственности предъ Верховнымъ Судіею, неразлучное съ уваженіемъ къ мнѣнію человѣческому, которое въ общемъ своемъ значеніи есть не что иное, какъ то же божественное судилище, — это понятіе должно всецѣло овладѣть душою будущаго Государя. Оно одно можетъ возвысить Его призваніе... научить его царствовать для блага народа, а не ради Своего могущества"...

Изъ отдѣльныхъ предметовъ, назначенныхъ для прохожденія съ наслѣдникомъ престола, Жуковскій въ своей „Запискѣ" къ „Плану" обученія обращалъ особенное вниманіе, кромѣ Закона Божія и исторіи, на необходимость изученія латинскаго языка, какъ потому, что „латинскій языкъ есть отецъ большей части европейскихъ" (языковъ), такъ и потому, что въ немъ, по его мнѣнію, — „одно изъ дѣйствительныхъ средствъ для развитія умственныхъ способностей, а въ классикахъ латинскихъ источникъ истиннаго просвѣщенія". Самъ Жуковскій изучалъ латинскій языкъ уже по выходѣ изъ школы, когда занялся изученіемъ исторіи и задумалъ было написать историческую поэму „Владиміръ" (подъ вліяніемъ историческихъ работъ Карамзина); но всегда признавалъ за классическими языками важное образовательное значеніе, имѣя въ виду, конечно, литературу и школу на Западѣ...

Обученіе велось по методѣ Песталоцци, съ которой Жуковскій основательно познакомился за границей, подготовляясь къ порученному имъ великому дѣлу, и Жуковскій, всей душой отдавшись этому дѣлу,

руководилъ и направлялъ его къ достиженію — во всѣхъ отношеніяхъ — самыхъ наилучшихъ результатовъ. При этомъ обученіе находилось или, по крайней мѣрѣ, онъ постоянно стремился вести его въ тѣсной, органической связи съ воспитаніемъ, въ которомъ полагалъ онъ основу и корень настоящаго христіански-гуманнаго образованія. Воспитателемъ былъ Мердеръ, дѣйствовавшій въ полномъ согласіи и единодушіи съ Жуковскимъ, какъ наставникомъ и руководителемъ обученія. Когда Мердеръ умеръ, за нѣсколько дней до принесенія присяги ихъ царственнымъ ученикомъ и воспитанникомъ (22 апрѣля 1834 г.). Жуковскій далъ такой отзывъ объ немъ и о той образовательно-воспитательной обстановкѣ, въ которой проходили годы обученія Царя-Освободителя. „Десять лѣтъ, проведенныхъ имъ (Мердеромъ) при великомъ князѣ (съ 1824 г.),— пишетъ онъ,— конечно, оставили глубокіе слѣды на душѣ его воспитанника; но въ данномъ имъ воспитаніи не было ничего искусственнаго: вся тайна состояла въ благодѣтельномъ, тихомъ, но безпристрастномъ дѣйствіи души его,— дѣйствіи, которое можно сравнить съ благораствореніемъ воздуха, необходимымъ для жизни и полнаго развитія растеній. Его питомецъ былъ любимъ нѣжно, жилъ подъ святымъ вліяніемъ прямодушія, честности, благородства; онъ окруженъ былъ порядкомъ; самая строгость съ нимъ принимала выраженіе нѣжности; онъ слышалъ одинъ голосъ правды, видѣлъ одно безкорыстіе, — могла ли душа его, отъ природы благородная, не сохраниться свѣжею и непорочною, могла ли не полюбить добра, могла ли въ то же время не пріобрѣсти уваженія къ человѣчеству, столь необходимаго во всякой жизни, особливо въ жизни близъ трона?... Будемъ же радоваться, что душа Наслѣдника Россіи на разсвѣтѣ своемъ встрѣтилась и *породнилась съ прекрасною душою* Мердера...“ Но, безъ сомнѣнія, еще большее вліяніе въ этомъ направленіи имѣла, поистинѣ, „прекрасная душа“ самого Жуковскаго — его идеально-возвышенная личность и тѣ основныя воззрѣнія на человѣка, въ духѣ которыхъ онъ не только руководилъ обученіемъ — умственнымъ развитіемъ, путемъ пріобрѣтенія и усвоенія познаній, и прямо воспитывалъ своего ученика. Еще въ своей школьной „Рѣчи на актѣ“ (1798 г.) съ юношеской страстностію начинающаго поэта-романтика взывалъ онъ о необходимости соединять „просвѣщеніе съ добродѣтелью“: „Просвѣщеніе и добродѣтель! — восклицаетъ онъ въ этой рѣчи, — соединимъ ихъ неразрывнымъ союзомъ, да царствуютъ они совокупно въ душахъ нашихъ. Къ сему должны стремиться всѣ мысли и дѣла наши“. Быть совершеннымъ въ нравственномъ отношеніи, быть нравственно-прекраснымъ и стремиться ко всему высокому и прекрасному въ мысляхъ, въ чувствахъ и дѣйствіяхъ — вотъ къ чему должно вести настоящее христіанское просвѣщеніе. Но для этого прежде всего требуется искренняя и глубокая вѣра въ Бога, которую человѣкъ долженъ воспитать и непрестанно воспитывать и имѣть въ себѣ. Въ статьѣ — „Аксіомы“ относительно „вѣры и знанія“, относящейся къ 1846 г., Жуковскій пишетъ: „Основная истина, корень всѣхъ

истинъ, которой мы ни постигнуть, ни указать умомъ; ни вполнѣ выразить словомъ не можемъ: *Богъ существуетъ*. Богъ — самостоятельное, личное, самосознающее бытіе, источникъ всякаго бытія, невидимый видимаго создатель... Богъ есть положительное добро, положительная правда, положительная истина, положительная красота; все противорѣчащее добру, правдѣ, истинѣ, красотѣ, есть отрицаніе Бога. Основаніе всякаго добра, всякой правды, истины и красоты въ душѣ человѣка есть вѣра въ Бога. Изъ вѣры въ Бога исходитъ всякое добро, всякая истина, всякая правда и красота. Сія вѣра, выражаемая словомъ: *Богъ существуетъ*, есть основная аксіома, главное передовое положеніе, первая точка отбытія, съ которой долженъ начинаться путь нашихъ умствованій, дабы мы могли достигнуть до вѣрнаго результата". „Цѣль воспитанія, — говоритъ онъ въ другой статьѣ, относящейся къ тому же времени, — есть та же, какъ и цѣль жизни человѣческой. Сама жизнь здѣшняя не иное что, какъ воспитаніе для будущей, а вся будущая — не иное что, какъ безконечное воспитаніе для Бога. Что есть назначеніе человѣка на землѣ? Въ одномъ словѣ: востановленіе падшаго въ немъ образа Божія. Воспитаніе должно въ первые годы жизни сдѣлать его способнымъ пройти нѣсколько шаговъ впослѣдствіи для достиженія этой цѣли. Итакъ, человѣкъ образуется здѣсь воспитаніемъ не для счастія, не для успѣха въ обществѣ, не для особеннаго какого-нибудь званія, *даже не для добродѣтели;* онъ образуется для вѣры въ Бога (для вѣры христіанской) и *для безусловнаго преданія воли своей въ высшую волю* (въ чемъ истинная человѣческая свобода). И изъ этого истекаетъ всякое другое счастіе, успѣхъ, нравственность, добродѣтель... Воспитаніе должно образовать человѣка, гражданина, христіанина. Человѣкъ — здравая душа въ здравомъ тѣлѣ. Гражданинъ — нравственность, просвѣщеніе, искусства, самостоятельность. Христіанинъ — подчиненіе всего человѣка вѣрѣ" (тамъ же, стран. 944)... А вотъ какъ Жуковскій смотрѣлъ на значеніе науки, знанія и умственнаго развитія: „Все здѣсь, — пишетъ онъ въ статьѣ — „Наука" (1846—47 гг.), — отъ высокаго, многообъемлющаго знанія, пріобрѣтеннаго дѣятельностію испытующаго генія, до мелкаго, мгновеннаго удовольствія чувственности — принадлежитъ скоропреходящему (назови это скоропреходящее мгновеніемъ или вѣкомъ). Душѣ (я говорю о душѣ, взятой отдѣльно) принадлежитъ одно *неизмѣнное*, то, что существуетъ внѣ пространства и времени, что, будучи извлечено изъ науки, остается въ душѣ ея самобытною, неотъемлемою, съ нею сліянною сущностію, независимо какъ отъ самой науки, такъ и отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, временную нашу жизнь составляющихъ. Это вѣчное есть Богъ, источникъ и предметъ великаго знанія; всякій шагъ впередъ науки долженъ быть шагомъ, приближающимъ къ Богу, новымъ откровеніемъ въ таинствѣ нашихъ вѣчныхъ къ нему отношеній. Все, что мы *здѣсь* знаемъ, принадлежа здѣшней жизни и изъ нея истекая, здѣсь съ нею и остается, но итогъ нашихъ знаній, элементъ ихъ животворящій, то, что въ нихъ при-

надлежитъ исключительно душѣ и съ нею вмѣстѣ уйдетъ изъ здѣшней жизни, это есть наше *знаніе Бога и знаніе нашихъ къ Нему* отношеній"...

Изъ этихъ разсужденій, передающихъ задушевныя убѣжденія и взгляды Жуковскаго, вполнѣ видно, что составляло основное, руководящее начало въ его учебно-педагогической дѣятельности при воспитаніи и обученіи цесаревича, наслѣдника престола. Къ этому нужно прибавить горячую любовь, которою онъ былъ проникнутъ въ отношеніяхъ къ своему царственному ученику и при которой единственно считалъ возможнымъ достигнуть успѣшнаго выполненія предначертаннаго имъ „плана". И успѣхъ оправдалъ пламенныя желанія и надежды Жуковскаго: Царь-Освободитель, по своей возвышенно-благородной душѣ, исполненной просвѣщенно-гуманныхъ чувствъ и стремленій, во всей его царственной жизни былъ истиннымъ и достойнымъ ученикомъ столь горячо любившаго его наставника и поэта — христіанина.

Въ 1834 г., на Пасхѣ, послѣдовало въ Москвѣ торжество присяги наслѣдника. Объ этомъ событіи сохранилось воспоминаніе ближайшаго очевидца, митрополита московскаго Филарета: „Какъ теперь еще вижу я, пишетъ онъ, сей прекрасный вечеръ, поистинѣ достойный дня Христова. Среди величественнаго храма, среди пѣснопѣній и молитвъ предъ открытымъ алтаремъ Воскресшаго, на минуту прерванныхъ, къ открытому слову жизни, къ спасительному кресту Христову, царь настоящій ведетъ юнаго царя будущаго, между тѣмъ, какъ вѣнецъ, и скипетръ, и держава, какъ знаменія будущаго, покоятся о страну. Сколько важныхъ мыслей можно прочитать въ семъ зрѣлищѣ, когда оно еще безмолствуетъ!... Могу вамъ свидѣтельствовать, что... сладостно-чудною явилась наша безцѣнная жертва, орошенная всеобщими слезами любви, радости и молитвы, дабы пришелъ на нее животворный огнь благословенія свыше"... Жуковскій написалъ къ этому дню „Народный гимнъ" (въ томъ именно видѣ, въ какомъ мы имѣемъ его теперь), „Многолѣтіе" и „Пѣснь на присягу", при чемъ съ сердечной радостію обращался къ своему питомцу:

Смѣнялся быстро годомъ годъ:
Онъ бросилъ дѣтскую одежду,
И въ Немъ привѣтствуетъ народъ
Россіи свѣтлую надежду...
Въ храмъ Божій входитъ царскій Сынъ,
И руку къ небесамъ подъемлетъ!
Предъ Нимъ Отецъ и Властелинъ;
Присягу Сына Царь пріемлетъ;
Съ благословеніемъ вонми
Словамъ души его младыя,
И къ небу руку подыми
Съ нимъ вмѣстѣ, вѣрная Россія!

Спустя нѣсколько дней послѣ этого торжества, въ письмѣ къ Дмитріеву, Жуковскій говорилъ, что „это была возвышенная, трогательная минута. *Имъ* всѣ радуются, и это глубоко меня радуетъ. Дай Богъ, чтобы Его жизнь вся была похожа на этотъ первый важный день Его дѣйствительной жизни". Но всего лучше видно, чѣмъ былъ онъ для своего ученика, какъ любилъ Его и чему наставлялъ на своихъ урокахъ, — видно изъ нижеслѣдующаго „разсужденія" Жуковскаго, написаннаго имъ въ альбомѣ, который былъ подаренъ ему наслѣдникомъ прусскимъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ, а имъ былъ подаренъ и

поднесенъ цесаревичу Александру Николаевичу въ торжественный день его совершеннолѣтія — на Пасхѣ, 22 апрѣля 1834 г. Вотъ нѣкоторыя мѣста изъ этого, только-что обнародованнаго въ „Русской Старинѣ“, интереснѣйшаго „разсужденія“ — документа...

„Христосъ воскресе! Въ этомъ словѣ заключается вся судьба человѣка, и то, что онъ нѣкогда былъ, и то, что онъ можетъ быть на землѣ, и то, къ чему предназначенъ за гробомъ. Всякое земное величіе исчезаетъ предъ величіемъ этого слова, всякое земное несчастіе уничтожается передъ его небеснымъ утѣшеніемъ, всякое истинное сокровище души становится въ немъ неизмѣннымъ, прямо нашимъ, на всю жизнь и далѣе жизни. Оно возвышаетъ нашъ умъ въ вѣру, наше чувство въ надежду, нашу волю въ любовь, оно даруетъ человѣку его прямое достоинство: смиреніе.

„Христосъ воскресе! А этимъ благовѣстительнымъ словомъ встрѣтилъ васъ народъ московскій въ минуту вашего рожденія. То былъ день прекрасный.

„Христосъ воскресе! Это благовѣстительное слово встрѣтило васъ при входѣ вашемъ въ храмъ, гдѣ надлежало совершиться вашему первому рѣшительному дѣйствію, вашей присягѣ. — Но что же и весь міръ, какъ не храмъ Божій? Что наша жизнь, какъ не всегдашняя присяга передъ Богомъ? А въ жизни не все ли, безпрестанно, вездѣ и явно и тайно повторяетъ намъ: Христосъ воскресе!

„Ваша присяга произнесена, Богъ васъ слышитъ, теперь все свойство вашей жизни должно перемѣниться. Беззаботное ребячество кончилось, время спокойной безусловной покорности чужому руководству прошло, и хоть вамъ еще нельзя обойтись безъ помощи руководителей, но уже для васъ настала болѣе трудная пора произвольной покорности долгу; совѣсть вступила для васъ въ строгія права свои, отвѣтственность за себя теперь вы приняли на самого себя, ибо вы ясно понимали то, что говорили передъ святымъ Евангеліемъ, въ присутствіи Государя и отца, передъ надѣющимся на васъ отечествомъ... Но вамъ остается еще нѣсколько лѣтъ свободныхъ, и ваша существенная теперь обязанность, ваша вѣрность данной присягѣ должна состоять единственно въ томъ, чтобы по совѣсти воспользоваться остающимися годами свободы, чтобы утвердить свой характеръ, дать зрѣлость ему, скопить необходимыя для будущаго знанія и правила поступковъ, чтобы, однимъ словомъ, приготовиться къ высокому своему назначенію...“

Жуковскій оставался наставникомъ цесаревича до самаго окончанія обученія, завершившагося образовательнымъ путешествіемъ вмѣстѣ съ нимъ и другими избранными лицами, сначала по Россіи, а потомъ за границей (въ 1841 г.). Послѣ этого онъ считалъ свое дѣло оконченнымъ и, осыпанный царскими милостями, уѣхалъ за границу, гдѣ — несмотря на преклонные годы — женился и остался до конца жизни, хотя душою постоянно былъ въ царской семьѣ и при своемъ ученикѣ, „миломъ Александрѣ Николаевичѣ“, ведя съ нимъ и съ другими членами царской семьи сердечно-дружескую переписку. *Пономаревъ.*

Прежде чѣмъ приступить къ своему великому дѣлу, поэтъ-наставникъ представилъ государю планъ, раскрывая въ немъ не только пріемы, но и самую душу своего преподаванія. Какая тутъ разница съ тѣмъ, что̀ заключалось въ инструкціи для воспитанія великихъ князей Александра и Константина Павловичей! Тамъ вполнѣ отразился сухой разсудочный духъ XVIII стол.: „Понеже дѣтямъ надлежитъ быть щедрыми, для того поваживать ихъ къ дѣлежу... увѣряя, что щедрый не останется безъ награжденія, и въ самомъ дѣлѣ щедрѣйшему дать вдвое“... „Да будетъ то, что̀ бабушка приказала, непрекословно исполнено; что̀ запретила... то чтобы казалось столько же трудно нарушить, какъ перемѣнить погоду по ихъ хотѣнью“. У идеалиста Жуковскаго въ основу положено *сердце*, и самый авторитетъ отца опирается на *любовь*: „Его Высочество, — пишетъ онъ, — долженъ пріучиться дѣйствовать безъ награды: мысль объ отцѣ должна быть его тайною совѣстью“. Понятно, что̀ отецъ, при такомъ взглядѣ наставника, долженъ былъ заранѣе знать все то, что̀ будетъ наставникъ внушать его сыну. Вотъ что онъ будетъ ему внушать устами исторіи: „уважай народъ свой — тогда онъ сдѣлается достойнымъ уваженія. Люби народъ свой: безъ любви Царя къ народу нѣтъ любви народа къ Царю. Не обманывайся на счетъ людей и всего земного, но имѣй въ душѣ идеалъ прекраснаго — вѣрь добродѣтели! Сія вѣра есть вѣра въ Бога. Она защититъ душу твою отъ презрѣнія къ человѣчеству, столь пагубнаго въ правителѣ людей“.

Ученіе выставляется въ планѣ Жуковскаго святымъ, ничѣмъ никогда ненарушимымъ дѣломъ. „Дверь учебной горницы, — пишетъ онъ, — въ продолженіе лекцій должна быть неприкосновенна... изъ этого правила не должно быть ни для кого исключенія“. Будущій наставникъ находитъ, что военныя упражненія могли бы „мѣшать и вредить ученію“, если бы были соединены съ нимъ во всякое время; но они могли бы сдѣлаться новымъ, весьма дѣйствительнымъ средствомъ образованія, когда бы отдѣлились совершенно отъ остального ученія и имъ бы отведено было лѣтнее время. „Чтобы военныя упражненія получили образовательное значеніе, — говоритъ нашъ поэтъ, — въ нихъ не должна быть одна механическая экзерцицiя солдата, безплодная, если не убійственная для нравственнаго человѣка... Наставникъ долженъ понимать, что здѣсь въ забавѣ дѣтской таится героизмъ мужа... Самъ онъ (это касается, конечно, уже другого — военнаго наставника великаго князя) долженъ быть не простымъ знатокомъ фронта, привыкшимъ видѣть въ солдатѣ одну машину, но просвѣщеннымъ знатокомъ военнаго дѣла, способнымъ понимать, что во власти его душа будущаго повелителя милліоновъ, можетъ-быть, назначеннаго нѣкогда стать передъ русскою арміею и рѣшить судьбу народовъ.

Въ письмѣ къ императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ Жуковскій высказывается въ томъ отношеніи еще съ большею откровенностью: „боюсь, чтобы пристрастіе къ военному не зашло къ намъ въ душу и многому

не помѣшало. А *хорошія книги* вѣрнѣйшіе друзья честнаго человѣка и настоящіе совѣтники государей; онѣ не льстятъ, а заставляютъ мыслить и возбуждаютъ уваженіе ко всему человѣческому".

Но Жуковскій, кромѣ избытка военнаго духа, боялся еще и другого: того, правда, временнаго, но зато сильнаго впечатлѣнія, какое должна была произвести на наслѣдника коронація государя со всѣмъ ея блескомъ. Самъ Жуковскій не былъ въ то время въ Москвѣ, а лѣчился и готовился къ будущимъ трудамъ за границею. Вотъ что писалъ онъ оттуда императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ про своего питомца: „Свидѣтель этихъ народныхъ поклоненій, принимая въ нѣкоторыхъ случаяхъ почти личное въ нихъ участіе, Онъ могъ бы себѣ усвоить нѣкоторыя незрѣлыя понятія о величіи, которыя, какъ несвоевременныя, могутъ вредить развитію свойствъ исключительно человѣческихъ, самыхъ драгоцѣнныхъ, единственныхъ, которыя, составляютъ истинное достоинство человѣка. Воспитаніе должно возвысить Его до предстоящаго Ему величія, но это будетъ возможно лишь тогда, когда Онъ будетъ въ состояніи понять, что это величіе, чтобы не быть призрачнымъ, должно казаться Ему не правомъ Его, а долгомъ, священною религіею, великими узами, приковывающими человѣка, подобно Прометею, къ высокой скалѣ, откуда онъ можетъ ближе созерцать сводъ небесный, но гдѣ также существуетъ и коршунъ-мститель, готовый растерзать того, кто дерзнетъ посягнуть на права небесныя". Но Жуковскій успокоиваетъ себя тѣмъ, что если питомецъ его „видѣлъ великолѣпныя картины, то онъ видѣлъ также и простую любовь народа; она оставила глубокій слѣдъ въ его душѣ, поистинѣ чувствительный; не слѣдуетъ давать этому впечатлѣнію возможности изгладиться! На этой основѣ можно многое создать въ будущемъ".

Составленныя Жуковскимъ для своего августѣйшаго ученика „Черты исторіи Государства Россійскаго", конечно, навѣяны Карамзинымъ, но проводимая въ нихъ воспитательная идея прошла сквозь душу Жуковскаго. Исторія у него говоритъ *властителямъ*: „Будьте согласны съ вашимъ вѣкомъ, идите съ нимъ вмѣстѣ: впереди, но ровнымъ шагомъ; отстанете — онъ васъ покинетъ; повлечете его быстро впередъ — низвергнете все и себя; осмѣлитесь преградить ему дорогу, онъ васъ раздавитъ. Ваша сила не въ вашей верховной власти и великихъ правахъ ея — она въ достоинствѣ вашего народа: униженъ онъ, унижены и вы; онъ страждетъ — вы ненавистны; тогда могущество ваше на пескѣ — первый вѣтеръ его опрокинетъ". Но та же исторія говоритъ у нашего поэта *народамъ*: „Покорствуйте порядку; сносите съ достойною твердостью бремя настоящаго; свергнуть его силою — есть произвольно отворить жерло вулкана; лава его можетъ быть плодотворна, но для временъ отдаленныхъ; губить настоящее для пользы грядущаго есть преступленіе безумства, которое прихотливо зажигаетъ домъ свой—въ надеждѣ, что изъ пепла его воздвигнется лучшій".

Разстроенное здоровье заставило нашего поэта въ 1832 г. на время прервать свое великое учебное дѣло. Привѣтствуя наслѣдника престола изъ-за границы съ новымъ 1833 г., онъ говоритъ: „Мы не знаемъ, какую судьбу приготовило намъ Провидѣніе въ здѣшнемъ свѣтѣ; но это не главное. Случаи жизни принадлежатъ одному Богу, наша душа принадлежитъ Ему и намъ; отъ насъ зависитъ, чтобы наша душа, посреди этихъ событій, посылаемыхъ намъ Создателемъ, сдѣлалась такою, какова она должна быть согласно со своимъ высокимъ происхожденіемъ и съ предназначенною ей цѣлью. Итакъ, поздравляю васъ съ новымъ годомъ, съ первымъ *годомъ надежды*“ (Наслѣдникъ достигъ уже тогда перехода отъ отрочества къ юности).

Незадолго до совершеннолѣтія наслѣдника, не стало у Жуковскаго главнаго его сотрудника въ дѣлѣ воспитанія, генерала Мердера. „Въ данномъ имъ воспитаніи, — писалъ тогда глубоко тронутый Жуковскій, — не было ничего искусственнаго; вся тайна состояла въ благодѣтельномъ, тихомъ, но безпрестанномъ дѣйствіи прекрасной души его, дѣйствіи, которое можно сравнить съ благорастворенiемъ воздуха“...

Точно будто Жуковскій писалъ тутъ и о самомъ себѣ!

Страшное горе постигло Жуковскаго передъ окончаніемъ его великаго наставническаго подвига. То было горе и цѣлой Россіи. Въ самый день своего рожденія — 29 января 1837 г., должно быть, только что закрывъ глаза нашему безвременно погибшему генію, Жуковскій послалъ своему царственному питомцу эти простыя, эти страшныя своей простотой строки:

„Пушкина нѣтъ на свѣтѣ. Въ два часа и три четверти пополудни онъ кончилъ жизнь тихо, безъ страданія, точно угаснулъ“.

О. Миллеръ.,

Родственныя черты музы Жуковскаго и Пушкина.

Не разсматривая всей дѣятельности Жуковскаго, пережившаго А. С. Пушкина и издававшаго его сочиненія съ собственными поправками, мы считаемъ необходимымъ остановиться на параллельномъ изложеніи жизни и дѣятельности В. А. Жуковскаго съ жизнію и дѣятельностью А. С. Пушкина. Здѣсь было много и общаго и противоположнаго, — что, какъ извѣстно, сближаетъ нерѣдко людей и образуетъ друзей.

Оба выдающіеся поэта первой половины настоящаго столѣтія одинаково были связаны по происхожденію съ Востокомъ — съ Турціей. Мать Жуковскаго была плѣнною турчанкой, занимавшей въ семействѣ тульскаго помѣщика Бунина, — отца Жуковскаго, получившаго отчество и фамилію отъ бѣднаго кіевскаго дворянина Андрея Жуковскаго, — положеніе ветхо-завѣтной Агари. Но добрыя чувства соединяли эту старую русскую семью Буниныхъ, давшую, кромѣ нашего поэта такихъ литературныхъ дѣятелей, какъ Кирѣевскіе, Зонтагъ.

Жуковскій такъ же, какъ и Пушкинъ, съ дѣтства былъ привязанъ къ женскому обществу; но школа не испортила его, не вызвала тѣхъ нечистыхъ увлеченій, какія пережилъ Пушкинъ. Въ душѣ Жуковскаго и въ московскомъ благородномъ пансіонѣ продолжала жить чистая нравственная привязанность къ тѣмъ „дѣвочкамъ" — родственницамъ, съ которыми юный поэтъ провелъ дѣтство въ деревнѣ „въ златыхъ играхъ". Быть можетъ, это была и та нравственная, философская атмосфера, которой недоставало въ замкнутомъ Царскомъ Селѣ, среди талантливыхъ знатныхъ юношей, явившихся изъ объятій домочадцевъ подъ сѣнь удаленнаго отъ столицы и надзора лицея. Въ Москвѣ же, напротивъ того, юноши окружены были преданіями Дружескаго общества, масоновъ, такихъ философовъ-педагоговъ, какъ Прокоповичъ-Антонскій, Тургеневъ и др. Въ этой атмосферѣ выросъ и молодой Карамзинъ, возбуждавшій въ концѣ XVIII в. и въ началѣ XIX в., до переѣзда въ Петербургъ (1816 г.), вниманіе московскаго общества и молодежи своими журналами, сентиментальными нѣжными повѣстями, историческими воспоминаніями и множествомъ полезныхъ литературныхъ занятій. Жуковскій выросъ и развился въ школѣ Карамзина и былъ его ближайшимъ преемникомъ, какъ въ литературѣ (баллады, изданіе „Вѣстника Европы", литературныхъ сборниковъ, повѣстей, критическихъ статей и проч.), такъ и въ жизни (меланхолія и кротость, страсть къ литературному труду, самообразованію, патріотизмъ). И Карамзинъ велъ свой родъ съ Востока, какъ его современникъ, пѣвецъ „Фелицы" — Державинъ. Оба поэта XVIII в. были потомками татаръ Казанскаго царства. Кто ищетъ природныхъ національныхъ наклонностей, тотъ не упуститъ отмѣтить въ лицѣ четырехъ названныхъ русскихъ поэтовъ восточную мечтательность, силу слова и стиха, выражающихъ всю пылкость человѣческихъ страстей и всю глубину смиренія и упованія. Величайшіе русскіе писатели, каждый въ свое время, создали эпохи въ развитіи русскаго слова и поэзіи. Не будемъ упрекать родную дѣйствительность съ ея ограниченностью въ области духовныхъ интересовъ, съ преобладаніемъ влеченій къ матеріальной, такъ сказать, растительной дѣятельности, съ бѣдностью средствъ для внутренняго умственнаго развитія, но съ преданіями о высокихъ нравственныхъ и патріотическихъ подвигахъ — единственной почвой для самобытнаго развитія. Отсюда такая зависимость и, можетъ-быть, неполнота литературнаго западно-европейскаго вліянія на Державина, Карамзина, Жуковскаго и даже — Пушкина. И здѣсь опять черты различія между Жуковскимъ и Пушкинымъ. Жуковскій, какъ и Карамзинъ, отъ подражанія французскимъ писателямъ — баснописцамъ и лирикамъ — перешелъ къ поэтамъ нѣмецкимъ и англійскимъ; между тѣмъ какъ Пушкинъ глубоко всосалъ въ себя начала французской литературы съ ея философскимъ раціоналистическимъ направленіемъ, съ ея легкой эротической формой. Отсюда веселость, шутка Жуковскаго являлись въ глазахъ Пушкина наивностью, и самая грусть по утраченному счастью земли — прелестной ложью. Что касается отно-

шеній къ Востоку, то только у Карамзина надо искать ихъ въ „Исторіи Государства Россійскаго“, а Державинъ, Жуковскій и Пушкинъ дали великолѣпные образцы восточнаго міровоззрѣнія и поэзіи въ своихъ безсмертныхъ твореніяхъ. Вспомните музу въ „Фелицѣ“, „Видѣніе Мурзы“, „Персидскую повѣсть, Рустемъ и Зорабъ“, „Бахчисарайскій фонтанъ“, „Подражаніе Корану“, „Талисманъ“, „Анчаръ“, „Калмычка“, „Изъ Гафиза“, „Подражаніе арабскому“, — и вамъ не покажутся преувеличеніемъ пророческія слова нашего славнаго поэта въ „Памятникѣ“ 1836 г.

Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой,
И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ:
И гордый внукъ славянъ, и финнъ, и нынѣ дикій
Тунгусъ, и другъ степей калмыкъ.

Извѣстно, что Жуковскій измѣнилъ, по цензурнымъ условіямъ, по смерти Пушкина его „Памятникъ“ и отнесъ къ великому другу то, что Пушкинъ написалъ „Къ портрету Жуковскаго“ за 20 лѣтъ до своей смерти:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ.
Ср. Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль, и пр.

Думаемъ, что не преувеличимъ, если отнесемъ къ вліянію Жуковскаго и Пушкина „пробужденіе лирой добрыхъ чувствъ въ народѣ“, вниманіе къ сельской простотѣ, къ деревнѣ. Первая элегія Жуковскаго, доставившая ему славу, „Сельское кладбище“ 1802 г., уже посвящена похвалѣ почтеннымъ трудамъ простого селянина и его предполагаемой скорби надъ могильнымъ камнемъ поэта съ меланхоліей. Жуковскій, какъ и въ дальнѣйшей своей переводческой дѣятельности, измѣнилъ Грееву элегію: его поэтъ не только „душой откровененъ и добръ“, какъ въ англійскомъ подлинникѣ, но и

Онъ кротокъ сердцемъ былъ, чувствителенъ душою —
Чувствительнымъ Творецъ награду положилъ.

Мысль о ранней могилѣ разочарованнаго душой поэта, поглощеннаго воспоминаніями о нетлѣнности братскихъ узъ въ кругу своихъ друзей, прекрасно выражаются въ элегіи „Вечеръ“ 1806 г.:

Ужель красавицъ взоръ иль почестей исканье,
Иль суетная честь — пріятнымъ въ свѣтѣ слыть,
Загладятъ въ сердцѣ вспоминанье
О радостяхъ души, о счастьѣ юныхъ дней,
И дружбѣ, и любви, и музамъ посвященныхъ?...
Мнѣ рокъ сулилъ брести невѣдомой стезей,
Быть другомъ *мирныхъ селъ*, любить красы природы...
Творца, друзей, любовь и счастье воспѣвать. (I, 52—84).

Съ увлеченіемъ сельской простотой и тишиной у Жуковскаго соединяется влеченіе къ исторіи русскихъ и славянъ. Оставивши службу,

поэтъ поселяется въ родномъ Бѣлевѣ и предается самообразованію, читаетъ лѣтописи и создаетъ „Пѣснь Барда надъ гробомъ славянъ побѣдителей“, „Людмилу“ 1808 г. — балладу, имѣвшую важное значеніе въ русской литературѣ, и другую большую „Старинную повѣсть“ въ двухъ балладахъ: „Громобой“ и „Вадимъ“, подъ общимъ заглавіемъ: „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“ 1810 г. Наконецъ, въ 1811 г. Жуковскій возвысился до воспроизведенія народныхъ святочныхъ гаданій и создалъ „Свѣтлану“. Тревоги войны 1812 г. отвлекли поэта, написавшаго „Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ“, послѣ котораго слѣдуетъ непрерывная переводная дѣятельность, посвященная такимъ сюжетамъ, какъ „Орлеанская дѣва“, „Жалоба Цереры“ Шиллера, „Путешественникъ и поселянка“, „Лѣсной царь“ Гёте, народныя произведенія Гебеля, съ 1816 по 1830 г., сказки и др. Чтобъ показать отраженіе настроенія Жуковскаго въ элегіяхъ Пушкина, приведу нѣсколько выдержекъ изъ раннихъ произведеній Жуковскаго. Въ посланіи „Къ Филалету“ 1807 г. заключаются уже чудныя раздумья „Стансовъ“ Пушкина 1829 г.:

Повсюду вѣстники могилы предо мной.
Смотрю ли, какъ заря съ закатомъ угасаетъ —
Такъ, мнится, юноша цвѣтущій исчезаетъ;
Внимаю ли рогамъ пастушьимъ за горой,
Иль вѣтра горнаго въ дубравѣ трепетанью,
Иль тихому ручья въ кустарникѣ журчанью,
Смотрю ль въ туманну даль вечернею порой, —
Во всемъ печальныхъ дней конецъ воображаю...
Или сулилъ мнѣ рокъ весенни жизни годы,
Сокрывшись въ мракѣ гробовомъ,
Покинуть и поля, и отческія воды,
И міръ, гдѣ жизнь моя безплодно расцвѣла?

Не приводя далѣе образцовъ изъ поэзіи Жуковскаго, такъ или иначе пересозданныхъ въ сжатыхъ, сильныхъ, но и нѣжныхъ стихахъ Пушкина, отмѣтимъ необыкновенную изобразительность въ стихахъ Жуковскаго, когда онъ описываетъ природу („Людмила“, „Свѣтлана“ и др.), таинственность видѣній, ужасовъ, мученій любви. Элегіи, баллады, переводы Жуковскаго произвели глубочайшее впечатлѣніе на русскихъ читателей всѣхъ классовъ и, безъ сомнѣнія, подняли ихъ высоко въ образовательномъ отношеніи. Пушкинскіе герои, Татьяна и Ленскій, впервые познали міръ, жизнь сердца, свободную мечтательную даль изъ поэзіи Жуковскаго. Татьяна едва ли не прямая ученица Жуковскаго. Она не покинула мечтанья юныхъ лѣтъ, свою безнадежную любовь; но и не уступила давленію обстоятельствъ: возможности нарушить выбранный путь, стремленью постороннихъ подглядѣть ея волненья или паденью духа до отчаянія. Въ поэзіи Жуковскаго проходитъ повтореніе мотива насильственной разлуки любящихъ сердецъ, и это не подражаніе, а живой голосъ пережитаго поэтомъ страстнаго чувства любви къ своей племянницѣ, которую Жуковскій видѣлъ и выданной за другого и, наконецъ, умершей. Но поэтъ продолжалъ

свои занятія, свое нравственное усовершенствованіе. Высокое положеніе, — также болѣе нравственнаго, чѣмъ искательнаго направленія, — какое занялъ Жуковскій при дворѣ съ 1816 г., приводило поэта къ служенію народному воспитанію. Вотъ что онъ писалъ изъ Дерпта по поводу своего новаго положенія: „Вниманіе Государя есть святое дѣло. Имѣть на него право могу и я, если буду русскимъ поэтомъ въ благородномъ смыслѣ сего имени. А я буду! Поэзія часъ отъ часу становится для меня чѣмъ-то возвышеннымъ... Не надобно думать, что она только забава воображенія!“ (Письма В. А. Жуковскаго къ А. И. Тургеневу, 1895 г., стран. 163). „Она (поэзія) должна имѣть вліяніе на душу всего народа, и она будетъ имѣть это благотворное вліяніе... Поэзія принадлежитъ къ народному воспитанію“. Въ этомъ письмѣ Жуковскій впервые сообщаетъ о своемъ знакомствѣ съ народной поэзіею Гебеля, которой восторгался и Гете: „написалъ, т.-е. перевелъ съ нѣмецкаго піесу, подъ титуломъ „Овсяный кисель“... Это переводъ изъ Гебеля, вѣроятно, тебѣ неизвѣстнаго поэта, ибо онъ писалъ на швабскомъ діалектѣ и *для поселянъ*. Но я ничего лучше не знаю! Поэзія во всемъ совершенствѣ простоты и непорочности. Переведу еще многое. Совершенно новый и намъ еще неизвѣстный родъ“ (тамъ же, стран. 164).

Прослѣдимъ эти переводы Жуковскаго изъ Гебеля. Переводчикъ старался приблизить къ русской жизни не только имена нѣмецкихъ поселянъ (особенно въ простонародной швабской формѣ), но и подробности, передѣлывая и опуская нѣкоторыя частности. Въ „Овсяномъ киселѣ“ у него являются „и Иванъ, и Лука, и Дуняша“, опущено заключеніе о необходимости деревенскимъ дѣтямъ итти въ школу (Und jetzt geht in die Schul', dort hängt am Gesimse die Mappe! Fall mir Keins, gebt Achtung, und lernt hübsche, was man euch aufgiebt. Kommt ihr wieder nach Haus'; dann giebt es getrochnete Pflaumen). Замѣчательны народныя выраженія: „заскородилъ овесъ, колосъ оброшенный“. Въ такомъ же родѣ и остальные переводы: гнѣдко — Esel, „гнѣдко пужливъ“ (Hüst, Laubi, Merz-Hott Schimmel, Fuchs!); въ „Утренней звѣздѣ“ Жуковскій ввелъ поэтическое изложеніе молитвы Господней, вмѣсто разсказа о молитвѣ вообще [1]). Отъ содержанія деревенскихъ сказокъ и пѣсенъ изъ Гебеля вѣетъ непосредственной вѣрой

---

[1]) So helf' uns Gott, und geb' uns Gott
'Wen gúten Tag, und b'hüt uns Gott,
Wir beten um ein christlich Herz.
Es thut uns Noth in Freud' und Schmerz;
Wer christlich lebt, hat frohen Muth;
Der lieb' Gott steht für alles Gut.

Въ виду точной передачи подлинника ограничиваемся приведеннымъ переводомъ. У Жуковскаго иначе:

Вездѣ молитва началась:
„Небесный Царь! услыши насъ;
Твое владычество приди;
Насъ въ искушенье не введи;
На путь спасенія наставь,
И отъ лукаваго избавь“.

въ загробную жизнь, въ будущій судъ, въ добрыя дѣла, въ значеніе труда и — легендой о козняхъ дьявола, о привидѣніяхъ. Вечерніе и ночные образы этихъ страстей изъ міра духовныхъ средневѣковыхъ легендъ смѣняются у Жуковскаго свѣтлыми, добрыми картинами „Воскреснаго утра въ деревнѣ", „Утренней звѣзды". Нельзя не отмѣтить, что изъ небольшого числа всѣхъ произведеній Гебеля Жуковскій выбралъ подходившія къ его настроенію и опустилъ бойкія пѣсни торговокъ, рабочихъ и т. п.

Въ началѣ 30-хъ годовъ Жуковскій съ особеннымъ увлеченіемъ переводилъ „Ундину", въ которой выразилось настроеніе поэта: „испытали всѣ мы невѣрность здѣшняго счастья... счастливъ еще, когда при раздѣлѣ житейскаго былъ ты самъ назначенъ терпѣть, а не мучить; на свѣтѣ семъ доля жертвы блаженнѣй, чѣмъ доля губителя. Если сей лучшій жребій былъ твой, читатель, то, можетъ-быть, слушая нашу повѣсть, ты вспомнишь и самъ о своемъ миновавшемъ, и тихо милая грусть тебѣ черезъ душу прокрадется, снова то, что прошло, оживетъ, и ты слезу сожалѣнья бросишь". Если мы обратимся къ переводамъ Жуковскаго изъ Шиллера, то и здѣсь увидимъ, какую видную роль играютъ женскіе типы: „Кассандра" 1809 г., „Жалоба Цереры" 1831 г., „Орлеанская дѣва" 1821 г. Все это матеріалы, безъ сомнѣнія, отражавшіеся и въ жизни русской женщины 20—30-хъ годовъ и въ литературѣ. Опять черта, не лишенная значенія для пушкинской Татьяны, которую поэтъ готовъ сравнить съ „Свѣтланой" Жуковскаго (т. III, гл. V, § 326). Вольный переводъ изъ Шиллера „Голосъ съ того свѣта" 1815 г., начинающійся словами почившей — „Не узнавай, куда я путь склонила, въ какой предѣлъ изъ міра перешла"... — можетъ быть сближенъ съ чудными элегіями Пушкина на кончину госпожи Ризничъ и др.

Итакъ, въ области поэмы („Двѣнадцать спящихъ дѣвъ", и др.) и элегіи Жуковскій прямой предшественникъ Пушкина, въ особенности по глубокому выраженію женской души. Сюда надо присоединить и баллады Пушкина („Утопленникъ", „Женихъ", и др.), которыя отличаются отъ балладъ Жуковскаго бо́льшей вѣрностью русской народной легендѣ. Творчество Пушкина иногда такъ совпадало съ переводами и подражаніями Жуковскаго, что Пушкинъ долженъ былъ оправдываться въ независимости своихъ трудовъ отъ воздѣйствій Жуковскаго, какъ, напримѣръ, во время появленія „Шильонскаго узника" и „Братьевъ разбойниковъ".

Поэзія Пушкина въ этомъ новомъ направленіи, близкомъ къ возвышенному настроенію Жуковскаго, развернулась на югѣ. Герой поэмъ Пушкина столько же подражаніе Байрону, сколько и — рыцарской романтической поэзіи Жуковскаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, результатъ думъ Пушкина о пережитомъ. Рыцарь Жуковскаго, страдающій отъ несчастной любви, холоденъ къ настоящему: въ его душѣ „къ далекому стремленье, минувшаго привѣтъ" („Невыразимое" 1818 г.); онъ смотритъ недовѣрчиво на все земное, такъ какъ здѣсь не суждено сбыться

мечтамъ. Это возвращеніе къ направленію Жуковскаго послѣдовало въ Пушкинѣ послѣ легкой сатирической дѣятельности въ Петербургѣ, смѣлой и рѣзкой до крайности, и послѣ увлеченія театромъ, свѣтской жизнью.

Владимировъ.

Многолѣтняя и глубокая дружба Жуковскаго и Пушкина.

Вся жизнь, вся литературная дѣятельность Пушкина прошли на глазахъ Жуковскаго. Жуковскій былъ старше Пушкина на 16 лѣтъ, хорошо былъ знакомъ съ его родителями и стоялъ въ дружескихъ отношеніяхъ къ дядѣ его, В. Л. Пушкину. Онъ полюбилъ Александра Пушкина съ малыхъ его лѣтъ, былъ для него образцомъ на школьной скамьѣ, ввелъ его, по окончаніи лицея, въ кругъ друзей общества „Арзамасъ", познакомилъ съ выдающимися литературными дѣятелями, выслушивалъ, исправлялъ нѣкоторые стихи и, вообще, въ первое время былъ его руководителемъ преимущественно на своихъ субботнихъ литературныхъ вечерахъ. Жуковскій выручалъ Пушкина изъ опасныхъ и затруднительныхъ положеній, отстаивалъ его передъ властями и литературными противниками, присутствовалъ при кончинѣ, написалъ прочувствованный некрологъ и редактировалъ нѣкоторыя его печатныя произведенія. Такая связь и долголѣтняя дружба заключаетъ въ себѣ много литературныхъ и филантропическихъ элементовъ.

По разсказамъ младшаго брата Пушкина Льва Сергѣевича, дружба А. С. Пушкина съ Жуковскимъ началась по выходѣ Пушкина изъ лицея и продолжалась до послѣдней его минуты. Въ 17 лѣтъ Пушкинъ ужъ бойкій „Сверчокъ" Арзамаса. На „бесѣдистовъ" градомъ сыпались остроты и эпиграммы. Въ посланіи къ Жуковскому 1818 г. Пушкинъ говоритъ:

Благослови, поэтъ! Въ тиши парнасской сѣни
Я съ трепетомъ склонилъ предъ музами колѣни.

Юный поэтъ обѣщаетъ итти прямой дорогой, при дружеской поддержкѣ Жуковскаго. Юноша-поэтъ говоритъ, что онъ пустится въ путь

...Смѣло вдаль дорогою прямою!...
. . . . . поддержанный тобою.

Карамзинъ и Жуковскій — вотъ образцы Пушкина на зарѣ его поэтической дѣятельности. „Мнѣ ты примѣръ!" говоритъ Пушкинъ обращаясь къ Жуковскому. Въ томъ же стихотвореніи отражается признательность Пушкина за оказанное на него доброе вліяніе. Къ Жуковскому обращены стихи:

Не ты ль мнѣ руку далъ въ завѣтъ любви священной?
Могу ль забыть я часъ, когда передъ тобой,
Безмолвный, я стоялъ и молнійной струей
Душа къ возвышенной душѣ твоей летѣла
И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенѣла?
Нѣтъ, нѣтъ, рѣшился я безъ страха въ трудный путь!
Отважной вѣрою исполнилася грудь.

„Воспоминанія о Царскомъ Селѣ“ Пушкина (1814 г.) было тѣмъ стихотвореніемъ, которое закрѣпило симпатіи Жуковскаго. Въ началѣ 1815 г. Жуковскій съ восхищеніемъ говорилъ объ этихъ стихахъ: „Вотъ у насъ настоящій поэтъ!“

Вскорѣ Жуковскій посѣтилъ молодого поэта въ лицеѣ и подарилъ ему экземпляръ только что вышедшаго въ свѣтъ изданія своихъ стихотвореній. Этотъ подарокъ былъ для юноши столь важнымъ событіемъ, что онъ тогда же записалъ о немъ въ своемъ лицейскомъ дневникѣ.

Поэзія Жуковскаго, его личность были примѣромъ для Пушкина; такъ смотрѣлъ самъ Пушкинъ. Нравственно чистая, мягкая, мечтательная муза Жуковскаго вносила кротость и примиреніе въ бурную, страстную душу Пушкина, что прекрасно выражено въ извѣстномъ стихотвореніи Пушкина „Къ портрету Жуковскаго“ 1818 г.

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,
И, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость,
Утѣшится безмолвная печаль,
И рѣзвая задумается радость.

Подражаніе Пушкина Жуковскому обнаруживается во многихъ его раннихъ лицейскихъ стихотвореніяхъ.

Одно изъ раннихъ большихъ произведеній Пушкина „Русланъ и Людмила“ было по частямъ прочитано авторомъ на литературныхъ вечерахъ Жуковскаго.

Жуковскій здѣсь оцѣненъ такъ:

Поэзіи чудесный геній,
Пѣвецъ таинственныхъ видѣній,
Любви, мечтаній и чертей,

а относительно самой музы Пушкина, по его словамъ Жуковскій —

И музы вѣтренной моей
Наперсникъ, пѣстунъ и хранитель.

Какъ извѣстно, тогда же Жуковскій подарилъ Пушкину свой портретъ съ надписью: „ученику отъ побѣжденнаго учителя“. Но тутъ скромный Жуковскій нѣсколько поспѣшилъ. Пушкинъ всю жизнь свою открыто признавалъ въ немъ учителя.

Въ началѣ 20-хъ годовъ творчество Пушкина иногда такъ было близко къ переводамъ и подражаніямъ Жуковскаго, что Пушкинъ долженъ былъ оправдываться въ независимости, какъ это было, напримѣръ, во время появленія „Шильонскаго узника“ и „Братьевъ-Разбойниковъ“. И въ годы полнаго расцвѣта духовныхъ силъ Пушкинъ всегда подчеркивалъ свою литературную связь съ Жуковскимъ. Окончивши драму „Борисъ Годуновъ“, Пушкинъ хотѣлъ сначала посвятить ее Жуковскому и писалъ ему по этому поводу:

„Отче, въ руцѣ твои предаю духъ мой!... Трагедія моя идетъ и думаю къ зимѣ (письмо отъ 17 августа 1825 г.) ее окончить“.

Но въ томъ же году скончался Карамзинъ, и Пушкинъ посвятилъ драму его памяти „съ благоговѣніемъ и благодарностью“.

Выдѣляя отдѣльно характеристику личныхъ отношеній Жуковскаго и Пушкина, независимо отъ ихъ тѣсной литературной связи, нужно принять къ свѣдѣнію переписку поэтовъ и многочисленныя указанія въ запискахъ и мемуарахъ современниковъ.

Пушкинъ-лицеистъ былъ уже знакомъ съ Жуковскимъ и его поэзіей, подражалъ ему, бесѣдовалъ съ нимъ, получалъ отъ него въ даръ его произведенія, чѣмъ гордился и заносилъ въ свой дневникъ. Стихотворное посланіе къ Жуковскому 1817 г. представляетъ много цѣнныхъ автобіографическихъ признаній. „Русланъ и Людмила“ 1817—1820 гг. даетъ дополнительныя къ нимъ черты; но при всемъ этомъ, при всемъ уваженіи Пушкина къ Жуковскому, онъ съ раннихъ лѣтъ обнаружилъ самостоятельное и критическое отношеніе къ его поэзіи. По разсказамъ брата, Льва Сергѣевича, Пушкинъ въ юности иногда посмѣивался надъ нѣкоторыми стихами Жуковскаго; такъ онъ пародировалъ „Тлѣнность“ слѣдующимъ образомъ:

Послушай, дѣдушка, мнѣ каждый разъ,
Когда взгляну на этотъ замокъ Ретлеръ,
Приходитъ въ мысль: что, если это проза,
Да и дурная?

Лѣтомъ 1819 г. въ Царскомъ Селѣ проживали Н. М. Карамзинъ съ семействомъ, В. А. Жуковскій и А. С. Пушкинъ. Памятникомъ дружескаго отношенія Пушкина къ Жуковскому можетъ служить его пріятельская записка. Здѣсь Пушкинъ говоритъ, что заѣзжалъ къ нему съ Н. Н. Раевскимъ:

Къ тебѣ, Жуковскій, заѣзжали,
Но, къ неописанной печали,
Поэта дома не нашли,
И, увѣнчавшись кипарисомъ,
Съ французской повѣстью „Борисомъ“,
Домой уныло побрели.
Какой святой, какая сводня
Сведетъ Жуковскаго со мной?
Скажи: не будешь ли сегодня
Съ Карамзинымъ, съ Карамзиной?...

Въ ссылкѣ въ Кишиневѣ Пушкинъ внимательно слѣдилъ за литературными работами Жуковскаго. Въ письмѣ къ князю Вяземскому 1822 г. онъ говоритъ: „Жуковскій меня бѣситъ. Что ему понравилось въ этомъ Мурѣ, чопорномъ подражателѣ безобразному воображенію?“ Въ письмѣ къ брату того же года Пушкинъ говоритъ: „Что Жуковскій и зачѣмъ онъ ко мнѣ не пишетъ?“ Въ письмѣ къ Гнѣдичу онъ очень хвалитъ переводъ „Шильонскаго узника“: „слогъ Жуковскаго ужасно возмужалъ, хотя утратилъ первоначальную прелесть“. Въ кишиневскихъ письмахъ Пушкина 1822 г. и въ письмахъ его изъ Одессы 1823—1824 гг. часто высказываются жалобы, что Жуковскій лѣнивъ на переписку.

Въ концѣ 1824 г. произошло одно событіе, важное въ жизни Пушкина, — событіе, тѣсно связанное съ именемъ Жуковскаго. Вотъ что Пушкинъ писалъ Жуковскому изъ Михайловскаго 31-го октября вскорѣ послѣ своей ссылки подъ родительскій кровъ: „Милый, при-

бѣгаю къ тебѣ. Посуди о моемъ положеніи! Пріѣхавъ сюда, былъ я всѣми встрѣченъ, какъ нельзя лучше; но скоро все перемѣнилось. Отецъ, испуганный моей ссылкой, безпрестанно твердилъ, что и его ожидаетъ та же участь. Пещуровъ, назначенный за мною смотрѣть, имѣлъ безстыдство предложить отцу моему должность распечатывать переписку, короче,— быть моимъ шпіономъ. Вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволили мнѣ съ нимъ объясниться; я рѣшился молчать. Отецъ началъ упрекать брата въ томъ, что я преподаю ему безбожіе. Я все молчалъ. Получаютъ бумагу, до меня касающуюся. Наконецъ, желая вывести себя изъ тягостнаго положенія, прихожу къ отцу моему и прошу позволенія говорить искренно — болѣе ни слова... Отецъ осердился. Я поклонился, сѣлъ верхомъ и уѣхалъ. Отецъ призываетъ брата и повелѣваетъ ему не знаться avec ce monstre, ce fils dénaturé. Жуковскій, думай о моемъ положеніи и суди. Голова моя закипѣла, когда я узналъ все это. Иду къ отцу, пахожу его въ спальнѣ и высказываю все, что у меня было на сердцѣ цѣлыхъ три мѣсяца; кончаю тѣмъ, что говорю ему въ послѣдній разъ... Отецъ мой, воспользовавшись отсутствіемъ свидѣтелей, выбѣгаетъ и всему дому объявляетъ, что я его билъ, потомъ, что хотѣлъ бить!... Передъ тобой не оправдываюсь. Но чего же онъ хочетъ для меня съ уголовнымъ обвиненіемъ? Рудниковъ сибирскихъ и лишенія чести? Спаси меня хоть крѣпостью, хоть Соловецкимъ монастыремъ. Не говорю тебѣ о томъ, что терпятъ за меня братъ и сестра. Еще разъ — спаси меня. Поспѣши: обвиненіе отца извѣстно всему дому. Никто не вѣритъ, но всѣ его повторяютъ. Сосѣди знаютъ. Я съ ними не хочу объясняться. Дойдетъ до правительства; посуди, что будетъ. А на меня и суда нѣтъ. Я hors de loi".

Сгоряча Пушкинъ написалъ къ псковскому губернатору прошеніе о переводѣ его въ крѣпость. Жуковскій не медлилъ. Онъ поспѣшилъ успокоить обѣ стороны, прочелъ нотацію легкомысленному родителю. Вскорѣ семья поэта уѣхала изъ Михайловскаго; остался здѣсь поневолѣ только А. С. Пушкинъ со старухой няней.

Уже въ началѣ ноября успокоившійся Пушкинъ писалъ брату: „скажи отъ меня Жуковскому, чтобы онъ молчалъ о происшествіяхъ, ему извѣстныхъ; я рѣшительно не хочу выносить сóру изъ Михайловской избы — и ты, душа, держи языкъ на привязи".

Въ половинѣ ноября Пушкинъ уже начинаетъ свое письмо брату такими словами: „Скажи моему генію-хранителю, моему Жуковскому, что, слава Богу, все кончено. Письмо мое къ Адеркасу (губернатору) у меня; наши уѣхали, а я живъ и здоровъ".

24-го ноября Пушкинъ писалъ Жуковскому: „Мнѣ жаль, милый, почтенный другъ, что я надѣлалъ эту всю тревогу; но что мнѣ было дѣлать! Я сосланъ за строчку глупаго письма. Что было бы, если бы правительство узнало обвиненіе отца? Отецъ говорилъ послѣ: „Дуракъ! Въ чемъ оправдывается! Да я бы связать его велѣлъ!" Зачѣмъ же обвинять было сына? „Да какъ онъ осмѣлился, говоря съ отцомъ,

непристойно размахивать руками!“ Это дѣло десятое. „Да онъ убилъ отца словами“... Каламбуръ и только. „Воля твоя, тутъ и поэзія не поможетъ!“

Послѣдняя фраза представляетъ краткій отвѣтъ на успокоительное письмо Жуковскаго, въ которомъ Жуковскій говорилъ: „На все, что съ тобой случилось и что ты самъ на себя навлекъ, у меня одинъ отвѣтъ — поэзія. Ты имѣешь не дарованіе, а геній. Ты — богачъ; у тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженнаго несчастья и обратить въ добро заслуженное; ты болѣе, нежели кто-нибудь, можешь и обязанъ имѣть нравственное достоинство. Ты рожденъ быть великимъ поэтомъ; будь же этого достоинъ... Обстоятельства жизни счастливой или несчастной — шелуха. Ты скажешь, что я проповѣдую съ спокойнаго берега утопающему. Нѣтъ, я стою на пустомъ берегу, вижу въ волнахъ силача, и знаю, что онъ не устанетъ, если употребитъ силу... Плыви, силачъ!“ Этотъ отрывокъ письма ясно показываетъ, какъ высоко Жуковскій цѣнилъ Пушкина, но Жуковскій въ то же время отлично понималъ, что однихъ словесныхъ утѣшеній мало; онъ снабжалъ ссыльнаго силача-поэта книгами, исполнялъ въ Петербургѣ его порученія, ходатайствовалъ за него передъ властными людьми. Онъ какъ бы принимаетъ на себя обязанности отца. Когда Пушкинъ вообразилъ, что заболѣлъ аневризмомъ, и увѣрилъ въ томъ своихъ друзей, Жуковскій принялъ близко къ сердцу его здоровье и настойчиво совѣтовалъ обратиться къ дерптскому профессору Мойеру: „Прошу не упрямиться, не играть безразсудно жизнью и не сердить дружбы, которой твоя жизнь дорога“. Пушкинъ не хотѣлъ ѣхать въ Псковъ на операцію. 17 августа 1825 г. онъ писалъ Жуковскому: „Отче, въ руцѣ твои предаю духъ мой! Мнѣ, право, совѣстно, что жилы мои всѣхъ такъ безпокоятъ. Въ Псковъ поѣду не прежде, какъ въ глубокую осень: оттуда буду тебѣ писать, свѣтлая душа“. Но Жуковскій настаивалъ и писалъ Пушкину: „Ты, какъ вижу, передалъ въ руцѣ мои только духъ свой, любезный сынъ. А мнѣ до духа твоего нѣтъ дѣла; онъ живъ и будетъ живъ, ибо весьма живучъ. Подавай-ка мнѣ свое грѣшное тѣло, т.-е. свой аневризмъ, при которомъ не уцѣлѣетъ и духъ твой, нужный для твоего Годунова, для твоихъ десяти будущихъ поэмъ, для твоей славы и для исправленія свѣтлымъ будущимъ своего темнаго прошедшаго... Слава побѣдитъ обстоятельства, въ этомъ я увѣренъ. Твое дѣло теперь одно: не думать нѣсколько времени ни о чемъ, кромѣ поэзіи. Создай что-нибудь безсмертное, и тогда бѣды твои (которыя самъ же состряпалъ) разлетятся въ прахъ. Дай способъ друзьямъ твоимъ указать на что-нибудь твое превосходное, великое: тогда имъ будетъ легко поправить судьбу твою; тогда они будутъ имѣть на это неотъемлемое право...“

Нельзя не удивляться той заботливости, какую проявляетъ Жуковскій къ Пушкину со времени его Михайловскаго заточенія. Пушкинъ захворалъ, или ему показалось, что онъ боленъ, и Жуковскій стремится ему помочь, выписываетъ опытнаго врача, добивается раз-

рѣшенія выѣхать для лѣченія. По временамъ Пушкинъ, тяготясь ссылкой, высказываетъ неудовольствіе по адресу Жуковскаго; когда Жуковскій долго не писалъ, тогда Пушкинъ называлъ его „покойникъ Жуковскій, царство ему небесное", „господинъ Жуковскій", но Жуковскій обращается съ Пушкинымъ, какъ съ несчастнымъ, больнымъ ребенкомъ, успокоиваетъ, утѣшаетъ. „Отче, — пишетъ къ нему Пушкинъ, — не брани и не сердись, когда я бѣшусь. Подумай о моемъ положеніи: вовсе незавидное, что ни толкуютъ. Хоть кого съ ума сведетъ".

Тяготило Пушкина сельское одиночество, тяготило сознаніе лишенія свободы, тягостно было отсутствіе друзей, отсутствіе столичнаго шума, отсутствіе культурной среды, и потому онъ съ 1825 г. начинаетъ настойчиво просить Жуковскаго похлопотать о немъ передъ государемъ. Въ письмѣ къ Плетневу отъ 26 мая 1826 г. Пушкинъ говоритъ: „Не смѣю надѣяться, но мнѣ было бы сладко получить свободу отъ Жуковскаго, а не отъ кого другого". Въ одномъ письмѣ къ Жуковскому Пушкинъ высказываетъ ту же мысль: „отъ тебя благодѣяніе мнѣ не тяжело, а отъ другого не хочу, будь онъ тебѣ распріятель, будь онъ сынъ Карамзина". Умоляя Жуковскаго похлопотать объ освобожденіи, Пушкинъ въ то же время вовсе не хотѣлъ связывать его какими-либо обѣщаніями или обязательствами. Онъ даже просилъ „не отвѣчать и не ручаться за него". Онъ не сознавалъ за собой какой-либо вины, кромѣ неосторожнаго выраженія объ атеизмѣ. „Нельзя ли сказать царю, — писалъ онъ Жуковскому, — что такъ какъ Пушкинъ не замѣшанъ въ заговорѣ 14-го декабря, то нельзя ли, наконецъ, позволить ему возвратиться". Жуковскій приложилъ всѣ старанія, но сначала его хлопоты были безуспѣшны. Въ апрѣлѣ 1826 г. онъ просилъ Пушкина повременить, нѣкоторое время не напоминать о себѣ. Обстоятельства были неблагопріятны. Хотя Пушкинъ и не былъ замѣшанъ въ заговорѣ, но по рукамъ ходило не мало его стихотвореній свободолюбиваго характера и прямо „возмутительныхъ для порядка и нравственности", какъ объяснилъ ему Жуковскій. „Не просись въ Петербургъ, — такъ кончаетъ свое письмо Жуковскій, — еще не время. Пиши „Годунова" и подобное; они отворятъ дверь свободы".

Въ томъ же 1826 г., въ августѣ мѣсяцѣ, хлопоты Жуковскаго и Карамзина увѣнчались успѣхомъ. Пушкинъ былъ вызванъ въ Москву, представился императору Николаю Павловичу. Окончательно опала снята была лишь въ маѣ 1827 г., и Пушкинъ немедленно переѣхалъ въ Петербургъ. Жуковскій все это время находился за границей, и свиданіе друзей поэтовъ могло состояться лишь въ концѣ 1827 г. Съ этого времени и до конца жизни Пушкина между ними царствовала самая нѣжная дружба, поддерживаемая частыми свиданіями. Во время одного кратковременнаго выѣзда, въ августѣ 1830 г., Пушкинъ въ письмѣ къ Жуковскому, вспоминаетъ, что своей свободой обязанъ „Богу и тебѣ" (т.-е. Жуковскому).

Въ 1831 г. Жуковскій и Пушкинъ, въ то время уже женатый, проживали въ Царскомъ Селѣ. Они вмѣстѣ работали надъ сказками. Въ письмѣ къ Данилевскому отъ 2 ноября 1831 г. Гоголь говоритъ: „Все лѣто я прожилъ въ Павловскѣ и Царскомъ Селѣ. Почти каждый вечеръ собирались мы: Жуковскій, Пушкинъ и я. О, если бы ты зналъ, сколько прелести вышло изъ-подъ пера сихъ мужей! У Пушкина сказки русскія, народныя, не то, что „Русланъ и Людмила", но совершенно русскія; одна писана безъ размѣра, только съ риѳмами и прелесть невообразимая! У Жуковскаго тоже русскія народныя сказки, однѣ экзаметрами, другія просто четырехстопными стихами, и — чудное дѣло — Жуковскаго узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэтъ, и уже чисто русскій, ничего германскаго и прежняго".

Отношенія Жуковскаго и Пушкина въ тридцатыхъ годахъ, т.-е. въ послѣдніе годы Пушкина (1831—1837), ярко обрисованы въ запискахъ А. С. Россетъ-Смирновой. Правда, попадаются тутъ кое-какія фактическія неточности, что въ свое время и было ярко подчеркнуто въ періодической печати; но общія характеристики такъ жизненны, обставлены такими бытовыми подробностями, что записки Смирновой все-таки остаются драгоцѣннымъ пособіемъ для изученія литературныхъ нравовъ того времени, въ особенности для изученія личныхъ отношеній Жуковскаго къ Пушкину. Въ одномъ мѣстѣ Смирнова говоритъ (годовъ у нея нигдѣ нѣтъ), что Жуковскій такъ любитъ Пушкина, что „похожъ на курицу, высидѣвшую утенка". Сравненіе характерно. Извѣстно, какъ волнуются и любовно суетятся куры, высидѣвшія утятъ, когда утята, не ограничиваясь землей, спускаются на болѣе широкую міровую стихію — воду. Въ другомъ мѣстѣ „Записокъ" Смирнова отвѣчаетъ: „Пушкинъ разрѣшилъ мнѣ записать все, что онъ сообщилъ о своемъ разговорѣ съ Государемъ, прося никому объ этомъ не говорить, кромѣ Жуковскаго, которому онъ самъ все говоритъ". Однажды, въ гостиной Смирновой зашелъ споръ о литературномъ наслѣдствѣ:

— А кому достанутся твои стихотворенія? — спросилъ Вяземскій Пушкина.

— Жуковскому, отцу-кормильцу моей юной музы, — таковъ былъ отвѣтъ Пушкина.

Изъ тѣхъ же „Записокъ" Смирновой видно, что Жуковскій, совмѣстно съ Пушкинымъ, былъ руководителемъ Смирновой и Гоголя при выборѣ книгъ для чтенія, при чемъ Пушкинъ давалъ лучшихъ французскихъ, а Жуковскій — лучшихъ нѣмецкихъ авторовъ.

Въ гостяхъ у Смирновой, въ присутствіи Александра Тургенева, Хомякова, Соболевскаго, Крылова, кн. В. Ѳ. Одоевскаго, Полетики, Вяземскаго, самого Жуковскаго, Пушкинъ, говоря о русскихъ писателяхъ, упомянулъ и Жуковскаго, назвавъ его своимъ учителемъ. „Жуковскій что-то проворчалъ, а Тургеневъ сказалъ: „Онъ такъ скроменъ, что покраснѣлъ... Пушкинъ! пощади его скромность". Всѣ засмѣялись".

Въ одномъ мѣстѣ „Записокъ“ находится такая замѣтка: „Вчера вечеромъ у Карамзиныхъ Орестъ и Пиладъ (Ж. и П.) болтали въ углу, а я училась у нихъ, записывала то, что они говорили. Они говорили о Лессингѣ, о Гёте, о Шиллерѣ“...

Въ другомъ мѣстѣ „Записокъ“ находится сообщеніе о томъ, какъ Софи Карамзина, найдя Смирнову въ бесѣдѣ съ Пушкинымъ и Жуковскимъ, въ шутку спросила: „что это: заговоръ или вы втроемъ исповѣдуетесь“. Пушкинъ отвѣтилъ: „Да. Я признаюсь въ моихъ большихъ грѣхахъ, а Донна Соль (т.-е. Смирнова) — въ своихъ маленькихъ. У нея ихъ больше; но мои грѣхи тяжелѣе, и это возстановляетъ равновѣсіе. Мы позвали Жуковскаго, у котораго нѣтъ никакихъ грѣховъ, ни большихъ ни малыхъ, затѣмъ, чтобы онъ отпустилъ намъ наши грѣхи“.

Тутъ же Смирнова сообщаетъ одну черту, мелкую, но весьма характерную для заботливости Жуковскаго о Пушкинѣ: Жуковскаго тревожили споры Пушкина съ цензоромъ, такъ какъ онъ любилъ своего феникса, какъ сына. Послѣдняя мысль была высказана Смирновой Пушкину, и онъ добавилъ: „какъ блуднаго сына“.

„Онъ вамъ совершенно преданъ, у него небесная душа, у этого Жуковскаго“ сказалъ однажды А. О. Россетъ Пушкинъ, а Россетъ добавила: „Да, хрустальная душа; онъ гораздо лучше меня“. Пушкинъ воскликнулъ: „А я-то, вы обо мнѣ забыли! Всякій разъ, какъ мнѣ придетъ дурная мысль, я вспоминаю о немъ и спрашиваю себя: что сказалъ бы Жуковскій? И это возвращаетъ меня на прямой путь“. Замѣчательно, что подобное замѣчаніе встрѣчается и въ письмѣ Гоголя о Жуковскомъ, какъ нравственномъ коррективѣ.

Любопытно, что, по словамъ Смирновой, Пушкинъ составилъ планъ воспитанія своихъ дѣтей, „одобренный Жуковскимъ“, и въ этомъ семейномъ дѣлѣ онъ положился на педагогическій авторитетъ своего стараго друга.

„Жуковскій смотритъ на Пушкина съ нѣжностью; онъ наслаждается всѣмъ, что говоритъ его фениксъ; есть что-то трогательное, отеческое и, вмѣстѣ съ тѣмъ, братское въ его привязанности къ Пушкину, а въ чувствѣ Пушкина къ Жуковскому — оттѣнокъ уваженія даже въ тонѣ его голоса, когда онъ ему отвѣчаетъ. У него совсѣмъ другой тонъ съ Тургеневымъ и Вяземскимъ, хотя онъ ихъ очень любитъ“...

При такой дружбѣ, Жуковскій дорожилъ хорошими отзывами о Пушкинѣ. Когда Смирновъ сказалъ, что у Пушкина, несмотря на увлеченія въ молодости, душа осталась чистой и совѣсть чуткой, „безупречный Жуковскій, по свидѣтельству Смирновой, всталъ и поцѣловалъ моего мужа, сказавъ: „вы хорошо его понимаете; я васъ за это благодарю“. „Онъ былъ растроганъ, этотъ добрый Жуковскій“, добавляетъ Смирнова.

Когда Пушкинъ прочелъ переложеніе молитвы Ефрема Сирина, которымъ, впрочемъ, самъ былъ недоволенъ, Жуковскій пришелъ

въ восторгъ до такой степени, что поцѣловалъ Пушкина и сказалъ ему: „Ты, ты мое неоцѣненное сокровище!“

Но вотъ подходили послѣдніе дни жизни Пушкина, и Жуковскій съ тревогой слѣдилъ за его семейными неурядицами. По свидѣтельству Смирновой, „Жуковскій былъ недоволенъ всѣми окружающими Пушкина, его семьей, отцомъ поэта, который гордился, но не понималъ сына, и братомъ его Львомъ, котораго считалъ недалекимъ мальчишкой, и сестрой Ольгой, и мужемъ ея Павлищевымъ, который „не могъ быть полезнымъ“ поэту, и въ особенности женой и ея родней, которые третировали Пушкина, какъ работника и чиновника, и требовали одного денежнаго прибытка и придворнаго карьеризма. Пушкина постоянно критиковали и осуждали съ узкой, базарной точки зрѣнія. Жуковскій все это видѣлъ, и все это его сильно огорчало и озабочивало.

Но вотъ произошла катастрофа. Умирая, Пушкинъ просилъ повидаться съ Жуковскимъ, и послѣдній не замедлилъ прибыть. Пушкинъ скончался на его рукахъ въ январѣ 1837 г. Жуковскій распорядился снять съ умершаго маску, своими руками положилъ его въ гробъ, принялъ на себя хлопоты о похоронахъ и написалъ прекрасную статью о послѣднихъ его минутахъ.

Въ 1839 г. Гоголь, послѣ встрѣчи съ Жуковскимъ въ Римѣ, писалъ, что первымъ словомъ ихъ при встрѣчѣ былъ Пушкинъ, и что Жуковскій еще весь полонъ Пушкинымъ.

Въ 1845 г. Жуковскій, въ письмѣ къ наслѣднику цесаревичу Александру Николаевичу, мимоходомъ замѣтилъ: „Я отъ Государя принесъ умирающему Пушкину вѣсть о царской милости его семейству“.

Такъ закончилась многолѣтняя свѣтлая дружба двухъ великихъ дѣятелей русской литературы. Какъ въ Германіи глубоко изучается дружба Гёте и Шиллера, какъ здѣсь высоко цѣнится ихъ дружба, такъ среди русскаго образованнаго общества должна изучаться и цѣниться дружба Жуковскаго и Пушкина. *Сумцовъ.*

Духовная организація Жуковскаго и Гоголя и ихъ взаимное литературное вліяніе.

Отношенія Гоголя къ Жуковскому являются въ общемъ непрерывными, со времени ихъ знакомства въ концѣ 1830 г. и кончая смертью Гоголя, т.-е. въ теченіе почти 22 лѣтъ, обнимающихъ всю литературную жизнь великаго юмориста, вотъ почему разсказъ объ этихъ отношеніяхъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и краткій очеркъ цѣлой половины жизни Гоголя, всего зрѣлаго ея періода. Мѣсто, занимаемое Гоголемъ въ жизни Жуковскаго, не можетъ быть соизмѣримо съ тѣмъ значеніемъ, которое имѣлъ Жуковскій въ жизни Гоголя уже по одному тому, что начало ихъ личныхъ отношеній совпало для юнаго тогда Гоголя съ первыми шагами его литературной карьеры, между тѣмъ

какъ Жуковскій, бывшій въ то время на склонѣ пятаго десятка лѣтъ, являлся писателемъ признаннымъ, опредѣлившимся и обладавшимъ независимымъ и вліятельнымъ положеніемъ. Но разница ихъ взаимныхъ отношеній не ограничивалась этими внѣшними и хронологическими данными; она имѣла и глубокія внутреннія основанія. Жуковскій обладалъ отъ природы значительнымъ физическимъ и духовнымъ здоровьемъ, которое, въ связи съ условіями его воспитанія и жизненной обстановки, обезпечило ему не только долгую жизнь, но и непрерывную свѣжесть мысли, живую способность къ работѣ, душевную уравновѣшенность и свѣтлый оптимистическій взглядъ на жизнь; и на этой основной почвѣ ни тяжелыя душевныя испытанія, выпавшія на долю Жуковскаго, ни глубокія впечатлѣнія отъ литературныхъ вліяній не могли произвести въ его духовномъ складѣ существенныхъ колебаній или отклоненій. Гоголь не обладалъ этими счастливыми данными. При неособенно здоровой физической организаціи, нервный и самолюбивый, принужденный самъ пробивать себѣ дорогу въ жизни съ большимъ трудомъ и не безъ лишеній, Гоголь въ теченіе своего жизненнаго и литературнаго поприща не мало колебался, падалъ и вставалъ, торжествовалъ и впадалъ въ уныніе; разъ вступивъ на литературную дорогу и найдя на ней свое подходящее мѣсто, Гоголь, при тогдашнихъ условіяхъ литературнаго труда и при своей болѣзненной и дорого стоившей страсти къ перемѣнѣ мѣстъ, постоянно нуждался въ средствахъ и болѣе или менѣе находился въ зависимости отъ тѣхъ лицъ, которыя могли ихъ ему предоставить; хотя въ ту пору царскими щедротами, въ видѣ подарковъ, пользовались, помимо Гоголя, и многіе другіе, въ томъ числѣ и самъ Жуковскій, но у Гоголя это пользованіе было обставлено разнаго рода случайностями, постоянными опасеніями за неудачу и посредничествомъ друзей, что до извѣстной степени осложняло и увеличивало его нравственную зависимость передъ другими.

Гоголь не разъ называлъ Жуковскаго: „мой истинный наставникъ и учитель“, „близкій душѣ человѣкъ“, „благодѣтель“. Къ чести Жуковскаго слѣдуетъ отмѣтить, что не только два первыя обращенія къ нему Гоголя являются искреннимъ выраженіемъ ихъ духовныхъ отношеній, но и третье не заключало въ устахъ его ни горечи, ни чувства оскорбленнаго самолюбія, ни унизительнаго подчиненія; свои „благодѣянія“ Гоголю, которыя, будучи въ Россіи, устраивалъ Жуковскій самъ, а по выѣздѣ за границу черезъ своихъ друзей, особенно черезъ А. О. Смирнову, обставлялъ онъ такой неподдѣльной деликатностью и благодушіемъ, столь очевиднымъ и искреннимъ дружескимъ участіемъ къ Гоголю и уваженіемъ къ его таланту, что у послѣдняго не оставалось мѣста ни для какого дурного чувства или недоразумѣній; эти отношенія Жуковскаго къ Гоголю особенно выигрываютъ по сравненію ихъ съ отношеніями на той же почвѣ нѣкоторыхъ его московскихъ друзей. Во взглядѣ Жуковскаго на Гоголя постоянно было что-то отеческое, хотя ихъ взаимныя отношенія въ послѣднее десятилѣтіе жизни ихъ обоихъ и окончательно уравнялись. Едва ли

можетъ подлежать сомнѣнію, что если въ этотъ періодъ жизни обоихъ писателей Жуковскій находилъ въ Гоголѣ желанный и сочувственный откликъ на свои нравственно-религіозныя воззрѣнія, то Жуковскій для Гоголя и въ первую половину ихъ личнаго знакомства былъ важной и существенной опорой жизни не въ одномъ только матеріальномъ, но еще болѣе въ нравственномъ, душевномъ смыслѣ. Въ собственно литературной карьерѣ Гоголя Жуковскій также принималъ постоянное участіе. Онъ первый доставилъ ему доступъ въ петербургскіе литературные кружки и въ среду просвѣщенныхъ цѣнителей литературы и искусства, онъ его познакомилъ съ Пушкинымъ, который до конца своей жизни былъ для Гоголя какъ бы путеводной звѣздой въ его поэтическихъ трудахъ; онъ встрѣчалъ съ одобреніемъ и восторгомъ первые литературные успѣхи Гоголя, который именно въ кружкѣ Жуковскаго читалъ, до напечатанія, многія изъ своихъ литературныхъ произведеній, въ томъ числѣ и „Ревизора", который былъ поставленъ на сцену, несмотря на запрещеніе цензуры, главнымъ образомъ, именно благодаря предстательству объ этой пьесѣ передъ государемъ со стороны Жуковскаго; даже живя за границей, онъ слѣдилъ за литературнымъ поприщемъ Гоголя, обсуждая съ нимъ „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями" и откликаясь на нихъ своимъ словомъ послѣ появленія этой книги въ печати. Разумѣется, всего этого Гоголь съ своей стороны не могъ предоставить Жуковскому, и въ этомъ смыслѣ ихъ отношенія, на протяженіи всего времени, носятъ такой характеръ, что Жуковскому принадлежала въ нихъ болѣе активная роль, а Гоголю — болѣе пассивная, хотя, быть можетъ, въ субъективномъ смыслѣ активная роль, при нѣсколько иныхъ обстоятельствахъ, скорѣе могла бы достаться именно Гоголю, при его большей сосредоточенности, глубинѣ самоанализа и поэтическомъ талантѣ.

Говоря о разницѣ взаимнаго положенія относительно другъ друга Гоголя и Жуковскаго, я имѣлъ въ виду пояснить характеръ той неодинаковой роли обоихъ писателей, которая вытекала нагляднымъ образомъ изъ представленнаго фактическаго разсказа ихъ отношеній между собою. Но, рядомъ съ этимъ, конечно, было въ нихъ кое-что и общее, явившееся подкладкой и извѣстнымъ оправданіемъ сложившихся позже тѣсныхъ отношеній. Почвой этой, главнымъ образомъ, была преданность ихъ обоихъ литературѣ и вообще то, что прежде всего были они именно писатели. Въ частности, несмотря на явное различіе характера литературныхъ заслугъ и значенія великаго изобразителя пошлости и другихъ отрицательныхъ явленій въ русской жизни, съ одной стороны, и идеалиста-романтика, съ другой, въ талантѣ Жуковскаго были черты того юмора, который у Гоголя явился основнымъ тономъ его поэтическаго творчества; но юморъ Жуковскаго не получилъ развитія, въ виду совершенно чуждыхъ ему литературныхъ вліяній и преобладавшаго надъ нимъ возвышеннаго настроенія въ его поэтическихъ трудахъ; разумѣется, это былъ юморъ, такъ сказать, примитивный, непосредственный, очень близкій къ обычной веселости

здороваго человѣка; онъ выразился у Жуковскаго въ его литературныхъ „шалостяхъ“ въ періодъ „Арзамаса“, забавно-юмористическіе протоколы котораго и разныя другія затѣи того же характера были, главнымъ образомъ, дѣломъ Жуковскаго, также въ его сказкахъ, въ переводной „Войнѣ мышей и лягушекъ“ и въ нѣкоторыхъ письмахъ къ друзьямъ, напр. къ А. О. Смирновой, Д. В. Дашкову, И. И. Козлову или неизвѣстному лицу (Соч., изд. 7, т. VI, стран. 653—656). Конечно, нѣтъ нужды говорить, что отъ этого юмора еще очень далеко до осмѣянія и обличенія широкихъ общественныхъ недостатковъ, но не надо забывать, что эти послѣднія качества и Гоголемъ пріобрѣтены были не сразу, хотя, конечно, у Жуковскаго отсутствовали многія другія данныя, которыя, даже при иныхъ условіяхъ, могли бы поставить его на литературную колею, избранную для себя Гоголемъ. Замѣчательно, что эту черту веселой шутливости Жуковскій сохранилъ и въ старости, и въ болѣзняхъ, тогда какъ Гоголь къ концу жизни все болѣе и болѣе ее утрачивалъ. Это замѣчается, между прочимъ, и на ихъ взаимной перепискѣ: письма Жуковскаго, особенно въ первую половину ихъ дружескихъ связей, отличаются бодростью, веселымъ тономъ и простотой, а письма Гоголя серіозны и иногда раздражительно-напряженны. Юморъ свой Жуковскій пускалъ въ оборотъ жизни и иногда литературы, какъ веселую забаву, какъ игру ума и воображенія, для безобиднаго наслажденія самому и другимъ; тогда какъ юморъ Гоголя, сдѣлавшійся серіознымъ и могучимъ орудіемъ его литературнаго выраженія, нервомъ его обличительнаго негодованія и спутникомъ его горькаго душевнаго идеализма, былъ для него забавой развѣ лишь въ пору юности, а затѣмъ получилъ совершенно другое назначеніе и подъ конецъ исчезъ при формированіи въ немъ новыхъ воззрѣній на свое поэтическое призваніе.

Приблизительно то же можно сказать и о религіозномъ мистицизмѣ Гоголя и Жуковскаго. Задатки его лежали, безспорно, у обоихъ изъ нихъ въ натурѣ, но выраженіе свое получили они у того и другого уже въ позднѣйшую эпоху ихъ жизни. Однако тутъ опять-таки, рядомъ съ основнымъ фактомъ сходства, находимъ и существенное различіе. Религіозный мистицизмъ Жуковскаго былъ свѣтлымъ и радостнымъ, наполнявшимъ его душу тѣмъ душевнымъ удовлетвореніемъ, при которомъ онъ смирялся передъ волей Провидѣнія, любовно смотрѣлъ на здѣшнюю жизнь и спокойно ожидалъ перехода за ея предѣлы; мистицизмъ его былъ тѣсно связанъ съ глубокимъ идеализмомъ и оптимистической вѣрой въ лучшее будущее; онъ приводилъ въ воззрѣніяхъ Жуковскаго всѣ элементы духовной жизни человѣка къ тому единому началу, которое обезпечивало сущность, смыслъ и гармонію земного и небеснаго существованія. Между тѣмъ, мистицизмъ Гоголя, явившійся у него не результатомъ естественнаго развитія первоначальныхъ элементовъ юношескаго міровоззрѣнія, какъ у Жуковскаго, а скорѣе тяжелымъ нравственнымъ переломомъ, хотя и на основѣ уже лежавшихъ въ природѣ его задатковъ, былъ мрачнымъ, тревож-

нымъ и напряженнымъ; это былъ трагическій мистицизмъ аскета, отрѣшившагося отъ жизни и въ то же время привязаннаго къ ней всѣми нитями своего существованія; въ его воззрѣніяхъ лежала, какъ и у Жуковскаго, вѣра въ конечное руководительство Провидѣнія судьбою человѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ вѣра эта осложнялась страхомъ передъ неизвѣстнымъ будущимъ; къ этому присоединялась страстная потребность въ самобичеваніи и самообличеніи. Для характеристики разницы въ религіозныхъ воззрѣніяхъ Гоголя и Жуковскаго вообще весьма цѣннымъ представляется разногласіе, возникшее между ними въ вопросѣ о молитвѣ. Въ „предисловіи" къ „Выбраннымъ мѣстамъ изъ переписки съ друзьями" Гоголь, передъ путешествіемъ въ Іерусалимъ, проситъ всѣхъ за него молиться: „Прошу молитвы какъ у тѣхъ, которые смиренно не вѣруютъ въ силу молитвъ своихъ, такъ и у тѣхъ, которые не вѣруютъ вовсе въ молитву и даже не считаютъ ея нужною; но какъ бы ни была безсильна и черства ихъ молитва, я прошу молиться обо мнѣ этою самою безсильной и черствою ихъ молитвой". Жуковскій на это ему возражалъ: „Ты просишь отъ нихъ (т.-е. отъ тѣхъ, которые бы молились, не вѣруя вовсе въ молитву) невозможнаго,—того, что имъ вовсе чуждо, чего они ни имѣть ни дать не могутъ, чего даже отъ нихъ и просить не должно, потому что въ томъ видѣ, въ какомъ бы они его дали, если бы дать могли, оно не можетъ быть никѣмъ желаемо и не принесетъ желающему никакой пользы. Можетъ ли быть молитва безъ вѣры въ молитву? И для кого можетъ быть дѣйствительна подобная молитва? Что же хотѣлъ ты сказать? Не понимаю. Молитва не можетъ существовать безъ молящагося; она тогда только получаетъ жизнь, когда слова, ее выражающія, выражаютъ въ то же время и душу ихъ произносящаго: тогда совершается таинство смиренія передъ Богомъ въ душѣ человѣческой,—таинство, для насъ неисповѣдимое,—таинство, силою котораго Всемогущій, всякое добро творящій по одной своей мудрости и благости, такъ сказать, покоряется бѣдному слову человѣка. Въ чемъ же это таинство, въ чемъ его сила? Въ вѣрѣ, приводящей въ движеніе горы; въ смиреніи, предающемъ насъ безызъятно въ сильную десницу Бога".

Въ этомъ разногласіи по основному вопросу религіознаго вѣрованія, самымъ яснымъ образомъ выразился суровый, требовательный и какъ бы формальный взглядъ Гоголя на молитву, рядомъ со свободнымъ и глубокимъ воззрѣніемъ Жуковскаго.

Съ другой стороны, въ поэтической душѣ Гоголя жилъ, особенно въ первую половину его литературнаго пути, тотъ возвышенный романтизмъ, который лежалъ въ основѣ всей жизни и поэтическаго міросозерцанія Жуковскаго.

Скажемъ еще два слова о взаимномъ отношеніи другъ къ другу Гоголя и Жуковскаго, какъ писателей. Намъ уже приходилось указывать на то вниманіе, съ которымъ постоянно относился Жуковскій къ литературнымъ успѣхамъ Гоголя; но мы затруднились бы катего-

рически утверждать, что Жуковскій понималъ въ полной мѣрѣ все значеніе его, какъ геніальнаго изобразителя отрицательныхъ сторонъ русской дѣйствительности, какъ, быть можетъ, онъ не представлялъ себѣ во всемъ объемѣ и великаго историческаго смысла дѣятельности Пушкина; поэтому намъ кажется нелишеннымъ извѣстнаго основанія замѣчаніе С. Т. Аксакова, что хотя Жуковскій „восхищался талантомъ Гоголя въ изображеніи пошлости человѣческой, его неподражаемымъ искусствомъ схватывать вовсе незамѣтныя черты“ и придавать имъ выпуклость, внутреннее значеніе и жизнь, однако „серіознаго значенія“ дѣятельности Гоголя онъ не придавалъ и „не понималъ Гоголя вполнѣ“. Но нѣкоторымъ оправданіемъ Жуковскому въ данномъ случаѣ можетъ служить то, что онъ покинулъ Россію и непосредственное наблюденіе надъ ея жизнью именно въ тотъ моментъ, когда и въ средѣ лучшихъ представителей русской критики того времени дѣятельность Гоголя только что начинала получать надлежащее освѣщеніе и оцѣнку; да и вообще должно замѣтить, что литературная дѣятельность Гоголя, вплоть до изданія перваго тома „Мертвыхъ душъ“, принадлежитъ именно къ числу такихъ, полная историческая цѣнность которыхъ выступаетъ только съ теченіемъ времени.

Для Гоголя оцѣнить дѣятельность Жуковскаго было гораздо легче не только потому, что Жуковскій былъ значительно старше его и, какъ писатель, при выступленіи Гоголя на литературное поприще, имѣлъ уже довольно опредѣленное мѣсто въ литературѣ, но и потому, что самая дѣятельность Жуковскаго не заключала въ себѣ такихъ новыхъ элементовъ, для полнаго уясненія и оцѣнки которыхъ необходимъ былъ значительный промежутокъ времени.

Жуковскаго, какъ поэта, Гоголь ставилъ высоко и охотно читалъ его произведенія. Особенно значительнымъ представлялся ему Жуковскій, конечно, какъ переводчикъ, и въ этомъ отношеніи онъ предсказывалъ ему даже „значеніе всемірное“. Вообще, главной и отличительной чертой Жуковскаго, какъ поэта, Гоголь считалъ изящную поэтизацію чужихъ сюжетовъ, но вполнѣ себѣ присвоенныхъ, то-есть претворенныхъ чрезъ собственное поэтическое сознаніе и облеченныхъ въ художественный русскій стихъ: „Передъ другими нашими поэтами, — говоритъ Гоголь въ статьѣ „Въ чемъ же, наконецъ, существо русской поэзіи и въ чемъ ея особенность“, — Жуковскій то же, что ювелиръ передъ прочими мастерами, то-есть мастеръ, занимающійся послѣднею отдѣлкою дѣла. Не его дѣло добыть въ горахъ алмазъ — его дѣло оправить этотъ алмазъ такимъ образомъ, чтобы онъ заигралъ всѣмъ своимъ блескомъ и выказалъ бы вполнѣ свое достоинство всѣмъ. Появленіе такого поэта могло произойти только изъ русскаго народа, въ которомъ такъ силенъ геній воспріимчивости, данный ему, можетъ-быть, на то, чтобы оправить въ лучшую оправу все, что не оцѣнено, не воздѣлано и пренебрежено другими народами“; въ этой же статьѣ Гоголь припоминаетъ, что Пушкина изумляло „тонкое критическое чутье“ Жуковскаго; о стихѣ его онъ говоритъ: „этотъ легкій, воз-

душный стихъ Жуковскаго, порхающій, какъ неясный звукъ эоловой арфы". Но особенное сочувствіе Гоголя вызвалъ переводъ „Одиссеи", выполненный Жуковскимъ, этимъ — по выраженію Гоголя — „патріархомъ нашей поэзіи", уже въ старости. Высоко цѣня эстетическій вкусъ Жуковскаго, Гоголь охотно ссылался на него какъ на авторитетъ, напр., при оцѣнкѣ поэтической дѣятельности Н. М. Языкова, въ которой Жуковскій былъ первоначально несогласенъ съ Гоголемъ и самъ печатно заявляетъ свою благодарность Жуковскому за строгія и справедливыя указанія на его, Гоголя, литературные промахи.

Таковы были, въ общихъ чертахъ, взаимныя отношенія Гоголя и Жуковскаго, объединенныхъ, при всѣхъ ихъ личныхъ особенностяхъ, тѣмъ высокимъ, хотя и неодинаковымъ, положеніемъ, которое каждый изъ нихъ занимаетъ въ исторіи нашей литературы.

Пѣтуховъ.

Неразрывныя узы дружбы, связывавшія Жуковскаго и Гоголя.

Въ 1830 и 1831 гг., т.-е. первые годы знакомства Гоголя съ Жуковскимъ и Пушкинымъ, и Жуковскій и Пушкинъ находились въ полномъ расцвѣтѣ своихъ силъ. Литературный ихъ характеръ вполнѣ выяснился. Слава была уже прочно завоевана. Современники, за исключеніемъ темной булгаринской клики, признали уже въ Жуковскомъ и Пушкинѣ выдающихся литературныхъ корифеевъ. У Жуковскаго къ литературной славѣ присоединялось еще крупное его придворное положеніе, какъ воспитателя наслѣдника цесаревича, какъ человѣка, къ которому императоръ Николай Павловичъ и императрица Александра Ѳеодоровна относились съ большимъ личнымъ расположеніемъ. Поддержка со стороны Жуковскаго и Пушкина, по условіямъ того времени, имѣла огромное значеніе, нравственное и матеріальное.

Для оцѣнки отношеній Гоголя къ Жуковскому и Пушкину важное значеніе имѣютъ „Записки" Алекс. Осип. Россетъ-Смирновой, умной и образованной фрейлины императрицы Маріи Ѳеодоровны. Какъ бы ни было велико недовѣріе къ отдѣльнымъ фактамъ въ „Запискахъ" А. О. Смирновой, нельзя не признать, что въ нихъ много схвачено и передано вѣрно, съ тонкой женской наблюдательностью, въ частности очень жизненно обрисовано положеніе Гоголя въ кружкѣ Жуковскаго и Пушкина. „Я непремѣнно хочу видѣть этого упрямаго хохла, поговорить съ нимъ объ Украйнѣ, обо всемъ, что мнѣ такъ дорого", говоритъ Смирнова въ своемъ дневникѣ, и вскорѣ ея желаніе было исполнено ея литературными друзьями: Пушкинымъ, котораго она запросто величала Сверчкомъ и Искрой, и Жуковскимъ, для котораго у Смирновой было нѣсколько ласкательныхъ прозвищъ: Бычокъ, Sweet William. Вскорѣ Смирнова вносить въ свой дневникъ такую замѣтку: „Наконецъ-то, Сверчокъ и Бычокъ, мои два арзамасскіе звѣря, привели ко мнѣ Гоголя-Яновскаго. Я была въ восторгѣ оттого, что

могла говорить о Малороссіи, и онъ также оживился... Я замѣтила, что достаточно Пушкину обратиться къ Гоголю, чтобы тотъ просіялъ... Сверчокъ очень добръ; онъ быстро приручилъ бѣднаго хохла — грустнаго, робкаго и упрямаго; онъ такъ же добръ, какъ Sweet William, милый мычащій Бычокъ... Жуковскій въ высшей степени добръ... Онъ въ восторгѣ отъ того, что ему удалось притащить упиравшагося хохла... Мы говорили о гнѣздахъ аистовъ на крышахъ Малороссіи, о чумакахъ, о кобзаряхъ... Я обѣщала Пушкину бранить бѣднаго хохла, если онъ будетъ слишкомъ грустить въ Сѣверной Пальмирѣ... Они (т.-е. Жуковскій и Пушкинъ) такъ дразнили Гоголя за его дикость и застѣнчивость, что онъ, наконецъ, пересталъ стѣсняться и самъ очень доволенъ тѣмъ, что пришелъ ко мнѣ съ конвоемъ".

Въ другомъ мѣстѣ Смирнова говоритъ, что Сверчокъ приходилъ къ ней поговорить о Гоголѣ. Онъ провелъ у Гоголя нѣсколько часовъ, просматривалъ его тетради, его замѣтки и пораженъ его наблюдательностью.

Въ одномъ мѣстѣ „Записокъ" Смирновой ярко выражено покровительственное и учительное отношеніе Жуковскаго и Пушкина къ Гоголю. На обычномъ у Смирновой литературномъ собраніи „Гоголь слушалъ молча, время отъ времени занося слышанное въ карманную книжку. Жуковскій сказалъ ему: „Ты записываешь, что говоритъ Пушкинъ, и прекрасно дѣлаешь... потому что каждое слово Пушкина драгоцѣнно... Онъ думалъ о столькихъ предметахъ и такъ свѣдущъ въ иностранной словесности". Далѣе Жуковскій спросилъ Гоголя, прочтетъ ли онъ то, что ему совѣтовалъ Пушкинъ. Гоголь отвѣтилъ, что онъ, по указанію Пушкина, прочиталъ „Essais" Монтеня, „Мысли" Паскаля, „Персидскія письма" Монтескье, „Les Caractères" Ла-Брюйера, „Мысли" Вовенарга, басни Лафонтена. Кромѣ того, Пушкинъ еще рекомендовалъ Корнеля, Расина, Мольера, Сервантеса. „Затѣмъ, — добавилъ Гоголь, — я прочелъ нѣмецкія книги, что вы мнѣ дали, и переводы Шекспира". „Это похвально, — нравоучительно сказалъ ему Жуковскій, — читай только то, что есть лучшаго въ нѣмецкой и англійской литературѣ. Что ты думаешь о Фаустѣ, о Вильгельмѣ Мейстерѣ?"

Гоголь. Я совершенно пораженъ геніемъ Гёте. Шиллеръ, съ которымъ я довольно хорошо знакомъ, кажется мнѣ теперь совсѣмъ другимъ. Я началъ читать „Гамбургскую Драматургію" и прочелъ „Натана Мудраго". Я дѣлаю извлеченія изъ этихъ книгъ.

Жуковскій. Можешь оставить ихъ себѣ... Не благодари, потому что у меня ихъ нѣсколько изданій. Шиллеръ — великій поэтъ; но Гёте и великій мыслитель...

Можетъ быть, діалоги эти переданы не совсѣмъ точно. Важно основное указаніе, что Жуковскій совмѣстно съ Пушкинымъ руководилъ самообразованіемъ Гоголя, что они рекомендовали ему, что читать, снабжали его книгами. Одновременно Жуковскій руководилъ чтеніемъ талантливой А. О. Смирновой.

Гоголь довѣрялся вполнѣ Жуковскому, а послѣдній платилъ ему живымъ сочувствіемъ, покровительствомъ и ходатайствами въ его пользу передъ высшей властью, вообще, самой широкой нравственной и матеріальной поддержкой.

Пушкинъ, Гоголь и Жуковскій тѣсно сошлись въ 1831 г. Гоголь, уже авторъ своего „поросенка", какъ онъ называлъ „Вечера на хуторѣ", жилъ лѣтомъ 1831 г. въ Павловскѣ и въ Царскомъ Селѣ. „Почти каждый вечеръ собирались мы, Жуковскій, Пушкинъ и я", писалъ впослѣдствіи Гоголь. Онъ былъ восторгѣ отъ этой высокой дружбы, въ восторгѣ отъ поворота Жуковскаго и Пушкина къ народной поэзіи. „Жуковскаго узнать нельзя, — писалъ Гоголь. — Кажется, появился новый обширный поэтъ, и уже чисто русскій".

Въ письмѣ къ Жуковскому 22 декабря 1847 г. Гоголь оставилъ такое воспоминаніе объ ихъ встрѣчѣ: „Вотъ ужъ скоро двадцать лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ я, едва вступившій въ свѣтъ юноша, пришелъ въ первый разъ къ тебѣ, уже совершившему полдороги на этомъ поприщѣ. Это было въ Шепелевскомъ дворцѣ. Комнаты этой уже нѣтъ. Но я ее вижу, какъ теперь, всю до малѣйшей мебели и вещицы. Ты подалъ мнѣ руку и такъ исполнился желаніемъ помочь будущему сподвижнику! Какъ былъ благосклонно-любовенъ твой взоръ!... Что насъ свело, неравныхъ годами? Искусство. Мы почувствовали родство. Отчего? Оттого, что оба чувствовали святыню искусства".

Гоголь придавалъ огромное значеніе первой встрѣчѣ съ Жуковскимъ. Онъ пріурочивалъ къ этому времени коренное измѣненіе въ направленіи своей творческой дѣятельности. „И едва ли не со времени этого перваго свиданія нашего, — писалъ Гоголь Жуковскому въ 1847 г., — искусство стало главнымъ и первымъ въ моей жизни, а все прочее вторымъ. Мнѣ казалось, что уже не долженъ я связываться никакими другими узами на землѣ, ни жизнью семейной ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба".

Такъ Гоголю казалось, и, говоря это, онъ былъ искрененъ для извѣстнаго момента, но были отступленія, были неудачныя попытки служебной дѣятельности, напр., его кратковременная профессура. Жуковскій былъ въ числѣ тѣхъ оптимистовъ, которые вѣрили въ научную пригодность Гоголя, которые хлопотали о прикрѣпленіи его къ университету. Извѣстно, что Жуковскій и Пушкинъ посѣтили, однажды, лекцію Гоголя, которую онъ приготовилъ старательно для этого частнаго посѣщенія, какъ поэтическое угощеніе знаменитымъ гостямъ, его доброжелателямъ.

Гоголь дѣлился съ Жуковскимъ литературными новостями, напр. русскимъ переводомъ малорусскихъ пѣсенъ, Пушкинскими сказками. Въ 1831 г. онъ писалъ Жуковскому: „Мнѣ кажется, что теперь воздвигается огромное зданіе чисто русской поэзіи. Страшные граниты положены въ фундаментъ".

Жуковскій просилъ своего пріятеля Плетнева оказать Гоголю поддержку, и Плетневъ въ 1831 г. пристроилъ Гоголя учителемъ исторіи

въ Патріотическомъ институтѣ, гдѣ Плетневъ былъ инспекторомъ, и, кромѣ того, доставилъ ему частныя занятія у Лонгиновыхъ, Балабановыхъ, Васильчиковыхъ. Но Гоголь неохотно исполнялъ служебныя обязанности, часто бралъ отпуски, и учебное начальство нашло нужнымъ, въ интересахъ учрежденія, пригласить другого преподавателя. 15 іюля 1835 г. Гоголь писалъ Жуковскому изъ Полтавы: „Вчера я получилъ извѣщеніе изъ Петербурга о странномъ происшествіи, что мѣсто мое въ Патріотическомъ институтѣ долженствуетъ замѣститься другимъ господиномъ. Это для меня крайне прискорбно, потому что, какъ бы то ни было, это мѣсто доставляло мнѣ хлѣбъ, и притомъ мнѣ было очень пріятно заниматься; я привыкъ считать чѣмъ-то роднымъ и близкимъ". Гоголь проситъ Жуковскаго устроить такъ, чтобы императрица не утвердила новаго учителя, и мѣсто осталось за нимъ, Гоголемъ.

Жуковскій и Пушкинъ принимали близкое участіе во всѣхъ литературныхъ предпріятіяхъ Гоголя, то въ формѣ предложенія темы, то въ формѣ обсужденія деталей, то въ формѣ обузданія цензуры.

Въ 1831 и 1832 гг. вышли знаменитые, положившіе прочное основаніе для славы Гоголя „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки", подъ псевдонимомъ пасѣчника Рудаго Панька. Въ запискахъ Смирновой сохранилось любопытное извѣстіе, что Жуковскій и его друзья принимали живое участіе въ обсужденіи самаго псевдонима. Плетневъ находилъ, что „Рудый Панько" звучитъ хорошо и что это вполнѣ „хохлацкое имя". А. О. Россетъ-Смирнова находила, что и Гоголь-Яновскій достаточно „хохлацкое имя" и въ псевдонимѣ нѣтъ надобности. Жуковскій держался того мнѣнія, что Гоголю удобнѣе выступить подъ псевдонимомъ, потому что, говорилъ онъ, авторъ молодъ, а наша критика возмутительно относится къ начинающимъ, и булгаринская клика будетъ извергать свой ядъ. Лучше избѣжать того, что можетъ обезкуражить начинающаго автора. Замѣчательная предупредительность и чисто отеческая, гуманная заботливость о поддержаніи молодого дарованія! Мнѣніе Жуковскаго взяло верхъ. Другой покровитель и другъ Гоголя — Пушкинъ, судя по словамъ Смирновой, заранѣе подготовилъ статью въ защиту Гоголя, на случай рѣзкой критики. „Если Булгаринъ позволитъ себѣ что-нибудь, возраженія Пушкина будутъ полны не только соли, но и перцу"... Смирнова тутъ же замѣчаетъ, что она какъ-то видѣла Булгарина, что у него „препротивная физіономія".

Въ 1836 г. на сценѣ появился „Ревизоръ". Жуковскій и Пушкинъ были литературными воспріемниками этого славнаго въ лѣтописяхъ русскаго театра произведенія. Они привлекли къ нему вниманіе и сочувствіе государя. Они поддерживали самолюбиваго автора въ горькія минуты сомнѣній и огорченій. На первомъ представленіи „Ревизора" Гоголь сидѣлъ въ ложѣ съ гр. Віельгорскимъ, кн. Вяземскимъ и Жуковскимъ. Благодаря ходатайству Жуковскаго и Віельгорскаго, рукопись „Ревизора" была прочитана императору Николаю Павловичу, и полу-

чено Высочайшее разрѣшеніе на изданіе и представленіе комедіи. По словамъ очевидца барона Розена, „на блистательныхъ литературныхъ вечерахъ Жуковскаго (по субботамъ) Гоголь частенько читалъ свою комедію „Ревизоръ“ въ кругу именитѣйшихъ литераторовъ и почетнѣйшихъ, образованнѣйшихъ особъ... Гоголь, зная наизусть свою комедію, не всегда глядѣлъ въ рукопись и часто прогуливался геніальнымъ взглядомъ по рядамъ дышащихъ живѣйшимъ участіемъ слушателей... Весь блистательный соборъ слушателей расходился перекатнымъ смѣхомъ“... Пушкинъ былъ въ восторгѣ отъ „Ревизора“. Молчалъ и хмурился лишь одинъ завистливый и недоброжелательный баронъ Розенъ. Жуковскій наблюдалъ за своими гостями. Онъ однажды наединѣ сказалъ барону Розену, что Гоголь замѣтилъ сдержанное его отношеніе, выразившееся въ отсутствіи одобреній или порицаній.

„Ревизоръ“ вызвалъ въ публикѣ чрезвычайно разнообразныя сужденія. Небольшая группа передовой интеллигенціи, имѣя во главѣ Жуковскаго, Пушкина и Бѣлинскаго, была въ восторгѣ. Большинство, сѣрое большинство, было недовольно, что уже обнаружилось на первомъ представленіи знаменитой комедіи. Одинъ изъ современниковъ прямо говорилъ, что не могъ же въ самомъ дѣлѣ вызвать сочувствіе спектакль, осмѣивающій взяточничество, въ такомъ зрительномъ залѣ, гдѣ половина публики была дающей, а другая половина берущей. Въ одной газетѣ писали: „Имена дѣйствующихъ лицъ изъ „Ревизора обратились на другой день въ собственныя названія: Хлестаковы, городничіе, Земляники, Тяпкины-Ляпкины пошли подъ руку съ Фамусовымъ, Молчалинымъ, Чацкимъ. Посмотрите: они, эти господа и госпожи, гуляютъ по Тверскому бульвару, въ паркѣ, по городу. Вездѣ, гдѣ есть десятокъ народу, навѣрно одинъ выходитъ изъ комедіи Гоголя.

„Мочи нѣтъ, — писалъ Гоголь Щепкину 29 апрѣля 1836 г. — Дѣлайте, что хотите съ моею пьесою, но я не стану хлопотать о ней. Мнѣ она надоѣла такъ же, какъ и хлопоты о ней. Дѣйствіе, произведенное ею, было большое и шумное. Всѣ противъ меня. Чиновники, пожилые и почтенные, кричатъ, что для меня нѣтъ ничего святого, когда я дерзнулъ такъ говорить о служащихъ людяхъ; полицейскіе противъ меня, литераторы противъ меня. Бранятъ и ходятъ на пьесу. На четвертое представленіе нельзя достать билетовъ. Если бы не высокое заступничество Государя, пьеса моя ни за что не была бы на сценѣ, и уже находились люди, хлопотавшіе о запрещеніи ея. Теперь я вижу, что значитъ быть комическимъ писателемъ. Малѣйшій признакъ истины, и противъ тебя возстаютъ, и не одинъ человѣкъ, а цѣлыя сословія“.

Отъѣздъ Гоголя за границу въ половинѣ 1836 г. ставится въ самую тѣсную связь и прямую зависимость отъ служебныхъ неудачъ и литературныхъ огорченій. „Лишившись каѳедры въ университетѣ и учительскаго мѣста въ Патріотическомъ институтѣ и измученный неистовыми воплями негодованія, возбужденнаго въ нѣкоторыхъ слояхъ общества появленіемъ на сценѣ „Ревизора“, Гоголь двинулся, въ со-

обществѣ своего неразлучнаго друга Данилевскаго, за границу. Оба свободные, оба молодые и жадно стремящіеся окунуться въ столь заманчивый и еще незнакомый имъ западно-европейскій міръ, они весело бросились навстрѣчу привѣтливой будущности.

Можно думать, что поѣздка Гоголя за границу обусловлена была многими причинами. При всемъ своемъ недовольствѣ обществомъ, Гоголь мотивировалъ иначе свой отъѣздъ. Въ письмѣ къ Погодину въ маѣ 1836 г. онъ говоритъ: „Ѣду за границу; тамъ размыкаю ту тоску, которую нагоняютъ мнѣ ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комическій, писатель нравовъ долженъ быть подальше отъ родины. Пророку нѣтъ славы въ отчизнѣ... Я не смущаюсь, но какъ-то тягостно, грустно... Что сказано вѣрно и живо, то уже кажется пасквилемъ. Выведи на сцену двухъ-трехъ плутовъ, тысяча честныхъ людей сердится, говоритъ: „Мы не плуты“! Но Богъ съ ними! Я не оттого ѣду за границу, чтобы не умѣлъ перенести этихъ неудовольствій. Мнѣ хочется поправиться въ своемъ здоровьѣ, разсѣяться, развлечься и потомъ обдумать хорошенько труды будущіе“.

Къ неудовольствіямъ на общество и къ заботамъ о здоровьѣ нужно присоединить еще прямые совѣты и указанія Жуковскаго, Пушкина и ихъ друзей. Заграничная поѣздка Гоголя входила въ ихъ цѣли для расширенія его образованія. Пушкину самому очень хотѣлось побывать за границей, но его не пускали. Жуковскій уже бывалъ въ западныхъ странахъ и сильно тяготѣлъ къ западной культурѣ. И Гоголю хотѣлось отвѣдать этого міра; друзья его поддержали, направили, указали маршруты, снабдили рекомендательными письмами, обѣщали матеріальную поддержку. Гоголь какъ-то читалъ у Россетъ-Смирновой „Тараса Бульбу“. По окончаніи чтенія Пушкинъ поцѣловалъ его и сказалъ: „Пиши, пиши, думай, работай... Ты будешь путешествовать, ты увидишь, что Западъ создалъ въ мірѣ искусства...“ Въ другомъ мѣстѣ Смирнова говоритъ прямо: „обсуждали планы хохла“ и далѣе подробно излагается тотъ маршрутъ, который мужъ ея, Смирновъ, въ присутствіи Пушкина начерталъ относительно Италіи, которую Смирновъ зналъ хорошо. Смирновъ обѣщалъ рекомендательныя письма къ Бутурлинымъ, Воронцовымъ, Орловымъ, Пушкинъ — къ Зинаидѣ Волконской и т. д. Предполагалось, что Гоголь основательно ознакомится со страной и художниками, съ профессорами академій Флоренціи и Рима.

Во время своего перваго заграничнаго путешествія, Гоголь, переносясь безпрестанно съ мѣста на мѣсто, слишкомъ мало заботился о подробностяхъ будущаго устройства своей жизни, хотя въ главныхъ своихъ потребностяхъ ему удалось, благодаря содѣйствію Жуковскаго, обезпечить себя еще до выѣзда изъ Петербурга. Въ письмѣ къ Жуковскому, написанному вскорѣ послѣ отъѣзда за границу, Гоголь говоритъ: „не знаю, какъ благодарить васъ за хлопоты ваши доставить мнѣ отъ Императрицы на дорогу“. Гоголь просилъ Прокоповича передать Плетневу, что „деньги получены съ невѣроятной исправностью“. Должно быть, и тутъ дѣйствовало бдительное око Жуковскаго.

Гоголь выѣхалъ за границу въ іюнѣ моремъ на Гамбургъ. Пробывъ немного времени въ Баденъ-Баденѣ и Франкфуртѣ на Майнѣ, онъ поселился въ Швейцаріи, въ Веве, гдѣ ранѣе уже бывалъ Жуковскій. „Сначала было мнѣ нѣсколько скучно, — писалъ Гоголь къ Жуковскому 12 ноября 1836 г., — потомъ я привыкъ и сдѣлался совершенно вашимъ наслѣдникомъ: завладѣлъ мѣстами вашихъ прогулокъ, мѣрилъ разстояніе по назначеннымъ вами верстамъ, нацарапалъ даже свое имя русскими буквами въ Шильонскомъ подземельѣ... Внизу послѣдней колонны когда-нибудь русскій путешественникъ разберетъ мое птичье имя“... Въ это время Гоголь усердно работалъ надъ „Мертвыми душами“, начатыми въ Петербургѣ. Въ томъ же письмѣ онъ говоритъ: „все начатое передѣлалъ я вновь, обдумалъ болѣе весь планъ и теперь веду его спокойно, какъ лѣтопись. Швейцарія сдѣлалась мнѣ съ тѣхъ поръ лучше; сѣро-лилово-голубо-сине-розовыя ея горы легче и воздушнѣе. Если совершу это твореніе такъ, какъ нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжетъ! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится въ немъ. Это будетъ первая моя порядочная вещь, — вещь, которая вынесетъ мое имя. Каждое утро въ прибавленіе къ завтраку вписывалъ я по три страницы въ мою поэму, и смѣху отъ этихъ страницъ для меня было достаточно, чтобы усладить мой одинокій день“. Вскорѣ въ Веве наступили холода. Гоголь захандрилъ и уѣхалъ въ Парижъ, гдѣ, по его словамъ, „Богъ простеръ надъ нимъ свое покровительство и сдѣлалъ чудо: указалъ ему теплую квартиру, на солнцѣ, съ печкой“. „Снова веселъ, — писалъ согрѣвшійся Гоголь Жуковскому. — „Мертвыя“ текутъ живо, свѣжѣе и бодрѣе, чѣмъ въ Веве, и мнѣ совершенно кажется, какъ будто я въ Россіи: передо мною все наше, наши помѣщики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словомъ — вся православная Русь... Огромно велико мое твореніе, и не скоро конецъ его... Кто-то незримый пишетъ передо мною могущественнымъ жезломъ. Знаю, что мое имя послѣ меня будетъ счастливѣе меня, и потомки... съ глазами, влажными отъ слезъ, произнесутъ примиреніе моей тѣни...“ Въ концѣ письма Гоголь проситъ Жуковскаго и Пушкина сообщать ему какіе-нибудь казусы, могущіе случиться при покупкѣ мертвыхъ душъ. „Хотѣлось бы мнѣ страшно, — добавляетъ онъ, — вычерпать этотъ сюжетъ со всѣхъ сторонъ“.

Съ 1837 г. Гоголь писалъ Жуковскому: „Я получилъ данное мнѣ великодушнымъ нашимъ Государемъ вспоможеніе. Благодарность сильна въ груди моей; но изліяніе ея не достигнетъ къ Его Престолу... Но до васъ можетъ достигнуть моя благодарность. Вы, все вы, вашъ исполненный любви взоръ бодрствуетъ надо мною!“

Въ это время Гоголь усиленно работалъ надъ „Мертвыми душами“: въ Швейцаріи, въ Парижѣ, въ Италіи вездѣ настойчиво обдумывалъ и обрабатывалъ это капитальное произведеніе. „Тружусь и спѣшу всѣми силами совершить трудъ мой, — писалъ онъ Жуковскому изъ Рима въ 1837 г. — Жизни, жизни, еще бы жизни! Я ничего еще не сдѣлалъ, чтобы было достойно вашего трогательнаго

расположенія. Но можетъ быть это, которое пишу нынѣ, будетъ достойно его. По крайней мѣрѣ, мысль о томъ, что вы будете читать его нѣкогда, была одна изъ первыхъ, оживлявшихъ меня во время бдѣнія надъ нимъ. Храни Богъ долго, долго прекрасную жизнь вашу".

Наканунѣ новаго 1839 г. Гоголь писалъ изъ Рима Данилевскому, что туда пріѣхалъ Жуковскій. „Онъ все такъ же бодръ, такъ же любитъ меня". Между двумя поэтами еще стояла дружественная тѣнь Пушкина. „Онъ весь полонъ Пушкинымъ", добавляетъ Гоголь о Жуковскомъ.

Въ письмѣ къ кн. Репниной, написанномъ вскорѣ по пріѣздѣ Жуковскаго въ Римъ, Гоголь говоритъ: „Я теперь такъ счастливъ пріѣздомъ Жуковскаго, что это одно наполняетъ меня всего. Свиданіе наше было очень трогательно. Первое имя, произнесенное нами, былъ Пушкинъ. Понынѣ чело его облекается грустью при мысли объ этой утратѣ. Мы почти весь день осматривали Римъ съ утра до ночи". Г. Шенрокъ отмѣтилъ, что „письма Гоголя къ Жуковскому послѣ ихъ встрѣчи въ Римѣ носятъ явные слѣды происшедшаго болѣе тѣснаго сближенія между ними... Жуковскій съ Гоголемъ дѣлилъ отъ души самыя высокія наслажденія прекраснымъ въ продолженіе всего его пребыванія въ Римѣ".

Гоголь и Жуковскій осматривали вмѣстѣ вѣчный городъ, вмѣстѣ рисовали лучшіе его виды. Мѣсяцъ съ небольшимъ пролетѣлъ незамѣтно. Жуковскій уѣхалъ въ Германію; Гоголь остался въ Римѣ. „Это былъ какой-то небесный посланникъ ко мнѣ, — вспоминалъ онъ о Жуковскомъ, — какъ тотъ мотылекъ, имъ описанный, влетѣвшій къ узнику".

Въ февралѣ 1839 г. Гоголь былъ еще полонъ воспоминаніями о пребываніи Жуковскаго въ Римѣ. Въ веселомъ весеннемъ настроеніи Гоголь писалъ Жуковскому: „Чудное время! Слышите ли и видите ли эти божественные дни, которые теперь настали, передовые гонцы несущейся уже недалеко весны. Какъ я ихъ люблю! Боже, если бы вы встрѣтили ихъ еще здѣсь; но кто знаетъ, можетъ-быть, вы тогда не захотѣли бы выѣхать изъ Рима... Теперь жаль на минуту оставить Римъ: такъ онъ хорошъ, и такая бездна предметовъ для рисованія. Доживу ли я до того времени, когда мы вновь сядемъ вмѣстѣ, оба съ кистями? Вѣрите ли, что иногда, рисуя, я, позабывшись, вдругъ оборачиваюсь, чтобы сказать слово вамъ и, оборотившись, вижу и какъ будто слышу пустоту, по крайней мѣрѣ, на нѣсколько минутъ"...

При нѣкоторыхъ преувеличеніяхъ, обычныхъ у Гоголя, какъ человѣка гиперболическаго настроенія, въ словахъ его нельзя не признать искренняго выраженія его привязанности къ Жуковскому.

Въ апрѣлѣ 1839 г. Гоголь обратился изъ Рима къ Жуковскому съ просьбой выхлопотать для него пенсіонъ. „Меня страшитъ мое будущее. Здоровье мое, кажется, съ каждымъ днемъ становится плоше и плоше. Я былъ недавно очень боленъ... Я послалъ въ Петербургъ

за послѣдними моими деньгами, и больше ни копейки; впереди не вижу никакихъ средствъ добыть ихъ. Заниматься какимъ-нибудь журнальнымъ мелочнымъ вздоромъ не могу, хотя бы умиралъ съ голоду. Я долженъ продолжать мною начатый большой трудъ („Мертвыя души"), который писать взялъ съ меня слово Пушкинъ, котораго мысль есть его созданіе, и который обратился для меня съ этихъ поръ въ священное завѣщаніе..." „Вы одни въ мірѣ, котораго интересуетъ моя участь. Вы сдѣлаете все то, что только въ предѣлахъ возможности... Не въ первый разъ я обязанъ многимъ, многимъ вамъ, чего сердце не умѣетъ высказать... Если бы мнѣ такой пенсіонъ, какой дается воспитанникамъ академіи художествъ, живущимъ въ Италіи, или хоть такой, какой дается дьячкамъ, находящимся здѣсь при нашей церкви"...

Жуковскій не рѣшился хлопотать, въ виду того, что императрица была больна. Вскорѣ, въ концѣ 1839 г., Гоголь пріѣхалъ въ Россію и изъ Москвы послалъ Жуковскому въ Петербургъ просьбу такого рода: „Я придумалъ вотъ что: сдѣлайте складку, сложитесь всѣ тѣ, которые питаютъ ко мнѣ истинное участіе, составьте сумму въ 4000 руб. и дайте мнѣ взаймы на годъ". Просьба эта была удовлетворена. Гоголь получилъ отъ Жуковскаго 4000 руб. „Что я могу написать вамъ, — говоритъ Гоголь въ письмѣ къ Жуковскому по этому поводу, — только благодарить васъ за ваши заботы, за ваше рѣдкое участіе". Далѣе онъ высказываетъ надежду снова уѣхать въ излюбленный Римъ.

Въ 1839 г. идутъ просьбы Гоголя о томъ, чтобы сестры его были обезпечены, въ 1840 и 1841 г. просьбы объ опредѣленіи его на службу въ Римъ.

Въ письмѣ къ художнику А. Иванову 16 мая 1842 г. Гоголь, совѣтуя написать вторично просьбу къ Жуковскому, для возбужденія ходатайства о продленіи пенсіи, говоритъ, что „Жуковскому никогда нельзя наскучить въ справедливомъ дѣлѣ". И нужно сознаться, что самъ Гоголь часто обращался съ личными просьбами къ Жуковскому и др. лицамъ, напримѣръ, въ письмахъ къ Плетневу 1842 г., гдѣ онъ настойчиво напоминаетъ, чтобы его „не исключили изъ круга писателей, которымъ изъявляется царская милость за поднесенные экземпляры". Любопытно при этомъ замѣчаніе: „когда былъ въ Петербургѣ Жуковскій, мнѣ обыкновенно что-нибудь слѣдовало". Въ письмѣ къ Шевыреву 1843 г. Гоголь, по поводу выхода „Мертвыхъ душъ", между прочимъ, писалъ: „Изъ Петербурга я не получалъ ни одного изъ тѣхъ подарковъ, которые я получалъ прежде, когда былъ тамъ Жуковскій". Въ томъ же письмѣ Гоголь разъясняетъ, что ему для проживанія за границей, по самой, какъ онъ выражается, „строгой смѣтѣ", нужно „по 6 тысячъ рублей въ продолженіе трехъ лѣтъ на всякій годъ", и что тогда „благодарность его будетъ такъ безконечна, какъ безконечна къ намъ любовь Христа Спасителя нашего". Къ Жуковскому, проживавшему за границей, также шли просьбы Гоголя, то за себя, то за Иванова, просьбы столь частыя и настой-

чивыя, что Жуковскій, при всемъ его благодушіи, обнаружилъ недовольство и долгое время не отвѣчалъ Гоголю, такъ что послѣдній въ письмѣ 1842 г. даже спрашивалъ его: „Или вы разлюбили меня?“, а въ письмѣ того же 1842 г. у Жуковскаго, вмѣсто обычнаго дружескаго обращенія: „Гоголекъ“, находится церемонное офиціальное обращеніе „Николай Васильевичъ“. Гоголь почувствовалъ холодъ и укоръ и въ письмѣ 1843 г. заявилъ, что пріѣдетъ къ Жуковскому для личнаго свиданія, не спрашивая, желательно или нежелательно Жуковскому „видѣть его физіономію“.

Но добродушный Жуковскій не могъ долго сердиться. Онъ принялъ Гоголя съ искреннимъ радушіемъ и неизмѣнно поддерживалъ ласковыя отношенія. Гоголь въ 1843 г. гостилъ у Жуковскаго въ Дюссельдорфѣ. Здѣсь онъ, какъ писалъ Плетневу, „воспринималъ отъ купели „Матео Фальконе“ и торопилъ къ появленію въ свѣтъ“. Въ 1844 г. Гоголь переѣхалъ съ Жуковскимъ во Франкфуртъ. Въ письмѣ къ Языкову изъ Франкфурта 1844 г. Гоголь говоритъ, что онъ „подзадорилъ Жуковскаго, и онъ въ три дня съ небольшимъ хвостикомъ четвертаго отмахнулъ славную вещь“ („Двѣ повѣсти“ изъ Шамиссо и Рюккерта написаны для „Мосвитянина“).

Въ 1841 г. Гоголь, привлекая Жуковскаго къ ходатайству въ пользу извѣстнаго художника А. Иванова, писалъ, что „помочь таланту значитъ помочь не одному ближнему, но двадцати ближнимъ вдругъ“. Слова эти примѣнимы къ самому Гоголю. Ему нужно было помочь, и учетъ помощи тутъ нельзя произвести съ математической аккуратностью. Лично Гоголь тяготился своими долгами. „Если бъ вы знали, — писалъ онъ Жуковскому 3 мая 1840 г., — какъ мучается моя бѣдная совѣсть, что существованіе мое повисло на плечи великодушныхъ друзей моихъ“. Онъ уплачивалъ долги по частямъ; но, важнѣе, что онъ съ лихвой покрылъ свои долги своимъ геніемъ, оцѣнка котораго стоитъ и нынѣ выше матеріальныхъ соображеній.

Въ началѣ 40-хъ годовъ усиливается крайнее самомнѣніе Гоголя наряду съ частыми перемежающимися пароксизмами искусственнаго самоуниженія, покаянія и самобичеванія. Въ іюнѣ 1842 г. Гоголь писалъ Жуковскому изъ Берлина: „Съ каждымъ днемъ становится свѣтлѣй и торжественнѣй въ душѣ моей. Не безъ цѣли и значенія были мои поѣздки, удаленья и отлученья отъ міра; въ нихъ незримо совершалось воспитаніе души моей. Скажу только, что я сталъ далеко лучше того, какимъ запечатлѣлся въ священной для меня памяти друзей моихъ, что чаще и торжественнѣе льются душевныя слезы мои и что живетъ въ душѣ моей глубокая, неотразимая вѣра, что небесная сила поможетъ мнѣ взойти на ту лѣстницу, которая предстоитъ мнѣ, хотя я стою еще на нижайшихъ и первыхъ ея ступеняхъ. Много труда и пути и душевнаго воспитанія впереди еще! Чище горнаго снѣга и свѣтлѣй небесъ должна быть душа моя, и тогда только я прійду въ силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрѣшится задача моего существованія“.

Болѣзни со всѣхъ сторонъ обступили бѣднаго Гоголя, вопреки тому, что онъ говорилъ о свѣтѣ и торжественности своей души. Въ 1845 г. Гоголь, замѣтивъ, что Жуковскій началъ за него безпокоиться и побаиваться, сталъ иногда скрывать отъ него состояніе своей болѣзни; но прозорливый въ этомъ отношеніи Жуковскій видѣлъ хорошо плохое состояніе его здоровья. „Здоровье Гоголя требуетъ рѣшительныхъ мѣръ, — писалъ Жуковскій къ Смирновой въ 1845 г. — Ему надо имъ заняться исключительно, бросивъ на время перо“.

Въ концѣ 1846 г. скончался другъ Гоголя и Жуковскаго, поэтъ Языковъ, и больной уже въ то время Гоголь писалъ Жуковскому, что „небесная родина наполняется близкими сердцу“. „Братъ мой прекрасный, отнынѣ мы должны быть еще ближе другъ къ другу“.

Гоголь и Жуковскій нѣсколько разъ съѣзжались вмѣстѣ и проводили время въ дружеской бесѣдѣ. Такъ было во Франкфуртѣ, въ Римѣ, въ Эмсѣ. Лѣтомъ 1847 г. Жуковскій жилъ въ Эмсѣ въ одномъ домѣ съ Хомяковымъ, котораго называлъ „поэтической библіотекой, добродушнымъ и пріятнымъ собесѣдникомъ“. Когда къ нимъ на короткое время присоединился еще Гоголь, Жуковскій писалъ: „мы на досугѣ тріумвиратствуемъ“.

На почвѣ физическаго и нравственнаго упадка выросла въ 1847 г. „Переписка“ Гоголя. Книга эта произвела тяжелое впечатлѣніе даже на близкихъ друзей Жуковскаго. Крайне непріятное впечатлѣніе произвелъ общій учительскій тонъ, искусственное смиреніе, скрытое самомнѣніе. Бѣлинскій написалъ громкое письмо. Аксаковы (С. Т. и Конст. Серг.), Погодинъ, архіеп. харьковскій Иннокентій были недовольны и осуждали книгу съ разныхъ точекъ зрѣнія. Даже Жуковскій отнесся съ порицаніемъ къ нѣкоторымъ статьямъ въ „Перепискѣ“.

Суровые и, главное, справедливые и основательные отзывы о „Перепискѣ“ людей, которыхъ Гоголь не могъ не уважать, какъ, напримѣръ, С. Т. Аксакова, глубоко задѣли самолюбіе Гоголя. Онъ пробовалъ оправдываться, какъ показываетъ его письмо къ Аксакову отъ 28 августа 1847 г., гдѣ онъ признаетъ, однако, свое сочиненіе „недодѣланнымъ“, но передъ Жуковскимъ Гоголь не могъ лицемѣрить; въ трехъ замѣчательныхъ письмахъ къ нему отъ 4-го марта, 6-го марта и 22-го декабря Гоголь окончательно сознается въ недостаткахъ „Переписки“.

4-го марта Гоголь писалъ: „Мнѣ случилось получить много пораженій... и какъ все это нужно было. Я и подумать еще не могъ, какъ много во мнѣ еще осталось гордости, самонадѣянности, самолюбія, самонадменности (sic) и высокомѣрія... Мнѣ кажется, какъ будто послѣ всего этого я сталъ теперь проще и какъ будто ровнѣе; сужу потому, что мнѣ теперь тяжело взглянуть на мою книгу; мнѣ кажется въ ней все такъ напыщенно, неумѣренно, невоздержно, что отъ стыда закрываю лицо. О, какъ мнѣ трудно управляться въ моемъ душевномъ хозяйствѣ! Имѣнье дано въ управленіе большое, а самъ управитель

слишкомъ плохъ и слишкомъ не наученъ, какъ привести имѣніе въ стройность. Какъ мнѣ трудно достигнуть той простоты, которая уже при самомъ рожденіи влагается другому въ душу".

Въ письмѣ, написанномъ черезъ два дня, Гоголь еще съ большей откровенностью сообщаетъ Жуковскому, что онъ точно „проснулся" и чувствуетъ себя „какъ провинившійся школьникъ". „Я размахнулся въ моей книгѣ, — говоритъ Гоголь, — такимъ Хлестаковымъ, что не имѣю духу заглянуть въ нее... Стыдно, что возмнилъ о себѣ, будто мое школьное воспитаніе уже кончилось, и могу я стать наравнѣ съ тобою. Право, есть во мнѣ что-то хлестаковское. А ты кротко, безъ негодованія подаешь мнѣ братскую руку свою"...

Въ письмѣ 22-го декабря находится замѣчательное по основательности замѣчаніе Гоголя: „Несмотря на пристрастіе сужденій объ этой книгѣ и разномысліе ихъ, въ итогѣ послышался общій голосъ, указавшій мнѣ мѣсто мое и границы, которыя я, какъ писатель, не долженъ переступать. Въ самомъ дѣлѣ, не мое дѣло поучать проповѣдью. Искусство и безъ того уже поученіе. Мое дѣло говорить *живыми образами*, а не разсужденіями. Я долженъ выставить жизнь лицомъ, а не трактовать о жизни".

С. Т. Аксаковъ обвинялъ Жуковскаго, что онъ допустилъ изданіе „Переписки" Гоголя, — такъ въ обществѣ сильна была вѣра во всемогущее вліяніе Жуковскаго на Гоголя. Когда Аксаковъ предложилъ Плетневу, завѣдывавшему изданіемъ книги, прекратить ея печатаніе, Плетневъ не согласился, сославшись на то, что „Жуковскій одобрилъ всѣ намѣренія Гоголя". Въ своемъ суровомъ письмѣ къ Гоголю, Аксаковъ, намекая, очевидно, на Жуковскаго, писалъ: „Дадутъ Богу отвѣтъ эти друзья ваши, слѣпые фанатики и знаменитые Маниловы, которые не только допустили, но и сами помогали вамъ запутаться въ сѣти собственнаго ума вашего, дьявольской гордости, которую вы принимаете за христіанское смиреніе".

Жуковскій не былъ повиненъ въ появленіи „Переписки" Гоголя, и указаніе Плетнева, что „всѣ намѣренія Гоголя были одобрены Жуковскимъ", не вполнѣ основательно. Хотя Гоголь и прочелъ часть своей книги Жуковскому до изданія ея въ печати, между прочимъ, завѣщаніе и предисловіе къ перепискѣ, но Жуковскій, повидимому, не предполагалъ, что все прочитанное ему появится въ печати и вызоветъ почти всеобщее осужденіе. Въ письмѣ къ Гоголю отъ 12 марта 1847 г. Жуковскій говоритъ: „Тебѣ крѣпко досталось отъ нашихъ строгихъ критиковъ, и я, признаться, попенялъ самому себѣ за то, что въ одномъ случаѣ не предохранилъ тебя отъ ихъ ударовъ, тѣмъ болѣе чувствительныхъ, что они подѣломъ тебѣ достались; виню себя въ томъ, что не присовѣтовалъ тебѣ уничтожить твое завѣщаніе и многое переправить въ твоемъ предисловіи".

Чтобы поддержать пріунывшаго друга и внести нѣкоторыя поправки въ его неудачную „Переписку", Жуковскій въ „Москвитянинѣ" 1848 г. помѣстилъ большую статью: „О поэтѣ и современномъ его

значенія". Статья появилась въ то время, когда Гоголь былъ въ Палестинѣ. Ознакомившись съ нею, по возвращеніи въ Россію, Гоголь въ іюнѣ 1848 г. писалъ Жуковскому, что статья написана „очень дѣльно, многимъ понравилась и его освѣжила".

Кромѣ того, Жуковскій предполагалъ еще издать свои замѣчанія по поводу „Переписки" особой статьей, подъ заглавіемъ: „Отрывки изъ писемъ къ Гоголю, писанныхъ къ нему о его книгѣ".

Въ 1849 г. Жуковскій просилъ Гоголя, предпринявшаго путешествіе въ Палестину, дать ему описаніе страны, со всѣми ея мѣстными красками, въ такомъ видѣ, чтобы оно могло послужить для „Агасфера". Гоголь отчасти выполнилъ эту просьбу въ письмѣ отъ 28 февраля 1850 г., гдѣ набросана яркая картина „безглагольной, недвижимой, Богомъ проклятой мертвой страны".

Наступилъ послѣдній годъ въ жизни Гоголя и Жуковскаго. Гоголь въ краткомъ письмѣ поздравилъ Жуковскаго съ наступающимъ 1852 г.

Послѣднее письмо Гоголя къ Жуковскому 2 февраля 1852 г.; написано оно недѣли за двѣ съ небольшимъ до кончины, и это письмо благодарственное: „Много благодарю за книги и за доброе письмо". Далѣе Гоголь говоритъ, что молится за Жуковскаго, и добавляетъ: „горячѣй бы гораздо мнѣ слѣдовало о тебѣ молиться, какъ о человѣкѣ, которому я много, много долженъ".

Далѣе Гоголь сердечно соболѣзнуетъ о слѣпотѣ Жуковскаго и препровождаетъ ему медицинскій рецептъ одного народнаго средства. Письмо кончается словами: „Будь здоровъ и Богъ тебѣ въ помощь, милый, близкій душѣ братъ!"

Черезъ 19 дней, 21 февраля 1852 г., Гоголь скончался, къ великому огорченію его стараго друга. Въ письмѣ къ Плетневу отъ 5 марта 1852 г. Жуковскій говоритъ: „Недавно я получилъ письмо отъ Гоголя и хотѣлъ дать ему отчетъ въ моей теперешней стихотворной работѣ „Агасферъ", занимаясь которой, я особенно думалъ о Гоголѣ... Я жалѣю его несказанно... Я потерялъ въ немъ одного изъ самыхъ симпатичныхъ участниковъ моей поэтической жизни, и чувствую свое сиротство въ этомъ отношеніи. Теперь мой литературный міръ состоитъ изъ 4 лицъ, изъ 2 — мужскаго пола и изъ 2 — женскаго; къ первой половинѣ принадлежите вы и Вяземскій, къ послѣдней двѣ старушки — Елагина и Зонтагъ. Какое пустое мѣсто оставилъ въ этомъ маленькомъ мірѣ мой добрый Гоголь".

Такъ горевалъ Жуковскій о своемъ другѣ, а смерть незамѣтно подступала къ нему самому. Черезъ мѣсяцъ съ небольшимъ, 12 апрѣля 1852 г. Жуковскій скончался на 69-мъ году жизни.

Гоголь похороненъ въ Москвѣ, Жуковскій — въ Петербургѣ. Смерть и пространство раздѣлили друзей навсегда; но исторія навсегда соединила ихъ неразрывными узами литературной дружбы и высокихъ національныхъ заслугъ. *Сумцовъ.*

Жуковскій и Державинъ.

Жуковскій внесъ въ русскую поэзію именно тотъ самый элементъ, котораго не доставало поэзіи Державина: мечтательная грусть, унылая мелодія, задушевность и сердечность, фантастическая настроенность духа, безвыходно погруженнаго въ самомъ себѣ, — вотъ преобладающій характеръ поэзіи Жуковскаго, составляющій и ея непобѣдимую прелесть и ея недостатокъ, какъ всякой неполноты и всякой односторонности. Жуковскій діаметрально противоположенъ Державину, — и хотя содержаніе и тонъ поэзіи Жуковскаго суть экзотическія растенія въ отношеніи къ русской поэзіи, переселенцы съ чуждой почвы, изъ-подъ чуждаго неба, однако, вопреки толкамъ и крикамъ поборниковъ народности въ поэзіи, Жуковскій поэтъ не одной своей эпохи: его стихотворенія всегда будутъ находить отзывъ въ юныхъ поколѣніяхъ, приготовляющихся къ жизни и еще только мечтающихъ о жизни, но не знающихъ ея. Не можемъ сказать, способствовало ли какое-нибудь внѣшнее обстоятельство къ обращенію юнаго Жуковскаго, еще ученика въ Благородномъ пансіонѣ при Московскомъ университетѣ, къ нѣмецкой и англійской поэзіи; но, во всякомъ случаѣ, духъ времени былъ главною причиной этого обращенія. Псевдоклассическая поэзія Франціи XVII и XVIII вв. уже не могла безусловно нравиться юному поколѣнію XIX в., и оно должно было искать другихъ источниковъ эстетическаго наслажденія. Нѣмецкая литература тогда уже дѣлалась извѣстною самой Франціи; въ Россіи она могла плѣнять только немногихъ юношей, знакомыхъ съ ея языкомъ. Не знаемъ, къ сожалѣнію, когда написана Державинымъ его передѣлка одной Шиллеровской пьесы (вѣроятно, съ французскаго перевода или подражанія), названная имъ „Арфою“, не знаемъ также и времени передѣлки извѣстной пьесы Гёте Дмитріевымъ (тоже, должно-быть, съ французскаго перевода или подражанія), названной имъ „Размышленіемъ по случаю грома“: знакъ, что темные слухи о Шиллерѣ и Гёте доходили еще и до патріарховъ нашей поэзіи, и что въ лицѣ Жуковскаго, съ малолѣтства знакомаго съ нѣмецкимъ языкомъ, наша литература сдѣлала естественный шагъ впередъ, обратившись къ новому и болѣе жизненному источнику питанія — къ нѣмецкой поэзіи. Что же касается до англійской литературы, съ нею наша была знакома еще до Жуковскаго; самъ Карамзинъ писалъ о ней въ своемъ путешествіи, даже перевелъ монологъ Лира во время бури и отрывокъ изъ Оссіана; но о Шекспирѣ, несмотря на то, знали черезъ французовъ, какъ о варварѣ, и почетными именами англійской литературы считались: Попъ, Аддиссонъ, Драйденъ, Томсонъ, Грей, Юнгъ, Мильтонъ, Фильдингъ, Ричардсонъ, Стернъ. Жуковскій первый перевелъ, своимъ крѣпкимъ и звучнымъ стихомъ, нѣсколько (впрочемъ, очень мало) англійскихъ балладъ и написалъ въ ихъ духѣ свою („Эолову Арфу“), чѣмъ вѣрно передалъ романтическій характеръ англійской поэзіи. Когда уже

англійская поэзія сдѣлалась знакома русской публикѣ и черезъ журнальные толки и прозаическіе переводы, — Жуковскій далъ бо́льшую прочность и дѣйствительность этому знакомству своими переводами изъ Вальтеръ-Скотта, Байрона, Мура, Сутэя и пр. Это оригинальное (уже по одному тому, что новое) направленіе, эта обаятельная сила и богатство содержанія, заимствованныя Жуковскимъ у его нѣмецкихъ и англійскихъ образцовъ, поставили его на высокую чреду между русскими поэтами, какъ самобытнаго поэта, а не переводчика. Прибавьте къ этому неизмѣримое пространство, раздѣляющее языкъ и стихъ Жуковскаго отъ языка и стиха Державина. Причина этого явленія заключается не въ одной силѣ превосходнаго таланта пѣвца Минваны, но и въ историческомъ развитіи русской литературы: между Державинымъ и Жуковскимъ стоятъ Карамзинъ и Дмитріевъ, которымъ такъ много обязанъ русскій языкъ и русская версификація.

Бѣлинскій.

Доброжелательныя отношенія Жуковскаго къ писателямъ.

Когда Жуковскій сталъ придворнымъ педагогомъ, очень умѣренный Дмитріевъ (самъ бывшій министръ) писалъ къ А. Тургеневу: „Кажется, поэтъ мало-по-малу превращается въ придворнаго; кажется, новость въ знакомствахъ, въ образѣ жизни начинаетъ прельщать его“. Тогда же была написана Пушкинымъ и слѣдующая злая эпиграмма — пародія на элегію Жуковскаго „Пѣвецъ“, въ которой каждая строфа оканчивается восклицаніемъ: „Бѣдный пѣвецъ!“:

Изъ савана одѣлся онъ въ ливрею,
На лиру промѣнялъ лавровый свой вѣнецъ;
Не подражая больше Грею,
Съ указкой втерся во дворецъ.
И что же вышло наконецъ?
Предъ знатными сгибая шею,
Онъ руку жметъ камеръ-лакею.
Бѣдный пѣвецъ!

Біографія Жуковскаго, пожалуй, показываетъ, что наблюденіе Дмитріева было до извѣстной степени справедливо; но, вспоминая происхожденіе Жуковскаго и зная взгляды, господствующіе въ обществѣ, именно Жуковскому скорѣе всего можно простить увлеченіе придворными отношеніями и всѣмъ тѣмъ, что съ ними связано; притомъ же и отношенія эти были очень своеобразны. Вступивъ въ придворный кругъ, „Жуковскій не измѣнилъ себѣ нисколько, оставаясь, какъ и всегда доселѣ, добрымъ членомъ семьи въ той средѣ, которой отдавалъ свое сердце“. Онъ не задумывается въ письмѣ къ государынѣ обращаться съ просьбами, имѣющими характеръ порученій относительно ожидающей его въ Петербургѣ квартиры, входя даже въ нѣкоторыя подробности; онъ проситъ, напр., государыню пріютить его

скудныя богатства во дворцѣ и ввѣрить ихъ надзору какого-нибудь честнаго истопника. Вполнѣ можно согласиться съ кн. Вяземскимъ, что

Жуковскій во дворцѣ былъ отрокомъ Бѣлева:
Онъ вѣру и мечты и кротость сохранилъ,
И дѣвственной души онъ ни лукавствомъ слова
Ни тѣнью трусости, дитя, не пристыдилъ.

Если же Жуковскій „втерся" (вѣрнѣе, его „втерли" друзья) съ указкой во дворецъ, — это, какъ извѣстно, имѣло для Россіи чрезвычайно важныя послѣдствія; но я здѣсь приведу лишь одну небольшую выдержку изъ письма Жуковскаго къ имп. Николаю, чтобы показать, какъ поставилъ себя Жуковскій относительно своей указки: „Ученіе тогда только можетъ имѣть успѣхъ, когда ничто, ни въ какомъ случаѣ не будетъ нарушать порядка, разъ навсегда установленнаго. Когда и особа, и время, и все окружающее в. Князя будутъ, безъ всякаго ограниченія, подчинены тѣмъ людямъ, коимъ Его Высочество будетъ порученъ. Государь Императоръ, конфирмовавшій сей планъ (воспитанія Цесаревича), да благоволитъ быть первымъ безпрекословнымъ его исполнителемъ... Дверь учебной комнаты въ продолженіе лекцій должна быть неприкосновенна; никто не долженъ себѣ позволить въ нее входить въ то время, которое Великій Князь будетъ посвящать занятіямъ: изъ этого правила не должно быть никакихъ исключеній... Его Высочество въ продолженіе своего воспитанія долженъ привыкнуть не почитать ничего выше своихъ обязанностей" и т. д.

Можно согласиться и съ тѣмъ, что поэзія Жуковскаго, со времени перехода его на придворно-педагогическое поприще, начинаетъ оскудѣвать, и особенно теряетъ „Греевскій" характеръ, что и вызвало извѣстный отзывъ о ней приписываемый Воейкову (или Милонову):

Державинъ спитъ въ сырой могилѣ,
Жуковскій пишетъ чепуху;
И ужъ Крыловъ теперь не въ силѣ
Сварить Демьянову уху.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ начинаютъ возрастать услуги, оказываемыя Жуковскимъ писателямъ и артистамъ, и, кто знаетъ, что̀ въ то время было нужнѣе для нашей литературы!

Императоръ Николай, облекшій себя въ ледяной покровъ величія и, подъ видомъ грозной внѣшности, какъ бы недоступный обычнымъ человѣческимъ увлеченіемъ, самъ признавался, что онъ не могъ сопротивляться просьбамъ Жуковскаго. Онъ, отъ взгляда котораго падали въ обморокъ люди слабонервные, не могъ вынести кроткаго и глубокаго взора Жуковскаго, заставлявшаго его быть гуманнымъ, конечно — согласно съ своими чувствами, но — вопреки своей системѣ.

Въ случаѣ необходимости, для осуществленія благотворительныхъ проектовъ, Жуковскій дѣйствовалъ черезъ важныхъ придворныхъ дамъ: Ю. Ѳ. Баранову или г-жу Вильдерметъ, или бралъ себѣ въ союзники фрейлину Россети (позже Смирнову), пользовавшуюся, благодаря своему уму, образованію, красотѣ и тѣмъ качествамъ, которыя

вообще отличаютъ царицъ салоновъ огромнымъ при дворѣ вліяніемъ; наконецъ, въ очень рискованныхъ случаяхъ Жуковскій прибѣгалъ къ помощи цесаревича, отказать которому было трудно даже для государя или самой императрицы.

Разсказъ о покровительствѣ Жуковскаго, вслѣдствіе этого, писателямъ и артистамъ начнемъ съ того, кто былъ наставникомъ, а затѣмъ долго и покровителемъ Жуковскаго — съ Карамзина. Конечно, Карамзинъ въ такомъ покровительствѣ мало нуждался, ибо въ концѣ жизни самъ пользовался немаловажнымъ значеніемъ при дворѣ; Жуковскій постоянно переписывался съ Карамзинымъ, выхлопоталъ ему лѣтнее помѣщеніе при дворцѣ въ Царскомъ Селѣ, часто посѣщалъ Карамзина, особенно во время послѣдней его болѣзни; съ Жуковскимъ совѣщался императоръ Николай о томъ, что̀ сдѣлать для Карамзина; Жуковскимъ же написанъ рескриптъ государя Карамзину (отъ 13 мая 1826 г.) и указъ министру финансовъ о производствѣ ему 50000 р. въ годъ. Послѣ смерти Карамзина Жуковскій хлопочетъ о царскихъ милостяхъ къ его семьѣ, въ письмахъ къ близкимъ людямъ съ благоговѣніемъ вспоминаетъ о немъ, мечтаетъ написать его біографію и, наконецъ, въ стихотворномъ посланіи къ Дмитріеву, такъ говоритъ о Карамзинѣ:

Какъ онъ для насъ всю землю украшалъ...
. . . . . .
Лежитъ вѣнецъ на мраморѣ могилы;
Ей молится Россіи вѣрный сынъ;
И будитъ въ наши дни для дѣлъ прекрасныхъ силы
Святое имя: Карамзинъ.

Оказать какую-либо услугу другу Карамзина Дмитріеву, кажется, Жуковскому не удалось: тотъ тоже былъ важнымъ лицомъ, и Жуковскій относился къ нему съ благоговѣніемъ. Когда Дмитріевъ прислалъ ему въ 1831 г. стихи, начинающіеся словами: „Жуковскій! дай мнѣ руку“, онъ принялъ эту честь съ гордостью и писалъ: „Въ этихъ словахъ... такъ много магическаго; они мнѣ кажутся надписью всей прошедшей моей жизни, въ лучшихъ годахъ которой Дмитріевъ и Карамзинъ играютъ такую свѣтлую роль“. Въ 1837 г. Жуковскій завезъ цесаревича въ с. Богородское, родину Дмитріева, и, конечно, по его указаніямъ цесаревичъ въ бытность тогда въ Москвѣ обласкалъ стараго поэта.

Покровительство Жуковскаго Воейкову было безконечнымъ; Мерзлякову въ 1825 г. исходатайствовалъ онъ 5000 р. на изданіе сочиненій; за кн. Вяземскаго „рыцарскимъ перомъ воевалъ съ Бенкендорфомъ“ (шефомъ жандармовъ) въ 1828 г., когда на кн. Вяземскаго пало обвиненіе въ распущенной жизни; точно такъ же хлопоталъ онъ въ 1826 г. о чемъ-то для Прокоповича-Антонскаго; къ нему обращался съ какой-то просьбой Карамзинъ; Жуковскій былъ ею недоволенъ; но, вѣроятно, ее исполнилъ. Когда Павскій, какъ преподаватель ве-

ликаго князя, подвергся нареканіямъ со стороны московскаго митрополита Филарета, Жуковскій вмѣшался въ эту исторію съ цѣлью ослабить значеніе ея для Павскаго и сильно помогъ ему выйти болѣе или менѣе благополучно изъ этой передряги.

Покровительство, оказанное Жуковскимъ давнему другу-арзамасцу Батюшкову, тоже было весьма существенно. Еще въ 1818 г. Жуковскій выхлопоталъ ему мѣсто при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ съ отправкою въ Италію. Батюшковъ переписывался съ нимъ, подвергалъ его критикѣ свои произведенія и въ припадкахъ душевнаго разстройства постоянно искалъ опоры въ Жуковскомъ. Когда же Батюшкова постигло помѣшательство, и родные поэта не обнаружили особеннаго о немъ попеченія, Жуковскій (лѣтомъ 1824 г.) отвезъ его въ Дерптъ къ докторамъ и затѣмъ, по совѣту ихъ, отправилъ его въ спеціальную больницу въ Пирнѣ, близъ Дрездена, поручивъ больного попеченію здѣсь своей хорошей знакомой, которую смѣнила сестра Батюшкова; цѣлый рядъ писемъ свидѣтельствуетъ, какъ Жуковскаго интересовала судьба Батюшкова, который звалъ его къ себѣ въ Пирну; Жуковскій былъ тамъ, чтобы посмотрѣть, какими заботами окруженъ поэтъ, но, кажется, лично съ нимъ не видѣлся; онъ постоянно посылалъ ему деньги, а въ заключеніе исходатайствовалъ ему ежегодную пенсію въ 2000 руб.

Козловъ былъ не менѣе близокъ къ Жуковскому, чѣмъ Батюшковъ; Жуковскій тоже оживленно съ нимъ переписывался, въ теченіе 20 лѣтъ заботился о немъ и помогалъ ему, постоянно посѣщалъ его передъ смертью, похоронилъ и затѣмъ, чтобы помочь семьѣ слѣпца-поэта, принялъ на себя изданіе его сочиненій, которому предпослалъ сердечно написанное предисловіе. Онъ просилъ Баранову устроить, у кого она знаетъ (конечно, изъ лицъ царской фамиліи), вкладъ въ сборъ на подписку на эти сочиненія. Какъ цѣнилъ Козловъ дружбу Жуковскаго, видно изъ тѣхъ стихотворныхъ посланій, которыя Козловъ ему писалъ; Жуковскому же посвятилъ онъ „Наталію Долгорукую“.

Пушкинъ въ раннихъ стихотвореніяхъ подражаетъ Жуковскому, считаетъ себя его ученикомъ, а Жуковскій весьма сочувственно встрѣчаетъ первые опыты поэзіи Пушкина. Знакомятся они въ 1815 г., когда Пушкинъ былъ еще лицеистомъ, и Жуковскій вводитъ его въ „Арзамасъ“; въ 1817 г. Пушкинъ обратился къ Жуковскому съ стихотвореніемъ „Благослови, поэтъ“, прося благословенія стать поэтомъ и выражая свои тогдашніе литературные взгляды, а о первомъ знакомствѣ съ Жуковскимъ говоря слѣдующее:

И ты, природою на пѣсни обреченный,
Не ты ль мнѣ руку далъ въ завѣтъ любви священной?
Могу ль забыть я часъ, когда передъ тобой
Безмолвный я стоялъ, и молнійной струей
Душа къ возвышенной душѣ твоей летѣла
И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенѣла?

Въ арзамасской же рѣчи Пушкинъ такъ иронически, по обычаю „Арзамаса“, вспоминаетъ о Жуковскомъ:

. . . . О, дивный „Арзамасъ“,
Гдѣ славилъ нашъ Тиртей „кисель“[1]) и Александра“.

Когда Пушкинъ окончилъ лицей, Жуковскій радовался такъ, „какъ будто самъ Богъ послалъ ему милое чудо“; а Пушкинъ привѣтствовалъ его сразу двумя стихотвореніями; при чемъ первое — „Къ портрету Жуковскаго“[2])—заключаетъ знаменитый отзывъ о его поэзіи:

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,
И, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость,
Утѣшится безмолвная печаль,
И рѣзвая задумается радость.

Хотя въ четвертой пѣсни „Руслана и Людмилы“ Пушкинъ и пародировалъ поэму Жуковскаго „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“ (называя его, впрочемъ, сѣвернымъ Орфеемъ), но тотъ не только не обидѣлся, а подарилъ Пушкину свой портретъ съ надписью „Ученику отъ побѣжденнаго учителя“; Жуковскій же принималъ участіе и въ допечатаніи этой поэмы послѣ выѣзда автора изъ Петербурга.

Когда Пушкину грозило заключеніе въ Соловки, Жуковскій вмѣстѣ съ другими, устроилъ высылку его на югъ подъ опеку Инзова. Съ юга и изъ Михайловскаго Пушкинъ неоднократно писалъ къ Жуковскому — своему „генію-хранителю“ — и искалъ его заступничества передъ государемъ, особенно когда ссорился съ отцомъ; на просмотръ Жуковскому посылалъ онъ свои прошенія на Высочайшее имя; Жуковскій выпросилъ позволеніе ему ѣхать въ Псковъ для лѣченія и направлялъ туда Мойера, что въ сущности было вовсе не нужно, ибо у Пушкина были иные планы, и такъ какъ они не удались, и Пушкинъ въ Псковъ не переѣхалъ, то онъ извѣстилъ Жуковскаго письмомъ, которое начиналось словами: „Отче! въ руцѣ твои предаю духъ мой!“ Такъ и не разъ называлъ онъ Жуковскаго въ письмахъ. Въ другомъ письмѣ къ нему Пушкинъ такъ отказывается пользоваться безплатными совѣтами Мойера: „Отъ тебя благодѣяніе мнѣ не тяжело, а отъ другого не хочу“. Жуковскій тогда торопилъ Пушкина кончать „Бориса Годунова“, надѣясь, что царь послѣ этого проститъ его, и Пушкинъ желалъ посвятить эту трагедію Жуковскому, хотя и уступилъ просьбамъ дочерей Карамзина и посвятилъ ее его памяти.

По освобожденіи изъ ссылки отношенія Пушкина къ Жуковскому продолжаютъ оставаться очень близкими; нерѣдко они переписываются иногда живутъ вмѣстѣ, постоянно встрѣчаются у близкихъ знакомыхъ (Карамзиныхъ, кн. Вяземскихъ, Россети-Смирновой); Пушкинъ читаетъ у Жуковскаго свои сочиненія. Случается имъ составлять одно стихо-

---

[1]) Имѣется въ виду „Овсяный кисель“, перев. Жуковскаго.
[2]) Второе — по поводу стихотвореній „Для немногихъ“; оно было передѣлано Пушкинымъ въ 1829 г.

твореніе, или писать конкурирующія произведенія, издавать вмѣстѣ стихи, передавать одинъ другому подходящіе сюжеты; Пушкинъ даже пишетъ стихи отъ имени Жуковскаго, который, въ свою очередь, исправляетъ стихи Пушкина въ силу цензурныхъ соображеній и постоянно принимаетъ участіе въ изданіи его сочиненій. Пушкинъ съ нетерпѣніемъ ждетъ выхода произведеній Жуковскаго, восхищается ими; Жуковскій также точно относится къ Пушкину, который и позже считаетъ себя ученикомъ Жуковскаго, интересуется его отзывами о своихъ сочиненіяхъ, высоко ставитъ его личность, называя его „святымъ"; онъ поручаетъ Жуковскому хлопотать о сироткѣ-гречанкѣ и т. д. Жуковскій продолжаетъ оберегать Пушкина въ его отношеніяхъ къ лицамъ, власть имѣющимъ („Подалъ я въ отставку, но получилъ отъ Жуковскаго такой нагоняй"... „Жуковскій, надѣюсь, все уладитъ"), и, по словамъ Смирновой, такъ любилъ Искру (Пушкина), что похожъ на курицу, высидѣвшую утенка; онъ помогаетъ ему въ изданіи журнала. Наконецъ, Пушкинъ пишетъ къ нему посланія, то шуточныя, то серіозныя, такъ говоря о немъ въ Онѣгинѣ:

И ты, глубоко вдохновенный,
Всего прекраснаго пѣвецъ,
Ты, идолъ дѣвственныхъ сердецъ!

Не ты ль, пристрастьемъ увлеченный,
Не ты ль мнѣ руку подавалъ
И къ славѣ чистой призывалъ?

Былъ Жуковскій и при смерти Пушкина, который пожелалъ его видѣть, закрылъ ему глаза, долго сидѣлъ передъ его тѣломъ въ глубокой скорби, въ стихахъ изобразилъ его уже мертвымъ и описалъ послѣднія минуты его въ письмѣ къ его отцу, а затѣмъ принималъ дѣятельное участіе въ устройствѣ матеріальнаго положенія семьи Пушкина. Къ нему перешелъ на память и знаменитый пушкинскій талисманъ.

Какъ извѣстно, Жуковскій близокъ былъ и ко всѣмъ лицамъ Пушкинскаго кружка: къ бар. Дельвигу, Плетневу, Баратынскому. Плетнева онъ избралъ въ преподаватели цесаревичу, съ чего и началось возвышеніе Плетнева, который писалъ ему: „всѣмъ своимъ нынѣшнимъ счастьемъ обязанъ я единственно хорошему обо мнѣ вашему мнѣнію". Еще важнѣе была услуга, оказанная Жуковскимъ Баратынскому. Когда послѣдній былъ исключенъ изъ Пажескаго корпуса, а затѣмъ опредѣлился въ солдаты и не могъ уже выйти изъ солдатской лямки, онъ обратился къ Жуковскому съ чистосердечною исповѣдью; тогда Жуковскій сталъ энергично ходатайствовать о немъ у кн. А. Н. Голицына и настоялъ, чтобы тотъ показалъ письмо поэта государю. „Смѣю думать,—писалъ онъ,—что Государь, знающій человѣческое сердце, легко распознаетъ языкъ истины, если удостоитъ своего милостиваго вниманія строки Баратынскаго, котораго вся будущая жизнь, можно сказать, зависитъ теперь отъ тѣхъ немногихъ минутъ, которыя Его Величество употребитъ на прочтеніе прилагаемаго здѣсь письма его. Прибавлю: отъ этихъ минутъ зависитъ, можетъ-быть, жизнь его матери". Ходатайство Жуковскаго было уважено; Баратынскаго произвели въ офицеры.

Въ то же время поэтъ снова писалъ Жуковскому, называя его „геніемъ-покровителемъ“.

Въ 1832 г., по доносу Булгарина, была захвачена книжка Даля „Русскія сказки изъ преданія народнаго“ и арестованъ авторъ; Жуковскій разъяснилъ, что въ книгѣ нѣтъ ничего возмутительнаго и выручилъ Даля, а затѣмъ, рекомендовалъ его своему другу оренбургскому военному губернатору В. Перовскому, который и принялъ Даля къ себѣ на службу. Во время поѣздки 1837 г. съ цесаревичемъ Жуковскій почти все время своего пребыванія въ Оренбургѣ и Уральскѣ провелъ съ Далемъ.

Такимъ же баловнемъ Жуковскаго, какъ Пушкинъ, былъ и Гоголь; онъ воспитался, между прочимъ, на сочиненіяхъ Жуковскаго и подражалъ его стилю, а затѣмъ среди первыхъ петербургскихъ неудачъ въ 1830 г. съ нимъ лично познакомился. Жуковскій отнесся къ нему очень тепло, принялъ его подъ свое покровительство, рекомендовалъ Плетневу, который вслѣдствіе этого доставилъ Гоголю хорошіе частные уроки и службу въ Патріотическомъ институтѣ. О первой встрѣчѣ съ Жуковскимъ Гоголь позже вспомнилъ слѣдующимъ образомъ: „Ты подалъ мнѣ руку и такъ исполнился желаніемъ помочь будущему твоему сподвижнику! Какъ былъ благосклонно-любовенъ твой взоръ!“ Затѣмъ Жуковскій знакомитъ Гоголя съ Пушкинымъ и другими литераторами, втягиваетъ его въ салонъ Россети, посѣщаетъ Гоголя, который бываетъ на его литературныхъ вечерахъ и читаетъ при немъ или даже у него свои произведенія, которыми Жуковскій очень интересуется. Онъ слѣдитъ за чтеніемъ Гоголя и экзаменуетъ его насчетъ прочтенныхъ имъ книгъ. Гоголь знакомитъ Жуковскаго съ планомъ замышляемыхъ имъ работъ, напр. „Мертвыхъ душъ“, и читаетъ ихъ ему раньше, чѣмъ другимъ, уничтожаетъ или измѣняетъ тѣ, которыя Жуковскому не нравятся, и всегда называетъ его своимъ истиннымъ наставникомъ и учителемъ. Гоголь высоко цѣнитъ (и въ печатныхъ отзывахъ) сочиненія Жуковскаго и постоянно съ нимъ переписывается. Вслѣдствіе хлопотъ Жуковскаго у Уварова, Гоголь получаетъ каѳедру исторіи въ Петербургскомъ университетѣ, и Жуковскій посѣщаетъ его лекціи; онъ пытается защитить Гоголя, когда тотъ былъ вынужденъ оставить занятія въ Патріотическомъ институтѣ. Жуковскій, вмѣстѣ съ другими, устраиваетъ, чтобы „Ревизоръ“ былъ прочтенъ государемъ, и тѣмъ достигаетъ разрѣшенія поставить его на сцену.

Когда Гоголь въ 1836 г. собирается ѣхать за границу, не имѣя на то достаточныхъ средствъ, онъ обращается къ помощи Жуковскаго, какъ и всегда въ трудныя минуты жизни, и тотъ выпрашиваетъ для него у императрицы денежное на дорогу пособіе. Послѣ этого, въ бытность Гоголя за границей, Жуковскій, узнавая о частыхъ денежныхъ его затрудненіяхъ, нерѣдко добываетъ для Гоголя довольно крупныя суммы, то выпрашивая ихъ у государя (напр. за поднесеніе сочиненій Гоголя) или у цесаревича, то занимая собственныя деньги, то собирая ихъ между друзьями. И Гоголь пишетъ ему: „Вы, все вы! Вашъ

исполненный любви взоръ бодрствуетъ надо мною... На Бога и Васъ моя надежда". Къ Жуковскому обращается Гоголь съ просьбой выхлопотать ему мѣсто, которое доставило бы ему, наконецъ, необходимыя опредѣленныя средства. Переселясь изъ Петербурга за границу, Жуковскій не перестаетъ заботиться о Гоголѣ, который продолжаетъ нуждаться и съ грустью пишетъ Плетневу: „Изъ Петербурга я не получилъ ни одного изъ тѣхъ подарковъ, которые я получалъ прежде, когда былъ тамъ Жуковскій". Но послѣдній упрашиваетъ Смирнову выхлопотать Гоголю опредѣленное ежегодное содержаніе; вслѣдствіе чего онъ получилъ въ видѣ пенсіи на 3 года по 1000 руб. ежегодно, да у цесаревича Жуковскій выпросилъ для Гоголя значительную сумму, и сконфуженный Гоголь тогда писалъ ему: „Вы меня любите еще сильнѣе, чѣмъ прежде, несмотря на то, что я бы былъ долженъ вамъ надоѣсть сильно".

При отъѣздѣ за границу Гоголь получаетъ отъ Жуковскаго указанія относительно тѣхъ мѣстностей, которыя онъ посѣщалъ нѣкогда, и Гоголь тоже посѣщаетъ ихъ; онъ продолжаетъ переписываться съ Жуковскимъ, и переписка ихъ уже начинаетъ носить религіозный оттѣнокъ. Въ 1838 г. Жуковскій пріѣзжаетъ въ Римъ и основательно осматриваетъ его, при чемъ Гоголь служитъ ему путеводителемъ; когда же Жуковскій уѣхалъ изъ Рима, Гоголь чувствуетъ нравственное одиночество и томительную пустоту и ему безпрестанно вспоминаются ихъ совмѣстныя прогулки. Бывая въ Петербургѣ, Гоголь останавливается у Жуковскаго во дворцѣ. Когда Жуковскій поселился за границей, переписка его съ Гоголемъ учащается, при чемъ они переходятъ на ты; а Жуковскій называетъ Гоголя ласкательнымъ „Гоголекъ" и дѣлаетъ ему маленькіе подарки. Гоголь постоянно посѣщаетъ его, подолгу живетъ у него, работаетъ одновременно съ нимъ, утѣшаетъ его въ горькія минуты. Жуковскій чувствуетъ необходимость въ обществѣ Гоголя, во время разлуки скучаетъ безъ него, снова зоветъ его къ себѣ („У насъ ждетъ васъ пріютъ родной"), или назначаетъ гдѣ-либо свиданіе; Гоголю первому читаетъ онъ свои произведенія, и тотъ даже переписываетъ ихъ для печати. Гоголь печатно заявляетъ, что появленіе „Одиссеи" въ переводѣ Жуковскаго представляется исключительно выдающимся по своей важности событіемъ. Особенно сближаютъ въ это время Гоголя и Жуковскаго сходные религіозные взгляды, и, кто знаетъ, насколько благопріятнымъ было тогда вліяніе Жуковскаго, который одобрялъ „Переписку съ друзьями", хотя только ему одному и покаялся правдиво Гоголь въ этомъ литературномъ промахѣ. Можетъ-быть, впрочемъ, и Гоголь вліялъ уже въ то время на религіозные взгляды Жуковскаго, какъ онъ вліялъ на литературный вкусъ, убѣдивъ его, напр., въ достоинствѣ стихотвореній Языкова. Наконецъ, для послѣдняго сочиненія Жуковскаго „Агасферъ" Гоголь описываетъ ему только что посѣщенную имъ Палестину и ему въ числѣ очень немногихъ лицъ пишетъ письмо незадолго до смерти.

Указавъ на то, что Жуковскій хлопоталъ о доставленіи Гоголю университетской каѳедры, можно прибавить, что тогда же хлопоталъ онъ и о назначеніи профессоромъ Кіевскаго университета М. А. Максимовича, что и удалось; расположенный къ нему вообще, Жуковскій читалъ изданныя имъ малорусскія пѣсни цесаревичу, которому многія и понравились.

Разъ я коснулся участія Жуковскаго въ судьбѣ ученаго, можно указать еще и на Погодина, „Москвитянинъ" котораго Жуковскій постоянно поддерживалъ[1]), и на Полеваго, который хотя по направленію и не сходился съ Жуковскимъ и даже написалъ пародію на его стихи (въ чемъ, впрочемъ, извинился), тѣмъ не менѣе Жуковскій поддерживалъ „Телеграфъ", склонивъ къ тому и весь свой кружокъ, и жалѣлъ, когда этотъ журналъ былъ запрещенъ, хотя ему и не сочувствовалъ.

Въ 1830 годахъ Жуковскій является ходатаемъ передъ Уваровымъ относительно просьбы С. Н. Глинки, „чтобы ему помогли своими трудами поддерживать семью свою"; повидимому, дѣло шло о позволеніи ему продолжать изданіе журнала „Русскій Вѣстникъ".

И. В. Кирѣевскій, родственникъ Жуковскаго, котораго онъ же ввелъ въ литературные кружки, въ половинѣ 1840 годовъ получилъ репутацію неблагонадежнаго человѣка; издаваемый имъ „Европеецъ", гдѣ Жуковскій печаталъ свои сказки, за статью о XIX вѣкѣ подвергся преслѣдованію, а за пропускъ шуточной поэмы Кирѣевскаго „Двѣнадцать спящихъ будочниковъ" цензоръ С. Т. Аксаковъ долженъ былъ выйти въ отставку. Кромѣ запрещенія журнала Кирѣевскому угрожало удаленіе изъ Москвы, и онъ спасенъ былъ только благодаря заступничеству Жуковскаго, который поддерживалъ его и въ то время, когда онъ принялъ на себя редакцію „Москвитянина". Гоголь писалъ тогда Шевыреву, что онъ заставилъ Жуковскаго сдѣлать для „Москвитянина" великое дѣло; но въ чемъ оно состояло, я пока не знаю, если не считать того, что онъ напечаталъ здѣсь свои стихотворныя повѣсти. Кирѣевскій же такъ выражался о Жуковскомъ: „Удивительный человѣкъ этотъ Жуковскій. Хотя, кажется, знаешь необыкновенную красоту и возвышенность его души, однако при каждомъ новомъ случаѣ узнаешь, что сердце его еще и выше и прекраснѣе, чѣмъ предполагалъ".

Жуковскій отстоялъ существованіе „Отечественныхъ Записокъ" изд. Краевскимъ, которымъ грозила бѣда, кажется, за статьи Бѣлинскаго; слѣдовательно, хоть косвенно, помогъ и Бѣлинскому.

По его просьбѣ гр. Шереметевъ выпустилъ изъ крѣпостной зависимости своихъ крестьянъ: мать и брата профессора Никитенко.

Его хлопотами принятъ былъ на казенный счетъ въ учебное заведеніе В. Межовъ, ставшій извѣстнымъ библіографомъ.

Онъ склонилъ писателей составить литературный сборникъ въ помощь обѣднѣвшему книгопродавцу издателю Смирдину и хлопоталъ объ устраненіи цензурныхъ затрудненій для Плюшара.

---

[1]) Въ 1837 г. Жуковскій устроилъ подачу цесаревичу записки Погодина о Москвѣ, и Погодинъ былъ награжденъ перстнемъ.

Въ 1837 г. Жуковскій въ свитѣ цесаревича пріѣхалъ въ Вятку и явился на выставку произведеній Вятскаго края, устроенную чиновникомъ особыхъ порученій при губернаторѣ, сосланнымъ въ Вятку, Герценомъ. Онъ показалъ цесаревичу выставку и заинтересовалъ Жуковскаго, который сталъ разспрашивать, какъ онъ попалъ сюда, и, узнавъ, въ чемъ дѣло, доложилъ объ этомъ цесаревичу, сдѣлавшему представленіе о разрѣшеніи Герцену ѣхать въ Петербургъ. Государь разрѣшилъ переѣздъ Герцена во Владиміръ, что для Герцена оказалось очень счастливымъ обстоятельствомъ.

Во время этой же поѣздки цесаревича Жуковской познакомился въ Тобольскѣ съ молодымъ поэтомъ Милькѣевымъ, стихотворенія котораго ему понравились; онъ устроилъ поѣздку ему въ Петербургъ, автобіографическую записку его немедленно напечаталъ въ „Современникѣ“ и ходатайствовалъ у гр. Строгонова (попечителя Московскаго учебнаго округа) и у Шевырева о покровительствѣ ему, которое и было оказано. Когда Милькѣевъ, скоро стосковавшись, уѣхалъ на родину, Жуковскій продолжалъ о немъ заботиться и, кажется, его попеченіемъ въ 1843 г. въ Москвѣ были изданы стихотворенія Милькѣева.

Едва ли не самая важная услуга, которую Жуковскій оказалъ какому бы то ни было писателю или артисту, была оказана имъ знаменитому малорусскому поэту Шевченкѣ, впрочемъ, въ то время, когда онъ былъ еще только живописцемъ. Знакомые украинцы въ Петербургѣ надумались устроить его освобожденіе изъ крѣпостной зависимости и обратились къ К. Брюлову, у котораго нерѣдко бывалъ Жуковскій (плакавшій у него въ мастерской, смотря на голову плачущей Маріи Магдалины); онъ обласкалъ представленнаго ему Шевченка, и желая всесторонне ознакомиться съ его способностями, заказалъ ему написать „Жизнь художника“. Повидимому, это первое произведеніе пера Шевченка удовлетворило Жуковскаго, и онъ, вмѣстѣ съ Брюловымъ, принялся за хлопоты по его освобожденію. Такъ какъ за него нужно было платить его барину 2500 руб., то Брюловъ нарисовалъ портретъ Жуковскаго, который и былъ разыгранъ въ лотерею въ этой суммѣ. Изъ недавно напечатанныхъ будто бы комическихъ писемъ Жуковскаго къ Барановой, съ карикатурными его рисунками (Шевченко мететъ полъ, когда идутъ о немъ перегоpоры, онъ и Жуковскій кувыркаются на радостяхъ, что дѣло благополучно кончилось, и т. п.) видно, что лотерея была устроена Барановою, розыгрышъ происходилъ во дворцѣ, билеты вынималъ Жуковскій, выигрышъ достался государынѣ. Баранова передала деньги Жуковскому, который 22 апрѣля 1838 г. выкупилъ Шевченка. Изъ писемъ къ Барановой видно и то, какъ радовался Жуковскій благополучному исходу дѣла; Шевченко же посвятилъ Жуковскому свою „Катерину“. Впослѣдствіи онъ относился къ Жуковскому съ величайшимъ уваженіемъ.

Менѣе важное, но все же значительное покровительство оказано было Жуковскимъ и Кольцову. Онъ ласково принималъ его въ Петер-

бургѣ въ 1836 г., помогалъ въ устройствѣ дѣлъ, готовилъ для него мѣсто, когда Кольцовъ ссорился съ отцомъ, а пріѣхавши въ Воронежъ, такъ рекламировалъ Кольцова, что чрезвычайно поднялъ его значеніе въ глазахъ его семьи и мѣстнаго общества; онъ проводилъ въ Воронежѣ съ Кольцовымъ все свое свободное время. Кольцовъ посвятилъ ему нѣсколько своихъ стихотвореній.

Кончимъ обзоръ отношеній Жуковскаго къ нашимъ поэтамъ тѣмъ, что онъ заботился о первыхъ литературныхъ шагахъ Лермонтова и уговорилъ его отдать въ печать „Пѣснь про Царя Ивана Васильевича", съ чего началась извѣстность автора; утѣшалъ въ тяжелыя минуты жизни Тютчева; едва ли не первый поощрялъ къ занятіямъ литературой Майкова и Некрасова, и почти всѣ эти наши поэты (какъ и многіе другіе) почтили Жуковскаго стихотвореніями, посвященными или ему, или его памяти. Я читалъ гдѣ-то, что онъ оказалъ покровительство и И. С. Тургеневу; но память мнѣ относительно этого измѣнила; близкія же отношенія ихъ доказываются тѣмъ, что Тургеневу Жуковскій подарилъ такое сокровище, какъ Пушкинскій талисманъ.

Не поручусь, что этимъ огромнымъ перечисленіемъ я исчерпалъ покровительство Жуковскаго даже нашимъ замѣтнымъ писателямъ; о мелкихъ же я и не упоминаю: подсчетъ ихъ чрезвычайно затруднителенъ.

Выдѣляю въ особую группу заступничество Жуковскаго за литераторовъ-декабристовъ, хотя буду говорить лишь вкратцѣ, въ виду того, что этотъ вопросъ пока исчерпанъ г. Дубровинымъ въ статьѣ, напечатанной въ „Русской Старинѣ", за настоящій годъ, № 4. Остановлюсь я на отношеніяхъ Жуковскаго къ Н. Тургеневу, Кюхельбекеру, Ѳ. Глинкѣ и Фонъ-деръ-Бригену [1]).

Въ заговорѣ, приведшемъ къ 14 декабря 1825 г., Жуковскій, конечно, не участвовалъ. Въ 1819 г. кн. Трубецкой предложилъ ему вступить въ союзъ „Благоденствія"; но онъ отклонилъ это предложеніе. Вѣроятно, это было извѣстно, и слѣдствіе не затронуло Жуковскаго, что и дало ему смѣлость заступиться за осужденныхъ.

Во время 14-го декабря Н. Тургеневъ былъ за границей, не явился къ слѣдствію и заочно былъ приговоренъ къ смертной казни. Когда Жуковскій спросилъ государя, нужно ли Тургеневу возвратиться въ Россію? Государь отвѣтилъ: если спрашиваешь меня, какъ Императора, скажу, нужно, если спрашиваешь, какъ частнаго человѣка, то скажу: лучше ему не возвращаться. Н. Тургеневъ и поступилъ согласно съ послѣднимъ совѣтомъ. Старшій братъ его А. Тургеневъ, немедленно вышедшій тогда въ отставку, убѣдилъ его, однако, составить оправдательную записку, которую и представилъ кн. А. Н. Голицыну, обсуждавшему вопросъ вмѣстѣ съ Жуковскимъ и кн. Вяземскимъ и все же отклонившему просьбу передать эту записку государю; тогда А. Тургеневъ самъ писалъ къ государю — и тоже безуспѣшно.

---

[1]) Въ статьѣ Дубровина говорится еще объ отношеніяхъ Жуковскаго къ Якушкину, но онъ не былъ писателемъ.

Н. Тургеневъ поселился въ Англіи; но заступничество за него предъ государемъ, и притомъ упорное, хотя и безуспѣшное, принялъ на себя Жуковскій и въ апрѣлѣ 1829 г. передалъ государю оправдательное письмо Н. Тургенева; при чемъ приложилъ и свое, въ которомъ на колѣняхъ просилъ оказать ему монаршую милость: позволить Н. Тургеневу оставить Англію, не опасаясь никакого преслѣдованья. Хлопоталъ Жуковскій тогда же и у шефа жандармовъ. Колебанія государя вызвали со стороны Жуковскаго рядъ новыхъ ходатайствъ, при чемъ ему удалось добиться заступничества императрицы; онъ предполагалъ просить государя объ амнистіи всѣмъ декабристамъ, но не рѣшился, такъ какъ хлопоты его за Тургенева навлекли нерасположеніе къ нему въ высшихъ сферахъ (на почтѣ даже прочитывались его письма). Тогда Жуковскій рѣшился объясниться съ императоромъ и не убоялся грознаго упрека въ дружбѣ съ Тургеневымъ и вообще головомойки: „Тебя,—говорилъ государь,—называютъ главою партіи защитниковъ всѣхъ тѣхъ, кто худъ съ правительствомъ“; и высказать государю все то, что Жуковскій желалъ сказать ему, при этомъ свиданіи не удалось. Послѣ этого онъ снова продолжалъ хлопоты за Тургенева— и все же безуспѣшно, и ему оставалось лишь письменно утѣшать его. Только позже Тургеневу разрѣшено было жить на континентѣ. Интересно однако, что будучи эмигрантомъ и политическимъ преступникомъ, Н. Тургеневъ по порученію Жуковскаго выбиралъ въ Лондонѣ англійскія книги для библіотеки цесаревича.

Защищая передъ государемъ Н. Тургенева, Жуковскій распространялъ свою защиту и на его братьевъ Александра и Сергѣя, на судьбѣ которыхъ тяжело отразилось обвиненіе брата. С. Тургенева Жуковскому пришлось везти больного въ Парижъ, гдѣ онъ и умеръ на его рукахъ.

Кюхельбекера, друга Пушкина, Жуковскій зналъ въ лицеѣ съ 1817 г., ободрялъ его при первыхъ поэтическихъ опытахъ, переписывался съ нимъ по разнымъ литературнымъ вопросамъ, читалъ ему и посылалъ свои сочиненія. Въ 1825 г., по словамъ Кюхельбекера (мнѣ пока не яснымъ[1]), онъ нашелъ въ Жуковскомъ тоже сердце, столь благородное, столь ему знакомое. Въ 1837 г. цесаревичъ со свитой, въ которой былъ и Жуковскій, проѣхалъ по Сибири, разспрашивалъ о декабристахъ и обратился съ письмомъ къ отцу, прося объ облегченіи ихъ судьбы. Съ такимъ же письмомъ обратился Жуковскій сперва къ императрицѣ, а затѣмъ и къ самому государю, прося декабристамъ амнистіи. Письма эти вызвали различныя облегченія декабристамъ. Рескриптъ о томъ встрѣтилъ цесаревича на обратномъ пути изъ Сибири[2]) и, узнавъ его содержаніе, цесаревичъ и Жуковскій стали подъ открытымъ небомъ цѣловаться, о чемъ Жуковскій

---

[1]) Не имѣетъ ли это отношеніе къ тому, что Кюхельбекеръ именно въ 1825 г. написалъ пародію на „Жалобу Цереры“ и на нѣкоторые монологи изъ „Орлеанской дѣвы“ въ перев. Жуковскаго?

[2]) 23-го іюля у г. Буинска.

сообщилъ тотчасъ же восторженнымъ письмомъ императрицѣ. Въ числѣ прочихъ, облегчена была участь и Кюхельбекера, который сталъ писать къ Жуковскому, прося выхлопотать разрѣшеніе ему печатать свои сочиненія, хотя бы безъ подписи своего имени. Въ этомъ, однако, Кюхельбекеру было отказано; но Жуковскій не побоялся отвѣчать Кюхельбекеру, что того сильно растрогало. Послѣ того онъ написалъ Жуковскому: „Благородный, единственный Василій Андреевичъ! Я знавалъ людей съ талантомъ, людей съ геніемъ, но Богъ свидѣтель! никто не убѣдилъ меня такъ живо въ истинѣ, высказанной вами же, что поэзія есть добродѣтель“.

Замѣшанный въ дѣло декабристовъ Ѳ. Глинка былъ отправленъ въ Петрозаводскъ сперва на жительство, потомъ на службу; жилось ему очень плохо, и онъ просилъ Гнѣдича устроить ему переводъ въ мѣста, болѣе культурныя. Гнѣдичъ обратился къ Жуковскому, по ходатайству котораго Глинка въ 1830 г. былъ переведенъ на службу въ Тверь, гдѣ Жуковскій черезъ годъ съ нимъ увидѣлся; а въ 1838 г. выхлопоталъ, по его просьбѣ (Глинка писалъ ему тогда: „Привыкнувъ полагаться во всѣхъ моихъ бѣдахъ на васъ, какъ на добраго генія моего“), разрѣшеніе напечатать одно изъ его сочиненій.

Декабристъ фонъ-деръ-Бриггенъ въ 1845 г. сдѣлалъ переводъ на русскій языкъ Записокъ Юлія Цезаря, и желалъ его напечатать, посвятивъ Жуковскому; онъ обратился за разрѣшеніемъ къ шефу жандармовъ и написалъ объ этомъ Жуковскому, котораго онъ въ сущности почти не зналъ (разъ видѣлъ въ 1838 г. въ Курганѣ [1]), гдѣ впрочемъ, Жуковскій брался хлопотать за него); Жуковскій поддержалъ это ходатайство и предлагалъ взять на себя изданіе труда ф.-д.-Бриггена, ассигновавъ на пріобрѣтеніе рукописи 2500 руб., которые онъ покроетъ выручкой отъ продажи книги; чистый же барышъ онъ будетъ высылать автору. Хлопоталъ онъ о Бриггенѣ у цесаревича. Государь разрѣшилъ изданіе съ тѣмъ, чтобы на книгѣ не было означено имени переводчика. При перепискѣ съ Дуббельтомъ по поводу этого изданія Жуковскій за одно просилъ вообще его о покровительствѣ Бриггену; деньги онъ Бриггену посылалъ, но „Записки“ остались ненапечатанными и хранятся нынѣ въ Императорской публичной библіотекѣ, имѣя на себѣ такую надпись: „Посвящаю В. А. Жуковскому, душою и стихами поэту и другу человѣчества, въ знакъ личнаго уваженія и преданности нелицемѣрной“ [2]).

Все это факты достовѣрные; но Смирнова сообщаетъ и еще любопытныя свѣдѣнія относительно заступничества Жуковскаго предъ государемъ за декабристовъ: онъ познакомилъ государя съ стихотвореніями декабристовъ, вызвалъ у него сожалѣніе по поводу смерти Рылѣева. „Я жалѣю, — говорилъ императоръ Николай, — что не зналъ о томъ,

---

[1]) Жуковскій видѣлся въ Сибири со многими декабристами; см. его дневникъ за это время.

[2]) Вообще Жуковскому посвящали свои труды и малоизвѣстные, нынѣ забытые авторы, напр., жившая въ Москвѣ французская писательница Моро-де-ла-Мельтьеръ.

что Рылѣевъ талантливый поэтъ: мы еще недостаточно богаты талантами, чтобы терять ихъ". Но — дѣло было непоправимое. Зато знакомство съ стихотвореніями кн. А. Е. Одоевскаго облегчило его участь: государь послалъ его вмѣсто Сибири на Кавказъ. Кажется, стихи же облегчили и участь Бестужевыхъ-Рюминыхъ; по крайней мѣрѣ, Жуковскій познакомилъ съ ними государя.

Маркевичъ.

Жизнь и поэзія, по воззрѣнію Жуковскаго.

Для Жуковскаго были, какъ онъ самъ сказалъ,

Жизнь и поэзія одно.

Ломоносова отвлекала отъ поэзіи наука, Державина — юридическое поприще, Карамзина — лѣтописи отечества. Жуковскій, первый, всего себя отдалъ своему прекрасному призванію. Для него слово поэта было дѣломъ его жизни. Но чтобы не превратно понять отношенія, въ какихъ поставилъ онъ поэзію къ жизни, надобно досказать недосказанное въ словахъ его. Самая жизнь не была для него поэзіею, но поэзія была для него жизнію; не жизнь вносилъ онъ въ поэзію, но поэзію хотѣлъ внести въ жизнь. Что же разумѣлъ онъ подъ именемъ поэзіи? Для другихъ художниковъ, какъ, напримѣръ, для Гёте, поэзія была искусствомъ; для Жуковскаго болѣе нежели искусствомъ. Еще въ ранніе годы своихъ вдохновеній онъ называлъ ее добродѣтелью. Еще тогда онъ желалъ, чтобы лира его имѣла силу проливать звуки, на утомленіе мукамъ, на миръ сердцамъ. Еще тогда, обращаясь къ собрату своему, поэту, онъ говорилъ:

Сліявъ душѣ спокойной
Младенца чистоту
Съ величіемъ свободы,
Боготворя природы
Простую красоту,
Лишь благамъ неизмѣннымъ,
Пѣвецъ-любимецъ мой,
Доступенъ будь душой.

Позже, вѣрный одной и той же мысли, принесши ее въ ненарушимой цѣлости сквозь полустолѣтіе времени самаго переходчиваго, Жуковскій, устами вдохновеннаго юноши передъ умирающимъ Камоэнсомъ, призывалъ поэта „быть могучимъ крыломъ, подъемлющимъ сердца на высоту, глаголомъ правды, лѣкарствомъ душъ, крушимыхъ безвѣріемъ, сторожемъ нетлѣнной завѣсы горняго міра". И сама поэзія, передъ угасавшими взорами поэта, преображенная, соединяла въ своемъ образѣ все, что есть на землѣ прекраснаго, великаго, святого, сіяла вѣрой, надеждой и любовію, являлась ему „Богомъ въ святыхъ мечтахъ земли".

Можетъ-быть, такая задача, наложенная поэтомъ на его искусство, свыше земныхъ силъ его; но кто же не согласится, что, только такъ высоко, свято и чисто понявши задачу поэзіи, можно было поставить ее наравнѣ съ жизнью и сказать непогрѣшимо:

Жизнь и поэзія одно.

Но такая задача, такая мысль искусства, превосходящая силы самаго искусства, не нарушала ли поэтическаго призванія поэта, не сковала ли свободу творческихъ силъ его вдохновенія? Нѣтъ: потому что она открылась душѣ, имѣвшей дѣйствительное призваніе къ поэзіи. Она могла бы обличиться ложью во всякой другой, лишенной этого призванія; но здѣсь отъ самой колыбели она свѣтила въ душѣ поэта, какъ живая, сознанная, прочувствованная истина. Отсюда могло произойти только и произошло то, что рѣдко бываетъ: человѣкъ и поэтъ слились въ одно нераздѣльное существо — и высота человѣка подняла поэта. Художникъ сроднился полнѣе съ своимъ созданіемъ и глубже проникъ его. Чистота мысли озарила лучами своими идеалъ, и красота души отразилась непорочной красотою въ каждомъ его словѣ.

Все это могло совершиться, какъ сказали мы, при дѣйствительномъ призваніи поэта. Но въ чемъ же оно обнаружилось? Поэтъ, прежде всего, сказывается намъ въ томъ, какъ онъ понимаетъ и чувствуетъ природу. Только въ наше время, поднявшее вмѣстѣ съ многими великими вопросами множество и безплодныхъ, истощившихъ попусту богатыя силы человѣка, ложная мудрость могла задать вопросъ о томъ, что̀ выше: природа или искусство? Одинъ холодный умозритель, равнодушный и къ природѣ и къ искусству, могъ такимъ празднымъ и хитрымъ вопросомъ завлечь къ спору и враждѣ то, что̀ отъ Самого Творца предназначено къ единомыслію и сочувствію. Не началъ бы этой вражды никогда истинный поэтъ и художникъ. Еще младенцемъ онъ сосетъ грудь у природы и кормится млекомъ ея живыхъ впечатлѣній. Еще въ младенчествѣ между поэтомъ и природой, какъ между младенцемъ и кормилицей его, матерью, ведется та непонятная для другихъ бесѣда, которая позже выскажется всѣмъ въ новыхъ картинахъ его поэзіи. Поэтамъ, какъ любимцамъ своимъ, говоритъ природа при ихъ колыбели:

Для васъ взойдетъ краснѣе день,
И будетъ лугъ душистѣй,
И сладостнѣй дубравы тѣнь,
И птичка голосистѣй.

Утратившая красоту въ своихъ частяхъ вмѣстѣ съ человѣкомъ, природа хранитъ идею красоты, неизмѣнно напечатлѣнною отъ Создателя на своемъ изящномъ цѣломъ, и таинственно открываетъ ее только душамъ избранныхъ своихъ любимцевъ. Имъ однимъ только слышится эта гармонія цѣлаго, гдѣ самый безобразный визгъ, самый нестройный крикъ страданія — звуки необходимые, безъ которыхъ неполна бы была торжественная симфонія мірозданія. Во всѣхъ странахъ свѣта своими разнообразными красотами, и поцѣлуемъ солнца и воемъ метели, природа пробуждала въ человѣкѣ одну полную идею красоты, предлагала для нея милліоны различныхъ образовъ, и воспитывала въ немъ, во всѣхъ вѣкахъ и у всѣхъ народовъ, поэта и художника.

Способъ, какимъ поэты у разныхъ народовъ понимали и чувствовали природу, опредѣлялся всего болѣе отношеніемъ, въ какомъ разумѣли они человѣка къ природѣ, а это отношеніе еще глубже опредѣлялось отношеніемъ обоихъ къ божеству. Религія вездѣ преимущественно

направляла взглядъ поэта на природу, за исключеніемъ развѣ новаго времени, когда религіозныя вѣрованія народовъ начали смѣняться личными убѣжденіями писателей.

Въ священно-еврейской поэзіи природа повсюду символъ Бога, намекъ на Его присутствіе, слѣдъ Его шествія въ твореніи. Боговдохновенные пѣвцы слышатъ Бога и въ грозѣ небесной, и въ трясеніи земли, и въ тонкомъ дыханіи вѣтерка. Молніи — вѣстники воли Его, заря — край Его ризы, небеса повѣдаютъ Его славу, и вся красота созданій служитъ къ тому только, чтобы отъ ея величества Самъ Творецъ познавался.

Въ поэзіи языческой, у грековъ и римлянъ, природа — неразлучная спутница красоты внѣшняго человѣка. Она облекаетъ его какъ чудотворное покрывало Ино Левкоѳои плывущаго въ волнахъ Одиссея. Всѣ явленія ея, и страшныя и милыя, намеки на человѣческій образъ. Небесныя тучи — брови Зевесовы, лучи солнца — пряди золотыхъ волосъ Феба, заря — розовые персты Эоса; снѣгъ падаетъ изъ облаковъ какъ ножка Ирисы, посланной Зевсомъ на землю, и самыя силы животныхъ служатъ безпрерывно къ изображенію борющихся силъ враждующаго человѣка. Словомъ, здѣсь природа и человѣкъ влюблены другъ въ друга — и на брачномъ своемъ пиршествѣ у поэзіи обручаются взаимными дарами прелести и величія.

Другое отношеніе природы къ человѣку въ поэзіи народовъ христіанскихъ. Вѣра Христова открыла намъ тайны міра духовнаго, и въ поэзіи, озаренной ею, природа стала символомъ души человѣческой. Въ безконечность увлекла она поэта-христіанина своимъ небомъ, звѣздами, моремъ, степью; разнообразнымъ чувствамъ души его вторитъ она и ропотомъ дробимой волны, и шумомъ дубравы, — и всѣми явленіями своими окружаетъ его, какъ безчисленными зеркалами, чтобы отразить ему въ нихъ всѣ безчисленныя движенія души его. Каждое изъ этихъ явленій возбуждаетъ въ насъ сочувствіе въ той мѣрѣ, поскольку мы видимъ въ немъ часть образа души своей, намекъ на нашу мысль, страсть, чувство, слѣдъ внутренней жизни нашей.

Такимъ воззрѣніемъ опредѣляется и взглядъ Жуковскаго на природу. Онъ виденъ и въ большихъ и въ малыхъ его картинахъ, въ произведеніяхъ оригинальныхъ и переводныхъ. Изобразить ли ему море — онъ не отлучитъ его отъ неба, а сливъ ихъ въ одинъ образъ, въ таинственной бесѣдѣ ихъ, намекнетъ намъ на бесѣду души, бьющейся въ оковахъ земной жизни, съ безпредѣльною вѣчностью. Взглянетъ ли онъ на небо весною: тамъ ему

Облака, летя, сіяютъ
И, сіяя, улетаютъ
За далекіе лѣса.

Бѣлоснѣжный голубокъ, обнявшій крыльями дрожащую грудь испуганной Свѣтланы во время страшнаго сна ея — русскій образъ утѣшенія и чистоты душевной. Луна милѣе поэту, чѣмъ солнце, какъ

воспоминаніе объ немъ въ ночи, какъ его отблескъ: она своими измѣненіями сочувствуетъ его поэтическимъ думамъ и видѣніямъ и является ему на небѣ гостиницей душъ, спокойно взирающихъ оттуда на минувшія тревоги земного. Въ другихъ поэтахъ Жуковскій сочувствуетъ тому же воззрѣнію на природу. Ему нравятся болѣе поэты сѣвера, чѣмъ юга, болѣе Шиллеръ, чѣмъ Гёте; онъ любитъ особенно простонароднаго поэта Германіи, Гебеля, у котораго всякое явленіе природы исполнено таинственнаго смысла, и былинка, младенцемъ растущая изъ зерна, и солнце — неутомимый благодѣтель созданія, и ночь передъ разсвѣтомъ, предвѣстница вѣчнаго дня. Изъ произведеній языческой поэзіи Жуковскій предпочиталъ „Одиссею“ „Иліадѣ“, потому что въ первой раскрыта болѣе душа древняго человѣка; ему сроднѣе Виргилій и Овидій, какъ поэты чувства между древними, по преимуществу, особенно первый въ слезномъ разсказѣ объ разрушеніи Трои, и второй въ трагическомъ эпизодѣ: „Цеиксъ и Гальціона“.

Такъ въ каждой картинѣ природы у Жуковскаго сквозитъ душа: вездѣ взглядъ на даль, на безконечность: ни одна всего не доказываетъ, что̀ въ ней кроется, и пророчитъ еще болѣе, чѣмъ обнаруживаетъ. Эта душа, стремящаяся встрѣтить и обнять себѣ близкое и родное въ природѣ, эта душа, ищущая сама себя во всемъ созданіи Божіемъ и обрѣтающая искомое только въ таинственномъ присутствіи Самого Создателя, есть то *невыразимое*, которое такъ глубоко созналъ и такъ прекрасно воспѣлъ самъ же поэтъ въ извѣстномъ отрывкѣ:

Но то, что слито съ сей блестящей красотою, —
Сіе столь смутное, волнующее насъ,
Сей внемлемый одной душою
Обворожающаго гласъ,
Сіе къ далекому стремленье,
Сей миновавшаго привѣтъ,
. . . . . .
Сіе шепнувшее душѣ воспоминанье
О миломъ радостномъ и скорбномъ старины,
Сія сходящая святыня съ вышины,
Сіе присутствіе Создателя въ созданьѣ, —
Какой для нихъ языкъ?...

Многіе поэты, безсознательно принадлежа христіанству, пользовались преимуществами его глубокомысленнаго воззрѣнія на природу точно такъ, какъ и многіе люди безсознательно пользуются спасительными его истинами, безъ которыхъ въ прахъ разрушилась бы жизнь ихъ. Не таковъ былъ, конечно, Жуковскій. Союзъ поэзіи съ религіей былъ для него святъ и ненарушимъ — и этой мысли онъ пребылъ вѣренъ, начиная отъ первыхъ звуковъ своей лиры до послѣднихъ. Замѣчательны эти явленія въ исторіи мысли русскаго человѣка. Ломоносовъ связалъ науку съ религіею, оградивъ первую отъ безбожія, а вторую отъ суевѣрія ихъ священнымъ союзомъ. Онъ сказалъ: „Правда и вѣра двѣ родныя сестры, дщери одного Все-

вышняго Родителя". Державинъ соединилъ съ религіею правду дѣлъ жизни, сказавъ о Богѣ:

Онъ совѣсть внутрь, Онъ правда внѣ.

Жуковскій укрѣпилъ тотъ же союзъ между религіей и поэзіею, когда сказалъ:

Поэзія небесной
Религіи сестра земная.

Этимъ тремъ роднымъ мыслямъ въ душѣ русскаго человѣка одинъ источникъ, таящійся въ недознанныхъ глубинахъ древней его жизни. Одно изъ условій высшаго призванія къ поэзіи для Жуковскаго заключено было въ *чистотѣ сердца*:

Клянуся, ты назначенъ быть поэтомъ.
Не своелюбіе, не тщетный призракъ
Тебя влекутъ — тебя зоветъ самъ Богъ;
Къ великому стремишься ты смиренно,
И ты дойдешь къ нему — *ты сердцемъ чистъ.*

Религія христіанская, озаривъ поэта своими истинами, открыла ему многія свѣтлыя мысли, лежащія въ глубинѣ содержанія его произведеній. Одна изъ такихъ любимыхъ, плодотворныхъ его мыслей, есть мысль о страданіи, котораго святая, безконечная тайна уяснена была человѣку только чашею геесиманскою. Для Жуковскаго „страданіе — творецъ великаго: оно знакомитъ насъ съ тѣмъ, чего мы никогда въ безмятежномъ нашемъ блаженствѣ не узнаемъ: съ таинственнымъ вдохновеніемъ вѣры, съ утѣхою надежды, съ сладостнымъ упоеніемъ любви". Для Жуковскаго страданіе есть „таинство, образующее душу". Для него:

Земная жизнь — страданія питомецъ!
И сколь душа велика симъ страданьемъ!
Сколь радости при немъ помрачены!

Онъ самъ сказалъ устами поэта, славнаго страданіями своей жизни:

Неправедно роптал я на страданье;
Мнѣ въ душу Богъ вложилъ его.

Онъ правъ:

Страданіемъ душа поэта зрѣетъ,
Страданіе — святая благодать.

Религія научила его быть равнодушнымъ къ минутнымъ наслажденіямъ настоящаго, въ которыхъ скрывается цвѣтъ жизни, увядаетъ душа, скука смѣняетъ надежду, и остается только одно презрѣніе къ истраченной по мгновеніямъ жизни. Мысль поэта не признавала счастія въ настоящемъ, потому что оно конечно, и душа уловить его не можетъ. Она съ любовью носилась всегда между прошедшимъ и будущимъ, между воспоминаніемъ и надеждою, потому что прошедшее вѣчно для сердца, надъ которымъ утрата безсильна, а будущее неистощимо надеждой для того, кто вѣруетъ. Такова жизнь души, свыше просвѣтленной, души, — которая жаждетъ безконечнаго и смот-

рить на тѣло, какъ на временную свою оболочку. Этимъ мыслимъ источникъ не въ очарованномъ романтизмѣ Запада, но въ глубинѣ вѣрованій самой жизни. Для нихъ языкъ русскаго народа далъ поэту свои живыя и точныя слова: прошедшее у Жуковскаго наше русское *завѣтное,* будущее наше *желанное,* — слова, имъ столько любимыя. При такомъ благоговѣніи къ завѣту прошедшаго и къ желанному будущему, само настоящее получаетъ свою истинную цѣну, и душа печатлѣетъ на его летучей минутѣ только то, что достойно вѣчности, чего не захотѣла бы изгладить она въ воспоминаніи, что свято и чисто сіяетъ для нея въ прошедшемъ:

Прекрасному — *текущее мгновенье!*

При такомъ только воззрѣніи на время, поэтъ могъ свѣтло и радостно взглянуть на міръ, и сказать всѣмъ то, что Теонъ говоритъ Эсхину:

О, вѣрь мнѣ, прекрасна вселенна!

*

Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ;
Все въ жизни къ великому средство;
И горесть и радость — все къ цѣли одной:
Хвала жизнедавцу Зевесу!

Религія воспитала въ нашемъ поэтѣ еще одно свойство, рѣдкое между поэтами, — свойство простоты, доступной всякому возрасту. Матери — воспитательницы дѣтей своихъ — сколько благодарности принесутъ Жуковскому за тѣ многія произведенія, которыя, будучи прекрасны для всѣхъ возрастовъ, доступны и для младенческаго. Не мало поэтовъ, говорящихъ страстямъ и воображенію юноши, рѣшительной предпріимчивости мужа, глубокомысленному спокойствію или равнодушію старца; но какъ мало такихъ, которые чистымъ свѣтомъ душевнаго огня зажигаютъ глазки дѣтей. По инымъ не велика слава открывать прекрасное для этого возраста, но замѣтимъ, что поэтъ эту славу заимствуетъ изъ того источника всеобщей истины, куда равно глядѣться могутъ и мужъ, искушенный опытомъ жизни, и невинный сердцемъ младенецъ. Добро живѣе коренится въ сердцѣ и милѣе для насъ, когда мы рано пріучались роднить его съ чувствомъ красоты. Если ни одно впечатлѣніе не пропадаетъ для души даромъ, то счастливъ русскій ребенокъ, съ удовольствіемъ лепечущій стихи изъ *Пѣсни бѣдняка:*

Въ селеньи каждомъ есть твой храмъ
Съ сіяющимъ крестомъ,
Съ молитвой сладкой и съ Твоимъ
Доступнымъ алтаремъ.

Это живое пониманіе связи между религіею и поэзіею, это высокое воспитаніе души поэта въ святынѣ чистоты и цѣломудрія, не ограничило его дѣятельности одними гимнами къ Богу. Нѣтъ, онъ пѣлъ наше земное, житейское, человѣческое; онъ черпалъ вдохновеніе у поэтовъ нехристіанскихъ; но, скажемъ его же словами: „онъ зналъ Его, онъ вѣрилъ Ему, онъ шелъ къ Нему, онъ велъ къ Нему,

и все, что́ ни встрѣчалось на пути его откровенному оку, — все оно, прошедъ черезъ его душу, пріобрѣтало ея характеръ, не измѣнивъ въ то же время и собственнаго".

Жуковскій всегда оставался вѣренъ своему назначенію, какъ поэта, потому что свободно служилъ красотѣ. Красота была главною мыслію всѣхъ его вдохновеній; но чистота сердца осіяла и освятила эту мысль въ душѣ его. Выразимъ теперь ее его же словами:

Но все, что отъ временъ прекрасныхъ,
Когда онъ[1]) мнѣ доступенъ былъ,
Все, что отъ милыхъ, темныхъ, ясныхъ,
Минувшихъ дней я сохранилъ —
Цвѣты мечты уединенной
И жизни лучшіе цвѣты —
Кладу на твой алтарь священный,
О геній *чистой красоты.*

*

Не знаю, свѣтлыхъ вдохновеній
Когда воротится чреда —
Но ты знакомъ мнѣ, чистый геній
И свѣтитъ мнѣ твоя звѣзда.
Пока еще ея сіянье
Душа умѣетъ различать,
Не умерло очарованье;
Былое сбудется опять.

Въ другой разъ, передъ Рафаэлевой Мадонной, онъ вспомнилъ о томъ же, ему столько знакомомъ, *Геніи чистой красоты*, и такъ сказалъ объ немъ:

Онъ лишь въ чистыя мгновенья
Бытія слетаетъ къ намъ,
И приноситъ откровенья,
Благодатныя сердцамъ.
Чтобъ о небѣ сердце знало
Въ темной области земной,
Лучшей жизни покрывало
Приподъемлетъ онъ порой;
А когда насъ покидаетъ,
Въ даръ любви, у насъ въ виду,
Въ нашемъ небѣ зажигаетъ
Онъ прощальную звѣзду.

Замѣчательно, что поэтъ не счелъ излишнимъ обозначить эпитетомъ *чистаго* тотъ геній красоты, которому обрекъ себя на служеніе. Но развѣ есть, развѣ можетъ быть геній красоты *нечистой?* Видно, поэтъ предчувствовалъ, что въ его же время образъ красоты затемнится и потускнѣетъ отъ дыханія дѣйствительности житейской, что люди вѣка, назвавшаго себя положительнымъ, потеряютъ вѣру въ красоту и поэзію. Вотъ почему, конечно, создавая не для одной минуты вѣка, онъ ограждалъ чистотою души и жизни мысль о красотѣ, какъ ввѣренное ему отъ Бога сокровище, какъ предметъ и цѣль своего непорочнаго служенія.

Эта мысль поэта, имъ же самимъ выраженная, какъ свѣтильникъ, озаритъ для насъ весь обширный кругъ его произведеній и соберетъ ихъ въ храмину одного стройнаго цѣлаго. Давно уже сказано и сдѣлалось общимъ мѣстомъ у насъ въ литературѣ, что Жуковскій и въ переводахъ своихъ былъ оригиналенъ. Обновимъ теперь кстати эту мысль его собственными словами, которыя сказалъ онъ въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Гоголю: „Я часто замѣчалъ, что у меня наиболѣе свѣтлыхъ мыслей тогда, какъ ихъ надобно импровизировать въ возраженіе или въ дополненіе чужихъ мыслей; мой умъ, какъ огниво, которымъ надобно ударить объ кремень, чтобы изъ него

---

[1]) Дарователь пѣснопѣній.

выскочила искра — это вообще характеръ моего авторскаго творчества; у меня почти все чужое или по поводу чужого — и все, однако, мое".

Жуковскій переводилъ только то, чему сочувствовала душа его, что̀ было ей родственно, что согласовалось съ любимою его мыслію; для него:

Съ ней все близкое прекрасно,
Все знакомо, что̀ вдали.

Геній чистой красоты, озарявшій внушенія его музы, не былъ такъ исключителенъ, и умѣлъ открывать ему прекрасное и около себя, и у всѣхъ народовъ міра, и во всѣ времена. Но, разъ принявъ живымъ сочувствіемъ это чужое, геній Жуковскаго съ любовью предавался ему и возсоздавалъ его какъ свое — и русскій языкъ, свободно покоряясь наитію усвоеннаго имъ вдохновенія, не носилъ никакихъ слѣдовъ подражательности, а блисталъ всѣми красотами, свойственными силѣ творца-поэта. *Шевыревъ.*

Историческое значеніе поэзіи Жуковскаго.

Неизмѣримъ подвигъ Жуковскаго и велико значеніе его въ русской литературѣ! Его романтическая муза была для дикой степи русской поэзіи элевзинскою богиней Церерой: она дала русской поэзіи душу и сердце, познакомивъ ее съ таинствомъ страданія, утратъ, мистическихъ откровеній и полнаго тревоги стремленія „въ оный таинственный свѣтъ", которому нѣтъ имени, нѣтъ мѣста, но въ которомъ юная душа чувствуетъ свою родную, завѣтную сторону. Есть пора въ жизни человѣка, когда грудь его полна тревоги и волнуется тоскливымъ порываніемъ безъ цѣли, когда горячія желанія съ быстротою смѣняютъ одно другое, и сердце, желая многаго, не хочетъ ничего; когда опредѣленность убиваетъ мечту, удовлетвореніе подсѣкаетъ крылья желанію, когда человѣкъ любитъ весь міръ, стремится ко всему и не въ состояніи остановиться ни на чемъ; когда сердце человѣка порывисто бьется любовью къ идеалу и гордымъ презрѣніемъ къ дѣйствительности, и юная душа, расправляя мощныя крылья, радостно взвивается къ свѣтлому небу, желая забыть о существованіи земного праха. Въ эту пору жизни человѣка любовь робка и стыдлива, жаждетъ одного только сочувствія и удовлетворяется долгимъ взглядомъ, таинствомъ присутствія милаго существа, и за тихое пожатіе руки не пожелаетъ полнаго обладанія. Правда, въ этой порѣ много односторонности, много ложнаго, больше фантазіи, чѣмъ сердца, и за нею непремѣнно должна слѣдовать пора горячаго и тяжелаго разочарованія, для того, чтобы человѣкъ пришелъ въ состояніе понять истину, какъ она есть, простую и прекрасную собственною красотой, а не радужнымъ нарядомъ фантазіи; чтобы онъ могъ понять, что вѣчное и безконечное является въ преходящемъ и конечномъ, что идея въ фактахъ душа въ тѣлѣ... Но эта пора юношескаго энтузіазма есть необходимый

моментъ въ нравственномъ развитіи человѣка, — и кто не мечталъ, не порывался въ юности къ неопредѣленному идеалу фантастическаго совершенства, истины, блага и красоты, тотъ никогда не будетъ въ состояніи понимать поэзію — не одну только создаваемую поэтами поэзію, но и поэзію жизни, вѣчно будетъ онъ влачиться низкою душой по грязи грубыхъ потребностей тѣла и сухого, холоднаго эгоизма. Пора безотчетнаго романтизма въ духѣ среднихъ вѣковъ есть необходимый моментъ не только въ развитіи человѣка, но и въ развитіи каждаго народа и цѣлаго человѣчества. Средніе вѣка были этимъ великимъ моментомъ развитія народовъ западной Европы, а слѣдовательно, всего человѣчества, и этотъ моментъ всемірно-историческаго развитія выразился въ искусствѣ среднихъ вѣковъ. Мы, русскіе, позже другихъ вышедшіе на поприще нравственно-духовнаго развитія не имѣли своихъ среднихъ вѣковъ: Жуковскій далъ намъ ихъ въ своей поэзіи, которая воспитала столько поколѣній и всегда будетъ такъ краснорѣчиво говорить душѣ и сердцу человѣка въ извѣстную эпоху его жизни. Жуковскій — это поэтъ стремленія, душевнаго порыва къ неопредѣленному идеалу. Произведенія Жуковскаго не могутъ восхищать всѣхъ и каждаго во всякій возрастъ: они внятно говорятъ душѣ и сердцу въ извѣстный возрастъ жизни или въ извѣстномъ расположеніи духа: вотъ настоящее значеніе поэзіи Жуковскаго, которое она всегда будетъ имѣть. Но Жуковскій, кромѣ того, имѣетъ великое историческое значеніе для русской поэзіи вообще: одухотворивъ русскую поэзію романтическими элементами, онъ сдѣлалъ ее доступною для общества, далъ ей возможность развитія, и безъ Жуковскаго мы не имѣли бы Пушкина. Сверхъ того, есть еще другая великая заслуга русскому обществу со стороны Жуковскаго: благодаря ему, нѣмецкая поэзія — намъ родная, и мы умѣемъ понимать ее безъ того усилія, которое условливается чуждою національностью. Еще въ дѣтствѣ мы, черезъ Жуковскаго, пріучаемся любить и понимать Шиллера, какъ бы своего національнаго поэта, говорящаго намъ русскими звуками, русскою рѣчью...

Какъ не любить Жуковскаго, котораго каждый изъ насъ съ благодарностью признаетъ своимъ воспитателемъ, развившимъ въ его душѣ всѣ благородныя сѣмена высшей жизни, все святое и завѣтное бытія? Это безпрерывное стремленіе куда-то, это томительное порываніе въ какую-то туманную даль, за которою тускло мерцаетъ заря лучшей жизни; эта вѣчная грусть по какомъ-то недостижимомъ идеалѣ блаженства, тоскливое воспоминаніе о миломъ „прежде“, въ которомъ жизнь была такъ прекрасна, такъ полна надеждъ и удовлетворенія; это всегдашнее недовольство настоящимъ, которое богато только утратами и страданіемъ; эта благородная покорность волѣ Провидѣнія; эта гордая и твердая вѣра въ вѣчность любви и жизни — непреходящность того, что выражается въ преходящихъ явленіяхъ міра, это грустное наслажденіе роскошью прекрасной природы, это всегдашнее прощаніе съ обаятельными радостями земного и перенесеніе всѣхъ

упованій по ту сторону жизни, туда, гдѣ свершеніе всѣхъ обѣтованій души и мистическихъ предчувствій полнаго любви и страданія сердца, гдѣ вѣчная весна, неувядающіе цвѣты радости, гдѣ нѣтъ разлуки съ милымъ, — что это такое, какъ не первое пробужденіе духа, сознавшаго себя духомъ?... И въ какихъ дивныхъ образахъ, прозрачно сотканныхъ изъ волнующихся тумановъ, вечерняго сумрака и алой зари, въ какихъ мелодическихъ звукахъ, — похожихъ то на звуки эоловой арфы, пробуждаемыхъ дуновеніемъ зефира, то на ропотъ гремучаго ручья, — передалъ намъ ихъ нашъ унылый пѣвецъ?...

Горе тому, кому не мила была мысль о смерти, кто не любилъ для того, чтобы только любить, чья любовь къ женщинѣ не была только грустью, только молитвою, робкая, стыдливая, дѣвственная, безмолвная, чуждая всякаго желанія, смущающаяся отъ встрѣчи съ милымъ взоромъ, отъ тихаго пожатія руки! Да, горе ему: онъ никогда не будетъ человѣкомъ, онъ никогда не узнаетъ дѣйствительности, какъ откровенія таинства жизни, какъ ощущенія безконечнаго блаженства: его дѣйствительность будетъ грубая, матеріальная, практическая, полезная, понятная, какъ $2 \times 2 = 4$, сухая и пошлая.

Бѣлинскій.

Воспитательное значеніе поэзіи Жуковскаго.

Въ предлагаемомъ небольшомъ очеркѣ я постараюсь показать, какое воспитательное вліяніе долженъ имѣть Жуковскій по природѣ своей, какъ она сложилась подъ вліяніемъ обстоятельствъ, и по своимъ произведеніямъ, которыя у него больше, чѣмъ у кого бы то ни было изъ его предшественниковъ, являются полнымъ и искреннимъ выраженіемъ этой природы.

Жуковскій прежде всего обладаетъ способностью передавать другимъ свою горячую любовь къ поэзіи, которая для него вовсе не была однимъ изъ искусствъ, *украшающихъ* жизнь, а самою *сущностью* жизни, безъ которой эта жизнь была бы чѣмъ-то безсодержательнымъ, безсмысленнымъ. Изъ сочиненій Жуковскаго мы не найдемъ *опредѣленія* понятія поэзіи или художественнаго творчества вообще; но изъ нихъ можно собрать цѣлую хрестоматію восторженныхъ, почти молитвенныхъ восклицаній, изъ которыхъ напомню одно, наиболѣе извѣстное:

Поэзія есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли.

Это обоготвореніе поэзіи, отожествленіе ея со всѣмъ, что есть самаго высокаго въ жизни, не было исключительно *личной* чертой Жуковскаго: это проявленіе духа времени, основная идея литературной школы, къ которой принадлежалъ онъ; но въ немъ, въ его личности, эта идея, по особымъ обстоятельствамъ, достигла самаго полнаго, *идеальнаго* своего осуществленія.

Мягкій, нѣжный, мечтательный мальчикъ получаетъ въ родномъ домѣ воспитаніе женственное, исключительно эстетическое. 14 лѣтъ

онъ попадаетъ въ учебное заведеніе, гдѣ изученіе такъ называемой изящной словесности было въ сущности единственнымъ учебнымъ предметомъ, а собственныя попытки творчества — единственнымъ проявленіемъ самостоятельности учениковъ.

Когда 22-лѣтнимъ юношей Жуковскій беретъ на себя обученіе своихъ племянницъ, онъ изъ своего плана исключаетъ всѣ положительныя науки и строитъ его только на изученіи поэтовъ; даже теологія и нравственность сводятся у него къ чтенію *классиковъ*.

Правда, онъ придаетъ огромное значеніе *исторіи*, готовъ поставить ее даже на *первомъ* мѣстѣ, но изъ разъясненій его оказывается, что и исторія для него, главнымъ образомъ, есть исторія поэзіи, исторія художественныхъ идей и формъ.

Черезъ 3 года, въ то время, какъ все русское общество ожидало отчаянной политической борьбы, Жуковскій принимаетъ на себя редакцію литературнаго и *политическаго* журнала „Вѣстникъ Европы" и въ первомъ же № смѣло, — я сказалъ бы даже дерзко, если бы понятіе дерзости не противорѣчило въ такой степени его голубиной природѣ, — заявляетъ читателямъ, что для его беззаботнаго и миролюбиваго ума *политика* не имѣетъ ни малѣйшей привлекательности. И дѣйствительно, предоставивъ ее Каченовскому, онъ самъ работаетъ надъ журналомъ только какъ надъ сборникомъ изящной прозы и стиховъ.

Когда онъ дѣлается учителемъ великой княгини Александры Ѳеодоровны, онъ, какъ извѣстно, сводитъ все обученіе русскому языку къ поэзіи и сухое преподаваніе грамматики превращаетъ въ сравнительное изученіе нѣмецкаго и русскаго поэтическаго слога.

Когда Жуковскому было поручено воспитаніе и образованіе наслѣдника русскаго престола, будущаго Царя-Освободителя, этотъ идеально-честный человѣкъ будто отрекся отъ собственной личности, чтобы всецѣло отдаться исполненію высокой задачи, и засѣлъ за учебники по всѣмъ самымъ несимпатичнымъ ему, но полезнымъ для его ученика предметамъ, не исключая даже и ненавистной ему математики; но все же въ исторіи его великаго труда нельзя не видѣть явныхъ указаній на то исключительное значеніе, какое придавалъ Жуковскій-воспитатель эстетической сторонѣ образованія вообще и поэзіи въ частности. Да и въ послѣдніе годы жизни, когда онъ снова вернулся къ педагогіи уже ради своихъ собственныхъ дѣтей, онъ пишетъ Гоголю, что изобрѣтенная имъ метода обученія дочери грамотѣ вполнѣ „имѣетъ характеръ поэтическаго изданія".

Обоготвореніе поэзіи, отожествленіе прекраснаго съ нравственнымъ, какъ я уже упомянулъ, есть одинъ изъ базисовъ романтизма; но ни у кого изъ нѣмецкихъ романтиковъ теорія не сливалась до такой степени съ жизнью, какъ у Жуковскаго. Нѣмецкіе романтики, заплативъ дань крайнему идеализму въ юношескихъ статьяхъ и лекціяхъ, успѣвали своевременно приводить въ порядокъ свои дѣла: занимать каѳедры, устраиваться въ популярныхъ журналахъ и пр.; ихъ ученикъ въ Бѣлевскомъ уѣздѣ въ лучшіе годы для избранія карьеры живетъ, какъ птица не-

бесная: ежедневно путешествуетъ по 6 верстъ изъ Мишенскаго въ Бѣлевъ и обратно, бросаетъ безъ всякаго основанія изданіе журнала, который приносилъ ему извѣстность и выгоды, и пишетъ, повидимому, только для себя и для своихъ близкихъ. Полюбивъ одну изъ ученицъ своихъ, онъ изливаетъ свое чувство въ прелестныхъ стихахъ, а хлопотать, подвигать дѣло, ломая препятствія, предоставляетъ друзьямъ своимъ; получивъ отказъ отъ суровой своей сестрицы-тетушки, онъ почти не пытается бороться и будто спѣшитъ и самъ примириться съ нимъ и примирить возлюбленную. Когда вторая его ученица стала невѣстой его эгоистичнаго друга-предателя Воейкова, который, пріобрѣтя расположеніе будущей тещи своей, немедленно началъ куражиться надъ Жуковскимъ самымъ наглымъ образомъ, а на свадьбу по помѣщичьему обычаю не оказалось наличныхъ денегъ, Жуковскій, ни минуты не задумываясь, продаетъ небольшую деревеньку, единственное свое достояніе, чтобы всѣ деньги вручить матери своихъ ученицъ, виновницѣ своего несчастія, и еще „съ восторгомъ" благодаритъ Екатерину Аѳанасьевну за принятіе этого подарка.

Увязавшись за семьей Протасовыхъ, при ея отъѣздѣ въ Дерптъ, гдѣ при его же содѣйствіи Воейковъ получилъ каѳедру русской словесности, Жуковскій не только съ радостнымъ увлеченіемъ снова усаживается на ученическую скамью вмѣстѣ съ 17-лѣтними студентами, но и съ такимъ же увлеченіемъ участвуетъ въ ихъ фуксъ-комершахъ и съ серіознымъ лицомъ исполняетъ всѣ обряды студенческихъ попоекъ! Самихъ нѣмецкихъ профессоровъ поражаетъ онъ своею наивностью и непрактичностью.

Это все, конечно, проявленіе идеальной душевной простоты и доброты, но такое проявленіе, за которое общественное мнѣніе иногда называетъ дурачками и зелеными юношами; а Жуковскому въ это время было около тридцати лѣтъ, когда, по словамъ Пушкина, всякому русскому дворянину, чтобы не считаться неудачникомъ, необходимо быть „или полковникомъ, или коллежскимъ совѣтникомъ". Вотъ что пишетъ о Жуковскомъ въ 1813 г. одинъ изъ лучшихъ его друзей другому, кн. Вяземскій А. И. Тургеневу: „Жуковскаго надо освѣжить: онъ теперь вянетъ, и я, ей Богу, боюсь, чтобы онъ вовсе не увялъ... Нельзя долго жить въ *мечтательномъ мірѣ*, и не надобно забывать, что мы хотя и одарены *безсмертною душою*, но все-таки немного причастны *скотству*, *а можетъ быть, и очень*. Жуковскій же пренебрегаетъ вовсе скотствомъ: *это гибельно*".

Хорошіе, но крайне непрактичные люди, которые не хотятъ заботиться о себѣ, невольно заставляютъ другихъ хорошихъ людей играть для нихъ роль доброй волшебницы въ сказкахъ: тѣ же друзья Жуковскаго все яснѣй и яснѣй сознаютъ, что *они должны* позаботиться о немъ. 22 марта 1815 г. тотъ же Вяземскій пишетъ тому же Тургеневу: „Съ вами ли Жуковскій? Поручаю его тебѣ... На зло ему сдѣлай ему добро. Нужно непремѣнно обезпечить его судьбу, утвердить его состояніе. Такой человѣкъ, какъ онъ, не долженъ быть рабомъ

обстоятельствъ. Слава царя, отечества и вѣка требуютъ, чтобы онъ былъ независимъ. Друзьямъ его надобно подумать объ его счастіи и, какъ я сказалъ, на зло ему сдѣлать ему добро".

Счастья не могли ему доставить, тѣмъ болѣе, что скоро онъ самъ добровольно повѣнчалъ свою невѣсту съ дерптскимъ профессоромъ Мойеромъ; но Тургеневъ съ братіею доставили ему, по крайней мѣрѣ, благосостояніе; его придвинули ко двору, сблизили съ императрицей Маріей Ѳеодоровной и устроили ему хорошую пожизненную пенсію. Тогда начинается петербургскій періодъ жизни Жуковскаго, не менѣе юношескаго плодотворный въ смыслѣ творческомъ и самый вліятельный въ смыслѣ историческо-литературномъ; достаточно сказать, что въ этотъ періодъ онъ и воспиталъ, и въ „Арзамасъ" ввелъ, и спасалъ много разъ, и, наконецъ, въ гробъ положилъ Пушкина.

Сталъ ли *теперь* Жуковскій практичнѣе, живя среди высшихъ чиновниковъ и ловкихъ придворныхъ обоего пола? Имѣлъ ли онъ право *теперь* говорить о себѣ:

Я все дитя, и буду вѣчно
Дитя, жилецъ земли безпечный.

Ради этого *сына и друга своего* природа будто измѣнила свой обычный ходъ: меланхоликъ-юноша черезъ 50 лѣтъ превратился въ жизнерадостнаго, дѣтски-веселаго старца, а его оптимистическое міросозерцаніе, его вѣра въ Бога и человѣка, въ поэзію и жизнь оставались неизмѣнными цѣлое полустолѣтіе.

„Все въ жизни къ великому средство!" — восклицалъ Жуковскій въ 30 лѣтъ, переживая тяжелое душевное горе, съ тѣмъ же утѣшительнымъ девизомъ въ мысляхъ разстался онъ въ 69 лѣтъ съ молодою женою и крошками-дѣтьми!

Какъ поэтъ глубокой задушевной правды, Жуковскій проводилъ это міросозерцаніе во всѣхъ своихъ *субъективныхъ* произведеніяхъ; нужно ли говорить о томъ, насколько оно *воспитательно*, какъ благотворно должно вліять оно особенно въ наше далеко не жизнерадостное время!?

Но на массу читателей, особенно на читателей юныхъ, Жуковскій имѣетъ еще большее вліяніе своими объективными, лиро-эпическими стихотвореніями: переводными и оригинальными балладами, поэмами и сказками.

Было бы слишкомъ долго перечислять не только самыя эти стихотворенія, но даже главныя группы ихъ — такъ много поработалъ Жуковскій на этомъ высоко-полезномъ поприщѣ; такъ много сдѣлалъ онъ для ознакомленія русскихъ съ литературой всемірной. Куда только не заводилъ онъ своего читателя: Иранъ, древняя Индія, Греція, Ирландія, средневѣковая Испанія и пр. и пр., и всюду показываетъ своеобразныя прелестныя картинки.

Чтобы опредѣлить, каково воспитательное значеніе ихъ, мы должны на минуту заглянуть въ исторію романтизма.

Почему романтизмъ такъ быстро завоевалъ себѣ симпатію большой публики и особенно молодежи, мало интересовавшейся теоретическими вопросами по искусству? Именно потому, что онъ вернулъ человѣчество отъ классическаго формализма и разсудочности и отъ сухой тенденціозности литературы просвѣщенія къ живымъ, вѣчно юнымъ продуктамъ первобытной *народной* поэзіи.

Всѣ баллады основаны на народомъ созданныхъ и народомъ усвоенныхъ старыхъ сказаніяхъ или вымышлены въ духѣ ихъ; а народная поэзія всегда проникнута наивною, но здоровою моралью. Эту народную мораль, естественно, усвоили и учителя Жуковскаго — романтики; но она осложнилась у нихъ такъ называемой романтической *ироніей*, средневѣковою мечтательностью и мистицизмомъ. Къ романтической ироніи Жуковскій не наклоненъ, а мечтательность и мистицизмъ, сами по себѣ черты не особенно симпатичныя, едва ли кому принесутъ вредъ въ томъ видѣ, въ какомъ они предлагаются у Жуковскаго. Пускай реалистическая критика издѣвается надъ любовью рыцаря Тогенбурга, умирающаго на камнѣ передъ окномъ возлюбленной: все лучше, если подростокъ плѣнится *такою* любовью, нежели сразу начнетъ съ противоположной ей; наконецъ, если развитіе мечтательности было опасно въ тѣ годы, когда воспитывались Рудины и Райскіе, едва ли такая опасность существуетъ теперь. Но, главное, такіе спеціально-романтическіе сюжеты составляютъ у Жуковскаго меньшинство; большинство же его произведеній проникнуто здоровою и высокогуманною нравственностью если не русскихъ, то, во всякомъ случаѣ, обще-европейскихъ сказокъ. Правда, все это только сказки, *побасенки*; но, какъ говоритъ Гоголь, „міръ задремалъ бы безъ такихъ побасенокъ, обмелѣла бы жизнь, плѣсенью и тиной покрылись бы души". Кто сумѣлъ эти *побасенки* пересказать такъ красиво и вложить въ нихъ столько добраго чувства, тотъ много сдѣлалъ для блага родины.

Кирпичниковъ.

Значеніе Жуковскаго въ исторіи развитія литературнаго языка.

Сколько бы мы ни находили красотъ въ писателѣ со стороны его творчества и художественной распорядительности, всѣ онѣ довершаются его языкомъ. Но въ чемъ состоитъ достоинство писателя въ этомъ отношеніи? Намъ кажется, что способности его обнаруживаются двумя способами: или онъ пользуется готовыми ужъ, такъ сказать, наличными средствами языка, какъ знатокъ и мастеръ, выражаясь на нихъ вѣрно и изящно, или онъ достигаетъ этихъ самыхъ совершенствъ, проникая до сокровенныхъ тайнъ языка, развертывая его силы, приводя въ извѣстность невѣдомыя до того богатства, и, такимъ образомъ, дѣлаетъ достояніемъ литературы и общества то, что безъ него осталось бы надолго, а можетъ-быть, навсегда безъ упо-

требленія и пользы. Одинъ способъ свойственнен, какъ мы сказали, знатоку и мастеру; другой — великому дарованію, богатому новыми литературными идеями. Говорятъ, что такой-то писатель обогатилъ языкъ, внося въ него слова и обороты; это выраженіе очень неточно, какъ будто писатель въ состояніи добавлять языкъ своими изобрѣтеніями. Положимъ, что у него есть слогъ; но слогъ есть не болѣе, какъ особенный слѣдъ, оставляемый на готовомъ ужъ составѣ языка его личностью, оригинальностью его мысли. Геній писателя смиряется предъ геніемъ языка; онъ не властенъ измѣнить его основныхъ законовъ или придать ему совершенства, съ ними несовмѣстныя. Но онъ можетъ постигать его тайны лучше многихъ, лучше всѣхъ другихъ; онъ можетъ, не спрашиваясь мелочной лингвистики, дѣлать открытія, быть Колумбомъ языка, дать самому народу понять, какими сокровищами онъ надѣленъ отъ природы, ввести его, такъ сказать, во владѣніе ими, какъ геній, открывшій Америку, ввелъ человѣчество во владѣніе цѣлою частью свѣта. Что сдѣлалъ Ломоносовъ, установляя языкъ нашей литературы и науки? Изобрѣталъ ли онъ слова, съ ихъ формами, устройство рѣчи? Или перемѣнялъ значеніе однихъ и составъ другой? Нѣтъ! онъ только воспользовался готовымъ запасомъ словъ и привилъ, такъ сказать, къ нимъ новыя понятія, потому что эти слова, по свойству широкаго отразившагося въ нихъ національнаго духа и свойственной ему силы движенія, оставаясь точными на своемъ мѣстѣ, въ употребленіи, не были закованы въ цѣпи неподвижнаго и тѣснаго спеціализма и способны были развиваться съ новыми идеями жизни и образованности, принимать въ себя свѣтъ и теплоту живаго дѣйствующаго ума. Когда же, впослѣдствіи, не доставало запаса словъ существующихъ, писатели обращались къ другому свойству русскаго языка, къ его гибкости, его богатому словопроизводству, и тотъ же геній языка помогалъ имъ съ честію выходить изъ затрудненія. Такъ и въ архитектоникѣ рѣчи Ломоносовъ и слѣдующіе за нимъ лучшіе писатели употребляли, сколько требовалъ ходъ нашего образованія, новыя словосочетанія, извлекая ихъ изъ общихъ свойствъ нашего богатаго синтаксиса и логики языка, столь здравой и естественной. Языкъ литературный совершенствовался по мѣрѣ того, какъ писатели покидали искусственныя формы, лучше постигали духъ выраженія общенароднаго и приближались къ нему оборотами рѣчи. Но, не считая никого изобрѣтателемъ въ дѣлахъ языка, мы тѣмъ не менѣе должны признать высокую заслугу писателей, которые подвигаютъ его впередъ, испытывая и употребляя его природныя средства. Здѣсь каждое слово, удачно употребленное для обозначенія новаго оттѣнка понятія, каждый оборотъ, впервые выражающій новое направленіе мысли, или ея смѣлый, оригинальный порывъ, каждая капля свѣжей краски, очутившаяся на палитрѣ поэта-живописца, — все важно, все дорого, какъ проявленіе его жизненной силы, какъ новое орудіе для распространенія и утвержденія образованности и истины. Такимъ образомъ, мы будемъ благодарны и Богдановичу, нашедшему впервые возможность дать нѣкоторый просторъ

игривой и легкой мысли въ неуклюжемъ до того построеніи стиха, и Хемницеру, вызвавшему изъ мрака на литературное употребленіе нѣкоторыя общенародныя формы и краски, не говоря ужъ о Державинѣ, извлекавшемъ изъ нетронутыхъ рудниковъ слова цѣлые куски самороднаго золота для ковки своей могучей и блистательной рѣчи, ни о Карамзинѣ, который произвелъ такое рѣшительное измѣненіе литературнаго языка нашего возвращеніемъ его къ собственной живой логикѣ и художественной обработкѣ готовыхъ матеріаловъ.

Поэтическій языкъ нашъ до Жуковскаго находился на той же степени, какъ самая литература. Мы видѣли, что въ этой послѣдней эстетическій элементъ еще не обозначился вѣрно и точно и что въ ней преобладали воззрѣнія и идеи, возбужденныя не природою и жизнью, а духомъ французской искусственной школы. Поэтому, хотя на поэтическій языкъ имѣли благотворное вліяніе такіе писатели, какъ Карамзинъ и Дмитріевъ, однакожъ общій его характеръ не отличался разнообразіемъ и естественностью красокъ. Въ немъ было что-то внѣшнее, мало истинное, что-то сдѣланное, а не создавшееся; обороты его были похожи на формулы, которыя только прилаживались къ мыслямъ: видно было, что ихъ производило преднамѣренное искусство, а не свободная творческая сила возбужденной души. Тогда внѣшнее реторическое убранство рѣчи считали за краснорѣчіе, не понимая самой простой и очевидной истины, что идея, лишенная внутренней силы, сухая, тощая, чрезвычайно смѣшна, когда ее стараются выставить въ красивомъ и великолѣпномъ видѣ, что она похожа на старуху, наряженную къ вѣнцу. Одинъ и тотъ же привычный ходъ мыслей, одни и тѣ же воззрѣнія на вещи удерживали языкъ въ тѣсныхъ границахъ и не позволяли ему выказать своихъ богатствъ. Съ Жуковскимъ наступилъ для него новый періодъ. Идеи, которыми овладѣлъ онъ въ литературахъ германской и англійской, требовали новыхъ формъ выраженія; Жуковскій нашелъ матеріалы для нихъ въ русскомъ языкѣ и создалъ изъ нихъ эти формы съ искусствомъ необычайнымъ. Чѣмъ разнообразнѣе были самыя идеи, тѣмъ болѣе развивался языкъ подъ перомъ его. Живыя и нѣжныя ощущенія сердца съ ихъ едва уловимыми оттѣнками, красоты природы, открывающіяся взору, прямо и съ любовью на нихъ устремленному, чистые идеальные образы съ ихъ неземною таинственною прелестію — все это облеклось въ выраженія, краски, вполнѣ ему соотвѣтствующія, цвѣтущія, осязательныя, изящныя. Никогда еще русскій языкъ не обнаруживалъ столько гибкости, благородства, граціи въ поэтическомъ изложеніи мысли, какъ теперь. Сколько словъ представилось намъ, получившихъ новый оттѣнокъ выразительности и силы или чрезъ аналогическое сближеніе понятій или посредствомъ удачнаго и вѣрнаго распредѣленія ихъ въ рѣчи! Сколько видоизмѣненій ея, словосочетаній, оборотовъ, доказывающихъ такую же воспріимчивость и многосторонность языка, какими одарены умъ и чувство народа, его создавшаго! Въ немъ явились пособія, тонкости, оттѣнки, прежде несуществовавшія, явился

новый колоритъ живописи. Неудивительно, что, при этихъ средствахъ языка, изображенія Жуковскаго получили особенный плѣнительный характеръ свѣжести и естественности; холодное реторическое расцвѣчиваніе мысли уступило мѣсто выраженію истинному, существенному, почерпающему въ ней и въ вещахъ свою силу и прелесть; въ изображеніяхъ этихъ мы увидѣли природу безъ суетныхъ прикрасъ, съ ея собственною физіономіею, и ея вѣчная красота перестала обезображиваться словомъ надутымъ и изысканнымъ, лишеннымъ духа ея и жизни. Это ужъ были цвѣты не изъ воску сдѣланные, распещренные заказнымъ и жалкимъ малярствомъ, а живые, роскошные цвѣты, сорванные на поляхъ и въ садахъ, полные благоуханія и блеска, которые даритъ одно солнце.

Жаркіе поборники народности языка спрашивали, почему Жуковскій, раскрывшій въ немъ такъ много изящныхъ свойствъ, не пользовался средствами, какія представляетъ писателю идіотизмъ въ обширнѣйшемъ смыслѣ, хорошо понятый и разработанный? Значитъ ли это, однакожъ, что онъ не обращалъ на него вниманія, или что ему не были извѣстны его красоты? Конечно, нѣтъ! отсутствіе этой стихіи языка прямо проистекало изъ духа его поэзіи. Усвоивъ себѣ возвышенное, идеальное направленіе съ его общечеловѣческимъ началомъ, проводя въ литературу и общество идеи новыя, онъ долженъ былъ искать для нихъ выраженій и красокъ болѣе въ цѣломъ составѣ языка, чѣмъ въ частныхъ и особенныхъ его проявленіяхъ, руководствоваться болѣе его духомъ, чѣмъ установившимися опредѣленными формами. Ему очень хорошо были знакомы его особенности и силы, готовыя ко всему прекрасному, истинному и логическому; но онъ естественно обращался къ тѣмъ изъ его способовъ, какіе ближе подходили къ характеру его мыслей и образовъ. И оттого, однакожъ, языкъ Жуковскаго не менѣе есть нашъ чистый родной языкъ. Народность рѣчи не состоитъ въ одномъ идіотизмѣ, а въ оборотахъ, устройствѣ, краскахъ, самостоятельно употребленныхъ писателемъ и сообразныхъ съ духомъ и логикою послѣдняго. Идіотизмъ составляетъ часть языка, конечно, ближайшую къ кореннымъ стихіямъ народности, но онъ не исчерпываетъ всѣхъ свойствъ и богатствъ его точно такъ, какъ пословицы не заключаютъ въ себѣ всего здраваго смысла и практической мудрости, какіе народъ способенъ раскрыть въ своей исторической жизни. Языкъ раздвигаетъ свои предѣлы по мѣрѣ расширенія круга самыхъ понятій; онъ не отступаетъ отъ своихъ коренныхъ основаній; однакожъ, онъ не тотъ уже въ періодъ умственной зрѣлости, какой мы слышимъ въ изустномъ употребленіи простого народа или находимъ въ пѣснѣ, сказкѣ, легендѣ литературы первоначальной; онъ становится полнѣе, многостороннѣе; идіотизмъ, какъ частное проявленіе, какъ оттѣнокъ языка, уступаетъ мѣсто выраженію общенародному и вмѣстѣ художественному. Таковъ языкъ и Жуковскаго. Языкъ этотъ принадлежитъ націи по своей неукоризненной чистотѣ и правильности, а искусству — по своимъ

первоклассным красотам, способным выдержать самый строгій судъ литературной критики. Сладость и благозвучіе стиха, доведенные авторомъ до высокой степени совершенства, организація рѣчи, всегда довершенная и стройная, искусство связывать ея части безъ малѣйшаго затрудненія и усилій, что̀ даетъ такую легкость ея движеніямъ, такую естественность и свободу ея переходамъ, блескъ и мягкость его красокъ — все это важныя достоинства, изобличающія въ Жуковскомъ мастера, который постигъ тайну, какъ обращаться съ матеріей слова. Но здѣсь нѣтъ еще полной художественной красоты выраженія; это только внѣшняя сторона его. На слово нельзя смотрѣть, какъ на матерію, изъ которой искусная рука художника лѣпитъ какія угодно формы; оно есть живая сила, участвующая въ самыхъ процессахъ нашей мысли, и должна исходить наружу изъ глубины духа вмѣстѣ съ ней, какъ одно нераздѣльное цѣлое. Нерѣдко слово бываетъ въ борьбѣ съ мыслью; настойчивость и искусство писателя могутъ, наконецъ, покорить одно другой, могутъ установить между ними внѣшнее отношеніе и согласіе, по которымъ мы справедливо слово называемъ представителемъ мысли. Но высшее совершенство выраженія тамъ, гдѣ изглаживаются всѣ слѣды этой борьбы, гдѣ зиждущая сила распоряжается безпрепятственно, уничтожая всякій антагонизмъ внѣшняго, гдѣ задача ея разрѣшается таинственнымъ актомъ осуществленія идеи въ словѣ, а не механическимъ подчиненіемъ одной силы другой. Здѣсь такъ называемая стилистика, всякая другая красота исчезаютъ, кромѣ красоты предмета, кромѣ самой жизни съ ея разгаданнымъ смысломъ, исторгнутыми геніемъ изъ пучины всеобщаго бытія и переданными сознанію нашему въ его собственность. Такъ въ прекрасномъ лицѣ человѣческомъ плѣняетъ насъ не цвѣтъ лица, не гармоническое сочетаніе линій, не изящество облика, а оно *само* и *оно все*. Конечно, характеръ языка, какой мы представляемъ здѣсь, есть совершенство не для многихъ доступное, но онъ доступенъ былъ высокому дарованію Жуковскаго. Припомнимъ какое-нибудь мѣсто изъ его произведеній; вотъ, напримѣръ, монологъ Анны д'Аркъ въ началѣ IV акта „Орлеанской Дѣвы“:

Молчитъ гроза военной непогоды;
Спокойствіе на полѣ боевомъ;
Вездѣ шумятъ по стогнамъ хороводы;
Алтарь и храмъ блистаютъ торжествомъ;
И зиждутся изъ вѣтвей пышны входы;
И гордый столбъ обвитъ живымъ вѣнцомъ;
И гости ждутъ вѣнчательнаго пира:
Готовы тронъ, корона и порфира.
И все горитъ единымъ вдохновеньемъ;
И груди всѣхъ подъемлетъ мысль одна;
И счастіе волшебнымъ упоеньемъ
Сдружило все, что рознила война;
Гордится Франкъ своимъ происхожденьемъ;
Какъ будто всѣмъ отчизна вновь дана;
И съ честію примирена корона;
Вся Франція въ собраніи у трона.
Лишь я одна, великаго свершитель,
Ему чужда безчувственной душой;
Ихъ счастія, ихъ славы хладный зритель,
Я прочь отъ нихъ лечу моей мечтой;
Британскій станъ, любви моей обитель,
Ищу враговъ желаньемъ и тоской;
Таюсь друзей, бѣгу въ уединенье
Сокрыть души преступное волненье.

Какъ, мнѣ любовію пылать?
Я клятву страшную нарушу?
Я смертному дерзну отдать
Творцу обѣщанную душу?
Мнѣ, усладительницѣ бѣдъ,
Вождю спасенья и побѣдъ,
Любить врага моей отчизны?
Снесу ли сердца укоризны?
Скажу ль о томъ сіянью дня?
И стыдъ не истребитъ меня?!

Передъ вами мученица великой идеи, открывающая тайныя глубины своего сердца. Мы видимъ ее, мы чувствуемъ ея муки и забываемъ о языкѣ, которымъ все это выражено. Что̀ намъ за дѣло до того, какіе способы употреблены, чтобъ передать намъ одно изъ роковыхъ мгновеній жизни? Передъ нами бьется, трепещетъ сердце, изнемогающее въ борьбѣ его нѣжныхъ влеченій съ строгою задачею, павшею на эту слабую женственную грудь съ высоты самаго неба. Анализируйте, если вамъ угодно, всю картину, чтобъ опредѣлить степень ея художественнаго достоинства, изучайте эту удивительную стройность въ движеніи рѣчи, эту мягкость кисти, которая краскамъ даетъ такіе бархатные отливы, ея легкость и непринужденность, съ которыми она, какъ бы едва дотрогиваясь до полотна, оставляетъ на немъ такіе полные, доконченные, дышащіе образы — все это хорошо и нужно; но лучше всего то, что, увлеченные непреодолимою прелестью изображенія, вы забываете его анализировать и не знаете, на что дающее ему эффектъ указать въ языкѣ. Надобно согласиться, что до Жуковскаго никто не давалъ намъ чувствовать, до какой степени языкъ нашъ способенъ къ выполненію самой трудной задачи въ искусствѣ — утаивать въ себѣ искусство предъ естественнымъ могуществомъ мысли и истины. Кто усомнится послѣ этого въ обиліи его жизненныхъ силъ, въ его возможности извлекать изъ самого себя всѣ нужныя пособія для осуществленія всего, что̀ есть глубокаго, истиннаго и прекраснаго въ стремленіяхъ человѣческой души?

Никитенко.

Особенности таланта и поэтическаго творчества Жуковскаго.

Жуковскій вездѣ вѣренъ однѣмъ и тѣмъ же основнымъ идеямъ своей школы; при всемъ томъ содержаніе произведеній его весьма разнообразно. Гибкость его таланта неоспорима; онъ способенъ ужиться со всѣми поэтическими преданіями, со всѣми предметами, достойными художественнаго воззрѣнія. Для ума его и воображенія не было, повидимому, ни высоты недоступной ни граціи, которая бы не привѣтствовала его улыбкою, какъ близкаго себѣ, какъ своего кровнаго. Разность мѣста, времени, разнообразные характеры, оттѣнки чувствованій — ничто его не затрудняло въ той области, какая соотвѣтствовала его направленію; во всемъ онъ могъ усвоить себѣ поэтическую сущность, духъ, все перечувствовать и все высказать съ увлекательною прелестью слова. Что̀ общаго между германскими *средневѣковыми* легендами и русскимъ писателемъ XIX в.? А онъ постигъ совершенно

эту разцвѣтавшую жизнь, полную героической силы и таинственныхъ видѣній. Поднятую изъ могилы геніемъ новѣйшихъ германскихъ поэтовъ, онъ для насъ вторично оживилъ ее въ изящно-фантастическихъ образахъ. И отсюда съ легкостью, неизмѣненною лѣтами, онъ перенесся, подобно Гётеву Фаусту, въ другой міръ, гдѣ предстали ему и возродились въ его духѣ созданія съ другою физіономіею — созданія прекрасной Греціи съ своимъ античнымъ, спокойнымъ величіемъ и умилительною патріархальною простотою. Вначалѣ онъ, повидимому, любилъ пути, на которыхъ встрѣчаются предметы, сильно потрясающіе душу: онъ восходитъ на скалы, одѣтыя мохомъ, погружается въ глубину дремучихъ лѣсовъ, отдыхаетъ на кладбищѣ, или у воротъ опустѣлаго зàмка, гдѣ, въ полуночномъ мракѣ, сверкаетъ мгновенный, двусмысленный свѣтъ, мелькаютъ роковыя видѣнія. Тогда все это считали принадлежностью романтизма, между тѣмъ какъ это было просто влеченіе поэтической души ко всему таинственному и чудесному въ природѣ, овладѣвающее ею преимущественно въ лѣта юности. Послѣ Жуковскій исполняется болѣе мыслительнаго начала поэзіи. Каждое произведеніе позднѣйшаго періода ужъ ознаменовано у него основною идеей многозначительною и обдуманною; онъ поэтъ не однихъ внѣшнихъ явленій природы или исторіи, не снимщикъ видовъ: въ цвѣтущихъ и богатыхъ образахъ его благоухаетъ мысль, иногда неуловимая, какъ запахъ цвѣтка, но всегда дающая чувствовать свое присутствіе, наполняющая душу если не разрѣшеніемъ истины, то предчувствіемъ ея. Вообще, содержаніемъ своихъ произведеній онъ раздвинулъ предѣлы нашей поэзіи и обогатилъ ее предметами, воззрѣніями, чувствованіями, совершенно для ней новыми; съ нимъ ей сдѣлались близкими всѣ великія откровенія природы и жизни человѣческой и тѣмъ самымъ она пріобрѣла свойства, отличающія вообще поэзію новѣйшихъ образованныхъ народовъ. Въ этомъ-то особенно состоитъ важное значеніе того перехода, какой сдѣланъ Жуковскимъ отъ французской школы къ школѣ такъ называемой романтической.

Лиризмъ Жуковскаго, эта исповѣдь поэтической души, по содержанію своему, столько же отличается отъ лиризма, господствовавшаго въ русской поэзіи, какъ и по направленію. Наши лирики, кромѣ Державина, составляющаго явленіе исключительное, которое не можетъ быть изъясняемо общимъ мѣриломъ современной ему литературы, наши лирики, говоримъ мы, съ какимъ-то простодушіемъ устраняли вовсе изъ своихъ произведеній мысль и чувство. Воспаривъ на крыльяхъ какого-нибудь тропа и фигуры къ Геликону и музамъ и воззвавши къ нимъ громкимъ гласомъ съ мольбою о вдохновеніи, они скоро убѣждались, что вдохновеніе къ нимъ ужъ послано, что теперь они уволены отъ всякой личной дѣятельности, что общія мѣста, всегда готовыя къ услугамъ каждаго, кто пишетъ, отвѣчаютъ за все остальное, что стоитъ ихъ перебрать всѣ, или главныя, въ извѣстнóмъ лирическомъ порядкѣ или безпорядѣ — и процессъ созданія, изобрѣтеніе кончены. Снисходительные друзья, критика и публика были въ восторгѣ, когда

лирику удавалось все это высказать стихами сколько-нибудь гладкими, непротивными слуху. Болѣе всего нравилась и творцамъ и читателямъ торжественность тона, бряцаніе лирныхъ струнъ. Дмитріевъ, писатель съ замѣчательнымъ дарованіемъ, очень остроумно осмѣялъ безжизненный реторизмъ нашей лирики; въ его собственныхъ стихотвореніяхъ мы видимъ ужъ мысль и признаки чувства; но и то и другое есть не плодъ непосредственнаго возбужденія духа, а произведеніе тонкаго обворажающаго ума, его ловкой изворотливости, которая умѣетъ сдѣлать все кстати, не выходя изъ круга принятыхъ и установившихся понятій и воззрѣній. Совсѣмъ не то мы видимъ въ Жуковскомъ: онъ далъ нашей лирикѣ *поэтическій смыслъ*, а это очень важно; ибо лирика въ каждой литературѣ есть пульсъ, которымъ означается движеніе ея жизненныхъ силъ. Онъ показалъ, что за вдохновеніемъ надобно обращаться не къ музамъ, а къ природѣ жизни; уничтожилъ машины, помощью которыхъ наши пѣснопѣвцы поднимались наверхъ, чтобъ оттуда возглашать *во всѣ предѣлы міра* большею частію то о своихъ меценатахъ, то о своихъ возлюбленныхъ, хотя одни ихъ вовсе не знали, а другихъ они не знали сами. Всѣ піитическіе снаряды, всѣ мучительскія орудія тщетнаго добыванія мыслей, всѣ общія мѣста пали предъ могуществомъ его живой, естественной, истинной поэзіи.

Переворотъ къ лучшему, конечно, произошелъ не вдругъ: бездарные піиты продолжали по временамъ смущать образующійся вкусъ „шумнымъ гласомъ своихъ гортаней, поя великихъ честь именъ“, какъ выражается Петровъ въ одной изъ своихъ одъ; но рубежъ между прошедшимъ и настоящимъ ужъ былъ проведенъ, ужъ чувствовали разницу между тѣмъ, что̀ было и между тѣмъ, что̀ должно и можетъ быть. Самъ Жуковскій составлялъ начало лучшаго направленія, но не осуществилъ всѣхъ его послѣдствій, потому что всякое начало истины есть животворное сѣмя будущаго, а не само будущее. Такъ его собственнымъ лирическимъ созданіямъ не доставало анализа. Въ немъ больше чувства, нежели наблюдательности; онъ больше знакомъ съ природою предметовъ, чѣмъ съ ихъ бытомъ и исторіей; больше даетъ имъ, чѣмъ заимствуетъ отъ нихъ. Правда, то, что онъ переноситъ на нихъ отъ себя, не противорѣчитъ ихъ сущности, но оно болѣе достояніе ихъ рода, чѣмъ ихъ личная собственность. Ему доступнѣе поэзія жизни, нежели поэзія ея мгновеній, эпохъ. Разности предметовъ у него нерѣдко сливаются и подводятся подъ точки зрѣнія слишкомъ общія. Оттого его поэтическія представленія разрѣшаются иногда понятіями вмѣсто образовъ, или на высотѣ, въ кругу ихъ, мелькаютъ неясныя, неуловимыя полувидѣнія; отъ нихъ вѣетъ жизнью прекрасною, но смутною и неразгаданною. При всемъ томъ было бы непростительно грубою ошибкою ставить дарованію въ вину отсутствіе такихъ совершенствъ, какія не вытекаютъ изъ его художественнаго характера. Вопросъ состоитъ въ томъ, согласуется ли способъ его дѣятельности съ законами искусства, а не въ томъ, успѣлъ ли онъ овладѣть всѣми способами? Жуковскій могъ начать путь, могъ итти по немъ, но не

пройти весь. То, чего ему недостаетъ, не есть его ошибка, а новый шагъ въ искусствѣ, который предоставлено было сдѣлать другимъ, какъ ему въ свое время предоставлено было сдѣлать такой же. Сравнивая, напримѣръ, Пушкина и Лермонтова съ Жуковскимъ, вы чувствуете, что этотъ шагъ дѣйствительно сдѣланъ. Жуковскій постоянно пребываетъ въ высотѣ своего идеальнаго синтетическаго воззрѣнія; обоимъ послѣднимъ доступна эта высота, она родная имъ по ихъ внутреннему влеченію: иначе они не были бы поэты. Но она не есть ихъ единственное жилище; часто видите вы ихъ посреди житейскихъ треволненій, на шумныхъ людскихъ сборищахъ. По ихъ гордому виду, по иронической улыбкѣ на устахъ, вы тотчасъ узнаете, что они не здѣшніе, что это путники, зашедшіе сюда съ какими-то особенными намѣреніями; они скоро потомъ и уходятъ, унося съ собою богатыя добычи дѣяній и страстей человѣческихъ. Этого они и хотѣли; они воспользовались для своихъ созданій всѣмъ видѣннымъ въ этой лабораторіи судебъ — и созданія ихъ получили крѣпость золота, къ которому примѣшана лигатура. Одинъ какою-то волшебною силою отторгаетъ насъ отъ нашихъ ежедневныхъ тревогъ и заботъ и возноситъ ко всему лучшему и прекрасному; другіе — это лучшее и прекрасное вносятъ въ среду нашу, или заставляютъ насъ отыскивать, такъ сказать, что нибудь изъ нихъ у себя дома, въ забытомъ углу сердца. Когда Жуковскій изображаетъ великіе національные предметы — это жрецъ, облеченный въ торжественныя одежды своего сана, совершающій свои дѣйствія во храмѣ впереди сонма народнаго, объятаго важною и благоговѣйною думою, какую онъ ей внушаетъ. Онъ воспламенитель сердецъ и вмѣстѣ прорицатель въ станѣ русскихъ воиновъ, на Кремлѣ онъ хореграфъ великолѣпной процессіи на праздникъ избавленія. Пушкинъ и Лермонтовъ не отдѣляются въ важный поэтическій моментъ отъ массы людей; они, повидимому, не внушаютъ ей чувствованій, а почерпаютъ ихъ въ ея же сердцѣ, чтобъ очистить ихъ въ своемъ духѣ, развить и выразить образомъ достойнымъ ея, себя и событія. Таковъ Пушкинъ, напримѣръ, въ своихъ пьесахъ: „Къ Полководцу“, „Клеветникамъ Россіи“, „Пиръ Петра Великаго“ и проч., таковъ Лермонтовъ въ „Бородинской годовщинѣ“. Можно ли въ подобныхъ сравненіяхъ говорить о превосходствѣ однихъ талантовъ передъ другими? Нѣтъ! Здѣсь различны не степени, занимаемыя ими въ искусствѣ, и направленія, различны самыя эпохи искусства, которыхъ они были представителями. Идеализмъ Жуковскаго былъ потребностью литературы, которая чрезъ него сопрягалась съ основнымъ, высшимъ началомъ искусства; подобною же потребностью въ свое время вызванъ идеализированный реализмъ Пушкина и писателей его эпохи. Они должны были сблизить тѣснѣе идеализмъ съ жизнью, придавая ему нѣкоторую положительность вещей, а вещамъ сообщая его многозначительный смыслъ и выразительность. Это значило дополнить одну сторону поэзіи другою и сомкнуть сферу ея сближеніемъ дѣйствительности идеальной и дѣйствительности вещественной.

Въ искусствѣ, какъ и въ практическомъ мірѣ, успѣхъ начинаній зависитъ не отъ благородныхъ и прекрасныхъ предначертаній, не отъ богатства и достоинства самыхъ идей, а отъ силы, осуществляющей намѣренія и идеи. Все составляющее предварительный матеріалъ, дается намъ умомъ, опытомъ, вѣрнымъ взглядомъ на вещи: приведеніе всего этого къ желаемой цѣли, исполненіе есть дѣло таланта, и оно одно только окончательно рѣшитъ судьбу нашихъ помышленій, потому что оно одно даетъ имъ дѣйствительное бытіе. Поэту предоставлено могущественное орудіе для совершенія его духовнаго подвига — слово. Но прежде, чѣмъ онъ ввѣритъ ему свою идею, она должна въ его сознаніи отрѣшиться всего отвлеченнаго и принять на себя живой, чувственный образъ. Этотъ процессъ поэтическаго творчества подчиненъ извѣстнымъ условіямъ, отъ соблюденія которыхъ зависитъ совершенство созданія. Какъ мысль образуется въ человѣческомъ сознаніи по своимъ логическимъ законамъ, такъ образъ слагается по законамъ, вещественной природы, потому что все, принадлежащее къ его организаціи, заимствуется изъ нея. Очевидно, что первое условіе въ его устройствѣ и движеніи есть согласіе съ законами природы. Это не иное что, какъ вещественная правильность. Но есть другое условіе, другая правильность, проистекающая уже изъ требованій искусства. Она состоитъ въ равновѣсіи, въ гармоніи всѣхъ частей произведенія, всѣхъ его подробностей и положеній съ основной идеей. Такъ трудъ человѣческаго генія, явленіе изящное становится правильнымъ, законнымъ. Поставленное въ срединѣ между дѣйствительностью мысли и дѣйствительностью вещей, оно своею идеальною стороною удовлетворяетъ требованіямъ духа, вещественно требованіямъ природы; оно уже не мечта, но дѣяніе, истина; оно получаетъ право жизни и мѣсто въ исторіи. Все неправильное, незаконное, осуждено быть позоромъ самому себѣ, или гибнуть. Геній, талантъ, одни имѣющіе право дѣйствовать въ области искусства, одни признанные граждане его, не затрудняются исполненіемъ этихъ условій. Будучи сами выраженіемъ высшаго закона человѣческой природы, они въ собственномъ сознаніи носятъ все, что она возлагаетъ на каждаго изъ уполномоченныхъ ею дѣятелей. Избытокъ чувства, роскошь фантазіи, вдохновеніе, служатъ только залогомъ, что повелѣнія разума въ предстоящемъ подвигѣ будутъ выполнены дѣйствительнѣе, вѣрнѣе и блистательнѣе; ибо посредственность лишена способовъ въ дѣлахъ важныхъ, даже слѣдовать указаніямъ какъ должно. Мы приводимъ здѣсь эти понятія потому, что, опредѣляя достоинство произведеній Жуковскаго съ важнѣйшей ихъ стороны — со стороны художественнаго исполненія, полагаемъ, что наши сужденія должны быть основаны на причинахъ. Поэтическое проявленіе его мысли совершается легко и свободно. Образы его раскидываются въ своихъ подробностяхъ, какъ въ вѣтвяхъ, съ непринужденностью и непрерывностью, которыя свидѣтельствуютъ о богатствѣ и плодотворной силѣ фантазіи. Но часто мысль, обращенная къ предметамъ внутренняго созерцанія, требуетъ не столько органически-цѣлаго изображенія,

сколько вѣрнаго пластическаго обозначенія своихъ движеній. Поэту было бы, безъ сомнѣнія, легче описывать, чѣмъ схватывать эти летучія драматическія мгновенія возбужденной души, эти переливы неуловимой, то парящей, то извивающейся мысли, которые составляютъ прямое богатство нашего внутренняго бытія. Жуковскій одинаково превосходенъ и тогда, когда изображаетъ поэтическое настроеніе сердца, и тогда, когда живописуетъ. Живопись его отличается полнотою и вѣрностью рисунка; онъ не довольствуется тѣмъ, чтобъ нѣсколькими чертами намекнуть о предметѣ; онъ ставитъ его весь передъ вашими глазами съ той стороны, какая нужна для возбужденія предполагаемаго впечатлѣнія. Онъ не излагаетъ тамъ, гдѣ надобно представлять, изображать. Слабая фантазія, не умѣя управиться съ цѣлостью предмета, лишенная силы сосредоточивать разсѣянныя черты и организовать ихъ, даетъ вамъ, такъ сказать, одни обломки вещей, призраки или полупризраки, оставляя въ душѣ смутное *нѣчто* вмѣсто яснаго, опредѣленнаго созерцанія. Картина Жуковскаго есть не покушеніе, а созданіе, она полна и окончена, какъ полно и окончено твореніе, вышедшее изъ рукъ природы. Въ пріемахъ его кисти вы не замѣчаете той игривости, быстроты, того, такъ сказать, молнійнаго удара, какимъ по справедливости удивляемся мы въ Пушкинѣ. Манера его рисовки степеннѣе, осторожнѣе, обдуманнѣе. Онъ слишкомъ далекъ отъ того, чтобъ подчинять свое вдохновеніе какимъ-нибудь стѣснительнымъ правиламъ; но онъ повѣряетъ его тѣмъ тонкимъ внутреннимъ инстинктомъ красоты, который столько ему свойственъ и который составляетъ совѣсть художника; по крайней мѣрѣ, онъ всегда въ согласіи съ этою совѣстью, какъ бы она слѣдила за каждымъ порывомъ его фантазіи. Въ изображеніи природы нѣтъ у него ни рѣзкихъ противоположностей, ни быстрыхъ и смѣлыхъ переходовъ, ни сближеній, поражающихъ своею неожиданностью; но онъ превосходно схватываетъ гармоническое соотношеніе подробностей, какимъ природа плѣняетъ наблюдателя, независимо отъ самаго характера вещей. Чтобъ почувствовать это, взгляните, напр., хоть на эту картину:

И вотъ... насталъ послѣдній день;
  Ужъ солнце за горою;
И стелется вечерня тѣнь
  Прозрачной пеленою;
Ужъ сумракъ... смерклось... вотъ луна
  Блеснула изъ-за тучи;
Легла на горы тишина,
  Утихъ и лѣсъ дремучій;
Рѣка сравнялась въ берегахъ;
  Зажглись свѣтила ночи;
И сонъ глубокій на поляхъ;
  И близокъ часъ полночи...

Въ группировкѣ предметовъ у него столько поэтическаго такта, столько знанія приличія положеній, что этого одного ужъ достаточно, чтобъ поставить его, какъ художника, на высокую степень въ самой образованной литературѣ. Можетъ-быть, отъ этого на васъ болѣе дѣйствуетъ общій тонъ его картинъ, чѣмъ ярко и рельефно выдвинутыя части. Въ колоритѣ ихъ чувствуешь что-то мягкое, южное, весеннее; онъ свѣжъ, какъ румянецъ только что распустившейся розы, и тепелъ, живителенъ, какъ воздухъ лучшей поры года. Погруженіе духа въ общія

красоты природы и преобладаніе въ немъ идеальнаго настроенія не допускали Жуковскаго всматриваться въ тѣ особенности, какими она ознаменовываетъ себя въ данномъ пространствѣ или при извѣстныхъ условіяхъ; оттого изображеніямъ его недостаетъ мѣстной физіономіи и колорита. Для поясненія нашей мысли, мы опять ставимъ въ параллель съ нимъ Пушкина: послѣдній довершаетъ то, что первый, какъ бы углубленный въ господствующія идеи своей школы, не успѣлъ выполнить. Общій характеръ красоты обозначается у Пушкина всегда тѣснѣе, чѣмъ у него, подробностями и оттѣнками, почерпнутыми непосредственно въ свойствахъ и положеніи самаго предмета. Онъ не портретистъ въ ограниченномъ, обыкновенномъ смыслѣ слова, не списчикъ съ природы; онъ очень хорошо знаетъ, что вещи, взятыя сами по себѣ, безъ отношенія къ высшему значенію жизни, въ которомъ каждая изъ нихъ призвана участвовать по-своему, не могутъ составлять задачи и цѣли художественнаго созданія, что ихъ изображеніе безъ этого будетъ одинъ натурализмъ, пошлый и безсмысленный. Но ему также извѣстна тайна, какими личными свойствами предметъ состоитъ въ связи съ высшею идеей и какими нѣтъ, какія изъ нихъ принадлежатъ общему закону и порядку вещей и какія суть только условія его домашней, такъ сказать, экономіи. Пушкинъ обладалъ удивительною мѣткостью въ различеніи этихъ тонкостей; мѣсто, время и обстоятельства для него всегда очень много значили; онъ изучалъ ихъ съ такимъ тщаніемъ, какъ будто готовился писать о нихъ статистическій отчетъ. Онъ зналъ, что и въ прозаическомъ быту вещей иногда сверкаютъ искры удивительнаго изящества, какъ крупинки золота въ грудахъ безобразныхъ, постороннихъ веществъ; онъ мастерски пользовался этими отрадными минутами просвѣтленія, которыми вещь, какъ бы она ни была забыта и ничтожна, свидѣтельствуетъ, что и ея касается божественный духъ жизни, что и она имѣетъ свой праздничный день въ своей убогой долѣ, свой участокъ въ неистощимыхъ дарахъ Божіихъ. Оттого красота его созданій, при ихъ стройности и граціи, отличается какою-то особенною осязательностью формъ. Вы чувствуете, какая свѣжая юношеская кровь протекаетъ въ ихъ жилахъ; въ румянцѣ ихъ цвѣтетъ роскошно жизненная сила; они похожи на тѣхъ красавицъ, у которыхъ воспитаніе и образъ жизни не отняли удовольствія быть здоровыми. Они до того дѣйствительны, существенны, что, кажется, будто въ нихъ присутствуетъ и управляетъ всѣми ихъ движеніями сама природа, а не мысль человѣческая, изображающая ихъ въ своемъ отраженіи. Впечатлѣніе, производимое Жуковскимъ, похоже на то свѣтлое и отрадное чувство, которое вкушаемъ мы, когда въ какомъ-нибудь уединенномъ убѣжищѣ любуемся прекрасными видами, разстилающимися передъ нами на необъятное пространство; впечатлѣніе, возбуждаемое Пушкинымъ, подобно радостнымъ ощущеніямъ, наполняющимъ грудь нашу во время прогулки посреди очаровательной мѣстности, гдѣ мы останавливаемся передъ каждымъ ‘ательнымъ предметомъ, черпаемъ изъ ручья воду, чтобъ освѣжить

свое лицо, наклоняемъ къ себѣ стебель роскошнаго цвѣтка, чтобъ насладиться его благоуханіемъ, или слѣдимъ за извилистымъ полетомъ птички, спорхнувшей съ куста отъ шелеста нашихъ шаговъ, гдѣ мы чувствуемъ, что живемъ за одно со всѣмъ окружающимъ насъ. Одинъ настраиваетъ насъ на извѣстнаго рода мысли; другой, кажется, гонитъ изъ нашей души всякую мысль, кромѣ одной — мысли о томъ, какъ близка къ намъ, хороша и богата изображаемая имъ природа. Жуковскій любитъ созерцать природу въ ея великолѣпномъ убранствѣ, когда она празднуетъ дни своего возрожденія и когда она вездѣ и для всякаго плѣнительна. Пушкинъ не чуждается и нашего мутнаго неба, нашего осенняго ненастья, зимныхъ вьюгъ и трескучихъ морозовъ; онъ улавливаетъ глубокій смыслъ каждаго изъ ея превращеній и заставляетъ сладко биться наше русское сердце тѣмъ, что только ему одному и можетъ-быть понятно и дорого.

Художественный характеръ изображеній Жуковскаго довершается вполнѣ тамъ, гдѣ содержаніемъ служатъ предметы внутренняго созерцанія. Высокое эстетическое наслажденіе слѣдовать за движеніемъ его поэтической мысли, мысли, когда онъ погружается въ глубину духовнаго, человѣческаго міра. Какъ величественеенъ, смѣлъ, упругъ и гибокъ полетъ ея! Какъ онъ ровенъ и естественно-граціозенъ при всей своей стремительности, при всей свободѣ тамъ, гдѣ она преслѣдуетъ великую идею! Какъ въ движеніи она умѣетъ остановиться на самомъ важномъ или на самомъ изящномъ проявленіи человѣческаго сердца, и какъ вѣрно и стройно развиваетъ его въ подробностяхъ, овладѣвая въ то же время послушнымъ ей словомъ.

Никитенко.

Жуковскій, какъ писатель и человѣкъ.

Ни въ одной литературѣ не было поэта, съ которымъ можно бы сравнить Жуковскаго. Большую часть своихъ стихотвореній онъ перевелъ съ иностранныхъ языковъ. Но эти переводы вполнѣ равняются оригинальнымъ сочиненіямъ, какъ по свободному ихъ изложенію на русскомъ языкѣ, такъ по силѣ ихъ дѣйствія на читателя. Самые извѣстные и болѣе другихъ уважаемые переводчики достигли только до того, что со всею вѣрностію передавали на своемъ языкѣ значеніе подлинника; Жуковскій сообщилъ переводамъ своимъ жизнь и вдохновеніе оригиналовъ. Оттого каждый переводъ его получалъ на нашемъ языкѣ цѣну и силу самобытнаго сочиненія. Этотъ необыкновенный талантъ доставилъ ему средство къ великому преобразованію литературы нашей. До него она была однообразна и почти безцвѣтна. Жуковскій расширилъ область ея, далъ лучшіе образцы различныхъ тоновъ поэзіи, усвоилъ намъ первоклассныя произведенія древнихъ и новыхъ стихотворцевъ и поравнялъ насъ въ поэзіи съ образованнѣйшими современными народами.

Отличительная черта таланта Жуковскаго состояла въ удивительномъ чувствѣ ко всему прекрасному въ изящныхъ искусствахъ. Этою способностью онъ превышалъ всѣхъ извѣстнѣйшихъ поэтовъ. Но она одна не возвела бы его на ту высоту, на которой онъ стоитъ въ русской литературѣ. Его нужно назвать творцомъ новаго русскаго языка, котораго особенности состоятъ у него въ самыхъ вѣрныхъ выраженіяхъ для каждой черты описываемаго предмета, въ необыкновенной благозвучности рѣчи, въ свободномъ, но всегда правильномъ ея теченіи; въ сочетаніи словъ и ихъ украшеніи, столь неожиданномъ и увлекательномъ, что каждая мысль является новымъ созданіемъ, наконецъ въ искуснѣйшемъ употребленіи то краткости, то обилія предметовъ, смотря по свойству излагаемыхъ идей. Въ нашемъ языкѣ болѣе нежели въ какомъ-нибудь другомъ разныхъ словъ, изображающихъ одинъ и тотъ же предметъ. Одни изъ нихъ составляютъ принадлежность языка церковно-славянскаго, другія — собственно называемаго русскаго, третьи образовались въ какомъ-нибудь отдѣльномъ періодѣ исторіи, четвертыя — въ особомъ сословіи. До Жуковскаго писатели предпочитали слова избранныя, т.-е. употребленіемъ утвердившіяся въ общемъ книжномъ языкѣ, что сообщало литературѣ одноцвѣтность и принужденность. Живо сочувствуя безконечно-разнообразнымъ красотамъ природы и красотѣ образцовъ всемірной поэзіи, Жуковскій воспользовался сокровищами нашего языка и внесъ въ свои стихотворенія это разнообразіе выраженій, которое необходимо для красокъ и живости передаваемыхъ имъ безконечно-разнообразныхъ образовъ.

Есть другая черта въ его талантѣ, свидѣтельствующая, что онъ, какъ поэтъ, достигнулъ бы необыкновенной высоты и тогда, когда бы ограничился сочиненіемъ однихъ собственныхъ стихотореній, не увлекаясь совершенствами другихъ поэтовъ. Въ талантѣ его надъ всѣми качествами преобладало самобытное стремленіе къ осуществленію идеальной красоты, граціи, мысли возвышенной. Оно безотлучно сопровождаетъ его и видимо въ каждой чертѣ его труда. Самые переводы его потому и дѣйствуютъ на читателя, какъ оригинальныя сочиненія, что творящая сила переводчика глубоко проникаетъ въ его чувства, въ его пониманіе подлинника и въ выраженія его. Она, подобно солнечному лучу, ничего не отнимаетъ у предметовъ, на которые дѣйствуетъ, ничего имъ не прибавляетъ, но въ то же время наводитъ тотъ восхитительный свѣтъ, отъ котораго всѣ они становятся пріятнѣе и блистаютъ равно озаренные. Въ этой силѣ самобытности заключается изъясненіе того вліянія, которымъ Жуковскій произвелъ эпоху въ нашей словесности.

Къ довершенію столь прекрасныхъ способностей, Жуковскій воспиталъ въ душѣ своей религіозное чувство, чистѣйшую нравственность и высокое понятіе о достоинствѣ человѣка. Ими онъ былъ руководимъ въ теченіе всей жизни, и они составляютъ незыблемое основаніе его поэзіи. Какъ ни разнообразны стихотворенія по содержанію своему, по формамъ, краскамъ и тону, всѣ они сохраняютъ какой-то

семейный отпечатокъ въ общемъ своемъ направленіи: вездѣ присутствіе чистоты, любви къ природѣ, къ нравственному порядку; вездѣ успокоеніе духа, вѣрованіе въ лучшія качества человѣческаго сердца; вездѣ ожиданіе тѣхъ утѣшительныхъ обѣтованій, которыми жизнь и смерть примирены и равно освящены для души христіанина: Жуковскій, казалось, избралъ девизомъ своей поэзіи только три слова: вѣра, надежда и любовь. Онъ прошелъ всѣ возрасты жизни, видѣлъ различныя измѣненія судьбы, вслушался во всѣ ученія — и остался вѣренъ тому, что выражаютъ эти всеобъемлющія слова. Они внушили ему то увлекательное краснорѣчіе, то могущественное убѣжденіе, которому такъ отрадно покоряться и съ которымъ чувствуешь въ себѣ и силу и отраду. Человѣкъ, глубоко принявшій въ сердце поэзію его, не только сохраняетъ благородный энтузіазмъ къ славѣ чистой, къ дѣятельности безкорыстной, къ мыслямъ возвышеннымъ и къ чести непреклонной, но и самое понятіе объ искусствахъ, и въ особенности о поэзіи, у него неразлучно съ представленіемъ совершенства нравственно идеальнаго, а въ идеяхъ, образахъ, положеніяхъ и въ самомъ слогѣ онъ всему предпочитаетъ силу истины, поэтическое созданіе, голосъ чувства и вѣрность выраженія. Посреди явленій господствующаго нынѣ вкуса, увлекаемаго яркими, но жирными красками, напыщенностью фразъ и своеволіемъ воображенія, еще сильнѣе отзываются въ чистомъ сердцѣ святыня дѣйствительнаго вдохновенія, картины, списанныя съ природы и гармоническіе звуки — дружные спутники поэзіи Жуковскаго...

Жуковскій цѣлую жизнь посвятилъ трудамъ умственнымъ. Отдавшись имъ съ первой молодости, онъ до послѣдняго дня своего считалъ ихъ главнымъ своимъ призваніемъ. Рукописи его какъ у всѣхъ лучшихъ писателей, сохраняютъ слѣды глубокаго вниманія и самой строгой отдѣлки, что видно и въ рукописяхъ Пушкина. Одна посредственность довольствуется первымъ выраженіемъ, первымъ словомъ, попавшимся подъ перо. Что въ теоріи называютъ слѣдами быстраго вдохновенія, то на практикѣ оказывается неумолимостію вкуса и непреклонностію воли геніальнаго ума. Любовь къ искусству, какъ и всякая страсть, жертвуетъ всѣми своими силами для достиженія цѣли.

Какимъ привыкли мы видѣть Жуковскаго въ его стихахъ, таковъ онъ былъ и въ отношеніи ко всему, окружавшему его въ кабинетѣ. Безвкусія или безпорядка онъ не могъ видѣть предъ собою. У него все приготовлено было съ опредѣленною цѣлью, всему назначалось мѣсто, на всемъ высказывалась отдѣлка. Чистыя тетради, перья, карандаши, картоны, книги въ пріятномъ размѣщеніи ожидали руки его. Огромный, высокій столъ, у котораго работалъ онъ стоя, установленъ былъ со всевозможными прихотями для авторскаго занятія. Куда бы онъ ни переселился, даже на нѣсколько недѣль, первою его заботою было устроеніе такого стола. Самую большую и удобнѣйшую изъ своихъ комнатъ онъ всегда выбиралъ для кабинета, который особенно любилъ убирать бюстами.

Люди, отличавшіеся какими бы то ни было талантами, даже только рѣдкими способностями ума, составляли его общество, когда онъ былъ свободенъ. Но утро, какъ драгоцѣнность, онъ охранялъ для своихъ трудовъ. Въ дружескомъ собраніи вечеромъ, когда душа поэта ничѣмъ не была тревожима, онъ являлся, по большей части, веселымъ и шутливымъ. Забавные разсказы, самъ ли онъ предавался имъ, или слушалъ другихъ, долго и живо могли занимать его. Сколько вѣренъ былъ онъ своему призванію въ уединенные часы занятій, столько же казался не похожимъ въ дружескомъ развлеченіи. Но такъ какъ размышленіе и опыты жизни, рано или поздно, оказываютъ свое дѣйствіе, то и въ характерѣ поэта постепенно являлось возобновленіе той мудрости, которая положила такой чистый вѣнецъ на послѣдніе его годы. Пушкинъ говаривалъ: „одинъ глупецъ ни въ чемъ не перемѣняется". Спокойное, даже строгое воззрѣніе на жизнь въ эпоху зрѣлости ума не есть утрата душевныхъ силъ, изумлявшихъ насъ въ юношѣ, а естественное возвышеніе его духа. *Плетневъ.*

Эпоха чувствительности.

Съ первой трети XVII в. въ европейскихъ литературахъ начинаетъ водворяться новый стиль; тамъ, гдѣ онъ зародился, ему предшествовало и соотвѣтственное настроеніе общественной психики, какъ отраженіе совершившагося соціальнаго переворота. Такъ было въ Англіи; этимъ объясняется ея передовая роль въ послѣдующихъ теченіяхъ европейской мысли, вліяніе ея нравоучительной и слезной комедіи, ея романистовъ, которыми зачитывались Руссо и Дидро. Вліяніе сказывалось неравномѣрно, смотря по тому, насколько тамъ и здѣсь общественная почва была приготовлена къ воспріятію новыхъ сѣмянъ: во Франціи оно поддержало соціальное движеніе, въ Германіи отложилось въ литературныя школы.

Сущность водворившагося настроенія состояла въ переоцѣнкѣ разсудка и чувства и ихъ значенія въ жизни личности и общества. Первый создалъ искусственную культуру, съ ея законами, устоями нравственности и салонныхъ этикетовъ, обуздалъ чувство требованіями обрядоваго приличія, фантазію — стѣснительными литературными формами; онъ вѣрилъ въ свою непререкаемость, въ просвѣтительную силу своей логики, своей науки, ея же положеній не прейдеши. Все это связывало свободу личности, и протестъ растетъ; условной разсудочной культурѣ противополагается идеалъ человѣка, какимъ онъ вышелъ изъ рукъ Творца, — человѣка, добраго по природѣ, неиспорченнаго цивилизаціей: идеалъ, поставленный еще въ XVII в. (Aphra Behn 1640—1689) и развитый Руссо. Чувство ставится выше разсудка. „Разумъ нашъ наполовину чувство" заявляетъ Стернъ; не „надменный разумъ отверзаетъ врата неба, любовь находитъ доступъ туда, гдѣ гордой наукѣ нѣтъ хода", писалъ Юнгъ; для Гамана чувство — непосредственное, первичное откровеніе истины, начало человѣческаго

сознанія, изъ котораго должно развиваться всеобъемлющее знаніе; для Якоби непосредственное пониманіе чувствомъ, вѣрой, выше науки, открываемой разумомъ; единственная мудрость — познать свое сердце; слѣдовать ему, не препятствовать развитію всѣхъ наклонностей и вожделѣній — единственная добродѣтель. Надо вѣрить внутреннему чувству, вѣрить въ свое сердце; въ этомъ человѣкъ обрѣтетъ свободу. Мерсье скажетъ то же: въ сердцѣ каждаго человѣка кроется священный огонь чувствительности, надо слѣдить, чтобы огонь не погасъ, имъ освѣщается наша нравственная жизнь. — Сила ума отрицательна, ограничена невѣріемъ, непониманіемъ, твердитъ въ началѣ нѣмецкаго „романтизма“ M-me de Staël: нужна философія вѣры, энтузіазма, философія, подтверждающая путемъ разума откровенія чувства; Saint Simon назоветъ этихъ энтузіастовъ чувства les passionnés. Явилась „философія чувства“, явились и литературные представители чувства и чувствительности; они читали Ричардсона и Фильдинга, Юнга и Стерна; Руссо систематизировалъ для нихъ разбросанныя и неясныя черты постепенно выяснявшагося ученія о чувствѣ и сердцѣ, о природѣ и естественности, природѣ — наставницѣ добру, милосердію, нравственности; о свободѣ страстей и идеалѣ демократіи.

Программа принималась и исполнялась различно. Психологически можно различать двѣ группы исполнителей; онѣ смѣшивались; переходы изъ группы „чувствительниковъ“ къ „бурнымъ геніямъ“ были возможны; автобіографическій романъ К. Ф. Морица Anton Reiser это доказываетъ.

Одна группа характеризуется ярче всего дѣятелями нѣмецкаго Sturm-und Drang'а 60—80 гг. XVIII в. Они отличаютъ науку отъ геніальнаго прозрѣнія, энтузіазма, съ которымъ люди родятся. Геніальность можетъ дремать въ каждомъ изъ насъ, подсказалъ имъ Юнгъ, надо только умѣть ее открыть и воспитать, и геній вспорхнетъ, „вдохновенный энтузіастъ“. Юнговскій трактатъ On original composition былъ показателемъ времени. Ученіе о прирожденной геніальности, поддержанное Стерномъ и культомъ Фильдинга къ непосредственной здоровой натурѣ, всецѣло отдающейся порывамъ чувства, создало народу нѣмецкихъ Kraftgenies, геніевъ мощи, съ ихъ призваніемъ къ дѣятельному подвигу, къ борьбѣ. Они сознаютъ себя свободными отъ всѣхъ разсудочныхъ суевѣрій, которыя до тѣхъ поръ считались нормой жизни: изъ мѣщански-растворенной условной культуры ихъ тянетъ къ природѣ, къ народу и его пѣснѣ, къ идеализованной народной старинѣ, въ просторъ всемірной поэзіи, къ обновленію литературныхъ формъ. Во всемъ этомъ вліяніе Англіи несомнѣнно; англичане въ это время вновь открыли Шекспира-Прометея, оттуда начало его популярности во Франціи (Мерсье) и Германіи. Требованіе свободы чувствъ распространилось и на область нравственныхъ вопросовъ: ставятся новыя рѣшенія, потому что „геніямъ“ противенъ всякій догматизмъ, они жаждутъ простора, полны самосознанія, хотятъ взять жизнь полностью и любить реально. „Мы боги, мы свободны“

говоритъ Ленцъ. Ардингелло Гейнзе такой же „геній“, какъ Карлъ Моръ; у юнаго Шиллера пристрастіе къ доблестнымъ, величественнымъ преступникамъ, которые спустятся со временемъ къ низменному типу Rinaldo Rinaldini и разбойничьихъ романовъ. На очереди фигуры Прометея, Фауста, Магомета; „Kerl“ становится типическимъ словомъ для человѣка бурныхъ стремленій.

Рядомъ съ этой группой людей „страстнаго чувства“ другая: это — мирные энтузіасты чувствительности, ограниченные стѣнками своего сердца, убаюкивающіе себя до тихихъ восторговъ и слезъ анализомъ своихъ ощущеній, которыя за жизненной тщетой давали предчувствовать небо. Они боготворятъ Клопштока, піэтисты и мистики, могутъ пристроиться ко всякой церковно религіозной реакціи, ужиться и съ политической, ибо отошли отъ общественности въ міръ своего крошечнаго „я“, въ абстракцію „человѣчности“, внутренней „свободы“, въ уединеніе, въ природу, вѣщающую о благости Творца. И на природу они смотрятъ, какъ на объектъ чувствительныхъ и религіозныхъ изліяній — по поводу; избытокъ чувства не изощряетъ глаза, сентименталисты не visuels; все дѣло въ настроеніи; оттого они такъ любятъ музыку; самонаблюденіе доходитъ до болѣзненной щепетильности. Такъ воспитываютъ они „добродѣтель“ и зрѣетъ ихъ „человѣчность“, ихъ schöne-Seele, âme Руссо, „душа“ Карамзина.

У Kraftgenies и Schöne Seelen (le genre furibond et le genre amentable Шлегеля)[1]) одинъ общій психологическій субстратъ: гипетрофія чувства, но сентименталисты любуются своимъ сердцемъ, ухаживаютъ за нимъ, „слабымъ“, „изнѣженнымъ“, „больнымъ“ (Донъ Карлосъ), „выплакавшимся полнымъ отчаянія“ (Stella). „Ахъ! то, что я знаю, можетъ каждый знать, но мое сердце у одного меня“ говоритъ Вертеръ. Являются Вертеры и Сигварты, Réné и Valerie, демоническіе эгоисты чувства, какъ Allvill, представители безысходнаго Schwermuth, какъ Woldemar, разслабленные, какъ герой романа Мэккензи (Man of Feeling), умирающій отъ чахотки и отъ — признанія въ любви, на которое рѣшился лишь при смерти.

Въ такой средѣ любовь принимаетъ особый оттѣнокъ: она жалостливая, печалующаяся, сумрачная, не знающая смѣха; St. Preux любитъ трогательную блѣдность, залогъ любви, и ненавидитъ назойливое здоровое. Оттуда пристрастіе къ контрастамъ: утра и вечера, весны и осени; именно весна вызываетъ нерѣдко печальныя чувства; питаются картинами унылой, дикой природы, полутонами и полусвѣтомъ: заходящее солнце, сумерки, настраивающія на грустный ладъ, луна, прячущаяся за полныя слезъ облака. Поэтическій словарь отвѣчаетъ настроенію: вѣять, обвѣять, шептать, божественный, небесный; говорится о мерцающемъ мѣсяцѣ — и о мерцающей (dämmernde) душѣ, мерцающихъ мысляхъ. Такая любовь сосѣдитъ съ идеей смерти, любви за гробомъ, гдѣ встрѣтятся стремившіяся другъ къ другу

---

[1]) A. W. Schlegel, Sur le triomphe de la sentimentalité.

души, въ чувствѣ которыхъ здоровый реальный порывъ терялся въ новомъ обобщеніи, въ томъ, что назвали впослѣдствіи amitié amoureuse. Это нѣчто колеблющееся на раздѣлѣ страсти и пріязни, не удовлетворяя ни той ни другой; но M-me Roland знала, повидимому, въ чемъ дѣло, и не колебалась. У „тихой, святой дружбы есть стрѣлка, правящаяся вѣсами (un point d'appui on tient toujours la balance), — писала она Bosc'у, дружба котораго къ ней грозила перейти въ страсть: — прелестныя, но жестокія страсти выводятъ насъ изъ себя, чтобы впослѣдствіи покинуть, но честность души и поступковъ, довѣріе прямого, чувствительнаго сердца, умѣренность характера, разумно установившагося въ добрыхъ правилахъ, — вотъ что упрочиваютъ связь, какимъ бы охлажденіямъ она ни подвергалась. Въ этомъ порука, другъ мой, что вы найдете меня всегда одной и той же".

Вмѣстѣ съ amitié amoureuse развилось особое чувство дружбы, также смѣшанное изъ любви и пріязни и невольно вызывающее на сравненіе съ такимъ же психологическимъ явленіемъ Renaissance'а. „Намъ нуженъ другъ, чтобы мы сами себѣ нравились и сами собой наслаждались", говорилъ Юнгъ; нѣмецкіе сентименталисты, начиная съ Клопштока, лелѣютъ это чувство, ревнивое, тревожное и взыскательное, какъ будто дѣло идетъ о любимой женщинѣ. Въ литературѣ являются Позы и Донъ-Карлосы, Ксаверы и Кронгельмы (Миллеръ и Ф. Штольбергъ въ романѣ Миллера, „Сигвартъ"), въ жизни — дружба Neuffer'а и Hölderlin'а, въ періодъ романтиковъ — Тика и Ваккенродера, Фридриха Шлегеля и Новалиса и др.; съ примѣрами изъ древности: Давида и Іонафана, Ореста и Пилада, Низа и Евріала, Ахилла и Патрокла. Серъ Чарльзъ Грандисонъ затѣваетъ построить храмъ Дружбы на мѣстѣ, гдѣ влюбленная въ него miss Harriett обняла свою соперницу, его жену.

Показатель чувствительнаго благоустроеннаго сердца — способность проливать слезы. Стернъ говоритъ объ упоеніи слезъ, joy of grief, и самъ плакалъ надъ встрѣченнымъ осломъ и птичкой-узникомъ; Юнгъ открылъ „философію слезъ", а сентименталистамъ торный путь: полились слезы, явился даръ безпечальныхъ слезъ. Удольфскія таинства (1794) Mrs. Рэдклифъ наводнены ими; героиня романа, Эмилія, не можетъ видѣть мѣсяца, слышать звона гитары, органа, шелеста сосенъ, чтобы не поплакать; Тэккерей не помнитъ ни одного романа, гдѣ бы такъ много плакали, какъ въ Thaddeus of Warsaw. Мать Генриха Штиллинга обладала этой драгоцѣнной способностью: весною, когда все расцвѣтало, ей было не по себѣ, точно она изъ другого міра, но стоило ей увидѣть поблекшій цвѣтокъ, сухую былинку, она принималась плакать, и было ей такъ хорошо, такъ хорошо, что и сказать нельзя, а не весело. — Вертеръ и Лотта любуются удалившейся грозой; ея глаза полны слезъ: „Клопштокъ!" сказала она, положивъ руку на руку Вертера; онъ вспомнилъ чудесную оду Клопштока и поцѣловалъ руку дѣвушки съ блаженными слезами на глазахъ. Эта сцена скопирована Миллеромъ въ его „Сигвартѣ": Тереза наклонилась надъ Мес-

сіадой и Кронгельмъ слышитъ, какъ слезы дѣвушки капаютъ на страницы; онъ беретъ ее за руку, она отводитъ его руку на книгу и онъ чувствуетъ, что страница омочена. Тогда онъ поклялся въ своемъ сердцѣ вѣчно быть вѣрнымъ Терезѣ; громъ и вѣтеръ стали въ это время сильнѣе. „Священная, торжественная ночь!“ говоритъ Кронгельмъ. Сигвартъ и Маріанна въ томъ же романѣ слушаютъ пѣніе кузнечика и плачутъ. Въ Вильгельмѣ Мейстерѣ пѣвецъ поетъ: Kennst du das Land — и слушатели взволнованы, женщины бросились другъ другу на шею, мужчины обнялись, и луна была свидѣтельницей благороднѣйшихъ, цѣломудренныхъ слезъ. При разставаніи друзья пили поочередно изъ стакана, въ который каждый изъ нихъ пролилъ нѣсколько слезъ; поэтическимъ эффектомъ считалась игра мѣсячнаго луча на навернувшейся слезѣ; съ этимъ эффектомъ знакомъ былъ кн. Шаликовъ.

Эта сфера чувствительности воспитала свою музу: задумчивую Меланхолію, обитательницу развалинъ, старыхъ келій и тѣней, не оглашенныхъ весельемъ. Ея прелести воспѣлъ 17-лѣтній Warton (The pleasures of melancholy 1745): онъ любитъ сидѣть въ сумеркахъ подъ мшистыми сводами разрушеннаго аббатства, когда мѣсяцъ бросаетъ въ окно свой долгій, прямой лучъ, и священная тишина нарушается лишь крикомъ совы, гнѣздящейся въ затхломъ склепѣ, или игрой вѣтерка въ зелени плюща, окутавшаго развалившуюся башню; любитъ прислушаться, вдали отъ неистовыхъ кликовъ Веселья, къ сонным трелямъ сверчка, вечеромъ, въ полусвѣтѣ гаснувшихъ углей. Грей въ послѣднемъ изъ своихъ стихотвореній (1769 г.) помѣщаетъ нѣжноокую (Softeyed) Меланхолію рядомъ со Свободой, въ томъ же печальномъ пейзажѣ, но онъ же обогатилъ его въ своей извѣстной элегіи (1751 г.) образами „Кладбища“, Юнгъ картиною ночи и идеей загробности. Его „Ночныя думы“, внушенныя дѣйствительной, тяжелой утратой, ею полны. Онъ не можетъ отъ нея отвязаться, упивается ею. Смерть царитъ въ мірѣ, уйти отъ нея нельзя, но и въ ней же и утѣшеніе: она вѣнецъ жизни, даетъ человѣку крылья, чтобы взлетѣть въ горныя области, гдѣ онъ обрѣтетъ болѣе того, что утратилъ въ раю. Апоѳеозъ смерти среди глухой безмолвной ночи, вѣщающей о безсмертіи и вѣчномъ днѣ, въ освѣщеніи блѣдной Цинтіи — Луны. До тѣхъ поръ она рѣдко показывалась для выраженія печальныхъ или таинственныхъ настроеній; какой-то сеченистъ XVII в. даже дерзнулъ назвать ее „небесной яичницей“; Юнгъ изобрѣлъ ее снова, ея грядущую популярность поддержалъ Макферсоновскій Оссіанъ, Клопштокъ пустилъ ее въ оборотъ. Виргиліевскія amica silentia lunae стали лозунгомъ новаго поэтическаго настроенія у Zachariä, Гессиера, Кронегка, Виланда и отъ молодого Гёте до Longfellow и далѣе мѣсяцъ: — „божество цѣломудренныхъ душъ“, онъ блѣденъ, какъ боязливая, отринутая любовь; говорилось о меланхолическомъ мѣсяцѣ, простирающемъ въ лѣсахъ великую тайну меланхоліи, которую онъ любитъ нашептывать старымъ дубамъ (Шатобріанъ); о „мѣсяцѣ въ сердцѣ“ (Mondschein im

Herzen). Въ связи съ нимъ входитъ въ моду у поэтовъ „Геттингенскаго кружка“ эпитетъ „серебряный“ о свѣтѣ и звукѣ; серебристый голосъ и даже silbernes Klavier. У поэтовъ псевдоклассическихъ вкусовъ, напр. у Попе и его школы, такому же обобщенію подвергся эпитетъ „золотой“; но они любили солнце, теперь оно зашло. Кардуччи видитъ въ лунѣ символъ романтической поэзіи въ противоположность съ классическимъ солнцемъ; вмѣсто романтизма поставимъ сентиментализмъ. Присоединимъ къ таинственному пейзажу, который мы пытались нарисовать, Оссіановскіе туманы и міръ экзотическихъ призраковъ — и у насъ подъ руками цѣлая система представленій и образовъ, питавшихъ балладу, въ которой видѣли продуктъ романтической фантазіи. Но это не романтизмъ съ его теоретической обоснованностью, а до-романтизмъ (итальянцы называли его preromanticismo) на почвѣ чувствительности.

Такъ создалось литературное теченіе, вызвавшее къ бытію груды череповъ и скелетовъ, сонмы призраковъ и мыслей на кладбищѣ, все это закутанное ночью или освѣщенное задумчивой луною. Къ могиламъ паломничали неудачно влюбленныя барышни, любили рисовать могильный холмъ, на которомъ выписывали свое имя. Слезы и мысли о смерти, безотчетное уныніе стали литературною манерой, въ меланхолію играли („мрачныя удовольствія меланхолическаго сердца“ Шатобріана); у чувствительниковъ явился свой этикетъ, наслажденіе своимъ сердцемъ нормировалось разсудкомъ, и новый флагъ нерѣдко прикрывалъ вожделѣнія старой, чувствительной эклоги. Настроеніе охватило не только молодое поколѣніе Франціи и Италіи, но и стариковъ: галантная Аркадія перестала ворковать и настроилась на слезы; такой эклектикъ, какъ Monti, пишетъ Entusiasmo malinconico, Пиндемонте чувствителенъ въ своихъ Poesie campestri; одинъ италіанскій журналистъ изъ іезуитовъ водитъ насъ въ сопутствіи Юнга по Campo-Santo въ Бергамо; пьеса озаглавлена: „Красоты кладбища“ (Il bello sepolcrale).

Недавно найденные отрывки дневника 16-лѣтняго Маттиссона, сентиментальная поэзія котораго увлекала Жуковскаго и юныхъ Тургеневыхъ[1]), даютъ намъ понятіе о нравственной атмосферѣ, въ которой складывалось міросозерцаніе поэта. Обложка расписана имъ самимъ: внизу и вверху волнообразныя, синія по бѣлому полю полосы, посрединѣ на красномъ фонѣ гирлянды изъ цвѣтовъ. Это дневникъ самонаблюденія, тайной исповѣди самому себѣ (geheimes Tagebuch); авторъ, еще школьникъ, счастливъ,что надумался снова приняться за него, ибо дѣло это серіозное, и онъ горько упрекаетъ себя, что какъ-то забылъ про него, увлекшись интересной книгой: „Господь, да проститъ мое прегрѣшеніе“. Ни одинъ день не проходитъ безъ помѣты. „Нынѣшній день прошелъ для меня въ перебоѣ радости и горя, а никогда не ощущалъ я такого благодатнаго, тихаго душевнаго спокойствія:

---

[1]) Письма А. И. Тургенева къ Н. И. Тургеневу, стран. 86, 147.

сладкая, унылая меланхолія (wehmüthiger Schwermuth), настроившая меня къ пріятнымъ и серіознымъ чувствованіямъ, была мнѣ источникомъ размышленій о моей будущей судьбѣ, и всѣ они сходились къ одному, что безъ добродѣтели и страха Божія мнѣ не быть счастливымъ". Онъ молитъ Господа послать ему силы для борьбы съ чувственностью, пылкимъ темпераментомъ, недѣятельностью, легкомысліемъ; зорко наблюдаетъ за собою, ликуетъ, когда день прошелъ незазорно, и сѣтуетъ, когда однажды въ день рожденія короля выпилъ нѣсколько стакановъ вина — за день до причастія. Все это перемежается молитвенными обращеніями и укорами совѣсти. Мальчикъ-піэтистъ цитируетъ одну изъ духовныхъ пѣсенъ Штурма, съ мистическими сочиненіями котораго Жуковскій познакомился въ Московскомъ благородномъ университетскомъ пансіонѣ, но онъ прочелъ и „Сигварта", желалъ бы быть на его мѣстѣ, встрѣтить такое же небесное созданіе, какъ Маріанна; бесѣдуетъ съ товарищами объ облагораживающемъ вліяніи чистой, цѣломудренной любви, затѣваетъ съ ними нѣчто въ родѣ дружескаго ученаго общества; вырываясь изъ объятій „нѣжнѣйшаго друга", проливаетъ сладкія слезы и на весь день погружается въ меланхолію. „Тихая, покойная жизнь, далекая отъ всякой сутолоки, въ кругу нѣжныхъ друзей, при этомъ чистая совѣсть, — вотъ что̀ готовитъ человѣку тайныя радости". А затѣмъ природа; авторъ хочетъ пойти къ ней въ науку, она будетъ руководить его. „Какъ часто глядѣлъ я сегодня на луну, и мною овладѣлъ трепетъ, мысли о смерти и вѣчности освящали душу, души усопшихъ друзей, казалось, рѣяли вокругъ меня; все было такъ грустно, такъ торжественно, что я забылъ все на свѣтѣ и въ этотъ священный часъ раздумья съ распростертыми объятіями устремился бы къ смерти. Пусть явится она скорѣе... тогда моя просвѣтленная душа возлетитъ къ Господу, я не буду знать нужды и печали, а мои дорогіе скоро послѣдуютъ за мной". Онъ любуется заходомъ солнца, отраженіемъ багроваго неба въ прудѣ; хочетъ взять съ собою Клейста и Виргилія, чтобы лучше прочувствовать то, что описали эти славные; самъ ощущаетъ себя геснеровскимъ пастушкомъ. Недостаетъ любви, которая скрасила бы для него весну, заставила бы его еще болѣе полюбить Творца въ каждомъ цвѣткѣ (при этомъ рисунокъ: покачнувшаяся урна, изъ которой сыплется пепелъ, и цвѣтокъ). Сердце какъ-то усиленно бьется, и авторъ успокаиваетъ его, вступаетъ съ нимъ въ разговоръ. Онъ любитъ ангела, — Божья ангела; смотритъ издали на деревню, гдѣ живетъ его милая, вечерняя звѣзда для него — звѣзда любви, онъ даетъ себѣ обѣщаніе смотрѣть на мѣсяцъ: можетъ-быть, и она любуется имъ съ думою о юношѣ. Въ бурную погоду онъ вырѣзаетъ ея имя на корѣ бука. Но почему онъ думаетъ только о ней? „Если это грѣхъ, то прости мнѣ, Боже! Но гдѣ же она, святая, гдѣ она?" Онъ увидѣлъ ее; она будетъ его навѣки. „А какъ подумаю о разставаніи, горькія слезы увлажняютъ мои ланиты" [1]).

[1]) Holm, Ein Tagebuch aus Mattisson's Jugend, Neue Heidelberger Jahrbücher, Jahr X, Heft 1, стран. 81, слѣд.: дневникъ съ 13 генваря по 10 апр. 1777 г.

Гёте, Шиллеръ, Жанъ Поль Рихтеръ пережили въ юности сентиментальный періодъ, чтобы выйти каждый на свой путь. У Шиллера настроеніе это звучитъ дольше; „Гимны къ ночи“ Новалиса, пережитые „воображеніемъ сердца“, отзываются чтеніемъ юнговскихъ думъ: разница между тѣми и другими въ поэзіи и новой стилистикѣ; мы на почвѣ романтизма. Манія слезъ и печали не только создала поэтовъ, но и типы безпредметныхъ меланхоликовъ, разновидность „проблематическихъ натуръ“; они, какъ и бурные геніи, влились въ теченія романтизма и байронизма.

И у насъ обнаружились теченія чувствительности, и у насъ они смѣнили вліяніе просвѣтительной, разсудочной литературы XVIII в. Въ силу историческихъ условій мы не могли не подражать, но подражали, не переживъ того общественно-психическаго процесса, который дѣлаетъ такого рода вліянія жизнеспособными. Мы не такъ болѣли умомъ, чтобы искать спасенія въ чувствѣ; на западѣ протестъ во имя его былъ принципіальный, — у насъ онъ обратился противъ уродливыхъ явленій нашей просвѣтительности съ ея упрощеннымъ матеріализмомъ, наивной игрой въ невѣріе и увлеченіемъ западной салонной культурой. Явились разсужденія „о злоупотребленіяхъ разума нѣкоторыми новыми писателями“ (Лопухинъ), „умственность родила зло“, писалъ Херасковъ, а Сумароковъ могъ сказать, что съ развитіемъ наукъ „погибла естественная простота, а съ нею и чистота сердца“.

Наступилъ періодъ сердца. Серіозный въ піэтистическомъ Новиковскомъ кружкѣ, онъ сказался въ легкой литературѣ наплывомъ чувствительности. Противорѣчія сентиментализма и классицизма ощущались, какъ литературныя, не какъ внутреннія; сентиментальная литература и не подняла чувства, а лишь открыла новые источники чувствительности; она пріучила къ извѣстному поэтическому шаблону и не открывала глаза на русскую природу и русскую дѣйствительность. Юнгъ и Оссіанъ коснулись уже Державина; Болотовъ читаетъ Зульцера (Moralische Betrachtungen über die Werke der Natur 1745 г.) и у него впервые открываются глаза на природу, какъ на источникъ „непорочныхъ увеселеній“ и піэтистическихъ восторговъ. Для Карамзина Юнгъ „несчастныхъ другъ, несчастныхъ утѣшитель“ (Поэзія 1787 г.), а пѣсни Оссіана, „нѣжнѣйшую тоску вливая въ томный духъ, настроиваютъ насъ къ печальнымъ представленіямъ; но скорбь сія мала и сладостна душѣ“ (тамъ же). Въ библіотекѣ Карамзина мы найдемъ Руссо, Бернардена de St. Pierre, Ричардсона, Томсона, Стерна, его французскихъ подражателей и нѣмецкихъ сентименталистовъ. Карамзинъ—организаторъ нашего литературнаго сентиментализма. Схема міросозерцанія намъ извѣстна: природа, славящая Творца, чувствительное сердце („Богъ—отецъ чувствительныхъ сердецъ“, „Пѣснь Божеству“ 1793 г.; святая поэзія — „Богъ чувствительныхъ сердецъ“, „Дарованія“ 1795 г.), прославленіе добродѣтели и дружбы; общественный идеалъ — человѣкъ, который

...Малымъ можетъ быть доволенъ,
Не скованъ въ чувствахъ, духомъ воленъ...
Душою такъ же прямъ, какъ станомъ,
Не ищетъ благъ за океаномъ.
И съ моря кораблей не ждетъ,
Шумящихъ вѣтровъ не робѣетъ,
Подъ солнцемъ домикъ свой имѣетъ,
Въ сей день для дня сего живетъ
И мысли въ даль не простираетъ;
Кто смотритъ прямо всѣмъ въ глаза,
Кому несчастнаго слеза
Отравы въ пищу не вливаетъ;
Кому работа не трудна,
Прогулка въ полѣ не скучна
И отдыхъ въ знойный часъ любезенъ;
Кто ближнимъ иногда полезенъ
Рукой своей или умомъ;
Кто можетъ быть пріятнымъ другомъ,
Любимымъ, счастливымъ супругомъ,
И добрымъ милыхъ чадъ отцомъ;
Кто музъ отъ скуки призываетъ
И нѣжныхъ Грацій, спутницъ ихъ;
Стихами, прозой забавляетъ
Себя, домашнихъ и чужихъ,
Отъ сердца чистаго смѣется
(Смѣяться, право, не грѣшно
Надъ тѣмъ, что кажется смѣшно!),
Тотъ въ мирѣ съ міромъ уживется.

(Посланіе къ Александру Алексѣевичу Плещееву 1794 г.).

Такого человѣка, „въ комъ духъ и совѣсть безъ пятна“ (Посланіе къ Дмитріеву 1793 г., сл. письмо Филалета къ Мелодору 1793 г.), смерть не страшитъ: она—„пристань и покой“, гдѣ снова соединятся разлученные („Берегъ“ 1803 г.), гдѣ для умѣвшихъ любить „любовь будетъ вѣчна“ („Мысли о любви“ 1797 г.); „Кладбище“ (1793 г.)—„обитель вѣчнаго міра“,—все это создаетъ атмосферу меланхоліи; она „мрачная“, ее не разгонитъ даже улыбка весны („Весенняя пѣснь меланхолика“ 1788 г.), но въ ней есть и своеобразное наслажденіе: она — „нѣжнѣйшій переливъ

Отъ скорби и тоски къ утѣхамъ наслажденья!
Веселья нѣтъ еще, и нѣтъ уже мученья;
Отчаянье прошло... но, слезы осушивъ,
Ты радостно взглянуть на свѣтъ еще не смѣешь,
И матери своей, печали, видъ имѣешь.

(„Меланхолія“ подражаніе Делилю 1800 г.).

Либо говорится о „флерѣ“, „прозрачной завѣсѣ чувствительности“, сквозь которую сіяютъ глаза героя („Рыцарь нашего времени“).

У Карамзина явилась школа; самъ онъ шелъ по чужимъ слѣдамъ, но его школа всего лучше выдаетъ слабость ремесла. „Пріятное и полезное препровожденіе времени“ и „Иппокрена“ полны юнговскихъ и оссіановскихъ мотивовъ, извлеченій и подражаній. Здѣсь подвизался Ѳ. Г. Покровскій (философъ горы Алаунской), случайный учитель мальчика Жуковскаго; его меланхолія настраивается порой реально-альтруистически на тему „бѣдствій человѣческихъ и благотворенія“ [1]); зато князь Сибирскій — сытый сентименталистъ, которому московскіе пейзажи напоминаютъ описанія въ одномъ романѣ Рэдклифъ [2]), который любитъ „заняться“ меланхоліей, сидя у „алаго огня и вспоминая объ отсутствующихъ друзьяхъ и любезной“ [3]). Въ меланхолію

---

[1]) Пріятное и полезное препровожденіе времени, ч. 12, 1796 г., стран. 3, слѣд.: „Темный лѣсъ или чувство бѣдствій человѣческихъ и благотворенія“.

[2]) „Мои желанія при наступающей веснѣ“, Иппокрена 1799 г., ч. 2, стран. 260.

[3]) Тамъ же, ч. 4-я стран. 255—6: Меланхолія.

онъ играетъ: вообразилъ себя однимъ изъ чадъ Оссіановской фантазіи, погружается въ унылую задумчивость, но спохватился: къ чему слезы и печаль, когда человѣка съ чистой душой ждутъ послѣ юдоли плача цвѣтущія долины Эдема и пѣсни ангеловъ? Противорѣчіе разрѣшается — сномъ, потому что авторъ „ощутилъ бремя свинцоваго скипетра Морфея“ [1]).

Особенно показателенъ для игры въ сентиментализмъ князь Шаликовъ; „въ немъ есть нѣчто тепленькое“, писалъ о немъ Карамзинъ, защищая его отъ нападокъ Дмитріева [2]). Весна наводитъ на него меланхолію и слезы: въ хрусталѣ глазъ играетъ солнечный лучъ, но „часто кроткое сіяніе луны перемѣняетъ его (хрусталь? лучъ?) на бирюзовомъ небѣ передъ глазами моими“. Стихотвореніе „Кладбище“ обращается въ гимнъ „кроткой, священной меланхоліи“; въ посланіи къ „Философу горы Алаунской“ поэтъ воспоминаетъ, какъ они философствовали надъ могилами подъ старымъ развѣсистымъ дубомъ, тогда какъ „меланхолическій свѣтъ луны увеличивалъ меланхолію мѣста и предметовъ“; на возвратномъ пути ихъ вниманье остановилъ печальный готическій замокъ; это — острогъ. „Москва-рѣка“ и „Днѣпръ“ вызываютъ грустныя мысли — по поводу, котораго мы не видимъ; объектъ исчезаетъ, только за Днѣпромъ „небольшія рощицы, убѣжища любви и блаженства“ и т. д. „О, природа! О, чувствительность!“ Русскій пейзажъ, мѣстныя впечатлѣнія цѣнятся поскольку они подсказаны западными впечатлѣніями и чтеніями. У путешественника Карамзина западный „стихотворецъ“ всегда „въ мысляхъ и рукахъ“ — или въ карманѣ для справки: онъ любуется видами и сентиментальничаетъ тамъ, гдѣ до него прошли Галлеръ, Геснеръ, Руссо, и въ ихъ стилѣ. Шаликовъ переноситъ этотъ пріемъ на русскій пейзажъ: „весна не была бы для меня такъ прекрасна, если бы Томсонъ и Клейстъ не описали бы мнѣ всѣхъ красотъ ея“, признается Карамзинъ (Соч. II, 71);

Ламберта, Томсона читая,
Съ рисункомъ подлиннымъ сличая,
Я міръ сей лучшимъ нахожу;
Тѣнь рощи для меня свѣжѣе,
Журчанье ручейка нѣжнѣе;
На все съ веселіемъ гляжу,
Что Клейстъ, Делиль живописали;
Стихи ихъ въ памяти храня,
Гуляю, гдѣ они гуляли,
И слѣдъ ихъ радуетъ меня!

(„Деревня“ 1795 г.).

Въ подмосковномъ имѣніи Лопухина, Жуковскій видѣлъ въ саду Юнговъ островъ и на немъ урну, посвященную памяти Фенелона, съ изображеніемъ г-жи Гюйонъ и Руссо. „Это мѣсто невольно склоняетъ насъ къ какому-то унылому, пріятному размышленію“ [3]).

Кн. Шаликову подсказываетъ нѣчто подобное — воспоминаніе: „Майское утро“ навѣваетъ образы Вертера и Элоизы, „Монастырь“ —

---

[1]) Тамъ же, ч. 3-я стран. 202, слѣд.: „Подражаніе Оссіану“.
[2]) Дмитріевъ, „Мелочи изъ запасъ моей памяти“, 1869 г., стран. 93.
[3]) О Фенелонѣ 1809 г.; Воейковъ перележилъ эту замѣтку въ стихи, сл. его „Описаніе русскихъ садовъ“, „Вѣстникъ Европы“, 1813 г., № 7 и 8, стран. 194.

память „о таинствахъ священнодѣйствія друидовъ“, „о грозныхъ оракулахъ“ — и автору хотѣлось бы проникнуть въ сокровенность сердца монаха, ибо исторія каждаго изъ нихъ есть цѣпь горестей. Въ Малороссіи онъ открылъ гдѣ-то оттѣнокъ Швейцаріи; „имѣя нѣкоторую живость воображенія, чувствительность сердца, можно ли не знать Швейцаріи и, не бывъ въ ней, не знать прекраснѣйшей въ мірѣ природы ея? Кто не читалъ „Новой Элоизы“, „Писемъ русскаго путешественника?“ Переходя затѣмъ къ разстилавшемуся передъ нимъ ландшафту, онъ спрашиваетъ себя: „Не маленькая ли это Юра? Не маленькая ли Кларанъ?“ Онъ пытается подражать русской народной пѣснѣ („Долго ли мнѣ, молодой, кручиниться“; „Нынче былъ я на почтовомъ на дворѣ“), но, переводя Tableau slave (Paris 1824 г.) кн. Зинаиды Александровны Волконской („Славянская картина пятаго вѣка“), не замѣтилъ, что помѣщенная тамъ брачная пѣсня — передѣлка русской народной, и снова перевелъ ее съ французскаго, на этотъ разъ не въ народномъ стилѣ („Молодая сосна стояла на дворѣ возлѣ шалаша“) [1]). Описаніе „сельскаго праздника“ открывается признаніемъ: „Для друга *человѣчества* и природы есть неизъяснимое удовольствіе въ *чистомъ* веселіи *чистосердечныхъ* поселянъ“. — А вотъ и праздникъ Купалы: „Ввечеру, по захожденіи солнца, на *зеленомъ* лугу и *маленькихъ* островкахъ *свѣтлой* рѣчки, подлѣ сосновой рощи и во внутренности ея запылали смоленыя бочки... Нетерпѣливые поселяне потекли со всѣхъ сторонъ на мѣсто веселія; сельскіе *дицы* ударили въ смычки свои; тамъ раздались *нѣжныя* свирѣли, здѣсь громкія пѣсни; молодыя крестьянки и крестьяне составили *рѣзвыя* пляски; пожилые сѣли за столы, на которыхъ изъ большихъ сосудовъ благоухалъ *нектаръ и амброзія* ихъ—горѣлка и свѣжій хлѣбъ; иные бросились на качели... прочіе разсѣялись по рощѣ и лугу; мы ходили и веселились съ счастливыми поселянами. Добрый ихъ помѣщикъ радовался искренно счастію ихъ и раздѣлялъ его съ нами въ *чувствительномъ* своемъ сердцѣ. Все, что Виргилій, Геснеръ, Флоріанъ, Делиль воспѣли на безсмертныхъ свирѣляхъ своихъ, *оживилось въ памяти, въ душѣ моей... Люблю поля, люблю добродѣтель, люблю и тебя, Делиль*“.

Юнговская меланхолія на кладбищѣ — и народная жизнь, видѣнная изъ оконъ помѣщичьяго дома, съ чистосердечными, счастливыми поселянами, нѣжными свирѣлями, рѣзвыми плясками на зеленомъ лугу, у свѣтлой рѣчки, съ водкой — амброзіей. Дѣйствительность могла подсказывать другое, но нельзя было отдѣлаться отъ Юнга и Делиля, не припомнить „обманы и Ричардсона и Руссо“ („Евг. Онѣгинъ“). Это — сентиментализмъ для развлеченія, допускавшій и нѣкоторую долю похотливости. Въ ту пору, когда Жуковскій вступилъ въ его

---

[1]) Начало пѣсни въ Tableau slave: Un jeune pin s'élevait sur les monts auprès d'une chaumière; въ „Olga“ той же писательницы также встрѣчаются передѣлки народныхъ пѣсенъ: 1) Assise dans un donjon élevé j'entends la voix du faucon; 2) O fleuve, fleuve cheri; 3) Bon foyer échauffe toi; 4) Dans la prairie est un joli tilleul.

атмосферу, русское общество переживало реакцію, самое слово „общество“ изъято было изъ литературнаго обращенія, но сентиментальничать не воспрещалось. Мать Карамзина обнаруживала удивительную склонность къ меланхоліи, просиживала цѣлые дни въ глубокой задумчивости; ея любимое чтеніе — чувствительные романы [1]). Екатерина Аѳанасьевна Протасова, впослѣдствіи строгая ригористка, зачитывалась въ молодости „Новой Элоизой“ и сентиментальной книгой о воспитаніи: Adèle et Théodore [2]). Отецъ Гоголя любилъ заниматься разбивкой садовъ и для каждой аллеи подыскивалъ особое названіе; въ сосѣднемъ лѣсу у него была „Долина спокойствія“, — запрещено было стучать и даже колотить бѣлье на пруду, чтобы не разогнать соловьевъ [3]). Лѣтомъ 1810 г. Гнѣдичъ засталъ Батюшкова больнымъ, „кажется, отъ московскаго воздуха, зараженнаго чувствительностью, сырого отъ слезъ, проливаемыхъ авторами, и густого отъ ихъ воздыханій“ [4]). И Батюшковъ шутитъ надъ „модными писателями, которые проводятъ цѣлыя ночи на гробахъ и бѣдное человѣчество пугаютъ привидѣніями, духами, страшнымъ судомъ, а болѣе всего своимъ слогомъ“, предаваясь „мрачнымъ разсужденіямъ о бренности вещей, которыя позволено дѣлать всякому въ нынѣшнемъ вѣкѣ меланхоліи“. („Прогулка по Москвѣ“ 1810 г.)

Засентиментальничалъ и Жуковскій, единственный настоящій поэтъ эпохи нашей чувствительности, единственный, испытавшій ея настроеніе не литературно только, но страдой жизни, въ ту пору, когда сердце требуетъ опеки любви, и позже, когда оно ищетъ взаимности. И этотъ опытъ оставилъ глубокіе слѣды на человѣкѣ, далъ особый поворотъ его чувству, навсегда связавъ его „воспоминаніями“; мотивы сентиментальной поэзіи поддержали его настроеніе, но оно наложило на нихъ печать искренности, изящной задумчивости, которая перебиваетъ условность голосомъ сердца. Этотъ поэтическій cliché, отзвукъ испытаннаго и выстраданнаго, связалъ его: настали иныя времена, проглянуло и позднее счастье, а печальное cliché повторяется среди шалостей „Арзамаса“ и новыхъ увлеченій, „Отчетовъ о лунѣ“ и эпитафіи „бѣлки“. Точно Leitmotiv, отъ котораго поэтъ не можетъ отвязаться.

Веселовскій.

Поэтика романтиковъ и поэтика Жуковскаго.

Если проводить связь между „душой Жуковскаго“ и тѣми направленіями западной литературы, которыя она отразила, то намъ нечего выходить изъ теченій сентиментализма, въ которыя поэтъ вступилъ въ началѣ своей дѣятельности. До конца онъ піэтистъ

---

1) Карамзинъ, Соч. III, стран. 242, 253—5.
2) Зейдлицъ, „Жизнь и Поэзія В. А. Жуковскаго“, стран. 13, прим. 1.
3) Щеголевъ, „Историческій Вѣстникъ“ 1902 г., февраль, стр. 661.
4) Тихановъ, Ник. Ив. Гнѣдичъ, стран. 40.

съ идеаломъ Schöne Seele и выспренной дружбы; поэзія для него религіозное откровеніе, являющее „святость жизни... во всей ея красѣ небесной“; слова поэта — дѣла поэта; до шиллеровское отождествленіе поэзіи и добродѣтели замѣняется требованіемъ, что поэтъ долженъ быть чистъ душой, тогда только его слово будетъ благодатно. Изъ сферы сентиментализма перешло къ Жуковскому пристрастіе къ мечтательности, загробнымъ образамъ и таинственной лунѣ и то настроеніе меланхоліи, которое онъ тщился превратить въ понятіе — христіанской грусти.

Поэзія Sturm und Drang'а, бурныхъ стремленій и геніальничанья, съ ея энергическими заявленіями личности и протестомъ противъ всякихъ условностей, коснулась Жуковскаго не своей психологіей, а литературной стороной: интересомъ къ народной старинѣ (Бюргеръ), міровой литературѣ и поэтическому экзотизму (Гердеръ, Фоссъ).

Гёте и Шиллеръ пережили стадію чувствительности и бурнаго чувства, Вертера и Мора, погрузились въ созерцаніе античной красоты, вынесли изъ нея понятіе о высокомъ назначеніи искусства и стали поодаль на высотахъ веймарскаго Парнасса. Кругомъ нихъ кишитъ молодое поколѣніе, не остывшее еще отъ волненій періода бури и натиска, и ищетъ пути; тамъ, гдѣ Гёте остановился въ величавой Entsagung, они строятъ систему. Есть между ними люди восторженные и скептики, теоретики и эстеты, вѣрующіе и фантасты мистицизма: Тикъ, Ваккенродеръ, Новалисъ, Шлегель и др. Время въ общественномъ смыслѣ было глухое, подавленное сознаніемъ несбывшихся надеждъ и подкошенныхъ стремленій: чувствительность стала сосѣдить съ филистерствомъ, титаны чувства сгорѣли и обратятся въ героевъ байроновскаго пессимизма. Оставалось уйти въ себя, удалиться отъ дѣйствительности въ область искусства, раскрытаго веймарскими классиками; въ тѣсный кружокъ друзей-поэтовъ, въ родѣ кружка іенскихъ романтиковъ, или того, фантастическаго, который Ла-Мотъ-Фукэ собралъ въ какомъ-то замкѣ въ Пиренеяхъ (Alwin); погрузиться въ недѣятельное прозябаніе, Müssiggang, возведенное въ идеалъ, поскольку оно соединено съ экстазомъ поэзіи и „божественнымъ эгоизмомъ“ и ему одному довлѣетъ. Такое пониманіе искусства, поэзіи, повторяетъ воззрѣнія сентиментализма и Sturm und Drang'а, но ведетъ ихъ дальше, обобщаетъ, обосновываетъ *теоретически*. Чувство подчиняется рефлексіи, безсознательное анализу сознанія. У англійскихъ писателей XVII и XVIII вв. романтическимъ называлось то, что выходило за границы привычной дѣйствительности и уравновѣшенной культуры, а встрѣчалось развѣ въ старыхъ рыцарскихъ романахъ: дикая мѣстность, темные гроты, мечтательная, несущественная любовь. Все это получитъ мѣсто въ новомъ синтезѣ: мы на почвѣ романтической школы.

Съ ея воззрѣніями, пріемами, программой надо познакомиться въ виду того, что у насъ говорено было о „романтизмѣ“ — и романтизмѣ Жуковскаго 20-хъ годовъ.

Что такое поэзія, искусство? Жизнь, природа — отраженіе безконечнаго, но отраженіе неполное, призрачное; угадать полноту идеала въ оболочкѣ конечнаго можетъ лишь мистически вдохновенное чувство поэта; Шеллингъ назоветъ его интеллектуальнымъ прозрѣніемъ; романтики припоминали выраженіе стараго мистика Бёме: Der Blitz, молніеносное откровеніе. Оно-то и раскрываетъ смыслъ реальности, которая сама по себѣ мертва; „абсолютно-реальна — поэзія", философія — ея теорія, „совершенная форма науки должна быть поэтической"; „настоящій поэтъ всезнающъ, онъ — свѣтъ въ маломъ видѣ" (Новалисъ). Но это восторженное сознаніе чередуется съ другимъ, ироническимъ: сознаніемъ противорѣчій идеала и его земныхъ формъ. Такое воспріятіе дѣйствительности, полное контрастовъ и грустно-веселаго юмора, и есть прекрасное, оно даетъ цѣнность жизни, какъ символа невыразимаго, недоступнаго намъ, совершеннаго. Поэзія настраиваетъ насъ благоговѣйно, ведетъ къ религіи; „есть особый умственный, поэтическій органъ для познанія божественнаго, которое становится непосредственнымъ достояніемъ чувства, чаянія, совѣсти", говоритъ Новалисъ; „поэзія — продуктивная религія". И, наоборотъ: религіозное настроеніе — „высшее и чистѣйшее художественное наслажденіе" (Тикъ). Идеаломъ является проникновеніе поэзіи въ природу, въ практику личной и общественной жизни, развитой новыми спросами культуры. Періодъ „геніевъ" поставилъ на очередь вопросъ о значеніи чувства, до тѣхъ поръ сжатаго, упорядоченнаго требованіями традиціонной нравственности въ вопросахъ любви и брака, и рѣшилъ ихъ въ смыслѣ широкой свободы. Къ отождествленію: религія — поэзія (философія) пристали другія: когда сердце, отвлекаясь отъ всей дѣйствительности, становится самому себѣ идеальнымъ объектомъ, зарождается религія, говоритъ Новалисъ; всѣ частныя вожделѣнія сплываются въ одно, цѣлью котораго становится высшее существо, Богъ, и страхъ Божій объемлетъ всѣ чувствованія и стремленія. „Если такимъ объектомъ будетъ любимая женщина — это будетъ прикладная религія".

„Жизнь и поэзія — одно", пѣлъ и Жуковскій; какъ и романтики, онъ пренебрегъ и позабылъ „низость настоящаго", но для него жизнь наполнялась сентиментальной семьей, уютной меланхоліей. И для него поэзія — сестра религіи, но какъ ея призракъ и отраженіе, не какъ настроеніе, которое привело романтиковъ изъ безформенности піэтизма, гётевскаго пантеизма, абстрактнаго религіознаго чувства (Шлегель), къ историческому и философскому обоснованію религіи, какъ необходимой формѣ сознанія, и художественному католицизму. Исканіе кончилось, жажда положительной вѣры нашла успокоеніе, при воздѣйствіи raisons poétiques, raisons de sentiment; первое заглавіе Шатобріановскаго Génie de Christianisme было: „Красоты христіанской религіи". Шли отъ искусства къ религіи, Жуковскій въ ней выросъ лишь и старается проработаться отъ убѣжденія къ благодати непосредственной вѣры.

Романтики — символисты (къ символизму спустился и реалистъ

Гёте — въ Пандорѣ, во второй части „Фауста“); символисты по призванію и теоріи. Конечно кругомъ насъ — лишь символъ безконечнаго; поэзія прозрѣваетъ соотвѣтствія неба и земли, духовнаго и вещественнаго, чудеснаго и раціональнаго, жизни и смерти, Аполлона и Діониса. Во всемъ раскрывается единая органическая сущность міра, полярныя противорѣчія мирятся, потому что одна и та же сила бьется въ человѣческомъ пульсѣ и управляетъ вращеніемъ свѣтилъ; классическій образъ „андрогина“ оживаетъ, съ таинственнымъ значеніемъ, въ фантазіи романтиковъ.

Was in den Himmelskreisen sich bewegt,
Das muss auch bildlich auf der Erden walten,
Das wird auch in des Menschen Brust erregt,
Natur kann nichts in engen Grenzen halten,
Ein Blitz, der aufwärts aus dem Centro dringet,
Er spiegelt sich in jeglichen Gestalten,
Und sich Gestirn und Mensch und Erde schwinget
Gleichmässig fort und eins des andern Spiegel,
Der Ton durch alle Creaturen klinget.

(Tieck, Genoveva: Schlachteld).

Какъ чаровница Винфреда въ Genevev'ѣ, такъ и романтики чуютъ внутреннюю связь явленій, видимо раздѣленныхъ въ природѣ:

Wie Stern' im Abgrund die Metalle formen,
Wie Geister die Gewächse figurieren,
Wie sich Gedank' und Wille korporieren,
Wie Phantasie zum Kern der Dinge dringt,
Durch Einbildung Unmögliches gelingt,
Wie jeder Stein uns stumme Grüsse beut,
Alle Dinge nur sind der Geisterwelt ein Kleid.

Единство міра не только въ органическомъ сосуществованіи настоящаго, но настоящаго и прошедшаго: новое можетъ быть только обновленіемъ, развитіемъ стараго, ибо общество, государство — живой, самъ себя обусловливающій организмъ; возвращеніе къ народной старинѣ и идеаламъ средневѣковаго уклада было у романтиковъ не однимъ только поэтическимъ спросомъ, а исканіемъ органической связи съ прошлымъ, нарушенной посторонними вліяніями. Прошлое обязываетъ. Игра таинственныхъ созвучій и соотвѣтствій обнимаетъ всю исторію человѣчества: мы когда-то уже были, чьи-то двойники, идущіе навстрѣчу другимъ, Суапе у Новалиса та же Матильда (Heinrich von Ofterdingen), Изида та же Rosenblüthe (Die Lehrlinge von Sais).

Und was man glaubt es sei geschehn,
Kann man von weitem erst kommen sehn.

(Heinrich v. Ofterdingen).

Старые мотивы метемпсихозы и двойничества являлись въ новомъ освѣщеніи, связывая личность идеей атавизма, прирожденности, унаслѣдованной доли. Романтическая драма рока не наслѣдіе классической,

обновленной Шиллеромъ, а звено того міроваго синтеза, который грезился романтикамъ, который питалъ ихъ Sehnsucht. Ваккенродеръ и Брентано сравнивали себя съ инструментами, на струнахъ котораго играетъ судьба.

Такое міросозерцаніе должно было создавать новое „чудесное", отмѣнявшее старыя, неподвижныя рамки классическаго. Въ два послѣднихъ десятилѣтія XVIII в. протестъ противъ его разсудочной цивилизаціи выразился поднятіемъ интереса ко всему духовному, сверхъестественному: къ магіи и жизненному элексиру, къ вызыванію духовъ и всему демоническому, Фаустамъ и Мефистофелямъ. На первыхъ порахъ даже такія реальныя завоеванія науки, какъ открытіе кислорода (1774 г.) и гальванизма (1789 г.), послужили матеріаломъ для спиритуалистическихъ построеній. Животный и земной магнетизмъ представился той силой, которая связываетъ органическое и неорганическое, духовное и тѣлесное въ одно живое цѣлое. Отсюда увлеченіе астрологіей, она также раскрывала единство міра; „я совершенно увѣренъ, что наша судьба привязана къ небу и звѣздамъ", писалъ брату Вильгельмъ Гриммъ.

Шиллеръ пишетъ своего Geisterseher, романы Шписа и С° спустили на площадь новомодную фантастику, тогда какъ народная фантастика сказокъ и преданій проходила въ поэзію съ Виландомъ и балладами Бюргера.

Такъ собирались матеріалы для романтическаго чудеснаго и сложилась его теорія. Шлегель поставитъ требованія новой „миѳологіи", которой христіанство и его легенды, Кальдеронъ и народныя сказки и восточная фантазія отдадутъ свои мотивы. И сказка, легенда, забытое народное преданіе поднимаются въ цѣнѣ. „Невидимое дитя" Гофмана явится къ дѣтямъ бѣднаго дворянина Бракеля, которыхъ учитель Тинте душилъ чернильной мудростью, и будетъ играть съ ними, сказывать сказки, учить наслаждаться въ полѣ каждой былинкой, въ небѣ каждой звѣздой. Въ сущности, все въ здѣшнемъ мірѣ иносказаніе, сказка, понять и изобразить которую можно только, какъ сказку, говоритъ Новалисъ. Для него она „канонъ поэзіи", она, „какъ сновидѣніе, безъ связи, смѣсь чудесныхъ фактовъ и созвучій, какъ музыкальная фантазія, гармоническіе отголоски эоловой арфы, какъ сама природа".

Mondbeglänzte Zaubernacht,
Die den Sinn gefangen hält,
Wundervolle Märchenwelt,
Steig auf in der alten Pracht.

(Tieck, Octavian, Prolog).

Соотвѣтствія безконечны, и фантазія работаетъ: у романтиковъ все wunderbar, wundervoll, wundersam, wunderlich, seltsam, все чудо, вызываетъ предчувствіе о чемъ-то неуловимомъ, настраиваетъ на идею безконечнаго. Но чудесное не въ одномъ таинственномъ, освѣщенномъ луною, и не въ загробныхъ образахъ; оно повсюду: у Гофмана оно

дѣется среди бѣла дня, изъ каждаго повседневнаго, видимо филистерскаго акта выглядываетъ змѣйка-фея, точно поверхъ жизни невидимо идетъ какая-то другая, подсказывая и отрицая, вызывая поочередно приливы пантеистическихъ восторговъ и юмора. Чувствительный Стернъ былъ въ модѣ у сентименталистовъ, Стернъ-юмористъ нашелъ признаніе у романтиковъ.

Когда за объективной видимостью таится другая, незримая, она не описательна, не вызываетъ непосредственно и на рефлексію; надо чтобы въ читателѣ явилось то особое расположеніе чувства, то настроеніе (Stimmung), которое сдѣлало бы его внутренне зрячимъ, способнымъ угадывать безконечное въ конечномъ, *невыразимое* въ призрачномъ. Поэты-описатели рисовали природу, сентименталисты размышляли надъ нею, у романтиковъ-символистовъ она не реальна: Новалисъ желалъ бы изобразить ее въ видѣ дріады или ореады; у Гофмана художникъ пишетъ съ натуры группу деревьевъ, а зрителю кажется, „что изъ-за густыхъ листьевъ выглядываютъ разнообразнѣйшія фигуры, то геніи, то странныя животныя, то цвѣты“, — и художникъ поясняетъ, что именно этотъ способъ писать этюды и вноситъ въ пейзажъ поэтическій, фантастическій элементъ, элементъ неуловимыхъ ассоціацій, втягивающихъ человѣческую жизнь въ тѣсное единеніе съ окружающею ее живою и живущею реальностью. У Тика слагаются причудливые образы: изъ весеннихъ облаковъ киваютъ ручки, на каждомъ пальцѣ по розѣ („Frühling und Leben“: Aus den Wolken winken Hände, — An jedem Finger rote Rose), смѣются алыя уста — смѣются розы; далѣе фантастическое перенесеніе: розы вырастаютъ на стеблѣ, „поцѣлуями, поцѣлуями любви осыпанъ кустъ“ (mit Küssen, mit Liebesküssen der Busch bestreut. „Frühlings- und Sommerluft“); золотыя полосы стелятъ по голубому небу путь солнцу (Magelone), а восторгъ, въ который приводитъ лѣсное приволье, выражается такъ, какъ будто самъ поэтъ былъ частью лѣса, обвѣяннаго вѣтромъ и птичьей пѣсней:

Mit Fingern, mit Zweigen, mit Aesten,
Durchrauscht vom spielenden Westen,
Durchsungen von Vögelein,
Freu'n wir uns frisch in die Wurzeln hinein.

(Wald, Garten und Berg).

Начиная съ романтиковъ, которымъ вторилъ Гёте, наивный психологическій параллелизмъ народной пѣсни началъ раскрываться новому спросу: выразить невыразимое.

Это требовало и новыхъ средствъ языка и стиха. Уже движеніе Sturm und Drang'а поставило задачей созданіе „геніальнаго“ стиля, сильнаго и вещественнаго, черпавшаго изъ Гакса Сакса и народной рѣчи, не боявшагося новообразованій и свободной конструкціи, элизій и инверсій. Таковъ стиль молодого Гёте. Романтики пошли далѣе. Дѣло не въ рисункѣ, а въ возбужденіи настроенія; здѣсь починъ романтиковъ неистощимъ въ опытахъ. Новые эпитеты; обновляется потускнѣвшій

у сентименталистовъ эпитетъ „золотой“; рядомъ съ нимъ „красный“ и „зеленый“: rotes Leben, rote Sehnsucht; grüne Flammen — весенняя листва (Тикъ). Синкретизмъ и символизмъ чувственныхъ ощущеній: звуки свѣтятся, птицы — оперенные звуки; синій цвѣтъ — цвѣтъ страданія и ревности, красный — дѣятельности и любви; у Гофмана запахъ темно-красной гвоздики вызываетъ мечтательность, точно слышишь издалека набѣгающіе и отливающіе звуки англійскаго рожка (Kreissleriana, 5); А. В. Шлегель изобрѣлъ скалу соотвѣтствій между гласными и рядомъ вызываемыхъ ими ощущеній: а — красный цвѣтъ, юность, радость, блескъ, о — пурпуръ, благородство, великолѣпіе, солнце, і — небесно-голубой цвѣтъ, глубокая любовь и т. д. При этомъ игра въ архаизмы языка, не всегда удачные, но возбуждающіе представленіе чего-то не своего, далекаго, стариннаго, легендарнаго, туманнаго; любовь къ созвучіямъ, риѳмы ради созвучія и риѳмы; если бы ихъ изобиліе и затемняло смыслъ, оно мелодически настраиваетъ. „Почему именно содержаніе должно быть — содержаніемъ поэтическаго произведенія?“ спрашивалъ Тикъ (Sternbalds Wanderungen). „Можно представить себѣ разсказы безъ связи, но въ ассоціаціи, какъ сновидѣнія; стихотворенія, полныя красивыхъ словъ, но безъ всякаго смысла и связи, развѣ та или другая строфа будутъ понятны; точно разнородные отрывки“ (Новалисъ).

Романтики — музыкальные импрессіонисты; не даромъ ихъ герои, графы или бродяги, не мыслимы безъ арфы или мандолины, будь они въ Италіи или въ Исландіи. „Языкъ точно отказался отъ своей тѣлесности и разрѣшился въ дуновеніе — выразился А. В. Шлегель о Тикѣ, — слово будто не произносится и звучитъ нѣжнѣе пѣнія“,

.... dass alle Pulse zu Klängen werden,
Dass alle Gedanken in Tönen irren,
Gefühl und Wunsch und Wahnsinn durcheinander wirren.

(Tiek, Genoveva).

Звучныя слова неопредѣленнаго значенія производятъ то же впечатлѣніе, что и музыка, говоритъ Новалисъ; въ жизни души опредѣленныя мысли и чувства — согласныя, неясныя чувствованія — гласные звуки. „Музыка потому выше другихъ искусствъ, что въ ней ничего не понять, что она, такъ сказать, ставитъ насъ въ непосредственныя отношенія къ міровой жизни (Universum); сущность новаго искусства можно бы такъ опредѣлить: оно стремится облагородить поэзію до высоты музыки“ (Захарія Вернеръ въ письмѣ 1803 года). Для Гофмана музыка — самое романтическое изъ всѣхъ искусствъ; ея объектъ — безконечное, это праязыкъ природы, на которомъ одномъ можно уразумѣть пѣсню пѣсней деревьевъ и цвѣтовъ, животныхъ, камней и водъ. Какъ музыка — праязыкъ природы, такъ въ другомъ мѣстѣ образный языкъ поэзіи и религіи приравнивается къ языку первобытнаго человѣка, отвѣтившему дѣйствительности, утраченной нами съ переходомъ

безсознательнаго въ область сознанія, но вѣчно истинной и еще живой, которую человѣку предстоитъ снова открыть..

И еще одна старая тема обновилась въ сюжетности романтиковъ, миѳъ объ Аріонѣ и чудодѣйственной, зиждущей силѣ его пѣсни.

Исканію настраивающей выразительности отвѣтило и разнообразіе лирическихъ формъ, введенныхъ въ оборотъ, романскихъ и восточныхъ и навѣянныхъ народной пѣсней; романтики мастера терцина и сонета. Преобладаніе импрессіонизма надъ рисункомъ сказалось бы въ свободномъ отношеніи Тика къ вопросамъ синтаксиса, у романтиковъ вообще такимъ же отношеніемъ къ формамъ традиціонной поэтики, различавшей извѣстные роды, сценическіе пріемы; они, казалось, связывали своей излишней опредѣленностью, тѣлесностью: надо смѣшать ихъ, играть ими, тогда только они будутъ „подсказывать". Арабеска, эта наивно-музыкальная, въ самой себѣ вращающаяся линія, представлялась Фр. Шлегелю древнѣйшей формой человѣческой фантазіи.

Отъ романтиковъ перейдемъ еще разъ къ Жуковскому. Онъ не символистъ ихъ стиля, въ сравненіи съ ними его можно бы назвать классикомъ; онъ простъ: его чудесное носитъ спеціальный характеръ „Юнговыхъ ночей" и Оссіана: оно либо лунное, загробное, либо просто сказочно-страшное. И его притягиваетъ „невыразимое", „неизреченное", оно и есть прекрасное: не даромъ онъ такъ часто возвращался къ толкованію афоризма Руссо: il n'y a de beau que ce qui n'est pas. Есть слова для „блестящей красоты", говоритъ онъ,

Но то, что слито съ сей блестящей красотою,
Сіе столь смутное, волнующее насъ,
Сей внемлемый одной душою
Обворожающаго гласъ,
Сіе къ далекому стремленье,
Сей миновавшаго привѣтъ
(Какъ прилетѣвшее внезапно дуновенье
Отъ луга родины, гдѣ былъ когда-то цвѣтъ,
Святая молодость, гдѣ жило упованье),
Сіе шепнувшее душѣ воспоминанье
О миломъ радостномъ и скорбномъ старины,
Сія сходящая святыня съ вышины,
Сіе присутствіе Создателя въ созданьѣ, —
Какой для нихъ языкъ?... Горѣ душа летитъ,
Все необъятное въ единый вздохъ тѣснится,
И лишь молчаніе понятно говоритъ.

(„Невыразимое".)

„Прелесть природы въ ея невыразимости", писалъ въ 1821 г. Жуковскій[1]), но средства выраженія у него не тѣ, что у романтиковъ. Я сказалъ выше, что сентименталисты, по существу, не зрячи (visuels), но къ сентименталисту Жуковскому мы поставили бы иныя требованія: онъ не только любитель и знатокъ живописи, но смолода и страстный

[1]) Къ вел. кн. Александрѣ Ѳеодоровнѣ, Карлсбадъ 17/29 іюня 1821 г. („Русская Старина", октябрь, 1901 г., стран. 232) — „Путешествіе по Саксонской Швейцаріи".

рисовальщикъ[1]). Для него, какъ поэта, это не безразлично. На этомъ слѣдуетъ остановиться.

Зонтагъ разсказываетъ, какъ, будучи 4—5-лѣтнимъ мальчикомъ, онъ забрался въ пустую комнату и мѣломъ срисовалъ на полу стоявшій тамъ образъ Боголюбской Божіей Матери; его картина, написанная по 14-му г., осталась въ Московскомъ университетскомъ благородномъ пансіонѣ[2]). Въ 1815 году, въ Дерптѣ, онъ учится гравировать въ мастерской профессора живописи Зенфа; за границей усердно посѣщаетъ музеи; картины занимаютъ не малое мѣсто въ его дневникѣ. Онъ водится съ художниками Фридрихомъ, Рейтерномъ, Кларой и другими, поддерживаетъ ихъ, толкуетъ объ искусствѣ, покупаетъ и собираетъ[3]). Въ 1838 году дѣлаетъ государю наслѣднику предложеніе „о составленіи собранія памятниковъ искусства среднихъ вѣковъ“[4]); въ 1840 г. пишетъ императору Николаю Павловичу, что желалъ бы употребить свое трехлѣтнее пребываніе за границей на ознакомленіе съ тѣми способами, какіе тамъ въ ходу для „успѣшнаго образованія“ художниковъ, чтобы приложить эти способы въ пользу Россіи[5]); въ 1845 году принимаетъ участіе въ дѣлѣ пріобрѣтенія въ Нюрнбергѣ и пересылки въ Россію готическаго алтаря съ живописными копіями рисунковъ Дюрера[6]).

Его художественные вкусы выясняются постепенно. Въ 1821 г. онъ видѣлъ не вѣсть что въ Мадоннѣ Рафаэля; въ 1840 г. онъ еще находился подъ ея обаяніемъ[7]); въ 1838 г. онъ такъ судитъ о современной живописи: „Германская (школа); правильность, мысль, Gemüth, правда, иногда сухость. У итальянцевъ школа и преданіе безъ жизни. У англичанъ экзажерація и въ то же время, правда, много поэзіи. Французы — пріятность безъ правды, манерность и аффектація; отсутствіе мысли или ея неглубокость“[8]). Правда и Gemüth, „душа“ — вотъ чего онъ будетъ требовать отъ художника. „Die Aussendinge sind die Farbe des Geistes“, писалъ ему въ 1803 г. Андрей Тургеневъ настоящій художникъ повсюду находитъ въ природѣ „символъ человѣческой жизни“, скажетъ Жуковскій о Фридрихѣ; красота природы въ нашей душѣ“, „главный живописецъ — душа“, запишетъ онъ въ своемъ дневникѣ (1821 года, 25 іюля и 7 сентября) и разовьетъ эту мысль въ письмѣ къ Рейтерну: не слѣдуетъ украшать природу, потому что rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable (Boileau), но художникъ схватываетъ ее индивидуально, il la saisit de son propre *sentiment*, car il ajoute à ce qu'elle donne ce qui est dans son âme.

---

[1]) Сл. Сумцевъ, I. с., стран. 106 слѣд.

[2]) Шевыревъ, „Исторія Имп. Московскаго Университета“, стран. 306.

[3]) Слѣд. его письма къ Сѣверину 1839 г. „Русская Старина“ 1902 г., апрѣль, стран. 154, 155; письма Н. М. Смирнова къ Жуковскому, „Русскій Архивъ“ 1899 г., стран. 623—7.

[4]) Дневникъ 1838 г., 29 ноября / 11 декабря.

[5]) Изъ Эмса 1840 г., іюль, не издано.

[6]) Письмо къ Сѣверину, „Русская Старина“ 1902 г., апрѣль, стран. 162.

[7]) Сл. его письмо къ роднымъ о бракѣ.

[8]) Дневникъ 1838 г. 25 декабря — 6 января 1839 г.

Mais cette individualité ne sera autre chose que *l'âme humaine dans celle de la nature;* elle sera pour nous une voix qui parle dans le desert, qui l'embellit et l'anime. Une ruine, p. e., est belle par elle même, mais le *souvenir* d'un homme, qu'elle a vu passer, ce souvenir, qui s'y attache vaguement, lui donne un charme indéfinissable... C'est donc l'âme humaine que nous aimons à retrouver partout. Въ другомъ письмѣ онъ говоритъ, что Рейтернъ умѣетъ выражать l'extérieur природы „donnez nous à présent l'intérieur, la nature invisible et grande"[1]). Это отчасти воззрѣніе Гёте въ замѣткѣ, которую Жуковскій читалъ: на низшей степени стоитъ подражаніе природѣ, выше художникъ, умѣющій вложить въ предметы свое личное художественное пониманіе; выше всего тотъ, кто сумѣетъ извлечь изъ предметовъ ихъ сущность (Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil). Въ 1838 году Жуковскій судилъ о Брюлловѣ, что у него рѣшительно болѣе творческаго генія, нежели у всѣхъ современныхъ живописцевъ, „не выключая и Горація Вернета", если бы „онъ къ своему италіанскому мастерству (Meisterchaft) присоединилъ и идеальность и глубокое чувство религіозности живописцевъ германскихъ", онъ сталъ бы на ряду съ первыми живописцами всѣхъ вѣковъ[2]). Картины его кажутся ему „слишкомъ матеріальными, подавляющими къ грѣшной землѣ божественное высшее искусство". Такъ разсказываетъ Шевченко: онъ и Штейнбергъ учились въ мастерской Брюллова. Жуковскій, только что вернувшійся въ 1839 году изъ-за границы, предложилъ имъ зайти къ нему „полюбоваться и поучиться отъ великихъ учителей Германіи. Мы не преминули воспользоваться симъ счастливымъ случаемъ и на другой же день явились въ кабинетъ германофила. Но, Боже! что мы увидѣли въ этомъ огромномъ, развернувшемся передъ нами портфёлѣ: длинныхъ, безжизненныхъ мадоннъ, окруженныхъ готическими, тощими херувимами, и прочихъ, настоящихъ мучениковъ живого, улыбающаго искусства. Увидѣли Гольбейна, Дюрера, но никакъ не представителей XIX вѣка... Разсматривая эту коллекцію идеальнаго безобразія, мы высказывали вслухъ свои мнѣнія и своимъ простодушіемъ довели такого кроткаго и деликатнаго Василія Андреевича до того, что онъ назвалъ насъ испорченными учениками Карла Павловича (Брюллова) и хотѣлъ закрыть портфёль передъ нашими носами"[3]).

Жуковскаго-поэта нельзя представить себѣ безъ карандаша: гдѣ бы онъ ни былъ, куда бы ни явился, — онъ всюду брался за него и рисовалъ, въ Мишенскомъ и Муратовѣ, въ Швейцаріи, Римѣ, Швеціи; мѣстами его дневникъ имъ же иллюстрированъ. „Путешествіе (1821 г.) сдѣлало меня и рисовщикомъ,—писалъ онъ Зонтагъ: — я нарисовалъ au trait около 80 видовъ, которые самъ выгравировалъ также au trait. Чтобы дать вамъ понятіе о моемъ искусствѣ, посылаю вамъ мои гравюры павловскихъ видовъ; такъ же будутъ сдѣланы и швейцарскіе,

---

[1]) Gerhard von Reutern l. c. стран. 63 слѣд., стран. 104.
Въ вел. кн. Марьѣ Николаевнѣ 1838 г., 2—14 іюля.
[3]) „Основа", 1861 г., августъ, стран. 5.

только при нихъ будетъ описаніе"[1]). Въ 1837 г., когда Жуковскій сопровождалъ наслѣдника цесаревича въ его путешествіи по Россіи, онъ любовался вмѣстѣ съ Александромъ Михайловичемъ Тургеневымъ окрестностями Москвы и рисовалъ; рисовалъ на всемъ пути: сохранилось два альбома такихъ рисунковъ, одинъ съ 176, другой съ 93-я видами, кое-гдѣ обведенными чернилами. Въ 1839 г. Жуковскій налету зачерчиваетъ лучшіе виды Рима; „онъ въ одну минуту рисуетъ ихъ по десяткамъ, и чрезвычайно вѣрно и хорошо", писалъ Гоголь[2]).

Лишь немногіе изъ этихъ этюдовъ стали достояніемъ публики; образцами могутъ служить павловскіе виды и изданіе „Сельскаго кладбища" 1839 г. съ видами, снятыми поэтомъ на кладбищѣ Stocks Poges подъ Виндзоромъ. О виньеткѣ передъ „Пѣвцомъ во станѣ русскихъ воиновъ" въ изданіи 1848 г. мы говорили выше.

Рисунки Жуковскаго, когда они не наброски, вычерчены обстоятельно и нѣсколько сухо; его привлекали виды, Kleinleben и далекія перспективы; рѣже фигуры и лица; видно исканіе выразительности въ позѣ, исканіе правды; недостаетъ красокъ, освѣщенія. Здѣсь дополненіемъ служитъ текстъ дневниковъ; особенно дневникъ 1821 г. представляетъ рядъ красочныхъ этюдовъ съ натуры, зачерченныхъ словомъ, нерѣдко до мелочей. Мы знаемъ, что многое изъ этихъ замѣтокъ нашло потомъ литературную обработку и попало въ печать, но въ дневникѣ впечатлѣнія наскоро, повторяясь, — свѣжѣе, сочнѣе, ярче; присутствуешь при моментѣ, когда видѣнное не только зарисовываетъ цвѣтовые образы, сравненія и—размышленія, когда на смѣну художника является, съ его рефлексіей, печальный сентименталистъ[3]).

„Вечеръ на Lago Maggiore: *полумѣсяцъ* надъ холмомъ, *какъ колесница*. Востокъ и Западъ. Радужныя небеса... Звѣзды на горахъ. Вѣтеръ. Воды, измѣняющіяся вмѣстѣ съ небомъ. Тихія облака. Одно облако на небѣ. Цвѣтъ Альповъ и горъ отъ розоваго къ голубому" (1821 г. 16 августа). „Во весь день Mont-Blanc въ клубящихся облакахъ. Въ часъ заката облака вспыхнули и разошлись, и выступила *пламенная голова* великана. Теперь ночь, передовыя головы черны, надъ ними рядъ черныхъ головъ и звѣздное небо; Арва шумитъ; прекрасная сельская картина; исчезаніе предметовъ" (21-го августа). Образъ громадной головы не покидаетъ насъ и позже. Видъ изъ С.-Мартина: „необыкновенная яркость *полумѣсяца* (полумѣсяцъ пріятнѣе полной луны); *туманъ, какъ дымъ, и звѣзды, какъ искры отъ по-*

---

[1]) Сл. Плетневъ, „О жизни и сочиненіяхъ Жуковскаго". Соч. и переписка П. А. Плетнева, III, стран. 87; сл. „Русская Старина" 1883 г., № 2, стран. 485—488. „Павловскіе виды", награвированные Жуковскимъ и Кларою въ Дерптѣ, изданы были въ 1824 г. въ Петербургѣ въ пользу одного несчастнаго семейства. Брошюра Шторха „Путеводитель по саду и городу Павловску" С.-Пб. 1843 г. также украшена была гравюрами Жуковскаго.

[2]) Письмо къ Данилевскому 5 февраля 1839 г., сл. письма къ Жуковскому февраля и 12 сентября того же года.

[3]) Сл. въ дневникѣ подъ 30 сентября 1821 г. описаніе Рейнскаго водопада съ обработкой въ „Отрывкахъ письма изъ Швейцаріи". Недавно изданный дневникъ Гете въ этомъ случаѣ гораздо обстоятельнѣе, сл. Reise in der Schweiz 1797 beabr. von I. P. Eckermann въ веймарскомъ изданіи 34 B., 1-e Abth. стран. 355 слѣд.; сл. ib. p. 378 (письмо къ Шиллеру 25 сентября 1797 г.).

жара. Сходъ въ долину. *Кладбище. Одинъ крестъ. Маленькая церковь.* Нѣсколько домовъ. Дорожки. Мѣсяцъ. Летучая мышь. Пѣтухъ. Огромные Альпы. Востокъ чистъ и ясенъ; на немъ формы Альповъ. Всѣ прочія вершины только темныя, а Mont-Blanc уже свѣтелъ. Отъ луны около вершины тѣнь, а на вершинѣ нѣтъ; развѣ снизу... Вершины озаряются, все неодинаковаго цвѣта съ прочимъ, розово-свѣтлыя, а другія голубовато-цвѣтныя. Роса пала, облака вились и перевивались около вершинъ, съ однихъ дымомъ, а съ другихъ *хвостомъ шлема, покрываломъ, всклокоченною бородою,* часть точно *летающія головы опрокинутыхъ великановъ,* какъ гиганты, упавшіе навзничь съ прикованными къ грудямъ руками и ногами, остатки древняго боя гигантовъ". И далѣе то же: облака, „какъ головы", „бороды по скаламъ; въ этотъ вечеръ точно собраніе *духовъ*", „на Монбланѣ вихорь пламенныхъ тучъ. *Лица опрокинутыхъ великановъ впереди: поле сраженія*"; „вихорь облаковъ словно *духи.* Нѣсколько темныхъ облаковъ у ступеней *прокрадываются.* Между тѣмъ кузнечики, свѣжій воздухъ, яркія звѣзды, посреди неба нѣсколько парящихъ летучихъ облаковъ, стукъ цѣповъ, шумъ воды, уединеніе, колоколъ. Все точно въ тонкомъ, свѣтломъ покровѣ" (22-го августа); „надъ Тунскимъ озеромъ оссіановская картина: точно группы туманныхъ воиновъ съ *дымящимися головами*" (9-го сентября). Огромное дерево, какъ *призракъ съ раскинутыми руками,* „туманы въ разныхъ видахъ, словно *привидѣнія*... облако, *какъ привидѣніе къ каскаду, какъ двѣ руки;* „выходъ луны изъ-за утесовъ, словно *голова* на „огромномъ туловищѣ" (10-го и 11-го сентября).— Описаніе водопадовъ—фотографическое: сколько струй, какія бьются, а не бросаются; надъ ними радуга-красавица (22-го августа; сл. 10-го и 16-го сентября). „Удивительный вечеръ на берегу озера, *тронувшій душу до слезъ:* игра на водахъ, чудесное измѣненіе; неизъяснимость" (27-го августа); „*грусть отъ прелести и одиночества*" (28-го августа). Еще сравненія для облаковъ: „бѣлыя облака, какъ *вата* или *пухъ* на синихъ горахъ" (2-го сентября), „какъ взбитая *пѣна* или вата", „какъ *кудри*". Вмѣсто образа — рефлексія: „рѣка, тихо сходящая по плотинѣ — *образъ мудраго правленія;* плотина, стоячая вода, прососы— *разрушеніе*" (6-го сентября); „смотря на Аарскую долину, мысль о нынѣшнихъ правителяхъ: они стоятъ не за себя, а за министровъ". Удивительная магія разоблаченія горной вершины при восходѣ солнца, „точно какъ *посвященіе въ какое-нибудь таинство; богиня-природа*"; „*вечеръ облачный едва ли не прелестнѣе яснаго. Душа и несчастіе, душа и счастіе. Революція и порядокъ.* Вечеръ облачный и лунный" (9-го сентября). *Затменіе горъ* вызываетъ *сравненіе съ смертью* (17-го сентября), другое *заходъ солнца: Богъ покидаетъ на время видимое твореніе;* „видя угасающую природу приходишь въ мысль, что душа и жизнь есть что-то не принадлежащее тѣлу, а высшее; пока онѣ въ немъ, по тѣхъ поръ и красота; удалились — формы тѣ же, но красоты уже нѣтъ; ничто такъ не говоритъ о смерти въ величественномъ смыслѣ, какъ угасающія горы" (21-го и 22-го сентября).

„Красота не въ природѣ, а въ душѣ человѣка; свѣтъ и душа; революція и горы“; по этому поводу размышленіе о грекахъ, сражавшихся за освобожденіе“ 23-го сентября)[1]. — 24-го сентября: „Плаванье въ дождь съ сильнымъ попутнымъ вѣтромъ. Шумъ дождя и отъ разрѣзыванія волнъ лодкою. Впереди волны надуваются, иногда рвы, изрѣдка пѣна; сзади какъ будто преслѣдуютъ, и большія струи пѣны. Сзади дождь, впереди пристань, сбоку небо! Колыханье. Въ сильный вѣтеръ и въ бурю весло и руль, но когда все напрасно, брось все: есть доска. Il y a du sublime à être debout sur une nacelle et s'avancer au milieu des vagues“. Человѣческая жизнь показывается въ этихъ пейзажахъ лишь урывками, не нарушая общаго впечатлѣнія мечтательнаго покоя и „одиночества“, плодящаго „грусть“. „Послѣ обѣда прелестная прогулка берегомъ Рейссы; крестъ, старикъ и лодка; на мосту несравненное захожденіе солнца; зеленая роща въ огнѣ... утки, рыбакъ, тростникъ“ (20-го сентября).

Пройдетъ десять слишкомъ лѣтъ, и мы встрѣтимъ тѣ же характерныя черты и пріемы въ дневникѣ и письмахъ 1832 и 1833 гг. „Башни, какъ *привидѣнія*. Облака, пожираемыя горами“ (29 августа 1832 г.); „*чувство великаго и прекраснаго оттого такъ мучительно, что желалъ бы съ нимъ слиться:* жажда при видѣ Рейна, стремленіе при видѣ Альповъ — музыка, поэзія“ (5-го сентября). „Прелестный вечеръ: янтарное западное небо. *Яркая звѣзда, какъ глазъ, наполненный слезою*“ (29-го сентября—11-го октября); „пѣсни—горніе крики“ (20-го ноября—2-го декабря); *сравненіе естественной и откровенной религіи съ утесомъ безъ дороги и съ дорогою* (13-го декабря); „нижніе пологіе *берега, какъ призраки, черное облако, какъ орелъ* посреди свѣта. Золотые края облаковъ надъ Юрою; *снѣжная тонкая бахрома на ближнихъ облакахъ, какъ складки занавѣса*“ (12—24 марта 1833 г.); „небо и озеро слиты прозрачнымъ туманомъ, сквозь который *снѣжныя горы, какъ волшебный міръ*“ (14-го—26-го марта); „облако надъ Юрою *съ золотою гривою*“ 16-го—28-го марта). „Горная философія“ письма изъ Швейцаріи[2])—образчикъ рефлексій, разбросанныхъ въ дневникѣ.

Италіанскія впечатлѣнія Жуковскаго сдержаннѣе, Италія не претворила его, какъ Гёте и, хотя и въ другомъ направленіи, романтиковъ. Онъ не того въ ней искалъ, хотя писалъ Козлову, что покидаетъ Италію, какъ любовникъ невѣсту, которую любитъ страстно. „Все это можетъ обдѣлаться въ стихи или хоть въ прозу, ибо, какъ говоритъ Гёте, Lied und Freude wird Gesang“. Но италіанцы ему не понравились, они — „природные актеры. И что за языкъ! Одушевительная

---

[1]) „Le grec est coquin par ce qu'il a beaucoup l'esprit et est esclave; il use de sa force; rendez le libre, il sera héros; faites le esclave, il vous trompera. Il est toujours le plus fort. Les ultras et les libéraux sont les deux ennemis de l'ordre; les uns veulent pour leur profit maintenir le désordre existant, les autres veulent le remplacer par un autre désordre qui leur profite. Il vaut mieux attendre que mal commencer, car recommencer est presque impossible“.

[2]) Сл. письмо къ наслѣднику изъ Верне близъ Веве 1 января 1833 г.. „Русскій Архивъ“ 1882 г., I стран. XVI слѣд. Общая часть печатается, какъ „Отрывки изъ письма о Швейцаріи“ 4—16 января 1833 г.

„Жизнь съ сознаніемъ есть высшій степень организма, на которомъ недѣлимое становится предметомъ для самого себя и дѣлается духомъ. Принадлежности духа — сознаніе и знаніе, или мысль и идея, составляютъ послѣдній предѣлъ длиннаго ряда видоизмѣненій природы, преемственно восходящей отъ видимаго усыпленія къ совершенному бодрствованію и полному сознанію. Всѣ эти измѣненія суть только различныя формы одной и той же дѣятельности и силы. Слѣдовательно бытіе и сознаніе, вещь и идея — это два полюса одного центра и потому въ своемъ безусловномъ началѣ они тожественны“ [1]). „Явленія природы и духа суть единство идеальнаго и реальнаго, съ тою только разницею, что въ одномъ преобладаетъ реальное, а въ другомъ идеальное“ [2]). „Предметы суть тѣ же идеи ума, природа внѣшняя со своими законами тожественна съ природою внутреннею, такъ что природа и духъ суть только двѣ особыя формы одной и той же субстанціи“ [3]). Такъ учитъ Шеллингъ о тожествѣ двухъ основныхъ стихій всякаго бытія.

Но какъ усмотрѣть это тожество обыкновенному наблюдателю, какъ подмѣтить эту гармоническую связь между двумя противорѣчивыми началами, природой и духомъ, конечнымъ и безконечнымъ, реальнымъ и идеальнымъ? По мнѣнію Шеллинга, обѣ стихіи бытія объединяются въ томъ высокомъ третьемъ, которое мы называемъ искусствомъ. „Искусство есть единственный органъ“, говоритъ Шеллингъ, „посредствомъ котораго философія высказываетъ себя во-внѣ. Оно открываетъ философу первоначальную связь природы и исторіи, жизни и дѣятельности, дѣйствительнаго и идеальнаго. Природа есть поэма, написанная таинственными буквами, смыслъ которыхъ постигается только тогда, когда замѣчаются въ ней дѣйствія духа“ [4]). Отсюда становится ясной и высокая задача искусства — представлять въ конечныхъ, чувственныхъ образахъ тожество идеальнаго и реальнаго, ихъ таинственную гармонію. „Дѣло искусства“, говоритъ Н. И. Надеждинъ [5]), „подслушивать таинственные отголоски сей вѣчной гармоніи и представлять ихъ внятными для нашего слуха въ согласныхъ риѳмическихъ аккордахъ. Это должно составлять первоначальную и существенную тему всякой поэзіи... И чѣмъ легче, чѣмъ свободнѣе душа наша проразумѣваетъ сіе единство, тѣмъ совершеннѣе произведеніе! Это-то называется на мистическомъ языкѣ нѣмецкихъ эстетиковъ идеализированіемъ или твореніемъ по идеалѣмъ!... Идеалъ у нихъ означаетъ фантастическую цѣлость идеи, воплощаемой художникомъ въ его творческомъ произведеніи“. Такимъ образомъ, въ погонѣ за идеальнымъ зерномъ, присущимъ всякому реальному бытію (Шеллингъ), познающее человѣческое „я“ (Фихте) обращается прежде всего къ искусству, какъ ближайшему средству. При такомъ пониманіи задачи искусства, оно становится выше всякаго знанія, выше всякой философіи, потому

---

[1]) *Михневичъ*, тамъ же; цитир. соч. Шеллинга.
[2]) *Фалькенбергъ*, тамъ же, стран. 402.
[3]) *І. Михневичъ*, тамъ же.
[4]) *І. Михневичъ*, тамъ же.
[5]) „Вѣстникъ Европы“, 1828, № 21. „Литературныя опасенія за будущій годъ“.

что и философія пользуется искусствомъ для проникновенія въ высокую тайну бытія, раскрывающуюся только въ искусствѣ. Таково воззрѣніе Шеллинга на искусство и его значеніе. Въ этомъ воззрѣніи формулированы въ одно цѣлое отдѣльные мотивы романтизма, посвященные искусству вообще и поэзіи въ частности. Это же воззрѣніе объясняетъ намъ, почему культъ искусства является исходнымъ пунктомъ въ міросозерцаніи романтиковъ.

Но кому доступно это высокое искусство, которое одно открываетъ завѣсу міровой тайны? Оно доступно только избранному природному дарованію, только въ лицѣ его человѣчество получаетъ высокія откровенія искусства.

Дома, одна, убирается въ шелкъ и золото дѣва:
Зеркала нѣтъ передъ ней; чувствомъ находитъ нарядъ.
Выйдетъ на свѣтъ, какъ дѣва простая; одинъ ее знаетъ:
Только въ очахъ у него свѣтитъ ея красота.

Такъ читается маленькое стихотвореніе Гёте, напечатанное, между прочимъ, въ „Московскомъ Вѣстникѣ“ 1828 г.[1]). Этотъ „одинъ“ — особа священная, избранникъ Божій, вождь человѣчества, жрецъ-хранитель святого огня. „Народы, внимайте поэту, прислушивайтесь къ его священнымъ грезамъ! Васъ окружаетъ ночь; безъ него въ ней нѣтъ просвѣта — свѣтъ у него на челѣ!“ Такими словами указываетъ обществу В. Гюго на значеніе поэта[2]). Избранники искусства, провозвѣстники вѣчной красоты и гармоніи, художники, являются не только выразителями лучшихъ порывовъ общества, но и своего рода связующимъ звеномъ между землей и небомъ, міромъ реальнаго и идеальнаго. Эта мысль прекрасно развита въ стихотвореніи Шиллера „Художники“, тоже помѣщенномъ въ свое время въ „Московскомъ Вѣстникѣ“:

Блаженны вы, которыхъ посвятила
Она въ жрецы, — къ служенью избрала!
Не въ вашу ль грудь она сойти благоволила?
Устами вашими могучая рекла!
Хранители ея огня святого,
Служители небесныхъ алтарей!
Предъ вами свѣтлая нисходитъ безъ покрова,
И вашъ согласный ликъ поетъ навстрѣчу ей.
Вы, обреченные на тлѣнье,
Ликуйте о своемъ великомъ назначеньѣ:
Незримыхъ ангеловъ въ возвышенную сѣнь
Отъ человѣчества вы первая ступень[3]).

---

[1]) Это четверостишіе (изъ „Weissagungen des Bakis“ читается въ подлинникѣ такъ:

Einsam schmückt sich zu Hause mit Gold und Seide die Jungfrau
Nicht vom Spiegel belehrt, fühlt sie das schickliche Kleid.
Tritt sie hervor, so gleicht sie der Magd; nur einer von allen
Kennt sie; es zeiget sein Aug' ihr das vollendete Bild.

[2])

Peuples, écoutez le poète,
Ecoutez le rêveur sacré!
Dans votre nuit, sans lui complète,
Lui seul a le front éclairé.

[3]) Отрывокъ стихотворенія приводится въ статьѣ Шевырева „Разговоръ о возможности найти единый законъ для изящнаго“ („Моск. Вѣстн.“ 1827, ч. I, № 1).

Въ нашей литературѣ начала XIX стол. уже Жуковскій довольно настойчиво выразилъ эту мысль о божественности поэзіи и ея хранителя-поэта; въ его воззрѣніяхъ много личнаго сентиментализма, тѣмъ не менѣе „сердечное воображеніе“ Жуковскаго въ данномъ случаѣ близко подходитъ къ воззрѣніямъ романтиковъ.

Геній чистой красоты —
Онъ лишь въ чистыя мгновенья
Бытія слетаетъ къ намъ,
И приноситъ откровенья,
Благотворныя сердцамъ;
Чтобъ о небѣ сердце знало
Въ темной области земной,
Намъ туда сквозь покрывало
Онъ даетъ взглянуть порой;
И во всемъ, что *здѣсь* прекрасно,
Что нашъ міръ животворитъ,
Убѣдительно и ясно
Онъ съ душою говоритъ[1]).

Такъ характеризуется у Жуковскаго геній и его творчество: онъ открываетъ человѣчеству тайну жизни, связь идеи съ конечнымъ образомъ, божественной красоты съ обыденною жизнью. Въ другомъ стихотвореніи[2]) поэтъ обращается къ генію съ слѣдующими словами:

Поэзіи священнымъ вдохновеньемъ
Не ты ль съ душой носился въ высоту,
Предъ ней горѣлъ божественнымъ видѣньемъ,
Разоблачалъ ей жизни красоту?

Въ 1826—27 г. находимъ художественное выраженіе той же идеи у поэта Д. В. Веневитинова, безвременно погибшаго въ 1827 г. и оплаканнаго друзьями.

Тебѣ знакомъ ли сынъ боговъ,
Питомецъ музъ и вдохновенья?
Узналъ ли бъ межъ земныхъ сыновъ
Ты рѣчь его, его движенья?
Не вспыльчивъ онъ, и строгій умъ
Не блещетъ въ шумномъ разговорѣ,
Но ясный лучъ высокихъ думъ
Невольно свѣтитъ въ ясномъ взорѣ...
Его мечты, его желанья,
Его боязни ожиданья,
Все тайна въ немъ, все въ немъ молчитъ:
Въ душѣ заботливо хранитъ
Онъ неразгаданныя чувства...
О если встрѣтишь ты его
Съ раздумьемъ на челѣ суровомъ,
Пройди безъ шума близъ него,
Не нарушай холоднымъ словомъ
Его священныхъ тихихъ сновъ!
Взгляни съ слезой благоговѣнья,
И молви: это сынъ боговъ,
Питомецъ музъ и вдохновенья[3])!

Самъ Д. В. Веневитиновъ по своей духовной структурѣ былъ типичнымъ поэтомъ-художникомъ въ духѣ романтизма. Въ лицѣ его передъ глазами современниковъ вставало какъ бы реальное воплощеніе пѣвца-художника, „причастнаго свойству Божества“[4]). При выходѣ второй части его сочиненій Н. И. Надеждинъ охарактеризовалъ его именно романтическими чертами[5]). „Незабвенный юноша — говоритъ онъ — былъ созданъ поэтомъ, и душа его, рано угадавшая свое призваніе, высказала себя мелодическими прелюдіями, которымъ судьба, по неисповѣдимымъ своимъ совѣтамъ, не дала разрѣшиться въ полную

[1]) „Сочин. Жуковскаго“. Изд. 1869, т. II, стран. 247—8. „Лалла Рукъ“.
[2]) Тамъ же, стран. 45: „Къ мимопролетѣвшему знакомому генію“.
[3]) „Сочиненія Д. В. Веневитинова“. М. 1829, ч. I, стран. 41.
[4]) Выраженіе изъ стихотв. М. Дмитріева „Поэтъ-прозаикъ“ („Телескопъ“, 1832, ч. VIII).
[5]) „Телескопъ“, 1831, ч. II.

гармонію. Но и тѣхъ недоконченныхъ звуковъ, которые первенцами срывались съ его дѣвственной лиры, слишкомъ достаточно, чтобы дать почувствовать цѣну утраты, понесенной съ его преждевременной смертью. Веневитиновъ обѣщалъ въ себѣ то блаженное соединеніе свѣта и теплоты, ту гармонію красоты и истины, которая одна составляетъ печать истинной поэзіи".

Новое пониманіе искусства и его задачъ мало-по-малу проникаетъ въ сознаніе русской художественной литературы и критики. На страницахъ „Московскаго Вѣстника" мы встрѣчаемъ цѣлый рядъ поэтическихъ произведеній, посвященныхъ идеямъ — свободы художественнаго творчества и служенія чистому искусству. Помимо вышеупомянутаго стихотворенія Веневитинова „Поэтъ" („Тебѣ знакомъ ли сынъ боговъ"), здѣсь помѣщены и извѣстныя стихотворенія Пушкина „Поэтъ" („Пока не требуетъ поэта") и „Пророкъ" („Духовной жаждою томимъ"); наконецъ вскорѣ же (въ 1-й ч. 1829 г.) напечатана и „Чернь" Пушкина („Поэтъ на лирѣ вдохновенной"). Помимо того встрѣчается нѣсколько пьесъ и другихъ авторовъ на ту же тему; таковы напр. стихотворенія А. Хомякова „Вдохновеніе" (ч. VII, 1828 г.) и Ѳ. Алексѣева „Сила вдохновенія" (ч. I, 1830 г.) и др. Величественные образы Пушкинскаго и Лермонтовскаго поэта, являющагося то въ видѣ вдохновеннаго жреца Аполлона, то въ видѣ древняго пророка, призваннаго „глаголомъ жечь сердца людей", — эти образы достаточно извѣстны; они надолго утвердили въ нашей литературѣ чисто романтическое представленіе о поэтѣ-избранникѣ и его священной миссіи.

Какъ ни своеобразны эти вдохновенные образы поэта-пророка или поэта-отшельника, нужно все-таки имѣть въ виду, что ихъ прототипы были созданы западно-европейской романтикой. Такъ напр., центральная мысль стихотвореній Пушкина „Поэтъ" и „Пророкъ" — объ уединеніи поэта, о бѣгствѣ его въ природу, къ которой онъ такъ чутокъ и воспріимчивъ, — также находитъ себѣ параллель, между прочимъ, въ воззрѣніяхъ Фр. Шлегеля на характеръ художественнаго творчества. „Не только въ пѣніи соловья или въ чемъ либо другомъ — говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ „Исторіи древней и новой литературы"[1]), — но и въ шумѣ потока или лѣсовъ, мы, кажется, внимаемъ родной намъ голосъ, выражающій либо радость, либо скорбь; какъ будто духи и ощущенія, подобныя нашимъ, хотятъ проникнуть до насъ издали или какъ бы изъ тѣсныхъ оковъ и дать себя понять. Чтобы внимать симъ звукамъ, чтобы чувствовать, угадывать душу природы, поэтъ любитъ уединеніе". (Ср. стих. „Поэтъ", „Пророкъ", „Эхо".) Нѣсколько параллельныхъ къ стихотвореніямъ Пушкина мѣстъ можно также указать и у другого нѣмецкаго романтика, хорошо извѣстнаго въ русской литературѣ 20-хъ годовъ. Въ 1826 г. переведена была сотрудниками Московскаго Вѣстника съ нѣмецкаго книга подъ заглавіемъ:

---

[1]) Перев. съ нѣм. С.-Пб. 1829, ч. I, стран. 124.

„Объ искусствѣ и художникахъ, — размышленія отшельника, любителя изящнаго, изданныя Л. Тикомъ“ (т.-е. „Phantasien über die Kunst, von einem kunstliebenden Klosterbruder. Herausgegeben von Ludw. Tieck“); она представляетъ сборникъ замѣтокъ Ваккенродера, въ которомъ нѣкоторая доля принадлежитъ и Тику [1]). Въ этой книгѣ русскіе читатели встрѣтились съ смѣлою мыслью о неподсудности генія и его созданій обыкновенному людскому суду. „Но что всего важнѣе“, читаемъ въ главѣ „О томъ, какъ наблюдать творенія великихъ художниковъ и назидать оными душу“, „да не дерзаетъ никто поставлять себя выше духа художниковъ великихъ и презрительно подвергать ихъ суду гордаго разума! Безразсудный замыселъ суетной надменности человѣческой! Искусство выше человѣка: и намъ смертнымъ можно только съ изумленіемъ чтить превосходныя творенія его причастниковъ и раскрывать предъ оными сердце къ очищенію и примиренію всѣхъ нашихъ чувствованій“. Это возвеличеніе генія между прочимъ невольно напрашиваетя на сопоставленіе съ мыслью Пушкина о независимости поэта, высказанною имъ неоднократно: „Ты самъ свой высшій судъ...“ (стих. „Поэту“ 1830 г., напеч. въ „Сѣв. Цвѣтахъ“ 1831 г.); или: „...истинный талантъ довѣряетъ болѣе собственному сужденію, основанному на любви къ искусству (статья о „Баратынскомъ“ 1831 г.) и т. п. Здѣсь же, въ книгѣ изданной Тикомъ, можно было прочесть и о томъ царственномъ одиночествѣ художника-поэта, мысль о которомъ такъ художественно выражена Пушкинымъ въ томъ же стихотвореніи „Поэту“: „Ты царь: живи одинъ“. Во II ч. „Размышленій отшельника“, озаглавленной: „Отрывки о музыкѣ“ читаемъ: „А въ иныя минуты думалось Іосифу, что художникъ только себѣ и возвышенію своего духа долженъ посвящать восторги внутренніе и развѣ, развѣ одному или двумъ существамъ, его понимающимъ. По моему мнѣнію, эта мысль весьма похожа на истину“... (Отрывокъ № 1: „Музыкальная жизнь художника Іосифа Берлингера“.) Въ другомъ мѣстѣ говоритъ на ту же тему самъ Іосифъ: „Ужасно, какъ подумаешь! Цѣлую жизнь, какъ одинокій пустынникъ, ежедневно упиваюсь сладкими звуками гармоніи, хочу испить до дна весь источникъ красоты и наслажденія“... (Отрывокъ № 7: „Письмо Іосифа Берлингера“.)

Высокое представленіе о божественной идейности истиннаго искусства и о свободной вдохновенной творческой силѣ его представителей вслѣдъ за Пушкинымъ воспринимается и Гоголемъ и такимъ образомъ входитъ, какъ необходимый элементъ, въ условіе реально-художественнаго творчества. Въ самомъ дѣлѣ, вспомнимъ какъ изображаетъ Гоголь міръ художниковъ. Обѣ его повѣсти, посвященныя міру художниковъ, „Портретъ“ и „Невскій проспектъ“, рисуютъ намъ печальную картину того, что свободное художество и чистое вдохновеніе гибнутъ отъ соприкосновенія съ грубою и пошлою дѣйствительностью. Въ этихъ разсказахъ Гоголь, согласно обычному пріему роман-

---

[1] Ср. *Гаймъ*, „Романтическая школа“, М. 1891г., стран. 107—121.

тиковъ, поставилъ личность художника несравненно выше обыденной, реальной жизни, окружилъ его ореоломъ идеала и изъ міра пошлости восхитилъ въ романтическій міръ, созданный собственной фантазіей поэта. Не подлежитъ сомнѣнію, что тутъ мы встрѣчаемся съ отраженіемъ романтической теоріи, въ частности теоріи Шлегеля, о свободѣ художественнаго творчества. Въ то время, къ которому относятся вышеуказанныя повѣсти Гоголя (1835 г.), романтическія темы „поэтъ" и „художникъ", какъ выше замѣчено, получили уже право гражданства въ нашей литературѣ. Даже этотъ сюжетъ гоголевскихъ повѣстей — соприкосновеніе идеальнаго міра художника въ широкомъ смыслѣ этого слова съ реальнымъ міромъ пошлости — не разъ затрогивался и другими нашими писателями и даже раньше Гоголя. Таковы произведенія кн. Одоевскаго: „Послѣдній квартетъ Бетховена", „Импровизаторъ", „Себастьянъ Бахъ", Полевого: „Живописецъ", „Аббадона", Павлова: „Имянины", Пушкина: „Египетскія ночи" и т. д. Въ чемъ же заключается задача этого романтическаго гоголевскаго художника? Художникъ, — котораго по духовной структурѣ врядъ ли отдѣляетъ Гоголь отъ геніальнаго поэта, или музыканта, или вообще всякой вдохновенной натуры — по его мнѣнію, неизбѣжно нравственно падаетъ, если только спускается въ низменную сферу обыденной жизни, потому что становится ничтожнымъ человѣкомъ. Какъ тутъ кстати вспомнить, что и пушкинскій поэтъ (ст. „Поэтъ") въ тѣ минуты, когда его не посѣщаетъ вдохновеніе, теряетъ свой величественный обликъ:

И межъ дѣтей ничтожныхъ міра
Быть можетъ всѣхъ ничтожнѣй онъ...

Но зато какъ высоко встанетъ художникъ надъ толпою, когда онъ не погрязнетъ въ пошлой дѣйствительности, выйдетъ побѣдителемъ изъ борьбы съ грубымъ реализмомъ жизни и взлелѣетъ свое созданіе. Гоголь рисуетъ намъ и этотъ моментъ изъ жизни художника. Герой повѣсти „Портретъ", нравственно павшій художникъ, съ видомъ знатока приближается къ картинѣ своего дотолѣ неизвѣстнаго товарища, который сберегъ въ себѣ божественную искру генія. „Боже, что онъ увидѣлъ!" восклицаетъ авторъ. „Чистое, непорочное, прекрасное, какъ невѣста, стояло передъ нимъ произведеніе художника". Припомнимъ тутъ кстати, что и Жуковскій называетъ въ одномъ своемъ произведеніи (въ повѣсти „Вадимъ Новгородскій") свое поэтическое творчество, свою музу „тихою", „непорочною, какъ сама природа". „И хоть бы какое-нибудь видно было въ немъ желаніе блеснуть", говоритъ авторъ о художникѣ-творцѣ этого дивнаго созданія, „хотя бы даже извинительное тщеславіе, хотя бы мысль о томъ, чтобы показаться черни"... Тутъ опять напрашивается на сравненіе „поэтъ" Пушкина, который тоже далекъ отъ мысли искать одобренія черни (ср. стих. „Поэтъ и Чернь"). „Оно возносилось скромно"... продолжаетъ Гоголь о созданіи художника. „Оно было просто, невинно,

божественно, какъ талантъ, какъ геній. Изумительно-прекрасныя фигуры группировались непринужденно, свободно, не касаясь полотна, и изумленныя столькими устремленными на нихъ взорами, казалось, стыдливо опустили прекрасныя рѣсницы. Въ чертахъ божественныхъ лицъ дышали тѣ же явленія, которыхъ душа не умѣетъ, не знаетъ пересказать другому: невыразимо выразимое покоилось на нихъ: — и все это было наброшено такъ легко, такъ скромно свободно, что, казалось, было плодомъ минутнаго вдохновенія художника вдругъ осѣнившей его мысли. Вся картина была — мгновеніе, но то мгновеніе, къ которому вся жизнь человѣческая есть одно приготовленіе". Трудно идеальнѣе и возвышеннѣе говорить о человѣческомъ творчествѣ. Но не трудно замѣтить, что идеалъ поэта здѣсь слишкомъ неуловимъ и туманенъ, какъ всякій романтическій образъ: онъ весь складывается изъ „божественныхъ чертъ", изъ „тайныхъ явленій", изъ чего-то „невыразимо выразимаго", какъ говоритъ Гоголь, — и все это созданіе — только мгновеніе, но такое мгновеніе, къ которому надо готовиться всю жизнь. Взглядъ Гоголя на искусство былъ замѣченъ уже почти его современниками. Ап. Григорьевъ, коментируя ту же повѣсть Гоголя („Портретъ"), по поводу вышеизложеннаго взгляда его замѣчаетъ, что Гоголь именно указалъ законы художественнаго творчества. Идеалъ художника, указанный Гоголемъ, по пониманію Ап. Григорьева заключается въ томъ, чтобы за рельефными фигурами художественнаго произведенія таилось еще что-то, что зоветъ насъ къ безконечному и что связываетъ ихъ самихъ съ безконечнымъ незримою связью [1]). Послѣдняя мысль о незримой связи конечнаго съ безконечнымъ не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что самый комментарій Ап. Григорьева къ романтическому идеалу Гоголя отзывается тоже романтизмомъ, и это вполнѣ понятно, такъ какъ самъ критикъ, въ своихъ воззрѣніяхъ опирался на Шеллинга, связь котораго съ романтической школой неоспорима. Замѣчательно, что самъ Гоголь идеалъ поэта-художника болѣе всего видитъ именно въ Пушкинѣ и его именно поэзію опредѣляетъ романтическими штрихами. Вотъ какъ онъ говоритъ о поэзіи Пушкина въ статьѣ, носящей заглавіе: „Въ чемъ же, наконецъ, существо русской поэзіи и въ чемъ ея особенность?" [2]). „Пушкинъ данъ былъ міру на то, чтобы доказать собою, что такое самъ поэтъ и ничего больше, — что такое поэтъ, взятый не подъ вліяніемъ какого-нибудь времени или обстоятельствъ и не подъ условіемъ также собственнаго, личнаго характера, какъ человѣка, но въ независимости отъ всего... При мысли о всякомъ поэтѣ представляется больше или меньше личность его самого... У одного Пушкина ея нѣтъ. Что схватишь изъ его сочиненій о немъ самомъ? Поди, улови его характеръ, какъ человѣка! На мѣсто его предстанетъ тотъ же чудный образъ, на все откликающійся и одному себѣ только не находящій отклика".

---

[1]) „Соч. Ап. Григорьева. Т. I, отдѣлъ первый. „Русская литерат. въ 1851 году", стран. 12.

[2]) „Соч. Н. В. Гоголя", изд. 10-е, Н. Тихонравова, т. IV, стран. 169.

Задача искусства, такимъ образомъ, — осмыслять жизнь, указывая во всемъ реальномъ то идеальное зерно, которое всякой мертвой формѣ окружающаго насъ міра даетъ живое и высокое содержаніе. Понятенъ отсюда выводъ, сдѣланный въ романтической философіи: искусство должно проникнуть во всѣ основныя стороны жизни — въ религію, личную жизнь, общественныя отношенія — оживотворить ихъ идейнымъ содержаніемъ. Ближайшее сосѣдство искусства по мнѣнію романтиковъ, — это религія. Романтики, конечно, не ставятъ искусства выше религіи; но они считаютъ его средствомъ къ усвоенію религіознаго состоянія. По мнѣнію Новалиса, „поэзія есть продуктивная религія", потому что она направляетъ насъ къ религіи, вызывая въ насъ благоговѣйное настроеніе; наоборотъ, религія близка къ поэзіи, потому что религіозное настроеніе, какъ выражается Тикъ, есть „высшее и чистѣйшее художественное наслажденіе"[1]). Такимъ образомъ религія, по понятіямъ романтиковъ, есть не что иное, какъ родъ поэтическаго чувства или настроенія, притомъ чувства личнаго. Предметомъ этого личнаго восторженнаго созерцанія служитъ, по мнѣнію Шлейермахера („Рѣчи о религіи, обращённыя къ образованнымъ противникамъ ея"), то безпредѣльное, вѣчное, абсолютное, которое является основой всего существующаго — какъ идеальнаго, такъ и реальнаго[2]). Въ поискахъ за религіей чувства и поэтическаго созерцанія романтики обращаются къ разнымъ формамъ религіозныхъ вѣрованій, напр. къ католицизму (Новалисъ, А. В. Шлегель, Шатобріанъ), пантеизму (Гёте, Шелли, отчасти В. Гюго)[3]), и даже къ религіозной фантастикѣ древней Индіи (Фр. Шлегель); но общая черта ихъ религіознаго состоянія — это поэтическое субъективное созерцаніе, внѣ котораго, по ихъ мнѣнію, нѣтъ религіи.

Наши поэты времени романтизма не были ни католиками, ни пантеистами, ни буддистами, но, оставаясь вѣрными своей религіозной традиціи, они однако вносили въ понятіе религіи начало поэтическаго настроенія. У Жуковскаго уже поэзія, по выраженію академ. А. Н. Веселовскаго, „сосѣдитъ съ религіей"[4]), прекрасное онъ называетъ религіей, религія и поэзія у него родныя сестры:

...Поэзія небесной
Религіи сестра земная,

говоритъ въ „Камоэнсѣ" поэтъ Васко; а Камоэнсъ заканчиваетъ свой отвѣтъ поэту Васко словами:

Поэзія есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли.

---

[1]) Акад. *А. Н. Веселовскій*. „В. А. Жуковскій", стран. 467.

[2]) *А. Шаховъ*. „Очерки литературнаго движенія въ первую половину XIX стол., стран. 164.

[3]) Въ воззрѣніяхъ В. Гюго вѣра въ личнаго Бога иногда чередуется съ пантеизмомъ (ср. E. Faguet, „Dix-neuvième siècle", V. Hugo p. 185).

[4]) „В. А. Жуковскій", стран. 261.

При такомъ взглядѣ на поэзію и религію идеаломъ религіознаго состоянія для Жуковскаго является именно духовное созерцаніе.

При блескѣ возвышенныхъ мыслей я зрѣлъ
Яснѣе великость творенья...

говоритъ Жуковскій устами Теона въ своей извѣстной элегіи. Какія же это возвышенныя мысли? Это именно мысль о Богѣ, о назначеніи человѣка, о счастьи за гробомъ; эти религіозно-поэтическія размышленія вызываютъ въ поэтѣ и духовно-поэтическое созерцаніе жизни и природы; и здѣсь поэтъ сентиментализма сближается по своему личному настроенію съ романтиками, знакомство съ которыми не могло не наложить слѣдовъ на его чувствительную лирику. Изъ поэтовъ слѣдующаго за Жуковскимъ поколѣнія мы найдемъ это поэтическое, созерцательное религіозное чувство больше всего у Гоголя. Ни Пушкинъ ни Лермонтовъ въ этомъ отношеніи не дали ничего типическаго, хотя и имъ не чуждо было, сообразно съ общимъ характеромъ эпохи, сближеніе поэзіи съ религіей. Такъ, когда Пушкинъ говоритъ, что „Евангеліе отъ Луки, которое читается 25 марта, — лучшая изъ поэмъ“ [1]), или когда Лермонтовъ признается, что созерцаніе спокойныхъ, ласкающихъ взоръ картинъ природы сопровождается для него созерцаніемъ Бога [2]), — тогда невольно чувствуется духовная близость и этихъ поэтовъ въ эпохѣ романтическаго идеализма.

Романтическое воззрѣніе на личное счастье также до извѣстной степени предвосхищено Жуковскимъ, отчасти благодаря индивидуальнымъ особенностямъ его „сердечнаго воображенія“, отчасти не безъ вліянія и литературныхъ, главнымъ образомъ, нѣмецкихъ, носителей настроенія эпохи. Конечно, идеализація любви, ея поэтическое воплощеніе, является достояніемъ творчества всѣхъ вѣковъ, но, по преимуществу, это все-таки продуктъ поэзіи романскихъ народовъ. На материкѣ Европы еще Данте и Петрарка явились первыми апостолами этой романтической идеи, создавши безсмертные образы Беатриче и Лауры. Романтики закрѣпили эту идеализацію рядомъ художественныхъ образовъ и нѣкоторые изъ нихъ придали ей даже оттѣнокъ мистицизма. Въ нѣмецкой романтической поэзіи выразителемъ мистики и символики любви былъ поэтъ Новалисъ (Гарденбергъ), которому принадлежитъ, между прочимъ, и созданіе термина „голубой цвѣтокъ“, символически выражающаго идеальную любовь или идеальное личное счастье. Такъ, по крайней мѣрѣ, понимается иногда этотъ терминъ. Г. Брандесъ, толкуя пресловутый символъ Новалиса, ссылается на одно мѣсто изъ романа Шпильгагена „Загадочныя натуры“, гдѣ двое изъ дѣйствующихъ лицъ пытаются объяснить этотъ загадочный терминъ. Вотъ что говоритъ одно изъ этихъ лицъ: „Вы, конечно, знаете голубой цвѣтокъ въ разсказѣ Новалиса? Голубой цвѣтокъ! Знаете ли, что это такое? Это такой цвѣтокъ, котораго не видалъ еще ни одинъ

[1]) „Записки А. О. Смирновой“. Ч. I, стран. 266.
[2]) „Когда волнуется желтѣющая нива... И въ небесахъ я вижу Бога“.

человѣческій глазъ и который тѣмъ не менѣе наполняетъ своимъ благоуханіемъ весь міръ. Не всякое живое существо обладаетъ такой утонченной организаціей, чтобы чувствовать это благоуханіе; но имъ упоенъ соловей, когда при лунномъ свѣтѣ или на зарѣ онъ изливаетъ въ пѣснѣ свои жалобы и слезы; имъ упивались всѣ тѣ безумные люди, которые и прежде и теперь, во всѣ времена, возносили къ небу свои жалобы въ стихахъ и прозѣ, и еще многіе милліоны людей, которымъ не дано способности излить въ словахъ свои чувства и которые съ нѣмою скорбью взираютъ на небо, не имѣющее къ нимъ никакой жалости. Увы, отъ этой болѣзни нѣтъ никакого спасенія, — никакого, кромѣ смерти. Кто только разъ вдохнулъ въ себя ароматъ голубого цвѣтка, у того не будетъ болѣе ни одного спокойнаго часа въ жизни. Точно проклятый небомъ убійца, точно тотъ, кто заперъ передъ Господомъ дверь своего жилища, онъ будетъ стремиться все далѣе и далѣе, какъ бы ни хотѣлось ему преклонить куда-нибудь свою усталую голову"... На это другой изъ собесѣдниковъ отвѣчаетъ въ томъ смыслѣ, что голубой цвѣтокъ это не что иное, какъ то существо, которое человѣкъ любитъ всѣмъ сердцемъ. Въ свою очередь критикъ, желая внести поправку въ это объясненіе, думаетъ, что „голубой цвѣтокъ не только въ любви, но и во всѣхъ житейскихъ отношеніяхъ обозначаетъ полное и потому идеальное, но чисто личное счастье". Самъ Новалисъ въ одномъ граціозномъ, хотя и простомъ по конструкціи, стихотвореніи рисуетъ свой взглядъ на счастье слѣдующимъ образомъ:

Was passt, das muss sich ründen.
Was sich versteht, sich finden,
Was gut ist, sich verbinden,
Was liebt, zusammen sein.

Не трудно понять, что поэтъ ставитъ человѣческое счастье въ зависимость отъ *духовнаго сродства* отдѣльныхъ индивидуумовъ, отъ *нравственнаго подбора*, если можно такъ выразиться. Еще яснѣе это выражено имъ въ слѣд. строкахъ:

Gieb treulich mir die Hände,
Sei Bruder mir und wende
Den Blick vor deinem Ende
Nicht wieder weg von mir.
Ein Tempel, wo wir knieen
Ein Ort, wohin wir ziehen,
Ein Glück, für das wir glühen,
Ein Himmel mir und dir!

Одинъ храмъ, одна цѣль, одно счастье, одно небо — вотъ почва, на которой, по мнѣніе поэта, создается благополучіе двухъ родственныхъ душъ. Этотъ идеалъ Новалиса, идеалъ нравственнаго сродства, былъ вообще одной изъ тенденцій романтической школы. Не даромъ Фр. Шлегель въ своей „Люциндѣ", въ интересахъ данной тенденціи, выступилъ съ защитой натуральнаго брака, а Шлейермахеръ осмѣивалъ мѣщанскій бракъ и допускалъ даже браки à quatre съ тѣмъ расчетомъ, что въ результатѣ путемъ нравственнаго подбора могутъ получиться очень счастливыя супружества. По мнѣнію Шлейермахера, для каждаго человѣка представляется возможнымъ встрѣтить къ концѣ свою нравственную пару, въ любви къ которой должно довершиться его духовное развитіе.

Нѣсколько иначе, но также либерально высказывались по вопросу о бракѣ и другіе писатели данной эпохи, напр. Жоржъ-Зандъ („Жакъ", „Люкреція Флоріани"), Шелли („Королева Мабъ"). У насъ нѣтъ основаній обвинять Новалиса въ подобныхъ романтическихъ и соціальныхъ крайностяхъ, но зато мы вправѣ считать его сторонникомъ идеи нравственнаго сродства, какъ главной основы супружескаго счастья. При такомъ воззрѣніи на чувство любви предметъ обожанія является только воплощеніемъ и отраженіемъ лучшей части нашего „я", нашихъ лучшихъ стремленій, нашей „innere Wärme, Seelenwärme", какъ выражается въ стих. „Wanderers Sturmlied" Гёте, который и самъ на старости лѣтъ посвятилъ вопросу о нравственномъ сродствѣ романъ „Die Wahlverwandschaften", хотя рѣшилъ этотъ вопросъ по-своему. Теперь понятно, почему и Новалисъ видѣлъ въ своей возлюбленной не просто Софію Кюнъ, но, такъ сказать, микрокосмъ своего міросозерцанія и поэтому, по его собственному характерному выраженію, любилъ въ ней „всю вселенную въ сокращенномъ видѣ", „die Abreviatur des Universums". Прекрасную параллель къ Новалису въ этомъ отношеніи представляетъ собою величайшій англійскій романтикъ Шелли, на надгробномъ памятникѣ котораго вырѣзаны по-латыни два знаменательныхъ слова: cor cordium. Вотъ что говоритъ онъ о нравственномъ сродствѣ, какъ объ основѣ того психологическаго состоянія, которое принято называть чувствомъ любви: „Если мы разсуждаемъ, мы хотимъ, чтобы насъ поняли; если мы создаемъ что-нибудь въ своемъ воображеніи, мы хотимъ чтобы воздушныя дѣти нашей фантазіи возродились вновь въ умѣ другихъ... Стремленіе найти первообразъ идеальнаго типа, тяготѣніе къ интеллектуальности, способной справедливо оцѣнить насъ, къ фантазіи, способной проникнуть въ тѣ изящныя, тонкія особенности, которыя мы любимъ втайнѣ кать и лласелѣять; жажда встрѣтить нервную организацію, которая, какъ нѣжная арфа, поющая вмѣстѣ съ прелестнымъ голосомъ, вибрируетъ въ соотвѣтствіи съ нашей нервной вибраціей; наконецъ, сочетаніе всего этого въ одно гармоническое цѣлое — вотъ незримая и недосягаемая цѣль, къ которой стремится любовь".

Если искать параллель къ этимъ воззрѣніямъ въ русской литературѣ, то хронологически прежде всего приходится остановиться на произведеніяхъ Жуковскаго. Въ нашей литературѣ онъ былъ первымъ пѣвцомъ этого *голубого цвѣтка*, т.-е. идеальной любви, понимаемой въ смыслѣ проявленія *нравственнаго сродства*. Идеалъ Жуковскаго обрисовался довольно рано. Уже въ юношескихъ его произведеніяхъ мы встрѣчаемся съ мотивомъ добродѣтельной жизни, нравственнаго счастья. Таковы два стихотворенія подъ заглавіемъ „Добродѣтель" (1789 и 1803 гг.). Это нравственное счастье юноша Жуковскій считалъ возможнымъ для всякаго положенія человѣка, но особеннымъ сочувствіемъ его пользуется доля скромнаго бѣдняка, который, довольствуясь малымъ, съ подругой души своей — добродѣтелью — проводитъ свои дни „въ мирномъ убѣжищѣ простоты и невинности". Эта идиллическая тоска по добродѣтели, навѣянная сначала нѣжной, меланхоли-

ческой натурой поэта, затѣмъ еще болѣе укрѣпилась подъ вліяніемъ такихъ писателей, какъ Томпсонъ, Флоріанъ, Делиль, Коцебу, Юнгъ, съ которыми Жуковскій знакомился благодаря Карамзину. Впослѣдствіи это юношеское міровоззрѣніе поэта осложнилось еще однимъ мотивомъ — стремленіемъ къ семейной жизни, въ которой, по его мнѣнію, является болѣе всего осуществимымъ и счастье нравственное. Въ своемъ извѣстномъ разсужденіи „Кто истинно доброй и счастливый человѣкъ“ (1808 г.), относящемся ко времени расцвѣта его любви къ Маріи Андреевнѣ Протасовой, Жуковскій прямо говоритъ, что счастье только въ семьѣ, а счастье семьи зиждется только на нравственной связи. Разсужденіе это слишкомъ извѣстно, чтобы его разбирать. Интересно, впрочемъ, для выясненія поставленнаго нами выше вопроса, вспомнить, что, по мнѣнію Жуковскаго, только въ семьѣ человѣкъ перестаетъ быть актеромъ, какимъ онъ обыкновенно является въ обществѣ, иначе говоря, только въ счастливой семьѣ человѣкъ раскрываетъ весь свой внутренній міръ, потому что не боится быть непонятнымъ окружающей его, нравственно родной ему, средой. Въ другой статьѣ того же года — „Писатель въ обществѣ“ — Жуковскій еще рѣзче говоритъ о нераздѣльности нравственнаго счастья человѣка и его семейной жизни. Разсужденіе это представляетъ собою отвѣтъ на переводную статью Д. Сѣверина, носящую то же заглавіе. Французскій авторъ (Делиль) совѣтуетъ писателю отказаться навсегда отъ общества и жить уединенно: „Du fond de ta retraite habite l'univers“, поясняетъ онъ свой совѣтъ. Жуковскій въ своемъ разсужденіи варіируетъ этотъ совѣтъ по своему: „Вселенная со всѣми ея радостями“, говоритъ онъ, „должна быть заключена въ той мирной обители (семействѣ), гдѣ онъ (писатель) мыслитъ и любитъ“, т.-е., говоря иначе, словами Новалиса, семья для писателя есть *вселенная въ сокращенномъ видѣ*, „die Abreviatur des Universums“. Ту же мысль и почти буквально повторяетъ нашъ поэтъ въ „Пѣснѣ“ 1809 г.:

Тобой и для одной тебя
Живу и жизнью наслаждаюсь;
Тобою чувствую себя;
Въ тебѣ природѣ удивляюсь.

Итакъ, идеалъ Жуковскаго — нравственное счастье, которое осуществляется въ любви и семьѣ. Этимъ уже предрѣшается вопросъ, на чемъ должна основываться любовь. Ясно, что основаніе должно быть прежде всего нравственное или духовное. Впрочемъ, поэтъ неоднократно говоритъ объ этомъ совсѣмъ опредѣленно. Послѣ своего неудавшагося сватовства онъ пишетъ (въ 1814 г.): „Развѣ мы съ Машей не на *одной землѣ* и не подъ *однимъ* отеческимъ *правленіемъ?* Развѣ не можемъ другъ для друга жить и имѣть всегда въ виду другъ друга? Одинъ домъ — *одинъ свѣтъ*; одна кровля — *одно небо*. Не все ли равно? А будущее все еще наше“. Тутъ живо чувствуется о *духовномъ родствѣ* и общеніи, которымъ поэтъ продолжаетъ жить даже послѣ того, какъ мечты о семейномъ счастьи оказались несбыточными. По интересному совпаденію Жуковскій повторяетъ здѣсь ту же мысль,

Нѣсколько иначе, но также либерально высказывались по вопросу о бракѣ и другіе писатели данной эпохи, напр. Жоржъ-Зандъ („Жакъ", „Люкреція Флоріани"), Шелли („Королева Мабъ"). У насъ нѣтъ основаній обвинять Новалиса въ подобныхъ романтическихъ и соціальныхъ крайностяхъ, но зато мы вправѣ считать его сторонникомъ идеи нравственнаго сродства, какъ главной основы супружескаго счастья. При такомъ воззрѣніи на чувство любви предметъ обожанія является только воплощеніемъ и отраженіемъ лучшей части нашего „я", нашихъ лучшихъ стремленій, нашей „innere Wärme, Seelenwärme", какъ выражается въ стих. „Wanderers Sturmlied" Гёте, который и самъ на старости лѣтъ посвятилъ вопросу о нравственномъ сродствѣ романъ „Die Wahlverwandschaften", хотя рѣшилъ этотъ вопросъ по-своему. Теперь понятно, почему и Новалисъ видѣлъ въ своей возлюбленной не просто Софію Кюнъ, но, такъ сказать, микрокосмъ своего міросозерцанія и поэтому, по его собственному характерному выраженію, любилъ въ ней „всю вселенную въ сокращенномъ видѣ", „die Abreviatur des Universums". Прекрасную параллель къ Новалису въ этомъ отношеніи представляетъ собою величайшій англійскій романтикъ Шелли, на надгробномъ памятникѣ котораго вырѣзаны по-латыни два знаменательныхъ слова: cor cordium. Вотъ что говоритъ онъ о нравственномъ сродствѣ, какъ объ основѣ того психологическаго состоянія, которое принято называть чувствомъ любви: „Если мы разсуждаемъ, мы хотимъ, чтобы насъ поняли; если мы создаемъ что-нибудь въ своемъ воображеніи, мы хотимъ чтобы воздушныя дѣти нашей фантазіи возродились вновь въ умѣ другихъ... Стремленіе найти первообразъ идеальнаго типа, тяготѣніе къ интеллектуальности, способной справедливо оцѣнить насъ, къ фантазіи, способной проникнуть въ тѣ изящныя, тонкія особенности, которыя мы любимъ втайнѣ кать и лласелѣять; жажда встрѣтить нервную организацію, которая, какъ нѣжная арфа, поющая вмѣстѣ съ прелестнымъ голосомъ, вибрируетъ въ соотвѣтствіи съ нашей нервной вибраціей; наконецъ, сочетаніе всего этого въ одно гармоническое цѣлое — вотъ незримая и недосягаемая цѣль, къ которой стремится любовь".

Если искать параллель къ этимъ воззрѣніямъ въ русской литературѣ, то хронологически прежде всего приходится остановиться на произведеніяхъ Жуковскаго. Въ нашей литературѣ онъ былъ первымъ пѣвцомъ этого *голубого цвѣтка*, т.-е. идеальной любви, понимаемой въ смыслѣ проявленія *нравственнаго сродства*. Идеалъ Жуковскаго обрисовался довольно рано. Уже въ юношескихъ его произведеніяхъ мы встрѣчаемся съ мотивомъ добродѣтельной жизни, нравственнаго счастья. Таковы два стихотворенія подъ заглавіемъ „Добродѣтель" (1789 и 1803 гг.). Это нравственное счастье юноша Жуковскій считалъ возможнымъ для всякаго положенія человѣка, но особеннымъ сочувствіемъ его пользуется доля скромнаго бѣдняка, который, довольствуясь малымъ, съ подругой души своей — добродѣтелью — проводитъ свои дни „въ мирномъ убѣжищѣ простоты и невинности". Эта идиллическая тоска по добродѣтели, навѣянная сначала нѣжной, меланхоли-

ческой натурой поэта, затѣмъ еще болѣе укрѣпилась подъ вліяніемъ такихъ писателей, какъ Томпсонъ, Флоріанъ, Делиль, Коцебу, Юнгъ, съ которыми Жуковскій знакомился благодаря Карамзину. Впослѣдствіи это юношеское міровоззрѣніе поэта осложнилось еще однимъ мотивомъ — стремленіемъ къ семейной жизни, въ которой, по его мнѣнію, является болѣе всего осуществимымъ и счастье нравственное. Въ своемъ извѣстномъ разсужденіи „Кто истинно доброй и счастливый человѣкъ" (1808 г.), относящемся ко времени расцвѣта его любви къ Маріи Андреевнѣ Протасовой, Жуковскій прямо говоритъ, что счастье только въ семьѣ, а счастье семьи зиждется только на нравственной связи. Разсужденіе это слишкомъ извѣстно, чтобы его разбирать. Интересно, впрочемъ, для выясненія поставленнаго нами выше вопроса, вспомнить, что, по мнѣнію Жуковскаго, только въ семьѣ человѣкъ перестаетъ быть актеромъ, какимъ онъ обыкновенно является въ обществѣ, иначе говоря, только въ счастливой семьѣ человѣкъ раскрываетъ весь свой внутренній міръ, потому что не боится быть непонятнымъ окружающей его, нравственно родной ему, средой. Въ другой статьѣ того же года — „Писатель въ обществѣ" — Жуковскій еще рѣзче говоритъ о нераздѣльности нравственнаго счастья человѣка и его семейной жизни. Разсужденіе это представляетъ собою отвѣтъ на переводную статью Д. Сѣверина, носящую то же заглавіе. Французскій авторъ (Делиль) совѣтуетъ писателю отказаться навсегда отъ общества и жить уединенно: „Du fond de ta retraite habite l'univers", поясняетъ онъ свой совѣтъ. Жуковскій въ своемъ разсужденіи варіируетъ этотъ совѣтъ по своему: „Вселенная со всѣми ея радостями", говоритъ онъ, „должна быть заключена въ той мирной обители (семействѣ), гдѣ онъ (писатель) мыслитъ и любитъ", т.-е., говоря иначе, словами Новалиса, семья для писателя есть *вселенная въ сокращенномъ видѣ*, „die Abreviatur des Universums". Ту же мысль и почти буквально повторяетъ нашъ поэтъ въ „Пѣснѣ" 1809 г.:

Тобой и для одной тебя
Живу и жизнью наслаждаюсь;
Тобою чувствую себя;
Въ тебѣ природѣ удивляюсь.

Итакъ, идеалъ Жуковскаго — нравственное счастье, которое осуществляется въ любви и семьѣ. Этимъ уже предрѣшается вопросъ, на чемъ должна основываться любовь. Ясно, что основаніе должно быть прежде всего нравственное или духовное. Впрочемъ, поэтъ неоднократно говоритъ объ этомъ совсѣмъ опредѣленно. Послѣ своего [illegible] сватовства онъ пишетъ (въ 1814 г.): „Развѣ мы съ Машей не [illegible] *одной землѣ* и не подъ *однимъ* отеческимъ *правленіемъ?* Развѣ не [illegible] жемъ другъ для друга жить и имѣть всегда въ виду [illegible] Одинъ домъ — *одинъ свѣтъ*; одна кровля — *одно небо*. Не все ли [illegible] А будущее все еще наше". Тутъ живо чувствуется [illegible] *родствѣ* и общеніи, которымъ поэтъ продолжаетъ жить [illegible] того, какъ мечты о семейномъ счастьи оказались [illegible] интересному совпаденію Жуковскій повторяетъ здѣсь

Нѣсколько иначе, но также либерально высказывались по вопросу о бракѣ и другіе писатели данной эпохи, напр. Жоржъ-Зандъ („Жакъ", „Люкреція Флоріани"), Шелли („Королева Мабъ"). У насъ нѣтъ основаній обвинять Новалиса въ подобныхъ романтическихъ и соціальныхъ крайностяхъ, но зато мы вправѣ считать его сторонникомъ идеи нравственнаго сродства, какъ главной основы супружескаго счастья. При такомъ воззрѣніи на чувство любви предметъ обожанія является только воплощеніемъ и отраженіемъ лучшей части нашего „я", нашихъ лучшихъ стремленій, нашей „innere Wärme, Seelenwärme", какъ выражается въ стих. „Wanderers Sturmlied" Гёте, который и самъ на старости лѣтъ посвятилъ вопросу о нравственномъ сродствѣ романъ „Die Wahlverwandschaften", хотя рѣшилъ этотъ вопросъ по-своему. Теперь понятно, почему и Новалисъ видѣлъ въ своей возлюбленной не просто Софію Кюнъ, но, такъ сказать, микрокосмъ своего міросозерцанія и поэтому, по его собственному характерному выраженію, любилъ въ ней „всю вселенную въ сокращенномъ видѣ", „die Abreviatur des Universums". Прекрасную параллель къ Новалису въ этомъ отношеніи представляетъ собою величайшій англійскій романтикъ Шелли, на надгробномъ памятникѣ котораго вырѣзаны по-латыни два знаменательныхъ слова: cor cordium. Вотъ что говоритъ онъ о нравственномъ сродствѣ, какъ объ основѣ того психологическаго состоянія, которое принято называть чувствомъ любви: „Если мы разсуждаемъ, мы хотимъ, чтобы насъ поняли; если мы создаемъ что-нибудь въ своемъ воображеніи, мы хотимъ чтобы воздушныя дѣти нашей фантазіи возродились вновь въ умѣ другихъ... Стремленіе найти первообразъ идеальнаго типа, тяготѣніе къ интеллектуальности, способной справедливо оцѣнить насъ, къ фантазіи, способной проникнуть въ тѣ изящныя, тонкія особенности, которыя мы любимъ втайнѣ кать и лласелѣять; жажда встрѣтить нервную организацію, которая, какъ нѣжная арфа, поющая вмѣстѣ съ прелестнымъ голосомъ, вибрируетъ въ соотвѣтствіи съ нашей нервной вибраціей; наконецъ, сочетаніе всего этого въ одно гармоническое цѣлое — вотъ незримая и недосягаемая цѣль, къ которой стремится любовь".

Если искать параллель къ этимъ воззрѣніямъ въ русской литературѣ, то хронологически прежде всего приходится остановиться на произведеніяхъ Жуковскаго. Въ нашей литературѣ онъ былъ первымъ пѣвцомъ этого *голубого цвѣтка*, т.-е. идеальной любви, понимаемой въ смыслѣ проявленія *нравственнаго сродства*. Идеалъ Жуковскаго обрисовался довольно рано. Уже въ юношескихъ его произведеніяхъ мы встрѣчаемся съ мотивомъ добродѣтельной жизни, нравственнаго счастья. Таковы два стихотворенія подъ заглавіемъ „Добродѣтель" (1789 и 1803 гг.). Это нравственное счастье юноша Жуковскій считалъ возможнымъ для всякаго положенія человѣка, но особеннымъ сочувствіемъ его пользуется доля скромнаго бѣдняка, который, довольствуясь малымъ, съ подругой души своей — добродѣтелью — проводитъ свои дни „въ мирномъ убѣжищѣ простоты и невинности". Эта идиллическая тоска по добродѣтели, навѣянная сначала нѣжной, меланхоли-

ческой натурой поэта, затѣмъ еще болѣе укрѣпилась подъ вліяніемъ такихъ писателей, какъ Томпсонъ, Флоріанъ, Делиль, Коцебу, Юнгъ, съ которыми Жуковскій знакомился благодаря Карамзину. Впослѣдствіи это юношеское міровоззрѣніе поэта осложнилось еще однимъ мотивомъ — стремленіемъ къ семейной жизни, въ которой, по его мнѣнію, является болѣе всего осуществимымъ и счастье нравственное. Въ своемъ извѣстномъ разсужденіи „Кто истинно доброй и счастливый человѣкъ" (1808 г.), относящемся ко времени расцвѣта его любви къ Маріи Андреевнѣ Протасовой, Жуковскій прямо говоритъ, что счастье только въ семьѣ, а счастье семьи зиждется только на нравственной связи. Разсужденіе это слишкомъ извѣстно, чтобы его разбирать. Интересно, впрочемъ, для выясненія поставленнаго нами выше вопроса, вспомнить, что, по мнѣнію Жуковскаго, только въ семьѣ человѣкъ перестаетъ быть актеромъ, какимъ онъ обыкновенно является въ обществѣ, иначе говоря, только въ счастливой семьѣ человѣкъ раскрываетъ весь свой внутренній міръ, потому что не боится быть непонятнымъ окружающей его, нравственно родной ему, средой. Въ другой статьѣ того же года — „Писатель въ обществѣ" — Жуковскій еще рѣзче говоритъ о нераздѣльности нравственнаго счастья человѣка и его семейной жизни. Разсужденіе это представляетъ собою отвѣтъ на переводную статью Д. Сѣверина, носящую то же заглавіе. Французскій авторъ (Делиль) совѣтуетъ писателю отказаться навсегда отъ общества и жить уединенно: „Du fond de ta retraite habite l'univers", поясняетъ онъ свой совѣтъ. Жуковскій въ своемъ разсужденіи варіируетъ этотъ совѣтъ по своему: „Вселенная со всѣми ея радостями", говоритъ онъ, „должна быть заключена въ той мирной обители (семействѣ), гдѣ онъ (писатель) мыслитъ и любитъ", т.-е., говоря иначе, словами Новалиса, семья для писателя есть *вселенная въ сокращенномъ видѣ*, „die Abreviatur des Universums". Ту же мысль и почти буквально повторяетъ нашъ поэтъ въ „Пѣснѣ" 1809 г.:

Тобой и для одной тебя
Живу и жизнью наслаждаюсь;
Тобою чувствую себя;
Въ тебѣ природѣ удивляюсь.

Итакъ, идеалъ Жуковскаго — нравственное счастье, которое осуществляется въ любви и семьѣ. Этимъ уже предрѣшается вопросъ, на чемъ должна основываться любовь. Ясно, что основаніе должно быть прежде всего нравственное или духовное. Впрочемъ, поэтъ неоднократно говоритъ объ этомъ совсѣмъ опредѣленно. Послѣ своего неудавшагося сватовства онъ пишетъ (въ 1814 г.): „Развѣ мы съ Машей не на *одной землѣ* и не подъ *однимъ* отеческимъ *правленіемъ?* Развѣ не можемъ другъ для друга жить и имѣть всегда въ виду другъ друга? Одинъ домъ — *одинъ свѣтъ*; одна кровля — *одно небо*. Не все ли равно? А будущее все еще наше". Тутъ живо чувствуется о *духовномъ родствѣ* и общеніи, которымъ поэтъ продолжаетъ жить даже послѣ того, какъ мечты о семейномъ счастьи оказались несбыточными. По интересному совпаденію Жуковскій повторяетъ здѣсь ту же мысль.

которую высказываетъ Новалисъ въ вышеприведенномъ стихотвореніи, и даже почти въ тѣхъ же выраженіяхъ. Въ стихотвореніи 1807 г. „Къ Нинѣ", представляя себя умершимъ, поэтъ не допускаетъ мысли о прекращеніи духовнаго общенія между нимъ и предметомъ его любви:

Знай, Нина, что друга ты голосъ внимаешь,
Что онъ и въ веселой и тихой тоскѣ
Съ твоею душою *сливается тайно...*

Послѣднія два слова — это любимая формула Жуковскаго, въ которой обыкновенно онъ выражаетъ мысль о духовной связи, соединяющей двѣ родственныя души. Въ томъ же стихотвореніи поэтъ очень характерно опредѣляетъ свое чувство къ родной душѣ: любовь, по его мнѣнію, есть то, „что было въ семъ мірѣ *предчувствіемъ неба*", т.-е. въ любви осуществляются до нѣкоторой степени наши лучшія идеальныя стремленія, такъ какъ мы встрѣчаемъ имъ отвѣтъ въ другой родственной натурѣ. Въ стихотвореніи Лермонтова „Ангелъ" идеальныя стремленія души человѣческой являются воспоминаніемъ о небѣ, у Жуковскаго они имѣютъ значеніе его предчувствія; но въ первомъ случаѣ въ результатѣ получается томленіе и тоска, во второмъ — свѣтлая радость *здѣсь* и надежда на полное счастье *тамъ*. Конечно, Жуковскій не отрицаетъ, что человѣкъ и одинъ можетъ проходить жизненный путь, готовясь къ загробному счастью, но этотъ путь становится бодрымъ и легкимъ, если человѣку сопутствуетъ другая, родная ему душа.

По той же дорогѣ стремлюся одинъ
И къ той же возвышенной цѣли,
Къ которой *такъ бодро стремился вдвоемъ...*

Такъ говоритъ Теонъ, испытавшій и счастье любви и горестную утрату („Теонъ и Эсхинъ" 1813 г.). Этотъ спутникъ, эта родная душа не есть случайное, временное явленіе. Правда, здѣсь, на землѣ, онъ можетъ явиться только на мигъ, но въ загробной жизни онъ появится вновь и уже навѣки.

Сей гробъ, затворенная къ счастію дверь,
Отворится... жду и надѣюсь,
За нимъ ожидаетъ сопутникъ меня,
На мигъ мнѣ явившійся въ жизни...

продолжаетъ Теонъ свои мечты о родствѣ душъ. Иногда случается, что союзъ съ такой родной душой, оживотворяющей намъ міръ своимъ нравственнымъ сочувствіемъ, почему-либо является невозможнымъ или кратковременнымъ; однако человѣкъ и тогда не можетъ считать это за несчастье, но лишь за указаніе, что его счастье осуществится тамъ, въ будущемъ:

О милыхъ *спутникахъ*, которые нашъ свѣтъ
Своимъ сочувствіемъ для насъ животворили,
Не говори съ тоской: *ихъ нѣтъ*,
Но съ благодарностію: *были*.

Утративъ свой „голубой цвѣтокъ“, свой нравственный двойникъ, Жуковскій далъ въ своихъ оригинальныхъ и переводныхъ произведеніяхъ цѣлый рядъ варіацій на эту тему. Въ балладѣ „Эльвина и Эдвинъ“ (1814 г.) отецъ изъ корыстолюбія разрываетъ союзъ родныхъ душъ; въ балладѣ „Алина и Альсимъ“ (1814 г.) то же самое дѣлаетъ мать изъ тщеславія; въ элегіи „Теонъ и Эсхинъ (1813 г.) смерть лишаетъ Теона его милаго спутника; въ „Эоловой арфѣ“ (1814 г.) бѣдный пѣвецъ Арминій, не надѣясь получить согласія на бракъ съ дочерью богача, добровольно отправляется въ изгнаніе. Въ этомъ послѣднемъ произведеніи опять и съ особенной силой выражена мысль о невидимой нравственной связи двухъ любящихъ, родныхъ душъ. Прощаясь съ Минваной, Арминій привязываетъ свою арфу къ вѣтвистому дубу и выражаетъ при этомъ увѣренность, что послѣ смерти душа его перейдетъ въ струны его арфы и его тѣнь будетъ витать около его подруги. У Жуковскаго встрѣчается и самый терминъ *сродство*, понимаемый, конечно, въ смыслѣ сродства нравственнаго, мысль о которомъ всюду проглядываетъ въ его поэзіи. Этимъ именно сродствомъ объясняетъ онъ ту привязанность, которую встрѣтилъ на старости лѣтъ со стороны дочери своего друга фонъ-Рейтернъ, ставшей въ 1840 г. его женою. „Это не есть минутная вспышка души, разгоряченной романтическимъ воображеніемъ“, говоритъ поэтъ по поводу отношенія къ нему невѣсты; „это просто *сродство*, и во всемъ этомъ видимо для меня одно дѣйствіе Провидѣнія“. Но, конечно, всѣ эти переливы одной и той же грустной мелодіи остались бы голословными изліяніями на тему объ идеальной любви и сліяніи съ родною душою, если бы мы не знали нѣкоторыхъ обстоятельствъ жизни Жуковскаго, говорящихъ въ пользу необыкновенной устойчивости и цѣльности его воззрѣній на данный вопросъ. Между тѣмъ мы знаемъ, что его привязанность была не только романтическая, но и въ высшей степени дѣятельная, жизненная. Вѣрный нравственному долгу, онъ не выразилъ ни насилія ни протеста, когда его лишили всего, что ему было дорого въ мірѣ. Онъ самъ устраивалъ бракъ Маріи Андреевны съ Мойеромъ, убѣдившись, что она выходитъ замужъ добровольно; съ трудомъ перенесъ ея смерть и всегда оставался вѣренъ ея могилѣ, находившейся на купленной имъ въ Дерптѣ землѣ; къ ея осиротѣлой дочери онъ относился съ отеческою нѣжностью. Свою любовь къ покойной онъ перенесъ и на ея сестру, которой отдалъ даже свое имѣніе въ приданое; послѣ смерти Александры Андреевны онъ обезпечилъ своими средствами судьбу трехъ ея дочерей отъ А. Ѳ. Воейкова. Даже позднюю женитьбу Жуковскаго нельзя разсматривать какъ нравственную измѣну памяти покойной его Маши: то нравственное *сродство*, которое, по его собственному признанію, привязывало его къ женѣ, было только отголоскомъ его идеальной любви къ покойной, такъ какъ въ представленіи его образъ жены отожествлялся съ образомъ Маріи Андреевны. Вотъ что онъ говоритъ по этому поводу въ посвященіи къ „Наль и Дамаянти“ (1840 г.):

И мнится мнѣ, что благодатный образъ,
Мной встрѣченный на жизненномъ пути,
Попрежнему оттуда мнѣ сіяетъ.
Но онъ ужъ не одинъ, *ихъ два;* и прежній
Въ коронѣ, а другой въ вѣнкѣ живомъ
Изъ бѣлыхъ розъ и *съ прежнимъ сходенъ онъ,*
Какъ расцвѣтающій съ расцвѣтшимъ цвѣтомъ,
И на меня онъ свѣтлый взоръ склоняетъ,
Съ такою же привѣтною улыбкой,
Какъ тотъ, когда его во снѣ я встрѣтилъ,
И *имя имъ одно.* И нынѣ я
Тѣмъ милымъ именемъ послѣдній цвѣтъ,
Поэзіей мнѣ данный, знаменую,
Въ воспоминаніе всего, что было
Сокровищемъ тѣхъ свѣтлыхъ жизни лѣтъ
И что теперь такъ сладостно чаруетъ
Покой моей обвечерѣвшей жизни...

Послѣ Жуковскаго этотъ мотивъ идеальной любви, понимаемый въ смыслѣ нравственнаго сродства, завоевываетъ себѣ мало-по-малу право гражданства въ нашей поэзіи и въ то же время становится болѣе реальнымъ и жизненнымъ. Мы встрѣчаемъ его уже у Пушкина. Рисуя образъ Ленскаго, Пушкинъ еще добродушно подсмѣивается надъ юнымъ романтикомъ и надъ его вѣрой въ родство душъ; но потомъ оказывается, что весь идеальный міръ Татьяны, этого любимаго образа Пушкина, вся лучшая часть ея души, которую она въ пору ранней юности таила отъ окружающей родственной среды, а въ зрѣлые годы скрывала подъ маской равнодушія отъ ненавистнаго ей свѣта, заключается именно въ стремленіи къ „родной душѣ", способной ее понять и оцѣнить:

Вообрази: я здѣсь одна,
Никто меня не понимаетъ,
Разсудокъ мой изнемогаетъ,
И молча гибнуть я должна...

Вотъ что она пишетъ Онѣгину. Пушкинъ и самъ, повидимому, встрѣтилъ свой „голубой цвѣтокъ". Черезъ цѣлый рядъ его произведеній проходитъ, по замѣчанію Незеленова, мотивъ его чистой, идеальной любви къ одному опредѣленному лицу; „поэту угодно было, говоритъ этотъ изслѣдователь, скрыть отъ насъ, кто была такъ благоговѣйно, такъ свято имъ любимая женщина"; но, очевидно, образъ этой родной ему души былъ имъ воплощенъ въ героинѣ его романа — Татьянѣ.

А ты, съ которой былъ срисованъ
Татьяны милый идеалъ, —
О, много, много рожъ отъялъ...

Такъ говоритъ поэтъ въ концѣ своего романа, обращаясь къ перво- Татьяны... Въ литературѣ послѣ Пушкина этотъ мотивъ ста-

новится обычнымъ, особенно въ средѣ женскихъ литературныхъ типовъ; около Пушкинской Татьяны и Тургеневской Лизы группируется цѣлый рядъ женскихъ лицъ съ самымъ идеальнымъ понятіемъ о любви, какъ нравственномъ единеніи...

Проникновеніе романтизма въ общественные взгляды и отношенія выразились также въ стремленіи осмыслить факты реальной жизни высокимъ, идеальнымъ содержаніемъ... Конечная форма, въ которую отливается безконечное, есть искусство вообще, въ частности поэзія. Слѣдовательно, и жизнь тѣмъ ближе становится къ безконечному идеалу, чѣмъ болѣе дружитъ съ поэзіей. Поэтизированіе жизни, даже и въ общественныхъ ея отношеніяхъ, свойственно поэтому романтикамъ. Въ этомъ отношеніи особенно характернымъ произведеніемъ является, кромѣ Вертера, „Вильгельмъ Мейстеръ" Гёте, гдѣ, по выраженію критика [1]), „ходячая школьная или прописная мораль и мѣщанскія понятія о долгѣ и чести не выдаются болѣе за абсолютную жизненную силу, а считаются лишь одной изъ многихъ подчиненныхъ силъ, подобно тому, какъ въ глазахъ естествоиспытателя мозгъ, какъ онъ ни важенъ, не представляется единственнымъ и заслуживающимъ исключительнаго вниманія органомъ, а лишь исполняетъ извѣстныя функціи въ связи съ сердцемъ, печенью и прочими органами". Но въ чемъ же абсолютная сила жизни, въ которой должны сойтись всѣ другія ея функціи? Эта сила — то духовное, идеальное начало, которое ярче всего выражается въ поэзіи. Отсюда жизнь — должна быть близка къ поэзіи.

Я музу юную, бывало,
Встрѣчалъ въ подлунной сторонѣ,
И вдохновеніе летало
Съ небесъ незваное ко мнѣ;
На все земное наводило
Животворящій лучъ оно,
И для меня въ то время было
Жизнь и поэзія одно [2]).

Такъ пѣлъ о гармоніи жизни и поэзіи Жуковскій, который уже по свойствамъ своей идеалистической натуры склоненъ былъ къ поэтизированію жизни. Кн. В. Ѳ. Одоевскій, одинъ изъ наиболѣе характерныхъ представителей у насъ собственно романтическаго идеализма, выразилъ позднѣе мысль о связи жизни съ поэзіей, между прочимъ, въ слѣдующихъ строкахъ: „Человѣкъ... никакъ не можетъ отдѣлаться отъ поэзіи; она, какъ одинъ изъ необходимыхъ элементовъ, входитъ въ каждое дѣйствіе человѣка, безъ чего *жизнь* этого дѣйствія была бы невозможна; символъ этого психологическаго закона мы видимъ въ каждомъ организмѣ; онъ образуется изъ углекислоты, водорода и азота;

---

[1]) *Г. Брандесъ*, „Литература XIX в. въ ея главныхъ теченіяхъ. Нѣмецкая литература". С.-Пб. 1900, стран. 79.

[2]) „Соч. Жуковскаго". Изд. 1869 г., т. IV, стран. 426 (стих. „Я музу юную...").

пропорціи этихъ элементовъ разнятся почти въ каждомъ животномъ тѣлѣ, но безъ одного изъ этихъ элементовъ существованіе такого тѣла было бы невозможно; въ мірѣ психологическомъ поэзія есть одинъ изъ тѣхъ элементовъ, безъ которыхъ *древо жизни* должно было бы исчезнуть; оттого въ каждомъ промышленномъ предпріятіи человѣка есть *quantum* поэзіи, какъ, наоборотъ, въ каждомъ чисто-поэтическомъ произведеніи есть *quantum* вещественной пользы; такъ напр., нѣтъ сомнѣнія, что Страсбургская колокольня вмѣшалась невольно въ акціонерные расчеты и была однимъ изъ магнитовъ, которые притянули желѣзную дорогу къ городу" [1]).

Теперь возникаетъ вопросъ, какимъ же образомъ искать и осуществлять въ жизненныхъ отношеніяхъ этотъ quantum идеала или поэзіи? Для Жуковскаго этотъ quantum, повидимому, заключался только въ „сентиментальной семьѣ и уютной меланхоліи" [2]). Однако и въ „благодушной системѣ общественности" Жуковскаго основой была именно теорія гуманистической личности, „души" [3]). Гуманность — вотъ главная черта его общественныхъ взглядовъ. Осуществленіе этой гуманности мы наблюдаемъ на пространствѣ всей его жизни. „Жизнь и поэзія одно!... Все въ жизни къ прекрасному средство!" Это заявленіе въ устахъ Жуковскаго не было пустымъ звукомъ. Въ письмѣ къ друзьямъ по поводу писателя Мещевскаго, въ несчастной судьбѣ котораго никто изъ нихъ не принялъ участія, поэтъ говоритъ: „На что жъ намъ толковать о добрѣ, объ общей пользѣ, о хорошихъ, возвышающихъ душу стихахъ? Ни на то ни на другое не имѣемъ права, если способны быть столь безпечными, когда дѣло идетъ о судьбѣ, можетъ быть, о жизни, а можетъ быть (что еще важнѣе), о нравственномъ спасеніи человѣка, который намъ себя ввѣряетъ". Самъ поэтъ, дѣйствительно, дѣлалъ дѣла гуманности. Онъ заступался за Пушкина и Баратынскаго, поддерживалъ Гоголя, помогалъ Шевченкѣ. Осуществленіе идеала—сблизить жизнь съ поэзіей, т.-е. ускорить торжество безконечно-свѣтлаго надъ конечнымъ-темнымъ, — поэтъ видѣлъ не только въ частичномъ добрѣ по отношенію къ отдѣльнымъ людямъ, но и въ томъ общемъ благѣ, источникомъ котораго является просвѣщеніе. Когда началось во второй половинѣ царствованія импер. Александра I извѣстное гоненіе на университеты и науку, Жуковскій писалъ своимъ друзьямъ по поводу участи двухъ молодыхъ профессоровъ: „Осуждая виновныхъ, щадите университетъ! Онъ и безъ того упадаетъ... Неужели всему должно у насъ, не созрѣвъ, разрушиться? Неужели Россіи должно быть грудою развалинъ, покрытыхъ лаврами, которые засохнутъ... Обвиняй профессоровъ, называй какъ хочешь, но чтобы эта анаѳема не падала на всѣхъ безъ изъятія и на весь университетъ... Университетъ долженъ быть для васъ святымъ: за что разру-

---

[1]) „Сочин. кн. В.Ѳ. Одоевскаго". Изд. 1844 г., ч. I. „Русскія ночи", стран. 58.
[2]) Акад. *А. Н. Веселовскій*, „В. А. Жуковскій", стран. 468.
Тамъ же, стран. 370

шать его?...“ Благоговѣніе къ наукѣ, какъ къ носительницѣ духовнаго, идеальнаго начала, было въ высшей степени свойственно поэту. „Наука есть великій памятникъ жизни человѣческаго рода, болѣе великій, нежели всѣ первозданныя горы, заключающія въ слояхъ своихъ мертвую лѣтопись міра матеріальнаго, тогда какъ умственные слои науки составляютъ живую лѣтопись міра умственнаго. Мы должны благоговѣть предъ наукою, благоговѣть предъ ея могучимъ образовательнымъ дѣйствіемъ на родъ человѣческій, предъ ея животворящимъ вліяніемъ на человѣческую душу...“ [1]) Программа гармоніи жизни съ поэзіей еще болѣе расширяется, когда поэтъ призванъ былъ осуществить свои идеальные порывы въ дѣлѣ воспитанія наслѣдника престола, будущаго императора Александра II. Въ своемъ „планѣ“ воспитанія, говоря о значеніи исторіи, какъ главной науки, поэтъ намѣчаетъ слѣдующее руководящее правило жизни и дѣятельности по идеалу: „Уважай законъ и научи уважать его своимъ примѣромъ... Люби и распространяй просвѣщеніе: это — сильнѣйшая подпора благонамѣренной власти; народъ безъ просвѣщенія есть народъ безъ достоинства. Уважай общее мнѣніе: оно часто бываетъ просвѣтителемъ монарха; оно вѣрнѣйшій помощникъ его, ибо строжайшій и безпристрастный судія исполнителей его воли: мысли могутъ быть мятежны, когда правительство притѣснительно или безпечно; общее мнѣніе всегда на сторонѣ правосуднаго государя. Люби свободу, то-есть правосудіе, ибо въ немъ и милосердіе царей и свобода народовъ, свобода и порядокъ — одно и то же; любовь царя къ свободѣ утверждаетъ любовь къ повиновенію въ подданныхъ. Будь вѣренъ слову: безъ довѣренности нѣтъ уваженія; неуважаемый безсиленъ. Окружай себя достойными тебя помощниками; слѣпое самолюбіе царя, удаляющее отъ него людей превосходныхъ, предаетъ его на жертву корыстолюбивымъ рабамъ, губителямъ его чести и народнаго блага. Уважай народъ свой; тогда онъ сдѣлается достойнымъ уваженія. Люби народъ свой: безъ любви царя нѣтъ любви народа къ царю“.

„Побѣдители-ученики“, выросшіе на завѣтахъ „побѣжденнаго учителя“, т.-е. Пушкинъ, Гоголь и ихъ послѣдователи, были въ высшей степени вѣрны гуманистическому идеалу и „призывая милость къ падшимъ“, указывали на всѣхъ поприщахъ общественности пути къ истинѣ, добру и красотѣ. Но и Пушкинъ и Гоголь, хотя воспитавшіеся до извѣстной степени на почвѣ романтическаго идеализма, не были однако исключительно романтиками, потому что стояли уже ближе къ насущнымъ, реальнымъ потребностямъ жизни, чѣмъ къ ея идеалистическимъ утопіямъ. Поэтому, чтобы судить о томъ, насколько романтическій идеализмъ былъ жизнеспособенъ, насколько онъ могъ осуществляться въ общественной жизни, — нужно остановиться на другомъ, болѣе типичномъ представителѣ романтизма, который черпалъ

---

[1]) *И. П. Созоновичъ*, „В. А. Жуковскій, какъ писатель и человѣкъ“, Варшава, 1902. Стран. 26—30.

свое идеалистическое міровоззрѣніе непосредственно изъ западноевропейскихъ литературныхъ и философскихъ источниковъ. Вышеупомянутый кн. В. Ѳ. Одоевскій можетъ, кажется, считаться такимъ именно послѣдователемъ романтизма въ общественныхъ отношеніяхъ. Въ одномъ изъ своихъ разсказовъ, входящихъ въ группу „Русскихъ ночей" подъ заглавіемъ „Бригадиръ", кн. В. Ѳ. Одоевскій затронулъ ту же тему, которую впослѣдствіи художественно возсоздалъ гр. Л. Н. Толстой въ „Смерти Ивана Ильича". Здѣсь разсказывается, какъ одинъ почтенный человѣкъ прожилъ обычно-счастливую жизнь и умеръ. При жизни онъ „ѣлъ, пилъ, не дѣлалъ ни зла ни добра; не былъ никѣмъ любимъ и не любилъ никого, не былъ ни веселъ ни печаленъ; дошелъ, за выслугу лѣтъ, до чина статскаго совѣтника и отправился на тотъ свѣтъ во всемъ нарядѣ: обритый, вымытый, въ мундирѣ". Но, умирая, онъ въ нѣсколько мгновеній выстрадалъ больше, чѣмъ за всю свою жизнь. Жизнь его промелькнула предъ нимъ на смертномъ одрѣ, какъ въ калейдоскопѣ. Онъ вспомнилъ свое пошлое растительное воспитаніе, безсодержательную службу, не чуждую подличанья и подслуживанья, безсмысленную женитьбу по домашнимъ и общественнымъ соображеніямъ, тягостную, безцвѣтную, семейную жизнь... и затѣмъ старость и болѣзнь, которыя подкрались тогда, когда ничего еще не было сдѣлано для ума и души. И вотъ предъ смертью наступаетъ позднее раскаяніе и сожалѣніе. „Вдругъ... какъ завѣса упала съ глазъ моихъ. Все, что тревожитъ душу человѣка, одареннаго сильною дѣятельностью, ненасытная жажда познаній, стремленіе дѣйствовать, потрясать сердца силою слова, оставить по себѣ рѣзкую бразду въ умахъ человѣческихъ, — въ возвышенномъ чувствѣ, какъ въ жаркихъ объятіяхъ, обхватить и природу и человѣка, — все это запылало въ головѣ моей: предо мной раскрылась бездна любви и человѣческаго самосвѣдѣнія. Страданія цѣлой жизни генія, неутолимыя никакимъ наслажденіемъ, врѣзались въ мое сердце, и все это въ ту минуту, когда былъ конецъ моей дѣятельности. Я метался, рвался, произносилъ отрывистыя слова, которыми въ одинъ мигъ хотѣлъ высказать себѣ то, на что недостаточно человѣческой жизни; родные воображали, что я въ безпамятствѣ. О, какимъ языкомъ выразить мои страданія! Я началъ думать! Думать—страшное слово послѣ шестидесятилѣтней безсмысленной жизни! Я понялъ любовь! Любовь — страшное слово послѣ шестидесятилѣтней безчувственной жизни". И вотъ въ результатѣ длинной, прожитой спокойно жизни оказалось очень немного:

Жилъ, жилъ, — и только что въ газетахъ
Осталось: „выѣхалъ въ Ростовъ" (Дмитріевъ) [1]).

Вотъ жизнь безъ извѣстнаго quantum поэзіи. Но что этотъ quantum осуществимъ, кн. Одоевскій, романтикъ по натурѣ и воззрѣніямъ,

---

[1]) Эпиграфъ къ разсказу кн. Одоевскаго „Бригадиръ".

показалъ на дѣлѣ. Его біографъ А. Ѳ. Кони говоритъ о немъ такъ [1]). „Вліяніе университетскаго пансіона, руководимаго замѣчательнымъ по своему гуманному направленію педагогомъ, Прокоповичемъ-Антонскимъ, и лекціи горячаго послѣдователя Шеллинга, молодого профессора Павлова, сказались въ тѣхъ взглядахъ, съ которыми вступилъ кн. Одоевскій въ жизнь, не измѣнивъ имъ затѣмъ ни въ чемъ существенномъ. Исканіе во всемъ и прежде всего правды („Ложь въ искусствѣ, ложь въ наукѣ и ложь въ жизни — писалъ онъ въ свои преклонные годы — были всегда и моими врагами и моими мучителями: всюду я преслѣдовалъ ихъ и всюду они меня преслѣдовали"), уваженіе къ человѣческому достоинству и душевной свободѣ, проповѣдь снисхожденія и дѣятельной любви къ людямъ, восторженная преданность наукѣ и стремленіе всесторонне вникнуть въ организмъ духовной и физической природы отдѣльнаго человѣка и цѣлаго общества — вотъ характерныя черты его произведеній и его образа дѣйствій". Впослѣдствіи, подводя итоги своей дѣятельности, кн. Одоевскій долженъ былъ скромно признаться, что его романтическіе принципы нашли себѣ осуществленіе на дѣлѣ. „Обращаясь на жизнь протекшую, я вижу, что довольно таки дѣлъ пошло съ моей легкой руки, не считая не удавшихся. Я первый наложилъ руку на схоластицизмъ и классицизмъ; выговаривалъ значеніе Россіи въ мірѣ, чѣмъ теперь пробавляются многіе; много изданій пошло съ моей подпоркой, не одно мое сочиненіе бродитъ подъ именемъ другихъ, и смѣшнѣе всего то, что ими иногда мнѣ же глаза колютъ, какъ бы говоря: „Вотъ бы тебѣ что сдѣлать"; въ мірѣ чиновническомъ замѣчаю мой Цензурный Уставъ 1828 г. и Права авторской собственности, о которой до меня никто и не думалъ, Положеніе о дворянскихъ выборахъ, Общее положеніе о компаніяхъ на акціяхъ, Общество застрахованія жизни, надъ которымъ всѣ смѣялись, Пріюты, которыхъ возможности никто никогда не хотѣлъ вѣрить, — наконецъ, несмѣтныя разныя вещи, которыя пошли въ ходъ, какъ напр. Общество посѣщенія бѣдныхъ, Маріинскій институтъ, педагогическія... (?) работы, книги для народа, о чемъ никто и не думалъ и проч. и проч., что и самъ забылъ. Право-таки, 20 лѣтъ жизни прошли не даромъ, прежней дѣятельности не считаю" [2]). Вотъ что можно было сдѣлать на реальной почвѣ, слѣдуя завѣтамъ романтическаго идеализма.

Таковы нѣкоторые основные мотивы романтизма, имѣвшіе несомнѣнное вліяніе на русскую литературу и общество. Въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи нѣкоторые изъ нихъ могли принять крайнюю форму: романтическій идеализмъ обращался или въ безпочвенную мечтательность или въ пустое разочарованіе, если носители идеализма подходили къ жизненнымъ задачамъ безъ необходимыхъ знаній и съ нерасполо-

---

[1]) Очеркъ въ „Энцикл. Слов." Брокгауза-Ефрона, т. XXI-А, стран. 748 и слѣд.

[2]) „Бумаги кн. В. Ѳ. Одоевскаго". Переплетъ 95: Отрывки дневниковъ и замѣт 1850—1853 гг.

женіемъ къ труду и борьбѣ. Такой ложный идеализмъ 20-хъ и 30-хъ годовъ, конечно, вскорѣ же былъ осмѣянъ и развѣнчанъ въ литературѣ слѣдующаго десятилѣтія; но руководящіе идеалы романтизма, т.-е. благоговѣйное отношеніе къ религіозному чувству и настроенію, культъ чистаго искусства, исканіе личнаго счастья на началахъ гуманности, личной свободы, широкаго просвѣщенія, — всѣ эти идеалы не только не были отринуты послѣдующей литературой, но даже были прикрѣплены къ твердой, реальной почвѣ русской національности.

Замотинъ.

Stanford University Libraries
3 6105 010 552 037

PG
3447
Z5Z85

57/22

BOC

467413/27

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

MAR 2 1969
JUN 1939